ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ

ЖЕНСКИЕ ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ

ДЖОН АПДАЙК

КАПРИЗ

ВЕЧЕ • РИПОЛ

ДЖОН АПДАЙК

ДЖОН АПДАЙК

ЖЕНСКИЕ ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ

КРОЛИК, БЕГИ

МОСКВА
ВЕЧЕ • РИПОЛ
1993

ББК И(Амер)
А 76

Издание осуществлено при участии
фирмы «АЛАНС»

Вниманию оптовых покупателей!

Книги серии «Каприз. Женские любовные романы», которая открывается романами Дж. Апдайка, можно приобрести по адресу: Москва, ул. Красной Сосны, д. 7, Акционерное общество «Вече», телефон: 188-16-50.

Апдайк Дж.
А 76 Давай поженимся. Кролик, беги. Романы. Пер. с англ. — М.: Вече, Рипол, 1993. — 430[2] с. — (Каприз. Женские любовные романы)

ISBN 5-7141-0006-9

В книгу крупнейшего современного американского писателя Джона Апдайка (р. 1932 г.) входят романы-бестселлеры мирового книжного рынка «Давай поженимся» и «Кролик, беги», в которых с удивительным изяществом и талантом раскрываются загадочные стороны мира любовных взаимоотношений.

© Состав, художественное оформление. Вече, РИПОЛ, 1993 г.
© Т. Кудрявцева. М. Беккер. Перевод, 1993 г.

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ

О, если любишь ты меня,
Женись не ведая сомненья,
Любовь не хочет ждать ни дня,
Она умрет от промедленья [1].

Роберт Геррик

I. ТЕПЛОЕ ВИНО

Этот пляж на перенаселенном побережье Коннектикута был мало кому известен — к нему ведет узкая асфальтовая дорога с непонятными развилками, зигзагами и поворотами, которую поддерживают лишь в относительно приличном состоянии. У большинства неясных поворотов потрескавшиеся деревянные стрелки с длинным индейским названием указывают дорогу к пляжу, но некоторые из них упали в траву, и когда наша пара впервые решила здесь встретиться, — а было это идиллическим, не по сезону мягким мартовским днем, — Джерри сбился с пути и опоздал на полчаса.

Сегодня Салли опять приехала раньше него. Он задержался: купил бутылку вина, потом — безуспешно — пытался найти штопор. Ее темно-стальной «сааб» стоял одиноко в дальнем конце площадки для машин. Джерри мягко подвел к нему свой автомобиль — старый «меркурий» со складным верхом — в надежде, что Салли сидит, дожидаясь его, за рулем и слушает радио: у него в машине как раз зазвучал Рэй Чарльз, исполнявший «Рожденные для утрат».

Мечты всегда, всегда
Мне приносили только боль...

Она оживала перед ним в этой песне — в голове у него уже сложились слова, которыми он окликнет ее и предложит перейти к нему в машину, чтобы вместе послушать: «Эй! Привет! Иди скорей сюда — клевые записи дают!» Он привык разговаривать с ней, как мальчишка с девчонкой, перемежая хиповый жаргон телячьим сюсюканьем. Песни по радио обретали для него новый смысл, если он слушал их, когда ехал к ней на свидание. Ему хотелось слушать их вместе с нею, но они редко приезжали в одной машине, и по мере того, как той весной неделя сменяла неделю, песни, словно майские жуки, умирали в полете.

Ее «сааб» стоял пустой, Салли поблизости не было. Наверно,

---

[1] Перевод В. Лунина.

она — в дюнах. По форме пляж был необычный: дуга гладко, намытого океаном песка тянулась на добрых полмили между нагромождениями больших, в желтых потеках, камней; вверх от ближайшей груды камней уходили дюны — чахлая трава и извилистые дорожки отделяли друг от друга сотни песчаных лоскутов, словно комнаты в огромном, созданном природой отеле. Это царство гребней и впадин было обманчиво запутанным. Им ни разу еще не удалось найти то место — то идеальное место, где они были в прошлый раз.

Джерри быстро полез вверх по крутой дюне, не желая терять время и останавливаться, чтобы снять туфли и носки. Он задыхался, поднимаясь бегом в гору, и это казалось таким чудесным — будто вернулась юность, вернулась жажда жизни. С тех пор как начался их роман, он всегда спешил, бежал, выгадывал время там, где прежде этого не требовалось, — он стал атлетом, обгонявшим часовую стрелку, выкраивавшим то тут, то там час другой, из которых складывалась небывалая и неведомая вторая жизнь. Он бросил курить: ему не хотелось, чтобы его поцелуи отдавали табаком.

Он выскочил на гребень дюн и испугался: Салли нигде не было. Вообще никого не было. Помимо их двух машин, на просторной стоянке виднелось еще штук десять — не больше. А через какой-нибудь месяц здесь будет полно народу: забитый досками дом (бар-раздевалка) оживет, наполненный загорелыми людьми и грохотом механической музыки, в дюнах станет невыносимо жарко, необитабельно. Сегодня же дюны еще хранили оставшуюся после зимы первозданность природы, не тронутой человеком. Когда Салли окликнула его, звук прилетел к нему по прохладному воздуху, словно крик птицы: «Джерри?» Это был вопрос, хотя если она видела его, то не могла не знать, что это он. «Джерри? Эй?»

Повернувшись, он обнаружил ее на одной из дюн, что высилась над ним, — она осторожно шла в желтом бикини, глядя вниз, чтобы не наколоть босые ноги о жесткую траву; светловолосая, стройная, вся в веснушках, она казалась сейчас стыдливой девой песков, скрывавших ее от него. На вид плечи и грудь у нее были жаркие, а впадина спины — прохладная. Наверно, лежала на солнце. Ее широкоскулое, с заостренным подбородком лицо раскраснелось.

— Эй! Как я рада, что ты приехал?! — Она слегка задыхалась, возбужденный голос ее звенел, и каждая фраза звучала вопросительно. — Жду тебя здесь, в дюнах, а вокруг носится орда диких полуголых мальчишек, мне стало так стра-ашно?!

Мгновенно отбросив хиповые выражения, точно он стремился обойти нечто непередаваемое, смущающее, Джерри подчеркнуто вежливо сказал:

— Храбрая ты моя бедняжечка. Каким опасностям я тебя подвергаю. Извини, что опоздал. Слушай. Мне ведь надо было купить вина, потом я пытался купить штопор, а эти абсолютные кретины, эти типы в занюханной деревенской лавчонке — их было

только Норману Рокуэллу[1] рисовать — пытались всучить мне вместо штопора коловорот.

— Коловорот?

— Ну да. Это как скоба с ручкой, только без скобы.

— Тебе, видно, совсем не жарко.

— Ты же лежишь на солнце. Ты где?

— Здесь, наверху?! Иди сюда.

Прежде чем последовать ее призыву, Джерри присел, снял туфли и носки. Он был в городской одежде — в пиджаке и при галстуке — и нес бумажный пакет с бутылкой вина, словно дачник, возвращающийся домой с подарком. Салли расстелила свое красное с желтым клетчатое одеяло во впадине, где не было ничьих следов — лишь ее собственные. Джерри поискал глазами мальчишек и обнаружил их на некотором расстоянии в дюнах — они настороженно наблюдали за молодой парой, не поворачивая головы, точно чайки. А он бесстрашно, не таясь, посмотрел на них и прошептал Салли:

— Они же совсем щенки и, похоже, невредные. Но может, ты хочешь уйти подальше в дюны?

Он почувствовал, как она кивнула у его плеча, кивнула, будто сказала, как одна лишь она могла сказать, по-особому, быстро и резко дернув головой: «Да, да, да, да»; он ловил себя на том, что нередко, когда Салли и близко не было, подражал этой ее манере. Он поднял ее одеяло, и ее плетеную сумку, и ее книгу (роман Моравиа) и положил на ее теплые руки. Шагая рядом с нею вверх по склону соседней дюны, он обнял ее обнаженный торс, желая поддержать, и повернулся, проверяя, видели ли мальчишки этот жест собственника. Но они, устыдившись, уже с воплями неслись в другом направлении.

Как всегда, Джерри и Салли долго бродили по дюнам — вниз по извилистым дорожкам меж колючих кустов восковицы, вверх по гладким склонам, смеясь от усталости, выискивая идеальное место — то самое, где они были в прошлый раз. И, как всегда, не могли его найти; под конец они разложили одеяло в первой попавшейся ложбинке с чистым песком и тотчас сочли это место изумительным.

Джерри встал перед ней в позу и устроил стриптиз. Сбросил пиджак, галстук, рубашку, брюки.

— О, — сказала она, — на тебе уже купальные трусы.

— Я проходил в них все это чертово утро, — сказал он, — и всякий раз, чувствуя, как резинка впивается в живот, думал: «А я увижу Салли. И она увидит меня сразу в купальных трусах».

С наслаждением впивая воздух каждой клеточкой своего тела, он огляделся: они были скрыты от чужих глаз, сами же могли видеть стоянку для машин внизу, и застывший рукав моря, крепко зажатый между здешним берегом и Лонг-Айлендом, и сверкающие гребешки пены, спешащие к берегу и разбивающиеся о полосатые скалы.

---

[1] Норман Рокуэлл — американский художник и иллюстратор, прославившийся своими зарисовками мальчишек.

— Эй? — послышалось с одеяла. — Не хочешь навестить меня в своих купальных трусах?

Да, да, — почувствовать друг друга кожей, всей длиной тела, на воздухе, под солнцем. От солнца под опущенными веками Джерри поплыли красные круги; бок и плечо Салли нагрелись, рот постепенно таял. Они не спешили — это и было, пожалуй, самым весомым доказательством того, что они, Джерри и Салли, мужчина и женщина, были созданы друг для друга, — они не спешили, они стремились не столько распалиться, сколько успокоиться один в другом. Его тело постепенно заполняло ее, прилаживалось, приспосабливалось. Ее волосы — прядь за прядью — падали ему на лицо. Чувство покоя, ощущение, что они достигли долгожданного апогея, наполняло его, словно он погружался в сон.

— Непостижимо, — сказал он. И повернул лицо вверх, чтобы вобрать в себя еще и солнце: под веками все стало красным.

Она заговорила, уткнувшись губами в его шею, где была прохладная, хрусткая от песчинок тень. Он чувствовал песок, хотя песчинки скрипели на зубах Салли.

— А ведь стоит того — вот что самое удивительное, — сказала она. — Стоит того, чтобы ждать, преодолевать препятствия, лгать, спешить; наступает эта минута, и ты понимаешь, что все стоит того. — Голос ее, постепенно замирая, звучал тише и тише.

Он сделал попытку открыть глаза и ничего не увидел, кроме плотной идеальной округлости чуть поменьше луны.

— А ты не думаешь о той боли, которую мы причиним? — спросил он, снова крепко сжав веки, накрыв ими пульсирующее фиолетовое эхо.

Ее неподвижное тело вздрогнуло, словно он плеснул кислотой. Ноги, прижатые к его ногам, приподнялись.

— Эй?! — сказала она. — А как насчет вина? Оно ведь согреется. — Она выкатилась из его рук, села, откинула волосы с лица, поморгала, сбросила языком песчинки с губ. — Я захватила бумажные стаканчики: не сомневалась, что ты о них и не вспомнишь. — Это крошечное проявление предвидения в отношении своей собственности вызвало улыбку на ее влажных губах.

— Угу, ведь и штопора у меня тоже нет. Вообще, леди, не знаю, что у меня есть.

— У тебя есть ты. И это куда больше, чем все, что имею я.

— Нет, нет, у тебя есть я. — Он заволновался, засуетился, пополз на коленях туда, где лежали его сложенные вещи, извлек из бумажного пакета бутылку. Вино было розовое. — Теперь надо выбрать место, где ее разбить.

— Вон там торчит скала.

— Думаешь? А если эта хреновина раздавится у меня в руке? — Внезапная неуверенность в себе пробудила привычку к жаргону.

— А ты поосторожнее, — сказала она.

Он постучал горлышком бутылки о выступ бурого, в потеках,

камня — никакого результата. Постучал еще, чуть сильнее — стекло солидно звякнуло, и он почувствовал, что краснеет. «Да ну же, дружище, — взмолился он про себя, — ломай шею».

Он решительно взмахнул бутылкой — брызги осколков сверкнули, прежде чем он услышал звук разбиваемого стекла; изумленный взор его погрузился сквозь ощерившееся острыми пиками отверстие в море покачивающегося вина, заключенное в маленьком глубоком цилиндре. Она подползла к нему на коленях и воскликнула: «У-у!», несколько пораженная, как и он, этим вдруг обнажившимся вином — зрелищем кровавой плоти в лишенной девственности бутылке. И добавила:

— С виду оно отличное.

— А где стаканчики?

— К черту стаканчики. — Она взяла у него бутылку и, ловко приладившись к зазубренному отверстию, запрокинула голову и начала пить. Сердце у него на секунду замерло от ощущения опасности, но когда она опустила бутылку, лицо у нее было довольное и ничуть не пораненное. — Да, — сказала она. — Вот так у него нет привкуса бумаги. Чистое вино.

— Жаль, что оно теплое, — сказал он.

— Нет, — сказала она. — Теплое вино приятно.

— Очевидно, по принципу: лучше такое, чем никакого.

— Я сказала приятно, Джерри. Почему ты мне никогда не веришь?

— Слушай. Я только и делаю, что верю тебе. — Он взял бутылку и так же, как она, стал пить; когда он запрокинул голову, красное солнце смешалось с красным вином.

Она воскликнула:

— Ты порежешь себе нос!

Он опустил бутылку и, прищурясь, посмотрел на Салли. И сказал про вино:

— От него покачивает.

Она улыбнулась и сказала:

— Вот тебя и качнуло. — Она дотронулась до его переносицы и показала алое пятнышко крови на своем белом пальце. — Теперь, — сказала она, — встретясь с тобой в обычных условиях, я всегда буду замечать этот порез у тебя на носу; и только я буду знать, откуда он.

Они вернулись на одеяло и дальше уже пили из стаканчиков. Потом они пили вино друг у друга изо рта, потом он капнул немножко ей на пупок и слизнул. Через какое-то время он застенчиво спросил ее:

— Ты меня хочешь?

— Да?! Очень, очень?! Всегда?! — Опять эта ее интонация, все превращавшая в вопросы.

— Никого кругом нет, нас тут не увидят.

— Тогда быстрей?!

Опустившись на колени у ног Салли, чтобы стянуть с нее нижнюю часть желтого купального костюма, он вдруг подумал о продавцах из обувного магазина — в детстве его смущало, что на

свете есть люди, которые только и заняты тем, что, став перед другими на колени, возятся у их ног, и он удивлялся, что при этом они вроде бы не чувствуют себя униженными.

Хотя Салли была уже десять лет замужем и к тому же до Джерри имела любовников, ее манера любить отличалась чудесной девственной безыскусностью и простотой. С собственной женой у Джерри часто возникало порочное ощущение тщательно продуманных извивов и усилий, а с Салли — хоть она уже столько раз через все это прошла — всегда было бесценное ощущение изумленной невинности. Ее осыпанное веснушками, запрокинутое в экстазе лицо, с капельками пота, который выступил от солнца на верхней губе, обнажавшей сверкающие передние зубы, казалось зеркалом, помещенным в нескольких дюймах под его лицом, — чуть запотевшим зеркалом, а не лицом другого человека. Он спросил себя, кто это, и потом вдруг вспомнил: «Да это же Салли!» Он закрыл глаза и постарался дышать в одном ритме с ее легкими прерывистыми вздохами. Когда ее дыхание стало ровным, он сказал:

— А ведь под открытым небом лучше, верно? Больше кислорода.

Он почувствовал ее кивок у своего плеча, словно трепетное касание крыльев.

— А теперь отпусти меня? — сказала она.

Лежа рядом с ней, пока она втискивалась в свои бикини, он предал ее: захотелось сигарету. А ведь все и так хорошо — эта наполненность до краев, эта благодарность, это широкое небо, этот запах моря. Устыдившись стремления снова влезть в свою загрязненную прокуренную шкуру, он вылил остатки вина в стаканчик и воткнул пустую бутылку, как монумент, горлышком вверх в песок.

Салли смотрела вниз на безлюдную стоянку для машин и вдруг спросила:

— Джерри, как я могу жить без тебя?

— В точности как я живу без тебя. Просто мы оба большую часть времени не живем.

— Давай не будем говорить об этом. Давай не будем портить наш день.

— О'кей. — Он взял роман, который она читала, и спросил: — Ты понимаешь, что к чему у этого малого?

— Да. А ты — нет.

— Не очень. Я хочу сказать, не потому, что все это неправда, но... — Он потряс книгой и отшвырнул ее в сторону. — Разве это надо говорить людям?

— По-моему, он хороший писатель.

— Ты многое считаешь хорошим, верно? Ты считаешь Моравиа хорошим, ты считаешь, что теплое вино — это хорошо, ты считаешь, что любовь — это хорошо.

Она быстро взглянула на него.

— А ты не согласен?

— Отчего же — вполне.

— Нет, неправда, ты мне иногда не веришь. Не веришь, что я вот такая, простая... А я в самом деле простая. Ну совсем, точно... — ей трудно давались сравнения: она видела все так, как оно есть, — ...точно эта разбитая бутылка. Во мне нет тайн.

— Такая красивая бутылка. Посмотри, как срез — там, где отбито, — сверкает на солнце. Она — будто маленький каток, которым утрамбовывают пляж: круглая, круглая. — Джерри снова захотелось сигарету — чтобы было чем жестикулировать.

— Эй? — сказала она, как говорила обычно, когда между ними, казалось, возникало отчуждение.

— Привет, — серьезно ответил он.

— Привет, — повторила она в тон ему.

— Солнышко, почему ты все-таки вышла за него замуж?

И она рассказала ему, рассказала подробнее, чем когда-либо, обхватив колени и потягивая вино, — рассказала так мило, мягко, небрежно историю своего брака, типичную историю двадцатого века, а он смеялся и целовал ее склоненную голую поясницу.

— Ну, а я продолжала брать уроки верховой езды, и опять у меня был выкидыш. Тогда он послал меня к психоаналитику, и этот чертов аналитик, Джерри, — он бы тебе понравился: он очень похож на тебя, такой деликатный, — говорит мне — сама не знаю, отчего это у меня, но я всегда стараюсь делать, как советуют мужчины, такая уж у меня слабость, — так вот, он и говорит мне: «На этот раз вы родите». О'кей, я и родила. В голове у меня все так перепуталось, я даже подумала, уж не от аналитика ли у меня ребенок. Но, конечно, не от него. Это был ребенок Ричарда. Ну, а потом — раз уж появился один, вроде бы надо было завести и еще, чтоб первый вырос человеком. Но не всегда все получается, как хочешь.

— А знаешь, почему *у меня* столько детей? — спросил он. — Я понятия об этом не имел, пока Руфь не сказала мне как-то ночью. Ты же знаешь, она очень верит в то, что роды должны быть естественные. Так вот, Джоанну она родила с великими муками, поэтому, видите ли, она решила произвести на свет еще двоих детей, чтобы, так сказать, отшлифовать технику.

Он надеялся, что вызовет у Салли смех, и она действительно рассмеялась, и в этом обоюдном взрыве веселого серебристого смеха они потопили все печальные тайны, которые хранили про себя. У нее таких тайн было больше, чем у него. Это их неравенство огорчало Джерри, и когда тени от дюн удлинились в их маленькой лощинке, он поцеловал ее запястья и признался, отчаянно пытаясь уравновесить их судьбы:

— Я препогано поступил, женившись на Руфи. Право же, куда хуже, чем если б женился ради денег. Ведь я женился на ней, так как знал, что из нее выйдет хорошая жена. Такой она и оказалась. Господи, до чего же я об этом жалею. До чего жалею, Салли.

— Не грусти. Я люблю тебя.

— Я знаю, знаю. И тоже тебя люблю. Но как могу я не грустить? И что нам делать?

— Не знаю, — сказала она. — Наверно, еще немного потянуть, как оно есть?

— Да ведь на месте ничто не стоит. — Он указал вверх и уставился на солнце, точно хотел себя ослепить. — Это чертово солнце и то на месте не стоит.

— Не устраивай мелодрамы, — сказала она.

Они ползали на коленях, собирая свои вещи, а в уме прокручивали хрупкую ложь, которую придется нести домой. Светлые волосы его Салли упали, когда она склонилась над их крошечным, немудреным хозяйством, — она казалась при этом песчано-желтом освещении такой спокойной и такой покорной, что он сердито поцеловал ее, последний раз в этот день. Все их поцелуи казались последними. Ленивым движением она опустилась на землю и, прижавшись к нему всем телом, обвила его руками. Плечо ее было теплым на вкус — его губы заскользили по ее коже.

— Детка, у меня это не пройдет, — сказал он, и она кивала, кивала так, что тела их закачались: *Я знаю. Я знаю.*

— Эй, Джерри? За твоим плечом я вижу Саунд, а на нем маленький парусник, и какой-то городок вдали, и волны накатывают на скалы, и все залито солнцем, и так красиво?! Нет. Не поворачивай головы. Просто поверь мне.

II. ОЖИДАНИЕ

— Прощай?

— Не говори мне этого слова, Джерри. Пожалуйста, не говори. — Рука у Салли ныла оттого, что она так долго держала трубку, а сейчас задрожал и мускул плеча. Зажав трубку между плечом и ухом и высвободив таким образом руки, она принялась застегивать лямки на брюках Питера: за последние два-три месяца он научился сам одеваться, вот только пуговицы не умел застегивать, она же в разброде чувств не подумала даже его похвалить. Бедный мальчик, он уже целых десять минут стоял, дожидаясь, пока мать кончит разговор, — ждал и слушал, ждал и наблюдал с неуверенной улыбкой и таким настороженным выражением в глазах, что она заплакала. Рыдания подступили к горлу, словно рвота; она сжала зубы, стараясь, чтобы их не было слышно в телефоне.

— Эй! Не надо. — Джерри смущенно рассмеялся — звук донесся слабо, издалека. — Ведь я же только на два дня.

— Не говори так, черт бы тебя подрал. Мне плевать, что ты там думаешь, но не смей этого говорить. — «Я с ума схожу, — подумала она. — Я сумасшедшая, и он возненавидит меня». При мысли, что он может возненавидеть ее после того, как она так безраздельно себя ему отдала, Салли возмутилась. — Если ты только и способен смеяться надо мной, может, лучше нам в самом деле расстаться.

— О, господи. Я вовсе не смеюсь над тобой. Я люблю тебя. Мне просто невыносимо, что я не могу быть с тобой, чтобы утешить тебя.

Питер потерся об нее, чтобы она застегнула ему и другую лямку, и она почувствовала в его дыхании запах леденца.

— Где ты взял леденец? — спросила она. — Нельзя есть сладкое с утра.

Джерри спросил:

— Кто там у тебя?

— Никого. Только Питер.

— Мне дал Бобби, — сказал Питер, и на его личико, растянутое в неуверенной улыбке, стал наползать страх.

— Пойди разыщи Бобби и скажи, что я хочу с ним поговорить.

Иди же, лапочка. Иди найди Бобби и скажи ему. Мама сейчас кончит говорить по телефону.

— Бедный Питер, — раздался у нее в ухе голос Джерри. — Не отсылай его.

Да как он может так говорить, он, который лишил ее всякой радости общения с детьми? И однако, то, что он так говорил, делало ее совсем беззащитной, неизмеримо расширяло ее любовь: не желал он держаться в рамках любовника, какими она их себе представляла. Излишняя доброта то и дело заставляла его вылезать из своей скорлупы. Слезы обожгли ей щеки: она молчала, чтобы он не услышал ее охрипшего голоса. Живот и плечи у нее буквально ныли от боли. Господи, он что, нарочно так себя ведет?

— Эй? Привет?

— Привет, — ответила она.

— Ты в порядке?

— Да.

— Пока меня не будет, ты сможешь съездить в Загородный клуб, и свозить детей на море, и почитать Моравиа...

— Я сейчас читаю Камю.

— Ты такая умная.

— Ты не опоздаешь на самолет?

— Свози Питера на море, и поиграй с малышкой, и поваляйся на солнце, и будь милой с Ричардом...

— Не могу. Я не могу быть милой с Ричардом. Из-за тебя он теперь больше для меня не существует.

— Я не хотел.

— Я знаю. Знаю. — Как любовник Джерри совершал одну ошибку — жестокую ошибку: он вел себя будто ее муж. А у нее до сих пор не было настоящего мужа. Теперь, наблюдая Джерри, Салли начала подумывать о том, что десять лет была замужем за человеком, старавшимся остаться для нее лишь любовником, сохраняя дистанцию, которую любовникам всякий раз приходится преодолевать. Ричард вечно критиковал ее, анализировал ее поступки. Когда она была молода, это ей льстило; теперь же казалось подлым. Вне постели он вечно стремился раздеть ее, обнажить какое-то двуличие, какие-то скрытые мотивы ее действий. А Джерри пытается ее одеть, то и дело бросая ей жалкие вуальки утешений и советов. Она кажется ему душераздирающе обнаженной.

— Послушай, — сказал он. — Я люблю тебя. Мне бы так хотелось, чтобы ты могла поехать со мной в Вашингтон. Но это невозможно. Однажды нам это сошло с рук. А теперь Ричард что-то знает. И Руфь знает.

— Знает?

— Чувствует кожей.

— Что ты сказал?

— *Знает.* Только не волнуйся на этот счет. Все равно во второй раз так чудесно не было бы. Мне тебя все время будет не хватать, и один в постели я вообще не засну. Кондиционер жужжит «ш-ш-ш», «ш-ш-ш».

— Значит, тебе будет не хватать и Руфи.

— Не в такой степени.

— Нет? Эй, я люблю тебя за то, что ты сказал: «Не в такой степени». Настоящий любовник сказал бы: «Ничуть».

Он засмеялся.

— А я как раз такой и есть. Не настоящий.

— Тогда почему же я не могу выкинуть тебя из головы? Джерри, мне *больно*, физически *больно*. Даже Ричард жалеет меня и дает мне снотворное, которое выписал ему врач.

— Мир не знает более высокой любви, если один человек отдает другому снотворное, которое ему выписал врач.

— Я могла бы вечером позвонить Джози и сказать, что у меня сломался «сааб» и я застряла в Нью-Йорке. Последнее время машина барахлит вовсю, я знаю, мне бы поверили.

— Ах ты мое солнышко! До чего же ты храбрая. Но это у нас не пройдет. Они узнают, и тогда Ричард не отдаст тебе детей.

— Мне не нужны дети, мне нужен ты.

— Не говори так. Ты очень любишь своих детей. Достаточно тебе было посмотреть на Питера — и уже глаза на мокром месте.

— Это из-за тебя у меня глаза на мокром месте.

— Я этого не хотел.

Она не знала, как на это реагировать: у нее никогда не хватит духу сказать, что он виноват во всем — и в том, чего не хотел совершить, и в том, что совершил. Джерри верил в бога, и это служило препятствием для ее наставлений. Из окна кухни она увидела, что Питер нашел Бобби. Питер забыл про ее наказ и вместе со старшим братом направился в рощицу.

Она спросила:

— Ты весь день будешь в Госдепартаменте? Я могу позвонить тебе туда, если приеду?

— Салли, не надо приезжать. Ты идешь на Голгофу ради пустяков, мы же проведем вместе всего одну ночь.

— Ты забудешь меня.

Его смех отозвался в ней болью: она ведь действительно так считала.

— Не думаю, чтобы я мог забыть тебя за два дня.

— Ты считаешь, что ночь со мной — это пустяк?

Он помолчал; лента секунд разматывалась, и Салли почувствовала, что он не спешит с ответом.

— Нет, — наконец сказал он. — Я считаю, что ночь с тобой — почти предел мечтаний. Я надеюсь, что у нас будет таких ночей — целая жизнь.

— Надежда — вещь приятная и безопасная.

— Я не хочу препираться с тобой. Я никогда не препираюсь с женщинами. Мне кажется, мы не должны сворачивать на этот путь, пока не будем точно знать, что намерены делать дальше.

Она вздохнула.

— Ты прав. Я говорю себе: «Джерри прав». Мы не должны поступать необдуманно. Слишком многих это затрагивает.

— Целую орду. Хотелось бы мне, чтоб их было поменьше.

Хотелось бы мне, чтоб в мире были только ты и я. Слушай. Ты не должна приезжать. Все рейсы перепутаны из-за этой забастовки в компании «Истерн». Как раз сейчас у меня на глазах шесть генералов с четырьмя звездочками и двести молодчиков в дакроновых костюмах устремились к выходу номер семнадцать. Должно быть, объявили посадку на мой самолет. — Он говорил из телефонной будки на аэродроме Л-Гардиа. Мест на самолет, которым Джерри собирался лететь, не оказалось, и теперь он убивал неожиданно освободившееся время, болтая с ней по телефону. Она подумала: «Если бы он попал на тот самолет, он бы мне не позвонил», и эта случайность, позволившая увидеть, какое маленькое место занимает она в его жизни, лишь возвысила его в ее глазах, расширила своим оскорбительным подтекстом горькую, ноющую пустоту, которую создала в ней любовь.

Он ждет, что она рассмеется или согласится с ним, — она никак не могла вспомнить, чего он от нее ждет.

— Я очень тебя люблю, — вяло произнесла она.

— Эй, а как ты объяснишь сумму, которую с вас взыщут за этот телефонный разговор? Я бы не стал звонить за твой счет, если бы знал, что мы проговорим так долго.

— Ну, я скажу... сама не знаю, что я скажу. Во всяком случае, он никогда не слушает, что я говорю. — Иногда Салли задумывалась, так ли уж справедливы обвинения, которые она выдвигала против мужа. Ее рассуждения были как заросший сад: каждый день появлялись новые сорняки.

— Уже началась посадка. Прощай?

— Прощай, дорогой.

— Я позвоню тебе в среду утром.

— Очень хорошо.

Он уловил в ее голосе укор и спросил:

— Позвонить тебе из Вашингтона? Завтра утром?

— Нет, у тебя и без того дел хватит. Вот и занимайся ими. А обо мне — думай иногда.

Он рассмеялся.

— А как же иначе? — Помолчал и сказал: — Ты ведь единственная. — Чмокнул мембрану и повесил трубку.

Она быстро опустила трубку на рычаг, словно спешила закупорить бутылку, чтобы Джерри не выскочил из нее.

Нечесаная, в развевающемся банном халате, Салли вышла из дома и громко крикнула, повернувшись к кромке рощицы: «Маль-чики! На пля-аж!»

В рощице, отделявшей дома соседей друг от друга, густо пахло летом — то был не обычный для Коннектикута запах прореженного кустарника и травы, а насыщенный теплый аромат спрессованной листвы и гниющей древесины; вот так же пахло, когда она девчонкой приезжала на летние каникулы из Сиэтла в Каскады. Она поднялась наверх переодеться, и легкая свежесть папоротника, вызывавшая ностальгию, проникла в окно спальни, сливаясь с

резким, слегка порочным запахом соли, которым отдавал ее купальный костюм. Салли скрутила волосы в пучок и заколола шпильками. Одна, у себя в ванной, она вызвала к жизни образ Джерри — его глаза смотрели на нее из воздуха. Прежде, чем предаться любви, он всегда вытаскивал из ее волос шпильки, и, совершая ежедневный туалет, она как бы склонялась перед ним, разделяя его бережную любовь к ее телу.

Она приготовила термос лимонада, побранила мальчиков, велела им быстрее надевать плавки и усадила всех в машину. «Сааб» в последнее время неохотно заводился, поэтому она парковала его носом к спуску и, используя инерцию движения, включала мотор. Когда Салли покатила вниз, на дороге показалась Джози, усердно толкавшая колясочку с Теодорой, в ногах которой стоял пакет с покупками; они встретились на самой крутизне, где Салли обычно отпускала сцепление. Женщины успели лишь обменяться испуганными взглядами: как раз в этот момент зажиганье дало искру, и мотор рывком заработал. Салли показалось, что Джози хотела о чем-то ее спросить — что-нибудь насчет кормления или сна Теодоры, но Джози знала все это не хуже нее — даже лучше, потому что была менее рассеянная, не молодая и уже оставившая любовь позади.

Под умиротворяющим июньским солнцем Саунд расстилался гладкой равниной, излучавшей приказ: «*Не езди*». Салли повела Питера и Бобби в дальний конец пляжа. Ей показалось, что в группке матерей на другом конце она заметила Руфь, а Бобби как раз сказал:

— Я хочу поиграть с Чарли Конантом.

— Вот устроимся, тогда пойдешь и разыщешь его, — сказала Салли. И вдруг обнаружила, что снова плачет: почувствовала, как щеки стали влажными. *Не езди.* Все было за это — песчинки, хор танцующих искр на воде, настороженные взгляды сыновей, отдаленные всплески и крики, заполнившие ее слух, словно мягкий стук сказочной швейной машинки, когда она легла и закрыла глаза. *Не езди, ты не можешь уехать, ты здесь.* Это единодушие всех и вся было просто поразительным. Он не хотел, чтобы она ехала к нему, он считал, что ночь с ней — это ничто, он заявил, что она устраивает себе Голгофу, он сказал, что так, как было в первый раз, уже не будет. Она обозлилась на него. Под безжалостными лучами солнца ей стало трудно дышать; что-то жесткое царапнуло кожу на ее обнаженном животе, и она открыла глаза, еле сдержав крик. Питер принес клешню краба, высохшую и пахучую. «Не уезжай, мамочка», — молил он, поднеся к самым ее глазам свой хрупкий мертвый дар. Должно быть, все-таки это ей послышалось.

— Какая прелесть, солнышко. Только не бери в ротик. А теперь беги, играй с Бобби.

— Бобби не любит меня.

— Не говори глупости, милый, он тебя очень любит, просто не умеет это выразить. А сейчас беги и дай мамочке подумать.

Конечно, не надо ей ехать. Джерри правильно сказал: им

тогда повезло. Ричард находился в одной из своих поездок. Джерри ждал ее в Национальном аэропорту, они взяли такси и поехали в Вашингтон. Шофер, серьезный мужчина с кожей цвета чая, который вел машину так осторожно, будто она его собственная, подметил их особую молчаливость и спросил, не хотят ли они проехать через парк, вокруг Тайдл-бейсин, чтобы полюбоваться японскими вишнями. Джерри сказал — да. Деревья стояли в цвету — розовые, сиреневатые, оранжевые, белые; дрожащие пальцы Джерри все крутили и крутили на ее пальце обручальное кольцо. Черная няня играла в пятнашки с маленькими мальчиками на тенистой лужайке, и самый маленький из них протянул ручонки, а мяч, не коснувшись их, упал у его ног. В вестибюле отеля, затянутом темными коврами, гудели протяжные южные голоса. Опустив глаза, портье записал ее как миссис Конант. Наверно, слишком уж она сияла. В номере были белые стены, на них — олеографии в рамках, изображавшие цветы; окна глядели в колодец двора. Джерри брился опасной бритвой, усиленно намыливаясь кисточкой, чего она никак не ожидала. Она полагала, что все мужчины бреются электробритвами, потому что так брился Ричард. Не ожидала она и того, что в первый же вечер, пока она подкрашивала глаза в ванной, а он смотрел по телевизору, как Арнолд Палмер одерживает победу, загоняя мяч в лупку, на него нападет депрессия и ей придется добрых четверть часа сидеть подле него, а он будет лежать в постели, смотреть на белые стены и бормотать что-то насчет страданий и греха; с большим трудом ему удастся, наконец, собраться с духом, застегнуть рубашку, надеть пиджак и пойти с ней в ресторан. Они шли тогда под весенним, высекающим слезы ветром — квартал за кварталом, по широким, проложенным под прямым углом друг к другу улицам, — а ресторана все не было. Вдали от освещенных монументов и фасадов Вашингтон казался темным и загадочным, словно закулисная часть театра. Мимо, шурша, проносились лимузины, оставляя за собой одинокий текучий звук, — на Манхэттене такой звук можно услышать разве что поздно ночью. Салли чувствовала, как наваждение постепенно покидает Джерри. Он стал вдруг очень возбужденным, перепрыгнул лягушкой через счетчик у стоянки машин, а в ресторане, излюбленном месте техасцев, где подавали дорогие мясные блюда, изображал из себя конгрессмена, сопровождающего молочную королеву из Миннесоты. «А ты мне пригляну-у-улась, душечка». Официант, прислушивавшийся к их разговору, ждал хороших чаевых и был явно разочарован. Странно, что ей доставляет удовольствие вспоминать неловкие ситуации, в которые она попадала. В тесном магазинчике подарков, где Джерри непременно хотел купить игрушки своим детям, продавщица то и дело поворачивалась к ней, точно она была их матерью, и вопросительно смотрела, озадаченная ее молчанием. В последнее утро у лифта, когда они ехали завтракать, старшая горничная спросила, можно ли убрать у них в номере, и она сказала — да; эта женщина была первым человеком, не усомнившимся в том, что она — жена Джерри. Когда они в полдень вернулись в номер, жалюзи были

подняты, с кровати все было сдернуто и сама она отодвинута к бюро, а по полу ползал негр и чистил ковер мягко жужжавшим пылесосом. Джерри и Салли покинули отель в одном такси, но домой летели разными самолетами, а присхав, обнаружили, что никто не сопоставил их одновременного отсутствия. Их мимолетный брак — обручальное кольцо, вышвырнутое за борт, — все глубже и глубже, безвозвратно погружался в зеленые воды прошлого. Что бы ни случилось, такого уже не будет, никогда не будет — до конца дней. Было бы глупо — чистое безумие — все поставить на карту и поехать к нему сейчас. Ибо теперь жалюзи, прикрывавшие их роман, если и не были окончатсльно сорваны, то, во всяком случае, достаточно приоткрыты: Джози краснела и решительно выходила из кухни, когда в десять часов раздавался, по обыкновению, звонок Джерри; Ричард вечера напролет сидел и пил, задумчиво втянув в себя верхнюю губу; а с личика Питера почти не исчезало настороженное, выжидающее выражение. Даже малышка, только-только учившаяся ходить, и та, казалось, сторонилась ее и предпочитала держаться за воздух. Быть может, все это ей просто мерещится — порою Салли всерьез боялась за свой рассудок.

Она поднялась на ноги. Море, сшитое с небом тоненькой бежевой ниточкой острова, казалось, исключало возможность вырваться отсюда. Ею овладела паника.

— Ма-альчики! — позвала она. — Пора е-ехать!

Тельце Бобби изогнулось и упало на песок в припадке досады. Он крикнул:

— Мы же только что приехали, ты, дурочка!

— Никогда не смей так говорить, — сказала она ему. — Если будешь грубить, никому и в голову не придет, что, в общем-то, ты славный маленький мальчик. — Еще одна из теорий Джерри: если часто повторять человеку, что он славный, он и станет славным. И в известном смысле это срабатывало. Питер подошел к ней; Бобби, испугавшись, что его оставят одного, надулся, но все же нехотя побрел за ними к «саабу».

Не езди. Не надо. Однако приказ этот не имел веса, никакого веса, и хотя она читала его в десятке предзнаменований, возникавших препятствиями на ее пути, пока она одевалась и что-то лгала, чтобы выбраться из дома, и мчалась в аэропорт, и оплачивала проезд на самолете, — слова оставались пустыми, невесомыми, они колыхались на поверхности, а под ними была глубокая убежденность, что ехать надо, что ничего другого и быть не может, что только это — правильно. Волна уверенности в том, что она поступает правильно, подхватила Салли и пронесла над неожиданным препятствием в виде изумленной Джози, мимо обращенных к ней лиц детей, заставила стремительно, задыхаясь, переодеться, пренебречь зловещим непослушанием стартера в «саабе», погнала ее вниз по извилистым аллеям парка Мерритт, по захламленным металлическим ломом бульварам Куинса, помогла выдержать нервотрепку в аэропорту Ла-Гардиа, пока служащие компании «Юнайтед» искали для нее место на самолете, вылетав-

шем в Вашингтон. И Салли полетела — стала птицей, героиней. Небо легло ей на спину, когда они взмыли ввысь в безоблачную прерию над облаками, — трепещущая, сияющая, неподвижно застывшая, она залпом проглотила двадцать страниц Камю, в то время, как тупорылый воздушный кондиционер шелестел над ее волосами. Самолет накренился над глинистым континентом ферм, где скакали лошади величиной с булавочную головку. В иллюминаторе потянулись акры пастельных домиков, изогнувшихся кривыми рядами, а потом город — пересекающиеся авеню и миниатюрные памятники. Обелиск Вашингтона на мгновение возник в глубине широкого Молла с куполом Капитолия в противоположном конце. Самолет пролетел над самой водой, подскочил, коснувшись земли, моторам дали обратный ход, машина содрогнулась, потом, величественно покачиваясь, пробежала немного вразвалку и остановилась. Промчавшийся ливень оставил мокрые следы на взлетно-посадочной полосе. Послеполуденное солнце припекало бетон, и от него поднимался влажный жар, тропически душный, совсем не похожий на жару у моря, откуда Салли бежала. Было три часа дня. В аэровокзале люди стремительно шли к выходу, осаждаемые смешанными запахами натертых полов и горячих сосисок. Салли отыскала пустую телефонную будку. Рука не слушалась, вкладывая в отверстие монету. Заусеница на указательном пальце больно задралась, когда она стала набирать нужный номер.

Джерри работал художником-мультипликатором и иллюстрировал телевизионную рекламу; Госдепартамент заказал его фирме серию тридцатисекундных сюжетов на тему о приобщении слаборазвитых стран к свободе, и Джерри отвечал за этот проект. Со времени той первой поездки в Вашингтон Салли помнила, в каком отделе Госдепартамента можно его найти.

— Он не работает у вас в штате, — пояснила она. — Он приехал всего на два дня.

— Мы нашли его, мисс. Скажите, пожалуйста, что передать — кто звонит?

— Салли Матиас.

— Мистер Конант, вас спрашивает мисс Матиас.

Шуршанье электрических помех. И его резкий хохоток.

— Эй, ты, сумасшедшая мисс Матиас, привет.

— Я сумасшедшая? Наверно. Бывает, смотрю на себя и думаю — совсем спокойно: «Ты рехнулась».

— Ты где, дома?

— Солнышко, неужели не ясно? Я здесь. В аэропорту.

— Господи, в самом деле приехала, да? Безумица.

— Ты на меня сердишься?

Он рассмеялся, но не стал разуверять ее. Во всяком случае, не сказал ничего утвердительного — одни вопросы.

— Да разве я могу на тебя сердиться, если я люблю тебя? Какие у тебя планы?

— А надо мне было приезжать? Я поступлю так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтоб я уехала?

Она почувствовала: он что-то высчитывает. За стеклом телефонной будки на натертом полу стоял маленький пуэрториканец приблизительно одних лет с Питером — должно быть, его тут оставили. Он вращал своими черными глазенками; острый подбородочек его вдруг задрожал, и он заплакал.

— Можешь убить как-то время? — спросил, наконец, Джерри. — Я позвоню в отель, и скажу, что жена решила приехать ко мне. Возьми такси, поезжай в Смитсоновский институт или еще куда-нибудь часика на два, встретимся на Четырнадцатой улице у пересечения с Нью-Йоркской авеню примерно в половине шестого.

Дверь соседней телефонной будки распахнулась, и смуглый мужчина в цветастой рубашке раздраженно схватил мальчика за руку и повел куда-то.

— А что, если мы друг друга не найдем?

— Слушай. Я найду тебя даже в аду. — Ее всегда пугало, что Джерри, упоминая про ад, имеет в виду вполне конкретное место. — Если почувствуешь, что заблудилась, иди на Лафайетт-сквер — ну, ты знаешь, в садик за Белым домом — и стой под передними копытами лошади.

— Эй? Джерри? Не смей меня ненавидеть.

— О, господи. Вот было бы хорошо, если б я тебя возненавидел! Скажи лучше, как ты одета.

— Черный полотняный костюм.

— Тот, в котором ты была на вечеринке у Коллинзов? Грандиозно. В Смитсоновском институте на первом этаже потрясающие старинные поезда. И не пропусти самолет Линдберга. До встречи в полшестого.

— Джерри? Я люблю тебя.

— И я тебя люблю.

«Значит, он считает, что хорошо было бы, если бы он мог возненавидеть меня», — подумала она и, выйдя из аэровокзала, взяла такси. Шофер спросил, в какой Смитсоновский институт ей надо — в старый или в новый, и она сказала — в старый. Но подойдя к двери старинного особняка из красного кирпича, круто повернула обратно. Прошлое было для нее лишь пыльным пьедесталом, возведенным для того, чтобы она могла жить сейчас. Она повернула обратно и пошла под солнцем по Моллу. Убывающий день, тротуары, усеянные пятнами тени и семенами, тележки торговцев сластями, туристские автобусы с темными стеклами, набитые глазеющими американцами, стайки детей, причудливое кольцо колеблемых ветерком красно-бело-синих флагов у основания высокого обелиска, индийские женщины в сари с браминскими кружочками на лбу и жемчужинками в ноздре и в то же время при зонтиках и портфелях — все это создавало у Салли впечатление ярмарки, а купол Капитолия вдали, более светлый, чем серые крылья основного здания, поблескивал, словно глазированный марципан. Солнечный свет, озарявший, куда ни глянь, официальные здания, казался ей драгоценным, как деньги, — она шла мимо

Музея естественной истории вверх по 12-й улице под серыми аркадами министерства почт, затем по Пенсильванской авеню — к ограде Белого дома. Она чувствовала себя легко, свободно. Правительственные здания, вылепленные причудливой рукой и застывшие, как бы парили в воздухе рядом с нею; величественные и нереальные, они давили на нее. В просветы между часовыми и зеленью она поглядела на Белый дом — ей показалось, что он сделан из чего-то ненастоящего и похож на меренгу. Она подумала о большеглазом молодом ирландце, который правил там: интересно, каков он в постели, мелькнуло у нее в голове, но представить себе этого она не могла — он же президент. И она свернула на 14-ю улицу, шагая навстречу своей судьбе.

В сумочке у Салли была зубная щетка — весь ее багаж: она унаследовала от отца любовь путешествовать налегке. Ничем не обремененная, не чувствуя жары в своем черном полотняном костюме, она казалась самой себе элегантной молодой вдовой, возвращающейся с похорон мужа, старого, жадного и злого. На самом-то деле Ричард, несколько, правда, отяжелевший за эти десять лет, был все еще хорош собой, хотя голова его, казалось, давила своей тяжестью на плечи, а движения стали менее стремительными и четкими под бременем «ответственности» — слово это он произносил отрывисто и раздраженно. Когда они только поженились, жили они на Манхэттене и, поскольку были бедны, много ходили пешком и ничуть не расстраивались. Она почувствовала призрак Ричарда у своего плеча, вспомнила, как стала даже ходить иначе от сознания, что рядом — мужчина, *твой собственный*. Она ненавидела учебные заведения — эти чопорные места изгнания на Восточном побережье. Ричард вызволил ее из Барнарда и сделал женщиной. Куда же девалась ее благодарность? Неужели она такая испорченная? Нет, не могла она этому поверить сейчас, когда вся была еще наполнена ощущением бескрайнего небесного простора, хотя под ногами блестели кусочки слюды, а ноздри щекотал перечный запах гудрона. Полосы на переходе, размазались и сместились, расплавленные летней жарой. Она решительно шагала по широким тротуарам, обгоняя неторопливо шествующих южан. Часы на церкви — лимонно-желтой церкви святого Иоанна — пробили пять ударов. Она пошла на запад по Ай-стрит. Правительственные служащие в распахнутых легких пиджаках, щурясь от солнца, смотрели сквозь нее и спешили дальше — к ожидающим в Мэриленде женам и мартини. Море женщин выплеснулось на улицы. По стеклянным фронтонам зданий слева золотой брошью катилось солнце, и жаркие лучи его, нагрев ее лицо, заставили Салли вспомнить о себе. Она поняла, что невольно насупилась, сосредоточенно вглядываясь в лица, из страха пропустить лицо Джерри.

Как он просияет! Невзирая на все свои угрызения совести и предчувствия, как он просияет при виде нее, — он всегда сияет, и только она одна способна вызвать у него эту улыбку. Хотя он был всего на несколько месяцев старше нее и отличался удивительной для своих тридцати лет наивностью, в его присутствии

она чувствовала себя словно бы его дочерью, чье непослушание всякий раз было проявлением бережно хранимой жизнестойкости. Салли почувствовала, что лицо ее застыло в широкой улыбке — в ответ на воображаемую улыбку Джерри.

А другие лица таили в себе опасность. Ей показалось, что она увидела знакомого, молодого питомца Уолл-стрита, которого Ричард не раз приглашал к ним в дом, — он как раз заворачивал за угол здания авиакомпании «Бритиш Оверсиз Эруйс», напротив простершей свою длань статуи Фэррагата [1]. Фамилия этого человека была Уигглсуорс, а перед ней два инициала — какие именно, Салли не могла вспомнить. Его ничего не выражающее лицо исчезло за углом. Наверняка она ошиблась: ведь на свете миллионы людей, но типов — лишь несколько, а таких людей, которые не принадлежат ни к одному из них, очень мало. Тем не менее, из страха быть узнанной, она опустила взгляд, так что, как и предсказывал Джерри, обнаружил ее, конечно же, он, хоть и не в аду.

— Салли! — Он стоял на теневой стороне Ай-стрит, без шляпы, подняв руку, точно останавливал такси. В строгом костюме он был обескураживающе похож на всех прочих, и пока он ждал у перекрестка, чтобы сигнал светофора позволил перейти улицу, сердце у нее екнуло, точно она вдруг проснулась и выяснила, что находится за двести миль от дома. Она спросила себя: «Кто этот мужчина?» Сигнал возвестил: ИДИТЕ, и он заспешил к ней — первый в группке людей; сердце у нее заколотилось. Она беспомощно стояла на краю тротуара, а расстояние между ними сокращалось, и ее тело, все ее опустошенное тело, вновь чувствовало трепетное касанье его рук; она увидела его крючковатый нос, который никогда не загорал и был красным все лето, его печальные неопределенного цвета глаза, его неровные, торчащие зубы. Он гордо и как-то нервно улыбнулся, с минуту неуверенно постоял, потом дотронулся до ее локтя и поцеловал в щеку.

— Господи, до чего же ты грандиозна, — сказал он, — шагаешь вразвалку своими большими ногами, точно девчонка с фермы, которая на каблуках ходить не умеет.

Сердце у нее успокоилось. Никто больше не видел ее такой. Она ведь из Сиэтла, потому и кажется Джерри девчонкой с фермы. Да она и в самом деле чувствовала себя не в своей тарелке здесь, на востоке. Среди местных женщин немало таких — к примеру Руфь, — которые никогда не прибегают к косметике, никогда открыто не флиртуют; рядом с ними Салли чувствовала себя нескладной, угловатой. Ричард заметил это и пытался понять причину ее неуверенности. Джерри тоже заметил и назвал ее своей «девочкой в ситцах». Только после смерти отца, поехав однажды в Сан-Франциско, она вдруг почувствовала то, что, наверное, чувствуют все дети: до чего же здорово во всем, в каждой маленькой мелочи, быть самой собой.

---

[1] Ф е р р а г а т Девид Глазгоу (1801—1870) — американский адмирал.

— Как ты, черт подери, сумела удрать?

— Просто сказала «до свидания», села в «сааб» и отправилась в аэропорт.

— А знаешь, это здорово — встретить женщину, которая умеет *использовать* двадцатый век на все сто. — Это была еще одна его причуда — считать, будто есть что-то комическое, несообразное в том, что они живут сейчас, в этом веке. Случалось, лежа с ней в постели, он называл ее «дражайшая моя половина». Она чувствовала, что ему доставляет удовольствие деликатно подчеркивать, — чтобы она ни в коем случае не забыла, — сложность их отношений в рамках окружающего мира. Даже сама его нежность возвещала о том, что их любовь незаконна и обречена.

— Эй, — сказал он, перекидывая к ней мостик сквозь наступившее молчание. — Я не хочу, чтобы ты рисковала ради меня. Я хочу сам рисковать ради тебя.

«Но ты не станешь», — подумала она, продевая руку под его локоть, и опустила голову, стараясь попасть в ритм его шагов.

— Пусть это тебя не волнует, — сказала она. — Я ведь здесь.

Он молчал.

— Ты злишься на меня. Не следовало мне присзжать.

— Я никогда на тебя не злюсь. Но все-таки как же тебе это удалось?

— Удалось.

Казалось, тела у него нет — одни крупные кости и нервы: у нее возникло впечатление, будто она держится за уголок воздушного змея, который стремится вырваться и взмыть ввысь.

Он тащил ее за собой.

— Ричарда, что, сегодня вечером не будет дома? — спросил он.

— Будет.

Он резко остановился.

— Господи, Салли. Что случилось? Ты взяла и сбежала? А назад ты можешь вернуться?

При последнем вопросе голос его резко повысился. Ее ответ еле царапнул ее собственную барабанную перепонку:

— Не волнуйся на этот счет, милый. Я с тобой, а все остальное кажется таким далеким.

— Говори же. Не заставляй меня себя презирать. Расскажи, что произошло.

Она рассказала, переживая все заново, путая самое себя. Пляж, охватившая ее паника, дети, Джози, самолет, скитанье по городу, намерение позвонить домой через час, сказать, что она на Манхэттене, что у нее сломался «сааб» — никак не желает заводиться — и что Фитчи предложили ей переночевать, поскольку завтра утром у нее занятия на курсах искусствоведения в музее «Метрополитен».

— Солнышко, это не пройдет, — сказал он ей. — Постараемся не терять голову. Если я сейчас посажу тебя на самолет, ты еще успеешь домой к восьми.

— Ты этого хочешь?

— Нет. Ты же знаешь, я хочу, чтобы ты всегда была со мной.

И хотя все свидетельствовало об обратном, она чувствовала, что это правда. Она — его жена. Это странное обстоятельство, неведомое миру, но ведомое им, превращало неправедное — в праведное, все, казавшееся безумием, — в мудрость. Из всех женщин Джерри выбрал ее, Салли, и самым ценным во время их первого незаконного путешествия было то, что она почувствовала за те два дня, как крепнет эта истина, почувствовала, как расслабляется он. В первую ночь он совсем не спал. Она несколько раз в испуге просыпалась, когда он выскальзывал из постели — то попить воды, то подкрутить воздушный кондиционер, то что-то найти в чемодане.

«Что ты ищешь?»

«Пижаму».

«Замерз?»

«Немного. Спи, спи».

«Я не могу. Тебе плохо, ты несчастлив».

«Я очень счастлив. Я люблю тебя».

«Но я не могу тебя согреть».

«Ты *действительно* холоднее, чем Руфь, — почему-то».

«В самом деле?»

Должно быть, по ее голосу он почувствовал, что ее оскорбило это неожиданное сравнение, ибо он тут же поспешил отступить: «Нет, я не знаю. Забудь. Спи, пожалуйста».

«Я завтра же уеду. Я не останусь на завтрашнюю ночь, если у тебя из-за меня бессонница».

«Не будь такой обидчивой. Бессонница у меня не из-за тебя. Это господь ее на меня насылает».

«Потому что ты спишь со мной».

«Слушай. Я люблю бессонницу. Это доказывает, что я еще жив».

«Прошу тебя, Джерри, пожалуйста, ложись». — Она крепко прижалась к его телу, стараясь заставить воздушного змея спуститься с небес, и сама уснула где-то между землей и небом, на котором в кирпичном колодце двора за их жалюзи начинала разгораться заря. Вторую ночь Джерри еще крутился, но спал уже лучше, а сейчас, в эту третью ночь, тремя месяцами позже, когда весна уступила место лету, он очень скоро задышал ровно и ритмично, в то время как у Салли все еще слегка колотилось сердце. Она старалась внушить себе, что гордится его доверием. Заснула она, однако, со смутным ощущением утраты, а проснулась рано утром с обостренным сознанием, что осталась одна. Комната была совсем другая, чем в тот первый раз. Стены, хотя Джерри и Салли остановились в том же отеле, были не белые, а желтые, и вместо цветов на них висели два бледных гольбейновских портрета. За жалюзи брезжило утро, и Салли видела лица словно сквозь дымку, отчего они казались живыми — капризные, с пухлыми губками. Свидетелями скольких адюльтеров, скольких пьяных совокуплений пришлось им быть? Внизу, по проспекту, шурша метлой, прошел уборщик. Та, первая, их комната выходила во двор; эта с высоты пяти этажей смотрела на сквер. Где-то внизу,

под ними, в лабиринте столицы взвыла сирена грузовика, собирающего отбросы, лязгнул мусорный бак. Она подумала о молочнике, который поднимается сейчас на ее крыльцо, чтобы со звоном поставить свои бутылки у двери покинутого ею дома. Джерри лежал поперек кровати — простыня дыбилась у его горла, а ноги торчали голые. Она растолкала его, разбудила, вызвала в нем страсть. В момент наибольшей близости он сонно прошептал:

— Руфь! — Но уже через секунду осознал свою ошибку: — Ах, извини. Я как-то не понял, кто со мной.

— Меня зовут мисс Салли Матиас, и я сумасшедшая женщина.

— Конечно, сумасшедшая. И к тому же очень красивая.

— Только немного холодновата — по сравнению.

— Ты так этого и не забыла?

— Нет. — Это у нее стало наваждением: дома, садясь в ванну, она теперь быстро касалась своей кожи, выискивая тот холодок, о котором он говорил, а однажды, прощаясь с Руфью после званого ужина, не без любопытства задержала в руке ее руку, стремясь ощутить легкую разницу в телесном тепле, дававшую преимущество над ней этой внешне холодной женщине. Она заметила, что тощего Джерри часто знобит. Когда они впервые легли в постель, она в его движениях почувствовала привычный ритм ответных движений его жены и, лежа в объятиях этого постороннего мужчины, ревниво сражалась с образом той, другой женщины. Сама же она несла на себе отпечаток сексуальной манеры Ричарда, так что вначале казалось — не двое, а четверо занимались любовью на диване или на песке, и при мысли об этом что-то смутное и близкое к лесбиянству просыпалось в ней. Сейчас это все исчезло. На разгоравшемся восходе долгого июньского дня, который последует за их третьей, проведенной вместе ночью, Джерри и Салли любили друг друга ясно, бездумно, как любили Адам и Ева, когда человечество было еще четко разделено на две половины. Она вгляделась в его лицо и невольно воскликнула, пронзенная своим открытием:

— Джерри, какие у тебя печальные глаза!

Улыбка, обнажившая неровные зубы, была поистине сатанинской.

— Да как же они могут быть печальными, когда я так счастлив?

— И все же они такие печальные, Джерри.

— Не надо смотреть в глаза, когда занимаешься любовью.

— А я всегда смотрю.

— Тогда я буду закрывать их.

Ах, Салли, моя единственная, утраченная Салли, позволь сказать тебе сейчас — сейчас, пока мы оба еще не забыли, пока в водопаде еще сверкают искры, — что я любил тебя, но самый твой вид был мне вечным укором. Ты была словно запретная земля, куда я входил на цыпочках, чтобы украсть волшебное зерцало. Ты была принцессой, вышедшей замуж за упыря. Я шел к тебе, как рыцарь, чтобы тебя спасти, я превращался в драко-

на и насиловал тебя. Ты мерила мою цену бриллиантами, я же мог предложить тебе лишь пепел. Помнишь, как в нашей первой комнате во вторую ночь я посадил тебя в ванну и тер губкой тебе лицо, и пальцы, и твои длинные руки так старательно, точно мыл кого-то из моих детей? Я пытался сказать тебе об этом еще тогда. Ведь я — отец. Наша любовь к детям ведет к их потере. Каким прелестным, ленивым, голым ребенком была ты тогда, моя любовница и минутная жена: веки твои были опущены, щеки покоились на простыне из пара, поднимавшегося от воды. Смогу ли я когда-нибудь забыть, хотя я вечно живу на небе, средь колесниц, чьи ободья сплошь состоят из глаз, прославляющих господа, — забыть, как ты вышла тогда из ванны и тело твое вдруг превратилось в водопад? Ты, совсем как мужчина, обмотала свои чресла полотенцем и заставила меня ступить в воду, которую твоя плоть зачаровала, покрыв серебристой пленкой. И я стал твоим ребенком. Дурацкой мокрой рукавицей ты, моя мать, моя рабыня, протерла мне даже уши, и я весь размяк, растаял от этих нежных омовений. Я все забыл, потонул. А потом мы высушили друг другу капли на мокрых спинах и отправились в кровать с намерением мгновенно заснуть, словно два послушных ребенка, которые спят и видят сны в низком шатре, под шум проливного дождя.

Джерри закрыл глаза, и это ее обидело. Она любила наблюдать любовь, следить за игрой, за слиянием слоновой кости и шерсти, за тем, как постепенно смягчается взгляд. Неужели она порочная? В Париже во время медового месяца с Ричардом ее сначала шокировали зеркала в комнате, а потом стали вызывать интерес. Ведь этим занимаются люди — такие уж они есть. Она даже немножко гордилась, что приучила и Джерри просто на это смотреть. Почему-то Руфь не научила его этому. Однако печаль в его глазах глубоко проникла ей в душу, и до конца дня Салли всем существом остро и испуганно ощущала свой образ в глазах других людей. Продавец газет в пропахшем духами вестибюле отеля, смотревший на нее из-под набрякших век, видел перед собой избалованную молодую даму. Официантка, подавшая им завтрак у стойки, весело взглянула на нее и явно приняла за секретаршу, переспавшую с хозяином. Отдав Джерри объятиям такси, Салли осталась одна — она кожей чувствовала, как отражается в каждом взгляде, в каждой стеклянной двери. Для продавцов в японском магазине сувениров она была слишком крупной. Для швейцара-негра она была белой. Для всех остальных — ничто.

Кто же она? И что за тяжесть несет она в себе, что за боль, которую, словно нерожденного ребенка, конечно же, стоит нести? Одна ли она такая? Или эта молоденькая черная девушка, похожая на шоколадного лебедя, эта подрумяненная матрона в шерстяных одеждах — тоже страдают от раздирающей сердце любви, которая в прямом смысле слова возносит на небеса? Салли не могла этому поверить; однако же не хотелось верить и тому, что

она одна такая — эксцентричная, сумасшедшая. Ей вспомнилась мать. Когда отец умер во время своей последней поездки — тихий мирный человек, навеки успокоившийся в больнице святого Франциска (все авторитеты сошлись на том, что в смерти его не были повинны ни таблетки, ни бутылка), они перебрались в Чикаго, поближе к родственникам матери, и ее мать, хоть и была католичкой, не ударилась в религию, не запила, а стала играть. Непостижимыми островками счастья в ту пору были дни, когда они вместе, на поезде или на автобусе, ездили в Арлингтонский парк, или на трек Готорна в Сисеро, или в Мейвуд смотреть рысаков; все в тех местах держалось на ниточке, на нерве, косо освещенное лучами удачи, — ноги лошадей, обмотанные белым бинтом, хлысты жокеев, планки загородок, брусья турникетов, отполированные множеством рук, исподтишка брошенные взгляды мужчин, возможно, гангстеров, летящие по ветру клочья разорванных пополам невыигравших билетов, косые лучи солнца, которые передвигаются, словно спицы медленно вращающегося колеса. Опухшие руки матери снова и снова теребили сумочку. Люди или лошади — разве у всех не один инстинкт? О, господи, только что он лежал рядом с ней, исходя страстью, словно в предсмертной лихорадке, и вот его уже нет — исчез, затерялся среди мраморных зданий. Только что был весь с нею, весь в ней, скулил и хныкал, а через минуту уже встречается с самим заместителем Госсекретаря по мультяшкам [1]. Где же тут разумное начало? Кто так все устроил? Он до того все запутал, этот ее не муж и не любовник, что она теперь и сама не знает, верит в бога или нет. Когда-то у нее было на этот счет твердое мнение — «да» или «нет», вот только она забыла какое.

Судя по солнцу, время перевалило уже за полдень, и тень ее съежилась; разгоряченные ноги болели. Салли повернула на север от отеля и неторопливо побрела по улицам — через однообразные кварталы, заполненные авиационными агентствами, мимо островков зелени, посреди которых стояли всадники в фисташковой форме и махали ей, пытаясь привлечь к себе внимание. Джерри должен ждать ее в Национальной галерее в час дня. А пока время то бежало, то останавливалось — в зависимости от того, на какие часы падал ее взгляд: свои она забыла надеть в спешке отъезда. И теперь на ее загорелой руке виднелась белая полоска от браслета.

Железные курильницы, каменные вазы, азиатские ножи для бумаги в витринах антикварных магазинов отвечали ей тупым блеском, когда она пыталась найти в них себя. Когда-то ее интересовали эти вещицы; когда-то она умела заполнить время, оказавшись в каком-нибудь городе одна: она разглядывала предметы и ткани и как бы вступала в обладание ими. Теперь же она искала себя в бронзе, шелках и фарфоре и — не находила. Когда она шла вместе с Джерри, она что-то в них обнаруживала, но уже не одну себя, а обоих: она объясняла ему, он — ей, они обменивались

[1] Так называют в США Уолта Диснея.

жизненным опытом, впитывая по частям тот огромный урок, которым стали для них годы, предшествовавшие их любви. В каждой вещи она видела лишь что-то, о чем можно рассказать ему, а без него — нечего и рассказывать: он украл у нее внешний мир. И она вдруг разозлилась на него. Да как он смел говорить ей, чтоб она не приезжала, а когда приехала, сразу лег с ней в постель! И при этом смотрел на нее такими печальными глазами, словно умоляя почувствовать себя виноватой! Да как он смеет брать ее задаром, когда она могла бы продать себя за сотни долларов любому достойному человеку на этом проспекте — ну, например, вон тому. Какой-то чиновник-иностранец в белоснежных манжетах и с экстравагантной, но тщательно продуманной стрижкой горделиво вышагивал по залитому палящим солнцем тротуару мимо министерства юстиции. Он поглядывал на нее. Она красивая. Сознание, что это так, все утро ближе и ближе подступало к ней и сейчас вошло в нее. Она красивая. Где бы она ни проходила, люди смотрят. Высокая, светловолосая, до краев наполненная любовью — отданной и полученной. Недаром, когда она поднялась, наконец, по ступеням музея, гигантская ротонда не показалась ей нечеловечески большой — такая, как надо: большому человеку нужны дворцы. Она долго стояла перед фигурой Карла V работы Леона Леони и в его расширенных зрачках видела себя королевой.

— Прекрати, — сказал Джерри, подходя к ней сзади и беря ее за локоть. — Прекрати быть такой красивой и гордой. Ты меня убьешь. Я упаду замертво к твоим ногам, и тогда — как ты доставишь мой труп Руфи?

Руфь, Руфь — она никогда не выходит у него из головы.

— Я очень на тебя рассердилась.

— Я знаю. Это видно.

— Ты думаешь, ты все знаешь обо мне, да? Ты думаешь, я принадлежу тебе.

— Ничего подобного. Ты во многом принадлежишь сама себе.

— Нет, Джерри. Я — твоя. Мне очень жаль. Я обременяю тебя.

— Не надо ни о чем жалеть, — сказал он. — Мне такое бремя нужно. — Глаза его внимательно следили за ее лицом, подстерегая сигнал тревоги, перемену. — Посмотрим? — робко спросил он. — Или пойдем есть?

— Давай посмотрим. Желудок у меня сегодня не в порядке.

И в галерее она все время остро ощущала, что существует среди картин, отражается в блеске глаз, глядящих на нее с портретов, смотрит, пригибается, отступает, позирует в этом завораживающем пестром театральном мире. В музеях Джерри становился маньяком — в нем пробуждалось увлечение школой старых мастеров. Его восторги тянули Салли из зала в зал. Его руки показывали, жадно повторяли жесты на застывших полотнах. Посетители, покорно внимавшие объяснениям через наушники, с возмущением посматривали на них. Наверно, она казалась им тупой ученицей Джерри. Наконец, он нашел, что хотел: стену с тремя Вермеерами.

— О, господи, — простонал он, — какой рисунок! Люди не понимают, какой у Вермеера *рисунок*. Влажные губы вон той женщины. И удивительные шляпы. А та — как освещены ее руки, и золото, и жемчуга. Это *прием*, понимаешь, двойной прием: точный цвет в точно избранном месте. — Он взглянул на Салли и улыбнулся. — Вот мы с тобой, — добавил он, — мы точно совпадаем по цвету, но, похоже, находимся не в том месте, где надо бы.

— Давай не будем говорить о нас, — сказала Салли. — Мне надоело быть в плохом настроении. У меня болят ноги. Я наверняка отмахала сегодня не одну милю. А что, если мы где-нибудь сядем и поедим?

Стены кафетерия были украшены репродукциями круглоглазых пернатых — творений Одюбона[1]. Проглоченная через силу еда камнем легла в желудке Салли. Вопреки обыкновению, у нее не было аппетита — возможно, от бессонницы, а возможно, от сознания, что время утекает так быстро. Зато Джерри уплетал за обе щеки — чтобы забить себе рот и не разговаривать или от радости, что еще одна адюльтерная эскапада благополучно подходит к концу. Оба молчали. Салли подумала, что тот огромный урок, который они друг другу преподали, усвоен ими до конца.

Она вздохнула.

— Не знаю. Наверно, мы просто оба ужасно эгоистичны и жадны.

Хотя она произнесла это, чтобы доставить ему удовольствие, он тут же стал возражать.

— Ты полагаешь? В конце концов Ричард и Руфь не так уж много нам и дали. Ну почему мы должны умирать ради того, чтобы их жизнь шла как по накатанному? Не умерщвляйте духа своего — разве святой Павел этого не сказал?

— Возможно, это чувство новизны делает наши отношения такими удивительными. Но мы устанем. Я уже сейчас устала.

— От меня?

— Нет. От всего.

— Я знаю, знаю. Не бойся. Мы благополучно доставим тебя назад.

— Меня это не волнует. Ведь Ричарду, в общем-то, все равно.

— Не может быть.

— Может.

— Думаю, что и Руфи было бы безразлично, узнай она обо всем.

Хотя Салли понимала, что Джерри сказал это просто в тон ей, она вдруг услышала свое настойчивое:

— А хочешь, давай не вернемся? Возьмем и удерем?

— Ты лишишься своих детей.

— Я готова.

— Это ты сейчас так говоришь, а через неделю тебе станет их не хватать, и ты возненавидишь меня, потому что их с тобой не будет.

---

[1] Одюбон Джон Джеймс (1785—1851) — американский орнитолог и художник, писавший птиц.

— Ты такой умный, Джерри.

— От этого нам ничуть не легче, верно? Бедняжка ты моя. Тебе нужен хороший человек в мужья и плохой человек — в любовники, а у тебя все наоборот.

— Ричард совсем не такой уж плохой.

— О'кей. Извини. Он — принц.

— Обожаю, когда ты злишься на меня.

— Я знаю. Но я не злюсь. И не собираюсь злиться. Я люблю тебя. Если хочешь ссориться, отправляйся домой.

Она посмотрела вокруг — за столиками сидели студенты художественных школ, преподаватели в обмотанных клейкой лентой очках, толстухи, бежавшие от жары, а на стенах — такие мертвые-мертвые птицы.

— Я туда и отправлюсь, — сказала она.

— И правильно сделаешь. Давно пора. Вот только остановимся по дороге купить что-нибудь моим чертовым деткам.

— Ты балуешь их, Джерри. Ты ведь уезжал всего на один день.

— Они ждут подарков. — Он поднялся, и они вышли через дверь, открывавшуюся прямо на тротуар. Он шагал стремительно, широко — мимо торговцев сластями и автобусов с туристами, и, стремясь не отстать, она задыхалась, так что слова не могла вымолвить. Наконец, сжалившись над ней, он взял ее за руку, но прикосновение было влажным, и обоим стало неловко: они уже перешли тот возраст, когда ходят, держась за руки. У двери в магазин мелочей, где в витрине были выставлены обычные дешевые сувениры — свинки-копилки, флажки, набившие оскомину изображения Кеннеди во всех видах, — выдержка вдруг изменила ей, и она наотрез отказалась зайти.

— Но почему? — спросил он. — Помоги мне выбрать.

— Нет. Не могу.

— Салли.

— Выбирай сам. Это твои дети — твои и Руфи.

Он побледнел: он никогда еще не видел ее такой.

Она попыталась загладить ссору:

— Я пойду в отель и уложу твой чемодан. Не волнуйся. Только, пожалуйста, не заставляй меня покупать с тобой игрушки.

— Слушай. Я люблю... — Он попытался взять ее под локоть.

— Не ставь меня в глупое положение, Джерри. Мы мешаем людям входить.

Шагая одна по 14-й улице — от блеска кусочков слюды в асфальте у нее резало глаза, — Салли вдруг заплакала и тотчас поняла, что никому до нее нет дела: никто на нее не смотрит — ни одна живая душа из всего этого множества людей.

Они вместе вышли из отеля и поймали такси. Они пересекли Потомак и проехали мимо какой-то непонятной аварии на дороге через парк у обелиска Вашингтону. Старенький синий «додж» с красным номером штата Огайо лежал вверх колесами на средней полосе — просто непостижимо, как его угораздило перевернуться. Никакая другая машина к этому явно не была причастна. Смею-

щиеся полисмены под палящим солнцем направляли движение. Две толстухи с всклокоченными волосами обнимались у линии разграничения, а вся поверхность дороги блестела, усеянная стекольной пудрой. Рука Джерри сжала ее руку. Авария осталась позади, машинам стало свободнее, и они поехали быстрее, шофер перестал что-то бормотать, и, покрутив по «восьмеркам», они подкатили к северному крылу аэровокзала.

В зале ожидания — хотя был обычный рабочий день — неожиданно оказалось много народу. По лицам оборачивавшихся людей Салли поняла, что их находят красивой парой, в чем-то заурядной, а чем-то запоминающейся: он — в сером, она — в черном, он — с чемоданом, она — с карманным изданием Камю. Она представила себе, как они на протяжении жизни входили бы в аэропорты, на вокзалы, на причалы, в вестибюли гостиниц, и подумала, что они всегда выглядели бы такими же — высокие, молодые, чуть слишком часто друг друга касающиеся. Хорошо бы Джерри перестал то и дело брать ее за руку — это разрушает иллюзию, будто они женаты. А он, видимо, не думал о необходимости поддерживать эту иллюзию здесь. Он поставил чемодан и направился к одной из очередей, а она, покраснев, волнуясь, заняла место в хвосте соседней очереди. Очередь была длинная, двигалась медленно, и постепенно Салли поняла, что атмосфера веселого оживления, царившая вокруг, не имеет никакого отношения ни к ней, ни к ее растерянному виду. Пораженная, она вдруг обнаружила — так поражается человек, который, проснувшись, видит, что находится в комнате, где мебель расставлена точно так же, как в его долгом сне, — что, кроме нее, на свете существуют другие люди и другие проблемы. В очереди чуть позади стоял полный раскрасневшийся человек в мятом дакроновом костюме — от волнения он даже не замечал, что то и дело ударяет ее по ногам своим чемоданом. «Мне надо быть в Ньюарке к семи», — твердил он. Взволнованное лицо уже не пыталось сохранять вкрадчивое выражение, на которое намекала тоненькая щеточка усов. Одно время Ричард тоже носил такие усы, и Салли подумала, не потому ли его верхняя губа в профиль кажется ей теперь такой голой и беззащитной.

Когда две очереди, изогнувшись, сблизились до расстояния вытянутой руки, Джерри взял ее под локоть и сказал:

— Похоже, забастовка в «Истерн» создала здесь пробку. Надо было нам заранее забронировать места. Когда ты должна вернуться?

— Я думала — между пятью и шестью. Да не волнуйся ты так, Джерри.

— Я волнуюсь не за себя. Руфь посдет встречать меня только после девяти. Давай подумаем. Сейчас пять минут четвертого. Предположим, мы не попадем на три пятнадцать, следующий самолет — в четыре пятнадцать; твоя машина стоит в аэропорту Ла-Гардиа...

— Она может не завестись.

Салли сказала это, чтобы подразнить его. Но он даже не улыбнулся. Длинное лицо его было напряжено и без смешливых мор-

щинок казалось моложе, неискушеннее. Ричард не раз говорил: Джерри не знает, что такое страдание. Салли поняла эти слова по-своему: что Джерри скользит по поверхности, а Ричард зарывается вглубь; или же: что Джерри со своей женой жить легче, чем ему с нею. Но мысль об этом не оставляла Салли, и она то и дело думала: не для того ли Джерри впустил ее в свою жизнь, чтобы научиться страдать. Он сказал:

— Будем исходить из того, что заведется. Тогда ты приедешь домой чуть позже шести — со скидкой на час «пик». Это тебя устроит?

— Как выйдет, так и выйдет, — отрезала она. Их разговор явно начал отвлекать стоявшего позади мужчину от собственных забот.

Джерри выхватил у нее из рук деньги и раздраженным жестом показал, чтобы она вышла из очереди.

— Я с таким же успехом могу купить и оба эти чертова билета. Не понимаю, на кой бес нам нужно создавать эту видимость. — Он посмотрел прямо в лицо мужчине, стремившемуся попасть в Ньюарк, и изрек: — Летайте по воздуху, ругайте без роздыху. — Такая бравада, как раз в его стиле: ему приятно создавать впечатление, что он — с любовницей.

Все пластмассовые кресла были заняты. Молоденький моряк-китаец поднялся, уступая Салли место, и она, перешагнув через его спортивную сумку, села. Обычно она не любила, когда к ней относились как к слабому существу, но сейчас охотно приняла предложение моряка. Ей хотелось от всего отключиться. Она углубилась в Камю. Пистолет в руке, слепящий свет. Араб в бумажных брюках. Выстрел как удар хлыста. Ощущение нереальности. Джерри подошел к ней, держа два желтых билета, и сказал:

— Ну и каша. Оказывается, сегодня на Нью-Йорк не бронируют места — мы все в живой очереди. Но они в любую минуту ждут сообщения о дополнительном самолете. Я уверен, что ты попадешь домой к шести.

— Ш-ш. Ты слишком громко говоришь.

— Слишком громко — для чего?

— А, неважно.

Отрезвленный ее взглядом, он сказал:

— Я получил посадочные талоны с номером очереди.

— На чье имя?

— На мое. О'кей?

Она не могла не улыбнуться.

— Это, кажется, незаконно, — сказала она, потому что он явно именно об этом сейчас и думал.

«Пасхальное шествие» в бравурной аранжировке «Музак» вдруг смолкло, и громкоговоритель забормотал что-то нечленораздельное. Новая волна усталых путешественников скатилась по настилу и растеклась у билетных стоек. Служащие в синих форменных костюмах казались совсем юными и испуганными. Они с преувеличенной четкостью прикрепляли к билетам талончики на багаж и отвечали на вопросы с той непреложной категорично-

стью, с какой Салли обычно лгала Ричарду. «Ты врешь, как мужчина, — однажды сказал он ей. — Выдумываешь какую-нибудь неправдоподобную историю и держишься ее». Значит, Ричард знает о ней то, чего не знает Джерри. Она ведь никогда не лгала Джерри. И при мысли об этом он сразу показался ей безнадежно наивным, беспомощным; она встала и пошла к стойке вдоль очереди, состоявшей сплошь из мужчин. Должны же быть какие-то преимущества оттого, что ты — женщина; нельзя только ждать и желать.

Девушка, занимавшаяся билетами, была такая молоденькая, что не побоялась искусственной седины; Салли почувствовала свое превосходство над нею — превосходство умудренной опытом женщины. У этой девчонки нет детей, нет женатого любовника, за которого она не может выйти замуж. Она из причуды покрыла волосы инеем.

— Я должна быть дома к шести, — заявила ей Салли. Но голос ее прозвучал хрустко, робко, тогда как ответ девушки был профессионально тверд.

— Мне очень жаль, мисс, — сказала она. — Следующий самолет на Ла-Гардиа вылетает в четыре пятнадцать. Пассажирам, стоящим в живой очереди, следует пройти к выходу двадцать семь, имея при себе посадочные талоны с порядковым номером.

— Но мы попадем на самолет? — спросила Салли.

— По расписанию следующий самолет на Ла-Гардиа вылетает в четыре пятнадцать, — повторила девушка, ловко прикалывая талончик к билету.

Джерри подошел и встал за спиной Салли.

— Нам сказали, что может быть дополнительный.

— Мы ждем сообщения об этом, сэр, — сказала девушка. Взгляд ее кукольных глаз, умело подмазанных гримом, официально выдаваемым авиакомпанией, охватил Джерри вместе с Салли, но выражение их не изменилось. Салли не была уверена, должна ли она говорить «мы» или «я». Люди в очереди, услышав их переговоры с девушкой и почувствовав, что эти двое могут попасть на самолет раньше остальных, заволновались, затолкались.

— Прошу соблюдать очередь, — повысив голос, крикнула девушка. — *Прошу* не выходить из очереди.

Салли вдруг почувствовала симпатию к девушке: пока они с Джерри занимались любовью, таким вот младенцам пришлось взвалить на себя дела целого мира. И теперь, когда взрослые вышли из своего эгоистического уединения в постели, они с раздражением обнаружили, что мир распадается на части. Какие все они алчные, какие напористые! Салли стало стыдно, и она закрыла глаза, от души желая снова стать маленькой девочкой. Девочкой, какой она была до того дня, когда отец не вернулся домой. Все поездки, подумала она, таят в себе эту возможность — невозвращения.

— Пить хочется, — сказала она.

Джерри спросил:

— Пить или выпить? Чего-нибудь крепкого или просто так?

— Просто так. От алкоголя у меня только больше будет голова кружиться. — Какой-то частицей души она все еще была там, на берегу, с Мерсо и Арабом.

У стойки, где продавали сосиски, стояла такая толпа, что не протолкнешься, но шагах в ста дальше по коридору в направлении центрального зала они обнаружили бар, открытый, точно сцена, с одной стороны; в дальнем конце его был свободный столик. Джерри усадил за него Салли и из отнюдь не блещущего чистотой оазиса, по обеим сторонам которого булькали стеклянные конусы с подцвеченной водой, добыл два пакетика молока в виде двух островерхих палаток из вощеной бумаги. Вернувшись к столику, Джерри поставил один пакетик себе на голову и стал им балансировать. В руке он держал соломинку в белом бумажном пакетике и размахивал ею, как волшебной палочкой. А Салли была Золушкой.

Она сказала:

— Не занимайся эксгибиционизмом.

— А я буду, — сказал он. — Я пришел к выводу, что я страшный человек. Понять не могу, что ты во мне нашла.

Она проткнула отмеченный пунктиром уголок, просунула в отверстие соломинку и принялась пить; по выражению его лица она поняла, что он пустится сейчас в рассуждения.

— Займемся анализом, — сказал он. — Что ты во мне нашла? Должно быть, то, что ты можешь быть со мной лишь считанные минуты — минуты, за которые тебе приходится бороться, — и делает наши отношения бесценными. А вот если мы поженимся, когда я умерщвлю свою жену и по крови своих детей приду к тебе...

— Какие ужасы ты говоришь, Джерри.

— Так мне это видится. Если я таким образом поступлю, я уже не буду тем, кого, тебе кажется, ты любишь. Я буду человеком, бросившим жену и троих детей. Я буду презирать себя, и ты очень быстро станешь относиться ко мне соответственно.

— Я вовсе не уверена, что все именно так произойдет, — сказала она, мысленно пытаясь как-то обобщить свои представления о жизни. Он право, ничего не понимает. Джерри верит в возможность выбора, в ошибки, в осуждение на вечные муки, — верит, что можно избежать страданий. Они же с Ричардом просто верят в случай. Да, конечно, детство у нее было несчастливое: неожиданная смерть отца, сумасшествие матери, депрессивное состояние старшего брата, интернаты — и тем не менее в ней жило чувство, что она не имела бы сейчас своего лица, случись все иначе. Она была бы другой — такою, какой ей вовсе не хотелось быть.

— С другой стороны, — сказал он, изящно изгибая кисть (никому из ее знакомых не доставляло такого удовольствия любоваться своими руками), — почему я тебя люблю? Ну, ты мужественная, добрая — в самом деле очень добрая, — роскошная, женственная, живая, в общем — отличная баба, это всякому ясно. Тут уж ничего не скажешь: стоит тебе войти в комнату, все в тебя

влюбляются. Я влюбился в тебя, как только увидел, а ты была тогда на девятом месяце — ждала Питера.

А ты ведь ошибаешься. Я нравлюсь очень немногим.

Он с минуту подумал, словно производя смотр сердец их общих знакомых, и затем сказал с присущей ему жесткой бесстрастностью:

— Пожалуй, ты права.

— Ты вообще единственный, кто видит во мне что-то особенное. — Подбородок у нее задрожал: произнося эти слова, она почувствовала, что еще крепче привязывает себя к нему.

Он сказал:

— Другие мужчины — просто идиоты. Однако же, несмотря на все свои чары, ты несчастлива. Ты нуждаешься во мне, а я не могу тебе себя дать. Я хочу тебя, а получить в свою собственность не могу. Ты — точно золотая лестница, до вершины которой я так никогда и не долезу. Я смотрю вниз — и земля кажется мне клубком голубого тумана. Я смотрю вверх — и вижу сияние, до которого мне никогда не добраться. Это-то и придает тебе непостижимую красоту, и если я женюсь на тебе, я ее уничтожу.

— Знаешь, Джерри, брак — он ведь кое-что и создает, а не только разрушает иллюзии.

— Знаю. Я действительно это знаю. И это меня убивает. Я хочу, помимо всего прочего, — хочу *сформировать* тебя, создать тебя заново. Я чувствую, что мог бы. А вот с Руфью я этого не чувствую. Она, в общем-то, уже сложилась, и мне, если жить с ней, то лучше всего... — и он на пальцах проиллюстрировал свою мысль, — ...на параллелях.

— Давай посмотрим правде в лицо, Джерри. Ты все еще любишь ее.

— Она не вызывает у меня неприязни — это точно. Хотел бы, чтоб было иначе. Это могло бы все облегчить.

Она потянула через соломинку воздух со дна пакета.

— Не пора ли нам двигаться, чтоб не опоздать на четыре пятнадцать?

— Подожди, не затыкай мне рта. Пожалуйста. Послушай. Я вижу все так ясно. У нас с тобой, солнышко мое Салли, — любовь идеальная. Идеальная — потому что она не может быть материализована. Для мира мы не существуем. Мы никогда не лежали вместе в постели, мы не были вместе в Вашингтоне; мы — ничто. И любая попытка начать существовать, вырваться из этой муки убьет нас. О, конечно, мы можем на все наплевать и пожениться и как-то склеить совместную жизнь — в газетах об этом пишут каждый день, — но то, что есть у нас сейчас, мы потеряем. Самое грустное, конечно, что мы в любом случае это потеряем. Слишком вся эта ситуация тяготит тебя. Ты скоро меня возненавидишь. — Он был явно доволен столь блистательным выводом.

— Или ты — меня, — сказала она, поднимаясь. Ей не нравился этот бар. Детишки, ссорившиеся за соседним столиком, вызвали у нее тоску по собственным детям. Мать детишек, хоть и была не старше Салли, выглядела бесконечно измученной.

Когда они выходили из этого бара, напоминавшего сцену, Джерри рассмеялся так театрально, что все головы повернулись в их сторону. Он схватил Салли за руку выше локтя и сказал:

— Знаешь, на что мы похожи? Мне только сию минуту пришло это в голову. Мы с тобой — точно слова молитвы, выгравированные на рукоятке ножа. Помнишь, в детстве мы читали Рипли «Веришь — не веришь!» — там всегда были такие штуки? Выгравировано старым чероки в Стиллуотерсе, штат Оклахома?

Они пошли к выходу на поле по коридору, оклеенному рекламами: одна стена здесь была голубая, другая — кремовая. Салли поняла, что бессильна против этого потока слов: ее словно обезоружили и выставили на посмешище.

— Джерри, наш брак ничем бы не отличался от других браков: жизнь не превратилась бы в сплошной рай, но это еще вовсе не значит, что в ней не было бы ничего хорошего.

— Ох, не надо, — взмолился он, глаза его стали какие-то бесцветные, и он поспешно отвел их от нее. — Не заставляй меня терзаться. Конечно, нам было бы хорошо. Бог ты мой! Конечно, ты была бы мне лучшей женой, чем Руфь. Хотя бы потому, что ты животное классом выше.

«Животное» — это слово больно хлестнуло ее, но, собственно, почему? В Париже она глядела на себя в зеркала и видела правду: люди — животные, белые животные, извивающиеся, рвущиеся к свету. У выхода номер 27 толпились животные в костюмах, они плотно сбились, словно стадо у кручи; от них исходил запах паники. Впервые Салли ощутила безнадежность ситуации. Десятки людей пришли сюда раньше их. Иллюзия порядка, которую поддерживали немногословные молодые агенты по продаже билетов в большом зале ожидания, здесь, среди реклам, предлагающих посетить Бермудские острова и нью-йоркские мюзиклы с длинными, ничего не говорящими названиями, полностью рассыпалась. Ни единого сотрудника авиакомпании. Стальная дверь выхода номер 27, точно вход в газовую камеру, плотно задвинута. Бетонный пол чуть скошен, словно для стока крови. Джерри поставил чемодан у металлической стены и жестом предложил Салли сесть на него, а сам отправился в голову очереди — поговорить с теми, кто был в гуще толкучки. Вернувшись, он сказал:

— Ну и дела. Двое из тех ребят ждут уже с полудня.

— Посадочные талоны у тебя? — спросила она.

Расстроенный, взмокший, он дважды перерыл все карманы, пока, наконец, нашел их и, точно фокусник, стремительным жестом извлек на свет. Внезапно залаял невидимый громкоговоритель. Негр в больших голубых солнечных очках и пилотской фуражке открыл с другой стороны стальную дверь. К нему жался маленький бледный контролер с узким лицом. Громкоговоритель объявил посадку на самолет, вылетающий в четыре пятнадцать на аэродром Ла-Гардиа, выход номер 27, и по коридору, чинно вышагивая, продефилировала группа пассажиров — легкие чемодан-

чики, хорошо одетые дети и шляпы с цветами. Все это были обладатели забронированных мест. А прочие — «живая очередь» — толпились за оградой из металлических трубок. Один за другим обладатели забронированных мест отмечались у стойки и исчезали. Крещендо недовольных воплей взмыло над сгрудившейся очередью, угрожая захлестнуть негра в голубых солнечных очках; он поднял глаза от билета, который как раз собирался надорвать, и весело сверкнул белоснежными зубами, широкой улыбкой, поражавшей глубиной своей радости, своей мстительности, своего понимания и своего ангельского презрения.

— Потерпите, ребята, — сказал он. — Пусть жена сначала выпроводит его из дома.

Нарочито громкий смех был ответом на эту шутку. Джерри тоже рассмеялся и осторожно бросил взгляд на Салли, а ей был отвратителен смех толпы: они же все подхалимничают перед этим негром. Только бы привлечь к себе его внимание — может, тогда он пропустит их. Дверь, ведущая к самолету, превратилась в позорную преграду; чтобы пройти сквозь нее, требовались улещивания и подкуп. Когда последние обладатели забронированных мест отметились, у стойки пошептались и выкрикнули два номера, не имевших ничего общего с теми, что стояли на посадочных талонах Джерри и Салли. Двое мужчин — таинственные избранники, по костюму и внешнему виду ничем не отличавшиеся от остальных, — отделились от стада и прошли в дверь. Негр приподнял свои голубые солнечные очки и медленно оглядел оставшихся. Глаза у него были налиты кровью. На секунду они остановились на Салли, приподнявшейся было с чемодана.

— Все, друзья, — сказал он.

В воздухе раздался сдавленный стон протеста.

— А как насчет дополнительного? — крикнул кто-то.

Негр словно и не слышал. Он шагнул в сторону, и стальная дверь с грохотом захлопнулась за ним. Фаланга пассажиров с только что прилетевшего самолета появилась в глубине коридора и двинулась на них — им пришлось отступить в зал ожидания, который сразу словно уменьшился в размерах. Ноги у Салли болели, в горле снова пересохло, и мужчина, стоявший рядом, вдруг показался ей загримированным и чужим, одновременно близким и далеким — точно в пьесе, которую они играли в школе, когда другая девочка изображала ее мужа. Нараставший у Джерри страх, — а Салли чувствовала его запах, — оскорблял ее. Она сказала ему:

— Джерри, ты не видишь всего юмора ситуации.

Он спросил:

— Может, попытаем счастья в «Американ»?

— У меня не хватит денег еще на один билет.

— Господи, у меня тоже. Придется сдать наши билеты и получить деньги.

Он добрых четверть часа проторчал в плотно сбитой, громко выражавшей свое возмущение очереди, и когда билеты были, наконец, сданы и деньги получены, Джерри и Салли помчались по

бесконечным чертовым коридорам и лестницам, соединявшим северное крыло аэровокзала с главным зданием. Компания «Американ» помещалась в самом дальнем конце. Здесь было просторнее, яркий свет не так бил в глаза, но к полированным поверхностям все равно липла чума суеты. От билетных стоек отошли двое-трое со знакомыми лицами — такие же, как они, ветераны ожидания. «Кина, ребятки, не будет», — весело объявил им один. Значит, их уже приметили. Должно быть, они привлекают внимание — неужели так заметно, что они незаконно вместе? Неужели от них так несет любовью?

Агент по продаже билетов компании «Американ», отвечавший точно запущенная магнитофонная лента, подтвердил дурные вести: ни одного места на север до завтрашнего утра. Джерри отвернулся от стойки, губы его брезгливо вытянулись под облезшим от загара носом. Салли спросила:

— А мы можем получить наши места в «Юнайтед»? У нас сохранились посадочные талоны?

— Сомневаюсь. Ох, до чего же я нескладный. Возьми себе лучше пилота в возлюбленные.

Они помчались назад — ее стертые пятки вопили от боли при каждом шаге, — и Джерри снова стал в очередь, и девушка с химически-седыми волосами, состроив гримасу, восстановила их в списке. Он вернулся к Салли и сообщил:

— Она говорит, нечего и думать попасть на тот, что вылетает в пять пятнадцать, но они надеются, что будет дополнительный около шести. Ричард уже вернется домой?

— Наверно. Джерри, не надо делать такое отчаянное лицо. Положение безвыходное. Давай примиримся с тем, что еще несколько часов проведем вместе.

Руки его безвольно висели вдоль тела. Он дотронулся до ее плеча.

— Пойдем погуляем.

Они прошли мимо автоматов, продающих плитки шоколада и книжки Гарольда Роббинса, и, толкнув захватанную двойную дверь, выбрались на воздух. Она сняла туфли, и он нес их — по одной в каждой руке. Она взяла его под локоть, и он, сунув туфлю в карман пиджака, сжал ее пальцы свободной рукой. Они вышли на узкий тротуар, тянувшийся вдоль каких-то безликих, низких кирпичных зданий, — здесь, видимо, никто никогда не гулял, — и двинулись по нему. Асфальт под ее ногами без туфель был теплый. Джерри вздохнул и опустился на низкий бетонный парапет, который разделял два клочка пожухлой травы, нуждавшейся в стрижке. Салли села с ним рядом. Перед ними лежал голый пустырь, где стоял, уткнувшись в землю, одинокий бульдозер, словно его бросили посреди последнего рывка в конце рабочего дня. Мирная тишина повисла над этими акрами ободранной земли. За ними брусочек моста через шоссе поблескивал бесшумно проносившимися машинами. Вдали виднелись деревья, стояли ряды красноватых государственных жилых домов, а еще дальше, на низком синем холме, — аккуратно посаженная роща и надо

всем — бескрайнее нежно-голубое небо, зеленоватое ближе к затянутому дымкой горизонту. Пейзаж был какой-то удивительно благостный. Без туфель ноги у Салли перестали гореть, и ее спутник здесь, на фоне неба и травы, вновь обрел реальность.

— Я так и вижу нас в Вайоминге, — сказал он, вытянув руку и указывая куда-то в пространство, — с нами твои дети, и у нас есть лошадь, и холодное маленькое озеро, где можно плавать, и сад, который мы разобьем у дома.

Она рассмеялась. Она заметила как-то мимоходом, что ей всегда хотелось вернуться на запад, но не на побережье, и с тех пор он в своих планах на будущее неизменно исходил из этого. «Вайоминг» — само слово, когда она мысленно писала его, дышало простором, привольем.

— Не дразни меня, — сказала она.

— Разве я тебя дразню? И не думаю. Я говорю все это потому, что так чувствую, хочу, чтобы так было. Извини. Боюсь, слишком я с тобой нюни распускаю; наверно, следовало бы делать вид, будто я вовсе не считаю, что жизнь у нас сложится чудесно. А ведь жизнь у нас сложится чудесно, если я сумею преодолеть чувство вины. Первый месяц мы станем только заниматься любовью и смотреть на все вокруг. Мы ведь будем такие усталые, когда там обоснуемся, и нам придется смотреть на мир заново и строить его, начиная с фундамента: засыпать гравий, потом класть камень за камнем.

Она рассмеялась.

— Мы с тобой будем этим заниматься?

Он явно обиделся.

— А разве нет? Это кажется тебе неразумным? Меня, например, после любви с тобой всегда тянет к земле. Сегодня утром, когда мы под руку вышли на улицу, я увидел в витрине магазина маленькое растение, и оно показалось мне удивительно живым. Каждый листочек, каждая жилка. Именно такими я видел предметы, когда учился в художественной школе. В Вайоминге я снова начну писать маслом — и рисовать тостеры для рекламного агентства в Каспере.

— Расскажи мне про художественную школу, Джерри.

— А нечего рассказывать. Я поступил туда и встретил там Руфь, и она очень неплохо для женщины рисовала; отец у нее был священником, и я женился на ней. И не жалею об этом. Мы прожили вместе несколько хороших лет.

— Знаешь, тебе будет ее не хватать.

— В определенном смысле — пожалуй. А тебе, как ни странно, будет не хватать Ричарда.

— Не говори «как ни странно», Джерри. Ты иногда вынуждаешь меня думать, что все это — дело моих рук. Ты и Руфь были так счастливы...

— Нет.

— ...а тут появилась эта злополучная женщина, которая вела себя так, будто хочет завести любовника, тогда как на самом деле хотела заполучить тебя в мужья.

— Да нет же. Слушай. Я ведь уже не один год люблю тебя. И ты это знаешь. И понял я, что люблю тебя, не в ту минуту, когда мы легли в постель, — я это понял, *увидев* тебя. Что же до брака, то ведь не ты завела о нем разговор. Ты считала его невозможным. А я подумал, что из этого может кое-что получиться. Мне, конечно, не следовало говорить об этом, пока я сам твердо не решил, но ведь и тут мною двигала любовь к тебе: я хотел, чтобы ты знала... Ох, слишком много я болтаю. Даже слово «любовь» начинает звучать бессмысленно.

— В одном ты был неправ, Джерри.

— В чем же? Похоже, я неправ во всем.

— Своей великой любовью ты внушил мне, что быть на положении любовницы — это для меня унизительно.

— Так оно и есть. Ты для этого, право же, слишком хорошая, слишком прямая. Слишком безоглядно ты собой жертвуешь. И я ненавижу себя за то, что все это принимаю.

— Принимай и дальше, Джерри. Если ты не можешь взять меня в жены, пусть хоть я останусь для тебя хорошей любовницей.

— Но я не *хочу*, чтобы ты оставалась любовницей, — наши жизни для этого не приспособлены. Любовницы — это для европейских романов. А здесь, у нас, другого института, кроме брака, нет. Семья — и баскетбол в пятницу вечером. Ты так долго не выдержишь; тебе кажется, что выдержишь, но я-то знаю, что нет.

— По-моему, я это тоже знаю. Просто я ужасно боюсь, погнавшись за безраздельным обладанием тобой, потерять даже то, что у нас сейчас есть.

— У нас есть любовь. Но любовь должна приносить плоды, иначе она иссякнет. Я вовсе не имею в виду детей — видит бог, у нас их и так слишком много, — я имею в виду ощущение раскованности, праведности — понимаешь, любовь должна быть освящена благословением. Слово «благословение» кажется тебе глупым?

— А разве мы — не благословение друг для друга?

— Нет. Оно должно исходить не от нас, а свыше.

Над ними в еще ярком небе, тогда как на землю уже наползала тень, беззвучно висел распластанный серебряный самолет. Джерри легонько обнял ее за плечи и совсем по-иному посмотрел на нее — лицо его расползлось в отеческой улыбке, всепрощающей, обволакивающей. Он сказал:

— Эй! — и посмотрел на свои колени. — Ты знаешь, я могу сидеть здесь с тобой и говорить о потерях — о том, что могу потерять тебя и что мы оба можем потерять нашу любовь, но ведь я говорю только потому, что ты — со мной, и все это всерьез не воспринимаю. А вот когда я *потеряю* тебя, когда тебя со мной не будет, тут я взвою как зверь. По-настоящему взвою. И все, что мешает мне сейчас прийти к тебе, покажется пустыми словами.

— Но ведь это не пустые слова.

— Нет. Пожалуй, не совсем. Возможно, беда наша в том, что мы живем на закате старой морали: она еще способна мучить нас, но уже не способна поддерживать.

Тембр его голоса, заглохшего в беспросветном мраке, заледенил ее. Она чуть подвинулась вперед, высвобождаясь из-под его руки, встала, глубоко вобрала в легкие воздух и позволила мысли раствориться в природе.

— Какой чудесный долгий день, — сказала она, пытаясь вернуть радость, охватившую их при виде этих мест.

— Почти самый долгий в году, — сказал он, поднимаясь с нарочито самоуверенным видом, который старался придать себе всякий раз, как получал отпор. — Никак не могу сообразить, дни сейчас убывают или еще прибывают? — Он посмотрел на Салли и, решив, что она не поняла, пояснил: — Я имею в виду солнцестояние.

И оба расхохотались от этой его попытки объяснить очевидное.

Они вернулись в зал ожидания и обнаружили, что там по-прежнему полно народу. Самолет в пять пятнадцать улетел. Запах сосисок усилился: настало время ужина. Трое молодых людей за стойками уже явно осатанели от нескончаемого столпотворения. Они перекидывались остротами, то и дело пожимали плечами и не столько отвечали на вопросы разъяренной, взволнованной толпы, сколько стоически сносили ее возмущение. Девушка с седыми волосами потягивала кофе из стаканчика с эмблемой авиакомпании. Джерри осведомился у нее, будет ли дополнительный самолет в шесть часов.

— Нам еще ничего не известно, сэр.

— Но ведь час назад вы сказали, что он будет.

— О вылете объявят, сэр, как только мы получим подтверждение.

— Но нам *необходимо* попасть домой. Наша... наша помощница, которая сидит с ребенком, собиралась пойти на танцы. — Как это похоже на Джерри, подумала Салли: зачем врать, когда не умеешь. Танцы во вторник вечером? Они с девушкой переглянулись, и тогда Джерри, разоблаченный ими обеими, спросил девушку напрямик: — Так есть надежда?

— Мы запросили о дополнительном самолете нашу главную контору и ждем ответа, — сказала она и отвернулась, чтобы без помехи насладиться кофе.

Вид у Джерри был такой мрачный, что Салли сказала: «Я есть хочу», в надежде услышать от него обычную грубовато-дружескую шутку по поводу ее аппетита. Но он воспринял ее слова лишь как некий факт, требовавший определенных действий, и, вытащив не без труда свой чемодан из-за пластмассового кресла, повел ее назад по голубому и кремовому коридору в бар. Все столики были заняты. Он поставил чемодан у металлического столба и, усадив на него Салли, отправился к стойке выяснить, есть ли сандвичи. Он принес два тоненьких сухих ломтика хлеба с ветчиной и сыром и два бумажных стаканчика с кофе. Почему он не прихватил ничего покрепче? Наверное, решил, что не положено пить, когда ты в столь тяжелом положении, или что надо сохранять ясность ума. Будь она дома, Ричард уже нес бы ей сейчас джин с тоником,

или дайкири, или даже ромовый коктейль «Коллинз», или чистый джин с лимоном. В их первое совместное рождество она подарила ему шейкер для сбивания коктейлей, и даже когда они ссорились до умопомрачения, он торжественно приносил ей что-нибудь выпить. Она подумала, что Ричард во время этого ожидания непременно устроил бы спектакль — по крайней мере, взорвался бы, возмутился. Крупный, сильный, с далеко не идеальным зрением, он обожал лезть на рожон. Обожал кухню, обожал так забить холодильник, чтобы тот, набирая холод, весь трясся. Салли ощутила во рту вкус дайкири, который он бы ей принес. Холодный-прехолодный.

Джерри ел стоя, возвышаясь над нею, и сама поза возродила в нем желание поактерствовать. Если бы это была сцена, они находилась бы на самом ее краю. В двух-трех шагах от них непрерывно шаркала толпа.

— Я попытался представить себе тиски, в которых я очутился, — сказал он ей. — Так вот: я — между смертью и смертью. Жизнь без тебя — для меня смерть. С другой стороны, бросить семью — это грех; пойдя на такой шаг, я отрину господа, а отринув господа, лишусь права на вечную жизнь.

Салли почувствовала, что у нее нет сил бороться, ну что она может сказать в ответ на такое обвинительное заключение? Она попыталась подладиться под его умонастроение, но трудно было поверить, что ум хоть как-то ко всему этому причастен.

Заглотив сандвич, он присел на корточки и зашептал ей в самое ухо. Она досадливо отвернула голову и в эту минуту заметила знакомого с виду мужчину, который стоял у бара и смотрел на них. Он тотчас отвел взгляд; его усики в профиль на фоне неоновой рекламы превратились в зеленую каплю под носом. А Джерри шептал ей:

— Я смотрю на твое лицо и представляю себе, что вот я лежу в постели, умираю и спрашиваю себя: «Именно это лицо хотелось бы мне видеть, лежа на смертном одре?» Не знаю. Честно говорю: *не знаю*, Салли.

— Ты не скоро умрешь, Джерри, и до тех пор в твоей жизни будет еще много женщин после меня.

— Ничего подобного. Ты — моя единственная женщина, ты — единственная женщина, которую я хочу. Ты была предназначена мне на небесах, и небеса же не разрешают мне быть с тобой.

Она чувствовала, что ему доставляет удовольствие создавать немыслимые препятствия из абсурдных абсолютов, а кроме того, она чувствовала, что ему доставляет удовольствие наказывать ее. Наказывать за то, что она его любит. Она понимала, что он считает такое наказание благом: совесть требовала, чтобы он все время держал ее на грани боли, обрамлявшей их любовь. Но понимала она и то, что он ведет себя, как ребенок, который нарочно говорит гадости в расчете, что ему станут возражать.

— Ты ведь не женщина, Джерри, поэтому, мне кажется, ты преувеличиваешь, думая, что твой уход будет так уж болезненно воспринят Руфью.

— В самом деле? Как же он будет ею воспринят? Скажи. — Руфь была единственной земной темой, которая никогда не переставала интересовать его.

— Ну, она будет потрясена и почувствует себя очень одинокой, но при ней останутся дети, и у нее появится... трудно передать это словами, но я понимаю по себе, когда я осталась одна... у нее появится чувство удовлетворения при мысли, что вот еще один день она пережила и справилась. В замужестве этого чувства не испытываешь. А потом она, конечно, снова выйдет замуж.

— Думаешь, выйдет? Скажи — да.

— Конечно, выйдет. Но...Джерри? Только, пожалуйста, не злись?

— Я слушаю тебя.

— Если ты намерен делать этот шаг, то делай. Я не знаю, о чем она догадывается или что ты ей говоришь, но если ты мучаешь ее так, как мучаешь меня...

— Я тебя мучаю? Господи! Я же хочу как раз обратного.

— Я знаю. Но... я... я не собираюсь собой торговать. Я буду приходить к тебе, сколько смогу, и тебе вовсе не обязательно на мне жениться. Но не дразни меня такой возможностью. Если ты считаешь это возможным и хочешь этого, то женись на мне, Джерри. Оставь ее, и пусть она создает себе новую жизнь. Она не погибнет.

— Хотел бы я быть в этом уверен. Вот если бы существовал какой-то приличный человек, который, я бы знал, готов на ней жениться и заботиться о ней... Но все знакомые мужики по сравнению со мной — сущие кретины. В самом деле. Я вовсе не самонадеян, просто это факт.

Салли подумала: не потому ли она и любит его, что он может сказать такое и в то же время выглядеть наивным мальчишкой, который многого от нее ждет и даже готов выслушать отповедь.

— Она не найдет никого другого, пока ты не уйдешь от нее, — сказала ему Салли. — Не можешь же ты выбрать ей нового мужа, Джерри, вот это уж действительно слишком самонадеянно с твоей стороны.

Всякий раз, как она пыталась уязвить его, он был, казалось, только благодарен ей. «Давай, давай, — словно говорила его улыбка, — сделай мне больно. Помоги мне».

— Ну что ж, — сказал он и вставил один стаканчик из-под кофе в другой. — Все это чрезвычайно интересно. Досыта наелись горьких истин.

— Зато, по-моему, мы все друг другу выложили начистоту, — заметила она, пытаясь оправдаться.

— Мило, правда? До того мило — выложить все друг другу и сидеть спокойненько, как ни в чем не бывало. Но нам, пожалуй, лучше вернуться. Вернуться в свой ад.

— Спасибо за сандвич, — сказала она, поднимаясь. — Он был очень вкусный.

— Ты грандиозна, — сказал он ей. — Грандиозная блондинка.

Когда ты встаешь — точно флаг поднимается. У меня сразу возникает желание присягнуть ему. — И он при всех церемонно прижал руку к сердцу.

Толпа разрослась: к билетным стойкам было не пробиться. Салли вдруг поняла полную безнадежность их положения и впервые после полудня почувствовала, что сейчас заплачет. Джерри повернулся к ней и сказал:

— Не волнуйся. Я доставлю тебя домой. А что, если нам нанять машину?

— И проделать весь путь на колесах? Джерри, да разве это *возможно?*

— Ну, а ты не считаешь, что хватит с нас самолетов?

Она кивнула, и слезы обожгли ей горло как отрыжка. Джерри помчался во весь дух по коридору — ей казалось, что кожа у нее на пятках рвется в клочья, когда она кинулась за ним. Стойки компаний по прокату автомобилей тремя одинокими островками маячили далеко впереди.

Девица из компании «Херц» была в желтом, девица из компании «Эйвис» — в красном, девица из компании «Нейшнл» — в зеленом. У Джерри была кредитная карточка «Херца», и девица в желтом сказала:

— Мне очень жаль, но все наши машины разобраны. Все хотят ехать в Нью-Йорк.

Значит, такая уж у них судьба — всюду опаздывать. Куда бы они ни тыкались, — толпы людей уже стояли там до них. Джерри вяло возмутился: ему словно бы стало легче от того, что еще одна возможность упущена, еще одно появилось оправдание для бездействия. Вот Ричард — тот бы наверняка сумел найти выход: нет таких трудностей, которых он бы окольным путем не обошел, самый процесс нахождения окольных путей доставлял ему чувственное наслаждение. Человек, фигурой напоминавший Ричарда, — крупный, но стремительный в движениях, — возник в поле зрения Салли; мужчина этот подошел к ним и сказал:

— Я не ослышался — вы говорили про Нью-Йорк? Я охотно разделил бы с вами затраты. — Это был тот самый, которому необходимо было попасть в Ньюарк к семи часам. Сейчас стрелки показывали без двадцати семь.

Девица из «Херца» окликнула ту, что стояла за стойкой «Эйвиса»:

— Джина, нет ли у тебя машины, которую ты могла бы послать в Нью-Йорк?

— Сомневаюсь, но подожди: дай позвоню на стоянку. — Джина стала набирать номер, зажав трубку между ухом и плечом. Салли вдруг подумала: интересно, эта Джина была когда-нибудь влюблена? Она была совсем молоденькая, но апатичная, с пресыщенным и одновременно недовольным выражением лица, какое, решила Салли, очевидно, появляется у итальянских девушек от того, что страдалицы матери слишком долго прижимают их к

груди. Салли сбежала от своей страдалицы матери, как только смогла; сначала нашла приют в школе, затем в замужестве и, возможно, потому всякое страдание воспринимала как что-то неожиданное, неоправданное, остро болезненное. Она думала: неужели каждой женщине в мире выпадает на долю такая боль — разве это вынесешь? Чем же тогда держится мир?

Высокая девушка в зеленом за стойкой «Нейшнл» спросила:

— И чего это все рвутся в Нью-Йорк? Что там такого, в Нью-Йорке?

— Колокол свободы [1], — сказал ей Джерри.

— Будь я на вашем месте, — сказала она ему, — я бы взяла такси, поехала в город и посмотрела какой-нибудь фильм.

Джерри спросил:

— А что идет хорошего?

Девица из «Херца» сказала:

— Моему приятелю понравился фильм «Прошлым летом в Мариенбаде», а я считаю — хуже не придумаешь. У кустов там даже тени нет. Я ему говорю: «И это они называют искусством», а он говорит: «*Самое* что ни на есть искусство».

Девушка компании «Эйвис» крикнула из-за своей стойки:

— В городе идет новая картина с Дорис Дэй и Роком Хадсоном — все в восторге.

Джерри сказал:

— Я люблю Дорис Дэй. Голливуду надо бы почаще давать ей петь.

Салли всегда огорчало то, как легко он завязывает разговоры с женщинами — любыми женщинами.

Джина положила телефонную трубку на рычаг и сказала:

— Элис, одна машина только что вернулась, ее могут сразу выпустить.

И Элис, миленькая Элис с личиком без подбородка и таким нетребовательным приятелем, улыбнулась, выставив вперед крупные зубы, и сказала:

— Извольте, сэр. Теперь она займется вами.

— Меня не забудьте, — напомнил мужчина, которому надо было в Ньюарк.

Джерри повернулся к нему и, покраснев, сказал:

— Мы с женой, пожалуй, предпочли бы ехать одни.

Мужчина шагнул к Джерри и схватил его руку.

— Меня зовут Фэнчер. Я живу в Элизабет, штат Нью-Джерси, и работаю по химическим присадкам. Я вовсе не хочу на вас давить, но вы бы очень меня обязали, если бы разрешили поехать с вами.

Джерри изящным жестом приложил свою тонкую длинную руку ко лбу и сказал:

— Что ж, мы об этом подумаем. Сначала еще надо получить машину.

---

[1] Колокол, возвестивший принятие конгрессом Декларации независимости; на самом деле хранится в Зале независимости в Филадельфии.

Он небрежно швырнул кредитную карточку «Херца» на стойку перед Джиной, но она сказала, что, поскольку машина принадлежит компании «Эйвис», надо внести аванс в двадцать пять долларов наличными.

— Но у нас ведь нет двадцати пяти долларов, верно? — спросил Джерри у Салли.

— А билеты? — сказала она.

Фэнчер мигом очутился подле них.

— Вам нужно двадцать пять долларов?

Салли и Джерри молча посмотрели друг на друга, и от романтической поездки вдвоем при луне, навстречу своей судьбе и полуночи, остался лишь раскрашенный задник.

— Я сдам билеты и получу за них деньги, — сказал он. — Та девчонка у меня действительно поседеет. — И сказал Джине: — Я вернусь через десять минут. А Салли сказал: — Жди меня здесь и стереги машину. — Скорчил извиняющуюся гримасу Фэнчеру и умчался.

Минуты тянулись нескончаемо долго. Мистер Фэнчер молча стоял рядом с Салли, то и дело теребя свои усики, и стерег ее, а она стерегла призрачный автомобиль. Три девицы в наступившем вокруг их островков затишье болтали наперебой о приятелях и купальных костюмах. У Салли закружилась голова. Горечь подступила к горлу — ее тошнило от этой любви. Любовь... любовь окутала мир туманом, любовь не выпускает самолеты, любовь скрыла от нее детей, любовь придала ее мужу в профиль вид немощного старца. Фэнчер торчал рядом с нею — он занимается химическими присадками, и ему необходимо быть в Ньюарке, но она обещала любить того, что ушел, и повиноваться ему, пока смерть не разлучит их. «Великий боже, отпусти меня!» Она держалась очень прямо и старалась не шевелиться, чтобы ее не вырвало. Цементный пол был весь в сигаретных окурках и следах от каблуков. Говорила зеленая девица из компании «Нейшнл»: она-де всю жизнь считала, что у нее неподходящая фигура для бикини — ведь она такая высокая, но ее приятель шутки ради купил ей бикини, и теперь она и думать ни о чем другом не хочет: в бикини чувствуешь себя так свободно.

Вернулся красный, запыхавшийся Джерри — Джерри со своим лупящимся от солнца носом, глазами, избегающими смотреть на собеседника, и этой летящей походкой, которая делала его похожим на воздушный змей.

— Порядок! — объявил он, выбросив в воздух руки победной буквой «V»[1] и как бы заключая всех четырех женщин в объятия. Фэнчеру он сказал: — Можете забирать машину. И всяческих вам успехов в Ньюарке. — И, дотронувшись до плеча Салли, сообщил: — Девушка из «Юнайтед» сказала, что будет дополнительный самолет, и посоветовала обратиться к человеку — она тут

---

[1] Во время второй мировой войны союзники обычно изображали на пальцах букву «v» от французского слова «victorie» или английского «victory» — победа.

написала к кому. — Он показал клочок бумаги, на котором женским почерком было поспешно нацарапано только «Кардамон».

— Ты его уже видел?

— Нет, его не оказалось на месте. Пошли поищем его.

— Джерри, чемодан!

— Ах, верно. Господи, обо всем-то ты думаешь, Салли.

Фэнчер сказал:

— Вы говорите, есть самолет? Тогда и мне не нужна машина. — И с поразительной для такого полного мужчины скоростью — словно метнули дротик — устремился вперед, оставив их далеко позади на пути к залу ожидания.

Здесь, казалось, инстинкт передвижения овладел человеческими ордами — почти все устремились к выходам на поле. Встревоженные Джерри и Салли в общем потоке вышли из зала и двинулись по коридору. Толпа густела. В воздухе стоял какой-то странный гул — Салли почудилось, что люди скандируют: «Шаферица, шаферица!» Она решила, что у нее опять галлюцинация, но оказалось, выкрикивали именно это слово. В центре толпы негр в синих солнечных очках совещался о чем-то со светловолосым человеком в форме авиакомпании, вооруженным блокнотом. А вокруг них полукружием стояли разодетые немолодые люди и гортанными выкриками, изобличавшими уроженцев Диксиленда[1], подбадривали девушку в шляпе с цветами и платье из переливающегося желтого шелка. Теперь Салли все поняла: это — подружка невесты, и если она не попадет на самолет, то опоздает на свадьбу; а может, она едет со свадьбы? Толпа заскандировала громче — Джерри присоединился к ней: «Шаферица, шаферица!» От возмущения у Салли заныло под ложечкой и глаза набухли слезами. Несправедливо это — ведь девчонка даже и не красивая. Возле носа — земляничное родимое пятно, и у губ — морщинки от напряженной жеманной улыбочки. Светловолосый кивнул негру. Тот сверкнул широкой иронической улыбкой и взял у девушки билет. Толпа ответила громким «ура». Девушка прошла в дверь. И та с лязгом за ней захлопнулась. Самолет, вылетавший по расписанию в семь пятнадцать, взял курс на Нью-Йорк.

В зале ожидания Джерри оставил Салли и отправился разыскивать мистера Кардамона. Она одиноко стояла у выцветшей голубой стены, когда к ней подошел высокий мужчина и вежливо произнес:

— Если не ошибаюсь — Салли Матиас!

Уиггльсуорс — и два инициала перед фамилией. Салли сразу вспомнила эти инициалы: Э. Д. Он спросил:

— Вы здесь с Диком? — Голос у него был бархатный, мягкий; он был хорошо сложен, и тщательно причесан, и так богат, что Ричард буквально танцевал вокруг него, когда он два-три раза был у них дома.

— Нет, я здесь одна, — сказала она. — Я довольно часто удираю. У меня мама живет в Джорджтауне. А вы пытаетесь пробиться в Нью-Йорк?

---

[1] Распространенное название Южных штатов.

— Нет, я двигаюсь в Сент-Луис. Мой самолет улетает через полчаса. Хотите чего-нибудь выпить?

— Это было бы чудесно, — сказала Салли, — но я стою в живой очереди, и мне, пожалуй, лучше не отходить. Мы ждем дополнительный самолет. — И тотчас исправила местоимение: — Я торчу здесь уже с трех часов. Фантастическая неразбериха.

— И все же, мне кажется, вам не мешало бы выпить. — Он улыбнулся — этакий большой кот, который мурлычет, когда его гладят: он был отменно красив и отменно противен и, несмотря на весь свой внешний лоск, понимал это.

— Я тоже так думаю, — сказала она, озираясь кругом и ища взглядом Джерри. Но его нигде не было видно.

Уитлсуорс истолковал этот ищущий взгляд как согласие и взял Салли за локоть. Она вырвала руку. Она сама не сознавала, до какой степени у нее натянуты нервы.

— Извините, — сказала она, — честное слово, я еле сдерживаюсь, чтобы не разреветься: Ричард ведь ждет меня к ужину.

— В такой ситуации начинаешь жалеть о милых старых поездах, верно? — успокаивающе сказал Уитлсуорс, хотя и был явно оскорблен.

— А что вы собираетесь делать в Сент-Луисе? — спросила Салли. И почувствовала, как на ее лицо плотно легла маска соблазнительницы, почувствовала, что без всякого перехода начинает флиртовать.

— О, нечто весьма нудное. Банковские дела, слияние железных дорог. Акт отчаяния. Ненавижу Средний Запад.

— Вот как?

— Скажите, чем кончилось у Дика с канадской нефтью? Мне это показалось невероятно заманчивым, но я не сумел заинтересовать отца.

— Я об этом ничего не слышала. Он ведь никогда мне ничего не рассказывает. А как Би? — Она отчаянно пыталась вспомнить имя его жены, но в памяти возникло лишь восковое личико балерины да то, что имя ее тоже смахивает на инициал.

— *Очень* хорошо. У нас теперь двое деток.

— Вот как? Чудесно. Еще одна девочка?

— Еще один мальчик. Вы уверены, что не хотите ничего выпить?

— Как вы меня соблазняете, — сказала Салли.

— А вы слышали про Джейми Бэбсона? Он снова женился — на снегсшибательной индонезийке. Она — синхронщица в ООН.

— Да. Ему это, конечно, по душе.

Уитлсуорс рассмеялся. Зубы у него были безупречные, но слишком мелкие.

— А Бинк Хаббард — Ричард, я знаю, встречался с ним — исчез во Флориде: говорят, он снова уплыл на либерийском грузовом судне.

— По-моему, я его не знаю.

— Нет, конечно. Он из тех мужчин, кому все остальные дико завидуют.

— Да, есть такие. — Салли сама сознавала, что говорит как автомат. Оттолкнуть, притянуть, оттолкнуть, притянуть — настоящая проститутка.

Уигглсуорс посмотрел поверх ее головы и сказал:

— Это там не Джерри Конант?

— Где? А вы знаете Джерри?

— Конечно. Он ведь, кажется, живет где-то рядом с вами?

Он посмотрел на нее сверху вниз, и его безупречные брови (он что — выщипывает их?) приподнялись при виде ее напряженной озабоченности.

— Через Руфь, — пояснил он. — Мои родители ходили в церковь ее отца. Она слыла такой красавицей.

— Такой она и осталась.

— Никто тогда не мог понять, почему она вышла замуж за Джерри.

Тут он и появился. Салли не столько увидела, сколько почувствовала его приближение, хотя он был еще далеко, почти у самых стоек авиакомпаний. Она почувствовала, как он заколебался, потом решил подойти. Голос его резко прозвучал у самого ее уха:

— Anno Domini [1] Уигглсуорс — Иисус Христос собственной персоной.

— Джерри! Вы что — тоже тут застряли?

— По-видимому. Я как раз искал некоего мифического мужчину по имени Кардомон, который вроде бы должен помочь нам отсюда выбраться.

— Вам и миссис Матиас?

— Да, мы с миссис Матиас, похоже, попали в одну беду. — Он опустил взгляд на свою руку, в которой держал два билета. Поднял их и показал. — Я взялся вести переговоры и за нее тоже. У нас место забронировано?

— Да.

— А вы бы не согласились отдать его Салли?

— Охотно — только я лечу в Сент-Луис.

Джерри повернулся к Салли и сказал:

— Может, и нам махнуть в Сент-Луис? А там нанять плот и поплыть по Миссисипи.

Она рассмеялась — от возмущения. Как он смеет дразнить ее, когда они на краю катастрофы!

Улыбка застыла на лице Уигглсуорса, и по тому, как окаменели лица обоих мужчин, Салли поняла, что стала для них предметом раздора — телом.

— Я как раз говорил Салли, — сказал Уигглсуорс, — что Джейми Бэбсон женился на индонезийке.

— Великолепно, — сказал Джерри. — Смешанные браки — единственное, что навеки способно разрядить напряженность в мире. Кеннеди это тоже знает.

— Что на вас нашло, Джерри? — сказал тот, другой. — С каких

---

[1] Нашего летоисчисления *(лат.)*.

это пор вы стали проповедником? Мне казалось, вы трудитесь на Госдепартамент.

Они сражались за нее. Тошнотворный страх вернулся к Салли и с ним — желание спать; она представила себе, как озадаченный Ричард сидит в одиночестве, волнуется, пьет уже второй мартини, и ей отчаянно захотелось упасть в обморок — грохнуться на грязный, затоптанный пол среди сигаретных окурков и проснуться у его ног. А мужчины все говорили, зло обмениваясь репликами, долетавшими до нее словно сквозь вату, пока Уитлсуорс, загнанный в угол превосходящей резкостью Джерри, наконец, не сказал:

— По-моему, мне пора на посадку. Желаю вам обоим удачи. — И в том, как он попрощался, как поклонился одной головой с высоты своего стройного тела, было что-то удивительно изящное, близкое к благословению. Только чванливое ничтожество могло так держаться.

Джерри надулся и был мрачен, как грозовая туча. Значит, это все-таки случилось — он возненавидел ее? Она спросила:

— Ты так и не нашел Кардомона?

— Нет. Его просто не существует. Может, это шифр? Если «Кардомон» прочесть наоборот, получится «Ном-о-драк». — Объявили посадку на восьмичасовой самолет, вылетавший в Сент-Луис, и Уитлсуорса — устремленный вдаль взгляд, высоко поднятый подбородок — вынесло в лавине портфелей из зала ожидания. Джерри взял руки Салли в свои. — Ты вся дрожишь.

— Немножко. Меня расстроила эта история.

— Он часто встречается с Ричардом?

— Почти никогда. Ричард ему не компания.

— Ничего он не скажет. Никаких процентов ему это не принесет. Просто запомнит на всякий случай: а вдруг понадобится пошантажировать тебя.

— И будет прав, верно? Я хочу сказать, что я и есть такая, какой он увидел меня.

— А какой он тебя увидел?

— Не заставляй меня произносить это, Джерри.

Джерри мысленно перемолол ее отказ.

— Вообще-то, — сказал он, — тебе было бы куда лучше с ним, чем со мной. Уж он бы посадил тебя на этот чертов самолет, уверен.

— Джерри.

— М-м?

— Не кори себя. Ты же говорил мне, чтоб я не приезжала.

— Но я хотел, чтобы ты приехала. И ты это знала. Потому и приехала.

— Я приехала потому, что и мне этого хотелось.

Он вздохнул.

— Ох, Салли, — сказал он. — Ты ко мне так добра. — Он взглянул на билеты, которые все еще держал в руке, и сунул их в боковой карман пиджака, потом устало посмотрел на нее. Улыбка сожаления на секунду осветила его лицо: — Эй?!

— Привет.

— Давай поженимся.

— Прошу тебя, Джерри, прекрати.

— Нет, давай. А ну их всех к черту. Назад мы вернуться не можем. Господь сказал свое слово.

— Не верю, что ты это серьезно.

Голос его звучал вяло:

— Нет. Серьезно. Ты же ведешь себя со мной как жена. И вообще в моих глазах ты — миссис Конант.

— Но я не миссис Конант, Джерри. Мне только хотелось бы ею быть.

— Тогда — о'кей. Предложение принято. Я не вижу другого выхода: возвращаемся в отель, звоним Руфи и Ричарду, а со временем поженимся. Это единственное, что я могу придумать. Сейчас я чувствую только усталость, но мне кажется, я буду очень счастлив.

— Я постараюсь сделать тебя счастливым.

— По-моему, мы сумеем получить твоих детей. Теперь суды уже так не придираются к тому, кто из супругов совершил адюльтер.

— А ты уверен, что именно этого хочешь?

— Конечно. Я, правда, не думал, что все так получится, но я рад, что получилось. — Однако с места он не двигался. А она стояла рядом, и в сердце у нее было пусто. Радость и горе, страх и надежда — все, что наполняло ее прежде, куда-то исчезло. Даже на полу вокруг них образовалась пустота. Люди кричали, жестикулировали, но она слышала лишь тишину. Потом вдруг почувствовала, что хочет пить и что у нее болят стертые пятки. В отеле можно будет снять туфли. А потом они спустятся в бар выпить.

В окружающей их пустоте возникла девушка, крашенная под седину.

— Мистер и миссис Конант? Я разыскала мистера Кардомона.

За ней следовал светловолосый мужчина в форменном пиджаке авиакомпании, с блокнотом в руке. Салли уже видела его раньше. Когда?

Джерри вдруг рванулся в сторону от нее. Вытащил авиабилеты. Они были истрепанные и казались ненужными бумажками. Заикаясь, он принялся объяснять:

— Мы уже с трех часов пытаемся попасть на самолет в Нью-Йорк и отказались от прокатной машины, потому что нам сказали, что будет дополнительный самолет.

— Могу я взглянуть на номера ваших посадочных талонов? — попросил мистер Кардомон. И принялся рассматривать их, потирая кончик носа костяшкой пальца. Потом внимательно оглядел их обоих, то и дело почесывая пальцем нос. До Салли вдруг дошло, что обе они — и она и седая девушка — стоят, вытянувшись в струнку. От шеи Джерри потянуло слабым, еле уловимым запахом пота. Мистер Кардомон что-то записал в блокноте, пробормотав: — Конант, два. — Затем поднял голову с копной светлых, вьющихся, как у мальчишки, волос, и Салли увидела, что глаза у

него серые, цвета алюминия. Он знает. Он сказал Джерри: мисс Марч сейчас вложит посадочные талоны в ваши билеты.

— Так, значит, все-таки *есть* самолет? — спросил Джерри.

Кардомон посмотрел на ручные часы.

— Он вылетает через полчаса. Выход — двадцать восемь.

— И мы летим на *нем?* Господи, благодарю тебя. *Благодарю.* А мы решили было возвращаться в отель. — И не в силах выразить мистеру Кардомону, который уже стоял к ним спиной, всю свою благодарность, Джерри повернулся к девушке и зафонтанировал: — А вы знаете, теперь мне уже нравятся ваши волосы. Ни в коем случае не перекрашивайте их в натуральный цвет.

Он куда-то ушел следом за ней и вернулся с билетами, в которые были вложены два голубых листочка; затем подхватил чемодан с игрушками для своих детей и зашагал по коридору, сопровождаемый Салли. К этому времени она уже успела изучить все рекламы. Спектакли, которые она не увидит, острова, которые никогда не посетит. Настороженная толпа, почуяв близость избавления, собралась у выхода двадцать восемь; в положенное время появился негр — солнечные очки его на сей раз торчали из кармашка рубашки — и медленно, с наслаждением, прочел список фамилий. Их фамилия стояла последней. Конанты. Они прошли в дверь, и когда Салли оглянулась, ей показалось, что она увидела среди теснившихся позади людей взволнованного усача, которому уже давно следовало быть в Ньюарке.

Самолет был маленький ДС-3 — он стоял, задрав нос, так что проход между креслами круто шел вверх. В кабине все мужчины уже сняли пиджаки, убрали чемоданчики и пересмеивались. «Интересно, на каком чердаке они его откопали», — сказал кто-то, и Джерри рассмеялся и похлопал Салли по спине. Он был в таком восторге, испытывал такое облегчение — она попыталась разделить с ним эти чувства, но тут же поняла, что вообще почти не способна что-либо чувствовать. Она села дальше от прохода и сквозь овальное оконце смотрела, как механики размахивают карманными фонарями, а Джерри гладил ее руки и требовал, чтобы она похвалила его за то, что он достал им места. Она подумал было о Камю, лежавшем у нее в сумке, и — закрыла глаза. Сбросила терзавшие ноги туфли. Сзади доносился голос одной из стюардесс, а под самым окном вдруг взвыл мотор. В самолете было холодно, словно он только что спустился к ним с большой ледяной высоты. Джерри что-то положил на нее сверху — свой пиджак. Воротник тер Салли подбородок. Джерри все гладил ее руки и запястья, а она чувствовала, как тело ее сжимает словно металлическим кольцом; мужчины что-то бормотали, переговариваясь между собой, — она была единственная женщина в самолете, — и пиджак Джерри хранил его запах, и она уже засыпала, хотя самолет все еще стоял.

Ах, Салли, до чего же это был чудесный полет! Помнишь, как низко мы летели? И как наш маленький самолетик, подпрыгивая на воздушных течениях, нес нас, точно лодка-лебедь, по

воздуху где-то между звездами, рассыпанными наверху, и городами внизу? Над цимбом твоих спящих волос я видел, как ширилось прочерченное спицами световое колесо столицы, накренялось и снова ширилось, — Данте не мог бы вообразить такую розу. В нашем ДС-3, который откопали бог знает где, чтобы отвезти нас домой, было холодно: самолет не отапливался — мы дышали чистым эфиром. Мы плыли, урча двумя моторами, на высоте, которую едва ли назовешь высотой, над Балтимором, Чесапик-Бей, Нью-Джерси, темневшим фермами. Поднимись мы чуть выше, и нам бы уже не увидеть каждую машину, заворачивавшую в гараж, каждый дом, уютно примостившийся в своем гнезде света. И каждый мост был двойным бриллиантовым колье, каждый придорожный ресторанчик — утопленным рубином, каждый город — россыпью жемчуга. А за окнами, скрашивая наше одиночество, недвижимо плыли звезды.

И все это была ты — твоя красота. Я вошел в тебя и через тебя познал небо. Ты казалась — спящая подле меня, в то время как мужчины, широким кольцом окружавшие нас, шелестели газетами, пили кофе, — кем жы ты казалась? Не моей женой, не сестрою, не дочерью. Я поглаживал твои руки, чтобы ты даже во сне чувствовала, что я тут. Твои руки казались на диво длинными, Салли, и, глядя на тебя, спящую, такую большую, крупную, я непомерно гордился, что ты моя. Как же я гордился — целый час, а то и больше, пока пилот вел нашу чудную посудину от звезды к звезде, — как гордился, что я — твой защитник. Никогда прежде и никогда потом не был я тебе столь верным защитником. Ибо если бы самолет разбился и ты умерла, я последовал бы за тобою, и мы бы вместе вступили в то сказочное царство — ведь мой пиджак лежал на тебе, мои жизненные соки еще бродили в твоих теплых глубинах. Две трудяги лошадки тащили нас, покачивая, вверх по черному воздушному скату — на север. В своем забытьи ты принадлежала мне. Мне нравился овал черного неба рядом с твоим лицом. Мне нравился холод, побудивший тебя уткнуться головой мне в плечо. Мне нравились жесткие костяшки твоих рук, и мягкие, как пух, плечи, и твое тело под моим пиджаком.

А потом я ушел от тебя. Моторы заревели громче, стремительно промчался Манхэттэн, океан поднялся нам навстречу, чтоб нас поглотить, колеса чиркнули по посадочной полосе, судьба нас пощадила: мы не умерли. Мне ненавистна была наша неудача: и умереть мы даже не смогли. Мне ненавистна была спешка, с какою я снял с тебя пиджак, и вытащил чемодан из-под сиденья, и стал пробираться по проходу, чтобы выйти первым. Руфь встречала меня: ведь было уже за десять. Я оставил тебя полусонную, откинув волосы с лица, чтобы они не щекотали губ, — ты сидела покинутая, добыча для алчных глаз. Я чувствовал твой взгляд, провожавший меня, пока я трусливо бежал по бетону, постепенно уменьшаясь, мелькая в крутящихся

полосах света. В толпе за стеклянными дверьми я уже видел задранное кверху лицо Руфи. Я почувствовал, что исчез из твоих глаз. Я ведь вспомнил о ней.

Когда на следующее утро в десять часов зазвонил телефон, Джози покраснела от злости и вышла из кухни. Салли подошла к аппарату в купальном костюме: Питер уже полчаса ждал ее, чтобы ехать на пляж.

— Привет, — сказала она. Причем таким тоном, что чужому человеку это не показалась бы странным.

— Привет, — откликнулся Джерри. Голос у него был испуганный. — Как все прошло?

— Никак, — сказала Салли. — Я явилась еще до полуночи — он уже спал. А сегодня утром, прежде чем уйти, спросил меня, как поживают Фитчи, я сказала — хорошо, и больше мы ни о чем не говорили.

— Ты шутишь. Он наверняка что-то знает.

— Не думаю, Джерри. Мне кажется, что наши отношения достигли такой стадии, когда ему, право же, безразлично, что я делаю.

— Нет, не безразлично.

— А как у тебя с Руфью?

— Отлично. Вся эта путаница с самолетами дала мне тему для разговора — о тебе, естественно, не упоминалось. Я рассказал ей о девушках из прокатных компаний, о Фэнчере и об Уигглсуорсе. Мне даже как-то грустно стало от того, что она так обрадовалась при виде меня. Она уже совсем было потеряла надежду, что я прилечу.

Солнце резко высвечивало солонку и перечницу, стоявшие на подоконнике. У Салли мелькнула мысль, не растопится ли соль.

— Я видела, как она тебя встречала, — сказала она.

— В самом деле? Я не был уверен, что ты увидишь.

— Ты так поспешно вывел ее из зала ожидания, точно взял под арест.

Он рассмеялся.

— Да, она тоже сказала: «Зачем такая спешка?» Вообще-то она слегка подавлена. Джоффри сломал себе ключицу, пока я был в отъезде.

— О, господи, Джерри! Ключицу!

— Судя по всему, ничего страшного. Чарли толкнул его, он упал на траву, потом весь день плакал и как-то странно держал руку, так что Руфи пришлось отвезти его в больницу, а там всего-навсего обмотали ему плечи бинтом, чтобы кость встала на место. Теперь он ходит как маленький старичок и никому не дает до себя дотронуться.

Питер влетел на кухню и принялся в ярости стукаться об ее голые ноги.

— Мне очень жаль, — сказала она.

— Не надо ни о чем жалеть. Ты тут ни при чем. Эй?

— Да?

— Ты была чудо как хороша. Прямо сдохнуть можно, как хороша.

— И ты тоже. И все было куда лучше, чем в первый раз.

— Меня буквально доконала эта пытка в аэропорту. Могу только удивляться, как ты ее выдержала.

— А меня это ничуть не раздражало, Джерри. Даже занятно было.

— Ты грандиозная. До того грандиозная, Салли, просто не знаю, что с тобой и делать. Когда мы летели назад в самолете, ты была до того хороша, я голову потерял.

— А я потом жалела, что уснула. Упустила столько времени, когда могла бы быть с тобой.

— Нет. Не упустила. Все было правильно.

— У меня в самом деле словно вдруг не стало сил. Так со мной бывает в твоем присутствии, Джерри.

— Эй! Ты в самом деле считаешь, что все было хорошо? Не жалеешь, что поехала?

— Конечно нет.

— Не очень-то веселый получился у нас ленч в музее, да и эта процедура с покупкой игрушек тоже прошла не слишком весело.

— Мне жаль, что так вышло. Пора бы мне стать взрослее. А я еще недостаточно взрослая, чтобы быть вечно веселой при тебе.

— Послушай...

— И я чувствую себя ужасно виноватой из-за истории с Джоффриной ключицей.

— Почему? Не надо. Ты тут абсолютно ни при чем.

— Нет, при чем. Я из тех, кто может накликать такое. Я приношу несчастье. Я гублю Ричарда, и моих детей, и твоих детей, и Руфь... — Глаза у нее защипало, и она опять вспомнила о соли, которая, наверно, тает сейчас под солнцем в солонке на окне.

— Да нет же. Послушай. Никого ты не губишь. Это я всех гублю. Я все-таки мужчина, а ты — женщина, и мне положено быть хозяином положения, а я не могу. Ты добрая. Ты грандиозная женщина — ты сама знаешь это, а вот знаешь ли, что ты еще и добрая?

— Иногда, когда ты мне так говоришь, я начинаю в это верить.

— Вот и хорошо. Отлично. Верь.

Питер принялся дергать ее за опущенную руку и плаксивым голосом тянуть:

— *Пошли,* мам. *Пошли-и-и.* — Все его пухлое тельце дергалось от отчаянных усилий.

Она сказала Джерри:

— Питер ведет себя отвратительно, а Джози устраивает очередную истерику в гостиной, так что мне пора вешать трубку.

— Хорошо. Через минуту я отправлюсь к главному шефу с докладом о том, что мне сказали в Вашингтоне о необходимости соблазнять Третий мир. Мне очень неприятно насчет Джози. Если мы поженимся, нам обязательно держать ее?

— Мы никогда не поженимся, Джерри.

— Не говори так. Я только и живу мыслью, что рано или поздно это случится. Ты убеждена, что мы не поженимся?

Ему хотелось знать, хотелось услышать, что она убеждена.

— Не всегда, — сказала она.

Он помолчал, потом сказал:

— Отлично.

— Я завтра целый день буду думать над твоим вопросом, так что не звони мне до пятницы. Мне кажется, нам надо какое-то время переждать, поэтому я не знаю, когда мы снова увидимся.

— Угу. Наверно, не стоит испытывать судьбу.

А она-то надеялась, что он станет спорить, настаивать на скорой встрече.

— Питер! — рявкнула она. — Ты хочешь, чтобы мама тебя отшлепала?

— Не сердись на Питера, — раздался у нее в ухе голос Джерри. — Он нервничает из-за тебя.

— Я не могу больше говорить. Прощай?

— Прощай. Я люблю тебя. И не будь так дивно хороша ни для кого больше.

— Желаю удачи, Джерри. — Она быстро повесила трубку, ибо знала, что они могут разговаривать до бесконечности и ей никогда не надоест слышать, как его голос произносит слова, в которые едва ли он сам верит. «Не будь так дивно хороша ни для кого больше» — он очень любит играть с мыслью, что она заведет себе другого. Он считает ее проституткой; Салли на миг почувствовала, что ненавидит его. Она стояла — отчаявшаяся, удивительно красивая в своем купальном костюме, голые ноги ее освещал косой теплый луч солнца. Так кто же она — порочная или сумасшедшая? Как она смеет отнимать этого мужчину у безупречной жены и беспомощных детей? И хотя Питер неистовствовал от нетерпения, она еще постояла, словно ждала ответа на свой вопрос.

III. КАК РЕАГИРОВАЛА РУФЬ

Две свернувшиеся фотографии в коробке.

На одной — цветной — запечатлено семейство Конантов по окончании церковной службы в холодное ясное вербное воскресенье — вербное воскресенье 1961 года. Джоффри — двухлетнего карапуза — только что крестили: на фотографии видно мокрое пятнышко у него в волосах. Руфь, в белом пальто, присела на корточки на пожухлой траве лужайки перед их домом между Чарли и Джоффри — у обоих вялые, по-зимнему бледные лица, оба скованные и нескладные, в одинаковых серых коротких штанишках, галстуках «бабочкой» и синих курточках. Джоанна, которой в ту пору было семь лет, стоит позади матери в зеленом берете, застенчиво щурясь в свете молодого весеннего солнца. Руфь глядит вверх и лукаво улыбается; солнечные блики нахально лежат у нее на коленях, на ней шляпка, кокетливо сдвинутая набекрень. Шляпку эту она заняла у Линды Коллинз. Под наигранной веселостью чувствуется усталость и напряжение. Накануне Конанты вернулись домой с вечеринки у Матиасов в два часа ночи. Над головой Руфи, у плеча Джоанны, расплывшейся желтой бабочкой или нарождающейся звездой торчит первый в этом году крокус. Цветок рано распустился в тепле, отражающемся от белых досок дома, и Джерри так нацелил объектив, чтобы и он вошел в кадр.

Сам Джерри присутствует на фотографии в виде вишневого пятна в нижнем левом углу. Здесь не запечатлено лишь то, как Джоанна в высокой белой индепендентской церкви, когда родители вернулись на свои места, протянула руку и нерешительно дотронулась до мокрого пятнышка на голове брата. Или как Руфь, решив вздремнуть в тот день после обеда, пока Джерри ходил с детишками на пляж, вдруг расплакалась при мысли, что предала отца и перечеркнула себя как личность.

Она была дочерью священника-унитария. Когда она встретилась с лютеранином Джерри Конантом из Огайо и вышла за него замуж религия ни для нее, ни для него не имела значения. Оба они посещали художественную школу в Филадельфии и были наивно и всецело поглощены культом точного цвета, живой линии. Они поклонялись молчаливым богам храма-музея, парившего над городом. Когда они впервые увидели друг друга обнаженными, у

обоих было такое чувство, точно каждый открыл для себя новое произведение искусства, и в их браке сохранилась эта извращенная отстраненность, в которой было больше взаимного восхищения, чем взаимного обладания. Каждый восхищался талантом другого. Руфь, хотя у нее никогда не ладилось с перспективой и было довольно смутное представление о форме, так что даже бутылка и горшочек в ее натюрмортах отличались мягкостью, присущей растениям, обладала редким даром цвета. Ее полотна были удивительно смелыми. Желтый кадмий нахально плясал на ее грушах; небо у нее было ровное, густо-синее и тем не менее воздушное, а тени — цвета, не имеющие названия, просто тени, обретшие жизнь, пройдя через мозг. Тем не менее правда жизни проглядывала из хаоса ее твердых, четких мазков, созданного без особых стараний, но и не по небрежности. Этот ее дар показался Джерри удивительным, потому что его собственный талант был иным. Его отличала четкость линий, тщательность вырисовки. Каждый предмет, за изображение которого он брался, выглядел у него как бы пробужденным к жизни призраком, где изгибы линий и тщательно «проработанная деталь» заменяли безмятежную плотность материи. Хотя он много работал над цветом, пытаясь перенять у Руфи присущую ей от природы экспрессию, его картины, несмотря на всю энергичность письма, рядом с ее полотнами неизбежно оказывались либо по ту, либо по другую сторону тонкой черты, отделяющей яркие тона от грязных. В последний год обучения в художественной школе их мольберты всегда стояли рядом. И тот, кто смотрел на их работы тогда, вполне мог прийти к выводу, — как приходили сами они, — что вдвоем они обладают всем, что нужно художнику.

Свои жизни они соединили, быть может, слишком бездумно, слишком уж положившись на эстетику. Но вот художественная школа осталась позади, и Джерри стал не очень преуспевающим художником-карикатуристом, потом весьма преуспевающим мультипликатором в телевизионной рекламе, а Руфь — женой и матерью, слишком занятой хозяйством, чтобы достать ящик с красками и взять в руки палитру, и тут появились тени и начали сгущаться, подчеркивая различия, которые они проглядели, сидя рядом у мольбертов при идеальном верхнем освещении.

Болезненным для них оказался вопрос о крещении детей. Первого ребенка — Джоанну — крестил отец Руфи в их первой квартире на Двенадцатой улице в Западной части города. Джерри шокировала эта церемония, показавшаяся ему пародией на святое таинство: его тесть, человек с остро развитым чувством гражданского долга, посвящавший немало времени деятельности в советах по межрасовым проблемам в Поукипси, отпускал шуточки по поводу «святой воды», которую брал из-под кухонного крана. В результате следующего младенца — мальчика — крестили по-лютерански в аскетически голой деревенской церкви, где пахло яблоневым цветом и обветшалым бархатом, — в той самой церкви, где много лет тому назад принял конфирмацию Джерри. Таким образом, счет был уравнен, и третий младенец целых два года висел

над разверстой пастью ада, пока его родители, упорно сражались — каждый во имя своей церкви. Руфь была поражена накалом их страстей: для нее религия давно перестала иметь значение. Девочкой она, по заведенному обычаю, ходила в церковь, теперь же, стоило ей оказаться в церкви, на нее нападала какая-то слабость, растерянность, чувство вины. В конце первого стиха псалма голос у ее начинал дрожать, а к третьему стиху она уже еле сдерживала слезы, в то время как орган гремел в ее ушах раскатами, словно напыщенный, уязвленный отец. Джерри же, потерпев фиаско в своем честолюбивом стремлении стать карикатуристом «с именем», после их переезда в Гринвуд погрузился в дела житейские, мелочные, семейные и вдруг стал бояться смерти. Избавление несла только религия. Он стал читать труды по богословию — Барта, Марселя и Бердяева; научил детей молиться на ночь. Каждое воскресенье он отвозил Джоанну и Чарли в воскресную школу при ближайшей индепендентской церкви, сам же просиживал всю службу и возвращался домой наэлектризованный, как боевой петух. Он ненавидел бесцветную веру Руфи, отступавшую и испарявшуюся под влиянием его ненависти. А Руфь верила в существование добра, ясных истин и совершенства, которые витают в воздухе, как пыльца с почек вяза, что рос у окон их спальни. Что же до остального, то не надо никого намеренно обижать: люди должны радоваться каждому новому дню. Вот и все. Разве этого недостаточно? Однажды ночью, проснувшись и услышав, как Джерри возмущается тем, что его ждет смерть, Руфь сказала: «Прах — во прах!»[1] и, повернувшись на бок, снова заснула. Джерри так никогда ей этого и не простил. А она страдала, что не может избавить его от страха, который овладевал им, когда он, лежа в постели, пустыми глазами смотрел в потолок или когда без устали вышагивал по ночному дому, точно все тело его ныло от боли, и вел борьбу за каждый вздох, — страдала, что не может вобрать в себя его страх, как вбирала его семя. Джерри мучило сознание, что третий ребенок не крещен: он видел в этом как бы знамение вымирания своего рода. Руфь пожалела его и сдалась. Джоффри крестили на руках у отца, а она стояла рядом в чужой шляпе, клянясь, что никогда больше не переступит порога церкви, стараясь не плакать.

На другой фотографии — черно-белой, снятой несколькими годами раньше, в 58-м или 59-м году, — изображен Джерри: впалая грудь его блестит словно металлическая в гаснущем свете дня, он стоит по пояс в воде, балансируя на голове сверкающим под солнцем котелком. Он несет мидии к лодке, где сидит Салли Матиас, — она и щелкнула его. Руфь поразило тогда, что эта женщина умеет фотографировать. Обе семьи лишь недавно перебрались в Гринвуд, в каждой — маленькие дети, у каждой — свой дом, который они воспринимают как большой игрушечный дом и

[1] Парафраз строки из Библии (Екклесиаст, 3, 20).

вот Матиасы пригласили Конантов половить мидий на их лодке. Была приглашена еще одна пара, но те не поехали. Конанты тоже хотели было уклониться: они настороженно относились к Матиасам, исходя из того немногого, что знали о них. Салли, крупная, светловолосая, дорого одетая Салли, демонстративно на глазах у всех таскала галлоновые бутылки с молоком из супермаркета, чтобы не платить за доставку, которая и стоит-то всего несколько центов, — зато вино они пили ящиками. Матиасы ни в чем не знали меры — в щедрости и в скаредности, в размахе и в непоследовательности. Ричард был крупный, располневший мужчина, с темными жесткими волосами, нуждавшимися в стрижке, низким голосом и напыщенной речью, подчеркивавшей его самовлюбленность; к тому же один глаз у него не видел — после несчастного случая в детстве. Это не было заметно — разве что чуть настороженным, излишне напряженным был наклон его львиной головы. Только при взгляде в упор обнаруживалось, что зрачок у него не черный, а как бы затянутый морозной пленкой. Словно спасаясь от боли, он много пил, много курил, гонял свой «мерседес» и философствовал — тоже много; но чем же он все-таки *занимался?* У него были деньги, и он совершал поездки ради их приумножения. Его покойный отец владел винным магазином в Кэннонпорте, а теперь у этого магазина появились отделения в торговых центрах городка, который пускал метастазы и сливался с предместьями Нью-Йорка. В противоположность большинству молодых мужчин, поселившихся с семьями в Гринвуде, Ричард и родился в этом районе. Он любил море и еду, которую оно дарит людям. В течение двух лет он посещал Йельский университет, а потом бросил, видимо, решив, что для человека с одним глазом достаточно и половинного курса. Он рано женился; жена у него была яркая, чрезвычайно живая и очень броская. Оба, казалось, безоговорочно решили наслаждаться жизнью; такой безоговорочный гедонизм представлялся богохульным Джерри и вульгарным — Руфи. Однако же этот день на море, которого оба они так старательно пытались избежать, оказался настоящей идиллией. Солнце сияло, вино и беседа лились рекой. Джерри, выросший в глубине материка, брезгливый и боящийся воды, согласился поучиться у Ричарда — набрался храбрости, опустил лицо в воду и принялся руками отдирать мидии, розовые и живые, от подводных скал. И теперь, гордясь своими достижениями, шел по воде к лодке с котелком, полным мидий.

На лице у Джерри — резкие тени, вид — до смешного свирепый. Вместо глаз — провалы, тени бегут от носа, губы растянуты в улыбке. Тощий раб, озабоченный и жестокий. Над его левым плечом — ноги Ричарда, толстые и волосатые, в мокрых теннисных туфлях, цепляются за выступ мокрой скалы. Расплывшееся пятно между его ногами — очевидно, Грейс-Айленд.

После того момента, запечатленного на фотографии, они подвели лодку к маленькой песчаной бухточке на Грейс-Айленде. Вчетвером они набрали хвороста, разожгли костер и сварили мидии. Ричард прихватил с собой масла, соли, чеснока. Мидий ока-

залось столько, что пришлось скармливать их друг другу, — получилась игра. С закрытыми глазами Джерри не мог отличить, когда во рту у него были пальцы Руфи, а когда — пальцы Салли. Начали сгущаться сумерки, и они занялись игрой в слова, потом индейской борьбой, потом прикончили вино, разделись и кинулись в воду. Их обнаженные тела целомудренно белели в шуршащей мокрой темноте. Джерри с удивлением обнаружил, что вода кажется более теплой и менее страшной, если купаться голышом. Когда они снова собрались у огня, Ричард и Джерри были в брюках, натянутых прямо на мокрое тело, а женщины завернулись в полотенца. На плечах Руфи и Салли красноватыми огоньками, отражавшими костер, сверкали капельки воды. Роскошная женщина, подумала Руфь. Но беспечная и пустая. Поправляя полотенце, Салли без всякого стеснения обнажила груди, — и Руфь позавидовала тому, что они такие маленькие. Самой Руфи уже с тринадцати лет казалось, что у нее слишком большая грудь. Ее не оставляла мысль, что ей не хватает мускулов, чтобы носить такую тяжесть; и это впечатление не исчезало: жизнь опережала ее, то и дело предавая в ней женщину, которая еще не готова была раскрыться. По ту сторону костра сидел чужой Джерри, такой счастливый, а рядом — более крупный, более рыхлый мужчина, блаженно пьяный, как впрочем, и все они. Однако идиллия больше не повторилась. Остаток того лета Матиасы приглашали другие пары на поиски мидий, а зимой супруги расстались — еще один эксцесс, как казалось Конантам, еще одна кричащая экстравагантность — из-за романа, который затеял Ричард в Кэннонпорте. Весной же, когда они помирились и Ричард вернулся в Гринвуд, лодка в результате его таинственных финансовых махинаций оказалась проданной.

●

Ему нравилось изображать таинственность. Он разъезжал без всякой видимой цели, часто с ночевками, а из его планов обогащения — открыть в городке кафе, издательство, специализирующееся на выпуске восточной эротики, фирму по перебивке автомобильных сидений тканью под гобелен, то, что с некоторых пор идет на модные «ковровые» чемоданы, — ничего путного не выходило. Беседуя с женщинами, он делал вид, что не понимает простейших вещей, и его зрячий глаз наполнялся слезами из сочувствия незрячему, сочувствия тому печальному, что поведали ему.

Сначала Руфь, заметив это, краснела от стыда, словно он выудил у нее тайну, а потом краснела от злости: злости на себя за то, что она покраснела, и злости на Ричарда — за то, что он такой въедливый дурак. И однако же, дело было не только в этом. Возможно, она *действительно* выдала тайну — тайну о себе, которую тщательно скрывала от Джерри все эти восемь лет их супружества. Это была тайна, еще не выраженная словами, — вернее, такая, которую Руфь и не стремилась облечь в слова. Ей нравился запах Ричарда — запах табака, виски и старой кожи, который напоминал ей застоявшийся дух в кабинете отца после очередной

утомительной субботы, проведенной за написанием проповеди; ей нравился этот озадаченно-покровительственный вид, с каким Ричард стоял нахохлившись или, пошатываясь, бродил среди гостей на вечеринках и всегда — рано или поздно — подходил к ней поболтать. Джерри заметил это — он ненавидел Ричарда. Ричард был одним из немногих, повстречавшихся им за тридцать лет жизни в материалистической Америке, кто открыто заявлял, что он — атеист. Когда Руфь как-то упомянула в разговоре, что Джерри настаивает, чтобы дети ходили в воскресную школу, жесткие брови Ричарда приподнялись, зрячий глаз расширился, и он рассмеялся от удивления.

— Какого черта — зачем?

— Это для него очень важно, — сказала Руфь, как преданная жена, хотя, возможно, такая рефлекторная преданность была, скорее, отсутствием преданности вообще.

С тех пор Ричард не упускал случая «подкусить» Джерри, как он это называл. Однажды на лужайке возле дома Матиасов в разгар летнего дня Ричард вытащил пластмассового Христа — амулет для автомобиля, присланный ему кем-то по почте, и рукой фигурки, поднятой для благословения, принялся чистить себе ногти. «Смотри-ка, Салли-О, — сказал он, — верно, из Христа получилась хорошая ногтечистка?» Салли, которая, насколько знала Руфь, выросла в католической вере, вырвала фигурку у Ричарда и пробормотала что-то насчет того, что хоть она, в общем-то, ни во что не верит, тем не менее... право же, Ричард... Джерри, несмотря на жаркое солнце, побелел как полотно. Потом он не раз вспоминал этот случай: какой садист этот мерзавец Матиас, разве можно так относиться к жене!

На самом же деле Ричард относился к Салли даже слишком хорошо. Когда из угла полной гвалта комнаты или с лужайки перед домом во время чая на свежем воздухе слышался ее пронзительный голос, его передергивало, но он крепко сжимал губы. сделка заключена, и это цена, которую он платит за яркую броскость своей супруги. Он был хороший семьянин, чем не мог похвалиться Джерри. Как бы поздно он ни засиделся накануне за бутылкой вина, утром он вставал очень рано и часто готовил завтрак жене и детям, а Джерри поднимался лишь после того, как дети были накормлены и выпровожены из дома, а до его поезда в 8.17 оставались считанные минуты. И хотя Джерри высмеивал Ричарда за то, что у него нет призвания, однако кое-что Ричард *умел* делать: мастерил книжные полки, полировал мебель, выращивал помидоры, салат и тыкву, собирал мидии. Он помог Салли сделать из их старого фермерского дома в колониальном стиле — полированный модерн: десятки усовершенствований в доме были произведены им. Он часто — к вящей зависти Руфи — по целым дням сидел дома, что давало возможность Салли заниматься домашней работой, имея под рукой интересного собеседника. Хотя здоровый глаз у него быстро уставал, читал он много, причем читал книги, какие читают женщины: романы, биографии, труды по психологии. Он относился к воспитанию детей как к серьезной

проблеме, а Джерри никакой проблемы тут не видел: он-де — изначальный оригинал, господь бог снял с него копии в виде детей, которые со временем, в свою очередь, будут размножены. Джерри любил процесс воспроизводства и его орудия — фотоаппараты, печатные станки, — но ведь Руфь же все-таки не машина! А одноглазый Ричард умудрился увидеть ее насквозь, разглядеть в ней тайну, которую не видел никто после Марты, толстой негритянки, готовившей и прибиравшей у них в доме в ту пору, когда они жили у отца Руфи — приходского священника в Буффало. Во времена царствования Марты кухня стала для Руфи прибежищем, хранилищем всего того, в чем она беззвучным шепотом признавалась лишь самой себе. «Руфи, — со вздохом говорила Марта, — ты девочка-кудесница, но жизнь тебя проведет. Не боишься ты того, чего надо». И чем жестче был приговор Марты, тем сильнее чувствовала Руфь ее любовь. Вот и Ричард тоже увидел ее насквозь и понял ее обреченность. И она увидела его насквозь, увидела правду: как тяжело ему с Салли, как она заставляет его платить за то, что так хороша; бесстрастным взглядом художника Руфь наблюдала, как он строит из себя клоуна, и пьет, и дурачится, и видела, что могла бы сделать его жизнь более легкой, а сейчас ее легкой назвать было нельзя, хотя Матиасы одинаково любили вечеринки и все, что могут дать деньги, и оба отличались известной незрелостью, заметной и в детях, когда те обращали к родителям свои чистые, похожие на пустые блюдца личики. И однако же, Ричард болтал с Руфью о Пьяже [1], и о Споке [2], и об Анне Фрейд [3], и об Айрис Мердок [4], и о Джулии Чайлд [5], и о мебели, и о кулинарных рецептах, и о моде. Он всегда замечал, как она одета; иногда отпускал комплимент, иногда — оскорблял. Он осудил ее, когда она обрезала волосы, а Джерри настаивал на этом; он даже хотел, чтоб она подстриглась совсем коротко; «красиво, когда череп обрисован».

Зачем ему понадобилось обрисовывать ее череп? Танцуя с нею как-то на вечеринке, Ричард погладил ее — именно погладил, а не пошлепал — сзади и сказал, что, по его мнению, у нее самый сексуальный в городке зад. «Он разговаривает со мной, как женщина с женщиной», — пояснила Руфь, когда Джерри посетовал, что на вечеринках она слишком много времени проводит с Ричардом; произнося эти слова, она сознавала, что за все свое замужество впервые намеренно лжет. На другой вечеринке Ричард

---

[1] Пьяже Жан — швейцарский психолог, специалист по детской психологии.

[2] Спок Бенджамен — известный американский врач-педиатр, автор книг по уходу за ребенком.

[3] Анна Фрейд — английский психоаналитик австралийского происхождения; дочь Зигмунда Фрейда.

[4] Айрис Мердок — известная английская писательница.

[5] Джулия Чайлд — автор поваренных книг, часто выступает в передачах для домашних хозяек по американскому телевидению.

предложил ей позавтракать вместе и даже назвал ресторан — китайский ресторан по дороге на Кэннонпорт. Она поблагодарила и отказалась. Потом она долго раздумывала, правильно ли она поступила, поблагодарив его. Ведь если ты за что-то признательна, значит, уже наполовину согласна принять. А когда она сказала ему (зачем?), что в отчаянии от «религиозного кризиса», переживаемого Джерри, Ричард снова предложил встретиться, чтобы как следует это обсудить. «Он чертовски нервный, а я читал кое-какие книги на этот счет». Она сожалеет, но лучше не надо. Он не стал настаивать, и ей это понравилось. Его предложения были как плоская шутка: чем чаще ее повторять, тем смешнее она становится; теперь на вечеринках Руфь уже ждала той минуты, когда Ричард, поджав от волнения тонкие, почти не существующие губы и чуть склонив набок голову, точно окривевший бог, подойдет и задаст ей свой избитый вопрос.

Но дома, в часы, когда она оказывалась наедине с собой, она вдруг просыпалась среди ночи с сознанием жуткого одиночества, и словно в ответ на крик о помощи злым духом на нее наваливался Ричард. Она чувствовала, как он неловко, на ощупь ищет дорогу к тайне, которая жаждет быть открытой. Неприятный иней, застилавший его глаз там, где у других людей черная точка вбирает в себя свет, вызывая у нее оцепенение, и, как защитная реакция, вспыхивала дикая, неистовая любовь к Джерри. Она обхватывала его недвижное тело, а он — шевельнется, перекатится на другой бок и снова заснет. Сон у них был разный: Джерри страдал бессонницей, засыпал поздно и спал глубоко и долго; Руфь засыпала без труда и просыпалась очень рано.

Если в унитарной церкви и есть высшая заповедь, то она гласит: «Смотри на вещи реально». «Выясняли всякие вещи», — любил говорить ее отец, возвращаясь глубоко за полночь домой после очередной вселенской межрасовой схватки в Поукипси. Однажды пустым зимним днем, когда двое старших детей были в школе, а Джоффри спал и жизнь в доме шла, как часы, своим заведенным порядком: горела плита, высыхал дощатый пол, а улица сверкала от снега, — на крыльце возник Ричард. Увидев из окон гостиной его старый рыжевато-коричневый «мерседес», Руфь пошла открывать, уже зная, кто это. Дверь заело, и Руфи пришлось подергать ее, чтобы открыть, — оба немного растерялись, когда она, наконец, распахнулась. Он стоял в проеме двери, точно в раме, — дождевик и клетчатая рубашка, раскрытая у ворота, — этакий огромный скорбный призрак. В качестве предлога он принес книгу, о которой они говорили, — новый роман Мердок. Он и использовал ее лишь как предлог, вручив мимоходом: инстинкт подсказывал, что предлоги едва ли понадобятся в дальнейшем.

Зима уступила место весне, и Руфь привыкла к нему.

Ничего не видя поверх его тяжелых, поросших мягкими черными волосками плеч, Руфь деловито отвечала на осторожные, настойчивые ласки Ричарда. Все у них происходило по-деловому,

под контролем разума, к взаимному удовлетворению; с этим чужим человеком у нее всегда хватало времени — времени пройти весь путь до конца и упасть вниз с обрыва, упасть и снова прийти к изначальной точке, прочно чувствуя спиною землю. Землей была их постель — ее и Джерри. Яркий свет дня разливался вокруг нее. Джоффри спал на другом конце второго этажа. Не без любопытства Руфь дотронулась до маленькой дуги малиновых пятнышек на плече Ричарда — следы зубов, оставленных словно бы кем-то другим.

— Извини, — сказала она.

— Столь сладостная боль, как принято говорить.

У него был на все ответ. Не желая подвергать себя испытанию, она, чтобы не смотреть ему в глаза, стала изучать его губы. Нижняя губа как-то жалобно, по стариковски отвисла, и сейчас, после любви, обе губы были смочены слюной.

— Это так на меня непохоже, — сказала она.

Почти не разжимая губ, он произнес:

— Это — часть игры. Любовницы кусаются. Жены — никогда.

— Не смей, — Она чуть сдвинулась, чтобы не так чувствовать тяжесть его тела. — Не зубоскаль.

Его дыхание, отдававшее перегаром виски, — хотя он вошел через кухонную дверь в полдень и они сразу легли в постель, — было все еще неровным, прерывистым.

— Ни черта я не зубоскалю, — сказал он. — Я просто пьян. И выжат как лимон.

Опустив глаза, она увидела линию слияния их тел, свои груди, прижатые к его волосатой груди, отчего он всегда казался ей неуклюжим мохнатым медведем. По сравнению с ним Джерри был гладкий, как змея.

Словно провидя ее мысли, Ричард спросил:

— Я тебе кажусь чокнутым?

— Я и сама себе кажусь такой.

— Почему ты меня впустила, Руфи-детка?

— Потому что ты попросил.

— А никто раньше не просил?

— Во всяком случае, я этого не замечала.

Ричард глубоко вобрал в себя воздух, рывком оторвался от ее груди; она с грустью почувствовала, как он уходит из ее жизни, отступает в перспективу.

— Просто не понимаю, сказал он, — почему вы с Джерри не работаете в постели. Очень ты лихо все умеешь.

Она сжала его коленями и принялась качать — туда, сюда, чуть нетерпеливо, точно ребенка, который не желает засыпать. Зря он упомянул про Джерри: это грозит все испортить. Дом затрясся, и через мгновение, взрывая звуковой барьер, над ними, в безграничной синеве за окном, пронесся реактивный самолет. На другом конце дома захныкал в своей кроватке Джоффри. Ричарду пора уходить, но пока он здесь, надо его использовать. Надо учиться.

— Так принято говорить? — спросила она. — «Лихо умеешь?» — В ее устах это прозвучало до того странно, что Руфь покраснела, хотя и лежала совсем голая.

Ричард посмотрел на нее сверху вниз; своей пухлой, казалось, бескостной рукой он провел по ее волосам, зрячий глаз его словно впивал ее лицо, на котором читался испуг. Она заставила себя посмотреть ему в глаза — уж это-то она может для него сделать.

— Никто, значит, никогда не говорил тебе, — сказал он, поглаживая ее, — какая ты пикантная штучка.

Таким уж он сам себе виделся: учитель, учитель житейской мудрости. В ту весну и лето 1961 года они встречались в основном чтоб поболтать, а не затем, чтобы лечь в постель. Зная, с каким презрением Джерри относится к Ричарду и как гордится самим собой, Руфь понимала, что изменяет мужу не тогда, когда отдается другому, ибо ей решать, кому дарить свое тело, а когда рассказывает о тайном страхе, который снедает Джерри и которым он делится только с ней.

— Он говорит, что видит всюду смерть — в газетах, в траве. Он смотрит на детей и говорит, что они высасывают из него жизнь. Говорит, что их слишком много.

— А он когда-нибудь ходил к психиатру? — Ричард зацепил палочками кусочек водяного ореха и отправил в рот. Они сидели в китайском ресторане ярким июльским днем. Занавески на окнах были задернуты, отчего казалось, что за окном не полдень, а янтарный вечер.

— Он презирает психиатрию. Из себя выходит, стоит мне намекнуть, что у него со здоровьем не все в порядке. Когда я говорю, что *не боюсь* смерти, он называет меня духовно неполноценной. Говорит, я не боюсь, потому что лишена воображения. Под этим он, видимо, подразумевает, что у меня нет души.

Ричард, потягивая мартини — третий по счету, — почесал костяшкой пальца нос.

— Вот уж никогда не думал, что этот малый до такой степени псих. Я бы попросту списал его как депрессивного маниака, если бы не эти мысли о смерти, — тут уж пахнет психопатией. А на его работе это не отражается?

— Он говорит, что по-прежнему в состоянии работать, хотя у него уходит на это в два раза больше времени, чем раньше. Он ведь сейчас, главным образом, ходит по совещаниям да поставляет идеи, а осуществляют их другие. Он уже не рисует дома, а мне жаль. Даже в ту пору, когда все его работы возвращали нам по почте, приятно было видеть его за делом. Он всегда рисовал под радио — говорил, это помогает ему наносить краску.

— Но Эла Каппа [1] из него все-таки не вышло.

— Он никогда к этому и не стремился.

— Мне нравится твоя лояльность, — сказал Ричард: в тоне его звучала непоколебимая самовлюбленность — черта, характерная для обоих Матиасов.

У Руфи перехватило дыхание, и она уставилась в тарелку: она ведь была так далека от мысли, что совершает страшную ошибку.

— Лояльности тут маловато, — сказала она. — У меня сейчас

---

[1] Эл Капп (1909—1979) — американский карикатурист.

такое чувство, будто мы с тобой проникли в его мозг и сделали его еще хуже. Он говорит — я отсутствую.

— Где отсутствуешь?

— Меня *нет. Нигде.* Нет с ним. Ну, ты понимаешь.

— То есть ты чувствуешь себя теперь моей, а не его?

Ей не хотелось показывать Ричарду, сколь неприятна ей эта мысль, да и сама терминология. Она сказала:

— Я не уверена, что я вообще чья-либо. Возможно, в этом моя беда.

Крупинка риса прилипла к его нижней губе, точно окурок.

— Попытайся объяснить, — сказал он, — что это за ерунда насчет твоего отсутствия. Ты хочешь сказать — в постели?

— Я стала лучше в постели. Благодаря тебе. Но, похоже, это не имеет для него значения. Прошлой ночью, после всего, он разбудил меня около трех и спросил, почему я его не люблю. Оказалось, он бродил по дому, читал Библию и смотрел всякие страсти по телевидению. У него бывают такие приступы, когда ему трудно дышать лежа. У тебя рисинка на губе.

Он смахнул ее нарочито подчеркнутым жестом, показавшимся Руфи комичным.

— И давно у него эти неприятности с дыханием? — спросил он.

— Это появилось еще до того, как у нас с тобой началось. Но лучше ему не стало. Я почему-то думала, что станет. Не спрашивай — почему.

— Так. Значит, я спал с тобой, чтобы избавить Джерри от астмы. — Саркастический смех у Ричарда звучал не очень убедительно.

— Не передергивай, пожалуйста.

— Я и не передергиваю. Ведь совершенно ясно, на что ты намекаешь. Ты намекаешь, что я для тебя — эдакий козел отпущения. Не извиняйся. Все эти годы я был козлом отпущения для Салли. Что ж, теперь могу сыграть эту роль и для тебя.

Он молил ее сказать, что она его любит. А она не могла заставить себя произнести эти слова. Она всегда знала, что у них с Ричардом нет будущего, но только сейчас поняла, сколь кратковременно их настоящее. Его голова в янтарном свете казалась огромной — неестественная, непропорциональная голова, надетая поверх настоящей, из которой глухо, словно из бочки, вылетали слова.

— Надоело мне все, — сказала вдруг она. — Не создана я для романов. Все лето у меня были нелады с желудком, и я чувствую себя ужасно подавленной после наших встреч. А он мою ложь даже и не слушает. Я все думаю: если бы он знал, развелся бы со мной?

Ричард резко, со стуком опустил палочки на пустую тарелку.

— Никогда, — сказал он. — Он никогда не разведется с тобой — ты ведь для него как мать. А человек, черт возьми, не разводится со своей матерью. — В его словах была такая безнадежность, что ей захотелось плакать; должно быть, он почувствовал это, ибо голос его зазвучал мягче.

— Как жратва — понравилась? Похоже, чоу-мейн был консервированный.

— Мне все показалось вкусным, — решительно заявила Руфь.

Он накрыл ее руку ладонью. Ее поразила схожесть их рук: его рука была слишком для него маленькая, а у нее — слишком для нее большая.

— Ты очень выносливая, — сказал он. Это прозвучало и как комплимент, и как прощание.

Окончательно она порвала с ним в сентябре. Джерри напугал ее, услышав часть их телефонного разговора. Она думала, что он подметает задний двор. А он неожиданно появился из кухни и спросил:

— Это кто звонил?

Ее охватила паника.

— Да так, ерунда. Одна женщина из воскресной школы спрашивала, собираемся ли мы записывать Джоанну и Чарли.

— Слишком они там стали деятельны и назойливы. Что ты сказала?

— Я сказала — конечно, собираемся.

— Но я слышал, ты сказала — нет.

А Ричард спрашивал, не согласится ли она пообедать с ним на будущей неделе.

— Она спросила, собираемся ли мы водить и Джоффри.

— Конечно, нет, — сказал Джерри, — ему ведь еще нет и трех. — И, сев за стол, принялся листать субботнюю газету. Он всегда открывал ее на странице с комиксами, словно надеясь найти там себя. — Почему-то, — сказал он, не глядя на нее, — я тебе не верю.

— Но почему же? Что ты такое услышал?

— Ничего. Все дело в твоей интонации.

— Вот как? А какая же у меня была интонация? — Ей хотелось хихикнуть.

Он смотрел куда-то в пространство, словно решал некую эстетическую проблему. Он выглядел усталым, юным и тощим. Волосы у него были слишком коротко пострижены.

— Не такая, как всегда, — сказал он. — Более теплая. Это был голос женщины.

— Но ведь я и есть женщина.

— Когда ты говоришь со мной, — сказал он, — голос у тебя совсем девчоночий.

Она хмыкнула и стала ждать следующего, более сильного удара. А он снова углубился в изучение страницы с комиксами. Ей захотелось обнять этого слепца.

— Такой ясный, холодный, девственный, — добавил он. У нее исчезло желание его обнимать.

Как-то на следующей неделе она поехала за покупками в маленький торговый центр Гринвуда. Во всех витринах была выставлена одежда для школьников, а у Гристеда пахло яблоками.

Воздух над телефонными проводами, казалось, выстирали и заново повесили. Полисмены снова надели форму с длинными рукавами. Над входом в магазин мелочей сняли полотняный навес. Направляясь к своему «фолкону» с двумя бумажными пакетами, полными продуктов, она увидела возле парикмахерской «мерседес» Ричарда. Она замедлила шаг, проходя мимо открытой двери, из которой запах бриллиантина выплескивался на панель, и увидела его — широкий, грузный, в своей обычной клетчатой рубашке, он сидел, ожидая очереди. Сердце ее устремилось к нему — ей не хотелось, чтобы он стригся. Ричард увидел ее, выбросил сигарету и, поднявшись с кресла, вышел на улицу.

— Не хочешь чуть-чуть прокатиться?

Это «чуть-чуть» прозвучало для нее укором. Она ведь избегала его. Он стоял, моргая на ярком солнце, незащищенный, неуверенный в следующем шаге, — неприкаянный призрак, оставшийся от развеявшегося сна. Как странно, подумала Руфь, что можно спать с человеком и видеть в нем лишь постороннего человека — не больше. Она пожалела Ричарда и, согласившись прокатиться, поставила на переднее сиденье пакеты с покупками — громоздкие и шуршащие, словно старухи-компаньонки. В его машине знакомо пахло немецкой кожей, американскими конфетами, пролитым вином... Ричард выбрался из центра и повел машину мимо типичных коннектикутских домиков, глубоко и плотно упрятанных в одеяла зелени, — к городской окраине, где вдали от воды еще сохранился заповедный редкий лес.

— Я скучаю по тебе, — сказал он.

Руфь почувствовала, что не может не сказать: «Я тоже по тебе скучаю».

— Тогда что же происходит? Вернее, почему ничего не происходит? Разве я сделал что-то не так?

Руфи бросилось в глаза, пока они, подпрыгивая на выбоинах давно не ремонтированной дороги, ехали к пруду, где зимой детишки катаются на коньках, — что иные деревья, высохшие, умирающие, уже начали терять листву.

— Ничего, — ответила она. — Ничего преднамеренного в моем поведении нет — просто дел прибавилось, кончилось лето. Все зверье возвращается в свои берлоги.

Желтые пятна мелькали за косматым черным облаком его волос.

— Знаешь, — сказал Ричард, — я ведь могу осложнить тебе жизнь.

— Каким образом?

— Сказать все Джерри.

— Зачем тебе это?

— Я хочу тебя.

— Не думаю, чтобы таким путем ты меня получил.

— Я ведь знаю тебя, Руфи-детка. Я так хорошо тебя знаю, что могу сделать тебе больно.

— Но не сделаешь. И вообще не пора ли тебе подыскать другую даму сердца?

Он рассказывал ей о романе, ускорившем его охлаждение к Салли; да и о других романах тоже. Руфь чувствовала себя тогда оскорбленной, хоть и промолчала: эти женщины показались ей такими вульгарными, да и Ричард говорил о них с нескрываемым презрением.

Он свернул на проселочную дорогу — две колеи в траве, — что вела к пруду. Дальше путь преграждала цепь; Ричард остановил машину. Между ними на переднем сиденье стояли пакеты с продуктами. На той стороне пруда одинокий рыбак общался со своим отражением. Было утро; дети, собиравшиеся здесь в течение всего лета, сейчас сидели в школе; она оставила Джоффри на попечение маляра, сдиравшего обои в гостиной, и обещала вернуться через полчаса. Все это промелькнуло в ее мозгу, пока она ждала, что предпримет Ричард. Он спросил ее:

— У тебя кто-то есть?

— Кроме Джерри? Другой роман? Не будь мерзким. Если бы ты хоть немного знал меня, ты бы даже не спрашивал.

— Возможно, я тебя и *не знаю*. Борись за то, чтобы узнал.

Раз он считает ее борцом, что ж, она будет бороться.

— Ричард, — сказала она, — я должна просить тебя не звонить мне больше домой. Джерри слышал часть нашего последнего разговора и потом такое нес, что мне стало страшно.

На его лице, повернутом к ней зрячим глазом, отразилось смятение: Руфь сама удивилась, какое это ей доставило удовольствие.

— Что именно?

— Ничего определенного. О тебе — ничего. Но, мне кажется, он знает.

— Повтори в точности, что он сказал.

— Нет. Это не имеет значения. Тебя, в общем-то, не касается, что он сказал. — Это перестало его касаться всего лишь секунду назад, когда он пришел в такое волнение при одной мысли, что Джерри знает. Если бы он любил ее, он бы только обрадовался, ему бы не терпелось в открытую вступить за нее в борьбу.

Ричард на ощупь вытянул сигарету из пачки в нагрудном кармашке.

— Ну что ж. — Он сунул слегка помятую сигарету в рот, поднес к ней спичку и выдохнул вверх, к крышке машины, широкую струю дыма. Нижняя губа его вытянулась, точно сток трубы. Он был пуст. Она поняла, что он мучительно ищет слова, которые не поставили бы его в ложное положение.

— Хочешь поблагодарить меня, — спросил он, наконец, — за очень приятную поездку?

— Ты не думаешь, что так будет лучше?

Далекий рыбак взмахнул удочкой, и птицы на деревьях обрушили на них град комментариев. Пакеты с продуктами у ее локтя зашуршали — там таяло мороженое и отпотевали банки с охлажденным апельсиновым соком. Романы, поняла Руфь, как и все вообще, слишком многого требуют. Всем нам приходится платить фантастическую цену за то лишь, что мы существуем. Она задумалась — внезапно в уголке ее глаза возник Ричард, и она вся

сжалась, боясь, что он сейчас ударит ее. Он зло, с наигранной решительностью, потушил сигарету, ткнув ею в пепельницу на приборном щитке.

— Пошли, Руфь-детка, — со вздохом сказал он. — Мы же с тобой на себя не похожи. Давай погуляем. И не смотри на меня так — я тебя не удавлю. — А он наделен способностью ясновидящего: эта мысль у нее мелькнула.

Потом она будет вспоминать, как они шли вниз по затененной дорожке, над которой в пятнах солнечного света тучами толклась мошкара. Укрытые ветвями болотных кленов от глаз рыболова, они поцеловались. Ногам ее стало холодно: теннисные туфли ее отсырели, набравшись влаги из травы. Он возвышался над нею, словно диковинное теплое дерево, которое она обхватила руками, играя в прятки. Здесь, на природе, под прохладным небом, уже не казалось странным, что ее целуют, — это было так же естественно, как то, что мать мыла ей голову над кухонной раковиной с длинным медным краном или что продавец у Гристеда, где она была полчаса тому назад, дал ей сдачу. Руки Ричарда, вопреки обыкновению, как-то уныло лежали в изгибе ее спины, а не ниже.

— Пожалуйста, прости меня, — сказала она.

— И мы никогда больше не будем спать вместе? Завязано?

Она не выдержала и рассмеялась — уж очень смешно он это сказал, — потом взмолилась:

— Отпусти меня. Я даже похудела.

Словно для проверки он сжал ее талию.

— Кое-что еще осталось.

Они, наверное, еще о чем-то говорили, но в памяти Руфи все заслонили вибрирующие волны мошкары, ощущение мокроты и холода в ногах, образ рыболова, как бы осуществлявшего контроль над их расставанием с дальнего берега, где удочка и ее отражение в воде образовали своеобразную арку. Хотя порой по утрам, когда особых дел не было, ей и хотелось, чтобы зазвонил телефон, она все же была благодарна Ричарду за то, что он внял ей и в то же время по-прежнему подходил к ней на вечеринках, словно ожидая, что она, по старой памяти, поделится с ним некоей тайной. В общем-то, она не жалела, что в ее жизни был этот роман, и, застегивая молнии на зимних комбинезонах детей или ставя жаркое в духовку, не без удовольствия думала об этом приключении, сокрытом в прошлом. Ей казалось, что во всех отношениях она стала лучше и значительнее — почти такой, как надо: она не побоялась опасности и вынесла из пережитого умудренность опыта, сделалась женщиной более совершенной, терпимой. Было у нее все — и приятели в юности, и муж, и любовник; теперь вроде бы можно и успокоиться.

Она не намеревалась вечно скрывать это от Джерри. Оглядываясь назад, она все больше убеждалась в том, что пошла на этот шаг не столько ради себя, сколько ради него, и то, что она отдалась другому мужчине, стало казаться ей своеобразной жертвой —

жертвой, никем не замеченной. Пока роман был в разгаре, она не раз представляла себе, что будет, когда Джерри узнает: удар грома, оглушительный грохот, изобличающий яркий свет, всеочищающее разрушение. Но брак их выстоял, тупо и прочно, словно заброшенный храм, в который никто не ходит, и когда она вернулась в его лоно, — сознание вины давило на нее, и она принялась надраивать полы, перебила диван синей парусиной, накупила специй для кухни, изучала тетрадки детей, словно каждая была частью Священного писания, — Джерри, по всей видимости, даже и не заметил, что она какое-то время отсутствовала. Мысли о Ричарде, воспоминание о физической близости с ним, физически острое предвкушение встречи какое-то время наполняли все ее существо; трепещущая, переполненная чувствами, открытая, стояла она перед зеркалом их брака — и не видела ничего, кроме пустоты. Знакомое ощущение. Ее отец был всецело занят любовью к ближнему, а мать — любовью к отцу, и Руфь выросла, считая, что ею пренебрегают. Она принадлежала к унитариям, и означало это лишь то, что душа у нее хоть и в крошечной степени, но все же существовала.

Незаметное возвращение Руфи к статусу верной жены произошло в мире, где все меняется. Чарли поступил в первый класс Гринвудской начальной школы; Джоанна, уверенная в себе девчушка с высоким лбом, пошла в третий класс. Эту юную особу превращение в женщину наверняка не смутит: вся страсть ее родителей той поры, когда оба учились в художественной школе, материализовалась в ней, их первом творении во плоти и крови. Постепенно Руфь набрала прежний вес, потерянный летом из-за неприятностей на нервной почве с желудком. Зима словно бинтом стянула пламенеющую осень. В тот год — первый год президентства Кеннеди — реки и озера замерзли рано и превратились в чудесные черные зеркала катков. Катаясь на коньках, Руфь летела и в полете обретала свободу. Она водила машину слишком быстро, пила слишком много и убегала на коньках вверх по реке, оставляя далеко позади Джерри и детей, — скользила стремительными, широкими рывками меж застывших стеною по берегам стройных серебряных деревьев. Желание летать появилось у нее после фиаско, которое она потерпела с Ричардом, — а это было фиаско, ибо если роман не закончился браком, то это фиаско.

И у Джерри вспышка религиозности постепенно сошла на нет. К весне полка с богословскими книгами уже утратила для него интерес — толко листочки бумаги в каждом томике отмечали, сколько он прочел. Страх оставил после себя след — разухабистость. Джерри безудержно увлекся твистом, и на вечеринках, глядя, как он извивается в экстазе, взмокший от пота, Руфь словно видела перед собой таинственно возникшего сына, которым она могла лишь с опаской гордиться, — такой в нем чувствовался переизбыток энергии. Джерри бросил курить и принялся скупать модные пластинки, которые крутил до тех пор, пока не начинал подпевать в унисон: «Рожденный для утрат, я прожил жизнь напрасно...» Это выглядело бы нелепо и жалко — как-никак мужику

тридцать лет, — если бы он не казался таким одурело счастливым. К нему вернулась легкая, беззаботная импульсивность — качество, запомнившееся Руфи со времени его ухаживания; зато Руфь вспомнить не могла, когда в последний раз считала его красивым, а теперь, стоило ему повернуться к ней лицом, ее пронзала мысль, что он — интересный мужчина. На щеках у него появился румянец, зеленые глаза смотрели лукаво. Его апатия и страх вызывали в ней чувство беспомощности и вины, и сейчас она радовалась его возрождению к жизни, хотя оно и несло с собой что-то для нее враждебное, непредсказуемое. Как-то вечером, вешая его брюки в шкаф, пока он играл во дворе с детьми в пятнашки, она с удивлением услышала легкое, чуть ли не музыкальное шуршание песка на полу. Он высыпался из-под манжет на брюках. О, да, пояснил Джерри после ужина, он останавливался на пляже — нет, не на гринвудском, а на другом, с индейским названием, тут как-то на днях, когда было тепло — заехал по пути со станции: так получилось, что он попал на более ранний поезд. Почему? Да потому, что был чудесный майский день — разве нужна другая причина? Она что — жена или тюремный надзиратель? Ему захотелось подышать соленым воздухом — вот он и погулял у воды, посидел немного среди дюн, там почти никого не было, лишь маленькая яхточка плавала в Саунде. Очень было красиво.

— Дети наверняка с удовольствием поехали бы с тобой.

— Ты свободна весь день — взяла бы да и свозила их.

Он смотрел на нее очень смело, и глаза у него были зеленые-зеленые, а вид задиристый из-за крошечной ссадины на переносице, и она вдруг поняла, почему он так нагло держится: он знает. Он узнал. Откуда? Должно быть, Ричард проболтался. Неужели все уже знают? Ну, и пусть. Главное для нее — Джерри, и если он знает и при это не мечет громы и молнии, — уже слава богу. Весь вечер, глядя на детей, на посуду, на лицо Джерри, поочередно возникавшие перед ней, она мысленно обдумывала слова признания, объяснения. Как это объяснить? Самое лучшее сказать, что она пошла на это, чтобы стать совершеннее — как женщина и как жена. Она внимательно следила за тем, чтобы ситуация не вышла из-под ее контроля. И роман почти не оставил на ней следа. Эти признания, как и необходимость их сделать, страшили ее, и она уснула, чтобы избавиться от страха, в то время как Джерри молча листал страницы «Арт ньюс». Она вновь ничего не увидела в зеркале, кроме пустоты.

За окнами их спальни, у дороги, стоял гигант вяз — один из немногих, оставшихся в Гринвуде. Молодые листики, только что вылезшие из почек, курчавились на нем, еще не успев набрать красок, — этакая пыль, дымка, недостаточно плотная, чтобы укрыть костяк ветвей. А ветви были корявые, могучие, вечные — неисчерпаемый источник поддержки и радости для глаз Руфи. Из всего, что находилось в поле ее зрения, этот вяз больше всего

убеждал ее в наличии космической благодати. Если бы Руфь попросили описать бога, она описала бы это дерево. По раскидистым нижним ветвям разгуливали голуби, точно прихожане по собору; в вольном воздухе над дорогой свисали усиками лозы веточки — они сладострастно и жадно пили свет, лениво прочесывая воздух, словно пальцы, опущенные в воду с каноэ. Руфь подумала, что не так уж и страшно умереть. Она лежала под стеганым одеялом и пыталась заснуть.

Энергичные шаги раздались внизу, покружили и направились наверх. Без приглашения Джерри залез к ней под одеяло. Она надеялась — хотя тут же решила, что, наверное, слишком многого хочет, — что он не станет приставать к ней со своей любовью. А он обхватил рукой ее талию и спросил:

— Ты счастлива?

— Не знаю.

— Ты устала?

— Да.

— Давай спать.

— А ты пришел не для того, чтоб приставать ко мне?

— Ни в коем случае. Я пришел, потому что ты последнее время такая грустная.

Колышущиеся очертания дерева, твердые, как камень, и прихотливые, как ветер, казались далекими, словно шепотом произнесенное слово.

— Я не грустная, — сказала она.

Джерри глубже зарылся под одеяло и уткнулся открытым ртом в ее обнаженное плечо. Когда он заговорил, язык его щекотнул ей кожу.

— Скажи, кого ты любишь, — пробормотал он.

— Я люблю тебя, — сказала она, — и всех голубей на этом дереве, и всех собак в городе, кроме тех, что роются в наших мусорных бачках, и всех котов, кроме того, от которого забеременела наша Лулу. И еще люблю спасателей на пляже, и полисменов в городе, кроме того, который отругал меня за то, что я не там развернула машину, и я люблю некоторых из наших ужасных друзей, особенно когда выпью...

— А как ты относишься к Дику Матиасу?

— Мне он безразличен.

— Я знаю. Вот это-то и поражает меня в тебе. Он такой болван. В самом прямом смысле. Да еще одноглазый. У тебя от этого мурашки не бегут по коже?

Руфь считала, что чувство собственного достоинства — достоинства, обязывающего хранить тайну, — требует, чтобы она ничего не говорила, пусть Джерри скажет сам. Замкнувшись в отчаянии, она ждала. Он приподнялся на локте — она закрыла глаза и представила себе в его руке нож. От жаркой погоды снова заныли ноги, болевшие с тех пор, как она носила Джоффри. Присутствие Джерри усиливало боль. Она глубоко вздохнула.

Он сказал совсем не то, чего она ждала, хотя, видимо, это и было главным пунктом разговора:

— Ну, а как ты относишься к Салли? Расскажи мне про Салли.

Руфь рассмеялась, словно он неожиданно щекотнул ее.

— Салли?

— Ты ее любишь?

Она снова рассмеялась.

— Конечно, нет.

— Она тебе нравится?

— Не очень.

— Детка, уж что-то, а *нравиться* она тебе должна. Ты же ей нравишься.

— Не думаю, чтобы я так уж ей нравилась. То есть, я хочу сказать, может, я и нравлюсь ей, но только как еще одна местная жительница, которую она может затмить...

— Нисколько она тебя не затмевает. Она не считает этого. Она считает тебя прехорошенькой.

— Не говори глупостей. Я выгляжу ничего только при правильном освещении и когда у меня настроение не слишком поганое. А она, можно сказать, — грандиозная.

— Почему «можно сказать»? Я согласен. Она — экстра-класс, но чего-то в ней не хватает. Чего?

Руфь никак не могла заставить себя сосредоточиться на Салли — образ ее все время расплывался, сливаясь с образом Ричарда. Она вдруг поняла, что за время их романа научилась не думать об его жене, хотя поначалу, когда они только приехали в Гринвуд, ее поразила Салли — эти светлые волосы, свисающие вдоль широкой спины, мужская походка и испуганный взгляд, напряженная улыбка, кривившая уголок рта.

— Мне кажется, — сказала Руфь, — Салли никогда не была **очень** счастлива. Они с Диком не подходят друг другу — во всех отношениях. Оба любят бывать на людях, но, пожалуй, не дополняют друг друга... — Ей хотелось добавить: «как мы с тобой», но она не решилась и умолкла.

А Джерри уже сел на своего любимого конька.

— Господи боже мой, да кто же *может быть* под пару Ричарду? Ведь он чудовище.

— Ничего подобного. И ты это знаешь. Сколько угодно женщин были бы под пару ему. Да любая ленивая, плотоядная бабенка, не слишком алчная...

— Разве Салли — алчная?

— Очень.

— До чего же она алчная?

— До всего. До жизни. Совсем как ты.

— И однако же — не плотоядная?

Руфь вспомнила, что говорил Ричард насчет Салли. Только бы не повторить его слов, отвечая сейчас Джерри.

— У меня такое впечатление, — сказала она, — что ей не хватает тепла, сострадания. Она не подпускает к себе ничего, что могло бы ее расстроить. Ну, а насчет ее плотоядности — откуда мне знать. Во всяком случае, с чего это вдруг такой прилив интереса?

— Ни с чего, — сказал он. — Любовь к своему соседу — и только. — Он притулился к ней, глубже уйдя под одеяло, так что видна была только макушка: Руфь вдруг заметила в его волосах седину. Внезапно, следуя своей излюбленной манере, он замурлыкал: звук, рождавшийся где-то глубоко у него в горле, достиг ее ушей. Это было сигналом — повернуться к нему, если она хочет; она продолжала лежать на спине, хотя он прогнал с нее сон и всю священную магию — с вяза. — А мне кажется, — донесся его голос из-под одеяла, — что у вас с Салли куда больше общего, чем ты думаешь. *Ты* вот была когда-нибудь очень счастлива?

— Конечно, была. Я почти всегда счастлива — в этом моя беда. Все хотят видеть меня спокойной, довольной, и вот, черт подери, такая я и есть. Даже не знаю, в чем сегодня моя беда.

— Может, решила, что забеременела? — И он тут же вынес обвинительное заключение: — Тогда, значит, встречалась с тем же котом, что и Лулу.

— Я *знаю*, что нет.

— Тогда что-то другое. Подцепила какую-нибудь гадость.

— Иной раз, — попыталась она направить разговор в другое русло, — мне действительно хочется защитить Салли, у меня даже появляется к ней теплое чувство. Она, *конечно*, пустенькая и эгоистка, и я знаю, окажись я когда-нибудь на ее пути, она, не задумываясь, переступит через меня, но в то же время во всей этой ее показухе есть какая-то щедрость, она старается что-то дать миру. В горах, на лыжах, когда она надевает эту свою дурацкую шапочку с кисточкой и начинает флиртовать с лыжным инструктором, мне так и хочется *обнять* ее, прижать к себе — такая она милая дурочка. А когда мы ездили ловить мидий, она была просто прелесть. Но все теплые чувства к ней у меня исчезают, когда вы твистуете. Ты об этом спрашивал?

Он поглаживал ее грудь поверх комбинации, и теперь, после его кошачьего мурлыканья, у нее возникло неприятное чувство, будто он вот-вот ее съест. Она оттолкнула его и, сбросив покрывало с его лица, спросила:

— Так ты *об этом* спрашивал?

Он уткнулся лицом ей в плечо — большой нос его был таким холодным — и закрыл глаза. Теперь, украв у нее сон, он, видимо, сам решил заснуть. Кожей плеча она почувствовала, как его губы расползаются в улыбке.

— Я люблю тебя, — вздохнул он. — Ты так хорошо все видишь.

Потом она удивлялась, как могла она быть до такой степени слепа — и слепа так долго. Улик было сколько угодно: песок; его необъяснимые появления и исчезновения; то, что он бросил курить; его победоносная, безудержная веселость на вечеринках в присутствии Салли; та свойственная только жене мягкость (в тот момент Руфь словно ужалило, и картина эта надолго осталась в ее памяти), с какою Салли как-то раз взяла Джерри за руку, приглашая танцевать. Одержимость идеей смерти, владевшая

Джерри прошлой весной, казалась Руфи настолько неподвластной доводам разума, настолько непробиваемой, что новые черточки в его поведении она отнесла к той же области таинственного: новая манера говорить и вышагивать; приступы раздражительности с детьми; приступы нежности к ней; бесконечный самоанализ, без которого не обходилась ни одна их беседа; бессонница; ослабление его физических притязаний и какая-то новая холодная властность в постели, так что порой ей казалось, что она снова с Ричардом. Как могла она быть настолько слепой? Сначала она подумала, что от долгого созерцания собственной вины приняла появление нового за следствие прошлого. Она призналась себе тогда, — хотя ни за что не призналась бы в этом Джерри, — что не считала его способным на такое.

Джерри попросил ее о разводе в воскресенье — в воскресенье той недели, когда он после двух дней, проведенных в Вашингтоне, прилетел в каком-то смятенном состоянии одним из последних самолетов. Расписание тогда сбилось, все рейсы были переполнены, и она сидела на аэродроме Ла-Гардиа, встречая самолет за самолетом. Когда, наконец, знакомый силуэт — узкие плечи, коротко остриженная голова — вырисовался на фоне мутных огней летнего поля и заспешил к ней, она немало удивилась той униженной радости, с какой забилось у нее сердце. Будь она собакой, она, наверное, подпрыгнула бы и лизнула его в лицо; будучи же всего лишь женой, она позволила ему поцеловать себя и повела к машине, по дороге слушая рассказ о поездке: Госдепартамент; несколько минут с Вермеером в Национальной галерее; относительно крепкий сон в гостинице; жалкие подарки детям, которые он купил в магазине мелочей; одуряющее ожидание в аэропорту. По мере того как городская сумятица оставалась позади, его говорящий профиль в теплом склепе машины утрачивал в ее глазах ореол чуда, и к тому времени, когда они со скрежетом остановились на дорожке у дома, оба не чувствовали ничего, кроме усталости; они поели куриного супа, выпили немного бурбона и юркнули в холодную постель. Однако потом это его возвращение домой казалось ей сказкой — последним оазисом, когда еще была твердая почва под ногами, перед этим дождливым воскресным днем, с которого началось плавание по морю кошмара, ставшее с тех пор ее естественным состоянием.

В то утро она с детьми отправилась на пляж. Джерри захотел пойти в церковь. Летом служба начиналась в девять тридцать и кончалась в десять тридцать. Руфь считала несправедливым заставлять детей так долго ждать, особенно учитывая капризы того лета: ясная погода по утрам, тучи — уже к полудню. Поэтому они высадили его, принаряженного, возле церкви и поехали дальше.

Тучи появились раньше обычного: сначала — пуховочки, словно струйки дыма из локомотива, отправляющегося в путь вдоль горизонта, а потом настоящие тучи, все более затейливые и темные — зáмки, континенты, по мере продвижения разраставшиеся ввысь, застилавшие солнце. У мамаш на пляже была игра — подстерегать очередной просвет солнца. Облака плыли на восток,

поэтому глаза мамаш были обращены на запад, где разматывался золотй бинт — сначала зажжет крыши коттеджей в Джейкобс-Пойнте, затем в полосу света попадает большая зеленая водонапорная башня, снабжающая коттеджи водой, и загорится, словно спустившийся с Марса космический корабль, металлическое яйцо на ее крыше; потом яркий свет покатится равномерными толчками по прибрежному песку, от чего он станет похож на поле нездешней, клонимой ветром пшеницы, и, наконец, солнце прорежется над головой, жаркое, вырвавшееся на свободу из цепляющихся за него рваных закраин облаков, а глубины неба закружатся радугой между прищуренными ресницами мамаш. В это воскресенье просветы в облаках исчезали быстрее обычного, и к половине двенадцатого стало ясно, что вот-вот пойдет дождь. Руфь с детьми отправилась домой. Они обнаружили Джерри в гостиной: он сидел и читал воскресную газету. Он снял пиджак и распустил узел галстука, но из-за того, что волосы его были все еще влажные и прилизанные водой, показался Руфи каким-то странным. Он был рассеян, резок, враждебен; он вел себя так, точно они забрали себе все пляжное время и оставили его ни с чем. Но он часто бывал раздражен после церкви.

Руфь вынула из духовки жаркое, и все, кроме Джерри, сели за воскресный обед в купальных костюмах. Это был тот единственный день в неделю, когда Джерри перед обедом читал молитву. Не успел он начать: «Отче наш», как Джоффри, которого научили молитвам на сон грядущий, громко произнес: «Милый боженька...» Джоанна с Чарли захихикали. Джерри, не обращая на них внимания, продолжал быстро читать молитву, а Джоффри, закрыв глазенки, сжав пухлые ручки над тарелкой, тщетно пытался поспеть за ним, но, не выдержав темпа, жалобно прохныкал:

— Не могу я так *говорить!*

— Аминь, — произнес Джерри и наотмашь ударил Джоффри по макушке. — *Заткнись.*

В начале недели мальчик сломал себе ключицу. Плечики его были оттянуты назад специальным бинтом, и он был особенно чувствителен к боли.

Проглотив слезы, Джоффри возмутился:

— Ты же читал так *быстро!*

— Глупыш, тебе вовсе не надо было повторять молитву за папой, — пояснила Джоанна.

А Чарли повернулся и, приложив язык к нёбу, весело, с издевкой защелкал:

— Ки-ки-ки.

Вынести сразу столько оскорблений Джоффри был уже не в состоянии: он чуть не задохнулся. Личико его покраснело и сморщилось в плаксивой гримасе.

— Джерри, ты меня удивляешь, — сказала Руфь. — Нехорошо это.

Джерри схватил вилку и швырнул в нее — собственно, не в нее, а поверх ее головы: вилка через дверь вылетела на кухню. Джоанна и Чарли украдкой переглянулись, и оба чуть не фыркнули.

— Черт бы вас всех подрал, — сказал Джерри, — в свинарнике и то, наверное, приятнее читать молитву. Вы же сидите все, как один, голые.

— Ребенок хотел сделать как лучше, — сказала Руфь. — Он же не понимает разницы между благодарственной молитвой и обычной.

— Тогда какого хрена ты его не выучишь? Будь у него приличная мать, хоть наполовину, черт возьми, христианка, он бы знал, что молитву нельзя прерывать. *Джоффри,* — повернулся к сыну Джерри, — перестань плакать, если хочешь, чтоб ключица перестала болеть.

Потрясенный тем, что отец говорит с ним таким злым тоном, мальчик попытался что-то произнести:

— Я... я... я...

— Я... я... я... — передразнила его Джоанна.

Джоффри завопил точно резаный.

Джерри вскочил и кинулся к Джоанне, намереваясь ударить ее. Она метнулась в сторону, перевернув при этом стул. Лицо у нее было такое испуганное, что Джерри рассмеялся. Этот бессердечный смех словно высвободил всех злых духов за столом: Чарли повернулся к Джоффри и, сказав: «Плакса», ущипнул его за плечо и тем сдвинул ключицу. Руфь обрушилась на сына еще прежде, чем заревел малыш: Чарли закричал: «Я забыл, я забыл!» Потеряв голову от этой неожиданной вспышки злобы, стремясь обезвредить ее в зародыше, Руфь, все еще держа разливательную ложку, сорвалась с места и обежала вокруг стола с такой стремительностью, что ей казалось, она скользит на коньках. Свободной рукой она замахнулась на Джерри. Увидев ее занесенную руку, он спрятал голову в плечи и закрыл лицо ладонями — взгляду ее предстал затылок с гладко прилизанными волосами и пробивающейся кое-где сединой. Затылок у него оказался тверже ее руки; она подвернула большой палец — боль застлала ей глаза. Ничего не видя, она молотила и молотила эту упрямую склоненную башку, не в состоянии одной рукой — потому что другой продолжала сжимать разливательную ложку — добраться до глаз, до его полного яда рта. Когда она замахнулась на него в четвертый раз, он встал и, схватив ее запястье, так сжал, что тонкие косточки хрустнули.

— Ты, истеричная холодная стерва, — ровным тоном произнес он. — Никогда больше не смей ко мне прикасаться. — Он произнес это, отчеканивая каждое слово, и лицо, которое, наконец, смотрело на нее, было хоть и красное, но смертельно-спокойное, — лицо подрумяненного трупа. Кошмар начался.

Двое старших детей умолкли. А Джоффри плакал и плакал, терзая всем нервы. Эластичный бинт двойной петлей туго обвивал его голые плечики, так что пухлые ручки беспомощно висели, как у обезъянки. Джерри сел и взял Джоффри за руку.

— Ты умница, что хотел прочесть со мной молитву, — сказал он. — Но благодарственную молитву читает всегда только один человек. Может быть, на этой неделе я научу тебя этой мо-

литве, и тогда в будущее воскресенье ты скажешь ее вместо папы. О'кей?

— О-о-о... — продолжая всхлипывать, малыш попытался выразить свое согласие.

— О-о-о... — шепнула Джоанна на ухо Чарли; тот фыркнул, бросил искоса взгляд на Руфь и снова фыркнул.

А Джерри продолжал уговаривать Джоффри:

— Ты умница. Ну, перестань же плакать и ешь горошек. Дети, верно, наша мама молодчина, что приготовила нам такой вкусный горошек? А папа сейчас нарежет вкусное жаркое. Где эта чертова вилка для жаркого? Извините, все извините. Джоффри, прекрати.

Но Джоффри никак не мог остановиться: все тельце его сотрясалось, события последних минут снова и снова возникали в памяти. Руфь обнаружила, что тоже дрожит и не может произнести ни слова. Она не могла подладиться к Джерри, старавшемуся шутками и прибаутками вернуть детям хорошее настроение, заставить их снова полюбить его, и чувствовала себя лишней. На кухне, принявшись мыть посуду, Руфь разрыдалась. Сквозь оконные стекла, на которых появились первые ломаные штрихи дождевых струек, она видела, как Джоанна, Чарли и двое соседских детишек играют в большой зеленый мяч под темным, фиолетовым небом. Джоффри она уложила наверху спать. В кухню вошел Джерри, поднял вилку с пола и, став рядом с женой, молча взял полотенце и принялся вытирать посуду. Она уже забыла, сколько месяцев тому назад он последний раз помогал ей с посудой. И сейчас в этой его молчаливой помощи она почувствовала что-то угрожающее и заплакала сильнее.

— В чем все-таки дело? — спросил он.

От слез у нее драло горло и трудно было говорить.

— Извини меня за эту вспышку, — сказал он. — Я не в себе эти дни.

— Из-за чего?

— О... из-за всякого разного. Близость смерти? Я перестал об этом думать и просто начал умирать. Посмотри на мои волосы.

— Это тебе идет. Ты стал красивее.

— Наконец-то, да? То же и с работой. Чем меньше я рисую, тем больше меня любят. Им нравится, когда я говорю. Я стал чем-то вроде подставного лица вместо Эла.

— Ты мог бы уйти.

— Когда у меня столько детей?

— Эти вытирать не надо. Поставим остальные на сушилку.

— А ничего, что дети бегают по дождю?

— Пока он еще не такой сильный.

— Может, взять их с собой в кегельбан поиграть в шары, когда дождь разойдется.

— Они были бы счастливы.

— Значит, *стал красивее*. Что же побудило тебя выйти замуж за такого гадкого утенка?

— Тебя действительно мучает твоя работа?

— Нет.

— А что же?

— Нам обязательно об этом говорить?

— А почему бы и нет? — спросила она.

— Я боюсь. Если мы начнем говорить, то можем уже не остановиться.

— Давай. Пасуй на меня.

Услышав команду, он будто расцвел; ей почудилось — хотя от слез все расплывалось перед глазами, — что плечи его распрямились, словно с них упали оковы, и он вдруг стал шириться, разбухать, как разбухают облака над пляжем.

— Пошли, — сказал он и повел ее из кухни в гостиную, затем мимо большого старого камина — к фасадным окнам, смотревшим на вяз. На подоконнике, у самого переплета, лежала маленькая бурая кучка монеток, оранжевая бусинка из индейского ожерелья, которое Джоанна мастерила в школе, тусклый медный ключ от чего-то, чего ему уже никогда не открыть, — от чемоданов, сундука, детской копилки. Во время их разговора Джерри не переставая играл этими предметами, словно пытался выжать из них непреложный приказ, конечный приговор.

— Тебе никогда не казалось, — спросил он, намеренно четко произнося слова, как если бы читал вслух детям, — что мы совершили ошибку?

— Когда?

— Когда поженились.

— Разве мы не любили друг друга?

— А это была не любовь?

— Я считала, что да.

— Я тоже так считал. — Он ждал.

И она откликнулась:

— Да, тогда мне казалось именно так.

— Но теперь не кажется.

— Нет, кажется. По-моему, мы стали лучше ладить.

— В постели?

— А разве мы не об этом говорим?

— Не только. Руфь, а тебя никогда не тянет выйти из игры до наступления конца?

— О чем ты, Джерри?

— Детка, я просто спрашиваю тебя, не совершаем ли мы страшной ошибки, намереваясь остаться в браке до конца жизни.

У нее перехватило дыхание, почудилось, что кожа на лице застыла, как одна из стен этой замкнутой комнаты, ограниченной коричневым подоконником с кучкой монеток, низкими фиолетовыми облаками, на фоне которых бледными тенями вырисовывались веточки вяза, квадратом стекла, исполосованным каплями дождя. Голос Джерри окликнул ее:

— Эй?

— Что?

— Не расстраивайся, — сказал он. — Это всего лишь предположение. Идея.

— Что ты оставишь меня?

— Что мы оставим друг друга. Ты сможешь вернуться в Нью-Йорк и снова стать художницей. Ведь ты же столько лет не писала. А жаль.

— Ну, а как будет с детьми?

— Я об этом думал — нельзя ли нам как-нибудь их поделить? Они могли бы видеться друг с другом и с нами, сколько захотят, и право же, все было бы не так уж плохо, лишь бы это соответствовало нашим обоюдным желаниям.

— А какие же, собственно, должны быть наши желания?

— Те самые, о которых мы сейчас говорим. Ты могла бы писать, и ходить босиком, и снова приблизиться к богеме.

— Перезрелая представительница богемы — вся в морщинах, с варикозными венами на ногах и выпирающим животом.

— Не говори глупостей. Ты же молодая. Ты сейчас куда лучше выглядишь, чем когда я впервые тебя встретил.

— Как это мило с твоей стороны!

— Ты могла бы взять Чарли. Мальчиков лучше разделить, а Джоанна нужна мне, чтобы помочь вести дом.

— Они нужны друг другу и нужны мне. Все нужны. И всем нам нужен ты.

— Не *говори* так. Я тебе *не нужен. Тебе* — нет. Я не создал тебе подобающей жизни, я не тот мужчина, который тебе нужен. И никогда им не был. Просто развлекал тебя, как коллега-студент. Тебе нужен другой мужчина. Тебе нужно выбраться из Гринвуда.

Она терпеть не могла, когда в голосе его начинали звучать визгливые нотки.

— Значит, ты и городок наш забираешь себе. Меня заткнешь куда-нибудь на чердак, а дом себе оставишь. Нет, благодарю. Если ты работаешь в большом городе, там и живи.

— Не надо ожесточаться. Ты ведь не жестокая. И ты даже не слушаешь меня. Неужели тебе не хочется стать свободной? Спроси себя по-честному. Я смотрю, как ты изнываешь до отупения, занимаясь этим домом, и у меня возникает чувство, что я в художественной школе поймал птицу и посадил ее в клетку. Вот я и хочу тебе сказать: дверца открыта.

— Ты мне не это говоришь. Ты говоришь, что хочешь, чтобы я убралась отсюда.

— *Ничего подобного.* Я говорю, что хочу, чтобы ты жила как человек. А то слишком мы всё друг другу облегчаем. Защищаем один другого от настоящей жизни.

— Чушь какая-то. В чем все-таки дело, Джерри? В чем *подлинная* причина всего этого? Неужели я стала вдруг *такой* плохой?

— Ты вовсе не плохая. Ты хорошая. — Он дотронулся до ее плеча. — Ты грандиозная.

Она вздрогнула от его прикосновения — ей снова захотелось его ударить. На этот раз он не пытался ей помешать. Ее рука, неудачно занесенная, лишь скользнула по его голове. В голосе ее снова зазвучали слезы:

— Да как ты *смеешь* так обо мне говорить! Пошел вон! Пошел вон сейчас же!

Дождь усилился, и дети — их собственные и двое детишек Кантинелли — ввалились с улицы.

— Я возьму их с собой в кегельбан, — предложил Джерри. Казалось, он был даже рад, что она ударила его; он вдруг стал очень деловитым, торопливо заговорил: — Послушай. Больше мы говорить не будем. И не думай о том, что я тебе сказал. Вызови на сегодняшний вечер кого-нибудь посидеть с детьми, и я повезу тебя ужинать в морской ресторан. Пожалуйста, не плачь и не волнуйся. — Он повернулся к детям и крикнул: — *Кто-о-о-о* едет со мной играть в шары?

Хор «я» орудийным залпом ударил в нее. За ее спиной дождь резко барабанил по холодным стеклам. Джерри, казалось, наслаждался ее беспомощностью.

— Джоанна и Чарли, Роза и Фрэнк, — крикнул он, — живо *в машину!* — Он помог маленькому Фрэнку, по годам среднему между Чарли и Джоффри, снова надеть туфли. Все происходило так, точно ее уже здесь и не было, а Джерри владел и домом и детьми. Руфь почувствовала, как голову ее пронзила острая боль — она не сразу поняла, что звук возник не в мозгу, а где-то извне, — это Джоффри спустился вниз, прижимая к себе одеяльце, и ревел во весь голос. Он тоже хотел ехать в кегельбан.

— Солнышко мое, — сказала Руфь, с усилием выталкивая из горла слова. — Тебе нельзя. У тебя же сломана ключица, ты не сможешь бросать шары.

Он так взвыл, что она даже зажмурилась; остальные дети один за другим выбегали из дома, хлопая дверью: один, два, три, четыре. «Нельзя тебе ехать, *нельзя*», — звучал в ее голове голос Джерри. Это акустическое чудо заставило ее открыть глаза. Он стоял на коленях, на полу, крепко прижав к себе сына.

— Ангел мой, бедный мой ангелочек, — говорил он. Лицо его над плечиком Джоффри было искажено, как показалось Руфи, чрезмерным горем. Он попытался подняться с колен, держа на руках сынишку, как младенца. Взвыв от боли, глубоко оскорбленный, Джоффри вырвался и уткнулся Руфи в колени — слезы закапали на ее голую ногу. На ней был старый черный купальный костюм от Блюмингдейла — она давно вынула проволоку из лифчика, считая, что у нее слишком торчат в нем груди.

Джерри с улыбкой вытер рукой глаза.

— Бог ты мой, какой ужас, — весело сказал он, клюнул Руфь в щеку и оставил одну в доме, где единственным звуком был шум льющегося дождя.

То, среди чего очутилась Руфь, было, казалось, чем угодно, только не пространством, ибо мебель продолжала плавать по широким сосновым доскам пола, растекшееся пятно на столике у стены безмолвно поддерживало пустую вазу для цветов, а книги на книжных полках — в противоположность ее собственному шаткому

существованию — сохраняли в неприкосновенности свою крепость, свою компактную незыблемость, более тошнотворную, чем компактная незыблемость города, хотя каждая книга, если ее открыть, и есть город. Джоффри, которого уложили на обтянутый парусиной диван, рядом с грудой скользких детских книжек, сердился, сыпал вопросами и, наконец, весь извертевшись, заснул. Он лежал обмякнув, свернувшись клубком, в этой своей жалостной повязке; пухлая, почти квадратная ручонка его перевернулась ладонью вверх — казалось, она состояла из одних больших пальцев, как руки на картинах Пикассо. Руфь положила его ровнее — он поморщился, но не проснулся. А потом с ней заговорил дождь — голосом металлическим, барабанящим, когда она стояла у окон; голосом более тихим, когда она нередвинулась на середину комнаты, и почти беззвучным, когда она закрыла лицо руками. Мимо по дороге проносились машины с шипением и свистом кометы. Окна в ванной наверху запотели, и водосточные трубы, забитые у карниза кленовыми листьями и семенами, издевались над ней — вода булькала в них, передразнивая звук, с каким моча падала в овал воды в унитазе. Руфь двигалась по комнатам, заправляя постели, а дождь шуршал, раскрывая чердачные тайны, — так шуршат мыши, черепица, сухая оберточная бумага, стружка для упаковки елочных игрушек. Руфь вспомнила родительский дом в Вермонте, сосновый бор, рыхлую дорогу, а вернее — две грязные колеи между кустами черной смородины, сами эти царапающие кусты, невидимые острые камешки, которые, бывало, вдруг кольнут голую ногу, мешковатые штаны, которые отец носил изо дня в день все лето напролет, кладовку, где мать хранила продукты, столь экономно и продуманно заготовленные, что они с сестрой никогда не голодали, но и не переедали тоже никогда. Руфь подумала было о том, чтобы обратиться к родителям, и тотчас вычеркнула их из мыслей. *Смотри на вещи реально.* Когда она жила с родителями, они пренебрегали ею — сейчас пришлось бы слишком многое объяснять, чтобы они ее поняли. Она спустилась вниз, налила себе рюмочку вермута и пошла с нею к пианино. Не имея времени рисовать, она снова стала искать удовлетворение в неуклюжих попытках совладать с Бахом. Легкое вино и ее побежавшие по клавишам пальцы как бы развернули зеленый ковер, с которого ввысь поплыли аккорды; сердце ее взмывало в арабесках, лодыжки болели от усиленной работы педалями. К тому времени, когда Джерри и дети шумной ватагой вернулись из кегельбана, она, пропустив все пьесы, где было больше четырех диезов или бемолей, уже добралась до середины «Хорошо темперированного клавира». Она поднялась было навстречу детям и тотчас почувствовала, как ее качнуло назад, к табурету, словно музыка еще звучала и комната, подчиняясь мелодии, толкнула ее замершее тело. Бутылка вермута была наполовину пуста. Джерри подошел с самодовольным и одновременно удивленным видом и коснулся ее щек — они были влажные.

— Ты все еще в купальном костюме, — сказал он.

Стоило ему вернуться, открыть дверь, и из дома исчезли теку-

чие звуки, которые она вызвала к жизни, чтобы не чувствовать одиночества. Джоффри проснулся от боли; старшие дети толкались вокруг нее. Руфь приготовила им ужин и вызвала на вечер их любимую приходящую няню — миссис О., что означало О'Брайен, дородную вдову с бюстом как диванный валик и безмятежным треугольным личиком послушного ребенка. Она жила через несколько домов от них со своей древней, не желавшей умирать матерью. Руфь приняла ванну и оделась для выхода. Забраковала платья спокойных тонов, висевшие в ее шкафу, и выбрала желтое, которое купила летом после рождения Джоффри, чтобы отметить возврат к нормальному состоянию. Потом это платье стало казаться ей слишком юным, слишком декольтированным. Но не сейчас — сейчас ей нечего было терять. Она даже надушилась. Отвернувшись от туалетного столика, она увидела Джерри, застывшего в одних трусах перед своим гардеробом — одна рука на бедре, другая почесывает голову: должно быть, он тоже раздумывал, что бы надеть по столь непонятному поводу. Он показался ей в эту редкую минуту красивым, как недосягаемая статуя — не разгневанно-прекрасным ренессансным Давидом, а средневековым Адамом, который стоит обнаженный в тимпане, склонив голову, дабы она вписалась в пресловутый треугольник, всем костяком своего тела выражая невинность и тревогу. Неуклюжее и чистое — таким, наверное, и должно быть тело христианина, подумала она.

Ресторан с морской едой, который нравился Джерри, находился в старом центре города, близ замшелых доков, — это был перестроенный капитанский дом, где в каждой из маленьких зал имелся камин; в это время года пепел из каминов был удален, и между железными решетками стояли пионы. На столиках лежали красные клетчатые скатерти, и низкие лампы-подсвечники освещали лица обедающих, совсем как у де Ла Тура [1]. Потягивая джин с тоником, Джерри уходил от прямого разговора и злословил, — ну и пусть. Им подали суп из моллюсков — тембр голоса у Джерри изменился, стал ниже, мягче.

— Приятное платье, — сказал он. — Почему ты его так редко носишь?

— Я купила его почти сразу после рождения Джоффри. Теперь оно мне широковато в талии.

— Бедный Джоффри.

— Он никак не может понять, что у него сломана ключица.

— Из нашей троицы он меньше всего похож на нас с тобой. Почему бы это?

— Он самый младший. Ты был единственным ребенком в семье, а я — старшей сестрой. Ну как, собрался с духом все мне рассказать?

— А ты собралась с духом меня выслушать?

— Да, конечно.

---

[1] Жорж де Ла Тур (1593—1652) — французский живописец.

— Так вот, мне кажется, что я влюбился.

— Кто же эта счастливица?

— Ты должна знать. Должна была догадаться.

— Возможно, но все-таки скажи.

Джерри хотелось сказать, но он не мог; он опустил глаза и съел несколько ложек супа из моллюсков. Конечно же, это просто так, не серьезно.

Руфь игриво сказала:

— Если я неверно отгадаю, ты ведь оскорбишься.

Он сказал:

— Это Салли.

И, не встретив никакого отклика, запальчиво добавил:

— А кто же еще?

Муха села на губы Руфи, и от ее щекочущего прикосновения она очнулась, представила себе, какой видит ее муха: живая гора, вулкан, изрыгающий запах моллюсков.

— Значит, вот кому суждено стать твоей избранницей, да? — наконец, откликнулась она, стремясь проявить деликатность, разделить с Джерри все оправдывающую убежденность в том, что этой женщиной могла быть только и именно Салли.

— Мне всегда нравилась Салли, — в свою защиту сказал он.

— А как она к тебе относится?

— Любит меня.

— Ты в этом уверен?

— Боюсь, Руфь, что да.

— Ты с ней спал?

— Ну, конечно.

— Извини. Часто?

— Раз двадцать.

— Раз двадцать! Где же это?

Наконец она хоть чему-то удивилась, — это вернуло ему уверенность. Он настолько осмелел, что даже улыбнулся ей.

— Разве это имеет значение?

— Конечно, имеет. Мне все это еще кажется нереальным.

— Руфь, я влюблен в нее. Это не предмет для обсуждения. Мы встречаемся то здесь, то там. На пляжах. У нее дома. Время от времени в Нью-Йорке. А весной она ездила со мною в Вашингтон.

Теперь это уже становилось реальностью.

— О, господи, Джерри. В Вашингтон?

— Не надо. Не заставляй меня думать, что я зря тебе все рассказал. Не мог я дольше от тебя таиться.

— А на прошлой неделе? Когда ты вернулся так поздно, а я ждала тебя на аэродроме Ла-Гардиа, она тоже была с тобой? Летела тем же самолетом? Значит, летела.

— Нет. Хватит. Я влюблен в Салли. А больше тебе ничего не надо знать. В Салли Матиас. Вот я произношу ее имя и уже чувствую себя счастливым.

— Она была с тобой в том самолете, который я встречала?

— Руфь, не в этом дело.

— *Скажи мне.*

— О'кей. Да. Была. Была.

Теперь она улыбнулась.

— Хорошо, ладно. Не делай из мухи слона. Значит, когда ты подошел ко мне, и поцеловал, и, казалось, был так рад меня видеть, ты только что расстался с ней. Только что поцеловал ее на прощание в самолете.

— По-моему, даже не поцеловал — такая мной владела паника. И я *был* рад видеть тебя — как ни странно.

— Как ни странно.

— На этот раз я не хотел, чтобы она приезжала, — она приехала сама по себе. Мне пришлось звонить в отель и врать, пришлось спешно удрать из Госдепартамента — словом, все было крайне неудобно. А потом в Нью-Йорк перестали лететь самолеты, вернее — они летели, только без нас. Ричард считал, что она застряла в Нью-Йорке на ночь. Она позвонила ему и сказала, что сломалась ее машина — «сааб». Просто поразительно: этот идиот проглатывает любую ее ложь.

— Ричард не знает?

— Думаю, что нет. — Джерри в изумлении уставился на Руфь, увидя вдруг в ней союзницу, советчицу. — Уверен, что не знает. Стал бы он терпеть, если б знал?

Официантка убрала чашечки из-под супа и подала Руфи тушеные гребешки, а Джерри — жареную камбалу. Руфь с удивлением обнаружила, что не только способна, но даже хочет есть. Возможно, она думала, что если может есть, словно ничего не произошло, — значит, ничего и не произошло. Новость, которую сообщил ей Джерри, была как враг, прорвавшийся сквозь линию обороны, но успевший занять лишь незначительную территорию ее души.

— Может, стоит мне поговорить с Ричардом, — предложила она, — и выяснить его реакцию.

— Может, не стоит. Если ты ему скажешь и он разведется с нею из-за меня, я ведь вынужден буду на ней жениться, так?

Она посмотрела на него — лицо с запавшими щеками сияло в свете свечей — и поняла, что ему все это нравится. Они давно никуда не выходили, чтобы вот так поужинать вдвоем, и сейчас эта атмосфера опасности, прощупывания друг друга возбуждала, словно любовное свидание. Руфь была довольна, что в силах играть отведенную ей в этой авантюре роль: утрата частицы себя как бы высвободила в ней все остальное и придала этому остальному новую подвижность.

— Не так, — сказала она. — Может, он с ней вовсе и не разведется. У него были романы, и, скорей всего, у нее — тоже. Может, они решили, что их браку это ничуть не мешает.

Джерри не обратил внимания на то, с какой убежденностью она сказала, что у Ричарда были романы. Он мог говорить только о Салли.

— Она *действительно* спала раньше с другими мужчинами, но никогда прежде не была влюблена.

— С кем же она спала?

— С разными малыми. Когда Ричард ушел от нее. Я ни разу не спрашивал, спала ли она с кем-нибудь из знакомых. Странно, верно? Должно быть, я боюсь узнать — с кем.

— Ты должен спросить ее.

— Благодарю, но я уж сам как-нибудь разберусь, о чем мне говорить с Салли.

Руфь спросила:

— Хочешь, я тебе в чем-то признаюсь?

— Признаешься — в чем?

— Не смотри на меня так свысока. Мне, конечно, далеко до твоей роскошной романтической истории. Но и у меня был роман.

— У тебя? Руфь, это же чудесно! С кем?

Раньше она собиралась ему сказать, но теперь поняла, что он будет над ней смеяться. Его презрение к Ричарду захлестнуло ее, и она покраснела.

— Не скажу. Это случилось некоторое время тому назад, и я порвала с тем человеком, решив, что люблю тебя, а не его. Он же никогда меня не любил.

— Ты уверена?

— Совершенно.

— Этот человек не придет к тебе, если я с тобой разведусь?

— Безусловно, нет. — Скорее всего, так и было бы, но кровь быстрее побежала у него по жилам, словно она солгала.

— Почему ты не хочешь сказать мне, как его зовут?

— Ты можешь использовать это против меня.

— А если я обещаю, что не стану?

— Какой вес имеет слово, данное мне, когда ты любишь другую?

Он молчал с полным ртом, не в состоянии ничего вымолвить, пока не проглотит пищу.

— Вы, женщины, в общем-то, смотрите на это как на войну, верно?

— А вы как на это смотрите?

— Я смотрю как на мороку. Я люблю детей и любил тебя. И, пожалуй, в определенном смысле все еще люблю. Этот мужчина... тебе с ним было хорошо?

— Неплохо.

Джерри театрально заскрежетал зубами.

— Это удар ниже пояса. Лучше, чем со мной?

— Иначе. Он ведь был моим любовником, Джерри. А мужем быть труднее, чем любовником.

— Значит, он все-таки *был* лучше. Вот дерьмо! Люди устраивают иной раз сюрпризы, верно? Ты вот тоже устроила мне сюрприз. А лучше бы не устраивала. Меня это сбило с толку.

Она взглядом измерила пространство между ними, решая, не пора ли притронуться к его руке. И решила, что нет.

— Пусть это *не сбивает* тебя с толку, — сказала она. — То была глупая маленькая интрижка, и я рада, что все позади. Я тогда чувствовала себя такой несчастной и до сих пор благодарна тому человеку, поэтому не требуй, чтобы я выдала его. Ни тебя, ни Салли это никак не касается.

— Очень даже касается. Я ревную. Почему ты не хочешь мне его назвать?

— Если я назову, может, ты перестанешь ревновать.

Он восхищенно рассмеялся.

— Это был Попрыгунчик, да?

— Нет.

— Тогда, значит, Дэвид.

— Я не намерена играть в отгадки.

— Значит — Дэвид. Вот почему ты так враждебно относишься к Хэрриет. Значит, это он.

— Сейчас я тебе ничего не скажу. Возможно, потом. Мне необходимо подумать. Я рассказала тебе про свой роман, потому что он уже изжил себя. Романы *действительно* изживают себя, Джерри. Все потрясающе, чудесно, лучше быть не может, но — мимолетно, и ради Салли (забудь обо мне, если тебе так легче)... ради Салли, и твоих детей, и ее детей, и даже Ричарда — дай времени пройти, не спеши.

— А я и *не спешил*. Это началось ранней весной, а любил я ее уже годы. Мне не нужна была постель, чтобы полюбить ее. Хотя это тоже способствовало. Послушай, Руфь. Не пытайся сбросить эту женщину со счетов. Она не дура, и она не гадючка. Она не сказала ни одной гадости про тебя — она очень о тебе тревожится. Когда стало ясно, что мы зашли слишком далеко, она попыталась порвать, но я удержал ее. Не она, а я настаивал на продолжении отношений. Она — моя. Она всецело принадлежит мне — у нас с тобой никогда так не было. Мне трудно это объяснить, но когда я с ней, я главенствую. А когда я с тобой, мы на равных. — И он проиллюстрировал это, вытянув два длинных пальца.

Почему он устраивает ей такую пытку? Почему просто не уйдет? Почему пытается заставить ее сказать «уходи»? А она ему в этом отказывает. Отказывает своим молчанием. Если поступаешь как мужчина, так и будь мужчиной. Смотри на вещи реально.

— Желаете кофе и десерт?

Интересно, подумала Руфь, давно ли стоит возле них официантка. Сухопарая женщина всем своим весом опиралась на спинку стула, словно хотела облегчить боль в ногах, и с выражением уставшей матери смотрела на них сверху вниз. Ее поза как бы говорила о том, что в этом их разговоре нет для нее ничего необычного.

— Только кофе, пожалуйста, — сказал Джерри, взял салфетку с колен и, сложив ее, каким-то удивительно мягким, легким жестом опустил на стол возле своего бокала: он уже облегчил душу, избавился от бремени. Но в этом бремени, которое он переложил на нее, Руфь тотчас почувствовала непонятные острые углы.

— Она прилетела в Вашингтон второй раз без твоего приглашения?

— Так точно. — По лицу его видно было, как он этим польщен. — Я умолял ее не приезжать. Ради ее же безопасности.

— Ну и сука.

Он взглянул на жену настороженно, с надеждой.

— Зачем ты так?

— Она — сука. Я всегда это считала. Какая женщина стала бы тебя так преследовать, когда у тебя трое детей.

— Да, в общем-то, она меня не преследовала. Скорее, сбежала ко мне. И вовсе она, золотко, не сука, она хорошая женщина, которая не может понять, почему она должна быть несчастной. Она совсем как ты. Во многих отношениях совсем-совсем как ты.

— Благодарю. По-видимому, ты считаешь это комплиментом.

— Если это комплимент, то прими его — вот мой совет.

— Я буду с ней говорить.

— Господи, зачем? — Джерри переложил салфетку по другую сторону тарелки. — Что ты ей скажешь?

— Понятия не имею. Что-нибудь придумаю.

— Все, что ты способна сказать Салли, она себе уже сказала.

— Тогда, возможно, ей интересно будет услышать это от кого-то еще.

— Слушай, ты. Я не дам эту женщину в обиду. И если мне придется жениться на ней, я женюсь. Ты этого хочешь?

— Я не хочу, чтоб ты на ней женился, нет. Этого ты хочешь. Верно?

Он медленно произнес:

— Верно.

Это минутное колебание позволило ей дотронуться до его руки. Он руки не убрал. На двух пальцах, которыми он обычно держал перо, были чернильные мозоли.

— Разреши мне поговорить с ней, — сказала Руфь. — Я ничего не скажу Ричарду. Я не буду ни кричать, ни вопить. Но это важно. Женщины могут сказать друг другу такое, чего мужчины за них никогда не скажут. Я знаю, что она не сука. Она мне нравится. Я уважаю твою любовь к ней. И понимаю: тебя потянуло к ней, потому что... я не во всем устраиваю тебя.

Хотя он и отнял у нее руку, она почувствовала, что он смягчился; она увидела, как он откинулся на стуле, явно довольный тем, что Руфь с Салли утрясут все между собой и тем самым избавят его от необходимости принимать решение. Подали кофе. Вокруг них — теперь они это заметили — шло непрерывное коловращение разговоров, а благодаря этим разговорам вращался и мир. И они с Джерри, прожив многие годы вместе, словно дети под надзором невидимых родителей, сейчас заговорили друг с другом, как взрослые. Прежде чем встать из-за стола, Джерри спросил ее мягко, но официально:

— Ты хочешь, чтобы я убрался сегодня же?

Ответ слетел с ее губ так быстро, так инстинктивно, что это не могло быть решением:

— Конечно, нет.

— Ты уверена? Так было бы порядочнее. Я ведь ничего не могу тебе обещать.

— А куда ты переедешь?

— В этом-то вся и заковыка. В Нью-Йорк?

— Ты же знаешь, что не можешь спать в отелях. Не дури. Ты что, хочешь непременно уйти от меня сегодня?

Он подумал.

— Нет. Вроде бы нет.

— Она сейчас, скорей всего, где-нибудь на вечеринке с Ричардом и все равно не может быть с тобой.

— Я бы ее и не стал звать. Мне надо сначала порвать с тобою.

— Что ж, детям все объяснить должен *ты*. И тут я тебе не завидую.

Он внимательно изучал клетки на скатерти, словно ткань могла подсказать ему ответ. И все водил и водил безымянным пальцем левой руки вокруг одной из клеток. Когда они поженились, Джерри отказался носить обручальное кольцо из опасения, сказал он, что будет все время вертеть его.

— Давай пройдемся по пляжу.

Конанты расплатились, улыбнулись усталой официантке, вышли и сели в его машину — «меркурий» со складным верхом. Небо над пляжем после дождя было желтое. Звезды еле мерцали, но почти полная луна так ярко освещала песок, что за ними тянулись длинные тени. Саунд был словно кнопками прикреплен к горизонту огнями Грейс-Айленда, а с другой стороны — огнями коттеджей Джейкобс-Пойнта. Руфь с трудом могла поверить, что не прошло и двенадцати часов, как она лежала здесь, наблюдая за подкрадывавшимся солнцем, — прилив слизал все дневные отпечатки. Сейчас в темноте ее голые ноги оставляли четкие холодные следы, а волны, фосфоресцируя, накатывались и отступали. Джерри задержал ее и, обняв, поцеловал в шею, в щеки, в глаза.

— Просто не знаю, что и делать, — сказал он. — Я не могу отказаться ни от тебя, ни от нее.

— Ничего сейчас не решай, — сказала она. — Я еще не готова.

— Ты *никогда* не будешь готова!

— Откуда тебе знать? Я могу приготовиться. Но обещай ничего не предпринимать до конца лета.

— Хорошо, — сказал он.

Ей стало неловко от того, что она так легко добилась столь многого.

— А ты выдержишь?

Салли и Джерри; им кажется, что они влюблены — до чего умилительно. Руфь представила себе их — насколько же она выше, у нее даже голова закружилась. Лакированная ночь завихрилась вокруг нее, как воздух на полотнах Шагала; она крепко прижалась к Джерри из жалости.

— Выдержу — что? — спросил он.

— Разлуку с Салли, — сказала она.

— Это тоже входит в уговор?

— Ты должен попытаться прожить со мной до конца лета, — сказала ему Руфь. — А иначе — к чему все это?

— К чему — что?

— Пытаться.

— А потом — что?

— Потом решим.

— Господи, — сказал Джерри, выпуская ее из объятий. — Ты была такой прелестной женой.

На другой день, в понедельник, Руфь позвонила сначала миссис О., потом Салли.

— Салли, это Руфь.

— Привет. Как поживаешь? — Салли когда-то работала секретаршей, и голос у нее по телефону был поставленный, бархатный — профессиональное качество, о котором все забывали, видя, как она флиртует и взвизгивает на вечеринках.

— Не слишком хорошо.

— О. Жаль.

— Я звоню, чтобы спросить, можно заехать на чашечку кофе?

Салли старательно сохраняла дистанцию между словами.

— Ко-не-е-чно. А может, заглянешь попозже выпить чего-нибудь? Разве ты не едешь на пляж? Вчера была такая жуткая погода.

— Да, была. Я долго тебя не задержу.

— Может, приедешь с детьми?

— Понимаешь, я... — Руфь вздрогнула от собственного извиняющегося смешка, — я... договорилась с одной женщиной, чтоб она с ними посидела.

— Ричард забрал Бобби, и они прехали смотреть какой-то участок или что-то там еще, но Питер и малышка со мной. А ты хотела бы... Они тебе не помешают?

— Конечно, нет. Я, наверное, зря вызвала ту женщину.

— Как знать, — осмелела Салли. — Возьми Джоффри — он составит компанию моему шалопаю.

Руфь почувствовала, что ею начинают командовать, хотя собеседница по-прежнему не обнаруживала себя.

— Пожалуй, возьму. — Джоффри терпеть не мог Питера, который, по его словам, вечно толкается. — Я посмотрю.

— Вот и прекрасно, — сказала Салли и, пропев: — Так мы вас ждем, — повесила трубку.

Руфь в ярости принялась засовывать ноги Джоффри в туфли на резиновом ходу. Когда прибыла миссис О., он ревел из-за того, что его увозят, а Джоанна с Питером ныли, что их не берут с собой.

Зимой, когда выпадал снег, родители с детьми ездили в конце недели кататься на санках с холма, где стоял дом Матиасов; Ричард и Салли угощали детей печеньем и горячим шоколадом, а взрослых — чаем с ромом. Дорога к их дому вилась вверх по холму, и Руфь, когда ее «фолкон» стало, по обыкновению, заносить то вправо, то влево, тотчас вспомнила, несмотря на все свое возмущение, раздражение и страх, как гостеприимно — сообразно времени года — встречали ее там, наверху: зимой — катание на санках, летом — чай на лужайке, вечеринки с ужином, игра в

слова, рисование плакатов, уроки вязанья, собрания разных комитетов по превращению Гринвуда в еще больший рай.

Салли ждала ее у бокового входа. Солнце светило с востока, и мягкая узорная тень деревьев лежала на красном дощатом доме, а заодно и на Салли, подчеркивая ее животную немоту, превращая в пятнистую олениху. На ней были белые брюки в обтяжку, низко спущенные на бедрах в стиле «Сен-Тропез», и летняя трикотажная кофточка с широкими янтарными полосами. Ее длинные ноги были босы, и лак на ногтях требовал обновления; пепельно-светлые волосы висели прядями, придавая ее облику суровость колдуньи. Заостренное книзу лицо было бледно, точно она потеряла пинту крови или недавно произвела на свет младенца.

— Джерри только что звонил, — объявила она.

— Вот как? — Руфь придерживала дверцу, пока Джоффри, пыхтя, неуклюже вылезал из машины.

— Он хотел меня предупредить. — Салли усмехнулась, и Руфь, как всегда, не устояла и тоже улыбнулась. Питер Матиас и малышка — крошечная девочка с нелепым именем — появились у ног матери. *Как же* ее зовут, этакое дикарское имя — императрица, но не Клеопатра: ага, Теодора. — Пойдите покажите Джоффри качели! — воскликнула Салли своим пронзительно-мелодичным голосом, и хотя дети продолжали застенчиво стоять, Цезарь, большеголовый пес Матиасов, одним прыжком проскочил между их ног и помчался на задний двор, где в тени деревьев висели качели.

Салли повернулась и вошла в дверь; Руфь последовала за ней, по-новому, глазами Джерри, глядя на знакомые предметы обстановки: диваны с квадратными подлокотниками; ворсистые, с абстрактным рисунком ковры; стеклянные столики; изогнутые в духе Арпа [1] лампы; гравюры таких посредственностей, как Бюффе [2] и Уайес [3], в рамках. Джерри все это, конечно же, нравилось — он прежде всего видел во всем этом деньги и много света. А Салли, надо сказать, обладала даром аранжировать освещение, втягивала в окна — с помощью белой краски и горшков с цветами — солнечный свет и уже не выпускала его. Самой веселой из комнат была кухня: разбившись о подоконники, свет здесь лежал длинными черепками на всех деревянных поверхностях, которые Салли с присущей ей энергией надраивала до блеска. Прошлой ночью, когда Руфь и Джерри затеяли тот разговор, ворочаясь без сна в постели, точно дети перед надвигающимся рождеством, а под конец стали уже полными дураками, он посетовал, что Салли и хозяйка-то куда лучше — не в пример ей. Руфь возразила, что у Салли есть Джози, хотя сама понимала, что это слабое оправда-

---

[1] Арп Ганс (1887—1966) — французский поэт и скульптор, входил в парижскую группу художников-сюрреалистов.

[2] Бюффе Бернар (р. 1928) — французский художник и график.

[3] Уайес Ньюелл Конверс (1880—1945) — американский художник-иллюстратор и специалист по стенной росписи.

ние: ведь и она могла бы иметь Джози, если б захотела. Но она не хотела — ей было все равно: она считала домоводство второсортной страстью.

— Я поставила кофе, но не уверена, что он уже готов, — сказала Салли.

Руфь села за стол, где обычно завтракали. Это был тяжелый ореховый стол старинной работы, который Ричард недавно купил в Торонто: она вспомнила, как он гордился своим приобретением.

— А где Джози? — спросила она.

— Наверху. Не нервничай. Она нам не помешает.

— Я и не нервничаю. Просто не хотела ставить тебя в неловкое положение.

— Как это мило с твоей стороны. — Салли, подошедшая к плите, тряхнула головой, отбрасывая волосы с лица; голова у нее была маленькая, совсем как головка тропического воробья. — Жаль, что Джерри рассказал тебе. По-моему, слишком рано.

— Слишком рано для чего? — И видя, что Салли молчит, Руфь сказала: — Не жалей. Мне так лучше — знать, на каком я свете. Я все лето чувствовала себя несчастной, а почему — не понимала.

— Я, собственно, думала, — нарочито размеренно произнесла Салли, ставя перед Руфью чашку кофе, — главным образом не о тебе.

Руфь пожала плечами.

— Все равно рано или поздно это бы всплыло. Джерри прямо лопается от гордости.

— Он говорит, ты обещала не рассказывать Ричарду.

— Он сказал, что, если я это сделаю, он сбежит с тобой.

— Он еще сказал мне, Руфь, что у тебя был роман.

Салли повернулась спиной, наливая себе кофе, и Руфь внимательно оглядела ее, ища следы прикосновений Джерри: неужели ему действительно нравятся эти широкие крутые бедра, эта полная, с выемкой спина.

— Он не должен был тебе это говорить.

Салли повернулась. Как она посмотрела — чудо: разрез глаз, изогнутая линия слегка нахмуренных бровей.

— Он все мне говорит.

Руфь опустила взгляд.

— Я убеждена. — Она почувствовала, что падает навзничь; сумела удержаться. — Нет, вовсе я не убеждена. Не убеждена в том, что он до конца честен с нами обеими.

— Ты его не знаешь. Он болезненно честен.

— Я не знаю собственного мужа?

— В известном смысле, да. — Салли произнесла это беспечным тоном, но потом, с преувеличенной осторожностью поставив на стол чашку с кофе, тяжело опустилась на стул и уже хриплым голосом добавила: — Не надо такого холода. Он сказал мне, чтобы я не чувствовала себя проституткой в сравнении с тобой. А кто тот человек, не захотел сказать.

— Он не знает?

— Дэвид Коллинз?

— Нет. Произошло это уже давно, и у меня никогда в мыслях не было расставаться с Джерри. Я сама положила всему конец, и тот человек держался очень хорошо. Удивительно хорошо. Не думаю, чтобы его, как и меня, эта история глубоко задела.

— Какая ты счастливица, — сказала Салли.

— Почему?

— Да потому, что не влюбилась в своего любовника.

— Нет, немного влюбилась. Даже живот болел. За те месяцы десять фунтов потеряла. — Она поднесла чашку к губам, выяснила, что кофе слишком горячий, снова поставила ее на блюдце, и увиденная сверху, с размытыми от яркого света контурами, чашка сразу точно сошла с картины Боннара. Салли провела дрожащими руками по голому столу, словно разглаживая скатерть. Руфь протянула руку к своей чашке; потом, вспоминая этот разговор, она всякий раз прежде всего видела четыре белые дрожащие руки, суетливо двигавшиеся по залитой солнцем доске полированного ореха.

— Ведь ты же, — сказала Салли, — сама отвернулась от Джерри.

— У меня и в мыслях такого не было. И не собиралась. Пожалуй, это он отвернулся от меня.

— Вы не можете жить друг с другом.

— Вот как?

— Не надо, Руфь. Кончай с этим тоном. Многие годы мы с Ричардом восхищались вами, считая идеальной супружеской парой; у нас отношения никогда не складывались легко, и мы, пожалуй, завидовали вам: вы оба, казалось, были так уверены друг в друге, так близки. А потом, в прошлом году, между тобой и Джерри что-то произошло, я чувствовала, как он поглядывает по сторонам — на меня, на других женщин. Я поняла, что кто-то у него появится — так почему бы не я. — Подбородок у Салли при этих словах покраснел, и она улыбнулась, чтобы не заметно было, как дрожат губы.

До чего все было бы просто, подумала Руфь: лечь и умереть, пожертвовав собою ради этой жизнелюбивой женщины. У Салли, конечно, нет ни малейших сомнений насчет своего права на жизнь. Руфь спросила ее:

— У тебя давно возникло чувство к Джерри?

Салли кивнула: *да, да, да*, хотела отхлебнуть кофе, обнаружила, что он слишком горячий, вытащила изо рта прядку волос, отбросила ее с мокрых щек. Сказала:

— Оно было всегда.

— В самом деле? — Руфь почувствовала себя оскорбленной: ведь это, конечно же, не так. — А будь ты счастлива с Ричардом, оно возникло бы?

Это вышло неуклюже: Салли ощетинилась, усмотрев тут попытку влезть к ней в душу.

— Я была вовсе *не так уж* несчастлива с Ричардом до появления Джерри. Но сейчас стало просто ужасно. Я сама слышу,

как придираюсь, придираюсь к нему и не могу остановиться. Я хочу уничтожить его. — Слезы снова потекли. — Я этого человека в грош не ставлю.

Руфь рассмеялась: те же слова она слышала от Ричарда.

Но если Руфь постепенно отходила, то Салли, наоборот, становилась все жестче и злее.

— Нечего сидеть и веселиться. Надо отвечать за свои действия, Руфь. Нельзя отказывать человеку в сердечном тепле, а как только он обратился за этим теплом к другому, натянуть веревочку и вернуть его назад. Джерри нужна любовь; я могу ему дать ее. И даю. Он сам мне говрил, что я завоевала его. Да, завоевала. Я завоевала его, а он завоевал меня.

Руфь заметила в речи Салли отсутствие связи, словно она нанизывала друг на друга заранее подготовленные фразы, позволявшие ей считать себя лишь частично ответственной за случившееся. Она сказала:

— Послушай, Салли. Не думай, что мне так уж нравится моя роль во всем этом. Если бы не трое детей, меня бы здесь не было. Слишком это унизительно.

— Нельзя же строить брак на детях.

— А я и не считала, что наш брак строится на них. Послушать тебя, — продолжала Руфь, — послушать тебя, так выходит, что Джерри нужна только ты. Ты в этом уверена? Вчера ночью он сказал мне, что мы нужны ему обе. Я не сомневаюсь, он думает, что любит только тебя. Но он и меня любит.

Салли, не поднимая глаз, изобразила на лице грустную кривую усмешку бесконечного превосходства. А Руфь упорно продолжала:

— Он обманул меня, не все сказав про тебя, возможно, он обманул и тебя, не все сказав про меня. Вчера ночью мы занимались любовью.

Салли подняла на нее глаза.

— После всего случившегося?

— После долгого разговора. Да. Это казалось вполне естественным и правильным.

— Ты убиваешь его, Руфь. Ты удушишь его — насмерть.

— Нет. Только не я. С весны у него усугубилась астма — он просыпается каждую ночь. Я считала, что это из-за цветочной пыльцы, но это из-за тебя. Ты убиваешь его, когда просишь, чтобы он избавил тебя и троих детей, которым он не отец, от неблагополучного брака. Это ему не по силам. Найди себе кого-нибудь другого. Найди человека покрепче.

— Что ты все нудишь о *моем* браке?

— Но ты ведь замужем, верно? И вышла довольно удачно, с моей точки зрения. Так почему же ты ни в грош не ставишь Ричарда? Если бы ты была больше *им* занята, ты не устроила бы такой пакости *нам*.

— Никакой пакости я вам не устраиваю. Я просила Джерри только об одном: чтобы он пришел к какому-то решению.

— В твою пользу. А ему нужна я. И ему нужны его родные де-

ти. Дети играют очень важную роль в жизни Джерри. Он бы единственным и притом несчастным ребенком в семье, и сейчас ему приятно, что у него трое детей и что он может содержать их и дать им воспитание, которого сам не получил.

— Дети так и останутся его детьми.

— Ничего подобного, не останутся, — сказала Руфь. Ее смущала собственная запальчивость. Она сказала: — Будем рассуждать здраво. Ты готова жить с ним в бедности? А я жила с ним в бедности и снова готова. Я ненавижу наш достаток, ненавижу то, как ему приходится зарабатывать деньги. И не боюсь остаться без них. А ты боишься.

— Не думаю, чтобы ты могла судить, чего я боюсь и чего нет.

Чем суше держалась Салли, тем больше распалялась Руфь. Щеки у нее горели.

— Ты всего боишься, — сказала она, боишься, как бы не упустить чего-нибудь. И в этой алчности — твое обаяние. Потому-то мы все и любим тебя.

— Как вы можете меня любить? — сказала Салли. И, точно собираясь отразить нападение, поднялась; Руфь бессознательно тоже встала и, словно обездоленный ребенок, словно мать, которая во сне видит себя одновременно и ребенком, вдруг обняла эту женщину, стоявшую у края стола, испещренного кругами от кофейных чашек. Тело Салли было чужое, крепкое, широкое. Обе тотчас отстранились друг от друга; объятие лишь утвердило взаимную убежденность, что они — враги.

Лак, и белая краска, и металл, и солнце на кухне Салли вздыбились вокруг Руфи занесенными кинжалами, когда она попыталась объяснить:

— Тебе нужно больше, чем всем нам. Тебе нужна твоя новая мебель, твои наряды, твои поездки на Карибское море и в Мон-Тремблан. Мне кажется, ты не отдаешь себе отчета в том, сколь неустойчиво положение Джерри. Он ненавидит то, чем занимается. Я давно уговариваю его уйти с работы. Он ведь не Ричард. Ричард может наделать кучу ошибок — деньги все равно останутся при нем.

Продолжая стоять у стола, Салли водила пальцем по завитку в ореховом дереве — туда-сюда, туда-сюда. Ровным голосом она сказала:

— По-моему, ты не очень хорошо нас знаешь.

— Я знаю вас лучше, чем ты думаешь. Я знаю, что Ричард не расщедрится.

Веки у Салли были все еще красные: она казалась крупной, хорошо сложенной девочкой, которая вот-вот расплачется.

— Я говорила Джерри, — сказала Салли, — что он себя доконает, если попробует содержать двух женщин.

— Тем самым ты только подстегнула его. После таких слов он станет из кожи вон лезть, лишь бы доказать, что все может.

— По-моему, ты очень снисходительна к Джерри.

— Я ведь знаю его чуть дольше, чем два-три месяца.

— Послушай, Руфь, нам не к чему ссориться. Что мы дума-

ем друг о друге — не имеет значения. Решать должен Джерри.

— А он ничего не решит. Пока мы обе при нем, ничего он не решит. Это *мы* должны решать.

— Да как же мы можем?

Вопрос Салли прозвучал так искренне, так беспомощно и с такой надеждой, что Руфь ответила ей само собою напрашивавшимся выводом, как это делает пастор, закругляя проповедь:

— Откажись от него на время. Не встречайся с ним и ради бога перестань ему звонить. Оставь его в покое до конца лета. А в сентябре, если он по-прежнему захочет быть с тобой, — забирай его. И черт с ним совсем.

— Ты это серьезно?

— А почему бы и нет? Никто из нас не будет жить вечно, и я вовсе не такая сентиментальная дура, какой вы с Джерри, видимо, меня считаете. Я даже думаю, что сумею неплохо провести развод, если уж на это пойду.

И обе женщины рассмеялись, словно раскрыли заговор.

Однако руки Салли на солнечном свету снова дрожали. Она провела по волосам, откидывая их назад.

— Почему я должна тебе что-то уступать? Кроме этого лета, у нас с Джерри, возможно, ничего больше и не будет, так почему же я должна от него отказываться?

— Я прошу тебя не ради себя. Ради моих детей. Да и твоих, если угодно, тоже. Ричард ведь отец им.

— Ему на них наплевать.

— Нет такого мужчины, которому было бы наплевать.

— Ты знаешь одного только Джерри.

— Прошу прощения.

— Извини, я забыла. У тебя ведь был этот твой любовничек. Это кажется настолько неправдоподобным.

— Знаешь, Салли, — сказала Руфь, — ты, конечно, женщина роскошная, но у тебя есть один недостаток.

— Всего один? — небрежно переспросила Салли.

— Ты не умеешь слушать. Встаешь в позу и стоишь, не обращая внимания на то, что говорят другие. А я стараюсь быть великодушной. Стараюсь отдать тебе Джерри, если этого не миновать, но так, чтоб мы обе сохранили хоть немного достоинства. У *тебя же* потом будет лучше на душе, если ты уступишь сейчас. Я ехала сюда с намерением не злиться, не плакать, не умолять, а ты не отступила ни на дюйм. Ты просто не слушаешь меня.

Салли передернула плечами.

— Ну, что я могу сказать? Что я откажусь от него? Я старалась. Он не допустил. Я люблю его. Лучше бы не любила. Мне совсем не хочется причинять боль тебе и твоим детям. Да и Ричарду и моим детям тоже.

— Ну очень-то ты старалась, когда летела в Вашингтон.

— Джерри просил меня. Он *взял* меня с собой.

— Я про второй раз. Тот раз, когда ты сама навязалась ему.

Глаза Салли разъехались в разные стороны — она погрузилась в воспоминания.

— Никак не думала, что это такое большое зло. Мне, конечно, перед тобой не оправдаться. Да и не в нас дело, Руфь. Джерри — мужчина. И я буду принадлежать ему, если он захочет. Но он должен проявить себя мужчиной: прийти и забрать меня.

— Таково твое представление о мужчине, да? Значит, мужчина — это тот, кто бросает своих детей.

Салли взяла чашку, поднесла к губам и тут же поставила на место, так и не отхлебнув. Кофе был холодный.

— Я очень рано, — сказала она, — научилась скрывать определенные вещи. Возможно, это не было заметно, но я жила в аду.

— Не сомневаюсь, — сказала Руфь. — Только этот ад ты сама же и создала.

— Без чьей-либо помощи? Ты тут разглагольствовала о недостатках, точно у тебя их нет. Вы с Джерри слишком долго жили на этом вашем островке, в мире искусства. И ты настолько влюблена в себя, хоть и скрываешь это за изящными матерями воспитанной дамы, что даже не пыталась научиться заботиться о мужчине. Мне, к примеру, пришлось немало потрудиться ради сохранения своего брака, ты же палец о палец не ударила. Ты предоставила Джерри полную свободу и теперь из-за своей самовлюбленности не желаешь примириться с последствиями.

— Я примирюсь с ними, когда надо будет. Но...

— Вот уж не думаю, чтобы это когда-либо произошло. Я чертовски хорошо понимаю, что ты удержишь Джерри, если нажмешь на все тормоза и пустишь в ход детей. Но неужели он тебе нужен такой ценой? Я знаю, что мне в подобном случае Ричард не был бы нужен.

— Я тебе делать внушение не собиралась и сама выслушивать не хочу. Я прошу тебя, по-моему, достаточно вежливо: оставь в покое моего мужа на несколько недель.

Бледное лицо Салли вспыхнуло.

— Вы с Джерри поступаете как черт на душу положит. Оба вы, на мой взгляд предельно незрелые.

— Я передам ему твои слова. Благодарю за кофе.

Проходя через гостиную, Руфь заметила, что квадратные подлокотники белого дивана протерты, а гравюра Уайеса висит криво. Во дворе на лужайке, нуждавшейся в стрижке, Цезарь опрокинул Джоффри. Мальчик закричал — наверно, не столько от боли, решила Руфь, сколько из страха, что у него снова треснет ключица.

— *Цезарь!* — рявкнула Салли, а Руфь сказала:

— Ничего страшного. Просто у Джоффри выдалась трудная неделя.

— Я слышала, — сказала Салли.

Руфь посмотрела на Салли, ища в ее лице подтверждения, что разговора на кухне не было; та улыбнулась в ответ. Но когда Руфь уже сидела в машине, а Джоффри хныкал позади, она увидела, как Салли в своих белых брюках опустилась на траву — длинные волосы растеклись по спине — и классическим жестом обняла двух своих детей; рядом с Теодорой дополнительным стра-

жем стоял пес. «Враг отброшен» — так назвала бы Руфь эту картину, но тут включилось зажигание, и смесь бензина и земного притяжения повлекла ее вниз по дороге.

Дома она расплатилась с миссис О., которая, накормив Джоанну с Чарли и отправив их на улицу, уселась в качалке подремать. Руфь налила в стакан апельсинового сока, добавила немного вермута и позвонила на работу Джерри. Телефон был занят. Она звонила ему четыре раза на протяжении двадцати минут, прежде чем телефон освободился и она услышала его голос.

— С кем ты так долго говорил? — спросила она.

— С Салли. Она сама мне позвонила.

— Вот это уже подло.

— Почему? Она была расстроена. Кому же ей еще звонить?

— Но ведь я только что просила ее этого не делать.

— И она обещала?

— Не совсем. Она сказала, что считает нас обоих очень незрелыми.

— Ага, она так и знала, что ты передашь мне ее слова.

— А еще что она сказала?

— Сказала, что ты говорила ей, что я по-прежнему тебя люблю.

— А ты что на это сказал?

— Забыл. Я сказал, что, наверное, так оно и есть — в каком-то смысле. Не знаю, почему это должно было ее расстроить — она ведь и сама так считала. Это же ясно.

— А почему это должно быть так уж ей ясно? Ты ведь говорил ей, что любишь ее, ты спал с ней; ты всем своим поведением давал ей понять, что я для тебя ничего не значу.

— Ты думаешь?

— Конечно, детка. Не будь таким тупицей, или садистом, или кто ты там еще есть. Ты же дал ей понять, что любишь ее.

— Ну, конечно, но только мои чувства к ней вовсе не исключают того, что я могу питать чувства к кому-то еще.

— О, безусловно.

— Ну вот, теперь *ты* разозлилась. Это безнадежно. Почему бы вам не пристрелить меня и не жениться друг на дружке?

— А мы друг дружке не нужны. Мы попытались было обняться, как сестры, и отскочили друг от друга, как две мокрые кошки.

— Она сказала, ты просила ее какое-то время держаться от меня подальше.

— До конца лета. Мы же об этом с тобой условились.

— Вот как?

— А разве нет?

— Но я не думал, что ты отправишься туда и все ей выложишь.

— Ничего я ей не выкладывала. Я была с ней предельно любезна — до тошноты.

— Она сказала, ты была очень холодная и наглая.

— Неправда. *Нет*. Если кто и был наглый, так это она. Да и вообще, на мой взгляд, она та еще штучка.

— Она считает, что ее предали, — попытался оправдать ее Джерри. — Говорит, что влюблена в меня, а я просто играю ею.

— Что ж. В общем-то ты ведь и сам признался мне, что для тебя это лишь эксперимент. Тебе интересно посмотреть, что будет. Если я взорвусь, это избавит тебя от необходимости принимать решение.

— Не совсем так. Во-первых, еще немного, и ты бы догадалась. Во-вторых, она торопила меня, чтобы я *что-то* предпринял.

— И все же, по-моему, говорить, что ее «предали» — это уж слишком. Если кого и предали, так *меня*. Но никто из вас, видно, не намерен принимать во внимание, что и я имею право на чувства. Во время разговора с ней мне то и дело приходилось напоминать себе, что виновата-то не я. Вы оба, видно, считаете меня удивительно черствой — давно бы, мол, пора взять и сдохнуть.

— Ни Салли, ни я этого не считаем. Только, пожалуйста, не плачь. Ты же героическая женщина. Салли так и сказала.

— А что она еще обо мне сказала?

— Сказала, что ты очень складно говоришь.

— В самом деле? Это смешно. Я же говорила совсем не складно. Точно стреляла короткими очередями в разных направлениях.

— Она что-нибудь говорила о Ричарде?

— Почти ничего.

— А что она сказала про детей?

— Она, видимо, считает, что дети не играют во всей этой истории существенной роли. Она считает, что они — лишь предлог, которым мы пользуемся.

— Так она и сказала?

— Намекнула.

— А еще что было? — Эта его жажда слышать слова Салли казалась неутолимой — бездонный колодец, который ей придется без устали наполнять.

— Дай подумать, — сказала Руфь. — Да. Ей очень хотелось знать, кто был моим любовником, и она спросила, не Дэвид ли.

— Прости меня, солнышко, за то, что я проболтался. Но я подумал: пусть узнает, это хоть как-то уравняет вас.

Руфь невольно рассмеялась, несмотря на слезы и вермут, представив себе Джерри в роли рассудительного устроителя этого небольшого состязания двух кобылиц.

— Что тут смешного?

— Ты смешной.

— *Вовсе нет*, — сказал он. — Я вполне разумный, приличный человек, стремящийся никого не обидеть и одновременно принимающий участие в бесконечных идиотских совещаниях, на которых пытаются установить, какого оттенка серого цвета должен быть средний представитель третьего мира в этих идиотских тридцатисекундных вонючих сериях! — Поскольку она никак не реагировала на этот вопль души, он вдруг спросил: — А это *все-таки* был Дэвид?

— Нет, это был не Дэвид Коллинз. Меня никогда не влекло к Дэвиду Коллинзу. Я даже танцевать с ним не могу. И мне не нравится, что мой роман превращают в забавную историю для всеобщего увеселения.

— *Вовсе нет*, солнышко. Все относятся к этому очень серьезно. Собственно, я считаю твой роман тем катализатором, который всем нам необходим.

— А я считаю, что этот катализатор необходим прежде всего твоей подружке для вполне дружеского шантажа.

— И откуда только у тебя такой макиавеллиевский ум? Что еще сказала Салли? Она подписала этот контракт «руки прочь», который ты ей предложила?

— Ничего подобного. Она все твердила, что решать должна не она.

— А кто же — ты или я?

— Ты. Мужчина. Господи, эта женщина произносит слово «мужчина», точно святее его в языке нет, меня чуть не стошнило.

— Да как же я *могу* решить? Я же далеко не все знаю. Не знаю, любишь ты меня или нет; ты говоришь, что любишь, но я этого не чувствую. Возможно, на самом деле ты как раз хочешь, чтобы я развелся с тобой, но молчишь из вежливости. Может, это будет самым счастливым событием в твоей жизни.

— Сомневаюсь, — медленно проговорила Руфь, пытаясь представить себя разведенной — одинокая, босая, седеющая.

А Джерри торопливо продолжал:

— Я не знаю — а вдруг у детей случится нервное расстройство. Я не знаю — а вдруг Салли, заполучив меня, обнаружит, что я зануда. Иной раз я думаю, что ее и тянет-то ко мне только потому, что она еще не заполучила меня. Возможно, ей нравится лишь то, что недоступно. Возможно, все мы такие.

— Может быть, — сказала Руфь, не очень следившая за ходом его речи.

— Ну, а раз так, — заключил Джерри, как если бы она возражала, доказывая обратное, — нелепо разбивать две семьи, которые еще более или менее держатся, и портить жизнь полудюжине детей. С другой стороны, есть что-то, связывающее меня с Салли. И что-то в известном смысле очень прочное.

— Я не желаю об этом слушать.

— Не желаешь? О'кей. Тогда скажи про себя. Как ты ко всему этому относишься? Радуешься? Огорчаешься? Хочешь развода?

— Не радуюсь и не хочу развода.

— Ты огорчена.

— Подавлена. Тянет на вермут. Разговор, который у нас с ней был, только сейчас начинает на меня действовать.

— Неужели это было так неприятно? А тебя не потрясла чистота у нее в доме? И так всегда, когда бы ни пришел — днем или ночью. Кстати, она не показалась тебе более умной, чем ты ожидала?

— Менее.

— Менее?

— Гораздо. Когда ты вернешься домой?

— Не знаю. В обычное время. Возможно, немного позже.

— Значит, поедешь к ней.

— О'кей? Ты не возражаешь?

— Возражаю.

Джерри явно удивился.

— Я думаю, так оно лучше будет. Судя по голосу, она в полном отчаянии.

— Если она тебя увидит, ей станет только тяжелее.

— Почему? Я же ей нравлюсь. При мне у нее всегда поднимается настроение.

— Ричард может оказаться дома.

— Тогда мы встретимся где-нибудь на пляже.

— Тучи собираются.

— Так всегда бывает около полудня, — сказал ей Джерри.

— Вы, конечно, переспите, — вырвалось у нее.

Голос Джерри куда-то ушел, стал одним из компонентов телефонной трубки, как металл и кристаллы.

— Не фиглярствуй, — сказал он. — Это уже в прошлом. Благодаря тебе. Поздравляю. — И повесил трубку.

Она почувствовала себя отстраненной: она преступила границу дозволенного. У этого таинства были свои законы — не менее запутанные, чем лестницы в замке; она по ошибке постучалась в дверь комнаты, где лорд и леди возлежали и предавались любви. И, стоя перед этой дверью, она чувствовала себя маленькой, испуганной и пристыженной, отринутой и завороженной, как дитя. Руфь только сейчас заметила, что пока левая рука ее держала трубку, правой она вычерчивала на обороте конверта со счетом цепочку из квадратных звеньев. Места пересечения квадратиков она заштриховала сообразно законам светотени, хоть и была в смятении чувств. Она внимательно изучила абстрактный рисунок и подумала: если Джерри ее бросит, она, быть может, в конце концов действительно станет художницей.

День был жаркий, и дети шумно требовали, чтобы их везли на пляж. Они не понимали, почему мать портит им этот день. В их воплях, казалось, слышался затаенный страх. Но Руфь считала, что надо сидеть дома, надо быть на месте: а вдруг что-то произойдет. Она не знала, что именно, но вбила себе в голову, что может понадобиться Джерри. От этой его воображаемой нужды в ней у Руфи буквально сосало под ложечкой. В положенное время Джоффри был уложен спать, а двое старших убежали к соседям. Рады уйти от матери. Она села за пианино, но музыка не завладела ею: барочные завитки Баха не сплетались в единую мелодию. Руфь подошла к телефону и позвонила на работу Джерри: ей сказали, что он уехал на весь день. Домой он вернулся только после пяти; она в это время была наверху — зашла посмотреть на Джоффри. Ей показалось, что мальчик неестественно долго спит; может, думала она, из-за того,

что его опрокинула эта ужасная собака Матиасов — как же ее зовут?..

Входная дверь хлопнула. Раздался голос Джерри, вот уже его шаги зазвучали на нижних ступеньках лестницы. Руфь крикнула:

— Не поднимайся! — Когда она вошла в гостиную, он кружил среди мебели, точно искал что-то и курил. Дымящаяся сигарета в его руке показалась ей чем-то непристойным, хотя прошло всего три месяца с тех пор, как он бросил курить. — Зачем ты куришь? — спросила она.

— Я купил пачку по дороге домой, — сказал он. — Я ведь и курить-то бросил, чтобы лучше чувствовать ее вкус. А теперь хочу подцепить рак.

— Что случилось?

Он расправил ковер ногой, выровнял несколько книг на полке.

— Ничего, — сказал он. — Ничего особенного. Она плакала. Я сказал, что больше не приеду к ней, пока не буду свободен, а она сказала — да, этого она и ждала. Я сказал, что иначе — нечестно. Она согласилась и поблагодарила меня за то, что чувствует себя любимой. А я поблагодарил ее за то, что чувствую себя любимым. Все бы ничего, но потом она начала плакать. — Он глубоко, с надрывной драматичностью затянулся сигаретой и так впился в нее губами, словно не собирался больше выпускать. — Господи, — произнес он. — Не привык я к этому. Просто голова идет кругом. — Он остановился у столика и поправил абажур на лампе. — Она сказала — она не ожидала, что я так быстро сдамся тебе.

— А потом, я полагаю, ты заключил ее в объятия и попросил потерпеть всего несколько дней, пока ты уговоришь эту старую калошу дать тебе развод.

— Нет, вовсе не так. Я этого не говорил. Жаль, что тебя там не было: ты бы мне подсказала. Я вообще мало говорил. Одурел совсем. — Он снова глубоко затянулся, сделал несколько неверных шагов и с такою силой плюхнулся в датское кресло, что хрупкое дерево затрещало, а потом его словно ударило сзади накатившей волной, голова его пригнулась — Руфь подумала, что он сейчас закашляется, — но он заплакал. Рыдания его перемежались громкими вздохами — так скрежещут, включаясь, тормоза грузовика, — обрывками фраз: он пытался выговориться.

— Она сказала мне... это почти последнее, что она мне сказала... чтобы я был добр с тобой... чтобы не мучил тебя ею.

— Но как раз этим ты сейчас и занимаешься.

— Я не нарочно. Послушай. Я не хочу, чтобы наш никудышный брак наладился из-за того только, что она научила меня любить, а тебя научила... ценить меня...

— Я никогда не говорила, что не ценю тебя.

— А тебе и не надо было это говорить — я всегда это чувствовал. Ты вышла за меня замуж, потому что... я умею рисовать. Чтобы я рисовал... а ты... раскрашивала.

— Какая нелепица. Послушай, Джерри, ты мне не нужен, если ты намерен продолжать и дальше в таком же духе. И все из-за

этой бабы. Извини, но я так не могу. Я не могу относиться к этому серьезно.

— Тогда скажи мне — уходи. Скажи сейчас же.

Когда у Джерри возникали приступы астмы, он просыпался ночью с ощущением, что ему нечем дышать. Он шел в ванную — выпить воды или просто размяться — и, ссутулившись, возвращался в постель, где Руфь обычно уже лежала без сна. Он говорил, что у него в легких словно встает стена или поднимается пол, и он не может набрать достаточно воздуха, и чем больше он старается, тем плотнее становится стена; внезапно он весь покрывался потом, и кричал, что умирает, и спрашивал ее, зачем она его душит, зачем нарожала ему столько детей, почему не может поддерживать чистоту в доме, почему отказывается верить в Иисуса Христа, в воскрешение Лазаря, в бессмертии души, — не было границ его обвинениям, а она молча все сносила, так как знала: пока у него хватает дыхания все это изрыгать, он не задохнется. Проходил час, а то и больше; наконец, ему надоедало оскорблять ее и через нее — бога, наступало расслабление, и он засыпал, доверчиво похрапывая, а она лежала рядом и широко раскрытыми глазами смотрела в темноту. Она не могла понять, как он, зная, что всего лишь страх спазмой сжимает ему легкие, лишая их нормального питания кислородом, не в силах мобилизовать волю и избавиться от своих приступов; но сейчас, заглядывая в себя, Руфь обнаруживала, что и у нее внутри появилась такая же странная стена: мозг ее не в состоянии был представить себе, что надо отпустить Джерри. Она понимала, что он решил заставить ее страдать, если она его не отпустит, и что чувство собственного достоинства повелевает ей немедленно пожертвовать их браком. Эта жертва была бы таким простым шагом, смелым, чистым, прекрасным. Она вознесла бы ее над всеми мелкими людишками, этими гринвудскими прелюбодеями. Руфь даже чувствовала, как за этой стеной в ней рождаются мечты и жажда свободы. Но она не могла к ним прорваться. При всем своем старании — не могла. Наивный мужчина переспал с алчной до всего женщиной, зачем же делать вид, что тут что-то большее, — ничего за этим нет. Они преувеличивают — оба, и хотя Руфь понимала, что красота связана с преувеличением, кто-то должен же стоять за правду. А правда в том, что Салли, пожалуй, лучше держаться Ричарда, а Джерри — ее, чем объединяться.

— Я бы так и поступила, — сказала она Джерри, — я бы завтра же пошла к адвокату, если бы речь шла о женщине, которую я уважаю.

— А ты уважала бы, — быстро парировал Джерри, — лишь женщину, которая была бы точной копией тебя. — Он перестал плакать.

— Неправда. Я совсем не в таком уж восторге от самой себя. Но Салли... она же *дура*, Джерри.

— Значит, и я дурак.

— Не настолько. Ты возненавидишь ее через год.

— Ты так думаешь? — Это его заинтересовало.

— Уверена. Я видела вас вдвоем на вечеринках: вы психуете, когда вместе.

— Ничего подобного.

— Вы оба ведете себя, точно с цепи сорвались.

— Я не могу сказать тебе, что именно я в ней люблю...

— Отчего же. Вы оба одинаковые в любви.

— Откуда ты знаешь?

— Догадалась.

— Это правда. Она не превращает секс в обряд, как ты. Просто ей это нравится.

— А чем же я превращаю секс в обряд?

— У тебя все должно быть безупречно. Раз в месяц ты бываешь потрясная, но у меня нет терпения столько ждать. Времени, отпущенного для жизни, остается в обрез. Я умираю, Руфь.

— Прекрати. Неужели ты не понимаешь, что перед каждой женщиной стоит эта проблема: жена доступна — никаких препятствий для обладания. Значит, она должна их создать. Мне знакомо это чувство служения мужчине: ты существуешь, чтоб утолять его голод, это чудесно. Но лишь тогда, когда ты — любовница. Салли — твоя любовница...

— Нет. Впрочем, да, конечно, но я уверен, что она и с Ричардом в постели такая же, как со мной. Только нас связывает нечто большее, чем постель. Когда я с ней — неважно где, просто стою на углу улицы и жду, когда изменится огонь светофора, — я знаю, что не умру. Или даже если знаю, что умру, то мне это почему-то безразлично.

— А когда ты со мной?

— С тобой? — Он говорил с ней так, точно перед ним сидели слушатели, которых он перестал видеть. — Ты — смерть. Очень спокойная, очень чистая, очень далекая. Что бы я ни учудил, ты не изменишься. Это даже не позабавит тебя. Я женат на собственной смерти.

— Дерьмо. — Да как он может сидеть с этим самодовольным, даже выжидающим видом и говорить, что она — смерть? Он обвиняет ее в унитарианской самовлюбленности, а самовлюбленностью-то страдает он, это проявляется в его горе, и в его безнадежной любви, и в этих его взятых с потолка истинах. — Ты обязан как следует все продумать, а ты только болтаешь языком. Ну, предположим, ты женишься на Салли. Будешь ты ей верен?

— А тебе какое дело!

— Ну как же: ты ведь просишь, чтоб я уступила мое место этой твоей распрекрасной любви. Но только так ли уж она прекрасна? Ты обнаружил в себе некое удивительное качество: оказывается, женщины любят тебя.

— Вот как?

— Прекрати. Хватит паясничать. Подумай. Ты уходишь к Салли или же расстаешься со мной — что перевешивает? И в какой мере ты используешь ее, чтобы избавиться от брака? От детей? От работы?

— Разве я хочу от всего этого избавиться?

— Не знаю. Просто нет у меня такого чувства, что Салли серьезная мне соперница. По-моему, моей соперницей является возникшая у тебя мысль о свободе. Так вот что я тебе скажу: став женой, Салли возьмет тебя в шоры.

— Я это знаю. И она это знает. — Джерри поднял руку: Руфь подумала, что он хочет вытереть глаза, но он вместо этого почесал затылок. Разговор иссушал его. — В общем-то, — сказал он, — наверное, действительно безрассудно одну моногамию менять на другую.

— Безрассудно и дорого.

— По-видимому.

— А если ты поскользнешься, думаешь, она станет долго ждать и не отплатит тебе тем же?

— Недолго.

— Правильно. Поэтому оставь-ка ты ее в покое на какое-то время и подумай о том, чего ты на самом деле хочешь — эту толстозадую блондинку или...

— Или?

— Или женщин многих и разных.

Джерри улыбнулся.

— Ты предлагаешь мне многих женщин?

— Не совсем. Даже вовсе нет. Я просто обрисовываю тебе реальное положение вещей.

— Одно в вас, унитариях, хорошо: вы не слишком обремены мещанской моралью.

— Лютеране, вроде бы, тоже.

— А нам она и не нужна. Нам хватает веры.

— Так или иначе, я рассчитываю, что мне зато разрешено будет завести двух-трех мужичков.

— Это удивило его.

— Кого же?

— Я тебе сообщу. — Она прошлась по комнате, невольно пародируя танцевальные па, и зеркало в золоченой раме, висевшее между двух окон, выдало ей неожиданное отражение: лихо выдвинутое бедро, задорно приподнятый локоть, плотно сжатые губы, будто она откусила от слишком сочного плода. Она замерла, потрясенная увиденным, а Джерри подошел к ней сзади и взял в ладони ее груди.

— Ты, видно, считаешь, — сказал он, — что тебе идет быть развратной.

Ей было неприятно его объятие: жалость к брошенной женщине отравила всю радость одержанного успеха. Она высвободилась и сказала:

— Мне надо на пляж. Я весь день обещаю детям поехать. Ты едешь с нами или бросаешь нас?

— Нет. Еду. Все равно мне некуда деваться.

— Твои плавки висят на веревке во дворе.

У молодых супружеских пар Гринвуда — после того как женщины перестали одаривать свои семьи новыми детьми — возникла

поистине ритуальная потребность поддерживать отношения, и они изыскивали бесконечные поводы для встреч. Пляж, танцы, теннис, различные комиссии да еще волейбол по воскресеньям во второй половине дня. Естественно, что Конанты и Матиасы при таком положении вещей не могли не встречаться. Салли, ходившая все лето в пастельных тонах — белые брюки, трикотажные кофточки-безрукавки цвета слоновой кости, желтый, выцветший от солнца купальный костюм — казалась Руфи застывшей, до ломкости хрупкой, она смотрела на Джерри как завороженная, с неизменным страхом. Любопытно, думала Руфь, неужели ее муж способен, как мужчина, производить столь сильное впечатление. Вихрь, сломавший эту женщину, словно дерево в ледяную бурю, время от времени налетал и на нее, но в ней не шевелилось ни листочка, и Руфь, естественно, спрашивала себя, да жива ли она вообще. Из смятенных глубин ее души снова поднялось подозрение, что окружающие — и мать, и отец, и сестра — как бы участвуют в некоем заговоре, заговоре, именуемом жизнью, а она из него исключена. Ночью, лежа рядом с Джерри, она перебирала разные возможности: сбежать, завести нового любовника, пойти на работу, вернуть Ричарда, покончить с собой, — словом, так или иначе ринуться на невидимое препятствие и доказать легкой вспышкой, распустившимся цветком боли, что она существует. Она очутилась в какой-то немыслимой ситуации, когда надо заставить себя поверить, так как она почему-то не может поверить Джерри до конца; он же, чувствуя эту ее неспособность, всячески оберегал, расширял брешь, ибо то был выход, через который он мог бежать. Он укреплял Руфь в убеждении, что окружающий мир — не тот, в котором она родилась.

Вечером, по воскресеньям, после волейбола, Конанты возвращались домой, где царил полный ералаш, все было вверх дном — незастланные кровати, сломанные игрушки, грязные подушки, сваленные горой. Джерри садился в кресло и источал горе. Он играл в волейбол азартно — кидался на мяч, приседал, падал, а лужайка у Коллинзов, когда ноги игроков вытоптали на ней траву, обнаружила множество всякой дряни — бутылочные пробки, осколки разбитого стекла, так что Джерри часто резался; он сидел сейчас в своих укороченных шортах цвета хаки, колено у него кровоточило, как у мальчишки, упавшего с велосипеда, и пока Руфь глядела на опущенное лицо мужа, на кончике его носа появилась капля, упала, и на ее месте тотчас возникла другая. Нет, не могла Руфь воспринимать его серьезно.

— Ради всего святого, Джерри. Возьми себя в руки.

— Я стараюсь, стараюсь. Мне действительно не надо с ней видеться. А то у меня потом наступает похмелье.

— Что ж, давай не будем больше ходить на волейбол.

— Придется — из-за детей.

Дети уже спали или дремали, завороженные бормотаньем телевизора.

— Из-за детей — еще чего скажешь! Господи, как же ты их используешь! Мы ходим на волейбол только для того, чтобы вы с

ней могли обменяться под сеткой нежными тоскующими взглядами.

— Вот уж никак не нежными и не тоскующими. У нее глаза стали холоднющие.

— Они у нее всегда такие были.

— Она меня теперь ненавидит. Я потерял ее любовь — ну и прекрасно. Именно этого мы и хотели. Теперь мне ничего не надо решать, сам не понимаю, почему меня это задевает. Извини.

— Не будь идиотом. Никакой ее любви ты не потерял: Просто она ведет себя так, как ты просил, и, по-моему, у нее это отлично получается.

— Она ведет себя так, как *ты* просила.

— Еще чего! Да она... — следующие слова удивили ее самое — это было старое, излюбленное выражение ее отца, — ...гроша ломаного не даст за меня — как и ты, впрочем. Я тут — ноль, борьба идет между ней и детьми, так что не пытайся взвалить все вину на меня. Я не собираюсь тебя удерживать — вставай и поезжай к ней. *Поезжай.*

— Извини, — сказал Джерри, и это было искренне. — Просто я увидел ее лицо в определенном ракурсе, посылая ей мяч, и оно застряло у меня в башке: я ведь поставил ее в такое унизительное положение.

— Но она сама на это *напросилась*, дружок. Женщины, ведя игру, знают, что далеко не всегда могут выиграть. Я считаю, что она действует очень даже смело и прямолинейно, так что перестань быть младенцем! Ей вовсе не нужны эти спектакли, которые ты устраиваешь каждое воскресенье.

Он поднял на нее глаза — щеки у него были мокрые, колено рассечено, на лице — жалкая улыбка, исполненная надежды.

— Ты, правда, считаешь, что она все еще любит меня?

— Не такая она идиотка, — сказала ему Руфь.

Обычно ночью по воскресеньям, взбудораженный игрою, он приставал к ней с ласками, и она уступала ему, но не получала удовольствия, потому что она была тут ни при чем: он обнимал Салли. Его пальцы скользили по ее телу, словно пытались заколдовать ее, превратить в другое тело, и все ее женское естество, которое принадлежало мужу, стремилось покориться. В темных извивах этого стремления покориться Руфь теряла всякое представление о происходящем. Наконец, он взламывал ее, как взламывают неподатливый замок, и с глубоким вздохом облегчения отваливался, довольный собою. Ее неспособность до конца ответить ему вполне его устраивала, он и хотел, чтобы было так, — это оправдывало его будущее бегство.

— Ты слишком много куришь, — сказал он ей. — Это не возбуждает.

— Это *ты* не возбуждаешь.

— Неужели я так плох? Заведи себе любовника. Или вернись к тому, который у тебя был. Я уверен, что с другим ты можешь быть на уровне.

— Благодарю.

— Я серьезно. Ты красивая женщина. Хотя изо рта у тебя и пахнет, как из сарая, где сушится табак!

— Чего ты напустился на меня! Чего напустился! — Эти выкрики только еще больше распалили ее, но выхода ярости не дали; она ударила его, принялась молотить коленями; он схватил ее за запястье, навалился, прижал к кровати. Лицо его было совсем близко, оно казалось в темноте преувеличенно раздувшимся, точно сошедшим с картины Гойи.

— Безмозглая сука, — сказал он, снова и снова вжимая ее в матрац, — нечего сказать, умеешь держать себя в руках. Получила, что хотела, да? Получай же. Супружеское счастье.

Она плюнула ему в лицо — тьфу! — как кошка: сначала прыгнет, а потом подумает; слюна мелким дождем обрызгала ей же лицо и словно отрезвила. Она вдруг ощутила его тело, которое железной тяжестью давило на нее; при слабом свете увидела, как он заморгал и усмехнулся. Пальцы его разжались, и он соскользнул с нее. Соскользнул, а ее бедра уже снова жаждали его исчезнувшей тяжести. Он повернулся к ней спиной и сжался в плотный клубок, словно стремясь защитить себя от нового каскада ударов.

— М-да, это нечто новое, — сказал он про ее плевок.

— Я это не подумав. Должно быть, вырвалось откуда-то из нутра.

— Я и почувствовал, что из нутра.

— Ты же держал меня за плечи. Я должна была как-то реагировать.

— Не извиняйся. Реагируй, пожалуйста, сколько влезет.

— Тебя это оскорбило?

— Нет. Даже понравилось. Это показывает, что я тебе не безразличен.

— Мой плевок мне же на лицо и упал.

— Это называется: пи́сать против ветра.

— Джерри? — Она протянула руку, обняла его обволакивающим жестом, размягченная его мужскою лаской.

— Угу?

— Как ты думаешь, мы с тобой — развратные?

— В пределах нормы. Я бы сказал: как положено людям.

— Хороший ты. — Она прижала его к себе, подавив желание признаться ему в любви.

А ему все это уже надоело, хотелось спать.

— Спокойной ночи, солнышко.

— Спокойной ночи.

Спали они вместе как-то очень нормально, здоро́во, а когда вместе бодрствовали, это было похоже на налетающий во сне бред.

Все узнали. На протяжении июля все друзья их узнали. Руфь чувствовала это на волейболе, чувствовала, что эта осведомленность задевает ее: всякий раз, подпрыгнув, рассмеявшись или упав, она чувствовала, как ее накрывает тонкая сеть их осведомленности. Мужчины начали ласково обнимать ее на вечеринках.

За все годы жизни в Гринвуде только Ричард отважился пригласить ее на ленч; теперь же за одну неделю она получила два приглашения: одно — на вечеринке, другое — по телефону. Она от обоих отказалась, но обнаружила, что отказ дается ей нелегко. Зачем, собственно, отказываться? Ведь Джерри умолял ее помочь, предать его, бросить. Но она не желала в панике кидаться на шею первому встречному. Впервые она поняла, что без мужчины не останется. Своей опустошенностью, своей невозмутимостью, она как раз и привлекала их. Ничего, подождут.

Женщины тоже начали ласково ее обнимать, особенно когда после одного на редкость скверного воскресенья она призналась Линде Коллинз в понедельник за кофе, что они с Джерри переживают очень «тяжелую полосу»; с тех пор мамаши на пляже подчеркнуто оживленно всем табором приветствовали ее, а потом подходили поодиночке, завязывали беседу, намеренно перемежая фразы долгими паузами в надежде, что она разговорится. Словом, ее приняли в тайное сообщество страдалиц. Интересно, думала Руфь, давно ли существует это сообщество и почему до сих пор ее туда не принимали — чего-то, видно, ей недоставало или что-то проявлялось не столь ярко. Она теперь поняла, что Салли всегда была членом этого сообщества. Но Салли нынче редко появлялась на пляже, а когда появлялась, то вокруг каждой из трагических королев этого лета незаметно собирались группки мамаш. Пооткровенничав немного с Линдой, Руфь последовала примеру Салли в этой новой для нее роли и плотно завернулась в мантию скрытности: говорила мало, ничего не отрицала.

Не сказала они ничего и родителям, когда они приехали погостить из Поукипси. При виде отца, благостного, в очках, исполненного сознания своего священнического сана, она вспомнила, как возмущалась когда-то его неизменной показной благостью и той легкостью, — а с годами это стало проявляться все чаще, — с какою он вносил свою показную благость и в личные дела. *Не желает* она выслушивать советы, точно какая-нибудь прихожанка, не желает, чтобы на нее смотрели, как на карту «Обманутая Жена», извлеченную из колоды людских невзгод. Она знала, что он по-своему, не принимая этого близко к сердцу, откликнется на ее зов и даст ей совет не хуже кого другого (не паникуй, предоставь событиям идти своим чередом, держись с достоинством, думай о детях); она чувствовала себя виноватой, так как, отказывая ему в возможности поразглагольствовать (вне семьи его считали умным советчиком, и когда Руфь объявила ему о своей помолвке, он мягко предостерег ее насчет Джерри: «Он кажется мне даже моложе, чем есть»), — она отказывала ему в том единственном, что еще способна была дарить — в доверии взрослой дочери. Но в свое время он предал ее, причинил ей боль в сумрачных коридорах их приходских домов, подчеркнуто предпочитая мать, опираясь на нее и оставаясь глухим к собственным дочерям. Из странного уважения к их женскому достоинству он переодевался в чуланах, таился от них, придавая своему появлению характер священнодействия. Он наградил ее рефлексом неудачницы, инс-

тинктивным ожиданием беды, и потому, когда Джерри оседлал ее, как мальчишка оседлывает шаткий велосипед, это лишь усилило укоренившуюся в ней замкнутость. И она отослала своего старого папку в Поукипси, не растревожив его чувств.

Руфи ни разу не пришло в голову рассказать все матери. Ее мать была прирожденная жена. Она пришла бы в ужас.

А вот о том, чтобы обратиться к Ричарду, Руфь подумывала. Этот одноглазый трепач, как ни странно, в общем-то, не подводил ее. Или, вернее, недостатки его проявлялись в тех областях — по части мужества и ясности видения, — где она способна была их восполнить. Но ведь та, другая женщина — ему жена. Руфь видела — по тому, как он моргал, и склабился, и обильно потел на вечеринках, даже когда Джерри и Салли совсем уж нахально себя вели, — что в море жизни Ричард так же потерян, как островок среди водных просторов. Поэтому трудно было предсказать, какая ее ждет реакция, куда кинет этого неустойчивого человека. Последствия могут оказаться опасными и для нее, и это удерживало Руфь от нередко возникавшего импульсивного желания взять знакомую руку и под прикрытием обычно царящей на вечеринках сумятицы увести Ричарда в укромный уголок. Интуитивно она боялась, что он может свалять дурака или хуже того — выставить дураком Джерри, и оберегал себя еще и от этого.

Итак, за неимением иной возможности, она говорила только с Джерри — ее убийца был и единственным ее духовником. Изучая его, привыкая к мысли, что он — любовник другой женщины, она стала уже хладнокровно думать о том, что в первые минуты шока начисто отметала. Да, вполне возможно, что она не любит его, вполне возможно, что она скоро его потеряет. Их сексуальная жизнь заметно улучшилась.

— Я в раю, — сказал ей однажды ночью Джерри. — Я люблю тебя.

Ее реакцией был страх. Последнее время Джерри ведь тщательно избегал говорить ей это.

— В самом деле?

— Мне так кажется. Я же сказал.

— Значит, ты не собираешься уходить от меня?

— Нет, собираюсь, собираюсь. Утром я буду страшно зол на то, что ты такая сладко развратная и заставляешь меня предавать Салли.

— Неужели я развратнее Салли? — спросила она.

— О, значительно. Она очень выдержанная. А с тобой — окунаешься в грязь. В Матушку Грязь. С ней же, — она почувствовала, как он уходит в себя, задумывается, — я как бабочка, опустившаяся на цветок.

— Я этому просто не могу поверить.

— Стебель сгибается, единственная капля росы падает на землю. *Плюх.*

— Я тебе ни чуточки не верю. По-моему, ты говоришь сейчас обратное тому, что думаешь. Ну почему ты меня оскорбляешь — ведь тебе *было* так со мной хорошо?

— Да потому, что это сбивает меня с толку. А вообще, Руфь, почему было хорошо? Что с тобой в последнее время творится?

— Не знаю; наверно, возникает мысль: а почему бы нет? Терять мне нечего. И потом я каждый раз думаю, что это, может быть, в последний раз, и мой эстетический долг — получить подлинное наслаждение.

— Мне грустно это слушать. Неужели ты так убеждена, что я уйду?

Она почувствовала, что он хочет сам себя в этом убедить и тем укрепить свое решение, сделать его неизбежным.

— Нет, не убеждена. Мне кажется, глупо бросать меня теперь, когда я стала куда интереснее в постели.

— Может, я жду, пока ты станешь настолько в себе уверена, что сможешь мигом подцепить другого мужчину.

— Не волнуйся, подцеплю.

— Но каким образом? Просто не могу себе представить. За кого ты можешь выйти замуж — после меня?

— О... за какого-нибудь идиота.

— Вот именно. За идиота. Совсем тебе не подходящего.

— Тогда не бросай меня.

— Но Ричард не подходит Салли.

— Он — идеальный муж. Они созданы друг для друга. Оставь их в покое.

— Не могу.

— А мне казалось, что можешь.

— Я все думаю. Это такая страшная ответственность, когда ты — единственный мужчина, который подходит всем.

— Наверно.

— Эй! Устрой для меня еще раз рай.

— Нет.

Август. Дни убывали минута за минутой, и сумерки наступали все раньше; растущая свежесть ночей умеряла дневную жару, делала ее более мягкой, менее жалящей. Глядя из окон кухни на лужайку, где ноги детей до пыльных проплешин вытоптали траву, Руфь думала о том, что этот период ее жизни со временем, когда разрыв с Джерри уже отойдет в далекое прошлое, покажется ей одной короткой минутой. Земля для мертвеца вся ровная, и события ее жизни, даже еще не отошедшие в прошлое, уже казались Руфи погребенными в ретроспективе. Она попала в зыбучие пески. Она упорно доказывала свое — что в повседневной жизни она больше ему подходит как жена, чем та, другая, а сердце Джерри неудержимо ускользало из ее рук, тянулось к этой немыслимой женщине. Часто, звоня ему на работу, Руфь слышала сигнал «занято». Блеющие гудки были словно стена, которая все придвигалась с ней. Как-то раз она набрала номер Салли и услышала в ответ «занято» — та же стена.

В тот вечер она сказала ему:

— Я набрала ее номер, и тоже было занято.

Он, пританцовывая, сделал шажок вбок.

— А почему бы и нет? У нее есть приятели. И не один. Может, она завела себе еще любовника.

— Скажи мне правду. Это слишком серьезно.

И, к ее ужасу, пожав плечами, он тут же сдался.

— Изволь. Я разговариваю с ней.

— Неправда.

— Ты хочешь знать правду или нет?

— Кто кому звонит?

— Всяко бывает.

— И давно это возобновилось?

Он сделал шажок назад, словно слил обратно в бутылку выплеснувшуюся жидкость.

— Не очень давно. Она выглядела такой несчастной в позапрошлое воскресенье, что я позвонил, чтобы узнать, как там она.

— Ты нарушил наш уговор.

— Твой уговор. Да, в общем-то, и не нарушил. Я не даю ей никаких надежд. Послушай, ведь мы с ней были близки, она была мне *другом*, я чувствую себя в какой-то мере ответственным за нее. Если бы все было наоборот, интересно, как бы ты вела себя на моем месте.

— Значит, я делаю вывод, что ты все еще интересуешься ею. Ну, и как же она там?

Ему казалось, приятно было рассказать ей, нагромоздить побольше зыбучих песков.

— Не ахти как. Поговаривает о том, чтобы удрать от всех нас.

— С какой стати ей бросать Ричарда?

— Он то и дело бьет ее. Злится, что она мало с ним спит. А она говорит, не может, потому что все еще любит меня. Она чувствует себя очень виноватой из-за того, что так себя с ним ведет, и не хочет больше причинять тебе боль, вот и решила, что самое лучшее — избавить нас от себя. Не путем самоубийства, конечно. У нее нет этой жажды смерти, как у тебя.

— Хватит, не хочу больше слушать. Да неужели ты не понимаешь, что она берет тебя на испуг? Она отлично могла бы спать с Ричардом, если бы хотела, — занималась же она этим все десять лет.

— О, конечно, ты — такая тонкая и деликатная, а у нее никаких проблем быть не может.

— Ах, отправляйся к ней, отправляйся и увези ее с собой в Аризону или куда там еще ты намерен уехать — в Вайоминг. Да? Если бы ты видел свое лицо, когда ты говоришь о ней, Джерри, ты бы себя возненавидел. Ты бы так хохотал.

— Ты что-то сказала?

— Я сказала: отправляйся к ней, потому что не могу я мириться с этими телефонными звонками. Извини — не могу. Когда я слышу сигнал «занято», мне кажется, будто перед моим носом захлопнули дверь, у меня так портится настроение, я просто описать не могу. Сегодня утром я пошла на кухню и стала вслух называть, по имени детей: Джоанна Чарли Джоффри, Джоанна

Чарли Джоффри — снова и снова, не для кого-нибудь — для себя. Только это и удерживает меня от самоубийства.

Он нерешительно шагнул к ней и обнял за плечи.

— Не говори так. Ты должна жить ради себя.

— У меня нет себя. Я отдала все свое «я» восемь лет назад.

— Никто тебя не просил.

— Все просили.

— В таком случае, не слишком-то, видно, сильное было это твое «я».

Он произнес это ровным, мстительным тоном — да как он смеет злорадствовать! Глубоко оскорбленная, она поклялась:

— В следующий раз, как только застигну вас за разговором, тут же сажусь в машину, еду к Матиасам и уж не посмотрю, дома Ричард или нет. Я серьезно.

Джерри отступил от нее, пожал плечами и сказал:

— Конечно, серьезно, — улыбкой давая понять, что, конечно же, не серьезно. — Но если по твоей милости Салли придется спасать, я вынужден буду это сделать.

— Мне кажется, ты слишком часто машешь перед моим носом этой палкой — уже не действует. Мне нечего терять, а так я чувствую, что теряю рассудок.

— Не говори глупостей. Мы все рассчитываем на твое здравомыслие.. — Джерри вечно говорит подобные вещи — комплименты, ранящие, как оскорбление; он ловит в сети ее разум, и она всякий раз ломает голову над тем, что он хотел сказать. А он далеко не всегда имеет в виду противоположное тому, что сказал. В данном случае она подозревала, что он сказал правду: все они в своем безумии, увлечении и самообмане рассчитывали на то, что ее вялое, посрамленное здравомыслие удержит их от катастрофы. Ну, а ей это надоело.

В следующий раз, когда она позвонила Джерри и услышала «занято», а потом набрала номер Салли и услышала то же самое, был обычный рабочий день, часы показывали четверть одиннадцатого, и дети играли где-то неподалеку. Руфь позвонила одной молоденькой девушке, чтобы попросить ее посидеть с детьми, но та оказалась на пляже. Тогда она позвонила миссис О. — та сидела с детьми Линды Коллинз, которая уехала в город за покупками. А мисс Мэрдок, хоть и сущее страшилище, отправилась в парикмахерскую. Тут пошел дождь, и Руфь, глядя, как сочатся капли сквозь листву вяза, немного поостыла. Не надо обращать внимания, решила она. Ни на что не надо обращать внимания.

Но внезапно разразившаяся летняя гроза вернула девушку с пляжа, и та, узнав, что Руфь разыскивала ее, позвонила. Руфь попросила девушку прийти после ленча. Зачем? Ярость ее уже поостыла. ехать в таком настроении — значит, предстать перед Салли в смятенном, глупом виде. Может быть, лучше сначала поговорить с Ричардом. Туманно, никого не выдавая, и, однако же, получить совет, зарядиться мудростью. У него в Кэннонпорте бы-

ла контора — над первым отцовским винным магазином; Руфь бывала там, они даже занимались любовью на скользком диване, обитом искусственной кожей, под гравюрой, изображавшей диких уток в полете, в то время как секретарша агента по недвижимости стучала за стеной на машинке, а где-то неподалеку шипели и постукивали машины химической чистки. Руфи нравились эти посторонние шумы; ей нравилось лежать нагой за дверью из матового стекла, запертой изнутри. До Кэннонпорта ехать минут двадцать — пятнадцать, если гнать машину. Она надела юбку из легкой полосатой ткани и скромную блузку, чтобы прилично выглядеть в Кэннонпорте и в то же время не показаться разряженной, если она все же решит потом поехать к Салли.

«Фолкон» в ее руках вел себя легкомысленно, разрезая носом сырой после грозы, но уже пронизанный тусклым солнцем воздух. Вдоль дороги стояли интенсивно зеленые деревья — она уже видела такие на картине Моне или, может быть, Писсаро? А желтовато-розовые пятна на стволах берез были совсем как у Сезанна. В том месте, где ей следовало бы замедлить ход и свернуть на дорогу, ведущую вверх, к дому Салли, Руфь, наоборот, нажала на акселератор. Шоссе на Кэннонпорт с алчным шуршанием стачивало ее шины. Пеле ней — одна за другой — возникали картины, побуждавшие ее повернуть назад, в Гринвуд. Запыленный, цвета хаки, стол Ричарда — он ведь такой ленивый, этот Ричард, едва ли она застанет его в конторе. А вдруг... она представила себе их обнаженные тела на диване — нет, невозможно, и все же какая другая мысль может прийти ему в голову? Круглые, хрупкие головки ее детей — они, наверно, недоумевают, почему она уехала, оставив их одних в доме, запертом дождем. Ее отец, устало втискивающий плечи в пальто, уткнувшись подбородком в шарф, и отправляющийся на один из своих межрасовых митингов: «Смотри на вещи реально». Она свернула влево на проселок, который выведет ее на Садовую дорогу, чтобы кружным путем вернуться в Гринвуд — к детям, к Джерри и к Салли. Руфь решила осуществить свой первоначальный замысел и снова встретиться с Салли — в это время дня они вместо кофе будут пить вермут, и это, пожалуй, поможет. Несколько миль, которые она проехала было к Ричарду, — позорная трата времени, ошибка, которую следует побыстрее исправить; она мчалась так, точно Салли ждала ее. Правда, потом оказалось, что она вряд ли делала больше сорока миль в час.

На «восьмерке», сразу за рекламным щитом «Ротари-Лайонс-Кивиниз», приветствовавшим всех въезжавших в Гринвуд, Руфь занесло: чуть не каждый месяц здесь случалась авария. И дело не только в том, что городская дорожная команда использовала для ремонта масло, от которого покрытие становилось скользким после дождя, но и само покрытие было сделано со скатом не в ту сторону. Можно было бы спрямить дорогу, что неоднократно предлагалось, но тогда пришлось бы отрезать небольшой угол от имения Ван-Хьютенов, которое вот уже полтора века не меняло границ, и нынешний мистер Ван-Хьютен, любезный, весьма пат-

рьютичный, давно разведенный семидесятилетний джентльмен с черными как смоль волосами и при всех передних зубах, решительно противился какому-либо посягательству на его собственность. Поскольку Руфь принимала активное участие в деятельности группы горожан, которая два года тому назад помогла мистеру Ван-Хьютену отразить попытки установить на его территории столбы электропередачи, она не могла порицать его теперь, даже когда смерть возникла перед нею.

«Фолкон», точно яхта, у которой подняли опускной киль, слегка подпрыгнул и заскользил влево. Руфь резко вывернула руль вправо и с удивлением обнаружила, что машина ее не слушается, — вот такое же было бы, наверно, у нее ощущение, если б она смотрелась в зеркало, а оно вдруг стало прозрачным. Затем где-то в конце этой бесконечно долгой минуты машина все-таки повиновалась ее попытке справиться с ситуацией, но невероятно исказив приказ: тяжело крутанулась на пол-оборота вправо, и Руфь, не успев затормозить, увидела, что сейчас перелетит через низкую каменную стену. Стена эта отделяла дорогу от лощины, поросшей деревьями: буками, красными кленами, лировидными дубами. Автомобиль мягко подпрыгнул, перемахнул через стену и покатился под откос, врезаясь в гибкую колючую зелень, среди коротой торчали прямые стволы деревьев. Сначала Руфь пыталась вести машину между стволами. когда же их стало безнадежно много, она рухнула лицом вниз на сиденье и закрыла глаза. Машина ткнулась во что-то и встала. Руфь поискала на полу сигарету, которую курила до того, как все началось. Сигарета исчезла. Где-то совсем рядом чирикала птичка — необычно громко. Руфь открыла сопротивляющуюся дверцу машины и вышла, тщательно закрыв ее за собой. Дождь перестал, оставив после себя лишь колеблемую ветром сырость. Из хвоста машины валил сине-бурый дым; переднее колесо со стороны водителя было вывернуто под немыслимым углом — Руфь вспомнила о ключице Джоффри. В зеленой влажной тишине оскорбленно тикал мотор; автомобиль ведь может вот-вот взорваться, подумала Руфь, не мешало бы вытащить из него сумочку. Там у нее водительские права.

Открыв снова дверцу и потянувшись через переднее сиденье за сумочкой, Руфь только тут заметила — по ласковому прикосновению воздуха к руке и удивительной четкости, с какою она увидела листья, — что переднее стекло разбито. Вдребезги. Оставшиеся в раме острые куски были покрыты кружевом трещинок, а все переднее сиденье усыпано осколками, точно светлыми шершавыми конфетти. Дотронувшись до волос, Руфь обнаружила, что и там застряли осколки. В сумочке, которая, разинув пасть, лежала на сиденье, тоже оказалось полно битого стекла. Руфь сначала хотела вытряхнуть его, но потом решила, что не стоит — все-таки своего рода доказательство. Она вынула из сумочки кошелек, смахнула стекло с кожи и проверила, прямо ли стоит ключ зажигания. Хваля себя за присутствие духа, она пошла прочь от машины. Мокрые ветки задевали ее. Каждый листик со своими прожилками, каждый сучочек, казалось, застыл в ярко освещенной,

несколько искусственной атмосфере, словно в глубине стереоскопа, — необычно свежий и чистый; однако по стремительному свисту шин, с каким по мокрой дороге за стеной промчалась машина, невидимая и невидящая, Руфь поняла, что она еще не умерла и не находится в раю.

Она подозревала, что нарушила границу чужой собственности: надо побыстрее выбираться из драгоценных владений Ван-Хьютена. Она повредила его стену и его деревья. Лес кружился вокруг нее, не двигаясь с места, как кружится нарисованный на крыше карусели пейзаж. Она сделала еще несколько шагов в своих промокших туфлях на высоком каблуке, не привыкших шагать по земле, поросшей папоротником. Раз она может идти, значит, решила Руфь, кости у нее целы. Она посмотрела вниз, разгладила перёд легкой полосатой юбки и увидела, что оба колена у нее раздраны: она понятия не имела, как это случилось. Крови было немного, но Руфь обрадовало не это, а то, что она без чулок, иначе они бы порвались. У нее онемело правое запястье. Она стала осматривать руки, и чем дольше держала их перед глазами, тем сильнее они дрожали. Позади стук мотора смешивался со стуком падавших с деревьев капель и с вопросительным, бесконечно повторяющимся криком птицы. Руфь распрямилась и глубоко вдохнула воздух — тонкий волосок измороси щекотнул ей лицо. Хотела было помолиться, но от волнения перезабыла все слова. Ухватившись за низкую ветку, она стала карабкаться вверх по склону. Спрессованная палая листва превратилась в скользкую мульчу — ее тонкие высокие каблуки уходили в мох, как в мокрую губку. Поравнявшись с дорогой, она обнаружила место, где в стене была выбоина, и с помощью замшелого сука сумела перелезть через нее. Наконец, она очутилась в целости и сохранности на твердой земле, оглянулась и пришла в восторг, — пришла в восторг и одновременно огорчилась при виде машины — ее свободы, ее стосильного «фолкона», нелепо и покорно стоявшего в глухой лесистой лощине. Совсем как у Анри Руссо: педантично выписанная листва, застывший в благости воздух, чудище, мирно и самозабвенно пасущееся среди папоротников и высоких трав. Руфь буквально услышала хохот Джерри, и в голове ее возникла, робкая мысль, что он, возможно, будет даже гордиться ею, гордиться тем, что у нее хватило духу пройти через эдакое испытание и выжить, а значит, она столь же безрассудна, такое же чудо, как Салли.

Пока Руфь стояла у края дороги, три машины проехали мимо. Пассажиры одной из них — «универсала» — возмущенно посмотрели на нее, когда она замахала рукой. Должно быть, приняли за искательницу приключений. Зато грузовик, ехавший в Гринвуд, остановился, и, увидев ее разодранные колени и растрепанные волосы, а также поврежденную стену, те двое сразу все поняли. Они повезли ее в полицейский участок. Она сидела в кабине высоко над землей между двумя мужчинами, а они, нимало не стесняясь ее, продолжали обсуждать скандал с городским управляющим, который во что бы то ни стало, вопреки проекту,

хотел провести канализацию сначала на своей улице. Грузовик пыхтел и погромыхивал, будя воспоминания: много лет тому назад летом, перед тем как поступить в художественную школу, Руфь встречалась с юношей, который водил в деревне грузовичок. У Билли были торчащие уши, красивый торс — он часто работал без рубашки — и весьма скромное честолюбие, что раздражало ее отца. Билли по-своему любил ее — спокойно, славно. Все у них было славно — и ласки и молчание, — и он с добродушной безнадежностью смотрел на возможность совместного будущего: она далеко «обскачет» его. Ей хотелось ему возражать, но, пожалуй, не стоило слишком навязываться, да и вообще было уже поздно: лето подходило к концу. Сейчас, раскачиваясь в кабине грузовика так, что тело ее касалось то одного, то другого из этих двух уже немолодых, крепких людей, не слишком затруднявших себя размышлениями, приемлющих все, как есть, — Руфь почувствовала такой душевный подъем, какого не испытывала на протяжении многих недель. Надо обо всем рассказать Джерри.

В полицейском участке высокий блондин выслушал ее заявление. Руфь немного знала его — у него была польская фамилия, и зимой, стоя на перекрестке у школы в высокой меховой шапке, с черными нашлепками на ушах, он выглядел как принц в изгнании. До сих пор она еще никогда не общалась с ним. Она принялась объяснять:

— Я ехала вроде бы очень спокойно, как вдруг машине пришло в голову свернуть с дороги и перескочить через стену.

Окна были распахнуты навстречу солнцу, которое вернулось на небо, продлевая день, и полицейский медленно-медленно записывал ее показания, вдавливая шариковую ручку в бумагу. Руфь описала, как ее занесло сначала туда, потом сюда, как она мягко перелетела через стену и как, казалось ей, искусно вела машину между хитросплетениями деревьев, пока та сама не остановилась. Она не помнила, чтобы включала тормоза. Должно быть, она тогда подумала, что это ничего не даст: ведь правда, бесполезно тормозить, когда машину заносит? Она вылезла из автомобиля — все волосы оказались в осколках. Из-под машины шел дым, поэтому она проверила, выключено ли зажигание. Переднее колесо так вывернулось, что нечего было и думать вывести машину задним ходом, иначе она бы попыталась. Полицейский спросил, с какой скоростью она ехала. Должно быть, около сорока миль в час — едва ли быстрее.

— Поскольку на этой «восьмерке» предельная скорость — тридцать пять, — сказал он, продолжая медленно писать, — давайте скажем, что вы ехали со скоростью тридцать пять.

Изящество этого откровенного маневра поразило ее. Все лето она сражалась с несоответствиями — например, между дозволенной скоростью и реальной, с какою она ехала, и вот этот польский принц показал ей, что уничтожить это несоответствие и приблизить реальность к идеалу. Бормоча слова благодарности, она покраснела — почувствовала, как стало жарко не только лицу, но

горлу, груди, бедрам. Полицейский сказал, что вызовет аварийную бригаду, пока она будет звонить мужу.

— Но муж сейчас на работе в Нью-Йорке. А я могу и пешком дойти до дома. Тут меньше мили.

— Нет, — сказал молодой полицейский столь же непреложно, как непреложно меняются огни светофора.

— Да я же в полном порядке, — настаивала она, хоть и понимала: а он будет уверять, что она не в порядке.

— Вы сейчас в шоковом состоянии, — сказал он ей. — А есть кто-нибудь в городе, кому вы могли бы позвонить и попросить приехать за вами? Какая-нибудь подруга?

У меня нет подруги — Руфь почувствовала, что он будет шокирован, если она произнесет это вслух. И она сказала:

— Да, есть один человек. Я только не уверена, смогу ли до него добраться.

Но она сразу дозвонилась до Ричарда по кэннонпортскому номеру. Он терпеливо ждал, когда она сама положит конец молчанию.

— Дик? Привет. Это я. Руфь. Довольно неприятная получилась история: дело в том, что машина моя съехала с дороги, а Джерри — в Нью-Йорке, и меня не отпускают из полицейского участка, пока кто-нибудь не приедет за мной. Говорят, что я — в шоке.

— Небольшом шоке, — поправил полицейский.

— Руфи-детка! — сказала Ричард. — Это фантастика, — слышать твой голос. Я просто потрясен.

— Не надо, — сказала она, — все весьма прозаично. Ты свободен или занят с моей преемницей?

Она понимала, что полицейский слушает, однако не думала о том, что говорит, словно, перелетев через стену Ван-Хьютена, вступила в зеленый мир свободы.

— Никаких преемниц, никаких преемниц, — тем временем говорил Ричард тоном занятого дельца, так раздражавшим ее своей нарочитостью. — Тебя гринвудские фараоны зацапали, да? Сейчас приеду.

— Это очень мило с твоей стороны. Через двадцать минут?

— Через десять.

— Не спеши. Прошу тебя. Хватит и одной аварии за день.

— Слушай. Я знаю эту дорогу не хуже твоей задницы.

Сама напросилась, подумала Руфь, вешая трубку. Зачем она решила звонить ему? Должно быть, со злости. И она пожалела, что не Джерри и не Салли, а именно Ричард оказался ее жертвой. Но ведь мы выбираем себе жертвы, с которыми можем справиться, которые нам по плечу. И такая ли уж это большая жертва, если бывший любовник по ее просьбе проедет восемь миль, чтобы потом еще одну милю проделать вместе с нею? Полицейский предложил ей кофе в бумажном стаканчике и сказал, что ему уже позвонили из аварийной бригады: они смогут вытащить ее машину только завтра. В углу затрещало полицейское радио, и, вооружившись листами бумаги, все повернулись к нему; она по-

чувствовала, что исчезла из сферы их внимания. Ей приятно было погрузиться в пустоту. Слава богу, за стенами ее дома есть мир, где людям платят за то, чтобы они заботились о ней — правда, не слишком рьяно. Не забыть бы рассказать Джерри, как ей было хорошо в полицейском участке.

Ричард вошел и объявил дежурному за столиком:

— Я явился забрать вашу арестантку.

— Мистер Конант? — без улыбки спросил полицейский.

— Матиас, — сказал Ричард. — Временный заместитель. Как она?

— Она на редкость удачливая молодая дама, — сообщил ему полицейский. А Руфи сказал: — Аварийка осмотрела вашу машину, они говорят, что вы больше не сможете на ней ездить. Вы ее угробили.

Ричард попытался в тон полицейскому настроиться на серьезный лад и спросил:

— Не отвезти ли ее к доктору?

— Я на вашем месте так бы и сделал.

— Не говорите ерунды, — возмутилась Руфь, видимо, от того, что полицейский переметнулся на другую сторону. Его царственное спокойствие превратилось в назидательную глупость; он протянул ей протокол об аварии. *«Приблизительно в 1.45 дня... темно-синий «универсал» с четырьмя дверцами марки «форд», который вела миссис Джеральд Конант из... со скоростью 35 миль в час... на первый взгляд, получила лишь незначительные царапины... машина разбита».* Почерк был небрежный. Руфь подписала бумагу и вышла с Ричардом. Она уже забыла, что он намного крупнее Джерри. К собственному удивлению, она взяла его под руку.

— Что с тобой? — спросил он, садясь за руль своего любимого старенького «мерседеса». Забыла Руфь и эту его жалостную голову трусливого льва, и то, как западает у него верхняя губа и как выпирает нижняя.

— А что? — С горлом у Руфи происходило что-то странное: его словно затянуло серебряной паутиной, как и глазные впадины, и виски, и все пустоты ее черепной коробки.

Рот у Ричарда нетерпеливо дернулся.

— Тебе, видно, моча в голову ударила, Руфи-детка.

— Авария могла случиться с кем угодно. Дорога...

— Плевал я на аварию. Ты все лето в сплошной истерике. Ведешь себя, как затравленная во время охоты на ведьм. Джерри, что, снова тебя донимает, потому что ты не можешь прогнать огородное чучело, которого он боится?

— Нет, Джерри теперь почти не говорит о смерти.

— Значит, в доме тишь да гладь.

— Не совсем. А в твоем?

Оне не понял намека. Бельмо на его глазу казалось в профиль нашлепкой.

— О'кей, — мрачно сказал он. — Не хочешь говорить — не надо. Пошла ты...

— Я *хочу* говорить, Ричард. Но...

— Но вдруг до жены того, другого, дойдет, если ты проболтаешься мне, так?

— Чьей жены? Какого другого?

— Невесты, дамы сердца, временной подружки, femme [1], или кем там она еще приходится моему преемнику. Снова решила поиграть в эту игру — кирикет? Ну, а счастливый пес — это Дэвид Коллинз? Он выглядит таким бодрячком на волли-болли. Господи, Руфи, когда же ты, наконец, отчалишь и сменишь этого своего психопата-кровососа, этого полумужика, с которым ты связалась? Ты же сжираешь себя по кусочкам. Идешь по протоптанной старым графом Мазохом дорожке — ать-два-три.

— Ну, и занесло тебя, Ричард. Я, конечно, польщена, но все это ты напридумывал — никакого романа у меня *нет*. И я *не* считаю Джерри полумужиком. Может, я сама полубаба.

— Ты — баба на все сто пятьдесят, если память мне не изменяет. Ну, ладно, о'кей. Я — тронутый. Тупоголовый болван. Черт со мной. Но и черт с тобой. Что я тебе — таксист, которого вызывают раз в год?

— Куда ты едешь?

Он вез ее за город, в лес, к комариной дрожке, к пруду, над которым, застыв, стоял так ничего и не выловивший рыболов. Паутина в голове у Руфи прорвалась, и она заплакала, — слезы потекли стремительным потоком, ее трясло, хотелось кричать. Ей все виделись те деревья, проплывавшие мимо. Слезы вперемежку со словами текли и текли.

— Нет, вези меня домой. Привези в мой дом и оставь. Я же об этом тебя просила, ты же обещал, не хочу я объятий, не хочу душещипательных разговоров, я хочу, Ричард, домой и хочу умереть. Прошу тебя. Извини. Я не могу. Ты так прав и так не прав, это меня просто убивает. В самом деле убивает. Ты — единственный, с кем я могла бы говорить, и ты самый неподходящий для этого человек. Прости меня. Мне это нравилось. Право, нравилось. Дело не в тебе. Ты мне нравишься, Ричард. Не надувай так глупо и обиженно губы. Дело *не* в тебе. Просто — *так* вышло!

— Успокойся, успокойся, — говорил он, перепугавшись, стараясь развернуться на узкой аллее, где кто-то разрисовал камни, а на лужайке посадил семейство пластмассовых уток.

— *Не могу* я начать все сначала, *не могу* я вернуться к тому, что между нами было, *пойми*. И прости меня за то, что я тебя вызвала: я не подумала. Надо было мне позвонить Линде. С тобой мне было так славно. Ты почему-то *черте-те какой* славный. Чудесный.

— Держись фактов, — сказал он, корча гримасу от усилий, которых требовало от него управление машиной. — Я уже все понял.

— *Ничего* ты не понял, — сказала ему Руфь. — Это-то меня и убивает.

---

[1] Жена *(франц.)*.

Он высадил ее под вязом.

— Ты уверена, что тебе не нужен врач? Ведь и до сотрясения мозга недолго.

Стоя у машины, она просунула голову внутрь и поцеловала его в губы. Он хорошо целовался — крепко, но не так жадно, как Джерри. Слезы у Руфи высохли, голова стала яснее.

— Ты действительно славный, — сказала она Ричарду и, поддавшись своей излишней любви к правде, добавила: — Как ни странно.

— Ну и ну, — сказал он. — Спасибо. Так вот: я в твоем распоряжении. Позвони, когда у тебя в следующий раз произойдет авария.

— Ты узнаешь первым, — сказала она ему.

Номер освободился: она поймала Джерри на работе и рассказала ему об аварии, в легких тонах обрисовав случившееся. Он вернулся домой на полчаса раньше обычного: ему хотелось до ужина посмотреть на то, что осталось от автомобиля. Он повез ее по Садовой дороге; камни на обочине, навесы над деревьями, лужайки, дети, деревья мелькали и сливались от скорости, и Руфь взмолилась,

— Не надо так гнать.

— Я делаю всего тридцать миль.

— А кажется, что быстрее.

— Хочешь сама сесть за руль?

— Нет, спасибо.

— Я спросил вообще. Как ты считаешь, ты не потеряла уверенности в себе?

— Не думаю. И все же мне как-то дико снова сидеть в машине.

— Каким образом ты добралась от полицейского участка до дома?

— Полисмен подвез.

— А как насчет доктора? У тебя внутри все в порядке? Тебя сильно болтало?

— Я съехала как-то очень гладко и легко. Только от испуга не нажала на тормоз. Мне это в голову не пришло.

— А куда ты вообще ехала?

Она описала свое смятение, панику, как у него был бесконечно занят телефон, как она искала женщин, которые могли бы посидеть с детьми, как проехала мимо дороги к Салли и как в испуге повернула назад. Ричарда она опустила. Она снова принялась рассказывать — в строгой последовательности, точно просматривая кадры киноленты: автомобиль занесло в одну сторону, потом в другую, стена, застывшие деревья, райская красота и интенсивная зелень мокрого леса, когда она вылезла из остановившейся, окутанной дымом машины. Она снова и снова прокручивала эту киноленту, и с каждым разом все гуще становились краски, а сейчас они призрачно слились с реальностью, словно она прокру-

тила ленту назад и начало соединилось с концом, когда они с Джерри подъехали к месту происшествия с другой стороны. Он остановил машину на обочине, вышел и направился через дорогу. Она сказала, что не хочет смотреть: посидит в машине. Он поднял брови, и она тотчас изменила решение. Он ждет от нее здравых поступков. Они вместе пересекли асфальт. Это следы ее шин? Трудно сказать — их так много. А вот здесь, где две прерванные колеи врезались в мягкую землю обочины и с полдюжины камней осыпалось со стены, — здесь она скатилась вниз. Со ствола гикори, довольно высоко, была содрана кора, а чуть подальше пригнулся к земле ободранный молоденький кленок. Машина налетела на него, попыталась взобраться и прижала к земле. Воспоминания Руфи о плавном спуске вниз никак не вязались с этими жестокими ранами. В роще и другие деревья были ободраны, а колеи от колес выглядели следами гигантских пальцев, соскребших с мягкой почвы палую листву и молодой папоротник. Джерри был поражен тем, что машина проехала такой большой кусок между деревьями и остановилась сама собой, не выдержав сражения с грязью и лесной порослью.

— Ты тут проделала добрых сто футов.

— Все мне казалось тогда каким-то абстрактным. — Быть может, подумала Руфь, он намекает на то, что она должна гордиться собой.

Джерри спустился к машине, открыл дверцу, достал из отделения для перчаток карты и регистрационные документы, а с заднего сиденья — полотенца и детские игрушки. Усмехаясь, пошел вокруг машины и вдруг расхохотался, зайдя за нее, — там, где Руфи не было его видно. Потом перемахнул через стену и, вернувшись, сказал:

— Вся правая сторона вмята. Как будто жестянка.

— А можно ее выровнять?

— Машине — крышка. Если погнута рама, самое верное — идти получать страховку. Ее уже не выпрямишь.

— Аварийка приедет и оттащит ее. Поехали. Садись же. — Из его старенького «меркурия» со складным верхом вдруг пахнуло запахом Салли. Руфь встала как вкопанная. — *Поехали*, — сказал он. — У нас ведь дома дети.

— Тебе давно пора бы об этом вспомнить, — сказала она, скользнув на сиденье.

— Я никогда и не забывал. А ты? Если бы ты думала о детях, ты бы не устраивала трюки на автомобилях, гоняя по округе. — Он резко включил зажигание — «запалил резину», по выражению мальчишек. Это было уже гадко с его стороны.

Она сказала, твердо решив держаться спокойно:

— Это ведь была авария.

— Это был *трюк*, — сказал Джерри. — Преднамеренный трюк. Жена, обуреваемая огромной, великой жаждой смерти, бросает смерти вызов. Ты даже не *затормозила*.

— Я считала, что, когда машину заносит, нельзя тормозить. Мне казалось, куда важнее рулить.

— *Рулить!* Но руль ведь тебя не слушался — как же, черт возьми, ты могла рулить?

— Мне казалось, что я рулила. А потом вдруг почувствовала, что больше не могу, — тогда я уткнулась лицом в сиденье.

— Значит, вот так ты разрешаешь проблемы, да? Уткнуться лицом в сиденье и ждать — авось как-нибудь образуется. И самое возмутительное, что ведь так и *выходит*. Любого другого, врежься он в этот лес, тут же бы *убило*.

Она сидела, застыв от испуга, рядом с этим разозленным, стремительно гнавшим машину человеком, и ужасная правда разрасталась перед ее глазами, пока от созерцания ее Руфь не ощутила внутри пустоту. Снова раздвинулись облака зелени; она мягко скользила сквозь строй стволов. Вот машина ткнулась в один из них и встала. Она вылезла, и бодрящий воздух коснулся ее, приласкал. С ней случилась авария. А Джерри этого ждал. Он молился, чтобы это произошло. И молитва его была услышана, но какой это обернулось издевкой: пострадала-то лишь машина. Руфь вспомнила, с какой усмешкой он разглядывал покореженный автомобиль.

— Ты злишься, — сказала она, тщательно опробуя каждое слово, будто подгнившие перекладины лестницы, — что со мной этого не произошло.

— Что тебя не убило?

— Да.

Он подумал.

— Нет, не совсем так. Я, наверное, ждал, что бог как-то явит свою волю, вот он ее и явил. Дал понять, что ничего не случится. Если мы сами — ты и я — не сделаем так, чтобы случилось.

— Да ты понимаешь, что *говоришь!* Ты же говоришь, что хочешь моей смерти.

— Разве? — Он спокойно улыбнулся. — Это, конечно же, твоя фантазия. — Улыбка сошла с его лица, и он, насупясь, похлопал ее по ноге. — А *ты* хочешь, чтобы что-то случилось?

— Нет.

— Тогда успокойся. Ты — вечна. Ничего с тобой не случится.

На другой день после аварии Салли, с застывшей улыбкой и бегающими глазами, подошла на пляже к Руфи и сказала, как она рада, что Руфь не пострадала. Руфь поверила ей, а потом пожалела, что от неожиданности лишь кивнула в ответ. Она старалась солнцем выжечь из себя память об аварии — эту боль в коленях и плечах (от того, что она бессознательно изо всей силы вцепилась в руль?) и это мелькание, ощущение скольжения, полета, которое охватывало ее, стоило ей закрыть глаза. Лицо Салли, неестественно окрашенное в слепящих лучах солнца, как на картинах Боннара — пурпурные губы, пепельно-серые волосы, — словно бледное феерическое видение вторглось в безоблачную синеву, которой Руфь всецело отдалась. «Руфь, я слышала про твою аварию и просто хотела сказать, что я рада, что ты не пострада-

ла. Правда». Салли повернулась и пошла прочь — со спины она казалась такой худой: сзади на ляжках кожа набегала морщинками. Когда они только переехали в Гринвуд и были моложе, тело у Салли было гладкое, как у манекенщицы, не тело, а машина. Ее желтое бикини все удалялось и, наконец, слилось с пляжной публикой, издали похожей на прендергастовские мазки [1]. На другой день Салли, как выяснилось, посадила своих троих детей на самолет и улетела во Флориду, где у ее брата и его второй жены был дом в краю апельсиновых садов, возле Лейк-Уэльса. Руфь узнала об этом от Джерри, который, как выяснилось, и подвигнул Салли на отъезд.

— Но почему?

— Чувствовать себя связанной по рукам и ногам становилось для нее невыносимо.

— Чем связанной? И что, собственно, имеется под этим в виду?

— Человек связан по рукам и ногам, когда у него нет выбора. Жизнь связывает нас по рукам и ногам. Человек не может жить дальше и не может умереть. Я не могу жениться на Салли, а я не могу жить без нее. Ты не знаешь, что значит быть связанным по рукам и ногам, потому что невозможное тебя не интересует. Ты просто этого не видишь.

— Ну, ты, например, кажешься мне сейчас совершенно невозможным. Какое право, да, какое, собственно, право имел ты посылать ее во Флориду на деньги Ричарда?

Джерри расхохотался.

— Значит, *все дело* в деньгах этого мерзавца, да?

— Джерри, ты болен. Почему ты так ненавидишь Ричарда?

— Потому что он атеист, как и все вокруг, и все вы стараетесь вогнать меня в гроб. — С отъездом Салли он как-то неприятно распоясался; Руфь почувствовала, что он ожесточает себя для решительного шага.

— А что эта поездка во Флориду должна доказать? — спросила она. — Ты полетишь за ней следом?

— Смотри-ка, мне это никогда бы в голову не пришло. А ведь я никогда не был во Флориде.

— Не смеши.

— Апельсиновые деревья цветут, кажется, именно в сентябре?

— Если ты уедешь, твоей ноги в этом доме больше не будет.

— Ну, как могу я уехать? Будь же разумна. Она уехала отдохнуть — от Ричарда, от меня, от тебя, от всего. Она совсем без сил. Ничего более жестокого ты придумать не могла, как просить ее переждать это лето. Мы убиваем ее — ты, и я, и этот, как-там-его. Она живет на лекарствах, она дошла до отчаяния.

— Живет на лекарствах — подумаешь! Любой женщине ничего не стоит довести себя до отчаяния, только бы этим чего-то добиться. Просто она хочет удрать с тобой.

---

[1] Морис Бэзил Прендергаст (1861—1924) — американский художник.

Он задумался над такой возможностью, и черты его лица стали острее, резче — таким он нарисовал бы себя: Руфь помнила эту его манеру еще с той поры, когда, сидя за соседними мольбертами, они сосредоточенно переносили на бумагу одну и ту же модель.

— Не думаю, что это надо так делать, — сказал он сейчас. — А уж если делать, то надо сначала обсудить все с адвокатами, а потом — суд о разделе прав, и огорченные родители, и рыдающие дети, и весь фейерверк. А каково будет нашим детям, если я вдруг исчезну с миссис Матиас, Бобби, Питером и крошкой Теодорой? Ужасные дети — все трое как две капли воды похожи на Ричарда. Чудовища, а не дети.

— Прекрати, — сказала ему Руфь. — Не жалуйся мне на то, что у Салли дети — от мужа, а не от тебя.

— Ну, ты грандиозна, — сказал он, — у всех проблемы, кроме тебя. А у тебя — никаких, верно? Мы с бедняжкой Сали висим часами на телефоне, обсуждаем, каково будет бедной старушке, Руфи, когда она останется одна со всеми своими детьми, а ты, оказывается, живешь себе припеваючи и никакущих у тебя проблем, так? Как это у тебя получается, детка? Разбиваешь машину, чтобы немного встряхнуться, а то уж очень выдался унылый день, и — ни единой царапины. Твой мир рушится, а ты лежишь себе на этом чертовом пляже все лето, счастливая, как моллюск. Этот твой древний, кдиный и неделимый бог, должно быть, — настоящий огурчик.

— Я ведь не просто иудейка, но и христианка, как и ты, — сказала Руфь.

Дети, особенно Чарли, начали нервничать. Раньше после работы Джерри играл с мальчиками в кетч на заднем дворе или вез всех троих к Хорнунгам на вечернее купание в бассейне, а теперь он сидел дома и смотрел в пустоту, пил джин с тоником и слушал пластинки Рэя Чарльза или говорил с Руфью, пытаясь — уже довольно вяло — так повернуть разговор и направление мыслей, чтобы найти выход из создавшейся ситуации и облегчить душу. Во время еды глаза его то и дело теряли фокус — перед ним возникала Салли. Дни шли, прошла неделя, потом десять дней, а ни Джерри, ни Ричард не знали, когда она вернется. Яркая птица с заморским оперением, она улетела в тропики; оттуда, далекая, но незабываемая, она пела им, и сигнал «занято» в служебном телефоне Джерри был ее песней. Руфь бесилась, отчаивалась, а в промежутках жалела Джерри — они совсем «разодрали» его на части. Пятнышки на его радужной оболочке казались острыми закорючками, и на улице он держал голову под каким-то странным углом, будто прислушивался к некоему сигналу, или, словно Исаак, ждал удара с небес.

— Пожалуйста, решай, — молила его Руфь. — Мы все выживем — поступай, как хочешь, и перестань думать о нас.

— Не могу, — говорил он. — То, чего я хочу, слишком многих

затрагивает. Это как уравнение с одними переменными величинами. Я не могу его решить. Не могу. Она плачет по телефону. Не хочет плакать. Она такая смешная и так мужественно держится. Говорит — там сто десять градусов [1], и ее невестка ходит совсем голая.

— Когда же Салли возвращается?

— Боится, что скоро. Она со своими детьми заполонила весь дом, и гостеприимство хозяев быстро иссякает.

— Она сказала им, почему приехала?

— Не совсем. Только призналась, что несчастлива с Ричардом, а брат сказал — не говори глупостей и не разыгрывай из себя балованного ребенка. Ричард заботится о ней, и потом, у нее есть долг перед детьми.

— Что правда.

— Почему, собственно, правда? Ну, как он о ней заботится? Отправил в дорогу, а денег дал — едва на самолет хватило.

— Ты посылал ей деньги? — У Руфи подкосились ноги при мысли о том, что Джерри растрачивает деньги, отложенные на образование детей, эта дорогостоящая женщина не только залезла в их постель, но теперь еще и в их банковский счет.

— Нет, наверно, мне следует послать туда себя. Но я не могу. мне все время хочется к ней поехать, и никак не получается — то одно, то другое: то у Джоанны фортепьянный концерт, то Коллинзы позваны на ужин или надо идти к этому чертову зубному врачу. Господи, это ужасно. Ужасно говорить с ней. Поговорила бы ты, раз тебя это так трогает.

— Охотно. Соедини меня с ней. Я вдруг поняла, что у меня есть что сказать этой женщине.

— Она ведь и во Флориду-то уехала, чтобы тебя не мучить. Она очень переживала твою аварию.

— А по-моему, ты говорил, она уехала в надежде, что ты последуешь за ней.

— По-видимому, она думала и о том и о другом. Она совсем запуталась.

— Ну, не одна она.

Когда Руфь бодрствовала, она сознательно занимала себя заботой о детях и о доме, зато сны ее стали необычно жестоки. Насилия, ампутации, сумасшедшая скорость вперемежку со сценами и лицами из далеких уголков ее жизни. Однажды ей приснилось, что она едет в Вермонте по дороге на дачу, которую они там снимали. Судя по всему, это была та часть дороги, что шла под заброшенной лесопилкой, где были особенно глубокие колеи, потому что солнце не пробивало нависавшей листвы и не могло высушить грязь. Она ехала с кем-то наперегонки. Впереди в шатком открытом черном кабриолете сидели рядом, очень прямо, ее отец, Дэвид Коллинз и маленькая старушка из детских книжек; отец правил,

---

[1] 110 градусов по Фаренгейту равны примерно 43 градусам по Цельсию.

и Руфи стало страшно, потому что он отличался рассеянностью, как это часто бывает со священниками, да к тому же последнее время у него ослаб слух, и он уже не слышал, когда машины приближались к нему сбоку или сзади. Сама Руфь и Джоффри ехали следом в какой-то странной низкой повозке, без какой-либо видимой тягловой силы. Они как бы плавно летели, и, однако же, колеса повозки касались изрытой колеями дороги. Волнение сына передавалось ей — его слезы жгли ей горло. Внезапно кабриолет остановился — остановился, как в застывшем фильме. Дэвид и папа ухватились за боковины, но старушке, сидевшей между ними, не за что было ухватиться, и она вылетела из кабриолета. Все столпились вокруг нее. Она лежала на краю дороги в нестриженой траве — маленькая, съежившаяся, одни кости. От падения тело ее под черным платьем словно укоротилось, перебитые ноги, точно лапы у паука, отвратительно торчали в разные стороны. Желтое лицо, наполовину скрытое разметавшимися волосами, было откинуто назад, рот раскрылся, и зубы — сплошная вставная челюсть — соскользнули вниз, точно опускная решетка. Она разбилась и умирала. Она пыталась что-то сказать. Руфь нагнулась, чтобы лучше услышать — и перенеслась во сне в подводное царство, царство голубовато-зеленой воды, которая кажется ярко-голубой из-за белого кораллового песка на дне, — такая вода в Карибском море у берегов острова Сент-Джон, куда она ездила с Джерри много лет тому назад, когда ждала Джоффри. Возможно, ей приснилась Флорида.

В субботу Джерри сказал, что ему надо съездить по делам в город, а часом позже позвонил ей по телефону.

— Руфь, — сказал он на два тона ниже обычного: она тотчас представил себе открытый телефон-автомат в магазине мелочей, — могу я вернуться сейчас и поговорить с тобой?

— Конечно. — У нее затряслись колени.

— Кто из детей дома?

— Один только Чарли. Джоанна побежала с Джоффри на распродажу в гарах Кантинелли.

Она прошла на кухню и, наполнив стакан для сока вермутом, выпила его как воду — воду, обжигавшую огнем. Она все еще была на кухне, когда он вошел через заднюю дверь; стрекот цикад и сухой, как запах футбольного мяча, воздух конца лета ворвался вместе с ним.

— Я разговаривал с Салли, — сказал он, — она вынуждена уехать из Флориды. Детям там плохо. Да и занятия в школе начинаются через неделю.

— Да. Ну и что?

Он мялся, словно чего-то ждал. Она спросила:

— И ты обо всем этом говорил по телефону из магазина мелочей?

— Я говорил с того, что позади бензоколонки «Тексако». Салли хочет знать, ухожу ли я к ней. Лето ведь кончилось.

— Еще не было Дня труда [1].

— Но уже сентябрь.

Дрожь из ног перебралась выше, куда-то под ложечку, вермут в желудке был словно нож, вонзенный так плотно, что даже кровь не выступила.

Джерри выпалил:

— Только, пожалуйста, не бледней так. — На его лице читалось абстрактное сострадание, с каким он вынимал бы занозу или шип из ее руки или из ноги кого-нибудь из детей.

Она спросила в надежде, что он ценит ее умение владеть собой:

— Где же ты будешь ее ждать?

Он передернул плечами и рассмеялся с видом заговорщика.

— Не знаю. В Вашингтоне? В Вайоминге? При ней, конечно, будут все эти чертовы дети. Не наилучший вариант, но как-нибудь справимся. Справляются же другие.

— Немногие.

Он уставился в вытертый линолеум на полу.

Она спросила его:

„Ты хочешь уйти?

— Я боюсь этого шага, но — да. Я хочу уйти, скажи мне — *уходи.*

Теперь она, прислонившись к раковине со стаканом в руке, в котором плескались остатки вина, передернула плечами.

— Так уходи.

— А ты **справишься?** У нас больше тысячи долларов на чековой книжке , по-моему, около восьми тысяч пятисот в сберегательной кассе. — Он поднял обе руки, пытаясь ее обнять: у Руфи было такое ощущение, что тело его точно машина, которую кто-то намеренно включил, и она поехала, а из глаз кричал беспомощный пассажир.

— Ничего со мной не случится, — сказала она, осушила стакан и, словно что-то вспомнив, швырнула на пол. Осколки и капли разлетелись звездой по старому зеленому линолеуму в мраморных прожилках.

На шум в кухню прибежал Чарли: Руфь совсем забыла, что он дома. Чарли был славный мальчик, маленький для своих лет, со славным умненьким личиком и унаследованным от Джерри упрямым, не поддающимся гребенке хохолком.

— Зачем ты это сделала? — спросил он, улыбаясь, готовый услышать в ответ, что это была шутка. Из всех их детей он отличался наиболее развитой логикой, и без теории «шуток» взрослые не укладывались бы в его представление о мире. Он стоял и ждал, маленький, улыбающийся. Ему было семь лет. Стоял в шортах цвета хаки, с голенькой грудкой, покрытой летним загаром.

Руфь прорвало: она почувствовала, как соленая вода брызнула из глаз. Она крикнула малышу:

---

[1] День труда — первый понедельник сентября.

— Потому что папа хочет от нас уйти и поселиться с миссис Матиас!

Чарли молча повернулся и со стремительностью побитой кошки вылетел из кухни, Джерри кинулся за ним, и Руфь увидела их обоих уже в гостиной; в дверном проеме, как в раме, возникла бытовая сценка работы кого-нибудь из голландских мастеров: мальчик сидит в качалке, вытянув голые ножки, упрямо вскинув светлую головку, а отец в своих выходных джинсах от Леви и парусиновых туфлях стоит перед ним на коленях и пытается его обнять. Чарли не очень-то поддавался объятию. Любимый вяз Руфи добавлял к этой сцене затянутый желто-зеленым квадрат окна.

— Не плачь, — уговаривал сына Джерри. — Почему ты плачешь?

— Мама сказала... мама сказала, ты хочешь... — худенькая грудка приподнялась от сдавленных рыданий, — ...хочешь жить с этим детьми...

— Нет, не хочу. Я хочу жить с тобой.

Руфь не могла больше на это смотреть. Осторожно — она ведь **была** босая — Руфь подмела осколки. Кусочки стекла — иные мелкие, как пудра, — со звоном ссыпались из совка в ведро. *Из праха в прах.* Она как раз все убрала, когда Чарли прошлепал к ней по чистому полу и объявил:

— Папа ушел. Он сказал, что вернется. — Он сообщил об этом с большим достоинством, точно посол вражеской державы.

Джерри вернулся, когда Руфь закладывала в плиту тосты с сыром для ленча. Он задыхался, был какой-то бесплотный, с застывшим взглядом, похожий на пугало. По дороге с визгом промчалась машина.

— Я снова звонил Салли.

Руфь закрыла дверцу плиты, проверила регулировку нагрева и спросила:

— Ну и?

— Я сказал, что не могу к ней уйти. Описал то, что было с Чарли, и сказал, что просто не могу этого сделать. Завтра она возвращается к Ричарду. Она сказала, что это не слишком ее удивляет. Она была изрядно возмущена тобой — за то, что ты пустила в ход детей, но я сказал ей, что это получилось случайно. Она так разоралась — по-моему, уж слишком.

— Ну, в таких обстоятельствах у кого хватит духу ее винить?

— У меня, — сказал Джерри. — Я любил эту женщину, и она не должна была на меня нажимать. — Рот у него стал совсем маленький, а голос холодный, он устал от страсти, как устает от солнца лето. Руфь подумала, сможет ли она пожалеть Салли: ведь они обе, вместе владели этим человеком, и ту, другую, он изгнал из своего сердца слишком своекорыстно, слишком жестоко. Руфи хотелось узнать еще, услышать каждое слово, произнесенное Салли, услышать ее крики, но Джерри запер на замок свое сокровище. Джоанна и Джоффри вернулись с распродажи — они купили пепельницу в виде цыпленка, — и тут все разговоры прекратились.

На другой день Салли появилась на волейбольной площадке. Стояло сентябрьское воскресенье, по небу неслись светлые серые облака; было не столько холодно, сколько ветрено — точно где-то в атмосфере оставили открытой дверь. Салли, приходившая в июле на площадку в желтом купальном костюме и накинутой поверх рубашке Ричарда, рукава которой она завязывала на животе, снова надела белые брюки и трикотажную кофточку, которые носила в начале лета. Кожа на лице у нее натянулась — флоридский загар выявил крошечные белые морщинки у глаз. Все так дружно приветствовали ее, точно она вернулась, чудом спасшись от какой-то напасти. Ричард, в клетчатых шортах, держался мягче, чем в тот день, когда влетел в полицейский участок. Интересно, подумала Руфь, что они с Салли сотворили друг с другом, отчего он стал таким любезно-сонным. Совсем не чувствуя глубины пространства, он то и дело посылал простейшие мячи в сетку и наскакивал на других игроков. В какую-то минуту он наскочил на Руфь, и в момент столкновения она уловила запах джина. В какую-то минуту Джерри предупреждающе крикнул: «Салли!», неудачно, слишком сильно послав мяч прямо в нее; она вытянулась, готовясь к прыжку, но даже не задела мяча, и он упал между нею и сеткой. А крик Джерри, его мольба о помощи, надолго повис в воздухе среди молчания остальных. То, что было между ним и Салли, исчезло — осталась игра, обнаруживавшая всю несобранность Джерри, его манеру отчаянно бить по мячу. Он подпрыгивал, приседал, снова и снова падал среди грязи и разбитого стекла, пытаясь взять невозможные мячи, — он был как сумасшедший, оторванный от реальности, как рыба, выброшенная из воды. И все — ради Салли, но ее задубевшее от солнца лицо-сердечко было замкнуто: он больше не существовал для нее. Джерри в последний раз отравлял воскресный вечер своим скорбным видом после волейбола: назавтра был День труда. Волейбол, лето, роман — все осталось позади. Дети пошли в школу; недолгие посиделки на траве или у воды под предлогом детских игр прекратились. Проходили недели — Конанты с Матиасами не встречались.

Руфь чувствовала себя обманутой. Она ждала поражения за наспех возведенными ею непрочными стенами, а поражения не последовало из-за ее же слез и слез сына — интересно, где та правильная шкала, по которой слезы ребенка весят больше, чем слезы взрослого мужчины? Джерри уронил себя, не сделав того шага, на который толкала его сила собственного несчастья. Руфь обнаружила в его машине карманное издание книги «Дети разведенных». Он пытался установить, чего может стоить поступок, не поддающийся измерению: если Джоанна, Чарли и Джоффри прольют каждый по кварте слез, он останется; если же лишь по пинте — он уйдет. Если будет семь шансов из десяти, что Руфь снова выйдет замуж, — он уйдет; если же меньше, чем пятьдесят на пятьдесят, — он останется. Это было унизительно: мужчина не должен жить с женщиной из жалости, а если он все-таки живет, то не должен ей об этом говорить. Джерри и не говорил, но не го-

ворил и другого, вернее — неоднократно и то и другое говорил. Подробности утрачивали значение — Руфь едва его слушала, улавливая из потока слов лишь то, что ничего не утряслось, кульминации не было, он не успокоился, он все еще влюблен, и хотя Салли потеряна для него, она продолжает жить в нем прочнее, чем когда-либо, все это не кончено. Джерри не удовлетворен, жена подвела его — подвела, не сумела по своей нескладности даже умереть, во всем виновата она одна, и никогда ей не знать покоя.

Каждый вечер, возвращаясь с работы, он с надеждой спрашивал:

— Ничего не произошло?

— Нет.

— Никто не звонил, не заходил?

— А ты ждешь звонка?

— Нет.

— Так в чем же дело?

Он начинал просматривать дневную почту.

Она спрашивала:

— Как ты себя чувствуешь?

— О'кей. Отлично.

— Нет, правда.

— Устал.

— Физически устал?

— В итоге — да, конечно.

— Устал жить со мной?

— Я бы так не сказал.

— От того, что живешь без нее?

— Да нет. Я ведь никогда не был уверен, что мне понравится с ней жить. У нее могла появиться привычка мной командовать.

— Тогда что же тебя гложет? Страдать вот так, молча — ничего хуже нет. Мне, например, кажется, что я теряю рассудок.

— Глупости. Ты самая здравая женщина, какую я знаю.

— *Была* самая здравая женщина, какую ты знал. «Ничего не произошло?» Всякий раз, когда ты меня об этом спрашиваешь, мне хочется схватить тарелку и швырнуть об пол, хочется пробить кулаком эти стекла. Чего ты ждешь, что должно про-изойти?

— Не знаю. Ничего. Наверное, жду, чтобы *она* сделала какой-то шаг. Но что она может сделать?

Руфь пересекла комнату и схватила было его за плечи, словно намеревалась встряхнуть, но тут же разжала пальцы: плечи у него оказались такие тощие.

— Неужели ты не понимаешь? Ты *покончил* с ней. *Покончил*.

Джерри смотрел куда-то поверх ее головы, сквозь ее волосы.

— Этого не может быть. — Он говорил, еле ворочая языком, точно сомнамбула. — Нельзя так быстро перейти от наполненности к пустоте.

— Прошу тебя, *сосредоточься*, — сказала она, пытаясь встряхнуть его, как ребенка, но он оказался слишком большой, и она встряхнула только себя. — Женщины зависят от мужчин. Она любила тебя, но ты не оправдал ее надежд, и теперь она вынуж-

дена держаться за Ричарда. Ей нужен Ричард. У нее дети от Ричарда. Ты не должен больше вмешиваться в их жизнь.

— Она попытается теперь завести роман с кем-нибудь другим, чтоб выбраться из своего брака.

— Ну, и ладно, пусть. Ты не имеешь на нее никаких прав, Джерри.

— Чьи-то надежды я должен был не оправдать. Либо ее, либо твои и наших детей.

— Я знаю. Не растравляй себя. Я знаю: если б выбор был между нею и только мной, ты бы не колебался.

— Неправда. Колебался бы.

— Очень смешно. Зачем ты *говоришь* это? Зачем утруждаешь себя?

— Из уважения к тебе, — сказал он, — я пытаюсь говорить правду.

— Ну, так *прекрати*. Это уже не уважение. Я не хочу больше слышать правду Что ты *делаешь* со мной, Джерри?

— Ничего я с тобой не делаю. Продолжаю оставаться твоим мужем.

— Ты же перестал спать со мной. Это тебе известно?

— Я думал, ты будешь только рада.

— Почему же я должна радоваться?

— Мне казалось, ты не любишь этим заниматься.

— Конечно, люблю.

— Ты всегда поворачиваешься ко мне спиной.

— Не всегда.

— Тогда сегодня давай спать вместе.

— Нет. Все равно перед тобой будет она. В твоих мыслях будет она. Это слишком унизительно.

— Так чего же ты от меня хочешь?

— Перестань думать о ней.

— Не могу.

— Тогда постарайся, чтоб я этого *не замечала*. Думай о ней в Нью-Йорке. Думай на пляже. А когда ты со мной дома, — думай обо мне. И если хочешь спать *со мной*, то чтоб я чувствовала, что именно со мной. Лги мне. Соблазняй меня.

— Ты ведь моя жена. Мне нет нужды тебя соблазнять.

— *Сделай* меня своей женой. Обними. Обними *меня*.

Она прижалась к нему, но руки его висели как плети.

— Послушай, Руфь,— сказал Джерри.— Бедная Руфь. Я же с тобой. Я думал, ты будешь счастлива. Неужели ты не счастлива?

— Нет, я боюсь.

— Ты никогда ничего не боялась.

— Меня тошнит.

— В прямом смысле слова?

— Нет еще.

— Тогда как же?

— Позволь мне кое в чем тебе признаться. В ту субботу, когда ты отправился стричься, не сказав мне, и пропадал всю вторую половину дня, я то и дело смотрела в окно — отчетливо помню

каждый листик на вязе — и около половины шестого подумала: «Он ушел. Он бросил меня». И почувствовала *облегчение.*

Он, наконец, прижал ее к себе, и в слиянии их тел было тепло, но Руфь не могла полностью отдаться ему, потому что в объятиях Джерри чувствовала что-то недоброе, как в силе земного притяжения: ему доставляло удовольствие то, что она пошатнулась, что разум отказывает ей.

Она сама перестала себя понимать: грань между ее восприятием и чувствами перестала быть четкой. Сентябрь уходил в небытие: явился рабочий, отрегулировал печь, и остывающими ночами она теперь сама включалась и выключалась. Когда Руфь лежала без сна, ей не давало покоя непривычное урчание: она не была уверена, реальный ли это звук, и если да, то откуда он — то ли печь гудит внизу, то ли самолет в небе, то ли трансформаторы на столбе за окном спальни. Где-то на просторах ее жизни работал мотор — но где? Джерри и Салли — она была уверена — так сильно ранили друг друга, что ни о какой возможности примирения не могло быть и речи, но Руфь чувствовала, что судьба ткет свое полотно и события складываются в рисунок, родившийся в темных закоулках ее мозга. Мир таков, какой он в общем-то есть; чего мы ждем, то и случается; а ждем мы того, чего жаждем. Как негатив порождает отпечаток, так и Руфь породила Салли. Откуда иначе то раздражение, с каким она относится к изъянам в красоте Салли — горькой складочке в уголке рта, слишком пышным бедрам? Руфи хотелось, чтобы Салли была более безупречной, — как ей хотелось, чтобы Джерри был более решительным. Руфь, воспитанную в иной вере, раздражало то, что Джерри так радуется своей раздвоенности, как доказательству глубокой пропасти между телом и душой, благодаря которой человек только и может избегнуть забвения. Все это слишком уж отдает религиозными бреднями, фантасмагорией. Дикий зверь его страсти чересчур легко подчинился велениям разума Руфи. Он застыл на три месяца, стоило ей взять и попросить, и совсем исчез с горизонта, лишь только она замахнулась, а у Чарли слезы блеснули в глазах. Слишком все получилось легко, слишком странно. Наверно, думала Руфь, надо бы поднапрячься и теперь, когда ночи стали равны дням, усилием воли разрядить напряжение лета. Она — пленница: пропасть между ее рассудком и миром, через которую был перекинут мостик из тысячи догадок, сомкнулась и она оказалась пленницей, как белый единорог на гобелене.

В последнюю пятницу месяца Коллинзы уговорили их поехать в Кэннонпорт на вечер греческих плясок. Старый Кэннонпорт, прижатый к морю, со своими скрипучими причалами и рыдающими чайками. Пляски были устроены в подвальном помещении местного зала. Ветеранов войны, большого дощатого строения с квадратной башней, стоявшего на откосе среди четырехэтажных, крытых черепицей, жилых домов. Здесь, в нижней части улицы, соленая вода оставила на домах черные потеки. Матовые стекла в

окнах зала молочно светились — за ними находился гулкий, как пещера, подвал: грохот музыки проникал наружу даже сквозь стены. Джерри, Руфь, Дэвид и Линда спустились по бетонным ступенькам бокового входа; какой-то тип, сверкавший столь безупречной лысиной, что просматривались швы на черепе, продал им малиновые билеты. Внутри было светло, жарко, шумно и людно; люди стояли, сидели, пили пиво, плясали, извиваясь длинной, крепко сбитой цепочкой, — лица блестели, нелепые, сумасшедшие. Были тут и Матиасы. Они приехали с Хорнунгами.

— Я говорила им про эти танцы, но не думала, что они поедут, — поспешила сообщить Руфи Линда, когда Ричард направился к ним, а следом и Салли.

Ричард казался пьяным и пришибленным; Руфь сразу увидела, что он завел или собирается завести роман с Джейнет Хорнунг. На Салли было оранжевое платье — цвет этот шел ей и одновременно придавал трагический вид. У Руфи заломило виски. Ричард взял ее за руку, и они присоединились к танцующим, разорвав цепь, — она потащила их за собой, вовлекла в движущуюся людскую массу.

Во время танца в поле зрения Руфи то и дело появлялось оранжевое платье Салли. Порою они оказывались друг против друга, следуя спиралям цепи; лицо Салли было опущено, она танцевала как бы вне связи с окружающими, словно вставленная в общий фриз, тогда как Руфь чувствовала себя накрепко припаянной к своим соседям, которые тянули ее, непокорную, неуклюжую. Чьи-то руки спаривались с ее руками. Пухлые пальцы Ричарда время от времени перебирали ее руку, чтобы она не выскользнула. Какой-то незнакомец, поросший густой шерстью, которая пучками торчала из рукавов его пиджака, подпрыгивая, дергаясь, схватил ее за запястье и сверкнул многозначительной улыбкой, обнажившей сломанные зубы. У одних руки были крепкие, как коржики, у других — пухлые, как тесто. Несколько мгновений Руфь плясала рядом с приземистой греческой матроной в черном — крючковатый нос, набухшие веки и рука, словно распластанная птичка, трепещущая невероятной, нечеловечески лихорадочной дрожью. Танец кончился, Руфь выпустила руку женщины и в изумлении уставилась на заурядное, усталое и тупое лицо. С таким же изумлением смотрела она и на Салли и думала, что та, наверное, часто встречалась с Джерри в этом платье и Джерри, наверное, часто снимал его, ложась с ней в постель. Бузуки и кларнет разразились новой мелодией — голова у Руфи заболела с удвоенной силой. Подошел Джерри и взял ее за руку. Он так мягко держал ее, что ее рука то и дело выскальзывала; она пыталась пальцами удержать его руку, ногами поймать нужный ритм. Притоп левой, левую за правую, шаг назад, вот так, ноги вместе, стоять на пятках один такт. Притоп. Оранжевое мелькнуло справа, а несколько мгновений спустя — слева. Рука Джерри соскользнула с ее руки, осклабившийся Ричард прошел мимо в танце, темп возрастал, Джерри снова взял ее руку. Музыка оборвалась. Вместо потолка над головой перепле-

тались ядовито-зеленые трубы, и они вдруг стали опускаться на Руфь.

Джерри сказал ей:

— Давай пошевеливайся. Ты пляшешь так, будто у тебя в туфле камень.

— У меня голова болит.

— Слишком много думаешь. Я сейчас принесу тебе выпить.

Но от бурбона у Руфи только закружилась голова, и теперь, танцевала она или стояла, зал вращался вокруг нее, и яркая фигура Салли все мелькала, словно дразня бьющей через край энергией, врезалась в поле ее зрения то слева, то справа, как бы стачивая ее, делая все меньше и меньше, пока она не превратилась в комок, комок боли. Яркий свет вызывал у нее тошноту. Шеф оркестра вдруг встал с электрогитарой, гикнул, и начался твист. Грохот, казалось Руфи, плотной массой заполнил зал — оркестр непрерывно нагнетал его, словно стремился заполнить все пространство вплоть до самых дальних углов, вплоть до пыльных таинственных глубин между трубами и потолками. Джерри повел Салли к танцующим. Руфь не удивилась. Она заметила, как все взгляды сразу приковались к ним, пока они выходили на середину зала; эта пара бросалась в глаза: оба высокие, молодые, даже юные, слегка забавные и настоятельно требующие к себе внимания — так актеры требуют внимания публики. Они встали друг к другу лицом, на расстоянии, и, расслабив угловатое тело, начали танец — зрители окружили их кольцом и скрыли от глаз Руфи. Дэвид Коллинз подошел было к ней, взглянул на ее лицо и тут же отошел: она почувствовала, что он испугался. Она была точно заразная, смердящая, проклятая, и еще эта боль в лобных пазухах, совсем как родовая — вот-вот родишь чудовище, такое же, как сама. Когда твист, наконец, прекратился, она подошла к Джерри и сказала:

— Пожалуйста, отвези меня домой. Мне все это омерзительно.

На его возбужденном лице глаза округлились от удивления.

— *Прошу тебя.*

Джерри поверх ее головы посмотрел на Салли и спросил:

— Вы подвезете Коллинзов? Нам, видимо, придется уехать.

— Конечно. Мне очень жаль, Руфь, что ты плохо себя чувствуешь. — Голос Салли звучал изысканнейше, она безукоризненно изящно растягивала слова.

Руфь обернулась к ней.

— Ты мне солгала, — сказала она, стараясь отчетливо произносить слова, несмотря на тошноту и ужас.

Мускулы на лице Салли напряглись и глаза потемнели, так что глазницы стали глубокими-глубокими. Но она лишь повторила:

— Мне очень жаль, Руфь, — словно ничего и не слышала.

Ничего. Сон продолжался своей чередой, но только уже без нее. Джерри в ярости гнал в Гринвуд машину — они оба могли разбиться, а Руфь не смела и голос подать, чтобы он не повернул назад. Однако опасность спаяла их, и от этого каждому было лег-

че: Джерри бросал вызов смерти, а у Руфи от скорости прошла голова. Она чувствовала, как боль слетает с нее комьями и искрами, точно снег, когда его смахиваешь зимой с крыши машины. Они не разговаривали — слышалось лишь астматически шумное дыхание Джерри. Домой они приехали в полночь; потом он еще отвозил миссис О. Руфь надела ночную рубашку, махровый халат и подкрепила силы стаканом молока. Он вошел, жестикулируя, через кухонную дверь. На мокрых туфлях налипла палая листва.

— Солнышко, — сказал он, беспомощно опустив руки, — я должен с тобой расстаться. Она такое чудо. Я не могу отказаться от нее.

— Не надо этих аффектированных жестов, и говори тише. Я ведь слышу тебя.

Он заговорил судорожными рывками, шагая взад и вперед по линолеуму:

— Сегодня вечером я это понял — очень четко. Осенило. Я ждал этого, и вот оно пришло. Я должен уйти к ней. Должен уйти к этому оранжевому платью — погрузиться в него и исчезнуть. И пусть это убьет меня, пусть это убьет тебя. Меня ничто не удержит — ни дети, ни деньги, ни наши родители, ни Ричард — ничто. Это всего лишь факты жизни, скверные факты. Упрямые факты. Нужна вера. А у меня не хватало веры — как ни странно, веры в тебя. Я не считал тебя личностью, существующей отдельно от меня. А ты — личность. Господи, Руфь, извини меня, извини. Все будет куда страшнее — я знаю, я даже представить себе не могу, как будет страшно. Но я *убежден*. Абсолютно убежден. А это такое облегчение, когда ты убежден. И я очень благодарен. Я тупица и трус, но я рад. Радуйся и ты тоже. Хорошо? А то я ведь просто сжирал тебя, доводил до смерти.

Пальцы у нее стали вдруг огромные, растеклись, как звук гонга, по холодному стеклу стакана.

— Хорошо, — сказала Руфь. — Я ведь обещала помочь тебе, если ты решишь. Как же мы это осуществим? Когда ты скажешь детям?

— Не заставляй меня пока говорить детям. Просто разреши сегодня не ночевать здесь. Не уговаривай меня. Наверное, ты могла бы меня уговорить, но не надо. Дай мне куда-нибудь уехать. К Коллинзам. В мотель.

— А что я скажу им утром? Детям?

— Скажи им правду. Скажи, что я куда-нибудь уехал. Скажи, что я вернусь домой днем и выкупаю их, и уложу. Вечером я не уйду из дома, пока они не заснут.

— Она, очевидно, будет с тобой.

— Нет. Решительно нет. Я не хочу, чтоб она знала. Не хочу, чтоб она знала, пока это не окончательно: она только разволнуется.

— Ты хочешь сказать, что это не окончательно?

Он молчал, глядя широко раскрытыми глазами. Потом сказал:

— Я должен посмотреть, как ты и дети перенесете это.

— Мы перенесем все, что предстоит перенести. Ведь ты этого от нас хочешь?

— Только не надо ожесточаться. Ты же обещала помочь. Подумай о моем достоинстве и дай мне попробовать.

Руфь передернула плечами:

— Пробуй все, что хочешь. — Когда она поднесла молоко к губам, от него пахнуло кислятиной. Она увидела мелкие створоженные частички на поверхности и не смогла пить. — А что, если нас куда-нибудь пригласят — что мне говорить?

— Пока — соглашайся. Я поеду с тобой.

— Значит, просто не будешь со мною спать — разница только в этом?

— Разве это не главное? Во всяком случае, это — начало. И правильное. Что бы дальше ни произошло, это — правильно.

— О-о, какие любопытные вещи ты говоришь.

— Солнышко, синяя птица улетела. Мы слишком молоды, чтобы сидеть до конца жизни и ждать, не влетит ли она назад в окно. А она не влетит. Она никогда не возвращается.

Он снова принялся жестикулировать — неприятно-театрально, и Руфь обозлило самодовольство, промелькнувшее на его лице, когда он нашел этот образ никогда не возвращающейся синей птицы: экран его лица словно ожил. Она встала и подошла к раковине.

Джерри жалобно крикнул ей в спину:

— Только не начни пить!

Она вылила молоко в раковину, сполоснула стакан и, перевернув, поставила на сушилку. Затем проверила, не осталось ли крошек на хлебной доске, которые могли бы привлечь муравьев, и, обнаружив несколько крошек у тостера, смахнула их рукой в ладонь и выбросила в раковину вслед за вылитым молоком. Мокрой тряпкой она вытерла мазок джема возле тостера. Выключила свет над доской и сказала:

— Пить я не собираюсь. Я ложусь спать.

Чтобы выйти на лестницу, ей надо было пройти мимо Джерри.

— Как твоя голова? — спросил он.

— Не дотрагивайся до меня, — сказала она. — Голова у меня болит меньше, но если ты дотронешься, я закричу или заплачу — не знаю, что из двух. Я ложусь: уже поздно. Ты будешь собирать вещи или что?

— Неужели нам больше нечего друг другу сказать? Мне кажется — есть.

— Позже наговоримся. Времени у на предостаточно. Не надо меня подгонять.

Она почистила зубы в детской ванной — подальше от Джерри. Чистила она зубы щеткой Чарли, которая оказалась жестокой и колючей — видимо, он редко ее употреблял: надо будет сказать ему об этом. Прямо в халате она легла в постель. Отчаявшаяся, продрогшая, она сунула обе подушки себе под голову и, устроив нору из одеял, свернулась калачиком. Сомкнув веки, она погрузи-

лась в багровую пустоту, прорезанную странными вспышками, и ощущение собственных волос на щеке и губах казалось ей касанием чужой руки. Она вслушивалась в отдаленное щелканье замков и скрежет, доносившийся из комнаты, где упаковывал вещи Джерри. Шаги его приблизились, дверь открылась, и проникший в спальню свет сделал багровую пустоту под ее веками прозрачной, кроваво-розовой — Джерри шарил в ящике у ее изголовья.

— Мне, пожалуй, надо взять ингалятор, — сказал он.

Голос его звучал пронзительно, дыхание было неглубоким, натужным.

— Если все так правильно, — спросила она, — почему же у тебя начался приступ?

— Астма на меня нападает, — сказал он, — от перегрузок и сырости, а также в определенное время года. Это не имеет отношения ни к тебе, ни к Салли, ни к богу, ни к тому, что правильно или неправильно. — Он нагнулся, отвел прядь волос и поцеловал ее в щеку. — Подождать мне, пока ты заснешь?

— Нет. Все будет в порядке. Ничего со мной не случится. Уезжай.

Невероятно, но он подчинился. Она вслушивалась в звуки его шагов — он обходил дом, заглядывать в комнаты детей, подводя итог их совместной жизни, решительно открывая и закрывая двери; потом неровные шаги его, затихая, послышались на лестнице — должно быть, он нес что-то тяжелое и припадал на одну ногу. Входная дверь поддалась и открылась. Что-то осторожно бухнуло на крыльце. Там он, видимо, заколебался: она ждала, что дверь сейчас снова откроется и впустит его, его шаги послышались на лестнице — только теперь он будет подниматься, знакомо стуча каблуками. Но она неверно истолковала тишину. Он просто бесшумно сошел с крыльца. Дверца машины открылась и захлопнулась. Чиркнул стартер, мотор заревел у нее в голове — все пронзительнее по мере того, как убывал звук. Он уехал.

Постель казалась огромной. Руфь слегка распрямилась на белизне. Она ехала на лыжах, медленно скользя наискось по широкому, почти голому и обледенелому склону, старательно накренившись вперед, делая упор на нижнюю лыжу. Из-под снежного покрова показалась пролысина бурой травы, но Руфь легко пролетела через нее и воткнула палку в снег, чтобы развернуться. Она хорошо провела разворот — хотя и не на большой скорости — и плавно пошла вверх, возможно, потому что на пятках ее лыж не налипло пушистого снега.

Проснувшись в субботу утром, она обнаружила у себя в постели Джоффри. В своем бездумном эгоизме маленькое тельце заняло всю середину постели, оттеснив ее на край; при Джерри, поскольку он тяжелее, посередине оказывалась она. Личико Джоффри, расслабленное и спокойное, было словно вырезано из плотного светлого мрамора, в который свет проникает лишь на миллиметр. Серьезность этого лица, неподдельное совершенство

очертаний — брови, веки, пухлые завитки ноздрей и ушей — испугали ее, словно ночью ей положили в кровать украденный шедевр. Она постаралась подавить панический страх.

В спальню вошла Джоанна, ворча и протирая глаза, и спросила, где папа. «Папа рано встал: у него срочная работа». Дети восприняли ее объяснения без тени сомнения и без особого интереса. Руфь встала, и краны в ванной показались ей неестественно блестящими, словно елочные украшения. На кухне она снова посмотрела на календарь и проверила свои подсчеты: задержка была уже на три дня. Накормив детей завтраком, она взяла пылесос и отправилась вниз. Около десяти позвонил Джерри.

— Хорошо спала?

— Неплохо. Джоффри залез ко мне в постель, а я даже не проснулась.

— Вот видишь! Я же говорил, что тебе понравится, когда вся постель будет в твоем распоряжении.

Но постель как раз *не была* в ее распоряжении — она ведь только что сказала ему об этом. Решив все же не спорить, она спросила:

— А как *ты* спал?

— Ужасно. В мотеле возле самой моей двери всю ночь включалась и выключалась машина, готовящая лед. Женщина-портье никак не могла поверить, что я — один. Я думал о предстоящей ночи — так вот: у родителей Неда Хорнунга есть коттедж в Джекобс-Пойнте, а они уже вернулись в город, так что, может быть, я смогу пожить там. Я ему позвоню. — Он говорил быстро, все это волновало, забавляло его — еще бы, такое приключение. Она закрыла глаза. Наконец, он вспомнил и спросил: — А дети расстроились?

— Нет, они не восприняли это всерьез. Пока что.

— Дивно. Ей-богу, все до того нереально. Я заеду домой около четырех.

— Так поздно? А день такой чудесный — можно бы съездить погулять по пляжу.

— Руфь, прошу тебя, не надо. Мне бы тоже очень хотелось, но давай попробуем пожить так, словно мы расстались. Может быть, Чарли с Джоанной сходят на футбол в школу.

— Как-то нелепо начинать новую жизнь с конца недели. Может, вернешься домой на сегодня и на воскресенье и приступишь к новому распорядку в понедельник?

— Черт возьми, женщина, не могу я. *Не могу.* У меня не хватит духу снова уйти. Это было ужасно — спускаться по лестнице с чемоданом. А когда мы утрясем все с детьми? — И, не дожидаясь ответа, Джерри добавил: — Ведь надо же мне что-то сказать и Хорнунгам, когда я буду просить насчет коттеджа.

Она молчала, потрясенная тем, как расширяются трещины в повседневной почве. И у Джерри такой радостный голос.

День выдался ясный, погожий, небо было светлое, — день, словно созданный для того, чтобы провести его на воздухе, — но собирать палые листья было еще рано. Руфь принялась подстри-

гать лужайку — босиком, в рабочих брюках и серой трикотажной нижней рубашке Джерри; земля под ее ногами была спекшаяся, затвердевшая, чужая. Лужайку можно было бы и не подстригать, но Руфи хотелось чем-то занять себя. Быть может, от работы у нее прекратится задержка. К тому же теперь ей придется делать все это самой. Но уж очень было грустно: рубашка слишком живо напомнила о Джерри, а чахлый подорожник и цикорий, продолжавшие расти, хотя расти им уже не следовало, напоминали ее самое. Отец не раз говорил с кафедры, что человек — как трава, которую бросают в печь, и при этом сам не подозревал, насколько это верно, — он, который был так уверен, что все его любят, да его и любили.

Держась за ручку косилки, Руфь бесплотной тенью висела над землей — землей с ее переплетением крошечных жизней и смертей, что издали кажется лужайкой, а вблизи — чем-то невыносимо путанным и жестоким. Смотри на вещи реально. Мы стареем — и нас выбрасывают на свалку. Мы слабеем — и нас съедают. Голоса детей, устроивших потасовку с Кантинелли, терзали ее слух. Чарли налетел на Джоффри, а тот, не понимая правил игры, изо всей силы прижимал к себе футбольный мяч и не выпускал, точно это была кукла или ценный приз, который он получил; Джоффри тяжело упал и заплакал. Руфь бросилась к ним. Ключицу он на сей раз не сломал, тем не менее Руфь наотмашь ударила Чарли, который вызывающе смотрел на нее, подняв кверху лицо, с этакой ехидной, Джерриной полуулыбочкой. Он разразился такими горючими слезами, что Джоффри от удивления перестал плакать, потом снова заревел — уже из сочувствия к брату. «Он же не нарочно!» — всхлипывал Джоффри. Чувствуя, как подступает тошнота, потрясенная собственным поведением, Руфь повернулась и кинулась прочь от детей — в дом. На кухне она плеснула себе в стакан немного вермута. Со стаканом в руке она прошлась по комнатами нижнего этажа, глядя на мебель, которую они с Джерри накупили за годы совместной жизни, с таким удивлением, словно эти заурядные вещи находились в гроте и были причудливыми творениями эрозии, придавшей им определенные формы. Пришла почта — газеты и письма упали на пол в передней и так и остались там лежать. Джерри непременно бы подобрал всю груду. Если она сейчас наклонится, то потеряет сознание? Руфь вслушалась: чей-то голос; может, это она сама молится? Зазвонил телефон — резко, оглушительно. Это был Джерри.

— Привет. Кажется, у меня добрые вести. — Но голос у него был далекий, испуганный, в нем звучала бравада беглеца, заключенного в телефонной будке. — Хорнунги в восторге от того, что я воспользуюсь коттеджем их родителей. Насколько я понял, их дважды обкрадывали прошлой осенью, и они даже рады, что я там поселюсь. Они дали мне ключи вместе с кофе и выражением сочувствия. Я им сказал, что это только эксперимент. В коттедже нет плиты, но есть электрическая плитка, и телефон пока еще не отключили. Хорнунги говорят, что коттедж — барахло, только вид

хорош. А я сказал, что я как раз большой любитель видов. Запишешь номер телефона?

Руфь сгребла почту с пола и записала номер на обороте конверта с каким-то счетом. Она спросила:

— Ты не мог бы приехать к ленчу?

— Я же сказал: вернусь к четырем. Почему ты не воспринимаешь всерьез того, что я говорю?

Она сказала:

— Я хочу погулять по пляжу, а дети не хотят идти на футбол. Ты нам нужен.

— Но мы же *расстались*, черт побери!

— Мне надо кое-что тебе сказать.

— Что?

— Я не могу сказать этого по телефону.

— Почему? Что-нибудь плохое?

— Теперь — плохое. Когда-то, наверное, было бы хорошим. Вообще — ничего определенного. Скорее — сигнал тревоги.

— Что же это такое?

— Пусти в ход воображение.

— Это насчет Салли?

— *Нет*. Ради всего святого. У тебя стал такой нудный одноколейный ум, Джерри. Подумай для разнообразия о *нас*.

— Я скоро приеду.

Она ждала у окна. Ее вяз, ее священный вяз, затоплял дорогу золотыми листьями, возвращаясь к наготе, которая выявляла все его арабески и ветки; он уводил ее взгляд вверх и вглубь, внутрь дома, к некоей неделимой надежде. Старый коричневый «меркурий» Джерри, с опущенным, словно в знак избавления, потрепанным верхом, свернул, давя гравий, на ведущую к дому дорожку; в тот же момент «мерседес» Ричарда медленно проехал мимо и покатил дальше. Джерри вошел с усмешечкой.

— Этот сукин сын непременно остановился бы, если бы я не завернул к дому. И как это он так быстро все учуял?

Руфь кинулась к нему в объятия прямо в передней. Она была возбуждена, игриво настроена. Хоть он и качнулся назад и обнял ее с опаской, ему это явно польстило.

— Что, детка? Неужели ты так быстро без меня соскучилась? — Он погладил ее по спине, по своей же рубашке.

— Отвези меня на пляж, — попросила она. — Отвези всех нас на пляж.

Залив у Лонг-Айленда был такого синего цвета, какого никогда не добьешся на полотне, цвета столь интенсивного, что на него ушла бы вся краска, тюбик за тюбиком, — синее копировальной бумаги и ярче белого титаниума. Высокие осенние приливы прибили всякий мусор к самым дюнам; массивная килевая балка лежала, выброшенная бурей, и под ее прикрытием здесь разводили костры, оставившие черные подпалины. Дети умчались вперед, а еще дальше, за ними, широкими кругами носился спущенный с поводка пес, и лай его с большим опозданием долетел до их ушей. Вода холодом сковала лодыжки Руфи, и она вздрогнула, словно от

счастья. Она прильнула к Джерри, взяла его под руку и сказала ему, глядя, как подпрыгивают головки детей, пересекая круги, оставленные собакой, что у нее задержка на три или четыре дня, но пусть он не волнуется.

Он спросил почему.

Она сказала, что сделает аборт.

Он закрыл глаза и на ходу повернул лицо к солнцу, хотя солнце было уже слишком низкое и не давало загара. Он сказал, что это мерзко.

Она согласилась, но ведь из стоящих перед ней альтернатив эта — наименее мерзкая. Она считает, что нельзя производить на свет ребенка, у которого нет отца.

Он указал на детей, плясавших на просторе, точно солнечные крапинки, и сказал, что это все равно, что убить одного из них. Кого она выберет — Джоанну, Чарли или Джоффри?

Руфь сказала: — «Глупости, вовсе это не так: ведь это все равно что убить рыбу, даже меньше». А силы моря, словно внося свою лепту в их беседу, выбрасывали им под ноги крошечные серебряные тельца — рыбок, попадавших в водоворот прилива. Руфь вслух вспомнила о выкидыше, который был у нее шесть лет тому назад; снова рассказала, как держала зародыш в руках, а потом спустила в туалет, и ей нисколько не было страшно.

— Но, — сказал он, — то произошло по воле всевышнего. А теперь это произойдет по их воле.

— Конечно, — сказала она, — и нетерпимость ее отца к предрассудкам проявилась в стремительности, с какой она это произнесла: конечно, это не одно и то же. Но она знает, что может и хочет на это пойти. Хочет сделать ему такой подарок. Если надо, она полетит в Швейцарию, в Японию.

Он же винил во всем себя: зачем он продолжал спать с нею, после того как разлюбил — или ему казалось, что разлюбил ее.

Она возразила: «Это неестественно — жить вместе, а спать врозь».

Он с нею не согласился. Но его несогласие — Руфь это чувствовала — главным образом объяснялось стремлением снять с себя моральную ответственность за аборт. Интуиция подсказывала Руфи, что теперь Джерри перейдет к преувеличениям, к пародии. Он вдруг остановился и, размахивая руками, объявил:

— Какой же это подарок — убить моего ребенка, чтоб потом, когда я умру, эта рыба таращилась на меня в чистилище.

— Ах, Джерри, — вздохнула Руфь. — Возможно, ничего и не потребуется.

— Три дня — большой срок, — сказал он. — Мир был наполовину сотворен за три дня. — И он обвел широким жестом сияющий мир вокруг.

— Ничего не известно, — сказала Руфь. — У женщин всяко бывает. Я чувствую себя так странно, все меня раздражает, как обычно перед началом.

— Ты просто чувствуешь себя, как беременная, — сказал он и, вдруг остановившись, обхватил ее за бедра и приподнял, так

что мокрые ноги ее заболтались в воздухе. — Солнышко, — сказал он. — У тебя будет маленький ребеночек!

— *Опусти меня*, — сказала она; он опустил, и она невольно рассмеялась, глядя на его облупленный нос, его улыбку, полную страха. Смех будто снял сдерживающие оковы: она расплакалась, повернулась и зашагала назад, к дому, а он окликнул детей и последовал за нею.

Джерри докосил за нее лужайку и рано поужинал вместе с ними. Пока Руфь мыла посуду, он приготовил детям ванну и пижамы и почитал на ночь книжку. Когда Джоанна улеглась в постель, часы показывали уже начало девятого, и Джерри явно заторопился. Возможно, у него была заранее назначена встреча с Салли: Руфь сомневалась, что они порвали всякую связь, как он утверждал. Она попыталась его удержать, но он сказал — нет, надо мужаться. Он собрал разные мелочи, которые забыл взять накануне, прихватил два одеяла, потому что в коттедже могло быть холодно, и, словно навьюченный бродяга, пошатываясь, вышел за дверь. Не успел он уехать, как Руфи захотелось позвонить ему, сказать, что все это — нелепица. Бывают такие дурацкие несчастные случаи: изменила курс шалая стрела, отлетел в сторону осколок металла — и человек потерял глаз; отклонись они на полдюйма — и никакой беды не случилось бы.

Руфь сдерживалась и не звонила Джерри, хотя номер его телефона смотрел на нее с обратной стороны невскрытого конверта на телефонном столике. Она покружила по дому, подобрала игрушки, вылила остатки вермута в кухонную раковину, приняла нестерпимо горячую ванну и полистала «Дети разведенных». Потом захлопнула книжку. Вяз стоял перед ее глазами огромной подушкой тени. Она закрыла глаза. Обрывки каких-то глупостей, фотомонтаж из снов замелькал во тьме за ее закрытыми веками, — наконец раздался звонок. Голос у Джерри был хриплый, несчастный. Он заранее подготовил свою речь.

— Я не хочу, чтобы ты делала аборт. Это было бы дурно. А в нашей жизни надо крепко держаться всего, что явно хорошо или явно дурно: слишком много ведь такого, что не поймешь. Если ты беременна, я возвращаюсь и остаюсь твоим мужем, и мы с Салли забудем друг друга.

— Не так надо эту проблему решать.

— Я знаю, но прошу тебя: уступи. Я все ждал божьего слова, и вот оно. Решительно выбрось аборт из головы.

— Это очень хорошо и великодушно с твоей стороны, Джерри, но я все равно сделаю аборт. Даже если ты порвешь с этой женщиной, мы не можем радоваться появлению еще одного ребенка.

— Ну, это мы обсудим потом. Я просто хотел, чтобы ты знала. Спокойной ночи. Спи крепко. Ты очень мужественная.

Ему стало явно легче от ее твердости. Держа омертвевшую трубку в руке, она поняла: ему стало легче, потому что появилась возможность выбора. Если она беременна, он не расстанется с нею; если нет, то расстанется.

В воскресенье утром, чуть свет, задолго до того, как просну-

лись дети, а колокольный звон католической церкви на другом конце города стал сзывать верующих к первой мессе, Руфь обнаружила, что нездорова. Она стояла в ванной, смотрела на кусок туалетной бумаги, который держала в руке, и у нее возникло вполне отчетливое чувство, что и бумага, и кровь на ней, и утренний свет, усиленный кафелем ванной, и ее собственная, с набухшими венами, рука — все это одно целое. За ночь фотография проявилась. Ее жизнь за последнее время, ее борьба и смятенье — все свелось вот к этому, к красной кляксе на белом, к обычному пятну. Послание ее тела неизвестно кому, недвусмысленное объявление о том, что она пуста. Говоря языком современных абстракций, в руке у нее был не иероглиф и не символ, нет, — это была она сама, то, к чему все свелось; бесспорно — она сама. Руфь спустила воду.

IV. КАК РЕАГИРОВАЛ РИЧАРД

— Алло?

Голос принадлежал Ричарду.

Джерри уже стоял у двери. Шел десятый час, и ему пора было возвращаться в коттедж — на третью ночевку. Внезапно зазвонил телефон — не подумав, он снял трубку. И сейчас держал в руке низкий, гулкий, напыщенный, отвратительный голос Ричарда. Он произнес в ответ:

— Алло.

— Джерри, — сказал Ричард, — мне кажется, нам вчетвером неплохо бы поговорить.

— О чем?

— Я думаю, ты знаешь о чем.

— Знаю? — Голос звучал у него в ухе, и никуда от этого не деться, не повернуть поток вспять и не перекрыть его, этот поток, который, казалось, уносил куда-то — одно за другим — все его опустившиеся внутренности. У Джерри почва ушла из-под ног.

Ричард сказал:

— Ты именно такую хочешь вести игру, Джерри?

— Какую игру?

— Прекрати, давай все-таки будем взрослыми. Салли сказала мне, что вы с ней вот уже полгода любовники.

Джерри молчал и в образовавшейся воронке тишины снова и снова спрашивал себя, можно ли сказать про женщину — «любовник».

— Так что же? — спросил Ричард. — Она врет?

Это была вилка. Когда они только переехали сюда, Джерри с Ричардом играли в шахматы, пока Джерри не стал уклоняться. Уклонялся же он не потому, что они с Ричардом были неравными игроками, — как ни странно, их силы были равны, — а потому, что сам себя презирал за малодушный страх перед проигрышем. Джерри не получал удовольствия от игры, если проигрывал; у него даже не возникало чувства товарищества, как в покере, или приятного ощущения, что он поупражнял свой ум, — в памяти оставался лишь затхлый, прокуренный воздух, долгие часы бдения и уверенность, что его перехитрили. При вилке конем кто-то всегда теряет фигуру.

Руфь, бледная от перенапряжения, стоя у камина, делала ему знаки и одними губами беззвучно спрашивала: «Кто это?»

Джерри вздохнул — ему сразу стало легче: ничего тут не поделаешь, будь, как будет, будь все, как будет

— Нет, — сказал он Ричарду. — Она не врет.

Теперь Руфь поняла, кто это. Краешком глаза Джерри видел, как она замерла, точно ее сковало льдом.

— Прекрасно, — сказал Ричард. — Это уже шаг.

Джерри рассмеялся.

— В каком направлении?

— Вот именно, — сказал Ричард с комическим удовлетворением, видимо, записывая себе очко. — В самом деле — в каком? В том направлении, куда ты хочешь нас повести, приятель Джерри. Мы с Салли очень интересуемся — куда.

— Как на это посмотреть, — сказал Джерри уклончиво. Он чувствовал себя преданным. Салли внушила ему, что с Ричардом, в общем-то, можно не считаться. А с ним приходилось считаться, и даже очень: теперь, когда он узнал, все изменилось. Салли соврала.

— А вы не могли бы оба к нам приехать? — спрашивал тем временем Ричард. Казалось, вернулись былые дни — до того, как Конанты стали отказываться, когда Ричард или Салли неожиданно звонили и приглашали их пойти в пятницу вечером в кино или в воскресенье вместе выпить.

И Джерри в тоне тех былых дней ответил:

— Слишком поздно, мы не сумеем никого позвать, чтобы посидеть с детьми. — Потом вспомнил про создавшееся положение, о котором, так отчаянно стремился забыть, и спросил: — А может, вы приедете? У вас же есть Джози.

— Сегодня у Джози свободный вечер. Разве ты не знаешь нашего распорядка?

— В общем-то, не слишком хорошо. А как насчет завтрашнего вечера? Не лучше ли переждать, чтоб собраться с мыслями?

— Мне нечего собираться с мыслями, — мягко сказал Ричард. Казалось, он читал по готовому сценарию, тогда как Джерри импровизировал. — Мое дело во всем этом — сторона. Никто со мной не советовался, никто не интересовался моим мнением.

— Да как же мы могли? И что бы мы тебе сказали?

Голос Ричарда зазвучал вновь, вкрадчивый, какой-то полужидкий, словно выдавливаемый из тюбика.

— Понятия не имею, никакого понятия не имею. Я хочу, чтобы ты сказал все, что *ты* хочешь сказать, Джерри. По-моему, ситуация-то аховая.

— Ничего подобного. — Джерри старался нащупать опору, удержаться, не пасть ниц; хотелось же ему распластаться, блеять, умолять, забраться с Руфью в постель, натянуть на голову одеяло и хихикать.

Но вот терпение у Ричарда лопнуло, и от этого, а также от сознания своей силы в его мягком голосе образовались сгустки. Он спросил:

— Почему ты не спрашиваешь, как Салли? Насколько я понимаю, она говорит тебе, что я ее третирую. Тебе не кажется, что если бы я действительно так себя вел, сейчас мое поведение было бы оправданно?

А ведь под открытым небом лучше, правда? Больше кислорода.

А теперь отпусти меня!

— Так как же она?

Ричард сказал:

— В неприкосновенности. Вы приедете или нет?

— Подожди. Я поговорю с Руфью — Руфи он сказал: — Случилось. Ричард знает.

— Откуда? — Почти беззвучно.

— Видимо, Салли сказала ему. Мы не могли бы раздобыть миссис О.?

Руфь сказала:

— Ужасно не люблю ее беспокоить. Дай я поговорю с Ричардом.

Джерри передал ей трубку, и она сказала каким-то застенчивым и удивительно ласковым тоном:

— Привет. Это я. Та, другая. — Джерри показалось, что, слушая Ричарда, она сдерживает улыбку. — Извини, — сказала она, — я хотела, несколько раз уже совсем было собралась, но я не знала, как ты себя поведешь. Я боялась, что ты вынудишь их сбежать... — Она снова послушала, и сначала шея, потом щеки у нее зарделись. — ...*Я вполне* реалистична. — Руфь рассмеялась и в ответ на какой-то вопрос Ричарда сказала: — Вермут и бурбон. Тебя — тоже. — И с улыбкой повесила трубку.

— Что он сказал?

— Он сказал: «Детка, тебе надо было все мне рассказать. Я же-большой мальчик».

— Он действительно ни о чем не догадывался? Фантастика.

— Он подозревал, что у нее, возможно, кто-то есть, но никак не думал, что ты. Разве что, сказал, однажды на волейболе... вы с ней обменялись этаким взглядом — он заметил. Но если уж ты непременно должен знать не слишком лестную правду: он не считал тебя способным на это.

— Вот сукин сын. Почему же я на это не способен?

— И еще он сказал, что я вела себя неверно. Я должна была сказать тебе — убирайся: он уверен, как он выразился, что ты тут же поджал бы хвост.

— А еще что он сказал?

— Говорит, она сказала ему, что вы с ней спали все лето и никакого перерыва в мае не было. Это правда?

— Более или менее. Пожалуй.

— И часто?

— Не знаю. Раз в неделю. Реже. После ее поездки во Флориду

я виделся с ней всего два раза. — Лицо у него пылало, будто его вжимали и вжимали в щелку.

— Значит, тот уговор, — сказала Руфь, — наш уговор на пляже — ты вовсе и не собирался выполнять? Ты меня просто обманул?

Мы плохо поступаем, верно?

Да. Мы правы, но мы поступаем плохо.

Не смей соглашаться со мной, Джерри. Из-за тебя я чувствую себя такой грешницей.

— Конечно, я собирался его выполнять. Но через неделю мне это показалось глупым. Как бы я мог сделать выбор между вами, если бы не видел ее? Не плачь. Теперь Ричард все знает. Ты уже не одинока.

Миссис О. пешком прошла четверть мили до их дома и появилась, с трудом переводя дух: грудь ее бурно вздымалась и опускалась под выцветшим бумажным платьем, светленьким, с наивным рисунком, точно она носила это платье еще девочкой и оно выросло и постарело вместе с ней. Она вошла вдом, принеся с собой запах осени и яблок. Конанты посадили ее перед телевизором, заверив, что все дети уже спят.

— Вы такая милая, что пришли, — сказала Руфь. — Мы постараемся вернуться до полуночи. Нас вызвали друзья — у них неприятности.

Джерри был потрясен: он понятия не имел, что Руфь умеет лгать. Но, в общем-то, это ведь была и не ложь. В машине — они взяли ее новую машину «вольво» цвета тыквы — он спросил:

— А он сказал, почему Салли раскололась?

— Нет. Он сказал только, что как начала рассказывать, так и не может остановиться. Они разговаривают с самого ужина.

— Это до того не похоже на нее — все рассказать. Но, может, оно и к лучшему.

— Что ты намерен делать?

— Не знаю. В какой-то мере это зависит от того, что будет делать Ричард. Как ты думаешь, он пристрелит меня?

— Сомневаюсь. У него в конце-концов и у самого были романы.

— А в связи с чем ты сказала ему насчет бурбона и вермута?

— Он спросил, что мы будем пить.

— Знаешь, — сказал Джерри, — ей-богу, я начинаю бояться, что я — трус. Я неуверенно говорил с ним по телефону?

— Нет. Мне даже показалось, что довольно вызывающе.

— Какая ты милая! А по-моему, я говорил неуверенно. Что-то насчет сердитых людей — совсем как в школе. Меня всегда лупили на спортивной площадке.

— У тебя тело крепче, чем у Ричарда.

— А ты откуда знаешь?

Они подъехали к дороге, ведущей к дому Матиасов, свернули на нее и стали подниматься на холм. Выхваченные фарами кусты

Матиасов выскакивали на них, как убийцы. Джерри, преодолевая неприятное ощущение в горле — совсем как позывы на рвоту, — повернулся к сидевшей рядом тени.

— Я не согласен с Ричардом, что ты неверно себя вела, — сказал он. — Ты прекрасно держалась все лето — лучше никто бы не мог. Как бы ни повернулись события, ты не виновата.

— Ты женишься на ней, да? — Она выкрикнула это так громко, словно он съехал с дороги или задавил зайца. Он остановил машину там, где дорога кончалась, у гаража. С боковой лужайки, из темноты, на них с лаем выскочил Цезарь — обнюхал Джерри и тотчас умолк. И лизнул знакомую руку. Три звезды, образующие пояс Ориона, яркие, чистые, висели над лесистым холмом. Матиасы включили свет у задней двери, но не вышли навстречу, предоставив им самим добираться по неровным плитам, мимо разросшегося винограда и выбившихся из трельяжа роз. Еще не отцветшие астры обрамляли с двух сторон гранитное крыльцо Салли — бывший мельничный жернов. Из маленького окошечка высоко в залитом луной доме раздался плач Теодоры, разбуженной лаем Цезаря. Джерри вспомнилось:

Теодора теперь всегда спит днем?
Нет, но она любит поспать. Она — как я. Ленивая.
Ты не ленивая. Ты — чудо.
Тебе просто нравится мой костюм.
Мои ребята уже непременно вломились бы в комнату.
Вы с Руфью плохо воспитываете своих детей.
Это все так говорят?
Я так говорю.
Ты слишком сурово судишь.

— Приятель Джерри! — В прихожей появился Ричард, и Джерри на всякий случай отшатнулся, но тот лишь сжал его плечи, точно хотел на ощупь проверить то, что ускользало от его понимания. Его жесткие темные волосы были взлохмачены, отчего большая голова казалась еще больше. — Милая Руфь! — Он поцеловал ей руку — фигляр с серьезным лицом в плохо освещенном холле старого колониального дома.

— Спасибо, — просто сказала она. — Как ты, Ричард?

— О, он — *отлично*, — раздался пронзительный голос невидимой Салли где-то за стенами холла. — Он уже давно не был так счастлив. Вы посмотрите на него, *посмотрите!* — И правда: когда они перешли в ярко освещенную гостиную, Джерри увидел, что Ричард, весь лоснясь от пота, словно его покрыли глазурью, то скользил, то мелкими шажками передвигался по гостиной с неестественной для него раскованностью — словно медведь на роликах.

Но взгляд Джерри тотчас притянула к себе красота Салли. Пока он не видел ее — пусть даже короткое время, — он забывал, сколь безраздельно она владеет им. Когда на волейболе, в сумятице бросков, ему удавалось мельком увидеть сквозь сетку и пыль ее

лицо, она всякий раз заново заполняла его, как будто за несколько секунд, прошедших с того момента, как он в последний раз ее видел, образ ее уже успел чуть стереться в его памяти. Она сидела сейчас очень прямо в кресле с высокой спинкой — том, что было обтянуто желтым габардином. Ноги она скрестила, так что одна голень блестела во всю длину, а тонкие руки сплела на коленях. Она казалась такой высокой в этом кресле. Джерри всегда забывал, какая она высокая, какие у нее широкие бедра, словно не мог поверить, что его духовной потребности в любви дано такое тело. Он мягко произнес:

— Привет.

Она эхом откликнулась:

— Привет! — и сложила рот в гримаску, которая ему так нравилась, с этаким чуть насмешливым и боязливым выражением — а дальше что? — будто после исповеди.

Но зачем мне это рассказывать?

Мне казалось, ты должен знать. Я хочу, чтобы ты знал меня. Если уж мы любим друг друга, я хочу, чтобы ты любил меня такую, какая я есть. Какой я была.

Сколько же их было?

Мы ведь жили врозь, Джерри. По-моему, не слишком много. Во всяком случае, я так гордилась собой — еще бы: целый месяц прожить без мужчины.

— Что мы будем пить? — спросил Ричард. На нем были грязные бежевые штаны и полосатая рубашка на пуговицах, рукава которой он закатал выше локтя, точно трудяга. Спина на рубашке потемнела от пота, — как летом, хотя оно давно кончилось. — Я-то уже выпил, — продолжал он, обращаясь главным образом к Руфи. — И даже не один стакан. У меня праздничное настроение, точно я стал отцом. Гордым отцом, у которого родилось два прелестных молодых рога. Правда, маленьким чертенятам уже исполнилось полгода, но я уезжал по делам, когда они родились, и появились они, собственно, без меня — вылезли и торчат.

— Видишь? — обратилась Салли к Джерри. — Все острит. А на меня ему плевать — считает, что все это очень забавно.

Джерри передернул плечами.

— Сегодня его вечер, — сказал он ей.

Ричард повернулся со своей странной тяжеловесной легкостью, бутыль калифорнийского сотерна болталась на ремне у него за плечом, голова, как всегда, была чуть склонена набок.

— *Благодарю*, Джерри, — сказал он. — Вот это мне нравится. Мой вечер. А ведь это и *в самом деле* мой вечер. У тебя был твой вечер, — он поклонился Руфи, — у вас двоих тоже был свой вечер — вечера. Теперь настал мой черед. У каждого — свой вечер. Смотри, Джерри. — И свободной рукой он изобразил у себя надо лбом рога. — Мой сын, рогоносец. Никто не смеется.

— Зачем ты нас вызвал? — спросила Руфь. — Ведь уже поздно.

— Руфь, — сказал он, — ты права. Ты всегда права. Мне бы очень хотелось, чтобы ты была моим другом.

— Я и есть твой друг.

— Ты бы согласилась выйти за меня замуж?

Руфь вспыхнула и отказала ему так мягко, словно предложение было сделано всерьез.

— Спасибо, — сказала она, кокетливо склонив голову в незнакомой Джерри манере, — но я не думаю, чтобы *ты* этого хотел, да и не думаю, чтоб *я* хотела. — Ричард стоял, твердо упершись ногами в пол, и моргал; бутыль подрагивала у него за плечом. — Но это приятная мысль, — добавила Руфь.

Ричард сказал:

— Я только пытаюсь понять, чего от меня ждут. Меня слишком поздно в это посвятили: извините, если я глупо себя веду.

Джерри, который всегда держался у Матиасов весело и беспардонно, спросил, указывая на бутыль:

— А мы это будем пить?

Ричард с удивлением на него посмотрел и медленно произнес:

— Нет, Джерри, это не такое уж хорошее вино, верно? Его пьют студенты во время пикников на пляже, а мы вроде бы из этого возраста вышли. Мы вроде бы слишком для таких вещей взрослые — одни больше, чем другие. Верно?

Он ждал, и Джерри вынужден был сказать:

— Верно.

— Но я *вижу* подходящее вино, а ты, приятель Джерри? Для данного повода. Белое, не так ли? Белое, как символ невинности? За вот этих двух наших целомудренных невест? У меня есть немного чилийского, но оно, пожалуй, чуточку эклектичное. Ты здесь у нас самый большой эклектик — так что ты и решай. Значит, не чилийское. Лучше бордо. Нет, после ужина не годится. Я полагаю, вы оба поели.

— Конечно, — сказала Джерри. Как и Руфь до него, он тоже счел, что его спрашивают всерьез. Ехал на казнь, а его еще угощают. Руфь в упор смотрела на него, стремясь привлечь его внимание, и пальцем перечеркнула губы, показывая, что он улыбается и что это надо прекратить.

Ричард тем временем с грохотом переставлял бутылки в своем тесно заставленном винном погребке. Он отвел под него целый чулан, оборудовал там маленькую мойку, густо застроил все полками, где громоздились бутылки. Его почерневшая от пота спина выпрямилась, и он вытащил за горлышко желтую бутыль больше кварты, с желтой этикеткой.

— Рецина! — возвестил он. — Хорошая грецкая напи-и-тока! Греки знают, как идти навстречу своей судьбе. — С другой полки он достал четыре винных бокала в форме тюльпанов, сдул с них пыль и тщательно расставил квадратом на кафельной крышке кофейного столика. Посмотрел на плоды своих трудов, переставил бокалы четыреугольником другой формы, искоса глянул на Джерри — казалось, он сейчас прыснет со смеху и одновременно ударит его по спине. Он и прыснул, но беззвучно, рука же замерла в

воздухе, так и не дотронувшись до Джерри, хотя тот весь сжался. Ричард откупорил бутылку, разлил вино по бокалам, отнес бокал жене, другой — Руфи, протянул бокал Джерри и поднял свой собственный на уровень глаз — на уровень зрячего глаза. Он внимательно разглядывал вино, проверяя, нет ли осадка, затем медленно произнес:

— Мне хотелось бы предложить тост, но поскольку вы все трое не являетесь моими друзьями, в друзьях у себя остаюсь я один. Итак, предлагаю тост за меня. За *меня*. — Он выпил, и остальные, возможно, последовали бы его примеру, но он опустил бокал прежде, чем они успели поднести свои бокалы к губам. — Никто не пьет, — сказал он. — До чего же невежливо. До чего невоспитанно. Можно еще попробовать? Предложу другой тост. Дайте подумать. За счастье? Не будем дурака валять. За королеву? Это кто такая? Ага. У нас же есть дети. За наших деток. За этих хитрых маленьких дьяволят, за всех — сколько их у тебя, Джерри? Я что-то забыл.

— Трое.

— Трое. Правильно. Ты хороший отец. Я всегда думал, что ты хороший отец. Отличный папка. Итак, поехали. За полдюжины маленьких дьяволят, будущее Америки, да благословит их господь всех до единого. — Салли покорно отхлебнула вина; Руфь и Джерри последовали ее примеру. Рецина пахла горелым лаком и на вкус отдавала лекарством. Они выпили вместе, и это как бы объединило их в ритуале, связанном с тайной, которую еще предстояло раскрыть.

Войдя в комнату, Руфь села у двери на первый же стул с прямой спинкой и плетенным из камыша сиденьем, случайно попавший сюда из столовой. Джерри сел посередине белого дивана с подушками из гусиного пуха, так что обе женщины — Руфь у двери и Салли в кресле у камина — находились на равном от него расстоянии. Он скрестил ноги и широко раскинул руки, обхватив спинку дивана. А Ричард, перетягивая чашу весов в сторону Руфи, тяжело опустился подле нее в потертое кожаное кресло, которое, как знал Джерри, Салли терпеть не могла.

Почему ты его терпеть не можешь?

Оно так похоже на него. Правда, ужасно? Я хочу сказать, ужасно, что я говорю такое.

Драное, потрескавшееся, это было кресло отца Ричарда. Утонув в тусклой старой коже, Ричард как бы превратился в призрак собственного отца. Вялым движением он поднял руку ко лбу, голос его звучал обманчиво устало, мертво.

Он сказал:

— Джерри, Салли поведала мне, что-ты большой спец. Откровенно, я удивлен.

Джерри сделал еще глоток вина и сказал:

— Ты уверен, что эту шутку безопасно пить?

— Оно постепенно вам понравится, — пообещал Ричард. — В нем есть смола. Я по дюжине ящиков в месяц опустошаю. В нем всего двадцать градусов. Господи, приятель Джерри, я вот что хочу сказать: ты повел себя совсем не так, как принято среди людей.

— То есть? Говори же.

— Я имею в виду не то, что ты спишь с ней: не могу я слишком уж сердиться на то, что ты с ней спишь — я сам этим занимался, да и не только я. Она тебе, наверно, говорила? В ту зиму, когда я ушел, она спала даже с лыжным инструктором.

Джерри кивнул.

— Ей-богу, Джерри, ты должен был либо с ней порвать, либо вместе уехать куда-то. Ты же превратил жизнь этой женщины в ад. Ты превратил жизнь... моей жены в ад. — Для большей убедительности он трижды ударил по ручке кресла.

Джерри передернул плечами.

— У меня ведь тоже есть жена.

— Ну, так нужно выбирать. В нашем обществе приходится выбирать.

— Не вынуждай его! — неожиданно выкрикнула Руфь. — Еще не время.

Ричард лениво повернулся к ней.

— Ерунда, Руфь. Шесть месяцев. Они ведь пытались порвать. Если это продержалось у них шесть месяцев, значит, теперь уж навсегда.

Как здорово услышать такое. Джерри почувствовал, что Ричард, наконец, поставил все на прочную почву.

— Гораздо дольше, — сказал он. — Я всегда любил Салли.

— Отлично, — сказал Ричард. — Что есть — то есть. Салли-детка, дай-ка мне карандаш и бумагу.

Руфь вскочила на ноги.

— Что ты мелешь, Джерри? Нет. *Нет.* Я здесь не останусь больше ни минуты. — И она выскочила за дверь. Джерри поймал ее уже в холле, между кухней и дверью на улицу.

— Руфь, — сказал он. — Теперь ты знаешь, как обстоит дело. Ты знаешь, что между нами ничего уже нет. Дай этому излиться. Прошу тебя, дай излиться.

Дыхание его жены было горячим, влажным, трепетным.

— Она — сука. Она убьет тебя. Она убьет тебя, как почти убила его.

— Глупо с твоей стороны ненавидеть Салли. Она же беспомощный человек.

— Как ты можешь говорить, что она беспомощная? Кто же, по-твоему, всех нас сюда собрал? Мы пляшем на ее свадьбе.

— Не уходи. Ни оставляй нас.

— А почему, собственно, я должна сидеть и смотреть, как тебя общипывают эти два хищника? Отбирают у тебя детей, талант, деньги...

— Деньги?

— А зачем еще, по-твоему, понадобились Ричарду карандаш и бумага? Он счастлив. Неужели ты этого не видишь, Джерри? Он счастлив, потому что избавляется от нее.

— Он пьян.

— Отпусти меня. Оставь свою любовную галиматью для других.

— Прости. — Он прижал ее к стене и крепко держал за плечи, словно арестовал. Когда же он ее отпустил, она не сделала ни шага к двери, а стояла, насупясь, тяжело дыша, — его жена, всей своей кожей излучавшая знакомое тепло. — Вернись, давай поговорим все вместе, — попросил он.

— Я и вернусь, — сказала она, — и буду бороться за тебя. Не потому, что ты мне так уж нравишься, а потому, что мне не нравятся эти люди.

— И Ричард тоже?

— Я ненавижу его.

— Не надо ненавидеть, — взмолился он. — Слишком все мы скоры на ненависть. А нам сейчас надо друг друга любить. — Когда он был мальчиком, всё в церкви нагоняло на него тоску, кроме причастия, того момента, когда они толпой устремлялись к ограде и облатки таяли у них во рту. Ему казалось сейчас, что нечто подобное произойдет и в гостиной или уже произошло. Его неверующая жена позволила отвести себя назад. Он гордился тем, что может показать Матиасам, какую власть еще имеет над нею, — показать, что она до конца остается его женой.

Ричард нашел карандаш и бумагу и пересел на краешек кресла, чтобы удобнее было писать на кофейном столике. Салли по-прежнему сидела не шевелясь — ее широкоскулое, с заостренным подбородком лицо опухло, глаза были закрыты. Наверху продолжала плакать малышка, разбуженная приходом Конантов.

— Салли, — сказал Ричард, — твой ребенок плачет.

Следуя железно выработанному защитному рефлексу держаться с подчеркнутым вызовом, что так отличало ее от добропорядочных женщин Коннектикута, Салли встала, откинула волосы и широким шагом вышла из комнаты.

Почему ты плачешь? Салли? Почему?

Это слишком глупо. Прости.

Скажи мне. Прошу тебя, скажи.

Ты будешь смеяться.

Нет, не буду.

Ты прости меня: я все тебе испортила.

Ничего подобного. Послушай, ты — чудо. Ну, скажи же.

Я как раз вспомнила, что сегодня — Покаянная среда[1]*, великий пост начался.*

О! Бедная моя любовь! Мое чудо, моя заблудшая католичка.

Это я-то заблудшая?

---

[1] Первый день великого поста, когда священники посыпают пеплом головы молящихся.

Не заблудшая, если ты еще думаешь о Покаянной среде.

Вставай же. Вставай, одевайся, иди в церковь и облегчи душу.

Это такое лицемерие.

Нет. Я-то знаю, как оно бывает.

Должно быть, я действительно немного чокнутая, если, лежа с мужиком в постели, терзаюсь, что сегодня — Покаянная среда. Я все тебе испортила. И ты уже погрустнел и приших.

Нет, мне нравится, что ты об этом вспомнила. Есть ведь такая штука — духовное удовлетворение. Ты мне даешь это удовлетворение. Так иди же. Оставь меня. Иди к обедне.

Сейчас не хочется.

Подожди. Я сейчас дотянусь до пепельницы.

Не шути с богом, Джерри. Я боюсь.

А кто не боится?

Руфь, заразившись энергичностью Салли, пересекла комнату и, подойдя к гравюре Бюффе над камином, сказала:

— Отвратительная мазня. Все это отвратительно. — И жестом охватила гравюру Уайеса, литографии Кёте Кольвиц, анонимную акварель, на которой был изображен одинокий лыжник и его синяя тень под таким же синим скошенным небом. Жест включал сюда и мебель. — Дешевка, — сказала она. — У нее вкус к дорогой дешевке.

Оба — Ричард и Джерри — рассмеялись. Затем Ричард медоточивым голосом сказал:

— Руфь, у тебя есть достоинства, которых нет у нее, а у Салли есть достоинства, которых нет у *тебя*.

— О, это я *знаю*, — поспешно сказала она, вспыхнув, и Джерри возмутило, что Ричард осадил ее: ведь она от природы такая застенчивая.

А Ричард тем временем продолжал:

— Вы обе очень аппетитные бабенки, и мне жаль, что ни одна из вас не хочет *меня* в мужья.

Возмутило Джерри и это упорное самобичевание. Он сказал Ричарду:

— А ты, оказывается, философски относишься ко всему этому.

— Что ты, я весь киплю, Джерри. Весь киплю.

— Так вывел бы ты его во двор, — посоветовала Руфь. — и вздул как следует!

— Я уверен, что ты меня одолеешь, — сказал Джерри. — Ты на целых двадцать фунтов тяжелее. Мы с тобой вполне могли бы выступать как Листон и Пэттерсон.

— Я так не действую, — заявил Ричард. — Но что я *могу* сделать — и об этом надо будет подумать, — *я могу нанять* кого-нибудь, чтоб тебя избили. Когда ты в винном деле, одно знаешь твердо — где горлышко. Дай подолью еще.

— О'кей, спасибо. Ты прав, действительно, чем больше пьешь, тем больше оно нравится.

— А тебе, Руфи-детка?

— Капельку. Один из нас все-таки *должен* вернуться и отвезти домой эту женщину, которая сидит сейчас с нашими детьми.

— Вы ведь только что приехали, — заметил Ричард, до краев наполняя ее бокал. — В самом деле, что-то редковато мы видели этим летом Конантов, и я чрезвычайно обижен У меня такое ощущение, что они задрали нос.

— Я знала, что так будет, — сказала Руфь. — Мне очень жаль, но это одна из причин, по которой меня так и подмывало тебе рассказать. Жизнь моя разваливалась, и мне не хотелось обижать вас, избегая общения с вами. Но я просто не в состоянии была видеть Салли чаще, чем необходимо. Волейбол был для меня уже вполне достаточным адом — больше выдержать я не могла.

— Ты все лето знала, что они живут?

— Нет, я думала, что они *прекратили.* Ведь Джерри дал мне обещание. Так что я оказалась даже тупее тебя.

— Да, тупость изрядная, — сказал Ричард. — Ну, а я, видно, считал Джерри человеком со странностями, не знаю.

Джерри сказал: — Ты просто прелесть. Но как же ты все-таки узнал?

— По телефонным счетам. Просмотрел их за весь год. Там был счет на разговор по вызову из Нью-Йорка этой весной, номер был мне совершенно неизвестен, но это не породило у меня подозрений. Осторожничать они перестали только в августе. Уйма разговоров с нью-йоркским номером — видимо, это его рабочий телефон, и самое нелепое: она записала пару разговоров с ним из Флориды на *наш* счет.

Руфь сказала: — Значит, она хотела, чтобы ты обнаружил. Она разозлилась на Джерри за то, что он не поехал к ней во Флориду.

Джерри сказал: — Все это не так. Он просто избил ее, и она призналась. Он настоящий громила. Ты же слышала, что он говорил. Он большой бесстрашный громила из винной лавки — наверное, *нанял* кого-нибудь, чтобы избить ее.

Ричард сказал: — Поосторожней, Джерри. На свете есть такая штука, как диффамация. Я никогда не бил Салли — это одна из ее фантазий. Она, может, и сама этому верит, господи, в жизни не думал, что она так далеко зайдет Тебе просто продали травленый товар, сынок.

— Я видел на ней синяки.

Руфь сказала: — Джерри. Неужели надо говорить такое?

— Пусть болтает, Руфь, пусть все выкладывает. Дай накукарекаться счастливому петуху. Я видел мою истинную любовь без одежды. Каково, а? Я смотрел на голую красоту.

Джерри сказал: — Один раз ты так ударил ее по голове, что она целую неделю не слышала на одно ухо.

— Э-э? Это еще что за разговорчики? А ты насчет самообороны слыхал? Я поднял руку, чтоб защитить глаза, а она налетела на нее головой. Хочешь посмотреть на мои синяки? — Весь потный, но вдохновленный этой мыслью, Ричард встал и сделал вид, будто намеревается расстегнуть ремень. В эту минуту Салли с Те-

одорой на руках вернулась в комнату; с каким-то деревянным презрительным достоинством она прошла сквозь группу, сбившуюся воедино за время ее отсутствия. Она опустилась в кресло с высокой спинкой и принялась укачивать на коленях отупело-сонную девочку. Джерри обе они казались блестящими куклами.

Ричард сказал: — Салли-О, твой дружок Джерри тут удивляется, с чего это ты выдала его.

— Ему сообщила моя невестка, — сказала Салли Конантам.

— Ни черта подобного, — сказал Ричард. — Она только сообщила, что у тебя есть любовник, который звонит тебе во Флориду каждый день, но кто он — она не знает, а я, черт побери, прекрасно знал, что у тебя все лето был любовник: очень уж по-сволочному ты относилась ко мне. Ты же чуть не отправила меня лечиться. — И, обращаясь к Руфи и Джерри, пояснил: — Не хотела спать со мной. А раз Салли чего-то не желает, значит, есть на то причина. Я только до нее дотронусь, она мигом чего-нибудь выкинет — только раз или два было иначе, когда Джерри, видно, не мог добраться до нее. Надеюсь, дорогая, — сказал он, обращаясь уже к Салли, — ты не пудрила мозги своему любовнику и он не считает, что тебя никто не лапал.

— Меня — что? — переспросила Салли. Она сидела с девочкой на коленях словно замурованная в звуконепроницаемой кабине.

— Не лапал. Не опрокидывал. Не обнимал с вожделением; — пьяный-пьяный, а Ричард все же смутился от своих слов.

— Видишь, она все еще не слышит одним ухом, — сказал Джерри, и Руфь расхохоталась.

А Ричард, утратив всякое чувство юмора, никак не мог отрешиться от своей обиды; оба его глаза — зрячий и незрячий — сосредоточенно смотрели в пустоту, словно перед ними вставали картины этого возмутительного лета.

— Я просто не мог понять, — продолжал он. — Я же ничего такого не сделал. Были у нас неприятности, но потом ведь мы помирились. И я каким был, таким и остался — тем же старым идиотом, всеобщим козлом отпущения.

— Прекрати, — сказала Руфь. Джерри потрясла ее сестринская прямота; у него возникло ощущение, будто их всех четверых сбили в одну семью, и он, единственный ребенок, обрел, наконец, сестер и брата. Он был счастлив и возбужден. Хоть бы никогда с ними не расставаться.

— Эта женщина... — Ричард театральным жестом указал на Салли, и на опухшем от сна озадаченном личике Теодоры появилась улыбка, — ...она мне устроила сущий ад.

— Ты повторяешься, — сказал Джерри.

— И в довершение всего, — продолжал Ричард, — в *довершение всего* она еще нажаловалась своему дружку, с которым спит, будто я бью ее, а я в жизни не поднял на нее руки — разве что для самозащиты, чтоб мне самому не раскроили голову. Салли, ты помнишь эту подставку для книг?

Салли вместо ответа лишь холодно посмотрела на него и, глубоко вздохнув, издала долгий, почти астматический хрип.

— *Бронзовая*, — к сведению Джерри и Руфи пояснил Ричард, — а мне, ей-богу, она показалась *свинцовой*: я поймал ее у самого плеча. И все из-за того, что я спросил: почему она перестала спать со мной. Помнишь, Салли-О?

Салли напряглась и выкрикнула, вся трясясь:

— Послушать тебя, так я все это нарочно вытворяла. А мне *тошно* от любви, я бы рада была *не любить* Джерри. Я вовсе не хочу причинять тебе боль, я не хочу причинять боль Руфи и д-д-д-детям.

— Можешь обо мне не плакать, — сказала Руфь. — Слишком поздно.

— Я достаточно наплакалась из-за тебя. Я жалею всех, кто настолько эгоистичен, настолько слаб, что не может отпустить мужчину, когда он хочет уйти.

— Я пытаюсь удержать отца моих детей. Неужели это так уж низко?

— *Да!*

— Ты так говоришь, потому что ты к своим детям относишься как к багажу, как к безделушкам, которые в подходящую минуту можно выставить напоказ.

— Я люблю моих детей, но я уважаю и мужа — уважаю настолько, что если бы он что-то решил, я бы не стала ему мешать.

— Но Джерри ничего ведь не решил.

— Он слишком *добрый*. Ты злоупотребляла этой добротой. Ты ею *пользовалась*. Ты не можешь дать ему то, что могу дать я, ты не любишь его. Если бы ты его любила, не было бы у тебя этого *романа*, о котором нам со всех сторон говорят.

— Девочки, девочки, — вмешался Ричард.

— Но он сам меня на это толкал, — крикнула Руфь и согнулась на стуле, словно отражение, преломленное в воде, — я думала, я стану ему лучшей *женой!* — От слез она пригнулась еще ниже, перекрутилась жалкой закорюкой — Джерри казалось, что от горя и унижения она сейчас вылетит из комнаты. А она, раскрывшись перед ними, сидела вся красная и от стыда кусала костяшку пальца. Пытаясь отвлечь от нее внимание, Джерри заговорил.

Он заботливо спросил Салли:

— Ты что же, не слышала? Все уже позади, нечего устраивать потасовку. Я предлагаю тебе: давай поженимся.

Салли неуклюже повернулась к нему, скованная в движениях ручками кресла и ребенком на коленях; в сдвинутых бровях и в голосе был гнев:

— Мне кажется, ты не очень-то в состоянии мне это предлагать. — Фраза оборвалась, не законченная, растворившись во влажной улыбке, многозначительной улыбке, чуть перекосившей лицо под возмущенно нахмуренными бровями и показывавшей, что она понимает, как обстоит дело и в каком они положении, и прощает, прощает за все, что произошло, что происходит и что должно произойти, моля его — этой же горестной улыбкой, — чтобы и он простил.

Который час?

Восемь. Вставай, повелитель.

Только восемь? Ты шутишь.

Я уже с семи не сплю.

А я всю ночь не спал. Выходил. Снова ложился.

Сам виноват. Я же все время твердила тебе — спи.

Я не мог. Слишком ты хороша и непонятна. Ты дышала так тихо, я боялся, что ты исчезнешь.

Я есть хочу.

Хочешь есть? В раю-то?

Вот послушай. Сейчас услышишь, как у меня урчит в животе.

Какой у тебя суровый вид. Какой величественный. И ты уже одета.

Конечно. Можно так выйти на улицу? Или видно, что я только что выскочила из постели?

Недостаточно долго в ней пробыла.

Не смей. Одно я должна сказать тебе про себя: я настоящая сука, пока не выпью кофе.

В жизни этому не поверю. Все равно ты мне и такая нравишься.

Я чувствую запах кофе, даже когда включен кондиционер.

Поди ко мне на минутку, и я куплю тебе миллион чашек кофе.

Нет, Джерри. Ну же. Вставай.

На полминутки — за полмиллиона чашек. Нет, подожди. Встань вон там у окна: мне снится удивительный сон, будто я занимаюсь любовью с твоей тенью, но ты стоишь там, куда мне не дотянуться... я, конечно, ужасный извращенец. Ты — обалденная.

Ох, Джерри. Не спеши. Слишком ты меня любишь. Я стараюсь сдерживаться, а ты — никогда.

Я знаю. Это нечестно. Я боюсь смерти, но не боюсь тебя, поэтому я хочу, чтобы ты убила меня.

Ну, не смешно ли, что ты не боишься меня? Смешно! А все остальные вроде боятся.

Ричард держал карандаш над блокнотом — на каждом листике голубой бумаги стояло крупными буквами: «Кэннонпортский винный магазин» и крошечное изображение его фасада.

— Давайте зафиксируем некоторые факты. В каком отеле ты останавливался с нею в Вашингтоне?

В том отеле Джерри лежал с Салли, боясь услышать стук в дверь и обнаружить за ней Ричарда; теперь стук раздался, и у Джерри не было ни малейшего желания впускать Ричарда в ту памятную комнату. Он сказал:

— Не вижу, какое это имеет значение.

— Не хочешь мне говорить. Прекрасно. Салли, в каком отеле? — И даже не дав ей времени ответить, спросил: — Руфь?

— Понятия не имею. Зачем тебе это нужно?

— Мне нужно знать, потому что все это распроклятое лето я был вонючим посмешищем. Я как-то сидел тут и вспоминал — все лето что-то было не так: всем сразу становилось весело, стоило мне появиться. Помню — очень меня тогда это задело — подошел я у Хорнунгов к Джейнет и Линде, они шептались о чем-то, а как увидели меня, даже побелели. «Что происходит?» — спросил я, и лица у них стали такие, точно я навонял при них, да еще с трубным звуком.

— Ричард, — прервал его Джерри. — Я должен тебе кое-что сказать. Ты *никогда* мне не нравился...

— А ты всегда мне *нравился*, Джерри.

— ...но моя связь с Салли привела к тому — ты уж меня извини, — что и ты полюбился мне. И не пей ты, пожалуйста, эту гадость, это дерьмовое виски или что это там у тебя.

— Рецина. Ваше здоровье. L'Chaim! Saluti! Prosit! [1]

Джерри разрешил налить себе еще вина и спросил:

— Ричард, где ты выучил все эти языки?

— Ist wunderbar, nichts? [2]

— Может, вам, мужчинам, и весело, но для нас, остальных, это мука, — сказала Салли. Она сидела все так же, застыв как мадонна; Теодора на коленях у нее клевала носом, словно загипнотизированная.

— Уложи это отродье в постель, — сказал Ричард.

— Нет. Если я уйду из комнаты, вы сразу начнете говорить обо мне. Начнете говорить о моей душе.

— Скажи мне название отеля. — Ричард произнес это, ни к кому не обращаясь.

Никто ему не ответил.

— Что ж, о'кей. Хотите вести жесткую игру. Очень хорошо. *Очень* хорошо. Я тоже могу вести жесткую игру. Мой папа был человек жесткий, и я могу быть жестким.

Джерри сказал:

— А почему бы и нет? Ты ведь мне ничем не обязан.

— Черт подери, Джерри, а ты заговорил на моем языке. Sköl [3].

— Пьем до дна. Chin-chin [4].

— Проклятый мерзавец, не могу на тебя сердиться. Пытаюсь рассердиться, а ты не даешь.

— Он просто ужасен, когда вот так дурака валяет, — сказала Руфь.

— В чем же будет заключаться твоя жесткая игра? — спросил Джерри.

Ричард принялся что-то чертить в блокноте.

— Ну, я могу отказать Салли в разводе. А это значит, что она не сможет выйти замуж за другого.

---

[1] Ваше здоровье! *(идиш, ит., нем.)*

[2] Чудесно, не правда ли? *(нем.)*

[3] На здоровье *(швед.)*.

[4] На здоровье *(ит.)*.

Салли села еще прямее, губы ее растянулись в тоненькую линию, слегка обнажив зубы; Джерри увидел, что она не только не стремится уйти от объяснений, а наоборот: рада сразиться с Ричардом.

— Да, — резко сказала она, — и у твоих детей не будет отца. Зачем же вредить собственным детям?

— А с чего ты взяла, что я отдам тебе детей?

— Я же, черт побери, прекрасно знаю, что тебе они не нужны. Ты никогда их не хотел. Мы завели их, потому что наши психоаналитики сочли, что это полезно для здоровья.

Они в таком темпе обменивались репликами, что Джерри понял: они уже не раз сражались на этой почве.

Ричард улыбался и продолжал что-то чертить в блокноте. Джерри подумал, интересно, каково это видеть одним глазом. Он закрыл глаз и окинул взглядом комнату — стулья, женщины, бокалы сразу лишились одного измерения. Все стало плоским, невыразительным — таков мир, вдруг понял он, если смотреть на него глазами безбожника, ибо присутствие бога придает каждой вещи объемность и значение. Это было страшно. Ему всегда был ненавистен вид Ричарда — эта задумчиво склоненная голова, елейно-нерешительный рот, нелепо-безжизненный глаз. Может.., не потому ли, что, глядя на его лицо, он представлял себе, каково было бы ему жить без глаза? Он открыл глаз, и все окружающее, завибрировав, вновь стало объемным, а Ричард поднял голову и сказал Салли:

— Ты права. Мой юрист, во всяком случае, отговорил бы меня от этого. Давайте рассуждать здраво. Давайте рассуждать здраво, ребята. Попытаемся приструнить этих маленьких зеленоглазых дьяволят Джерри, я знаю, ты будешь хорошим отцом моим детям. Я видел, как ты обращаешься со своими детьми, ты — хороший отец.

— Ничего подобного, — сказала Руфь. — Он садист. Он их дразнит.

Ричард слушал ее и кивал.

— Он не идеальный, но он вполне о'кей, Руфи-детка. Он человек незрелый, ну, а кто сейчас зрелый?

Руфь продолжала:

— Он заставляет их против воли ходить в воскресную школу.

— Детям необходима, — сказал Ричард, по-пьяному тупо и сонно растягивая слова, — детям необходима жизненная основа, пусть самая идиотская. Джерри, я буду платить за их обучение и одежду.

— Ну, за обучение — конечно.

— По рукам.

Ричард принялся набрасывать цифры. В тишине как бы сдвинулась огромная, физически неощутимая тяжесть — так под папиросной бумагой в Библии обнаруживаются детали гравюры, изображающей ад.

Джерри воскликнул:

— Да, но как же будет с *моими* детьми?

— Это уж твоя забота, — сказал Ричард, сразу протрезвев.

— Отдай мне одного, — обратился Джерри к Руфи. — Любого. Чарли или Джоффри — ты же знаешь, как Чарли изводит малыша. Их надо разделить.

Руфь плакала; трясущимися губами она произнесла:

— Они нужны друг другу. Мы все нужны друг другу.

— Прошу тебя. Чарли. Разреши мне взять Чарли.

Салли вмешалась в разговор:

— А почему ты не можешь его взять? Они такие же твои дети, как и ее.

Руфь повернулась на своем стуле с прямой спинкой.

— Я бы, возможно, и отдала их, будь на твоем месте другая женщина, — сказала она. — Но не ты. Я не доверяю тебе моих детей. Я не считаю тебя подходящей матерью.

— Как ты можешь говорить такое, Руфь! — возмутился Джерри. — Посмотри на нее! — Но уже сказав это, он вдруг понял, что, возможно, только ему она кажется нечеловечески доброй, только для него лучится добротой ее лицо — лицо, которое он видел запрокинутым от страсти под своим лицом: глаза закрыты, губы раздвинуты — словно отражение в воде пруда. Он видел в ней слишком многое и был теперь как слепой, и, возможно, они — Ричард и Руфь — видели ее точнее.

Ты не веришь, что я такая простая. А я простая, как... как эта разбитая бутылка.

— По воскресеньям, на каникулы — безусловно, — сказала Руфь. — Если я рехнусь или убью себя, — бери их. Но пока они остаются со мной.

— Да, — без всякой надобности подтвердил Джерри. Он находился в каком-то странном состоянии: стремясь побыстрее отделаться от Ричарда, он так себя взвинтил, что потерял над собой контроль и, в этом состоянии неуправляемости невольно повысил голос, измеряя всю глубину своей беспомощности. Измерив же ее, он умолк, и наступила необъятная тишина.

Внезапно Ричард сказал:

— Ну, Салли-О, поздравляю. Поздравляю, девочка, ты своего добилась. Ты ведь многие годы нацеливалась на Джерри Конанта.

— В самом деле? — спросил Джерри.

— Конечно, — сказала ему Руфь. — Каждому это было ясно. Даже как-то неловко становилось.

Ричард сказал:

— Не перечеркивай этого, Руфь. А может, это самая что ни на есть настоящая, подлинная amour de coeur [1]. Давай пожелаем деткам счастья. Единственное, от чего ты никогда не будешь страдать, Джерри, — это от скуки. Салли — существо неспокойное. У нее много прекрасных качеств: она хорошо готовит, хоро-

[1] *Лирическая любовь (франц.).*

шо одевается, хороша — ну, *относительно* хороша — в постели. Но спокойной ее не назовешь.

— Разве мы об этом говорили? — спросил Джерри.

— Мы говорили об обучении детей, — сказала Руфь. И поднялась. — Я поехала домой. Больше я не могу.

— Должен сказать, — заявил Джерри с вновь пробудившимся желанием досадить этому типу, — что я сторонник государственных школ.

— Вот и я тоже, приятель Джерри, — сказал Ричард, — и я тоже. Это Салли настаивает на том, чтобы деток возили автобусом в школу для снобов.

— Это мои дети, — решительно заявила Салли, — и я хочу, чтобы они получили самое лучшее образование. — Мои — Джерри сразу заметил, что в этом слове для нее заключена особая красота: по ее артикуляции ясно было, какое это бесценное слово.

Руфь спросила, нерешительно опускаясь снова на стул:

— А что, если Джерри захочет бросить работу? Ты согласишься жить с ним в бедности?

Салли тщательно обдумала ответ и, казалось, была довольна результатом.

— Нет. Я не хочу быть бедной, Руфь. Да и кому охота?

— *Мне*. Если бы всем нам приходилось в поте лица добывать свой хлеб, у нас не было бы времени на это... это безумие. Все мы до того избалованы, что от нас смердит.

— Руфи, — сказал Ричард, — ты высказываешь вслух мои мысли. Назад к природе, к простоте и бедности. Я всю жизнь регистрировался, как демократ. Я дважды голосовал за Эдлая Стивенсона.

Салли, обретя, наконец, дар речи, решила теперь высказать все, что пришло ей в голову, пока говорили другие.

— Понимаете, подпись под бумагой еще не означает, что вы уже не муж и жена. — Джерри слышал это и прежде, когда она шепотом поверяла ему свою душевную муку; сейчас это прозвучало неуместно, нескладно, не вполне нормально. Руфь поймала его взгляд, потом посмотрела на Ричарда. Салли же, почувствовав, что они втихомолку потешаются над нею, распалилась еще больше: — А человек, который больше всех теряет, не вызывает ни у кого из нас *ни капли* сочувствия. У Руфи остаются ее детки, мы с Джерри получаем друг друга, а Ричард — ни черта! — Она потупилась; волосы упали ей на лицо, словно опустился занавес после пламенной речи.

Ричард наблюдал за своими гостями, подстерегая их реакцию, и, казалось, колебался, не зная, присоединиться ли к ним, или возродить союз с женой. Переняв ее тон, он ринулся в наступление:

— Джерри, разреши мне кое о чем тебя спросить. Ты когда-нибудь был один? Я хочу сказать: как перед богом, до самого нутра, растуды тебя в качель — *совсем один*. Так вот: эта широкозадая тупая шлюха была моим единственным в жизни другом, а теперь она бросает меня ради тебя.

— Значит, ты *любишь* ее, — сказала Руфь.

Ричард тотчас отступил.

— О да, я ее люблю, конечно, люблю, эту сумасшедшую суку, но... какого черта. Моя карта бита. Qué será, será [1].

— А я считаю, что два вполне приличных брака летят к черту по какой-то идиотской ошибке — из-за этакой жалкой алчности, — сказала Руфь и снова поднялась, — но никто со мной не согласен, а потому на этот раз я уже действительно ухожу.

— Значит, решено! — спросил Джерри.

— А разве нет?

— Это ты сказала — не я. Как же мы теперь поступим? Вернуться вместе домой мы не можем. Салли, поезжай с Руфью и проведи ночь в нашем доме.

— Нет, — коротко, испуганно ответила Салли.

— Она не обидит тебя. Доверься нам. Прошу тебя, это ведь единственное место, куда я могу тебя послать. Поезжай с нею, а я буду с Ричардом.

— Нет. Я не оставлю моих детей.

— Даже на одну ночь? Я буду здесь, мы с Ричардом можем приготовить им завтрак. Не вижу, в чем проблема.

— Он отберет у меня детей и скажет, что я их бросила.

— Это несерьезно, Салли. Ты должна бы лучше знать своего мужа. Ричард, ты ведь такого не сделаешь.

— Конечно, нет, — сказал Ричард, и Джерри вдруг прочел на его лице нечто неожиданное: стыд за Салли.

Джерри принялся ее уговаривать:

— Разве ты не слышишь, что́ он говорит? Он не станет красть твоих детей. Он любит тебя, любит их. Он не чудовище. — Он повернулся к Ричарду. — Мы можем поиграть в шахматы. Помнишь, какие мы с тобой разыгрывали партии?

— Я не считаю нужным уезжать, — сказала Салли. И, словно драгоценный приз, крепко обхватила руками Теодору.

— Но не могу же я просить *Ричарда* ехать с Руфью к нам домой. — Все рассмеялись, а Джерри обозлился: эта драчка на краю могилы была недостойна их всех, и выигрыш от его словесных ухищрений был таким жалким вознаграждением за ту жертву, за тот роковой прыжок, который он, наконец, совершил.

— Салли-О, обещаю тебе: я не украду детей, — сказал Ричард.

— Но если я оставлю ее с тобой, ты ее изобьешь, — сказал Джерри.

— Господи, Джерри, я начинаю ненавидеть тебя до самых потрохов. Она еще не твоя жена, растуды тебя в качель, и я изобью ее, если, растуды тебя в качель, захочу. Это мой дом, и я не собираюсь выезжать отсюда только потому, что моя жена спит с кем попало.

— Кто со мной едет, поехали, — сказала Руфь. — Джерри, мне кажется, мы им больше не нужны.

---

[1] Будь что будет *(исп.)*.

Джерри спросил Салли:

— С тобой ничего не случится?

— Нет. Ничего.

— Ты действительно считаешь, что так лучше?

— Пожалуй, да. — Впервые за этот вечер взгляды их встретились.

Джерри, у тебя глаза такие печальные!

Да как же они могут быть печальными, когда я так счастлив?

И все же они у тебя печальные, Джерри.

Когда занимаешься любовью, не надо смотреть человеку в глаза.

А я всегда смотрю.

Тогда я их закрою.

Джерри вздохнул.

— Ну что ж. Мы, по-моему, достаточно ночей провели вместе и еще одна ночь нас не убьет. Позвони мне, — сказал он Салли, — если я тебе понадоблюсь.

— Спасибо, Джерри. Я не буду звонить. Спокойной ночи. — Она улыбнулась и отвела от него глаза. — Руфь?..

Руфь была уже в холле.

— Прекрати, — крикнула она Салли. — Мы все слишком устали.

У Джерри было такое ощущение, что его вываляли в грязи; поначалу, когда все они только переехали в Гринвуд, он всегда чувствовал себя у Матиасов, среди их дорогих вещей, неловким и немытым. Сейчас ему хотелось облегчиться, но Ричард, стоявший рядом, своим молчанием как бы вежливо выражал нетерпение, и у Джерри не хватило духу зайти в туалет на первом этаже. На улице три звезды пояса Ориона опустились и круче нависли над лесом, а луна продвинулась ввысь, освещая пепельное, в барашках, небо. Конанты услышали, как заскулил и заскребся в гараже Цезарь, но не залаял. Шум их машины осквернил ночь. Когда они двинулись вниз по извилистой подъездной дороге, Руфь закурила сигарету. Джерри потер палец о палец. Она передала ему сигарету.

— Любопытная вещь, — сказала она, — у меня такое чувство, будто я возвращаюсь с очередной вечеринки у Салли и Ричарда. Во всяком случае, на этот раз мне не было скучно. Ричард не разглагольствовал насчет акций и ценных бумаг.

— Да, он не казался таким ужасно нудным, как обычно. У него было даже несколько великих минут. Он меня просто обскакал. А как я выглядел? Сильно уступал ему?

— Ты был таким, как всегда, — сказала Руфь.

У него начались рези в низу живота. Он спросил жену:

— Не возражаешь, если я на минуту остановлю машину?

— Мы ведь уже почти приехали, — сказала она. — Неужели не можешь потерпеть?

— Нет.

Он остановил ее «вольво» и открыл дверцу, и выцветшая сухая трава и придорожный чертополох сразу стали вдруг бесконечно милыми. Поблизости высился телеграфный столб. Подойдя к нему, Джерри дернул за молнию и отдал свою боль земле. Луна протянула колючку тени от каждой зазубрины на столбе; в высокой траве серебристо поблескивала изморозь. Все вокруг, казалось Джерри, было словно картина, написанная на черном фоне, выгравированная нашим неясным, тупым страхом. Прокрякал невидимый треугольник гусей; прошелестела машина по соседней дороге — и звук замер; в воздухе возник призрачный запах яблок. Джерри попытался отключиться от реальностей ночи и осознать — как пытаешься осознать вращение земли — тот огромный печальный поворот, который произошел в его жизни. Но в сознании была лишь трава, да Руфь, дожидавшаяся его в машине, да утончавшаяся дуга, приносившая облегчение.

Проехав мимо многих темных домов, они остановились у своего дома — все окна горели. Миссис О., хоть и была хороша с детьми, ни разу еще не вымыла ни одного блюдца и никогда не выключала свет. Они расплатились с ней, и она сказала:

— Тут одна женщина из индепендентской церкви заходила насчет каких-то объявлений.

— О, господи, — сказала Руфь. — Я совсем забыла. Ведь их следовало сделать к субботе.

— Эти люди начинают просто тиранить тебя, — сказал Джерри, и, обращаясь к миссис О., спросил: — Вы в пальто? — Женщина молча покачала головой; лицо у нее было красное, и, выходя на крыльцо, она приложила платок к глазам.

Закрывая за нею дверь, Руфь сказала:

— Бедняжка. Интересно, много ли она знает?

— А почему, собственно, она должна знать?

— Она ведь из нашего городка, Джерри. А весь городок знает, что у нас дело худо. Я все лето замечала это по лицам мальчишек у Гристеда.

— Хм. Мне, например, не казалось, что *у нас* дело худо. У меня — да, и у тебя — тоже, но не *у нас*.

— Пошли спать. Или ты уезжаешь в свой коттедж?

— Я не в состоянии. Хочешь молока?

— А ты?

— Если ты сделаешь тосты.

— О, конечно. Почему бы и нет. Который теперь час?

— Десять минут второго.

— Так рано? Удивительно. Мне казалось, мы провели там целую жизнь.

— Может, позвонить? — спросил Джерри. — Ты думаешь, с ней все в порядке?

— Она ведь сама так хотела, оставь ее в покое.

— Она казалась такой жалкой.

— Это ее поза.

— Нет, я никогда еще не видел ее такой. У меня было ощуще-

ние, что вот мы сидим, трое разумных людей, и обсуждаем участь прелестного... *ребенка.*

— Хлеб подрумянился. Будешь намазывать маслом? Это твой тост.

А ему не терпелось говорить о Салли и о минувшем вечере со всеми его сложными перипетиями; ему необходимо было вслух перебрать все подробности и узнать мнение Руфи о них. Но она не стала слушать и пошла наверх. В холодной спальне все невысказанное комом сдавило ему грудь, дыхание стало прерывистым.

— Сукин сын, — еле выдохнул он, — я же оставил ингалятор там, в коттедже.

— А ты расслабься, — сказала Руфь далеким певучим голосом. — Распустись, ни о чем не думай.

— Холодно... здесь наверху, — сказал он. — Почему мы живем в таком вшивом доме?

— Залезай под одеяло, — сказала она, — тут славно, тепло, дыши неглубоко, не думай о своих легких.

— Мои бедные... дети, — сказал он. Постель, когда он залез в нее, показалась ему ловушкой: стоит лечь ничком — и задохнешься. Руфь выключила свет — последнюю лампочку в доме. В окне сквозь плотное кружево вяза просвечивали звезды, и, глядя на них, Джерри постепенно вновь обрел дыхание. Руфь залезла в постель с другой стороны и, прижавшись к нему, положила руку ему на грудь. Окутанный медленно нараставшим теплом — теплом, которым он наслаждался последний раз в вечности, — Джерри почувствовал, как грудь его расширяется; ноги и руки расслабились,напряжение вытекло из них; стена в легких постепенно рушилась под напором каждого вздоха. Тело Руфи рядом было крепкое, упругое, сонное. — Мне очень жаль, — вслух произнес он, — но, наверное, так правильно. — Эта фраза, обретшая плоть благодаря его голосу, казалось, повторялась без конца, как отражение в двойном зеркале, как дни, как дыхание. Он открыл глааз. Кресты оконных переплетов застывшими благословениями оберегали его в ночи; в легких его установилось безбрежное царство мира и покоя. И в эту чудесную страну он не спеша, лениво вступил.

Телефон дребезжал и дребезжал в верхнем холле — казалось, будто прорвало трубу и мрак наполнился кипящей пеной.

— О, господи, — произнесла Руфь.

Они с Джерри давно уговорились, что раз утром она встает вместе с детьми, то всеми ночными происшествиями занимается он. Он выбросил тело из теплой норы, где оно нашло избавление, — судя по тому, каких усилий ему стоило встать, он понял, что лишь недавно заснул. Ведь первый сон — самый глубокий. Ноги его и лицо были словно покрыты пылью. Он снял трубку на четвертом звонке, оборвав его на середине. Скрипнула кровать под кем-то из детей.

— Алло?

— Джерри? Это я. — Голос Салли звучал немыслимо близко — так комета нависает над землей, хоть и находится на расстоянии миллионов миль.

— Привет.

— Ты спал?

— Вроде бы. Который час?

— Извини. Я не думала, что ты сможешь заснуть.

— Я и сам не думал.

— Я позвонила тебе в коттедж, но ты не отвечал. Мне стало очень больно.

— Вот как? А мне и в голову не пришло поехать туда. К чему — теперь ведь все решено.

— Разве? А как Руфь?

— Спит.

— Ничего подобного! — послышался из постели голос Руфи. — Скажи ей, чтоб не занимала мой телефон!

— А *ты* как? — спросил у Салли Джерри.

— Не очень хорошо.

— Нет? А где Ричард?

— Уехал. Наверное, я тебе потому и звоню, чтоб это сообщить. Ричард ушел из дома. Сказал, что не может больше выносить меня ни минуты, и хлопнул дверью. Даже чемодана не взял. Он обозвал меня проституткой. — Голос у нее прервался, и в трубке зашелестело от слез. Скрипнула еще чья-то кровать. Неужели все дети не спят?

— Он тебя бил?

— Нет. Но пусть бы и побил — мне все равно.

— Что ж, все складывается хорошо, верно? Разве не лучше, что он ушел? Ты сможешь заснуть?

— Гореть мне в аду за то, что я сделала этому человеку.

Джерри перенес тяжесть тела на другую ногу и постарался говорить так, чтобы Руфь не могла слышать каждое слово: уж очень слова были нелепые.

— Никто не будет гореть в аду, — зашептал он Салли. — Меньше всего — ты. Ты не виновата в том, что так получилось: ты же пыталась отвадить меня. Верно?

— В-вроде бы. Но мне следовало настоять на своем. А я не хотела тебя отваживать и не хотела на тебя давить. Скажешь мне одну вещь?

— Конечно.

— Скажешь по-честному?

— Да.

— Ты считаешь, что я на тебя давлю?

— Конечно, нет.

— Я вовсе не хотела говорить ему все, но стоило начать, и я уже не могла остановиться. Он заставил меня все выложить: он куда умнее, чем ты думаешь.

— Я считаю его очень умным. Он мне даже понравился сегодня.

— В самом деле? — В голосе ее зазвенела такая надежда, что

он испугался следующих ее слов: она ведь может сказать лишнее. Она сказала: — А я была ужасна.

— Нет, ничего подобного. Ты была чудо как хороша.

— Я слова из себя не могла выдавить, а когда все же выжимала что-то, это были гадкие, злые вещи.

— Все было отлично.

— У меня в голове все путалось, мне было так стыдно. Я предала Ричарда, а потом предала тебя. А ведь вы оба на меня рассчитывали.

— Даже слишком.

Ее молчание снова заполнилось шелестом, и у него было такое чувство, будто он выплескивает слова в пропасть, в пустоту.

— Салли. Послушай. Я рад, что он знает. Я рад, что ты сказала ему. Теперь все позади и все в порядке. Но мы теперь должны быть лучше других — ты и я. Мы просим Ричарда, Руфь и детей об огромной жертве, и отплатить им мы можем, только если будем лучше других до конца своих дней. Поняла?

— Да. — Она шмыгнула носом.

— Ты мне веришь?

— По-моему, да. Я сама не знаю, что делаю. Только что съела целую миску салата, который приготовила к сегодняшнему ужину. Мы забыли поесть, и муж ушел голодный.

— Ты сумеешь лечь и заснуть? У тебя есть таблетки?

— Да. У меня есть таблетки. Ничего со мной не случится.

В голосе ее зазвучали злые нотки. Он спросил:

— Ты хочешь, чтоб я приехал?

— Нет. Дети взбудоражатся. Теодора до сих пор не спит.

— Бедная крошка. А когда придет Джози?

— Завтра утром. Что мне ей сказать?

— Не знаю. Ничего? Правду? Мне кажется, это должно меньше всего тебя волновать.

— Ты прав, Джерри. Ты всегда прав. Ты прими на себя заботу о Руфи, а я приму таблетку.

— По-моему, это сейчас самое правильное.

— Ложись снова спать. Извини, что побеспокоила.

Он ждал от нее извинения. Он сказал:

— Не смеши. Я рад, что ты позвонила. Конечно же, рад.

— Спокойной ночи, Джерри.

— Спокойной ночи. Ты грандиозна. — Не мог он заставить себя сказать, зная, что Руфь слушает: «Я люблю тебя».

Когда он вернулся в постель, Руфь спросила:

— Чего она хотела?

— Утешения. Ричард уехал.

— Среди ночи?

— Видимо.

— Что ж... молодец.

— Чем же он молодец? Тем, что оставил женщину в полной растерянности? Мерзавец.

— А еще что она говорила?

— Ей было неприятно, что я здесь, а не в коттедже. Она, ви-

димо, ожидала, что я высажу тебя, а сам поеду туда. — Джерри мучило то, что Руфь сказала «молодец», явно намекая на его пассивность. — Я должен был так поступить? — спросил он. — Значит, чтобы завоевать твое уважение, надо встать, одеться и уйти из дома, как Ричард?

— Поступай, как знаешь. А какой у нее был голос?

— Благодарю, несчастный.

— С чего бы это? Ведь она получила то, что хотела.

— Ты так думаешь? Мне кажется, она сама не знает, чего хочет, — теперь, когда она это получила.

— Повтори еще раз.

— Нет. Я сейчас буду спать. У меня какое-то странное ощущение, — сказал он, пускаясь в очередную фантазию, за что его так ценили в студии рекламы, — будто я — Северная Африка и ноги у меня — Египет, а голова — Марокко. И весь я — сплошной песок.

Когда телефон снова разбудил его, он проснулся с чувством вины, так как видел во сне не свою «ситуацию» — не Салли, или Ричарда, или Руфь, а далекие уголки своего детства: горку на площадке для игр, которую натирают вощеной бумагой, чтобы скатываться быстрее, две потрепанные коробки с настольным хоккеем; кусок затоптанной травы за киоском, где дети постарше обменивались невообразимыми секретами, осыпая землю окурками «Олд голд», — то прошлое, тот рай, где ты не волен ничего выбирать. Он пошел, спотыкаясь, заткнуть телефонный звонок — понимая, что повторяется, что сам обрек себя на бесконечное повторение, совершив этот грех, который свинцовой тяжестью давил ему на диафрагму. Звонила снова Салли, Салли; голос у нее обладал центробежной силой, и слова разлетались во всех направлениях — ей было унизительно снова звонить ему, она говорила задыхаясь, прерывисто.

— Эй! Джерри? Если я тебя кой о чем спрошу, ты мне скажешь по-честному?

— Конечно. Ты приняла таблетку?

— Только что приняла и решила позвонить тебе, пока она не подействовала. Хотелось услышать твой голос, прежде чем отключусь. Не будешь на меня сердиться?

— Почему я должен на тебя сердиться? Я чувствую себя ужасно от того, что нахожусь далеко. Ричард не вернулся?

— Нет и *не* вернется. — Салли произнесла это как-то по-старомодному, чуть в нос: так соседки когда-то выговаривали ему за то, что он топчет траву на их лужайках.

— Спрашивай же, — сказал он.

— Ты не сердишься, что я ему сказала?

— Об этом ты и хотела меня спросить?

— Вроде бы.

— Нет, не сержусь, конечно, нет. Я-то ведь сказал еще несколько месяцев тому назад, так что тебе за мной не угнаться.

— Ты все-таки *сердишься*, — сказала она. — Я так и подумала, еще когда раньше тебе звонила, что ты сердишься.

— Я немножко дохлый, — признался он. — Завтра буду в форме. По-моему, ты очень храбрая и достаточно долго все скрывала, и я очень тебе признателен. Ты дала мне большую фору. В конце-то концов ведь он сам обнаружил телефонные счета.

— Да, но я умела нагнать туману кое в чем и похуже. Я просто очень устала. Кстати, Джерри! Знаешь, что еще случилось? Это в самом деле ужасно.

— Что еще, солнышко?

— Ты меня возненавидишь.

Ему надоело говорить «нет», и он промолчал.

Тогда она сказала:

— Я солгала ему. Я ему сказала, что мы никогда...

— Что — никогда?

— Я сказала, что мы никогда не спали у нас в доме. Я подумала, что это было бы слишком ужасно при его самолюбии. Ну, разве не глупо?

— Нет, не глупо.

— Я сумасшедшая?

— Нет.

— Пожалуйста, не говори ему. Если мы все пойдем в суд, там я признаюсь, но только ты, пожалуйста, ему не говори. Это ведь не твой *дом*, Джерри. — Таблетка начала действовать, и она говорила как-то странно.

— А зачем, собственно, мне это нужно? — сказал он. — Чем меньше мне придется с ним говорить, тем лучше.

— Он так уязвлен в своем самолюбии.

— Ну, такое впечатление он постарался создать у тебя. И сейчас он старательно ведет к тому, чтобы все почувствовали себя виноватыми.

— Обещаешь, что не скажешь ему?

— Обещаю.

— Вот я, к примеру, очень многое никогда не скажу Руфи. Интимное.

— Я же сказал: обещаю. Ты думаешь, ты сможешь заснуть? Сколько сейчас, черт возьми, времени?

— Эй?

— Да?

— Помнишь, тогда, в Вашингтоне, на тебя напала бессонница? Я никак не могла понять, что тебя так мучило. А теперь знаю.

— Жизнь — мучительная штука, — изрек он.

Она рассмеялась.

— Я прямо вижу, как у тебя губы поджались, когда ты это произнес, Джерри. Вот теперь таблетка начала действовать. Я стала вся такая тяжелая.

— А ты расслабься, — посоветовал он ей. — Проснешься — и будет утро, и мир все такой же вокруг.

— Меня куда-то утягивает. Я боюсь. Мне страшно, как бы чего не случилось с детьми.

— Ничего с детьми не случится.

— Мне страшно — вдруг я не проснусь. И уже никогда не увижу тебя, и ты будешь любить другую. Снова влюбишься в Руфь. Ты ведь *любишь* ее, я это сегодня поняла.

— Обещаю: ты проснешься. Ты очень сильная, ты очень здоровая, ты не куришь. — Он прикрыл рукой рот и зашептал так, чтобы Руфь не могла услышать: — Ты — солнышко.

— Я вынуждена повесить трубку, а то рука совсем отяжелела. В самом деле со мной ничего не случится?

— Ничего. Ты ведь уже не раз оставалась одна в доме.

— Не так.

— Ничего с тобой не случится.

— Спокойной ночи, любовь моя.

— Спокойной ночи, Салли.

На этот раз, когда он снова залез в постель, Руфь лишь спросила:

— Почему голос у тебя такой чудной, когда ты с ней разговариваешь?

Руфь встала рано, и в странно преломленном солнечном свете этого утра Джерри почувствовал, что он не вправе перекатиться на середину постели и поспать еще минутку, прежде чем она, по обыкновению, позовет его, чтобы он успел на поезд в 8.17. Он вспомнил обрывки своего сна. Все происходило как бы после вечеринки в большой гостиничной комнате с высоким потолком. Салли прикорнула на диване, и, как это бывало у них с Руфью, Джерри стал искать, что бы на нее накинуть. Он обнаружил на резной спинке стула грязный мужской дождевик с клетчатой подкладкой. Он укрыл им плечи Салли, но длинные ноги ее торчали: плащ оказался короток. Это был детский плащ, совсем маленький. А что было дальше, Джерри не помнил. Он встал, побрился и сошел вниз. Дети в пижамах казались нежными пчелками, гудевшими вокруг свечей из молока. Джоанна встретила его широкой хитренькой ухмылкой, раздвинувшей ее веснушки.

— А папа сегодня ночевал дома, — объявила она.

— Папа всегда ночует дома, — сказал Джоффри.

Чарли потянулся через угол стола и натренированной рукой стукнул брата по голове.

— Ничего подобного. Они с мамой слишком много ссорятся.

Личико Джоффри, расплывшееся было от счастья, сморщилось, и улыбка сменилась рыданиями.

— Чарли, это — *не* наилучший способ, — сказал Джерри. — И не самый правильный.

— Он же дурачок, — оправдывался Чарли.

Джоанна хихикнула.

— Чарли всегда говорит, что Джоффри — дурачок, — сказала она. — Развоображался.

— Ничего подобного, — сказал Чарли, обращаясь к отцу; маленькое личико его заострилось от напряжения. Он повернулся в Джоанне и сказал: — *Сама* ты воображала. Джоанна развоображалась потому, что у нее есть дружок.

— Ничего *подобного*. Мама, чего он болтает, что у меня есть дружок, нет у меня никаких дружков. Он все врет. *Врун*. Воображала. Врун.

— Джерри, да *скажи* же им что-нибудь, — сказала Руфь, ставя на стол большую тарелку с намазанными маслом тостами. — Не стой так.

— Он... он... он... — заикаясь, произнес Джоффри, взывая к отцу, — он оби-идел меня.

— Он, — дурачок, — деловито изрек Чарли, как неопровержимую истину; губы его лоснились от масла.

— Знаете, что я думаю по поводу этих ваших пререканий? — спросил, обращаясь к ним ко всем, Джерри, и сам же ответил: — Кака. — Все дети — даже Джоффри — дружно рассмеялись, услышав от отца детское словцо. Личики их повернулись к нему, приподнялись, засветились в ожидании дальнейшего развлечения. — Знаете, кто вы, по-моему, такие? — спросил он. — По-моему, вы — какашки.

Они захихикали и заерзали.

— И еще тонкозадики, — добавил Чарли и быстро оглядел стол, проверяя, попал ли он в точку; легкое хихиканье подтвердило, что попал.

Джоффри, улыбаясь всеми своими ямочками, объявил:

— И вонючки.

— И тошнилки, — пропела Джоанна, словно изобретая новую считалку.

— И дыроколы, — внес свой вклад Чарли, после чего наступило такое веселье, что Джерри, боясь поверить своей догадке, на всякий случай постарался сдержать смех.

— Послушайте, мне кажется, это не слишком подходящая беседа за столом, — объявила Руфь. — Джоанна и Чарли, у вас всего семь минут на одеванье. Чарли, тебе придется снова надеть клетчатую рубашку, у меня не было времени выгладить белую, *извини*. — Она произнесла это с таким нажимом, что он, занудив было, тотчас умолк. — Джоффри, бери свой тост и отправляйся смотреть телевизор. Садись на пол: я не хочу, чтоб на диване среди подушек были крошки. — Наконец, Руфь и Джерри остались на кухне одни. — Что заставило тебя подняться в такую рань? — спросила она. Было тридцать пять минут восьмого; он сидел в нижней рубашке и в серых брюках от своего рабочего костюма.

— Чувство вины, — ответил он. — И страх. Как ты считаешь, идти мне сегодня на работу?

— А у тебя есть что-нибудь срочное? — спросила Руфь. Она слила недопитый детьми апельсиновый сок в чистый стакан и дала ему.

— В общем, нет. Эта реклама для Третьего мира скисает: Информационной службе США снова срезали ассигнования. — От сока стало жечь под ложечкой, и одновременно с болью он осознал, что наступивший день — качественно иной, чем предыдущий, и что отныне все дни будут такими. — Я думаю, мне

лучше побыть здесь, чтобы принимать на себя огонь зениток.

— Это будет очень любезно с твоей стороны, — сказала ему Руфь. Лицо у нее было настороженное и застывшее. Она тоже только сейчас начала осознавать случившееся. — Мне б хотелось, чтоб ты сделал для меня кое-что.

— Что? — Его сердце запоздало подпрыгнуло от благодарности, когда он услышал, что все еще может быть ей полезен.

— Эти чертовы объявления, которые я обещала сделать к распродаже барахла. Прежде чем отбыть, ты не мог бы написать их за меня? Я обещала сделать пять штук. Это займет у тебя десять минут, и они, конечно, получатся куда лучше, чем у меня, сколько бы я ни старалась, даже если бы сумела взять себя в руки.

— Мне кажется, что ты вполне держишь себя в руках, — не без укора сказал он.

— Я приняла успокоительное. Я решила, что не могу позволить себе напиться, поэтому отыскала старые таблетки, которые принимала после рождения Джоффри. Не знаю, какое уж они оказывают действие, но я словно где-то парю, и меня слегка тошнит.

— Тошнилка, вонючка и тонкозадик?

— Очень они распустились. Учуяли беду, наверно? Они могли расколошматить всю посуду на столе, я бы и пальцем не шевельнула. Ну, пожалуйста, *можешь* ты написать эти объявления? Я не в состоянии думать о них — это для меня уж слишком.

— Конечно.

— Тогда я посмотрю, что надо писать. По-моему, текст у меня наверху вместе с картоном, который я купила. *Никогда* больше не стану ничего делать для этих индепенденток. Почему они такие *настырные?*

— От усердия, — сказал он. — Мне очень жаль, что я тебя в это втянул.

Сверху раздался крик Чарли, звавшего мать, и Руфь, скользнув по кухне невозмутимо, как луна среди облаков, отбыла ему на помощь. Джерри растер в мисочке кукурузные хлопья, залил их молоком и тут вспомнил о газете — она, наверное, так и лежит на крыльце. Он как раз подходил к входной двери, когда раздался звонок; Джерри открыл дверь и обнаружил мужчину, поднимавшего свернутую газету, — на его макушке сквозь спутанные черные жесткие волосы просвечивала лысина. Ричард выпрямился с искаженным, покрасневшим от напряжения лицом и протянул газету Джерри.

— Спасибо, — сказал Джерри. — Входи же. Раненько ты встал.

— Я и не ложился. А Руфь здесь? Я думал, Руфь здесь.

Джерри крикнул: «Ру-уфь!», но она уже спускалась по лестнице. Джоанна и Чарли, одетые для школы, стуча ботинками, спускались следом за ней.

— Доброе утро, — спокойно сказала Руфь. — Ричард, я буду в твоем распоряжении, как только найду деньги им на завтрак. Джерри, у тебя нет двух долларовых бумажек и двух четвертаков?

— Бумажник у меня наверху, на бюро, — сказал он и хотел было протиснуться между ними.

— Не беспокойся, — сказала она, — моя сумка — на кухне Чарли, пойди вынь из нее два доллара. Загвоздка в четвертаках — все их друг у друга тащат.

— Вот вам два четвертака, — сказал Ричард, выудив их из кармана.

— Грандиозно, — сказал Джерри. — Теперь мы твои должники. — Серебро, перекочевавшее из руки Ричарда, было холодное. Должно быть, он всю ночь провел на улице.

— Мам, тут нет *сумки!* — раздался крик Чарли.

Джоффри, услышав шум, появился в прихожей и, ко всеобщему удивлению, боднул Ричарда головой между колен. Несколько месяцев тому назад, на пляже, когда поверхность их жизни была еще безмятежно спокойна, Ричард, обладавший способностью лежа качаться на волне, разрешал двум маленьким мальчикам — Джоффри и собственному сыну Питеру — толкать его в мелководье, точно большую надувную лодку, и вот теперь Джоффри вспомнил доброе старое время и налетел на него, предлагая продолжить игру, так что Ричарду пришлось расслабить мускулы, чтобы не упасть.

— Полегче, шкипер, — сказал он, натянуто улыбаясь и ероша густые голосы на круглой головенке, упиравшейся ему в ноги.

Джерри от смущения стал просматривать заголовки в газете, которую держал в руке. «Негр принят в университет штата Миссисипи». «Трое погибли во время волнений в университетском городке». «Хрущев приглашает Кеннеди в Москву». «Чжоу Энь-лай непреклонен в споре с Советами». «Гиганты» и «Финты» борются за первое место».

— Папа едет играть в гольф? — спросил Чарли, выходя наконец из кухни с зеленой сумочкой Руфи. Он не мог представить себе, зачем бы еще чужому мужчине являться к ним в такую рань, хотя Ричард в своем гангстерском клетчатом спортивном пиджаке, розовой рубашке на пуговицах и хорошо повязанном галстуке был одет совсем не для гольфа.

— Дурачок, — сказала Джоанна. — Мистер Матиас не играет в гольф, это только мистер Коллинз играет.

— Мистер Матиас пришел по делу, — сказала Руфь, обменивая деньги на поцелуи, и потянулась через плечо Ричарда, чтобы открыть дверь. Джоанна и Чарли, не оглядываясь, сбежали по ступенькам крыльца и пересекли дорогу.

До чего же у них серьезный вид, подумал Джерри, отрывая взгляд от газеты и глядя сквозь оконное стекло на детей, которые встали под вязом в ожидании школьного автобуса. Не задумываясь над тем, что приютившее их дерево все уменьшается в размерах, они подбрасывали ногами опавшие листья. Вокруг каждого палого листа на асфальте было влажное пятно — поцелуй.

Руфь спросила Ричарда:

— Хочешь кофе?

— Если можно, — сказал он. Страдающий потный клоун ми-

нувшей ночи исчез, на его месте возник некто большой и жесткий, чье присутствие угрожало их дому. — Мне надо кое-что сказать Джерри, раз уж он здесь, и кое-что сказать тебе, Руфь. То, что я должен тебе сказать, не займет много времени, — добавил он, обращаясь к Джерри. — Где мы могли бы поговорить? — Джоффри все еще цеплялся за ноги Ричарда.

— Лучше всего, пожалуй, на заднем дворе, — сказал Джерри. Слова эти словно повисли в пространстве: он чувствовал себя, как перепуганный актер, подающий реплики, которые он не успел выучить.

Руфь сказала:

— Я сейчас сварю свежего кофе. Джоффри, иди смотреть телевизор. Там сейчас фильм.

Джерри вывел Ричарда через кухню на воздух. Они остановились под кленом; на одной из веток Джерри давно уже пристроил качели. Вся земля вокруг качелей была утрамбована и начисто вытоптана, тогда как остальная лужайка нуждалась в стрижке: она заросла высокой тощей осенней травой, которая умирает в августе и снова оживает под сентябрьскими дождями. Джерри спросил:

— Ты правда был всю ночь на ногах? Что ты делал?

Ричард не желал смягчаться. Он остановился в таком месте покатого двора, чтобы возвышаться над Джерри не только на природный дюйм.

— Поехал в Кэннонпорт и шатался по улицам. Время от времени заходил куда-нибудь выпить и наблюдал, как солнце встает над причалами. Меня ведь точно обухом по голове ударило, приятель.

Джерри передернул плечами.

— Ну так вступи в клуб.

— Я завтракал с моим адвокатом, — продолжал Ричард. — В результате наших разговоров выявилось два, нет, три момента, о которых сейчас и пойдет речь.

Джерри снова передернул плечами: он чувствовал, что должен подать какую-то реплику, но забыл какую.

— Во-первых, — заявил Ричард, — я сейчас приехал из моего дома — моего бывшего дома, — где я оставил Салли в отличном здравии.

— Прекрасно.

— Я ничем ей не досаждал. Принял душ, побрился и сообщил ей свое решение — в той части, которая ее касается.

— Ей все-таки удалось уснуть?

Ричард искоса бросил на него взгляд, слегка озадаченный тем, что Джерри, похоже, знает больше него.

— Она спала как младенец. Я еле ее добудился. Она поздно встает — придется тебе к этому привыкать. Теперь насчет дома: я намерен жить в нем. Я полагаю, вы с ней, как только сможете, подыщете себе другое место, а до тех пор мы будем жить с ней вместе, но, так сказать, не как муж и жена.

— Так сказать. Выражение твоего юриста?

— Я говорю серьезно, Джерри.

— Конечно. — Он посмотрел вверх: небо было голубое, как выцветший бархат, и с запада на него наползали грозовые серые тучи.

— Во-вторых, я разведусь с Салли, если ты согласен на ней жениться.

— Если? Я считал, что уже дал согласие. — Голос Джерри прозвучал хрипло: он почувствовал, что скользит по наклонной плоскости.

— Разводиться будем не в нашем штате — об условиях договорятся ее адвокат и мой. Я не буду претендовать на детей, хотя, естественно, рассчитываю, что мне будет предоставлено право видеть их в разумных пределах и участвовать в их воспитании.

— Конечно. Тут я не могу тебя заменить. Нам всем придется помогать друг другу, чтобы дети легче это пережили.

— Совершенно верно, — сказал Ричард, сквозь зубы. — В-третьих, если ты *не* женишься на Салли, я намерен подать на тебя в суд за алиенацию супружеских отношений.

В Джерри словно швырнули подушкой — не больно и спрятаться можно; внимание его вдруг привлек двор, нестриженная трава, обрывки бумаги, валяющиеся игрушки, которые следовало подобрать, кочки и изрытые дырочками горки под ногами — свидетельства существования иных городов, где у насекомых есть свои иерархии, своя обыденность, свои торговые пути, и королевы, и пятилетние планы. Джерри сказал:

— Я не очень точно представляю себе, что значит «алиенация супружеских отношений». Очевидно, мне это растолкует юрист. Но мне кажется, ты совершаешь ошибку, думая, что влечение не было обоюдным.

Ричард сказал неожиданно вкрадчиво:

— И ты и *я*, мы оба знаем, Джерри, что Салли во всей этой истории была не менее агрессивна, чем ты, а возможно, даже более. Но в глазах закона она — не свободное лицо. Она — движимое имущество. В глазах закона, оторвав от меня жену, ты причинил мне немалый моральный ущерб — моральный и, в известной мере, физический, и я имею право на компенсацию. Она швырнула мне в голову бронзовую фигуру и могла меня убить; это ущерб. Теперь мне какое-то время придется прибегать к помощи проституток — вот тебе еще ущерб. Эти законники — премерзкие людишки, приятель Джерри.

— Ерунда, — сказал Джерри. — Она бы не пришла ко мне, если бы уже не настроилась против тебя. Она же твоя жена — твое было дело ее удерживать. Из-за тебя мои дети будут теперь искалечены. Из-за того, что ты такое дерьмо, моя жена хочет умереть.

— Хватит, по-моему. Не обольщайся на счет Руфи: она вполне обойдется без тебя. И поосторожнее со словом «дерьмо». Лучше не заводи меня, приятель Джерри. Ты сейчас ведешь игру со взрослыми людьми.

— У меня вопрос.

— Слушаю тебя.

— Насчет ваших супружеских отношений с Салли, которые я, как ты выражаешься, алиенировал. Если бы я вдруг исчез, ты думаешь, ты мог бы их восстановить?

Лицо Ричарда дернулось, как бывает, когда в фильме проскакивает несколько кадров, а быть может, Джерри в этот момент просто моргнул, затронув самую больную точку. Ричард медленно произнес:

— Если ты плюнешь на Салли, я сам решу, как с ней дальше быть. Сейчас я исхожу из того, что ты *женишься* на ней. Я прав?

Неправильно это, да?

— Я прав? Да или нет, Джерри?

— Я пришлю тебе сейчас Руфь. По-моему, все, что мне адресовано, ты уже выложил.

— На данный момент — да.

Когда Джерри вошел в дом, Руфь спросила его:

— Что он сказал?

— Ничего. Всякое разное. Если я не женюсь на Салли, он потащит меня в суд.

— За что? За то, что ты с ней спал?

— Это называется «алиенация супружеских отношений».

— Но ведь инициатива-то принадлежала ей.

— Все это блеф, Руфь. Этот идиот и мерзавец не хочет говорить впрямую, вот он и блефует.

— Ну, он уязвлен. Он человек слабый.

— А кто не слабый?

— Нельзя же, чтоб он стоял там один на дворе. Выключи воду для кофе, когда чайник запоет.

Из окна кухни Джерри наблюдал за тем, как разговаривали Руфь и Ричард. С нею Ричард расслабился и вел себя совсем уж нелепо, по-домашнему: сел на качели и в изнеможении принялся раскачиваться — вперед, назад. Через некоторое время, побуждаемый, судя по жестам, Руфью, он встал, снял свой клетчатый пиджак, расстелил его на траве возле сарая, где хранились велосипеды, лестница и садовый инструмент, и они оба сели. Сидели рядышком и курили, деля одну сигарету. Когда Ричард затягивался, нижняя губа у него по-старчески отвисала; Руфь кивала в ответ на слова, вылетавшие у него изо рта вместе с дымом, она раскраснелась и вся напряглась, точно в сексуальном экстазе — так бывало в художественной школе, когда преподаватель останавливался у ее мольберта. Тучи, надвигавшиеся с запада, принесли с собой ветер; вокруг поглощенной разговором пары взлетали и кружились листья, и Джерри подумал, как хорошо было бы, если бы Ричард с Руфью так и остались навеки там, на заднем дворе, этакими садовыми статуями, полубогами-хранителями. Вода для кофе закипела; Джерри выключил горелку. За его спиной, в доме, жалобно причитал Джоффри: он попытался сам одеться и никак не мог справиться с пуговицами. Джерри застегнулего вельве-

товый комбинезончик и позвонил на работу — сказал, что проснулся с ощущением ужасной простуды. И в самом деле от недосыпа у него саднило горло и текло из носа. Позади бюро, за которым работала Руфь, он обнаружил картон, а в детской — несколько бутылочек с засохшей краской для картона и затвердевшую кисточку, которую он вымыл под краном на кухне. Когда Руфь и Ричард, наконец, вернулись в дом, они застали его в гостиной: он сидел на полу и писал плакаты для индепендентской церкви.

— Молодец, — сказала Руфь и подала кофе.

Ричард сидел на диване и в изумлении смотрел, как Джерри широкими уверенными мазками выводил РАСПРОДАЖА СТАРЬЯ по-диснеевски танцующими крупными буквами, а потом поставил число, указал место распродажи и нарисовал карикатурную сломанную лампу, пустую раму от картины и пару по-дурацки заштопанных носков. Руфь пошла к телефону.

Джерри спросил:

— Ты кому собираешься звонить? — Он-то ждал, что она сядет и будет восторгаться его творчеством.

— Снова миссис О., — сказала она. — Ричард считает, что мне надо поехать в Кэннонпорт и поговорить с его адвокатом.

— Зачем тебе говорить с адвокатом Ричарда?

— Он подберет мне адвоката.

Ричард сказал:

— Я твердо уверен, что Руфь должна нанять адвоката.

— Пожалуй, — сказал Джерри, опуская кисточку сначала в воду, затем в малиновую краску.

— Если бы она наняла адвоката полгода тому назад, мы бы сегодня все так не страдали, и дело бы уже шло на заживление.

Малиновая краска жирно легла на картон.

Мужчины молчали, пока Руфь договаривалась с миссис О., чтобы та пришла через полчаса. Когда она повесила трубку, Ричард сказал ей:

— Он ждет тебя. Я прикинул, что ты подъедешь к нему до полудня, сумеешь?

— Конечно. Я должна вернуться домой к трем, чтобы отправить Джоанну на музыку.

— Тогда я сейчас позвоню ему и подтвержу. У тебя ведь есть его адрес.

— Да, Ричард, да. Я же не идиотка. Ты только что дал его мне.

— Я устал. Господи, мне просто необходимо на боковую. Будем поддерживать контакт. — Ричард тяжело поднялся с дивана, а встав, явно почувствовал себя обязанным что-то изречь. — Сегодня у нас черный день, — сказал он, — но будем надеяться, что впереди нас ждут лучшие дни.

Сидя на полу, Джерри посмотрел на него снизу вверх и смутно почувствовал преимущественно своей позы. Не вставая, он сказал:

— Ричард, мне хочется поблагодарить тебя за то, что ты так

помогаешь Руфи и относишься ко всему так практически, по-мужски.

— Премного благодарен, — мрачно произнес Ричард.

Джерри увидел то, чего не заметил вчера ночью во время объяснений в тесном семейном кругу, а именно: что Ричард вылез из своего обитого ватой туннеля с глубокой раной, которую намерен использовать к своей выгоде в предстоящие жестокие дни.

Когда шаги Ричарда затихли на дорожке, Джерри спросил Руфь:

— О чем он там с тобой трепался так долго?

— О... видишь ли... О всяком разном. Он сказал мне, что я еще молодая, и хорошо выгляжу, и меня еще многое ждет в жизни. Что ты не единственный мужчина на свете и что по закону у тебя есть обязательства передо мной и детьми.

— Я этого никогда и не отрицал.

— Он сказал, что я все лето уговаривала тебя остаться, а теперь надо попробовать что-нибудь другое. Я должна дать тебе развод. Он сказал, что хватит думать о тебе, пора подумать о *себе*, о том, чего *я* хочу.

— Настоящий представитель Торговой палаты.

— Он говорит здравые вещи.

— А что он сказал про детей?

— Он сказал, что дети — это, конечно, важно, но не они должны определять мое решение. Собственно, он не сказал ничего такого, чего мы бы с тобой уже не знали, но все как-то становится яснее, когда слышишь от другого.

— Счастливая разводка. Черт меня подери. О'кей, когда ты сама примешься за свои чертовы плакаты для распродажи?

— Не приставай ко мне с ними — я не могу сейчас этим заниматься. Через четверть часа придет миссис О. Ты уже сделал один плакат — получилось отлично, сделай еще четыре таких же. И не оригинальничай — тогда это займет у тебя ровно пять минут. Ну что тебе сегодня еще делать? Или ты собираешься к ней?

— По-моему, я должен к ней поехать.

— Сделай для меня эти плакаты, и я никогда больше ни о чем тебя не попрошу.

— «Будем поддерживать контакт» — этот елейный мерзавец говорит моей жене, что он будет с ней поддерживать контакт.

— Джерри, мне *пора* одеваться.

Точно он ее задерживает. А может быть, все-таки задерживает? Хотя рука у него дрожала и пол под картоном перекатывался, будто палуба корабля, он все-таки старался сделать очередной плакат лучше предыдущего — смешнее, живее, завлекательнее. На это у него ушло больше пяти минут: Руфь приняла душ, оделась и спустилась вниз, а он все еще работал. На ней было гладкое черное платье, которое ему всегда нравилось: трикотаж облегал бедра, а черный цвет придавал что-то трагическое ее уступчиво-мягкому, бледному лицу. Она поцеловала его на прощание. А у него пальцы были выпачканы в краске, и он не мог до нее дотронуться. Он спросил:

— Это Ричард подсказал тебе, как должна быть одета дама, когда она едет к адвокату?

— А тебе это кажется правильным? Мне, наверное, следовало бы надеть шляпу с вуалью — как в церковь, да только у меня ее нет. Я, конечно, могла бы снова взять у Линды. Как ты думаешь, он уже сейчас спросит меня о разделе денег?

— По всей вероятности. А сколько, по мнению Ричарда, ты должна просить?

— Он упомянул цифру «пятнадцать». Мне кажется, это очень много. Не думаю, чтобы мой отец за всю свою жизнь столько заработал.

— Что ж, постарайся получить сколько сможешь. Я уверен, у адвоката Ричарда будет немало прекрасных идей.

— Ты злишься? Разве я не правильно поступаю? Но у меня же нет выбора, верно?

— Я вовсе не злюсь. Мне грустно. По-моему, ты очень храбрая и выглядишь грандиозно. Поцелуй меня еще раз. — Он наклонился к ней, но рук не протянул. Нос у нее был холодный, а язык теплый. На крыльце застучали каблуки. Прибыла миссис О. Руфь направилась к выходу, по дороге роясь в сумочке, и Джерри слышал, как она бурчала себе под нос: «Ключи от машины, ключи от машины».

Он дорисовал плакаты, пока миссис О. кормила Джоффри вторым завтраком. Очутившись наедине с безусловно добрым человеком, Джоффри болтал без умолку. Слуха Джерри достигало его бормотание, и он вдруг понял, что голоса его детей, когда он слушает их с мыслью, что скоро с ними расстанется, меняют тональность, звучат глуше — так глаз раздражал бы рисунок, где все тщательно выписано, только у одного здания на втором плане смещена перспектива и крыша скошена под немыслимым углом, отчего все кажется чуть сдвинутым, ненужно гулким. Все лето, из других комнат, через полосы асфальта и травы, Джерри слышал вот такое же приглушенное бормотанье; оно раздражало его не меньше, чем чувство унылого однообразия, которое неизменно возникало у него по утрам, когда он просыпался от сна, наполненного желаниями и планами, связанными с Салли, и видел перед собой слегка улыбающуюся Руфь на автопортрете, удивительно точном по цвету, но вовсе не похожем на оригинал, — портрет этот она подарила ему, краснея от смущения, прошлой зимой к его тридцатилетию. Она как бы подарила ему себя — тем способом, каким умела.

Только когда плакаты были готовы и разложены на диване для просушки, а кисточка вымыта и краски убраны в детскую, Джерри почувствовал, что должен позвонить Салли. Миссис О. повела Джоффри по палой листве на прогулку в кондитерский магазин; Джерри остался дома один. Было странно набирать номер Салли из своего дома. Он набрал шестерку вместо семерки, опустил трубку на рычаг, словно затыкая рот, разверстый для крика, и набрал заново.

— Алло. — Голос ее уже не звучал в конце слова вопросом.

— Привет, ты сумасшедшая мисс Матиас. Это я. Как ты там?

— Прили-чно. — Она разделила слово на две половины.

— Ричард у тебя — спит?

— Нет, он снова уехал, он ужасно возбужден. Он всегда возбуждается, когда имеет дело с адвокатами. А ты как?

— Я — один. Руфь поехала повидать адвоката твоего мужа, а женщина, которая приходит к нам, отправилась с Джоффри гулять.

— Ты уже сказал детям?

— О, господи, нет. Все пока так неясно. Ричард был тут — сыпал ультиматумами и раздавал советы.

— Он сказал, что вид у тебя перепуганный.

— Смешно, да и только. Он вздумал нас стращать.

— Ему *так* больно, Джерри.

— Эй! Хочешь, чтоб я приехал?

— Если ты хочешь, я буду рада.

— Конечно, хочу. Почему бы мне не хотеть? — И когда она промолчала, он добавил: — Голос у тебя такой, будто ты вся в ссадинах.

— Да, пожалуй, так оно и есть. В ссадинах.

— Ну, больше ни на что не налетай — стой посреди комнаты и не двигайся. Я мигом примчусь.

— Я люблю тебя.

Надо спешить, иначе он потонет. Джерри надел парусиновые туфли, но забыл их завязать и выскочил на задний двор с развевающимися, подпрыгивающими шнурками. По ошибке он вытянул подсос в своем «меркурии» точно на дворе была зима, и теперь захлебывавшийся бензином мотор не желал заводиться. Наконец мотор взревел, и машина помчалась мимо почтовых ящиков, распахнутых гаражей, палых листьев в дымящихся кучах, пустых дворов. Весь городок словно вымер — Джерри подумал, уж не началась ли атомная война, и посмотрел на небо: а вдруг изменилось? Но облака в вышине отражали лишь тоску повседневности. Дом Матиасов на холме казался развалиной, заброшенной ветряной мельницей. Цезарь примчался из рощи и залаял, но вяло; на астрах у входа на кухню, поглощенных накануне ночной тьмой, теперь виднелись ржавые пятна. Сразу за дверью Салли робко прижалась к нему. Она была — его. Тело ее поразило его своей реальностью — такое крепкое, большое и твердое; она деревянно уткнулась лбом в сгиб его шеи, от ее лица шел сухой жар. Он крепко прижал ее к себе — этого она и ждала. В холл притопала Теодора и уставилась на них. Брови у нее, как у Салли, были изогнуты и более темные к переносице, отчего лицо казалось если не разгневанным, то настороженным, словно мордочка дикого, вечно преследуемого зверька. Нижней половиной лица девочка пошла в Ричарда: у нее был такой же тонкий птичий рот. В широко раскрытых, в упор смотрящих глазах отражалась живая прозрачность окружающего мира, и они с Салли стояли как на витрине в этом доме с высокими потолками. Он сказал:

— Эй?

Салли только крепче сцепила руки на его спине, глубже вовлекая его в свою потрясенную неподвижность. На ней была трикотажная кофточка в оранжевую полоску и белые летние брюки — этакий задорный морской костюм.

Джерри спросил ее:

— Тебе не кажется, что мы — как двое детишек, которых застигли с поличным, когда они залезли в банку со сластями?

Она отстранилась и без улыбки посмотрела на него.

— Нет. А тебе так кажется?

Он передернул плечами.

— Что-то в этом роде. В какой-то степени. Я уверен, что это пройдет.

Она снова вжала лицо в его шею и спросила:

— Ты чего-нибудь хочешь?

Неужели она предлагает ему заняться любовью здесь, когда весь мир глядит на них? Он обратился к малышке через плечо Салли, чтобы напомнить, что здесь ее дочка:

— Ты не спишь, Теодора?

— Она теперь уже не спит по утрам, — сказала Салли. В стремлении еще больше к нему прижаться — раньше это выходило само собой — она слегка отстранилась, создав между ними воздушное пространство, но головы не подняла, словно боялась показать ему свое лицо. И, глядя вниз, рассмеялась. — Ты забыл завязать шнурки.

— Ага, и забыл взять сигареты.

Она решила совсем от него отстраниться.

— По-моему, Ричард оставил несколько штук в гостиной. Где мы сядем?

— Где угодно.

Где?

Мы могли бы как-нибудь встретиться, попить кофе, если хотите. Только не в Гринвуде. Это ведь было бы нехорошо?

Нет. Впрочем, да. Нехорошо, зато правильно. Когда? Когда же, Салли, милая? Не дразните меня.

Это вы дразните меня, Джерри.

— Сколько чашек кофе ты выпил сегодня утром? — предвкушая ответ, улыбнулась Салли.

— Не так много. Две, — сказал он, раздражаясь при мысли, что предал ее, не выпив больше. Она не спала всю ночь, она хлестала кофе, а он наслаждался теплом жены и, как ребенок, рисовал на полу.

Он сидел на ее яркой кухоньке — вокруг сверкали ножи, формы для бисквитов, края кухонного стола, тускневшие, когда солнце заглатывали облака, — и говорил о Ричарде и о Руфи: они с Салли обнаружили, что им трудно говорить о себе. Их любовь, их связь лежала между ними — огромная, нелепая, с острыми углами. К своему стыду, Джерри думал лишь о том, как бы не коснуться Салли; ему хотелось объяснить, что не в ней дело: не она

изменилась — изменился мир. То, что Ричард знает, пронизало все и оголило: деревья стояли безлистые, в доме все было натерто и сверкало, как на витрине, холмы высились, точно каменные скелеты, и даже если бы Джерри и Салли зарылись, обнявшись, в землю, их все равно бы увидели. Чувство скромности отталкивало его от Салли — только и всего, однако эта же скромность не позволяло объяснить, почему он не хочет ее касаться. Непостижимо, но их отношения, оказывается, тоже требуют такта. Она встала; он встал; обоих, грозя бедою, бомбардировал свет. Джерри с радостью приглушил бы яркость Салли, ибо в этом удивительно прозрачном мире она изобличала, выдавала их присутствие, а им так необходимо было укрыться.

Они не слышали, как подъехала машина Ричарда. Он обнаружил их на кухне — они стояли с таким видом, будто только сейчас разомкнули объятия. Губы Ричарда были поджаты, как у старика.

— Ну и ну, — сказал он. — Это уж слишком.

Джерри захотелось стать совсем маленьким, незаметным, и он опустился на жесткий кухонный стул. А Салли продолжала стоять.

— Нам надо поговорить, — сказала она. — Куда же нам идти?

Ричард по-прежнему был в пиджаке и в туго повязанном галстуке, словно после продолжительных консультаций сам стал юристом.

— Конечно, конечно, — согласился он. Это двукратное повторение как бы придавало словам силу закона. — Вам надо поговорить — все как следует перелопатить. Извини, возможно, мы не всегда разумны, но мы стараемся, стараемся. Я заехал взять кое-какие бумаги — банковские книги и страховые полисы: ты знаешь эту папку, Салли. Ты мне разрешишь подняться наверх в нашу бывшую спальню?

— У нас был очень грустный разговор, — попробовала перекинуть к нему мостик Салли, — *о тебе*.

— Право же, это очень мило с вашей стороны. Вы оба, право же, очень заботитесь о моем благополучии.

— Ох. Ричард, успокойся, — сказала Салли. — Мы же все-таки люди.

— Я ценю это. Ценю. Насколько мне известно, я никогда не утверждал, что стороны, участвующие в данных переговорах, — не люди. Джерри, ты куришь сигареты свои или мои?

— Твои.

— Так я и думал.

— Вот, возьми двадцать восемь центов.

— Оставь свои деньги при себе — они тебе понадобятся. Располагайся, как дома, приятель Джерри. Салли-О, позаботься о том, чтобы Джерри как следует пообедал у нас, ладно? Сожалею, но не смогу присоединиться к вам, хоть и знаю, что вы меня очень просите.

Джерри встал со словами:

— Я ухожу.

— Не смей, — приказала Салли.

— Это не мой дом, — сказал ей Джерри. — Это его дом. Он прав. Мне не следует здесь оставаться.

Ричард шагнул к нему, по-медвежьи обхватил рукой и прижал к себе; на близком расстоянии в его дыхании чувствовалось виски — тяжелый неистребимый запах сепии.

— Конечно, оставайся, Джерри. Иисусе Христе, конечно, оставайся. Прости меня, а? Когда я только вошел, я на минуту потерял голову, но сейчас все о'кей. Все, что мое, — теперь твое, угу? А ты, ей-богу, крепко ее обхомутал, верно? — Он сильнее сжал плечи Джерри, и у того мгновенно возникло неприятное ощущение, что он — младенец, совсем крошечный, которого можно сдавить, поднять на воздух и выкинуть. Ладони у Джерри зачесались, во рту пересохло. А Ричард тем временем продолжал: — Приятного аппетита. Салли хорошая кулинарка — этого у нее не отнимешь. Она превратила мою жизнь, приятель, в сущий ад, но еда всегда была на столе — трижды в день, приятель: раз, раз, раз. Неплохая она девчонка, Джерри, счастливчик ты этакий: ты ведь действительно ее обхомутал, а? Никак не могу с этим примириться: знаю, ничего тут от разума нет, знаю, просто защитный рефлекс работает, но никак это не умещается в моей дурацкой тупой башке.

Джерри сказал:

— Она по-прежнему хорошо к тебе относится. — Сердце у Джерри колотилось, он старался вылезти из ямы, добиться одобрения Ричарда, его прощения. — До прошлой ночи, — продолжал он, — я понятия не имел, насколько хорошо она к тебе относится.

— Дерьмо, — сказал Ричард. — Merde, Саса. Убери ее с глаз моих — от одного ее вида меня, честное слово, с души воротит. Желаю удачи, дружище. Даю вам, двум палачам, три года, самое большее.

— Оставь его в покое, — сказала Салли Ричарду. — Неужели ты не видишь, как он мучается из-за своих детей?

— Мне самому жаль его детей, — сказал Ричард. — Мне жаль и моих тоже. Мне жаль всех, кроме тебя, Салли-О. Ведь все это твоих рук дело.

— Джерри волен в любую минуту уйти, — сказала Салли, гордо вскинув подбородок. — Я его не держу. Я хочу, чтобы мужчина *хотел* меня.

Но Ричард уже повернулся к ней спиной и шел вверх по лестнице, перешагивая через три ступеньки сразу. Оттуда он крикнул:

— Где мой чертов халат?

Салли подошла к подножию лестницы и не менее громко крикнула:

— Не смей лазать в мой шкаф!

Тяжелые шаги Ричарда шаркали по полу над их головой в одном направлении, потом в другом, и вскоре он спустился вниз с чемоданом; даже не взглянув в их сторону, он проследовал на

улицу, хотя они вышли в холл, точно слуги, чтобы получить последние указания.

Салли отбросила с ушей свои длинные волосы и вздохнула.

— Все разыгрывают такую мелодраму.

— Не надо тебе здесь оставаться, — сказал Джерри. — Я не могу навещать тебя: Ричард будет шнырять туда и обратно. Он сказал мне, что намерен здесь жить.

— Это не только его дом, но и мой, — сказала Салли.

— Так-то оно так, но ведь не Ричард, а ты хочешь развода.

Она уставилась на него; глаза ее расширились с наигранной наивностью.

— Только я? А мне казалось, мы *все* хотим этого.

— Ну, одни больше, чем другие.

— Возможно, я не так поняла прошлой ночью, — не отступалась Салли. — Мне показалось, я слышала, как ты сказал, что хочешь на мне жениться.

— Я и сказал. Мне не нравится, что ты здесь живешь. Мне кажется, тебе здесь небезопасно.

— Ах, ты о Ричарде, — мягко сказала она, снова отбрасывая назад волосы. — *С ним* я справлюсь. — Это подчеркнутое *с ним* словно раскрыло перед Джерри неведомые земли. Он почти прозрел, вот если б только Салли со своими непрестанными заботами и отчаянной практичностью не стояла на пути его прозрения. Она сказала: — Хочешь, поедем посмотрим дом художника? Помнишь, я тебе говорил?

Он — прелесть, Джерри, он тебе понравится, он прелестный старикан. Не знаю, сколько ему лет, но духом он такой молодой.

По твоим словам, он еще мужчина что надо.

Он любит меня. Называет меня своей дочкой.

Как мило. С его стороны. И с твоей.

Джерри был ненавистен в это лето их связи ее флирт со старым художником, который зимой давал уроки в городе и был тем, чем мог бы стать Джерри, — художником, свободным человеком.

— Как же я мог забыть?

— Наверное, это для нас слишком дорого. Он ведь там все сам устроил, сам столярничал. — Она понизила голос, зазвеневший было от восторга. — Там ты мог бы поселить меня, пока мы не объединимся. И тогда едва ли он много запросит. И детям не придется менять школу.

— Далеко это отсюда?

— Всего одна миля.

Джерри рассмеялся.

— Не намного же мы продвинемся к Вайомингу.

В машине Джерри был сломан глушитель, мотор грохотал и отравлял воздух, и потому они поехали в сером «саабе» Салли — она за это время успела починить стартер. Салли вела машину; Теодора застенчиво сидела на коленях у Джерри. Ху-

дожник построил свой высокий домик, своеобразную пагоду без драконов, на поросшем сосною склоне первого холма за Гринвудом. Камни летели из-под колес «сааба», когда машина начала карабкаться вверх. Скошенное деревянное строение, трехэтажное — каждый следующий этаж меньше предыдущего, — было словно сложено из кубиков гигантом-ребенком. Джерри неловко держала на руках Теодору: она была младше и легче Джоффри, но у Джерри было такое чувство, будто он держит собственного малыша; потом в памяти всплыло, как много лет назад, в те невозвратные безгрешные дни, Салли и Руфь обменивались платьями, сшитыми на период беременности, пользуясь тем, что она у них не совпадала, и он, вернувшись домой, вдруг обнаруживал Руфь то в рыжем крапчатом шерстяном платье, то в широкой юбке цвета зеленого леса, в которых глаз его привык видеть Салли, а ведь он — смутно, бессловесно — уже любил ее.

Ключ хранился в доме на сто ярдов дальше. Джерри и Теодора ждали, когда вернется Салли, и девочка так далеко отстранилась от этого чужого дяди, державшего ее, что у него заныли плечи от напряжения и он опустил ее на ножки. Она вперевалку направилась к недавно разбитой лужайке — на траве появились крошечные следы, сначала оставленные случайно, потом нарочно. Он хотел побранить ее, но это было бы предательством по отношению к детям, которых он призван воспитывать, и слова осуждения так и не были произнесены. Салли подошла к ним своей широкой крестьянской походкой, слегка запыхавшись от подъема, и впустила в дом. В доме было холодно — холоднее, чем на улице.

— У него электрическое отопление, — сказала она.

— Оно не включено.

— Просто поставлено на слабый накал.

Балки из красного дерева и сосновые доски, просмоленные до оранжевого блеска, не сочетались с отделкой из стекла и с каменными плитами; внутренность дома была таинственна, как внутренность палатки. Между большими, чуть скошенными окнами строгая прямолинейная мебель прятала острые углы под восточными подушками. Цветные шерстяные коврики пытались смягчить холод каменных плит. Ветви сосен за окном, их тени и отражения наполняли комнату призраками каких-то зверей, а перекладины высоких датских стульев казались насестами или лестницами.

— Прелестный дом, — сказал Джерри, а сам подумал, что жить бы он здесь не мог. Это был дом человека, изгнавшего из сознания все, кроме себя, своих потребностей, своего тела, своей гордыни.

— Кухня, — объявила Салли, невозмутимо продолжая обход дома, словно агент по продаже недвижимости, продолжающий упорствовать, несмотря на всю безнадежность дела. — Маленькая, — сказала она, — но ужасно удобная для работы. Типично мужская кухня.

— Он живет один?

— У него бывают гости.

— Он что же, из выродков?

— Иногда на него находит. Он старый человек, Джерри; философ. Видишь, сколько тут полок? Хватит места и для наших книг.

— Но я же не буду здесь с тобой жить, верно?

— Ты мог бы приезжать ко мне. Я думаю, ты даже *должен* приезжать, чтобы дети к тебе привыкли. Это обременительно для твоей совести?

— Совести? А разве она у меня есть?

— Пожалуйста, постарайся не грустить. Пошли. Тут есть кое-что любопытное — я хочу тебе показать. — Она повела его вверх по лестнице в виде спирали из натертых досок; затем — через верхий холл. Сквозь раскрытые двери из необработанной сосны он увидел тиковые кровати без белья, с матрацами из пенопласта. — Мальчикам придется здесь жить вдвоем, — заметила Салли. В глубине верхнего хола была ванная, обрудованная с римской роскошью. Рядом с дверью стояла лестница — Салли полезла по ней. Ее бедра, обтянутые белыми брюками, проплыли вверх мимо него, точно воздушные шары. — Иди-ка взгляни, — крикнула она вниз.

Салли стояла, в восьмиугольной комнате; южные стены ее были сплошные, без окон, а в остальные стороны открывался вид на верхушки сосен и на северное небо, весь свет с которого забирали окна в скошенных свинцовых переплетах, — вот так какой-нибудь человек, подумал Лжерри, запрокидывает чашу и пьет, а все прочие стоят рядом, изнывая от жажды. За неподвижными оконными переплетами быстро мчались облака. Под окнами стоял большой мольберт, пустой и новый: остатки соскобленной краски в желобке указывали на то, что им пользовались не больше одного сезона. Отсутствующий художник отличался аккуратностью, он явно любил, чтобы рабочее место было хорошо оборудовано — стеклянные полочки, чертежная доска из матового плексигласа, гибкие лампы немецкого или шведского производства. Джерри представил себе картины этого художника — скорее всего, абстрактные, с обилием воздуха на полотне, остроугольные, по новейшей моде. Джерри еще в детстве надумал пользоваться чертежной доской; карандаш его то и дело прорывал бумагу, потому что они с приятелем приспособили эту доску для метания дротиков, а также как верстак, и от гвоздей, которые они на ней распрямляли, оставались дырки.

— Тебе это противно, да? — спросила Салли.

— Нет, что ты. Я восхищен. Мальчишкой я мечтал о такой мастерской.

Салли подождала, не добавит ли он еще чего-нибудь, затем сказала:

— Ну, для нас это слишком дорого. Он хочет двести двадцать в месяц, и счет за отопление будет ужас какой.

— Не знаю, — признался он. — Это... это, пожалуй, слишком хорошо для нас. Пока что.

Он с тревогой впился в нее взглядом, проверяя, поняла ли она

его. Она быстро закивала — *да, да,* — точно лишенный разума автомат.

— Пора домой, — сказала она. — Питер, наверно, уже вернулся из детского сада, и мне надо готовить ленч. Хочешь поесть с нами?

— Конечно, — сказал Джерри. — Мы... я вызвал женщину посидеть с детьми.

Оказалось, что Питер еще не вернулся. По вторникам эту группу детей из школы и в школу возила Руфь. Все словно происходило в другом временно́м измерении по сравнению с тем, когда Руфь в своем мягком черном платье вышла на глазах у Джерри из комнаты и исчезла, улыбаясь и смешно твердя про себя: «Ключи от машины, ключи от машины». А Салли, ставя четыре прибора на тяжелый орехового дерева кухонный стол, тем временем говорила:

— Я сегодня утром спросила мальчиков, хотят ли они, чтобы мистер Конант жил с ними, и они подумали немного, а потом Бобби сказал: «*Чарли* Конант?» Они очень любят Чарли, все его любят.

— За исключением бедняжки Джоффри.

— Это потому, что ты недостаточно их *дисциплинируешь,* Джерри. Бобби тоже пытается подкусывать Питера, но я не позволяю. Я этого не терплю и говорю — почему. Мне кажется, очень важно всегда объяснять детям *почему.*

— А как мне сказать своим, почему я ухожу от них?

Она отнеслась к этому вопросу серьезно.

— Просто скажи им, что вы с мамой хоть и очень любите друг друга, но считаете, что будете куда счастливее, если разъедетесь. Что ты их очень любишь, и будешь часто видеться с ними, и постараешься обеспечить их всем, что в твоих силах.

— Обеспечить. Это для тебя — главное слово, да?

Она подняла на него потемневшие глаза.

— Разве?

— Я вовсе не хотел сказать гадость. У каждого должно быть свое главное слово. У меня, например, — вера. А может быть, страх? У Руфи, как ни странно, — свобода. Когда она сегодня утром уезжала, она казалась такой счастливой. Она словно бы разводилась со всем, что окружает ее.

— Ты устроил ей превеселенькую жизнь, — заметила Салли.

— Это же ради тебя.

— Нет. Не думаю. Ты вел себя так, потому что тебе это нравилось. Ты ведь и мне устроил превеселенькую жизнь.

— Я не хотел.

Она улыбнулась — косо, потом широко.

— Не огорчайся так, повелитель. Мы ведь этого ждали. — Она отделяла от стеблей листики салата-латука для сандвичей. Джерри обнаружил, что его раздражает эта ее расточительность: вовсе ни к чему отрезать сначала стебель. Готовя, она многое делала вот

так — немного бессердечно. На кухне у нее все сверкало, сияло, тогда как у них на кухне было сумрачно и прохладно даже летом.

Салли протянула Теодоре кусочек хлеба с маслом, и спросила:

— А какое главное слово у Ричарда?

Джерри почувствовал облегчение от того, что прозвучало имя Ричарда, что Ричард хотя бы таким путем снова вошел в дом.

— У Ричарда? А у него есть главное слово? Вчера вечером я был поражен его чувством ответственности. Я хочу сказать, что он сразу все увидел в социальном контексте: юристы, школы для детей.

— Как бы он поступил... а, неважно.

— Ну, спрашивай же.

— Как бы он с тобой поступил, если бы я мотанулся?

— Никак.

— Никак?

— Да, он ничего не стал бы делать, Джерри. Возможно, подулся бы и заставил меня поползать перед ним несколько недель, но ничего не стал бы делать — и вовсе не потому, что так уж любит семью. Просто развод стоит денег, а он не любит тратить деньги. Так что пусть это соображение не останавливает тебя.

— Не останавливает меня? Разве я смотрю в сторону?

— По-моему, да, — сказала Салли, выключая горелку под закипевшим супом.

Вернулся Питер; на этот раз группу развозила Джейнет Хорнунг, и Джерри, хотя присутствие его и выдавала машина, стоявшая на дорожке, укрылся в кухне, пока Салли оживленно болтала с Джейнет у двери, где все еще цвели астры. Питер ворвался в кухню, замер и с самым серьезным видом уставился на Джерри. Из трех детей Салли он был меньше всех похож на Ричарда. Это отнюдь не утешало Джерри: ведь Питер вполне мог родиться от их связи, и тогда он заслонил бы собою остальных, и на него одного излилась бы вся мера любви, которая сейчас рассеяна и поделена между тремя детьми. Тонкое лицо Питера, даже на ушах и на носу покрытое прозрачным, заметным на солнце пушком, было мужским слепком с круто замешанной красоты Салли, и это-то и наводило на размышления. Джерри не хватало в этом лице тяжеловесности, одутловатой жесткости, унаследованной от Ричарда другими детьми.

— Привет, Питер, — сказал Джерри. — Это всего лишь я. Как дела в школе?

Мальчик улыбнулся.

— О'кей.

— Чему же ты научился?

— Ничему.

— А мама твоя говорит, что ты теперь умеешь сам застегивать пуговицы.

Питер кивнул, однако почему-то снова погрустнел и встревожился.

— Я ботинки завязывать не умею. — Слова он произносил отчетливо, с неестественным нажимом — совсем как Салли, когда

она разговаривала в Вашингтоне со служащими отеля или в аэропорту.

— Это трудная штука, — сказал Джерри. — Ботинки трудно завязывать. Но когда ты этому выучишься, придется тебе еще научиться завязывать галстук и бриться.

Малыш кивнул, завороженно и настороженно, быть может, чувствуя, что этот не совсем незнакомый разговорчивый человек, так странно явившийся к ним среди бела дня без своих детей, и есть источник неблагополучия, которое пришло откуда-то и заполнило дом. Решив показать, что у него и в мыслях нет ничего дурного, Джерри опустился на кухонный стул. Из холла притопала Теодора — ротик у нее блестел от хлеба с маслом — и стала карабкаться на колени к Джерри. Не привыкнув распознавать ее желания по движениям, он не сразу ей помог; наконец, она неловко уселась, больно давя ему на колени; она была совсем худенькая — не то что Джоффри. Вернулась Салли, благополучно спровадив свою коллегу по материнским заботам, и тотчас поняла, что надо освобождать его от детей. Она усадила Теодору и Питера за стол (глубокая тень легла на его зернистую поверхность) и поставила перед ними молоко и куриный суп, а Джерри подала сандвич с вином в гостиной (к этому времени солнце уже снова вышло, и кафельные плитки в крышке кофейного столика своей яркостью резали глаз). Вино было не то, что вчера, а сухое бордо, такое светлое, что отливало зеленью, словно в двух бокалах на тонких ножках жил призрак виноградного листа. Сандвич — салями с салатом — был на вкус как мольба, зеленая, перченая смесь сожалений и обещаний. Есть Джерри не хотелось, но он принялся старательно жевать.

Он сидел в грязном кожаном кресле Ричарда, оставив для Салли весь белый диван, но она не села и не стала есть, а бродила вдоль окон, держа в руке бокал, ее ноги в белых брюках бесшумно отмеряли длинные шаги, волосы чуть не летели сзади.

— Как все славно получается, — сказал он.

— Зачем ты пугаешь меня? — спросила она. — Почему не взять и не сказать напрямик?

— Сказать — что?

— Почему ты не спросишь меня, зачем я все ему выболтала. Почему не говоришь, что я толкала тебя на это.

— Ты имеешь право меня подталкивать, — чуть-чуть. Ты заслужила это право. Вот я не имел права, никакого права хотеть тебя — я мог любить тебя, но я не должен был тебя хотеть. Нехорошо стремиться к обладанию человеком, как, например... красивой вещью. Или роскошным домом, или прекрасным участком земли.

— Наверное, — рассеянно произнесла она, словно мысли ее были заняты детьми на кухне или самолетом, гудевшим высоко в небе.

— На меня то и дело откуда-то из глубины накатывает странный мрак, — он чувствовал, что обязан ей объяснить, — и лишает вкуса даже вино.

Она стремительно шагнула к нему — казалось, вот-вот взорвется: схватила в охапку волосы, свисавшие вдоль лица, оттянула назад и задержала на затылке. Потом посмотрела вниз на него и пылко, осуждающе спросила:

— Неужели ты никогда не избавишься от своей депрессии?

Он поднял на нее глаза, представил себе, что лежит на смертном одре, и спросил себя: *«Именно это лицо хочу я видеть?»*

Уже в самом вопросе содержался ответ: лицо Салли давило на его глаза, как щит, он не видел в этом лице ни грана сочувствия, никакой помощи в предстоящем переходе в мир иной, — лишь эгоистический страх, страх такой сильный, что ее редкие бледные веснушки словно взбугрились на коже, натянутой собранными на затылке волосами.

Не вставая, он неловко обнял ее — тело ее не хотело сгибаться, рука не желала отпускать волосы. Он закрыл глаза, и темнота под веками стала багровой и теплой, она ширилась, растекалась, охватывая их обоих, и он вдруг увидел себя и ее с большой высоты: они стояли на плоту, крепко вцепившись друг в друга, посреди безбрежного кроваво-красного океана. Самолет прогрохотал в небе, и звук улетел вместе с ним.

Вошли насытившиеся дети. Джерри быстро прошептал:

— Я струсил.

Салли выпрямилась, посмотрела вниз, разжала кулак, и волосы, падая, медленно легли ей на спину, точно растрепанный канат.

— Давай прокатимся, — сказала она. — Очень уж сегодня хороший день — жалко его терять.

Он неуклюже поднялся, — с абстрактной благодарностью инвалида.

— Да, — согласился он, — давай. Может быть, вне стен этого дома я снова обрету чувство перспективы.

Я люблю этот дом.

Любишь мой дом — люби меня.

Твой дом — это, собственно ты. Тебе он дорог — вот что говорит твой дом. Тебе дороги многие мелочи.

У меня пошлый ум.

Нет: ты — как растение, у которого короткий период роста, и поэтому оно выпускает множество крошечных корней.

Это звучит трагически, Джерри.

Я вовсе не хотел, чтобы это звучало трагически. У каждого из нас свой период роста.

Облака, которые, по мнению Джерри, должны были принести грозу, начали, наоборот, таять, рассеиваться; однако, хотя был всего час дня, казалось, что летний день подходит к концу. Они поехали вчетвером не на Гринвудский пляж, где их обоих — Джерри и Салли — могли узнать, а на другой, несколькими милями дальше, где песчаная дуга была зажата с двух сторон нагромождениями полосатых камней. Несколько парусников испещря-

ли Саунд, словно налипшие листья. Салли и Джерри отмахали по пляжу полумилю до дальних скал и уже шли назад, как вдруг он воскликнул:

— Господи! Красивее этого места я ничего не видел! — И волны, и белые гребешки на них, и желтые полосатые камни — все казалось ему озаренным каким-то божественным сиянием, а объяснялось это тем, что, шагая по пляжу, они приняли решение не вступать в брак. Или, вернее, Джерри дал ей понять, что они не поженятся.

Салли несколько раз молча быстро кивнула, потом вдруг резко вскинула голову, рассмеялась и заметила:

— Ну, скажу я тебе, Джерри, ты держался до последней минуты! — На свежем воздухе в лице ее прибавилось красок.

— Я сам этого до сих пор не знал, честное слово, не знал, — сказал он. И добавил: — Я боялся потерять то единственное, что имеет значение.

— Куда все исчезло, Джерри?

— Да все по-прежнему тут. Глубоко запрятано. Но тут. — И, обиженный ее молчанием, добавил: — Почему ты не борешься?

Она покачала головой, глядя вниз, на свои босые ноги, шагавшие по мокрому ребристому песку за извилистой линией высушенных солнцем водорослей и сказала:

— Нет, Джерри, я не буду бороться. Не мне надо бороться. Бороться надо тебе.

Теодора все больше и больше отставала и теперь в отчаянии плюхнулась на мокрый песок. Дойдя до скал, взрослые повернули назад, и Джерри нес девочку до самой машины. Он с ужасом обнаружил, что тела их приноравливаются друг к другу и малышка с возрастающим доверием льнет к нему. Автомобилей на стоянке почти не было — совсем как в мае, и высокие дюны вновь обрели свою необжитую девственность. Когда они залезли в машину, Салли сказала:

— Поблагодарите милого дядю, дети, за то, что он свозил вас на пляж.

— Но мы так мало там были, — заныл Питер.

— Я свожу вас завтра еще раз, — сказала она.

Джерри отвез их домой и подождал внизу в холле, пока Салли сходила наверх и принесла из своего шкафа, из шляпной коробки, задвинутой подальше на полку, большой конверт с письмами, милыми забавными рисуночками, скверными стишками, — все это накопилось, как выбрасываемые морем водоросли, за долгие месяцы их связи и тщательно хранилось ею.

— По-моему, здесь — все, — сказала она. — Я всегда так боялась: вдруг Ричард их найдет.

— Если он все-таки решит довести развод до конца...

— Нет. Даже и не думай. Этого не произойдет.

— Эй...

— Не плачь. Мы же знали, что все кончится. Я, во всяком случае, знала.

— Извини, я просто не могу с тобой расстаться, не могу по-

дойти к этой последней минуте. Теперь, когда ты уже не моя, вся былая любовь вернулась, нахлынула. Ты выглядишь — обалдеть можно.

— Пожалуйста, уходи. Ты же, по-моему, принял решение. Будь добрым с Руфью, не смей ее наказывать за то, что ты принял такое решение.

— А ты найдешь себе кого-нибудь другого?

— Нет. — Она произнесла это очень быстро. Она дотронулась до его щеки кончиками пальцев. — Никто другой не сможет дать мне... — она помедлила, подыскивая слова, и, найдя их, улыбнулась, — ...столько радости.

— Я никогда в жизни не чувствовал, что прав, — как бы это выразить, — только когда был с тобой. Я никогда не чувствовал себя дома — только когда был с тобой.

На лице Салли возникло выражение, какое появлялось у нее, когда люди, по ее мнению, устраивали «мелодраму». Она пожала плечами и сказала:

— Я рада, что это был ты.

— Позвонишь мне, если я тебе понадоблюсь? Поговоришь со мной?

— Не думаю, нет. Это должен быть конец — раз и навсегда. Иначе люди решат, что мы совсем рехнулись. Спасибо тебе, Джерри.

Он хотел поцеловать ее, но она не далась.

В холее она повернулась к нему спиной прежде, чем он закрыл за собой дверь.

На дорожке он встретил Ричарда. Ричард взглянул на его лицо, на большой конверт у него в руке и сказал:

— Храбрости не хватило, а Джерри?

Джерри решил, что предстоит долгий разговор, и крепче сжал толстый конверт.

— Одно дело, — сказал он, — быть храбрым, когда речь идет о тебе самом, и совсем другое, когда речь идет о твоих детях.

— Угу, конечно, приятель Джерри, только об этом следовало подумать немного раньше. Но я заставлю тебя заплатить за все, дружище. Меня словно обухом ударило, а в нашем обществе принято расплачиваться за причиненную боль.

— Что ты с *ней* сделаешь?

Ричард закурил сигарету и впился взглядом в невидимую шахматную доску, на которой отважно рокировался его противник.

— Не знаю, Джерри, — сказал он, выпуская из угла рта дым и прикрыв от него один глаз — то ли слепой, то ли зрячий. — Я не спал, у меня не очень ясная голова.

— Она — твоя жена, — сказал Джерри. — Я провел с ней не один час, и все это время она считала себя твоей женой. И это твои дети, и это твой дом.

— Премного благодарен, — сказал Ричард. — Mucho gracias, senor [1]. — Он бросил едва начатую сигарету, раздавил ее в траве

[1] Премного благодарен, сеньор *(исп.)*.

и вошел в свой дом, хлопнув дверью. Джерри стоял, застыв, как вор, и прислушивался. Дом молчал, воссоединение происходило молча, ни звука — только Цезарь царапал когтями гравий на дорожке, вернувшись после какой-то неспешной охоты в рощице к своему привычному укрытию в гараже.

Опустив верх своего «меркурия», Джерри ехал домой — свободный. В листве деревьев над его мчавшейся машиной было много багрянца и золота — рыжие пятна выскакивали из зелени и летели назад на фоне неба. Грозная Природа времен его детства, казалось, возродилась; в воздухе был привкус унижения и позора, но таков же, как ни странно, и вкус вечной жизни. Он обнаружил Джоффри и маленького Кантинелли на заднем дворе — они пытались играть в бейсбол с помощью погнутой пластмассовой биты и мягкого мяча, и прежде, чем войти в дом, Джерри несколько раз бросил мяч сыну: эти мальчики — разновидности отринутого им «я» — были его ангелами-хранителями. Как хотелось ему, чтобы этот мирный миг длился вечно: стоять бы вот так на твердой осенней земле, видеть рядом маленькие грязные личики, смотрящие на тебя без осуждения, и читать на лице сынишки любовь и зависимость, а на лице соседского мальчика (что было еще убедительнее) — просто уважение к старшему, взрослому человеку. Но он не мог задерживаться — надо скорей бежать отсюда, скорее уединиться: у него работа. Он так и сказал миссис О. Она кивнула и извлекла из глубин своей грудной клетки воркующий звук, означавший покорность, надежду что Руфь скоро вернется, и заверение в том, что с детьми все будет в порядке. Джерри поднялся наверх и надел пиджак к тем брюкам, которые с утра были на нем. В кухне он цветным карандашом нацарапал на обратной стороне счета за молоко: ВСЕ КОНЧЕНО. БУДЬ МОЕЙ. Подписался: Х.Х. И помчался в Нью-Йорк, тогда как основной послеполуденный поток машин мчался ему навстречу.

Ох, Джерри, никакой спешки нет, пусть пройдет столько времени, сколько тебе нужно, потому что я знаю, — всякий раз, как вижу тебя, знаю, что это — ты, именно ты — есть и будешь. И не так уж важно, что ты решишь и решишь ли вообще; не в нас дело — дело в нашей любви, в том, что мы чувствуем друг к другу, это мы должны оберегать, нельзя допустить, чтобы мир у нас это отнял.

Я хочу дотянуться до тебя.

Приходи, если можешь. Я здесь. Сама любовь к тебе делает меня счастливой, даже когда ты не приходишь ко мне.

Ты так говоришь, а ведь это не всегда будет правдой.

Почему ты никогда не веришь мне?

На работе ему сказали, что в его отсутствие предложенные им идеи и наброски мультипликаций были отклонены конференцией по собачьему питанию. Он сел за свой стол в большой комнате, в

то время как вестибюль уже полнился щебетом и стуком каблучков уходивших секретарш, и принялся набрасывать собак, вышагивающих на двух ногах и беседующих друг с другом. На его стальном письменно столе зазвонил телефон.

— Милый, что случилось?

— Не знаю, — сказал он Руфи. — Не случилось того, что должно было случиться. Согласна взять меня обратно? Или тебе бы не хотелось? Тогда я могу еще какое-то время пожить в коттедже.

— Конечно, согласна. А ты хочешь снова быть со мной?

— Видимо. Что-то не мог я сфокусироваться на бедняжке Салли: у меня засело в печенках, как ты надела свое платье для коктейля и вышла из моей жизни.

— Она была расстроена?

— Нет, она была невероятно спокойна и покорна. У меня такое чувство, что она сама этого хотела. У нее засел в печенках Ричард. И вот оказалось, что мы оба пусты.

— А Ричард был там?

— Приходил и уходил. Я видел его в самом конце, и он сказал мне, что у меня не хватило храбрости.

Руфь помолчала, потом сказала:

— Как это подло.

Он спросил:

— А как адвокат?

— О, прелестный человек. Еврей, примерно возраста моего отца, очень любезный и совершенно прелестный. Мы все обсудили в общих чертах: он считает, что подавать надо не в Алабаме, но после разговора с Ричардом думает, что дело до этого не дойдет.

— Значит, не дойдет. — Как страшно, как унизительно знать, что кто-то предвидел твои действия.

Жена попыталась отвлечь его от этих мыслей:

— Ты бы видел, как я ехала в Кэннонпорт — еле плелась, это была просто мука. Мне гудели, меня обгоняли, а я думала: «У детей осталась теперь только я», — и ехала медленно, как никогда. Просто удивительно, что сзади на меня никто не налетел.

— Можешь написать брошюру: «Как я стала ездить осторожно», автор Руфь Конант.

— Почему ты в Нью-Йорке?

— Сам не знаю. Наверно, потому, что не могу в довершение всего потерять еще и работу. Мне здесь спокойнее.

— Ждешь, что она тебе позвонит?

— Нет, ей-богу, этого я как раз *не* жду. Потерпишь еще часа два?

— О, конечно.

— Накорми детей, я вернусь к ужину, часов около восьми. Я люблю тебя.

— Ну и ну. Все так неожиданно. Я теперь уж и не знаю, на каком я свете.

Она рассмеялся и сказал:

— Почему женщины такие смешные? Она тоже все время острила.

— Джерри?

— Да?

— Ты только не вздумай выкинуть чего-нибудь.

Он снова рассмеялся.

— Например, взрезать себе вены? Вам всем тогда бы крупно повезло.

— Не говори глупостей.

— Ты такая милая, — сказал ей Джерри, — что выждала лето.

— Я поверить не могу, — сказала Руфь, — что все позади. Я уже столько раз думала, что все позади, а оно все продолжалось и продолжалось.

— Теперь кончилось. Пожалуйста, успокойся и будь снова сама собой.

— А именно? Какой?

— Ты знаешь.

Она повесила трубку, но он обнаружил, что не может рисовать. Рука у него дрожала; за окном множились огни, по мере того как город погружался в ночь, словно огромный, мерцающий, тихо тонущий корабль. Шел уже седьмой час — делать ему здесь больше было нечего. Он взял блокнот для рисования и направился на автомобильную стоянку возле колоссального котлована; по дороге в Гринвуд, сквозь грозящее гибелью переплетение сигналов и фар, в его сознание снова просочился тот страшный разговор на пляже. Вся розовая от соленого бриза — и подбородок, и щеки, и веки — Салли спросила, еще не вполне веря, что он отступается от нее:

Неужели мы не сумеем это наладить?

Никогда.

Да ты хоть понимаешь, что ты мне говоришь?

Я говорю, что мы никогда не сумеем это наладить. И что всем нам потом будет плохо — и мне, и Руфи, и тебе, и Ричарду.

Все дело в моих детях? Это из-за того, что ты не выносишь моих детей?

Они мне нравятся. Единственное, чем они меня не устраивают: они напоминают мне о моих.

Не надо было тебе удерживать меня, когда я хотела уйти и когда у меня еще были для этого силы.

Я любил тебя. Все еще люблю. Если я тебе нужен, я в твоем распоряжении. Я тут — упакованный и доставленный стараниями Ричарда Матиаса.

Ты мне не нужен такой. Зачем ты мне — несчастливый.

О, я снова буду счастливым. Как только попаду в сказочный домик художника.

Нет. Все прошло. Я это чувствую.

Вот как? А я ничего не чувствую.

Питер, перестань приставать к мистеру Конанту. Он не хочет играть.

Он ведь только показывает мне ракушку. Она, Питер, чистенькая. Есть у тебя кармашек для сокровищ?

Не подождем Теодору?

Она ходит совсем как ты, верно?

Никогда этого не замечала.

Хочешь перебраться через камни, посмотреть, что там?

Тебе же охота вернуться?

Я могу и подождать.

Джерри...

Скажи.

Прости, что я такая дура, прости, что вчера не могла говорить, как надо, а сегодня вот и поступить, как надо, не могу...

Ты держалась отлично. Ты — это ты.

Нет, я знаю, я сегодня плохо к тебе относилась, но не всегда будет так. Я же знаю, что нам вместе хорошо.

Я это тоже знаю. Дело не в тебе, Салли. Дело в обстоятельствах. Мы не можем устранить их. Ты не можешь устранить их для меня. И я не могу устранить их для тебя. Я бы очень хотел, но не могу.

О'кей, повелитель. Не можешь, так не можешь.

А ты уверена, что не могу?

Это не я, а ты уверен.

Господи. Красивее места я просто не видел!

Его фары выхватили указатель съезда на Гринвуд. Он вспомнил, что на заднем сиденье лежит объемистый конверт, который дала ему Салли, — труп, оставшийся от их связи. Он свернул на боковую дорогу, остановил «меркурий» у обочины и ключом открыл багажник — в глубине, рядом с грязным гаечным ключом, под отставшим пластиком, где лежал моток каната — память о бойскаутских соревнованиях на воде, в которых участвовал Чарли, — было укромное место, которое пока вполне могло послужить тайником. Конверт был так туго набит свидетельствами взаимной любви, что, когда Джерри стал его класть в укрытие, зажимчик сорвался, и содержимое рассыпалось, обнажив, словно края отбитого стекла, зазубрины ее и его букв на кусочках бумаги, которая уже начала желтеть. Несколько листков упало на дорогу; остальное разлетелось по резиновому дну багажника. Фары проносившихся мимо машин то и дело высвечивали его; он боялся, что кто-нибудь из знакомых остановится и увидит, как он стоит на коленях и вытаскивает любовное послание из-под колеса. Трясущимися руками он стал торопливо засовывать письма обратно в конверт; они словно разбухли и не желали влезать — приходилось их комкать. Между двумя письмами, написанными его почерком, лежало несколько прядок волос. Он попытался рассмотреть их при красном свете хвостовых огней, но не мог понять, какого они цвета. Только это были явно не ее волосы — слишком короткие. И он вспомнил, что иной раз у себя дома она его причесывала после всего. Значит, она хранила его волосы.

У тебя такие мягкие волосы, Джерри.

Я их мыл вчера вечером. Специально для тебя.

Для меня?

Вчера на пляже я набрал полную голову песка и подумал: завтра я, возможно, увижу Салли, и мы будем спать вместе, и я вовсе не хочу, чтоб песок попал ей в глаза.

Знаешь, как ни смешно, но я знала, что так ты и скажешь, — я поняла это по твоим губам еще прежде, чем ты раскрыл рот.

Он попытался было положить волосы на место, но они выскользнули из его пальцев и упали на скопившийся у дороги мусор. Он резко захлопнул крышку багажника. Он опаздывает, он куда-то опаздывает — неизвестно куда. Его преследуют. Дорога, которой он вновь завладел, побежала вниз, через Гринвуд, с его улицами и деревьями, — этот лабиринт Джерри знал лучше своего преследователя. Вот его дом, его окна, его крыльцо, — голоса его детей возникли, как из сна спящего бога.

Судя по всему, во время его отсутствия произошла драма. Руфь встретила его восклицанием:

— Где ты был? Мы все обыскались тебя.

— Все?

— Да. Они были здесь оба. С этой их девчушкой — как там ее зовут. И все уехали совсем недавно — я только что подала детям еду. Входи и давай поговорим. — Он молча подчинился, ни о чем не спрашивая. Руфь провела его в кабинет и плотно закрыла за собой дверь. — Она приехала первая. Мол, приехала, чтобы растолковать мне, за каким человеком я замужем, но мне совершенно ясно, что искала она тебя. Она все озиралась и прислушивалась к звукам наверху. Я сказала, что не видела тебя — просто получила записку и разговаривала с тобой по твоему рабочему телефону. Она не могла поверить, что ты уехал в Нью-Йорк. Она сказала, что вы с ней спали — когда же это было? — в субботу вечером, то есть накануне взрыва. Это правда?

— Да.

— Ну, это уж последняя капля.

— Солнышко, о какой последней капле может теперь идти речь. Ну, какие еще гадости она говорила?

— О, я не знаю. Все говорила, говорила. Она была вне себя. Как актриса, которая вдруг поняла, что она уже не примадонна. Сказала, что ты обошелся с нами обеими ужасно и что если у меня есть гордость, я не должна тебя принимать. Сказала, что ты — дьявол, а ей гореть в вечном огне за то, как она поступила с Ричардом. Так и сказала. И все не отпускала от себя Теодору — наконец-то я вспомнила ее имя, — держала на руках бедную растерянную малышку и даже заставила меня *накормить* ее. «Руфи, твой муж — просто мерзавец. У тебя нет случайно печенья для Тео, он переспал со мной в субботу вечером, кстати, не найдется у тебя стаканчика молока?»

Джерри расхохотался; ему стало легче от того, что Салли так

по-идиотски себя вела. Легче стало и от того, что она еще жива: ведь ее жизнь — это его жизнь, так было и будет.

— А когда же в эту картину вписался Ричард?

— Она пробыла у меня с полчаса, а может, и больше, когда он приехал ее забрать. Именно — забрать, точнее слова не придумаешь. Мальчики сидели в машине. Вид у него был измученный.

— А как он был с ней?

— Можно сказать, нежен. Мягок. Спокоен. Сказал, что у нее истерика. Когда он вошел в дверь, она завопила, хотела упасть перед ним на колени. Кажется, даже говорила, чтоб он избил ее. Все это было так дико.

— Бедная моя голубка.

— Послушай. Если мы будем жить вместе, чтобы таких штук больше не было. Кончено с бедной голубкой.

— Согласен. Что еще? Он искал меня?

— Он говорит, что не желает тебя видеть, что ему противен самый твой вид, но он хочет сказать тебе кое-что по телефону.

— А он очень зол?

— Вовсе нет. Он очень философично настроен. Он сказал, что так и знал, что ты пойдешь на попятный, но думал, ты переспишь с ней еще несколько раз.

— Он просто не в состоянии понять, до какой степени я идеалист!

— Он излагал философию связи. Сказал, что женщина должна думать о том, чтобы не забеременеть, а мужчина — о том, чтобы прекратить связь, когда это начинает слишком затягивать женщину; надо сказать, мне было несколько странно слышать это от него.

— Почему странно? Это вполне в его стиле.

— Не знаю, забудь о том, что я сказала. Когда я заметила, что это лето было *для тебя* сущим адом, он сказал: «Не будь дурочкой. Он такой себе устроил праздник!»

— А потом он увез ее домой.

— Через некоторое время. Он еще выпил. Она была в ярости от того, что он вообще со мной разговаривал. Она даже отпустила несколько шуточек насчет того, что я, мол, хочу заграбастать всех мужчин. Честное слово, она *сумасшедшая*.

— Что ж, может быть, только сумасшедшие женщины и умеют как следует любить.

— Без этого замечания тоже можно было бы обойтись. Я ее даже пожалела. Возможно, я все еще люблю тебя, Джерри, сама не знаю, но уважения к тебе я сейчас особого не испытываю.

— А ты бы больше меня уважала, если бы я довел дело до конца и бросил тебя и детей?

— В известном смысле — да. Ведь волновало-то тебя не то, что станет с детьми.

— Нет, именно это.

— Тебя волновало, что станет с твоей бессмертной душой, или еще какая-то чушь в этом роде.

— Я вовсе не говорю, что она — бессмертная, я говорю, что она должна быть бессмертной.

— Так или иначе, в одном я уверена.

— В чем же?

— С ней у тебя все кончено. Она несла такое, что даже Ричард стал тебя защищать.

Руфь внимательно следила, как он это воспримет. Он сказал:

— Отлично.

Джерри уложил детей спать. Укладывая Джоффри, он всегда читал одну и ту же молитву, которую мальчик бормотал следом за ним: «Боже милостивый, благодарю тебя за прошедший день: за еду, которую мы ели, за одежду, которую носили, за удовольствия, которые получали. Благослови маму, папу, Джоанну и Чарли...»

— И Джоффри, — неизменно вставлял мальчик, глядя на себя со стороны, как на члена семьи.

— «...и Джоффри, и дедушку с бабушкой, и наших учителей, и всех наших друзей. Аминь».

— Аминь.

Чарли, самый живой из детей, спал крепко и так быстро засыпал, что Джерри едва успевал взъерошить ему волосы и поцеловать в ухо. Ни о каких молитвах не могло быть и речи. Когда же прекратился этот ритуал? Возможно, мальчик потому так быстро и засыпал, чтоб не молиться. Что ж, пускай, считал Джерри. Ему нравилось, что у мальчика есть гордость — ведь он самый пытливый из троих и потому должен быть самым храбрым.

— Спокойной ночи, — сказал Джерри темной комнате и вышел, не получив ответа.

Джоанна, уже не показывавшаяся отцу раздетой, устроилась в постели с «Пингвинами мистера Поппера».

— Папа? — окликнула она его, когда он приостановился на пороге ее комнаты.

— Да, Джоджо?

— Мистер и миссис Матиас разводятся?

— Откуда ты знаешь это слово, — «разводятся»?

— Миссис О. сказала. Ее дочка развелась с одним военным, потому что он слишком много играл в карты.

— А с чего ты взяла, что Матиасы хотят разводиться?

— Она была здесь и ужас как злилась.

— Не думаю, чтобы она злилась на мистера Матиаса.

— А на кого же тогда? На эту ее плаксу?

— Нет. Скорей — на себя. А тебе нравится миссис Матиас?

— Вроде — да.

— Почему только — вроде?

Джоанна подумала.

— Она никогда ни на кого не обращает внимания.

Джерри рассмеялся, быть может, слишком тепло, ибо Джоанна спросила:

— Она — твоя подружка?

— Что за глупый вопрос. У взрослых не бывает подружек. У взрослых бывают мужья и жены и маленькие дети.

— А у мамы есть дружок.

— Кто же это?

— Мистер Матиас.

Джерри расхохотался от абсурдности такого утверждения.

— Они просто любят иногда поболтать, — сказал он девочке, — но она считает его кретином.

Девочка почтительно посмотрела на него.

— О'кей.

— А тебе спать не хочется?

— Вроде бы — да. В этой книжке слишком много слов, которых я не знаю. То есть, я хочу сказать, *в общем-то* я их знаю, только смысл не могу понять.

— Таких книг много. Так что не утомляй глаза. Доктор Олбени говорит, вообще не надо читать в постели.

— Он кретин.

— Глаза — это очень важно для человека. Спи крепко, детка. Дай я тебя поцелую. — И, обняв дочь, он почувствовал, что голова у нее стала почти как у взрослой, а очертания щеки и голого плеча, когда она легла боком на подушку, — женские. Она выросла с тех пор, как он последний раз по-настоящему видел ее.

Комнаты первого этажа, пустые без детей, прошитые светом фар проходящих машин и тишиной, казались огромными. Руфь поставила на кухонный стол два прибора. Он нерешительно вошел в кухню: когда он был ребенком и мама болела, он так же нерешительно входил к ней в комнату, боясь, как бы она, словно героиня волшебной сказки, не превратилась за это время в медведицу, или в ведьму, или в мертвеца. Руфь протянула ему рюмочку вермута. Вид у нее был выжидающий, а он прохаживался по кухне, потягивая вермут, ел телячью отбивную с салатом, которую она ему подала, и всячески старался заполнить тишину — арену своего поражения, пытаясь объясниться. Он говорил:

— Я не понимаю, что произошло. Став женой, или как там это ни назови, она перестала быть *мечтой*, и впервые я *увидел* ее.

Он говорил:

— Я не хотел, чтобы она предоставляла выбор мне. Салли не должна была без конца предоставлять мне выбор: ведь я поехал к ней в то утро, уверенный, что все должно быть именно так, а потом поговорил с ней и обнаружил, что это *вовсе* не обязательно. Все пути были еще до ужаса открыты. Она не так уж сильно хотела, чтобы я был с ней, — хотела не в такой мере, как ты.

Или:

— В общем-то, все дело в Ричарде. Я сидел там тогда вечером и, глядя на него, сказал себе: *«А ведь он не так уж плох»*. У меня сложилось совсем неверное представление о нем по ее описаниям и жалобам: он человечный; он старался. Я сказал себе: *«Господи боже мой, если он не смог сделать ее счастливой, то и я не смогу»*.

Или:

— Она такая самонадеянная.

В его попытки объясниться — неуклюжие и надуманные, нелепые и неопределенные — вторгался голос Руфи, мягкий, но с какими-то жесткими нотками, и в этих ее поисках истины было что-то до такой степени унитарианское, убежденное, даже разрушительное.

— Не понравилось мне то, как они оба навалились на тебя.

И:

— Если она так уж тебя любит, почему же ее не устраивает просто связь с тобой?

И:

— Они оба такие самонадеянные.

И периоды сдвоенного молчания, не казавшиеся тягостными от того, что оба они рывками — то продвигаясь вперед, то останавливаясь — одновременно начали рассматривать оказавшийся перед ними предмет, набор предметов, тайну из света, и цвета, и тени. В этой готовности жить на параллелях таилась их слабость и их сила.

Когда они сели пить кофе, а за окном такая же темная, как кофе, чернела ночь, зазвонил телефон. Джерри застыл в испуге, вынуждая Руфь подойти к аппарату; она сняла трубку в гостиной, послушала и сказала:

— Он здесь. — И негромко позвала, повернувшись к кухне: — Джерри, это Ричард.

Он тяжело поднялся из-за стола и прошел сквозь полосы тени к телефону. Руфь слушала, кружа по комнате, включая лампы.

— Да, Ричард. — Иронично, устало, примирительно.

Голос у Ричарда словно ссохся, гулкость ушла.

— Джерри, мы разговаривали сегодня не слишком долго, и я, возможно, чего-то не понял. Правильно ли я тебя понял, что, если я разведусь с Салли, ты *не* будешь с ней? Повторяю: *не* будешь?

Старая вилка конем.

Джерри мог бы слабо заблеять, взывая к рассудку, хотя давно убедился, что на хамов это не производит впечатления, или возразить, что жизнь, в отличие от шахматной доски, не всегда только черная или белая. Вместо этого он сказал:

— Совершенно верно. Я не буду с ней.

Ричард помолчал, ожидая, что Джерри объяснит, но объяснений не последовало, и он сказал:

— Я так и подумал, но, откровенно говоря, Джерри, просто не мог поверить. Не мог поверить, что ты такой черствый, хотя Салли уверяет меня, что ты — порядочный. Значит, ты не будешь с ней, что бы ни случилось?

По тому, с какой сценической четкостью Ричард произносил слова, Джерри догадался, что Салли, видимо, слушает по отводной трубке наверху. Он вздохнул.

— Ты будешь с ней. Она твоя жена. А у меня есть своя.

— Не знаю, приятель Джерри, просто не знаю. После того как

она вела себя со мной, не знаю, останется ли она моей женой или нет.

— Это уж тебе решать. Как скажешь, так и будет.

Ричард сказал:

— Я заставлю тебя заплатить за это, приятель Джерри. Я заставлю тебя страдать — так, как ты заставил страдать нас. Ты потрясающий малый. Потрясающе жестокий.

Память Джерри метнулась назад — пляж, дюны, желтое бикини, теплое вино, запах их тел, — и он спросил с искренним любопытством:

— В самом деле?

Ричард бросил трубку.

Руфь спросила:

— Что ему было надо?

— По-моему, он хотел устроить спектакль и показать Салли, какая я сволочь. Она все слышала по отводной трубке.

— Она что-нибудь сказала? Или ты слышал, как она дышала в трубку?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь, что она была у телефона?

Джерри повернулся и рявкнул:

— Потому что она — везде!

Руфь испуганно уставилась на него. Хотя она зажгла лампы на всех столиках у стен, середина большой комнаты тонула в темноте, а именно там Руфь и стояла.

Джерри пояснил:

— Ричард был раздражен, потому что теперь ему надо принимать решение, а ему совсем неохота, как и мне: мужчины не любят принимать решения, они хотят, чтобы бог или женщины принимали решения за них.

— Некоторые мужчины, — сказала Руфь.

Она пошла на кухню, а Джерри подошел к окну. В темноте за холодным стеклом был Ричард — ветви вяза переплетались и гнили в лишенной бога стихии, которая и есть суть его врага. Весь мир был Ричардом. *«Я заставлю тебя заплатить за это, приятель Джерри»*. Где-то на улице выше их дома с ревом включился мотор автомобиля; Джерри съежился, сознавая, что силуэтом выделяется на фоне окна. Визжа шинами, автомобиль промчался мимо — какие-то мальчишки, никого: выстрела не последовало. Джерри улыбнулся: *«Ты малый потрясающий. Потрясающе жестокий»*. До сих пор его никто еще не ненавидел. Не любили, не считались с ним, но никто не ненавидел; а это, оказывается, помогает чувствовать себя живым. *«Смотри-ка, Салли-О, верно, из Иисуса Христа получилась хорошая ногтечистка?»* Глядя сквозь черное, мутно отсвечивавшее стекло, — стекло, похожее на холодную оболочку его разума, — Джерри порадовался, что нанес своему врагу — мраку неизлечимую рану. Кинжалом своей плоти он заставил умолкнуть насмешников. Иисус был отомщен.

V. ВАЙОМИНГ

Джерри и Салли сошли с самолета в Шайенне. Они с трудом спускались на негнущихся ногах по гулким стальным ступеням, и Джерри, вдохнув всей грудью воздух, понял, что он — дома: непередаваемый воздух Запада, казалось, навеки освободил его легкие от угрозы удушья. В порыве признательности он поспешно обернулся, чтобы проверить, ощутила ли и Салли эту благодать, — она спускалась за ним следом, держа обоих мальчиков за руки, тогда как он нес Теодору и выданный авиакомпанией большой пластиковый мешок, набитый игрушками и книжками. При виде Салли на душе снова — как всегда — стало радостно. На ней был полотняный костюм в тонкую полоску, с рукавами, доходившими до половины ее длинных, покрытых пушком, рук, поперечные складки, образовавшиеся спереди на юбке от долгого сидения, подчеркивали красоту ее широких бедер. Она улыбнулась и сказала:

— Здорово, верно?

— Небо, — сказал он. — Фантастическое небо. — Над ними, в светлой голубизне, припудренной и строгой, кипели, кипели грозовые тучи, снизу прозрачные, а выше — белые, такие исконно, девственно белые, что глаз невольно окружал их черной каймой, увеличивавшей их массу. По форме они были самые разные, но не тяжелые и не насыщенные дождем, — достаточно появиться в воздухе малейшему дуновению, малейшей перемене, казалось Джерри, и они рассеются.

На западе вздымались горы, фиолетовые, в меловых, а скорее — снеговых пятнах; в прозрачном воздухе далекие пики казались совсем близкими и в то же время необитаемыми, ненастоящими, как внезапно прыгающий на тебя пейзаж с укороченной перспективой, если смотреть на него в телескоп. В рыжеватых просторах, где-то на полпути к горам, бежала одинокая, видимо, невзнузданная лошадь без всадника, а череда деревьев — скорее всего тополей — возвещала близость воды. Долина была устлана свежим, серебристым, изысканно-зеленым ковром — должно быть, полынь, подумал Джерри. Созвездие камней вдали превратилось в отару овец. На переднем плане были озера, поле для

гольфа, красный форт. А как раз под ними кричаще-черной страницей лежал макадам аэродрома, испещренный полосами и нефтяными пятнами, цифрами, стрелами и разноцветными крышками закопанных в землю резервуаров — всеми этими знаками сложного языка, которым пользуется во всем мире раса близоруких гигантов. Став на твердую землю, Джерри поднял глаза и сказал:

— Привет?

— Привет, — сказала Салли позади него, уже рядом с ним. — Чувствуешь себя совсем свободным?

— А мы свободны?

— От некоторых вещей. — Произнося это, она откинула назад волосы и широко шагнула вперед. Она устала. Бобби и Теодору тошнило, пока они летели над шахматной доской центральных штатов. Наверное, потому, что Бобби больше всех похож на отца, Джерри обнаружил, что подыгрывает ему, — то ли стремясь преодолеть инстинктивную неприязнь, то ли желая умиротворить мерзкую властность, которую он чувствовал в Ричарде. И сейчас он обратился к мальчику:

— Как дела, шкипер?

— У меня горло болит, — сказал Бобби, утыкаясь лицом в бедро матери.

— Ты просто пить хочешь, — сказал ему Джерри. — Мы тебе сейчас купим кока-колы в аэропорту.

— А я хочу виноградной содовой, — заявил Бобби.

— А где ковбой? — спросил Питер. Хоть и совсем еще крошка, он словно бы вменил себе в обязанность быть буфером между братом и отчимом, отвлекая их от мертвой схватки, которую им вечно предстоит вести.

— Я видел уже *двадцать* ковбоев, — презрительно объявил Бобби, да так оно и было, потому что даже механики на аэродроме и те носили десятигаллоновые шляпы.

В аэровокзале было такое множество ковбоев, что казалось, танцевальная труппа ждет самолета на Нью-Йорк — все в узких джинсах от Леви, сапогах в гармошку, распахнутых жилетах, крученых шнурках на шее. Но нет, то были обычные люди, запрограммированные и подогнанные под костюм, который в свою очередь подогнан под местную природу. Взглядом, отточенным непогодой до жестокой скуки, бесцветными глазами, из которых небо вытянуло всю краску, ковбои изучали Салли, ее ситцевую красоту. Джерри легонько обнял ее за талию, демонстрируя свое право и отклоняя подозрение в импотентности: ему казалось, всем и каждому ясно, что все трое детей — не его. Салли вздрогнула от его прикосновения, повернулась с застывшим от испуга взглядом и резко сказала:

— Я подержу Теодору, а ты сходи за чемоданами.

— Возьми-ка для Бобби кока-колы вон там, в автомате. Может, там есть и виноградная содовая.

— Если уж брать ему, надо брать всем троим. А он может

попить и у фонтанчика. Это у него от рвоты раздражено горло.

— Я обещал мальчику кока-колу.

— Ты *избалуешь* его, Джерри.

Он подумал: а быть может, и в самом деле по какой-то непонятной причине он стремится перетянуть, на свою сторону этого мальчика, оторвать его от матери, которая слишком с ним крута. Он почувствовал, что начинают возникать ситуации, над которыми ему и в голову не приходило задуматься; внезапно все, даже получение багажа, — а ведь это был, несомненно, их багаж, — показалось ему необычайно сложным, хуже того — непорядочным, нечестивым, вызывавшим чувство клаустрофобии. Он явно переоценил себя. Собрать разбросанные вещи, вывести их всех из аэровокзала на улицу представлялось ему поистине невозможным.

Салли, уловив перемену в его настроении, спросила:

— Рад, что ты здесь?

— Что с тобой — да.

— Я научу тебя ездить верхом. Ты здорово будешь выглядеть на лошади.

— Я сломаю себе шею.

— Смотри, вон наши чемоданы. Теодора, не смей. — Под грохот громкоговорителей и шарканье спешащих пассажиров девочка опустилась на пол и заплакала. — Твой новый папа решит, что ты очень несчастна.

— Я тоже хочу коку, — сказала она.

— Вот, — повернувшись к Салли, сказал Джерри. — Три монеты.

Когда багаж, наконец, был получен, и носильщику дали на чай, и схватили такси, дух приключения — повеление рисковать, завещанное нам Священным писанием, — объединил их вновь. Бобби сел с шофером; Джерри, Салли и двое младших детишек разместились сзади. Машину — вместительный старый «понтиак» — вел индеец. Голос у него, когда он спросил, куда ехать, был низкий, и он тщательно произносил слова, словно выкапывал их из земли или мысленно переводил на английский с какого-то более древнего языка. Бобби, как зачарованный, уставился на блестящие черные волосы, пергаментную щеку и амулет из бусинок на зеркальце заднего обзора, и Джерри почувствовал облегчение от того, что ему удалось на какое-то время умиротворить этого сложного ребенка — его новую совесть. Дорога, которая сразу за аэропортом пошла по голым окраинам, где то и дело приходилось снижать скорость и останавливаться на перекрестках, вывела их на просторы долины, и к Джерри вернулось первое впечатление шири и благодати. Воскрешая познания, почерпнутые из путеводителей, он наугад определял буйволову траву, маттиолы и колокольчики; между пучками полыни были гладкие проплешины, где ничто не желало расти. Чтобы не наслаждаться таким счастьем, одному, он протянул руку за спинами детей и переплел свои пальцы с пальцами Салли. А она остекленело глядела на однооб-

разный пейзаж. Ее рука на ощупь была твердой и напряженной — рукою труженицы, что ему нравилось. Хотя она ответила на его застенчивое пожатие, которым он давал понять, что готов оберегать ее, в уголке ее рта появилась горькая складка, словно она сожалела, что уже не может по своей воле дарить ему то, что им завоевано и принадлежит по праву. И будто капнули ядом. Самый воздух изменился — чуть-чуть, но достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие их обоюдной иллюзии. Запах полыни усилился; такси поехало быстрее; светло-зеленые побеги замелькали с такой стремительностью, что казались голубыми. Голова индейца, как изваяние, вырисовывалась на свету. Детские головки словно застыли изящными черными силуэтами; Джерри произнес: «Эй?», и Салли не ответила; пустыня вокруг них — и они вместе с нею — испарилась, исчезла, ее никогда и не было.

Джерри и Руфь спускались на самолете к Ницце. Машина накренилась, и сверкающее Средиземное море прыгнуло на них: пилот совершил серьезную ошибку. В самый последний момент, словно карта, вытянутая со дна колоды, под ними все же открылась земля; колеса самолета ударились так, что затрещали шасси; все закачалось, моторы яростно взревели: они приземлились. Чарли рассмеялся. Маленькие, крытые черепицей домики Лазурного берега потянулись мимо, точно игрушки на веревочке, пока самолет подруливал к стоянке. Надпись «ATTACHEZ VOS CEINTURES» [1] погасла, затем погасло «DEFENSE DE FUMER» [2]. Они схватили свои пальто и встали; вслушиваясь в гул голосов вокруг, Джерри понял, что самолет, весь выложенный пластиком, такой весь голубой и американский на аэродроме Айдлуайлд, теперь аннексирован французами. Все говорили по-французски, а он этого языка не знал. Au-revoir» [3], — сказала стюардесса, и они стали спускаться по металлическим ступеням. Воздух был мягкий, чистый и как бы состоявший из отдельных частиц — изрезанный и иссеченный, точно на картинах кубистов, косыми лучами чуть теплого солнца. Им открывались целые миры для обозрения, но глаза Джерри были мертвы: утрата притупила их остроту; дети и жена нетвердой походкой пронесли его чувства по закодированной ленте бетона, через обрывки впечатлений. В толчее у паспортного контроля он услышал — потому что это было повторено несколько раз, — как чиновник в синей форме с раздражающим удивлением произнес: «Trois enfants» [4]. Джерри услышал, что его жена разговаривает с этим человеком по-французски, и удивился: что за странная женщина стоит рядом с ним, как она могла держать в себе на запоре целый язык. А в аэровокзале, на-

---

[1] Пристегните ремни *(франц.)*.

[2] Курить запрещается *(франц.)*.

[3] До свиданья *(франц.)*.

[4] Трое детей *(франц.)*.

полненном, будто во сне, шарканьем чужих ног, стояла Марлен Дитрих в замшевых брюках и сапожках на высоком каблуке и курила сигарету, держа длинный перламутровый мундштук. Его дети, в упоении от чувства безопасности и свободы, промчались под ее взглядом, и эта женщина, сочетание света и тени, призраком возникшая из времен его детства, посмотрела на них с откровенным, неожиданным для призрака интересом и благожелательностью.

Марлен Дитрих выглядела молодо за зубчатой стеной своих чемоданов. Джерри увидел в ней доказательство той истины, что путешествия отодвигают смерть — это способ купить жизнь за мили. Он же путешествует, потому что адвокат Ричарда посоветовал ему уехать на время. Он взял отпуск в своем агентстве и собирался заняться живописью. Они с Руфью снова будут сидеть рядом и рисовать. Он прошел сквозь стекло на улицу, где ждала череда такси, на которых, вопреки ожиданию, значилось: ТАКСИ.

— A Nice? [1] — спросил шофер в куртке такой синевы, какую Джерри видел только на картинах.

— Oui, á Nice s'il vous plait [2], — сказала Руфь и, краснея, назвала отель, словно агент из бюро путешествий мог их подвести. — Votre voiture, est-ce que c'est assez grand pour trois enfants? [3]

— Oui, oui, ca va, madame, les enfants sont petits [4].

Чарли сел впереди с шофером, остальные четверо — сзади. Джоффри захныкал, что его совсем задавили.

— Нас *всех* задавили, — сказал ему Джерри, отчаянно стараясь преодолеть стеснение в легких, которое патологически возникало при малейшем нервном напряжении.

Руфь сказала:

— Посмотрите-ка все в мое окно — прямо как картина. — По ту сторону дороги, дальше от моря, на недавно разбитых участках произрастала древняя культура; крутые зеленые склоны, которые по сравнению со стертыми холмами Коннектикута, казалось, только-только обрели форму, были со скаредным тщанием разбиты на поля и террасы; по этим склонам средневековой перспективой громоздились городки. Европа была четкой по цвету и загроможденной по рисунку. Сероватая зелень на ближних холмах, тускло поблескивавшая, как волосы женщины, когда она их расчесывает, — это, должно быть, оливы. А по другую сторону — извилистая полоса желтовато-грязного песка чуть шире шоссе, окаймленная водорослями и усеянная бетонными волнорезами, отнюдь не напоминала то, что Джерри привык называть пляжем, —

---

[1] В Ниццу *(франц.)*.

[2] Да, в Ниццу, пожалуйста *(франц.)*.

[3] А у нас машина достаточно большая — в ней поместятся трое детей? *(франц.)*.

[4] Да, да, все в порядке, мадам, дети ведь маленькие *(франц.)*.

тут требуется другое слово. Оно и значилось на зеленом указателе: PLAGE.

Джоанна, зажатая между Джерри и окном, произнесла величественно-безразличным тоном:

— На всех дорожных знаках — маленькие рисуночки. — У Джерри было такое чувство, будто она обращается не столько к своим родителям, сколько к идеальным родителям из школьных хрестоматий, лишенным национальной принадлежности, счастливым и автоматически восхищающимся всеми чудесами жизни.

Стремясь подладиться под ее тон, Джерри сказал:

— Это для того, чтобы такие тупицы, как мы, не потерялись. — Когда путешествуешь, всюду видишь опознавательные знаки, указатели, инструкции. Только дома их нет.

Джоанна спросила:

— Почему здесь столько этих стекляшек?

— Оранжерей?

— Наверное.

— Они выращивают цветы для парфюмерной промышленности.

— В самом деле?

— Я так полагаю.

Мимо них на мотоскутере промчалась блондинка с развевающимися на ветру волосами. На ней были белые брюки в стиле «Сен-Тропез» и полосатая вязаная кофточка, — Джерри вжал ногу в пол: прибавить скорость, нагнать ее, заглянуть ей в лицо. Сердце у него учащенно забилось, но такси ехало с прежней скоростью. Руфь повернулась, вглядываясь в его лицо, и то, что она на нем обнаружила, передалось ей, потом снова передалось ему, словно отразившись в двух зеркалах, и маленькое пространство машины наполнилось душераздирающей тоской и напряжением. Он промямлил в качестве объяснения:

— Непостижимо.

Руфь сказала:

— Ты увидел ее позже, чем я. Сходства почти никакого.

— Очень это плохо, — сказал он. Она отвернулась; он почувствовал, что настроение у нее упало, а у него соответственно поднялось. Он посадил на колени Джоффри, прижал его к себе и спросил:

— Как дела, шкипер?

— Отлично. — Мальчик произнес это каким-то грустным тоном, протянув «и».

— Тебе все еще кажется, что тебя задавили?

— Не очень.

Чарли, не сводивший зачарованных глаз с шофера, обернулся — веснушчатое личико его сияло лукавством — и сказал:

— Он вечно жалуется, потому что он еще маленький.

Нижняя губа у Джоффри задрожала, животик под рукой отца вздулся под напором воздуха, который он набрал в легкие, готовясь зареветь. Джерри быстро произнес:

— Смотрите-ка! Мы въезжаем в город, который зовут Славным [1].

Они въехали в Ниццу — точно въехали в призму. Фасады высоких белых отелей заливало солнце, так что от карнизов и тентов над окнами падали под углом в сорок пять градусов синие тени. Под пальмами, за круглыми стеклянными столиками, сидели дамы и господа в пальто. По Английскому променаду прогуливались люди, четко разделенные на свет и тень, как луна в срединной фазе. Джерри заметил одного типа в самом настоящем монокле. Он увидел женщину в жакете из шиншиллы, которая покупала букетик горных фиалок, завернутый в газету, в то время как пара серых пуделей симметрично обвивала ее ноги своими поводками. За зелеными перилами, ограждающими променад, убегал вдаль, извиваясь, пляж — туда, где над блестящей сталью моря нависает что-то вроде нежно-розового форта; пляж — каменистый, весь в подвижных, намытых водою камешках, в крошечных впадинах и щелях между которыми, словно в трубах органа, мелодично вздыхал океан. Берег полнился этой музыкой, а вокруг — солнце, сверканье, яркие краски, разноцветные зонты. Джерри сказал Руфи, просто чтобы что-то сказать:

— До чего хорошо. Мне здесь может понравиться.

Она восприняла его слова как эстетическую оценку и, проверяя ее, посмотрела в окно.

— Разве не тут обосновываются все короли в изгнании? — спросила она.

Такси свернуло с набережной Соединенных Штатов и поехало вверх по боковой улочке, мимо заржавевшего остова цветочного рынка и магазина с украшенными железной филигранью решетками.

— Nous sommes arrivés, mes enfants [2], — объявил шофер и обернулся, охватив всех широкой улыбкой, обнажившей желтые от табака зубы. — Ми приехаль! — добавил он на ломаном английском.

А из отеля уже выскочили портье и два его помощника, весело и жадно накинувшиеся на них, ибо в это время года постояльцы редки. Было ведь начало ноября. Предводительствуемые Руфью, они последовали за багажом и долго карабкались по прохладным ступеням зеленовато-серого мрамора к фасаду, похожему на свадебный торт.

Джерри сошел в Сент-Круа. Тропический воздух, живой и нежный, как брызги распылителя, дохнувший ему в лицо на заре в Сан-Хуане, здесь был суше. Джерри чувствовал необычайную легкость во всем теле, на душе у него было хорошо: он спал всего два часа, во время ночного полета из Айдлуайлда, где, стремясь избавиться от стеснения в груди, вдруг взял и сел в самолет. И тя-

---

[1] Ницца — Nice — на английском языке означает «славный».

[2] Приехали, дети мои *(франц.)*.

жесть из легких ушла. Аэровокзал был новый, без дверей, так что лишь тень лежала границей между внутри и снаружи. В помещение залетал бриз, принося дыхание земли и цветов. За кромкой тени, сквозь дымку равномерно вращающегося распылителя и сетку аэродромной ограды, видно было, как потоки воздуха, взвихренные пропеллерами самолета «Кериб Эйр», на котором он прилетел, взметнули столбы пыли, и черные носильщики, вдруг обезножев, словно повисли в воздухе. На низком зеленом холме, таком тусклом, точно вся краска впиталась в незагрунтованное полотно, высилась конусообразная громада — должно быть, остатки сахарного завода, подумал Джерри. Земля казалась одновременно истощенной и девственной. Похоже, самое подходящее для него место.

На стоянке такси негр с сигаретой за каждым ухом спросил, куда он хочет ехать — в «Кристианстед» или в «Фредериксте́д». Джерри не ожидал, что здесь будет выбор.

— А который из них вы рекомендуете?

Негр деликатно пожал плечами.

— Сами решайте, приятель. Один — там, другой, — он повел глазами в нужном направлении, — вон там.

— Значит, в оба сразу поехать я не могу? — сказал Джерри, решив пошутить.

Спокойное молчание последовало за его вопросом, не нуждавшимся в ответе; дышалось ему легко, он чувствовал, что начинает любить эту черту обитателей тропиков — терпеливое ожидание. Он сказал:

— Все, что мне надо, это комната и пляж. — Стоял март, ему говорили, что гостиницы к этому времени начинают пустеть.

Негр посмотрел поверх плеча Джерри, затем повернулся и нежным жестом открыл дверцу своего такси.

— Устроим вас в наилучшем виде, — сказал он.

Джерри залез в машину, и за те несколько минут, что он ждал, пока она двинется с места, еще два негра, а потом еще один вышли из тени аэровокзала и сели к нему в такси: один — впереди с шофером, двое других — сзади, с ним. Его оттеснили в угол. Негры, взрослые мужчины, хихикали и болтали о чем-то непостижимом; они переговаривались на каком-то своем языке, помеси колких шепотков и недосказанных намеков, — совершенно непонятном, хоть и английском языке. Такси помчалось на большой скорости по левой стороне прямой дороги, огражденной с обеих сторон стеной сахарного тростника; прямо на них мчалось другое такси, и они в последний момент чудом избежали столкновения — совсем как в аттракционе с зеркалами. Они проезжали мимо каменных остовов с прорезями, в которых когда-то стояли штыри исчезнувших жерновов, мимо хибар, крытых жестью, и более новых, американского типа, домиков, белых, оштукатуренных, с окнами, прикрытыми жалюзи, с бугенвиллеями, с водосточными трубами и цистернами для дождевой воды. На перекрестке указатель гласил: «Верхняя Любовь»; такси остановилось, и

один из негров вылез. Шофер спросил громко, совсем другим голосом, явно обращаясь к Джерри:

— Хотите поехать через горы-ы?

— Конечно, — сказал он. Покорись. Забудь.

Они забрались высоко — туда, где были пастбища и стояли раскидистые деревья с белой корой, свисавшей вниз, точно листья, засохшие среди лета. Выше и выше — бирюзовый океан, испещренный пятнами лаванды, то появлялся перед глазами, то исчезал. Теперь вокруг них сомкнулся лес, где волосатые лианы тонули в облаках гибискуса, а корни красного дерева сплетались над землей, образуя у края дороги причудливые храмы-пещеры. Что-то серебристое, точно ртуть, нырнуло под колеса такси, в машине вспыхнул возбужденный разговор, и таксист произнес намеренно четко, для Джерри:

— Ман-гу-ста.

Громыхая по скверной, в выбоинах дороге, они за поворотом вдруг выскочили из леса прямо в небо и остановились. Двое негров вышли и, не оглядываясь, направились к невидимому дому. Джерри понял, что никогда не увидит их домов. Передвинувшись на другой край опустевшего заднего сиденья, он глядел на ленту берега, ниточку шоссе, точечки красных крыш с такой же высоты, с какой месяц назад глядел на серые крыши Квинса, тесно придвинутые одна к другой, как картонки на складе.

Моторы самолета тогда вдруг заревели сильнее, черная вода подпрыгнула навстречу им, дети умолкли. Руфь сжала его руку. Колеса чиркнули по бетону полосы, огромное голубое тело машины содрогнулось и жалобно заскрипело — минута опасности миновала. Они были дома.

Из окна спальни домика, что они сняли в О-де-Кане, Джерри, задыхаясь от удушья рядом с Руфью, спавшей сном праведницы, мог видеть за глубокой узкой долиной, где когда-то жил Модильяни со своей любовницей, созвездие Ориона. Созвездие это словно бы сопутствует морю и самой своей вытянутой формой, напоминающей стройного мужчину, почему-то приносит успокоение, помогает дышать. Вернувшись в Америку, Джерри обнаружил, что созвездие трудно найти: его заслоняли вездесущие деревья, затмевали яркие искусственные огни — они словно переместились в звездном пространстве. Когда же однажды с какого-то открытого места Джерри увидел своего утешителя в изгнании, у Ориона не было того дружелюбного сияния, какое, возможно, придавала ему близость посеребренного луною тела его переменчивой возлюбленной — Средиземного моря, чей шелестящий сон поверженный охотник, опершись на локоть, казалось, неусыпно оберегал.

В Гринвуде Салли нигде не было видно, хотя Ричард в новом белом «порше» появлялся в городке по уик-эндам, а однажды в сумерки, не по сезону мягким мартовским днем, Джерри увидел его на заброшенной дороге с Джейнет Хорнунг — они ехали в машине со спущенным верхом и выглядели точно дети, застигнутые врасплох в одной ванне.

Шофер вытянул сигарету из-за уха и закурил — они спускались к пляжу и к городу. Россыпь камней на откосе оказалась отарой овец. Появились дома, но людей не было.

Эй, Салли?

Да, Джерри?

Ну, как все было? Очень худо?

Временами, но ты был прав, я это знала. Ты очень мудро понял в тот день, чего я на самом деле хотела, а мне казалось, я хотела как раз обратного.

Жаль, что я был таким мудрым. Жаль, что на самом деле ты хотела не меня.

Я хотела тебя и хочу. И ты принадлежишь мне, как Орион принадлежит морю.

Но то ведь боги, а мы с тобой простые смертные, как ты однажды сказала. И мы запутались, потому что мы люди. Ведь все получилось главным образом из-за детей.

Нет, мне бы тоже хотелось так думать, и ты очень добр, что лжешь мне. Но не было бы детей, было бы что-то другое. Была бы Руфь. А поведи себя Руфь иначе, ты бы нашел другой предлог. Ты хотел, чтобы я была безупречной.

В том-то и дело, верно? Такой ты останешься для меня навсегда.

Не навсегда, дорогой, — ты ведь не любишь, когда я зову тебя «дорогой», да? Никогда не любил, тебе казалось это искусственным. Я никогда не знала, как тебя называть, а минуты близости мне так хотелось придумать тебе подходящее имя, но я молчала.

Надо было хоть что-то сказать. Что угодно.

Я стеснялась.

Ты?

Да.

А сейчас ты как? У меня такое чувство, будто я мертвый.

Я все еще не оправилась от потрясения, но теперь уже легче. Я больше не твоя. Ты должен это знать. Через какое-то время я, наверное, ожесточусь и стану тебя ненавидеть, потому что ты унизил меня, а потом и это пройдет, и все мне будет, в общем-то, безразлично. Ты станешь моим бывшим любовником, и между нами могут даже установиться дружеские отношения.

Это звучит ужасно. Ужасно.

Женщины пытаются быть как мужчины, Джерри, что-то надумывают, но в конечном счете все мы люди практичные: жизнь заставляет. Надо идти своей дорогой, одному.

Нет. Я не верю тебе. Я любил тебя, потому что ты верила в то, во что верил я. И я следовал за тобой туда, где, кроме нас, никого не было.

Любая женщина, с которой ты будешь спать, отведет тебя туда же. Ничего другого у нас с тобой нет, мой дорогой, — только настоящее, а это — Руфь и Ричард. Люби Руфь, Джер-

ри. А теперь пора кончать разговор, иначе люди скажут, что я — шлюха.

Этот воображаемый разговор между ним и той Салли, чей образ он носил в себе, закончился словами, которые она действительно ему сказала. Это было на вечеринке у Коллинзов, в феврале. Войдя в набитую людьми комнату, он увидел ее, и у него возникло ощущение, что он вобрал ее глазами и она сразу заполнила матрицу, которую он всю жизнь, включая и месяцы, проведенные во Франции, создавал. Они вернулись из Франции, потому что дети заскучали по дому и им пора было в школу. Линда Коллинз написала, что Ричард не будет устраивать сцены: Салли утихомирила его. С живописью ничего не получилось: погода все время стояла чуть слишком прохладная для работы на улице, а однажды даже пошел снег, оторочив белым пухом кактусы у них в садике. Словом, хотя Джерри взял отпуск на полгода, во Франции они пробыли меньше трех месяцев. Сидя в комнате, он рисовал карикатуры — и не без удовольствия, хотя все карикатуры потом вернулись к нему. Как и он вернулся домой. После недолгой болтовни сквозь дым его сигареты — о здоровье, о лыжах, о детях — Салли сказала: «А теперь пора кончать разговор, иначе люди скажут, что я — шлюха», и отвернулась. В отеле в Вашингтоне она в свое время вот так же повернулась к нему спиной и заснула, а он терзался бессонницей. И вот он бродил по комнате, переходя от одной группы гостей к другой и терзаясь, а она стояла рядом с Ричардом. Ричард располнел, налился зрелостью, волосы у него так отросли, что завивались на шее, и, возможно, для большего впечатления он надел черную повязку на слепой глаз. Он выглядел огромным и очень храбрым. Из безопасного укрытия под его крылышком пронзительно звучал голос Салли, отдаваясь в каждом углу. Руфь подошла к Джерри и шепнула, что Салли, похоже, снова стала прежней. Он согласился — да, и подумал, а не напрасно ли он пытался оторвать Салли от ее подлинного «я».

— Ви едит Сент-Круа для отдых?

— Для перемены места.

Они въезжали в город. Выбеленные солнцем деревянные домики со старинным кружевным орнаментом стояли, как на сюрреалистической картине, вдоль прямой пустой улицы. Негр, лишенный тени, кособоко перекособочил через дорогу под самым их носом. Справа трепетало, переливалось молочно-зеленое море, и грязно-серое грузовое судно стояло на якоре. В конце улицы высился форт со скошенными стенами, весь красный, как цветок на открытке, какие посылают в день святого Валентина.

— Где я? — спросил Джерри.

— «Фредериксед», — ответил шофер.

— Я на востоке или на западе?

— Запад, мсье. Конец остров. Ви хотел на восток?

— Нет, это меня вполне устраивает. Великолепно. А место для меня тут найдется?

— Минутка — сейчас приедем. Не надо терять терпенье.

Джерри опустил стекло, нетерпеливо стремясь почувствовать себя свободным, слиться с этими редкими домиками, с жалкими, унылыми лавчонками, с лютеранской церковью, оставшейся от датчан, с фортом — со всем этим розовым покоем, излучаемым высоким зеленым морем. Он всей грудью вдохнул воздух. Да, наконец он нашел это место, и воздух здесь такой, как надо. Он всегда говорил ей, что есть такое место, и вот теперь он его нашел, он сдержал слово и привез их сюда. Он был несказанно, безмерно счастлив. Сам факт существования этого места на земле убеждал его, что есть такое измерение, в котором он пошел — что было правильно — на ту вечеринку, или пойдет на следующую, и, глядя застенчиво и ликующе в ее милое, печальное, с опущенными глазами лицо, скажет своей Салли: *«Давай поженимся»*.

КРОЛИК, БЕГИ

Благие порывы, жестокосердие, внешние обстоятельства.

Паскаль. Мысли, № 507

Мальчики играют в баскетбол вокруг телефонного столба, к которому привинчен щит. Мелькают ноги. Крики. Шарканье и шуршанье кедов по гравию катапультирует их голоса в высокую влажную синеву мартовского неба над проводами. Кролик Энгстром идет по переулку, на нем строгий деловой костюм, и хотя ему двадцать шесть лет и росту в нем шесть футов три дюйма, он останавливается посмотреть. Для кролика он, пожалуй, высоковат, но широкое белое лицо, бледно-голубые радужки, нервное подергивание верхней губы под коротким носом, когда он втыкает в рот сигарету, отчасти объясняют это прозвище, которым его наделили, когда и он тоже был мальчишкой. Он стоит и думает: ребята подрастают, теснят тебя со всех сторон.

Мальчишкам его присутствие кажется странным. Они играют для собственного удовольствия, а вовсе не напоказ какому-то взрослому дяде, который шляется по городу в двубортном пиджаке цвета какао. Вообще не понятно, почему взрослый идет по переулку пешком. Где его автомобиль? Сигарета придает ему и вовсе угрожающий вид. Может, он из тех, кто за сигареты или деньги предлагает прогуляться за фабрику искусственного льда? Про такие фокусы они уже слыхали, но их так просто не запугаешь — их ведь шестеро, а он один.

Мяч, отскочив от обода, пролетает над головами шестерых и падает к ногам одного. Стремительность короткого рывка, с которой он хватает мяч, приводит их в изумление. Притихнув, они смотрят на его темный силуэт — ни дать ни взять заводская труба, внезапно возникшая на фоне весенних небес. С прищуром глядя сквозь голубое облачко табачного дыма, он осторожно переставляет ноги и, растопырив пальцы, нервно крутит перед собою мяч. На ногтях белеют широкие полумесяцы. Человек внезапно приседает, и мяч, словно скользнув по правому отвороту пиджака, срывается с его плеча, летит ка будто даже не к щиту — он туда вовсе и не метил, — падает прямиком в корзину и, скромно шелестя, пролетает через сетку.

— Эге! — гордо выкрикивает Кролик.

— Случайность, — роняет какой-то мальчик.

— Мастерство, — отзывается он. — Можно, я с вами поиграю?

Вместо ответа мальчишки обмениваются недоуменными взглядами. Кролик снимает пиджак, аккуратно его складывает и кладет на чистую крышку мусорного ящика. Позади снова начинают метаться саржевые комбинезоны. Ринувшись в самую гущу, он выхватывает мяч из чьих-то слабых белых рук. Знакомое ощущение туго натянутой кожи возрождает в теле прежнюю упругость. Ему кажется, будто он сквозь далекие годы возвратился назад. Руки, как крылья, сами собою взмывают ввысь, и резиновый шар от макушки его головы несется к корзине. Недолет. Прицел казался ему настолько точным, что увидев падающий мяч, он изумленно щурится, и на секунду у него мелькает мысль, уж не пролетел ли мяч сквозь обод, не задев сетки?

— Эй, за какую команду я играю?

Краткая безмолвная суматоха, и к нему командируют двух мальчишек. Трое против четверых. Хотя Кролик с самого начала занял невыгодное положение в десяти футах от корзины, это все равно несправедливо. Никто не пытается вести счет. Угрюмое молчанье его раздражает. Ребята перебрасываются односложными замечаниями, но ему никто не смеет сказать ни слова. В разгаре игры он чувствует, как они толкутся у него под ногами, горячатся, злятся, пытаются подставить ему ножку, однако все еще держат язык за зубами. Он не нуждается в таком уважении, он хочет сказать им: то, что я взрослый, это ерунда, это никакой роли не играет. Минут через десять один его партнер переходит на сторону противника, и теперь Кролик Энгстром со вторым мальчуганом остаются вдвоем против пятерых. Этот мальчик, еще маленький, но уже застенчивый, неуверенный в себе, однако легкий на ногу — самый лучший изо всей шестерки; вязаная шапочка с зеленым помпоном, натянутая по самые брови, придает ему идиотский вид. Он — прирожденный талант, самородок. Стоит только посмотреть, как он двигается — не ступает, а как бы парит над землей. Если ему повезет, он со временем станет классным спортсменом, чемпионом школы. Кролику это знакомо. Постепенно поднимаешься со ступеньки на ступеньку на самый верх, все кричат «ура», пот слепит тебе глаза, волна шума и крика возносит тебя ввысь, а потом ты выходишь из игры — вначале ты еще не забыт, но все равно ты вышел из игры, и тебе хорошо, прохладно и привольно. Ты вышел из игры, ты как бы растворился и, поднимаясь все выше и выше, становишься для этих ребят просто какой-то частью мира взрослых, частью неба, что всегда висит у них над головами в городе. Они его не забыли, хуже — они о нем просто никогда не слыхали. Между тем в свое время Кролик был знаменитостью округа, в младшем классе средней школы он поставил рекорд в командных состязаниях лиги Б, в выпускном классе сам же его перекрыл, и этот последний рекорд был перекрыт лишь через четыре года, то есть четыре года назад.

Он забрасывает мяч в сетку одной рукой, двумя руками, одной рукой снизу, стоя на месте, с поворота, с прыжком, двумя руками от груди. Мяч мягко и плавно летит вперед. Он счастлив, что в

его руках все еще живет сила. Он чувствует, что стряхнул с себя долгое уныние. Однако тело стало грузным, и у него начинается одышка. Он запыхался, и это его бесит. Когда пятерка начинает стонать и медлить, а какой-то парнишка, нечаянно сбитый им с ног, встает и с измазанной физиономией ковыляет прочь, Кролик охотно сдается.

— Ладно. Старик пошел. Трижды ура, — говорит он и, обращаясь к своему партнеру с помпоном, добавляет: — Ну, пока, ас.

Он преисполнен благодарности к этому мальчишке, который с бескорыстным восхищением не сводил с него глаз еще долгое время после того, как остальные угрюмо надулись. Самородки, они знают, что к чему.

Захватив сложенный пиджак, Кролик убегает, держа его в одной руке, точно письмо. По переулку. Мимо заброшенной фабрики искусственного льда с прогнившими деревянными желобами вдоль погрузочной платформы. Мимо мусорных ящиков, гаражей, путаницы мертвых прошлогодних цветов в загородках из проволочной сетки. Стоит март. Все начинается сначала. В прозрачном от любви, горьковатом воздухе Кролик чует обещание чего-то нового и, вытащив из оттопыренного кармана рубашки пачку сигарет, не замедляя шага, швыряет ее в чей-то открытый мусорный бачок. Он очень доволен собой; его верхняя губа поднимается, обнажая зубы. Большие замшевые башмаки глухо шлепают по кучам мусора в переулке.

Он бежит. У перекрестка сворачивает на другую улицу. Это Уиябер-стрит в поселке Маунт Джадж, предместье города Бруэра, пятого по величине в штате Пенсильвания. Бежит в гору. Мимо группы больших домов — крепостей из кирпича и цемента с дверями из цветных стекол и окнами, уставленными цветочными горшками. Еще на пол-улицы выше, мимо жилого района, возведенного одним махом в тридцатые годы. Сдвоенные деревянные домики лесенкой взбираются по склону холма. Пространство высотою около шести футов, на которое каждый из них возвышается над соседним, занято парой тусклых окон, широко расставленных, словно глаза какого-то зверя, и обито деревянной дранкой всевозможных оттенков, от цвета кровоподтека до цвета навоза. Обляпившиеся фасады некогда были белыми. Здесь же вытянулись в ряд десятка полтора трехэтажных домов, каждый с двумя входными дверями. Седьмая дверь — его. Деревянные ступеньки истерлись, под лестницей кучка мусора, из которой торчит забытая игрушка — пластмассовый клоун. Он провалялся там всю зиму, но Кролик думал, что в конце концов какой-нибудь малыш за ним придет.

Запыхавшись, он останавливается в полутемном вестибюле. Здесь даже днем горит запыленная лампочка. Над коричневой батареей висят три пустых жестяных почтовых ящика. По другую сторону коридора обиженно смотрит закрытая дверь соседа, живущего этажом ниже. В доме всегда чем-то пахнет, но Кролик никак не может определить, чем именно, — то ли вареной капустой, то ли ржавым дыханием парового отопления, то ли просто каким-то

мягким веществом, которое гниет в стенах. Он поднимается на самый верх, в свою квартиру.

Дверь заперта. Он вставляет в замок маленький ключ, и рука его дрожит от непривычного напряжения. Металл скрежещет. Открыв дверь, он видит, что его жена сидит в кресле со стаканом коктейля «Старомодный» и, приглушив звук, смотрит телевизор.

— Ты *здесь*, — говорит он. — Зачем же ты заперла дверь?

Она глядит на него мутными темными глазами, покрасневшими от долгого сиденья у телевизора.

— Она сама захлопнулась.

— Сама захлопнулась, — повторяет он, однако наклоняется и целует ее гладкий лоб. Она миниатюрная, кожа у нее оливковая и такая тугая, словно что-то набухающее внутри изо всех сил стремится растянуть ее маленькое тело. Ему кажется, что она еще вчера была хорошенькой. Двух крохотных морщинок в уголках рта оказалось достаточным, чтобы сделать его жадным; волосы так поредели, что под ними ему все время чудится *череп*. Эти мельчайшие признаки старения появились совсем незаметно, поэтому вполне возможно, что завтра они исчезнут, и Дженис снова станет его девушкой. Он пытается шуткой вернуть ее в *это* состояние.

— Чего ты боишься? Кто, по-твоему, может войти в *эту* дверь? Эролл Флинн?

Она не отвечает. Он аккуратно расправляет пиджак, идет к стенному шкафу и достает проволочные плечики. Стенной шкаф выходит в гостиную, и его дверца открывается лишь наполовину, потому что как раз перед нею стоит телевизор. Кролик старается не задеть провод, воткнутый в розетку по другую сторону дверцы. Однажды Дженис, особенно неуклюжая от беременности и пьянства, запуталась ногой в проводе и чуть не уронила на пол сто-сорокадевятидолларовый телевизор. К счастью, Кролик успел подбежать как раз в тот момент, когда телевизор еще болтался на проволоке, а Дженис еще не начала судорожно дергать ногой в приступе панического страха. Почему она стала такой? Чего она боится? Со свойственной ему аккуратностью он ловко просовывает плечики в пиджак и, протянув длинную руку, вешает его на разрисованную трубку рядом с остальной своей одеждой. Может, снять с петлицы эмблему фирмы? Пожалуй, нет — завтра он наденет этот же костюм. У него всего два костюма, не считая темно-синего, слишком теплого для этого сезона. Он нажимает дверь, она со щелчком захлопывается, но тотчас снова приоткрывается на дюйм или два. Вот докука — мало того, что, открывая замок, руки его по-стариковски дрожали, тут еще Дженис, сидит и слушает этот скрежет.

— Если ты здесь, то где же автомобиль? На улице его нет, — спрашивает он, обернувшись.

— Он возле маминого дома. Отойди, ты мне мешаешь.

— Возле маминого дома? Черт знает что. Лучше места ты не нашла?

— Что там случилось?

— Где там? — Он отходит в сторону, чтобы не загораживать ей экран.

Она смотрит, как группа детей по прозвищу «Мышкетеры» исполняет музыкальный номер, в котором Дарлен играет парижскую цветочницу, Кэбби — полисмена, а этот высокий ухмыляющийся парень — романтического героя. Он, Дарлен, Кэбби и Карен (в костюме старой француженки, которой полисмен Кэбби помогает перейти улицу) танцуют.

Потом идет рекламная передача, в которой пять долек шоколадки «Тутси» вылезают из обертки и превращаются в пять букв: «Т-у-т-с-и». Они тоже танцуют и поют. Все еще продолжая петь, они залезают в обертку. От обертки, как от стены, отражается эхо. Ишь ты, сукин сын, здорово придумал. Он видел это уже сто раз, и на этот раз его начинает мутить. Сердце все еще трепещет, в горле пересохло.

— Гарри, у тебя нет сигареты? — спрашивает Дженис. — Мои кончились.

— А? По дороге домой я выкинул всю пачку в мусорный ящик. Бросаю курить. — Ему непонятно, что кто-то может думать о курении, когда его так тошнит.

Дженис, наконец, взглядывает на него.

— Выкинул в мусорный ящик! Колоссально. Ты не пьешь, а теперь и курить бросил. Ты что, в святые готовишься?

— Ш-ш-ш!

Появился великий Мышкетер Джимми — взрослый мужчина с круглыми черными ушами. Кролик внимательно за ним следит, он его уважает и надеется перенять у него что-нибудь полезное для своей работы — он демонстрирует в бруэрских магазинах дешевых товаров одно кухонное приспособление. Он уже целый месяц занимается этим делом. «Пословицы, пословицы, о, как они верны, — поет Джимми, бренча на гитаре, — пословицы говорят нам, что делать, пословицы помогают нам всем стать хорошими «Мышкетерами».

Убрав свою гитару и свою улыбку, Джимми вещает сквозь экран: «Познай самого себя, сказал некогда один мудрый старый грек. Познай самого себя. Что это значит, дорогие мальчики и девочки? Это значит, будьте сами собой. Не стремитесь быть такими, как Салли, Джонни или Фред, оставайтесь сами собой. Господь не хочет, чтобы дерево стало водопадом, а цветок — камнем. Господь наделяет каждого из нас своим особым талантом». Дженис и Кролик непривычно притихли, они оба верующие. При упоминании имени божьего их охватывает чувство вины. «Господь хочет, чтобы одни стали учеными, другие художниками, а третьи — пожарниками, врачами или акробатами. И он наделяет каждого из нас особыми талантами, необходимыми для этой цели, *но при условии, что мы будем трудиться, стараясь их развить*. Мы должны трудиться, мальчики и девочки. Итак: познай самого себя. Научись распознавать свои таланты, а потом трудись, стараясь их развить. Таков путь к счастью», — Джимми сжимает губы и подмигивает.

Это было здорово. Кролик пытается повторить трюк — сжать губы, подмигнуть, собрать своих зрителей и вместе с ними двинуться на незнакомого врага, который скрывается у них за спиной — будь то Уолт Дисней или Фирма Универсальных Чудо-Терок. Ясно, что все это обман, но, черт побери, надо же привлечь публику. Мы все связаны одной веревочкой. Весь мир держится на обмане. Он — основа нашей экономики. Витакономия — пароль современной домашней хозяйки, одно-единственное слово, означающее сохранение витаминов посредством Универсальной Чудо-Терки.

Дженис встает, и когда на экран пытается прорваться выпуск последних известий, выключает телевизор. Световая звездочка медленно гаснет.

— Где малыш? — спрашивает Кролик.

— У твоей мамы.

— У моей мамы? Автомобиль у твоей мамы, малыш — у моей. Господи, как ты умеешь все запутать!

Она встает, и он приходит в бешенство при виде тупой бесформенной глыбы, в которую превратила ее беременность. На ней специальная юбка с U-образным вырезом на животе. Из-под блузки торчит белый полумесяц комбинации.

— Я устала.

— Еще бы. Сколько ты их выпила? — указывает он на стакан «Старомодного».

— Я завезла Нельсона к твоей маме по пути к моей. Мы с ней собирались в город, — пытается объяснить она. — Мы поехали на ее автомобиле, прошлись по магазинам, посмотрели выставку весенней одежды в витринах, и она купила себе на распродаже у Кролла такой хорошенький шарфик. Из пестрого кашемира, шотландский. — Она запинается, ее узкий язычок заблудился между двумя рядами тусклых зубов.

Ему становится страшно. Когда Дженис смущена, на нее страшно смотреть. Глаза сердито вылезают из орбит, нижняя челюсть отвисает, рот превращается в дурацкую щель. С тех пор как на ее лоснящемся лбу образовались залысины, ему все время кажется, что она стала хрупкой, неподвижной и перед ней теперь одна-единственная дорога — к еще более глубоким морщинам и еще более редким волосам. Женился он сравнительно поздно, двадцати четырех лет, и хотя Дженис к тому времени уже два года как окончила среднюю школу, она все еще оставалась подростком с маленькими робкими грудями — когда она лежала, они превращались в плоские мягкие бугорки. Нельсон родился через семь месяцев после свадебной церемонии в епископальной церкви, роды были долгими и трудными, и от этого теперешний страх Кролика сливается с тогдашним и переходит в нежность.

— А что ты купила?

— Купальник.

— Купальник? В марте! Б-р-р!

На мгновение она закрывает глаза; от легкого запаха алкоголя его охватывает отвращение.

— Мне казалось, что если я его куплю, он тогда скорее будет мне впору.

— Чего тебе не хватает? Другим женщинам нравится быть беременными. Какого черта ты такая чудная? Ну, скажи, почему ты такая чудная?

Она открывает свои карие глаза, они наполняются слезами, слезы переливаются через края нижних век и текут по щекам, порозовевшим от обиды, а она смотрит на него и очень вдумчиво выговаривает:

— Ах ты, сукин сын.

Кролик подходит к жене, обнимает ее, живо ощущает горячее от слез дыхание, смотрит в налитые кровью глаза. В припадке нежности он опускается на колени, пытаясь прижаться к ее бедрам, но ему мешает ее большой живот. Он поднимается во весь рост и, глядя на нее сверху вниз, говорит:

— Ладно. Значит, ты купила купальник.

Отгородившись от мира его грудью и руками, она горячо произносит:

— Не убегай от меня, Гарри. Я люблю тебя.

Он никак не думал, что она сохранила такую горячность.

— А я люблю *тебя*. Ну, так что же дальше? Ты купила купальник.

— Красный, — говорит она, грустно прижимаясь к нему. Однако, когда она пьяна, ее тело приобретает какую-то хрупкость, неприятную на ощупь разболтанность. — С такой завязочкой на шее и с плиссированной юбочкой, которую в воде можно снять. Потом у меня так разболелись вены на ногах, что мы с мамой спустились в подвал у Кролла и взяли шоколадное мороженое с содовой. Они переделали все кафе, теперь там нет стойки. Но ноги у меня все равно так болели, что мама отвезла меня домой и сказала, что ты можешь сам взять машину и Нельсона.

— Черта с два, наверное, это не у тебя, а у нее болели ноги.

— Я думала, ты вернешься раньше. Где ты был?

— Так, болтался кое-где. Играл в баскет с мальчишками в переулке. — Они теперь разомкнули объятья.

— Я хотела вздремнуть, но никак не могла. Мама сказала, что у меня усталый вид.

— У тебя и должен быть усталый вид. Ты ведь современная домашняя хозяйка.

— Ну да, а ты пока что где-то шатаешься и играешь, как двенадцатилетний мальчишка.

Он сердится, что она не поняла его шутки насчет домашней хозяйки — той воображаемой особы, кому агенты фирмы Чудо-Терок должны продавать свой товар, не поняла таящейся в ней иронии, жалости и любви. Никуда не денешься — она глупа.

— Не вижу, чем ты лучше меня. Сидишь тут и смотришь программу для годовалых младенцев.

— Интересно, кто недавно шипел, чтоб я не мешала слушать?

— Ах, Дженис, Дженис, — вздыхает он. — Пора мне приласкать тебя как следует. Давно пора.

Она смотрит на него долгим ясным взглядом.

— Пойду приготовлю ужин, — решает она наконец.

Его обуревает раскаяние.

— Я сбегаю за автомобилем и привезу малыша. Несчастный ребенок наверно уже думает, что его совсем бросили. И какого черта твоя мать воображает, что моей только и дела, что с чужими детьми возиться?

В нем снова поднимается возмущение — она не понимает, что ему надо смотреть передачу про Джимми для работы, он ведь должен зарабатывать деньги на сахар, который она кладет в свой проклятый «Старомодный».

Сердито, хотя и не достаточно сердито, она идет в кухню. Ей бы надо обидеться по-настоящему или уж совсем не обижаться — ведь он сказал всего лишь про то, что делал не одну сотню раз. Может, даже и тысячу. Начиная с 1956-го в среднем каждые три дня. Сколько это будет? Триста. Так часто? Почему же это всегда требует таких усилий? Пока они не поженились, ей было легче. Тогда у нее получалось сразу. Совсем еще девчонка. Нервы, как новые нитки. Кожа пахла свежим хлопком. После работы они ходили в квартиру ее сослуживицы в Бруэре. Металлическая кровать, обои с серебряными медальонами, из окон, выходящих на запад, видны огромные газгольдеры на берегу реки. В то время они оба работали в универмаге Кролла: она, в белом халатике с карманчиком, на котором было вышито «Джен», продавала леденцы и орешки, а он этажом выше таскал мягкие кресла и деревянные журнальные столики, с девяти до пяти разбивая упаковочные рамы. Нос и глаза саднило от упаковочной стружки. Грязный черный полукруг мусорных ведер за лифтами; усыпанный кривыми гвоздями пол; черные ладони, а этот педик Чендлер каждый час заставлял мыть руки, чтобы не пачкать мебель. Мыло «Лава». Серая пена. От молотка и лома на руках вырастали желтые мозоли. В 5.30 отвратительный рабочий день кончался, и они встречались у выхода, поперек которого натягивалась цепь, чтоб не проходили покупатели. Выложенная зеленым стеклом камера молчания между двойными дверями; рядом, в неглубоких боковых витринах головы без туловищ в шляпах с перьями и в ожерельях розового жемчуга подслушивали прощальные сплетни. Все служащие Кролла ненавидели универмаг, однако уходили медленно, точно уплывали. Дженис с Кроликом встречались в этой тускло освещенной междверной камере с зеленым полом, словно под водой; толкнув единственную незатянутую цепью створку двери, они выходили на свет и, никогда не говоря о том, куда они идут, шагали к серебряным медальонам, нежно держась за руки, тихонько двигались навстречу потоку возвращающихся с работы автомобилей и предавались любви под льющимися из окна горизонтальными лучами вечернего света. Она стеснялась его взгляда. Заставляла закрывать глаза. Шелковистая, как домашняя туфля, тотчас раскрывалась навстречу. Потом, переступив последнюю черту, они, как потерянные, лежали в этой чужой постели. Серебро медальонов и золото угасающего дня.

Кухня — узкая щель позади гостиной, тесный проход между машинами, которые были ультрасовременными пять лет назад. Дженис роняет что-то металлическое — кастрюлю или кружку.

— Постарайся не обжечься! — кричит Кролик.

— Ты еще тут? — отзывается она.

Он подходит к стенному шкафу и вынимает пиджак, который только что аккуратно повесил. По сути дела, он — единственный, кто тут следит за порядком. В комнате полный развал — стакан «Старомодного» с раскисшим осадком на дне; набитая окурками пепельница вот-вот свалится с ручки кресла; измятый ковер; небрежно сложенные пачки липких старых газет; разбросанные повсюду ломаные игрушки — нога от куклы, изогнутый обрезок картона; комья пыли под батареями. Беконечный, безнадежный хаос плотной сетью стягивается у него на спине. Он пытается решить, куда пойти сначала — за автомобилем или за малышом? Может, сперва зайти за малышом? Ему больше хочется увидеть сына. До миссис Спрингер ближе. А вдруг она смотрит в окно, чтобы, увидев его, выскочить и сказать, какой усталой выглядит Дженис? *Интересно, кто не устанет, таскаясь с тобой по магазинам, сквалыга ты несчастная! Жирная стерва, цыганка старая.* Если он придет с малышом, она, может, и промолчит. Кролику нравится мысль пешком прогуляться с сыном. Нельсону два с половиной года, он ходит вразвалку, как кавалерист. В свете угасающего дня они пойдут под деревьями, и вдруг откуда ни возьмись — у тротуара стоит папина машина. Но на это уйдет больше времени — мать начнет обиняками втолковывать ему, какая никчемная эта Дженис. Эти разговоры всегда его раздражали; очень может быть, мать просто хотела его поддеть, но он не умел легко относиться к ее словам, она слишком властная, во всяком случае по отношению к нему. Лучше сначала сходить за машиной, а уж потом заехать за малышом. Но так ему что-то не хочется. Не хочется, и все. Он все больше запутывается, и от этой путаницы его начинает мутить.

— И захвати пачку сигарет, милый, ладно? — кричит из кухни Дженис обычным ровным голосом. Значит, его простили, и все остается, как было.

Глядя на свою бледную желтую тень на белой двери в прихожую, Кролик застывает; он чувствует, что попал в ловушку. Сомнений нет. Он выходит из дома.

На улице становится темно и прохладно. Норвежские клены источают аромат клейких свежих почек, в широких окнах гостиных вдоль Уилбер-стрит за серебристыми экранами телевизоров, словно огоньки в глубине пещер, мягко светятся лампы на кухнях. Кролик идет вниз по склону. День угасает. Кролик время от времени трогает шероховатую кору дерева или сухую ветку живой изгороди, чтобы хоть слегка ощутить структуру материи. На углу, где Уилбер-стрит пересекает Поттер-авеню, в сумеречном свете прислонился к своему бетонному столбу почтовый ящик. Указатель улиц с двумя лепестками, клинообразный ствол телефонного столба с изоляторами на фоне вечернего неба, золотистый куст

пожарного гидранта — целая роща. Когда-то он любил лазать по столбам. Заберешься на плечи приятелю, подтянешься и карабкаешься наверх, пока не ухватишь руками перекладины и, как по лесенке, поднимаешься до места, откуда слышно, как поют провода. Жуткий монотонный шепот. Он всегда внушал желание упасть, выпустить из рук жесткие перекладины, ощутить всей спиной пустоту — когда ты будешь падать, она охватит ноги и скользнет снизу вверх по позвоночнику. Он вспоминает, как, добравшись, наконец, до перекладины, чувствовал, что от заноз горят ладони. Как сидел, слушая гуденье проводов и воображая, будто узнал, что говорят друг другу люди, проник в секреты взрослых. Изоляторы — гигантские синие яйца в открытом всем ветрам гнезде.

Он идет вдоль Поттер-авеню. Висящие в немой высоте провода пронзают живые вершины кленов. На следующем углу, где сточные воды с фабрики искусственного льда некогда со всхлипом втягивались в канализационную трубу и вновь вытекали наружу на противоположной стороне улицы, Кролик переходит дорогу, идет вдоль канавы, мелкое русло которой прежде было затянуто лентами зеленого ила; они норовили скользнуть тебе под ноги и промочить башмаки, если ты осмеливался на них наступить. Однажды он упал в канаву, хотя не может вспомнить, зачем вообще пошел по ее скользкому краю. Ага — чтоб пофорсить перед девчонками — Лотти Бингамен и Маргарет Шелконф, а иногда еще Джуп Кобб и Мэри Хойер, с которыми ходил домой из начальной школы. У Маргарет часто ни с того ни с сего шла кровь из носа. Наверно, от избытка здоровья. Отец у ней был пьяница, и родители заставляли ее носить высокие ботинки на пуговицах, когда их давно уже никто не носил.

Он сворачивает на Кегерайз-стрит, узкий, мощенный гравием переулок, что вьется вдоль глухой задней стены маленькой картонажной фабрики, где работают главным образом пожилые женщины, минует цементный фасад магазина оптовой продажи пива и старинный фермерский дом — каменный, теперь заколоченный досками — старейшее здание в поселке, сложенное из грубых глыб красноватого песчаника. От этой фермы, чей хозяин некогда владел половиной всей земли, на которой ныне стоит Маунт Джадж, теперь остался один только двор, обнесенный покосившейся изломанной изгородью — куча коричневых жердей и гнилых досок. Летом на них буйно разрастутся сорняки — белые, мягкие, как воск, стебли, молочные стручки с шелковистыми семенами и грациозные желтые соцветия, подернутые водянистой пыльцой.

Небольшой пустырь отделяет старый фермерский дом от Спортивной Ассоциации «Солнечный Свет» — высокого кирпичного здания вроде городского многоквартирного дома, который как бы по недоразумению затесался в этот грязный проулок меж помойками и задними дворами. Какой-то странный навес величиной с деревянный сортир — его каждую зиму возвоят на каменных ступенях, чтобы защитить бар от непогоды — придает ему зловещий вид. Кролик несколько раз заходил в этот клуб. Никакого

солнечного света в нем нет и в помине. Первый этаж занимает бар, на втором стоят карточные столы, за которыми, глубокомысленно мыча, сидят местные старожилы. Спиртное и карты у Кролика всегда ассоциируются с унылым старым греховодником, у которого дурно пахнет изо рта, а еще большее уныние на него наводит царящая в этом здании атмосфера политических интриг. Его бывший баскетбольный тренер, Марти Тотеро, который, прежде чем его со скандалом выгнали из школы, имел кой-какие связи в местном политическом мире, жил в этом здании и, по слухам, все еще сохранял известное влияние. Кролик не любит политику, но он когда-то любил Тотеро. После матери Тотеро был для него самым большим авторитетом.

Мысль, что его бывший тренер торчит в этой дыре, несколько его пугает. Он идет дальше, мимо кузовной мастерской и заброшенного курятника. Он все время спускается вниз, потому что поселок Маунт Джадж расположен на восточном склоне горы Джадж, чей западный склон господствует над городом Бруэр. Хотя поселок и город смыкаются на шоссе, опоясывающем гору с юга и ведущем в Филадельфию, до которой от них пятьдесят миль, они никогда не сольются воедино, потому что гора подняла между ними свой широкий зеленый гребень протяженностью в две мили с севера на юг. В гору вгрызаются гравийные карьеры, кладбища и новые жилые кварталы, но выше определенной черты сохранились в неприкосновенности сотни акров леса, который поселковые машины никак не могут до конца освоить. Шум автомобилей, ползущих на второй скорости по живописным серпантинам, уже вторгается в эти заросли. Однако на огромных пространствах нехоженого соснового бора усыпанная иглами земля, заглушая звуки, уходит все дальше и дальше ввысь под бесконечными зелеными туннелями, и кажется, что из безмолвия ты попадаешь куда-то еще похуже. А потом, наткнувшись на залитую солнцем поляну, которую ветви не потрудились скрыть, или на обвалившийся каменный погреб, вырытый каким-то храбрым великаном-поселенцем много сотен лет назад, ты и впрямь начинаешь дрожать от страха, словно след чужой жизни привлечет внимание к тебе и деревья, затаившие угрозу, оживут. Страх звенит в тебе, как набатный колокол который ты не в силах заглушить, нарастает, и ты, сгорбившись, ускоряешь свой бег, но вот, наконец, раздается отчетливый скрежет, водитель приближающейся машины переключил передачу, и за стволами сосен забелели приземистые сигнальные столбики. Наконец, благополучно добравшись до твердого асфальта, ты стоишь и размышляешь: то ли пойти пешком вниз по дороге, то ли попроситься на попутную машину и доехать до гостиницы «Бельведер», купить там шоколадку и полюбоваться Бруэром, распростертым внизу, как ковер, красным городом, где дерево, жесть и даже красный кирпич выкрашены в оранжево-красный цвет глиняных горшков, непохожий на цвет никакого другого города в мире, но для окрестных ребят единственный цвет всех городов вообще.

Гора Джадж рано приносит сумерки в поселок. Сейчас всего

лишь начало седьмого, канун весеннего равноденствия, а все дома, крытые толем фабрики и расходящиеся по диагонали улицы на склоне холма уже утонули в голубой тени, которая заливает поля и луга к востоку от горы. В больших окнах ранчо, двойным рядом стоящих по краю тени, рдеет заходящее солнце. Подобно морскому отливу отступая от домов по ожидающей сева огороженной коричневой земле и полю для игры в гольф — если бы не желтые пятна песчаных участков, издали его можно принять за длинное пастбище, — волна солнечного света, словно лампы, гасит одно за другим все эти окна, а потом уползает вверх на западные склоны холмов по ту сторону долины и там еще долго сверкает гордым вечерним светом. Кролик медлит в конце переулка, откуда открывается эта широкая перспектива. Здесь он когда-то подносил мячи и клюшки игрокам в гольф.

Снедаемый смутным нетерпением, он отворачивается и идет налево по Джексон-роуд, где прожил двадцать лет. Его родители живут в двухквартирном кирпичном доме на углу, но угловая часть принадлежит не им, а их соседям Болджерам, которые, на зависть миссис Энгстром, владеют еще и маленьким боковым двориком. *Окна этих Болджеров забирают весь свет, а мы сидим тут, втиснутые в эту щель.*

Кролик бесшумно приближается по траве к своему родному дому, перепрыгивает низенькую живую изгородь из барбариса и проволочную сетку, натянутую, чтобы дети не выбегали на улицу. Он крадется по газону между двумя цементными дорожками, идущими вдоль двух кирпичных стенок — за одной из них когда-то жил он, а за другой — семейство Зимов. Миссис Зим, уродина с выпученными от базедовой болезни глазами, с синеватой дряблой кожей, целыми днями бранила свою дочку Кэролин, неправомерно хорошенькую для своих пяти лет. Мистер Зим был рыжий и толстогубый, а в Кэролин полнота и худоба, красный и синий цвет, здоровье и впечатлительность смешались как раз в необходимой пропорции; ее не по годам ранняя красота, казалось, расцвела не здесь, а где-то во Франции, в Персии или в раю. Это видел даже Гарри, который был всего лишь на шесть лет старше и вообще не обращал внимания на девчонок. Миссис Зим целый день ее бранила, а когда мистер Зим приходил домой с работы, они оба часами кричали друг на друга. Начиналось с того, что мистер Зим вступался за девочку, а потом соседи слышали, как старые раны раскрывались, словно заморские цветы в ночи. Иногда мама говорила, что мистер убьет миссис, а иногда, что девочка убьет их обоих спящими. Кэролин и вправду была какая-то равнодушная; отправляясь в школу, она никогда не выходила из дому без улыбки на своем сердцеобазном личике и шествовала по улицам с таким видом, будто ей принадлежит весь мир, хотя Энгстромы только что слышали, как ее мать во время завтрака закатила ей очередную истерику, — кухонные окна отстояли друг от друга не более чем на шесть футов. *И как только этот несчастный терпит? Если Кэролин с матерью не помирятся, ни в одно прекрасное утро проснутся без своего кормильца и защитника.*

Но мамины предсказания никогда не сбывались. Когда Зимы уехали, они уехали все вместе — мистер и миссис и Кэролин, — укатили в своем фургончике, а часть их мебели еще стояла на тротуаре возле наемно грузовика. Мистер Зим получил новую работу в Кливленде, штат Огайо. Бедняги, никто о них не пожалеет. Однако скоро пожалели. Свою половину дома они продали пожилой чете правоверных методистов, и старик отказался стричь газон между ними и Энгстромами. Мистер Зим — он и в дождь и в ведро каждый уикэнд работал во дворе, *словно это его единственная радость в жизни, чему я ничуть не удивляюсь* — всегда его подстригал. Старик методист стриг только свою половину — проходил газонокосилкой один ряд, а потом задом наперед толкал газонокосилку по своей дорожке, хотя с таким же успехом мог бы пройти вторую половину газона, а не оставлять его в таком дурацком виде. *Когда я слышу, как колеса старого идиота самодовольно тарахтят по дорожке, у меня подскакивает давление и начинает стрелять в ушах.* Одно лето мать запретила Кролику и мужу подстригать их половину газона, и на этой затененной полоске выросла густая трава, какие-то растения вроде пшеницы и даже несколько золотарников, и наконец, в августе явился чиновник городского управления и сказал, что очень сожалеет, но согласно постановлению муниципального совета они обязаны скосить траву. Встретивший его у дверей Гарри ответил: «Да, да, конечно», как вдруг у него за спиной появилась мать и спросила, о чем идет речь. Это ее клумба. Она не позволит ее портить. Кролику стало очень стыдно за мать. Чиновник глянул на нее, вытащил из набедренного кармана засаленную книжицу и показал ей постановление. Она все твердила, что это ее клумба. Тогда он сообщил ей размер штрафа и сошел с крыльца.

В субботу, когда она уехала за покупками в Бруэр, отец вытащил из гаража серп и срезал все сорняки, а Гарри возил газонокосилку взад-вперед по стерне, пока их половина газона не стала такой же аккуратной, как у методиста, хотя и чуть-чуть побурее. Он чувствовал себя виноватым и со страхом ожидал ссоры между родителями, когда мать вернется. Ссоры их приводили его в ужас; когда их лица сердито хмурились и с языка слетали злые слова, ему казалось, будто перед ним поставили стекло и ему нечем дышать; силы покидал его, и ему приходилось скрываться в дальнем углу дома. Однако на этот раз ссоры не было. Отец потряс его тем, что поврослу соврал, подмигнув при этом, отчего потрясение удвоилось. Он сказал, что методист в конце концов не выдержал и подстриг газон. Мать поверила, но ничуть не обрадовалась; остаток дня и еще неделю она твердила, что старому трясуну надо предъявить иск. Постепенно она стала думать, будто это и вправду ее клумба. Ширина газона от одной цементной дорожки до другой чуть побольше фута. Гарри кажется, что ходить по нему так же опасно, как по верхушке стены.

Он возвращается назад, доходит до освещенного окна кухни, стараясь не шаркнуть подметкой, ступает на цемент и, поднявшись на цыпочки, заглядывает в ярко освещенный угол. Он видит

самого себя на высоком стуле, и странная ревность на мгновенье вспыхивает в нем, но тут же проходит. Это его сын. Коротенькая шейка мальчика блестит, как все остальные сверкающие чистотой вещи на кухне — тарелки, чашки, хромированные ручки и алюминиевые формочки для печенья на полках, украшенных фестончиками из глянцевитой клеенки. Поблескивают очки матери, когда она, наклонившись над столом, сгибает пухлую руку с ложкой дымящейся фасоли. На лице ее ни тени тревоги, которую ей следовало бы испытывать от того, что за мальчиком никто не приходит, наоборот, и вытянутое лицо и граненый, словно клюв, нос выражают одно-единственное желание — накормить ребенка. От рта разбегаются белые морщинки. Они расходятся в улыбке — Нельсон, наверное, открыл рот и взял фасоль. Сидящие за столом рассыпаются в похвалах — приглушенные односложные замечания отца, пронзительные восклицания сестры, — оба голоса звучат как-то слабо. Кролик не разбирает слов, потому что звуки заглушает стекло и шум крови в голове. Отец только что пришел с работы, на нем измазанная чернилами синяя рубашка, и когда с лица его сходит выражение похвалы по адресу внука, он выглядит старым — седым и утомленным. Шея словно связка обвислых шнурков. Новые зубы, которые он вставил в прошлом году, изменили ему лицо, сократив на какую-то долю дюйма. Мириам, по случаю пятницы разряженная в черное с золотом, рассеянно поковырявшись в тарелке, протягивает малышу полную ложку; ее тонкая, обвитая браслетом рука вносит в картину какой-то варварский штрих. Она слишком сильно красится, девятнадцатилетняя девчонка хороша и без зеленых век. Зубы у нее выдаются вперед, и потому она старается не улыбаться. Большая кудрявая голова Нельсона на ярко освещенной шее наклоняется, короткая ручонка в розовый горшек неуверенно тянется к ложке, пытаясь отнять ее у тетки. Лицо деда расплывается от смеха; верхняя губа Мим приподнимается, улыбка ломает притворно-глубокомысленную мину, и сквозь нее проглядывает девчушка, которую Кролик катал на раме велосипеда; когда они свободным ходом катились под гору по крутым улицам Маунт Джаджа, ее развевающиеся волосы щекотали ему лицо. Она отдает Нельсону ложку; он тут же роняет ее с криком: «Полил! Полил!» Это Кролик слышит; ясно, малыш хочет сказать «пролил». Мим с отцом смеются и что-то ему говорят, а мать, сердито поджав губы, сует ему в рот свою ложку. Его сына кормят, в этом доме царит счастье, не то что у него, и Кролик, отступив по цементу на шаг назад, бесшумно выбирается обратно по травяной полоске.

Теперь он действует решительно и быстро. В темноте проходит еще один квартал по Джексон-роуд. Пересекает наискосок Джозеф-стрит, пробегает еще один квартал, минует шагом другой и, наконец, видит, что его автомобиль, в нарушение всех правил стоящий на левой стороне улицы ухмыляется ему во всю решетку. Он хлопает себя по карману, и его пронизывает страх. У него нет ключа. Все, весь его план зависит от того, что натворила на этот раз растеряха Дженис. Либо она забыла дать ему ключ, ког-

да он уходил, либо вообще не соизволила вынуть его из зажигания. Кролик старается угадать, что более правдоподобно, но не может. Он не настолько ее знает. Он никогда не знает, что она может выкинуть. Она сама не знает. Идиотка.

Просторный дом Спрингеров освещен не спереди, а сзади. Кролик крадется в сладко пахнущей тени деревьев, на случай, если старуха, сидя в темной гостиной ждет его, чтобы высказать свое мнение. Он обходит машину спереди; это «форд» образца 55 года, который старик Спрингер со своими желтыми, как у Гитлераа, усиками продал ему ровно за тысячу в 1957, потому что трусливому гаду было стыдно — он ведь торгует машинами, — ему было стыдно, что его дочь выходит за человека, владеющего всего лишь «бьюиком» образца 36 года, который он купил за сто двадцать пять долларов, когда служил в армии в Техасе. Заставил Кролика выложить тысячу, которой у него не было, когда он только-только отремонтировал «бьюик» за восемьдесят. Вот как оно получается. Что посеешь, то и пожнешь. Открыв правую дверцу, он вздрагивает от щелчка тугой дверной пружины и быстро просовывает голову внутрь. Слава тебе господи. Под кнопками освещения и стеклоочистителя чернеет восьмиугольный силуэт ключа. Дай бог здоровья этой дуре. Кролик вползает внутрь; он не хлопает дверцей, а закрывает ее так, что металл легонько касается металла. Фасад оштукатуренного спрингеровского дома все еще не освещен. Он чем-то напоминает ему пустой ларек с мороженым. Кролик поворачивает ключ через отметку «зажигание» на «старт», и мотор, чихнув, заводится. Однако, стараясь не выдать своего присутствия, он слишком слабо нажал на акселератор, и двигатель, застывший в холодном воздухе ранней весны, мгновенно глохнет. У Кролика прямо сердце переворачивается, в горле першит, как от сухой соломы. Допустим, она даже и выйдет, ну и черт с ней. Подозрительно только, что с ним нет малыша, но ведь можно сказать, что он за ним едет. В конце концов логично было бы сделать именно так. Однако ему неохота затруднять себя враньем, хотя бы и правдоподобным. Кончиками пальцев он чуть-чуть вытягивает подсос и снова заводит мотор. Нажав на акселератор, он смотрит вбок, видит, что в гостиной Спрингеров зажегся свет, отпускает сцепление, и «форд» отрывается от тротуара.

Превышая дозволенную скорость, он проезжает Джозеф-стрит и сворачивает налево, игнорируя знак СТОП. Едет по Джексонроуд вниз, где она под косым углом вливается в Центральную, которая одновременно дорога № 422 в Филадельфию. СТОП. В Филадельфию он ехать не хочет, но на краю поселка за электростанцией дорога расширяется, и остается единственная возможность — вернуться назад через Маунт Джадж и, обогнув гору, въехать в самую гущу Брузра и вечернего движения. Он не хочет больше никогда видеть Бруэр, город цветочных горшков. Шоссе с тремя полосами движения переходит в шоссе с четырьмя полосами, и теперь можно не бояться задеть другой автомобиль — все идут параллельно, словно палки на стремнине. Кролик включает радио. Сначала раздается жужжание, потом прекрасная негритянка поет:

«Без песни де-е-ень не кончится, без песни». Ощущение внутренней чистоты требует сигареты, но Кролик вспоминает, что бросил курить, и чувствует себя еще более чистым. Он откидывается назад, кладет правую руку на спинку сиденья и, управляя одной левой, скользит по окутанной сумерками автостраде. «На кукурузном поле» глухой теплый голос певицы изгибается, как внутренность виолончели «растет трава» земля вокруг шоссе бесконечно уходит под уклон, словно какая-то темная птица «нет никакого смысла здесь ни в чем» скальп его в экстазе сжимается «без песни». Запахло жженой резиной, значит, включилось отопление, и он ставит рычажок на УМЕРЕННО.

«Тайная любовь», «Осенние листья» и еще какая-то песня, названия он не расслышал. Музыка к ужину. Музыка под стряпню. Он с досадой отключается от непрошеного зрелища: Дженис готовит ужин, на сковороде что-то шипит, наверное, отбивные, подернутая жиром вода безутешно пузырится, из размороженной фасоли улетучиваются витамины. Он старается думать о чем-нибудь приятном. Воображает, как с дальней дистанции делает бросок одной рукой, но он стоит на крутом утесе, а под ним пропасть, в которую он рухнет, как только мяч вылетит из рук. Он пытается снова представить себе, как мать и сестра кормят его сына, но, мысленно обратив свой взгляд назад, видит, что мальчик плачет, лоб у него покраснел, из широко открытого рта вырывается горячее дыхание. Но что-то должно же ведь быть: сточные воды с фабрики искусственного льда текут по канаве, желтой струйкой вьются вокруг камней, расходятся круговой рябью, покачивая ниточки ила у краев. Память внезапно возрождает трепет Дженис на чужой постели в свете угасающего дня. Он хочет стереть это воспоминание с помощью Мириам. Мим на раме его велосипеда, Мим на санках в темноте, он везет ее вверх по Джексон-стрит, маленькая девчушка в капоре смеется, а он большой старший брат, красные огни в снегу над загородской, которой рабочие муниципалитета закрыли движение по улице, чтоб не мешать кататься на санках, вниз, вниз, полозья со свистом скользят по утрамбованному темному склону. *Держи меня, Гарри,* сыплются искры — это полозья врезались в шлак, брошенный у подножья для безопасности, скрежет, словно стук огромного сердца в темноте. *Еще разок, Гарри, а потом домой, честное слово, Гарри, пожалуйста, ой, как я тебя люблю,* маленькая Мим, ей всего лет семь, не больше, на ней темный капор, улица мягкая, как воск, а снег все идет и идет. Бедная Дженис теперь, наверное, совсем уже сдрейфила, звонит по телефону своей матери или его матери, кому-нибудь, не понимает, почему стынет ужин. Жуткая тупица. Прости меня.

Он набавляет скорость. Растущая путаница огней таит угрозу. Его втягивает в Филадельфию. Он ненавидит Филадельфию. Самый грязный город в мире, вода — сплошной яд, прямо отдает химикатами. Он хочет ехать на юг, вниз, вниз по карте, в край апельсиновых рощ, дымящихся рек и босоногих женщин. Кажется, чего проще — мчи себе всю ночь, все утро, весь день, остановись

на пляже, сними башмаки и усни на берегу Мексиканского залива. Проснись в идеальном здравии под идеально расставленными звездами. Но едет он на восток, хуже некуда, к болезням, саже и вони, в душную дыру, где не проедешь и шагу, как сразу кого-нибудь задавишь. Однако шоссе тянет его за собой, а на указателе надпись: ПОТТСТАУН 2. Он чуть не затормозил. Но потом задумался.

Если он едет на восток, значит, юг справа. И внезапно, словно весь мир только и ждал, как бы удовлетворить его желание, справа появляется широкое шоссе и перед поворотом указатель: ДОРОГА № 100 УЭСТ ЧЕСТЕР — УИЛМИНГТОН. Дорога № 100 — прекрасно, это звучит категорически. Он не хочет в Уилмингтон, но ему как раз в ту сторону. Он никогда не был в Уилмингтоне. Это владение Дюпонов. Интересно, каково переспать с какой-нибудь Дюпоншей.

Однако, не проехав и пяти миль, он чувствует, как шоссе начинает превращаться в часть той же самой ловушки. Он сворачивает в первый попавшийся поворот. Фары высвечивают на придорожном камне надпись: 23. Хорошее число. На первых своих состязаниях он набрал 23 очка. Ученик предпоследнего класса средней школы и девственник. Узкую дорогу затеняют деревья.

Босая Дюпонша. Наверняка загорелые ноги, маленькие птичьи грудки. На краю плавательного бассейна во Франции. Интересно, богатые девушки фригидны? Или нимфоманки? Наверное, разные. В конце концов все они просто женщины, ведущие свой род от какого-нибудь старого мошенника, грабившего индейцев, который оказался удачливее других; у всех одни и те же качества, даже если они живут в трущобах. Там, на грязных матрацах, белизна сверкает еще ярче. Удивительно мягкие, если им хочется. В противном случае просто жирные туши.

Шоссе № 23 идет на запад через скучные провинциальные городки — Ковентривилл, Элверсон, Моргантаун. Кролик любит такие городки. Высокие кубы фермерских домов ластятся к дороге. Мягкие меловые бока. В одном из городков ярко светится бар, и Кролик останавливается напротив у скобяной лавки, рядом с двумя бензоколонками. По радио он слышал, что уже половина восьмого, но скобяная лавка еще открыта, в витрине лопаты, сеялки, экскаваторы для рытья ям под столбы, топоры — синие, оранжевые и желтые, несколько удочек, на веревочке перчатки для игры в гольф. Выходит человек средних лет, на нем сапоги, мешковатые брюки цвета хаки и две рубашки.

— Да, сэр, — говорит он, нажимая на второе слово, словно припадающий на ногу инвалид.

— Нельзя ли заправиться?

Человек начинает качать бензин. Кролик вылезает из машины, обходит ее сзади и спрашивает:

— Сколько отсюда до Бруэра?

Фермер, сосредоточенно вслушиваясь в бульканье бензина, поднимает голову и бросает на него короткий недоверчивый взгляд.

— Поверните назад, поезжайте по той дороге, тогда останется всего шестнадцать миль до места, — отвечает он, подняв палец.

Шестнадцать. Он сделал сорок миль, чтобы отъехать на шестнадцать.

Но и это далеко, здесь совсем другой мир. У него и запах иной, более древний, здесь пахнет глухоманью, укромными местечками в земле, которой никто еще не трогал.

— А если ехать прямо?

— Приедете в Черчтаун.

— А что за Черчтауном?

— Нью-Холланд. Ланкастер.

— У вас есть какие-нибудь карты?

— Сынок, куда тебе надо попасть?

— А? Точно не знаю.

— Куда ты едешь? — терпеливо допытывается человек. Лицо его кажется одновременно добродушным, хитрым и глупым.

Только тут Кролик осознает, что он преступник. Он слышит, как по горловине бензобака поднимается бензин, и замечает, до чего старательно фермер выжимает в бак каждую каплю, не позволяя ей перелиться через край, что сделал бы нахальный служитель бензоколонки в городе. Здесь ни единой капли бензина не должно пропасть, а его угораздило забраться в эту глушь, — да к тому ж еще и на ночь глядя. В этом краю законы — не бесплотные духи, они бродят вокруг, источая запах земли. Тело Кролика обволакивает беспричинный страх.

— Проверить масло? — спрашивает человек, вешая шланг на стенку ржавой колонки — она старого образца, с окрашенной головкой в форме пузыря.

— Нет. Постойте. Впрочем, да. Пожалуй, проверьте. Спасибо.

Успокойся. Ты всего лишь попросил карту. Этот навозный жук чертовски скуп, но что тут подозрительного? Кто-то всегда куда-нибудь едет. Пусть он проверит масло, я ведь больше не буду останавливаться, пока не проеду полдороги до Джорджии.

— Скажите, сколько отсюда до Ланкастера, если ехать на юг?

— Прямо на юг? Не знаю. По дороге будет миль двадцать пять. Масло у тебя в порядке. Ты решил ехать в Ланкастер?

— Да, пожалуй.

— Воду проверить?

— Не надо. Воды достаточно.

— Аккумулятор?

— Он в порядке. Пора ехать.

Человек захлопывает капот и, глядя на Гарри, улыбается.

— Три девяносто за бензин, молодой человек, — слова звучат четко, с нажимом, как тяжелые осторожные шаги калеки.

Кролик кладет ему в руку четыре долларовых бумажки. Рука заскорузлая, жесткая, ногти напоминают старые лопаты, от долгого употребления принявшие причудливые формы. Человек исчезает в дверях скобяной лавки, наверно, звонит в полицию штата. Ведет себя так, словно о чем-то узнал, но откуда? Кролику не терпится нырнуть в машину и уехать. Чтобы успокоиться, он

пересчитывает оставшиеся в бумажнике деньги. Семьдесят три. Сегодня была получка. Прикосновение к такому большому количеству хрустящих бумажек успокаивает нервы. Выключив свет в лавке, фермер возвращаеися с десятицентовиком, но без карты Гарри протягивает руку, человек толстым большим пальцем заталкивает ему в ладонь десятицентовик и говорит:

— Перерыл все, но, кроме дорожной карты штата Нью-Йорк, ничего нет. Ты случайно туда не собираешься?

— Нет, — отвечает Кролик, направляясь к двери автомобиля. Сквозь волосы на затылке он чувствует, что человек идет за ним. Он садится в автомобиль, хлопает дверцей, и фермер уже тут как тут, его дряблая физиономия торчит в открытом окне. Он наклоняется и норовит просунуть голову внутрь. Потрескавшиеся тонкие губы глубокомысленно шевелятся; на них шрам, поднимающийся к носу. Он в очках — ученый.

— Знаешь что, единственный способ куда-нибудь приехать — это сперва разобраться, куда едешь.

Кролика обдает запахом виски.

— Не думаю, — ровным голосом отвечает он.

Губы, очки, черные волоски, торчащие из ноздрей, имеющих форму слезинки, не выказывают ни малейшего удивления. Кролик отъезжает и направляется вперед. От каждого, кто указывает тебе, что надо делать, воняет виски.

Он едет в Ланкастер. Приятное ощущение легкости начисто испортилось. От того, что этот слабоумный ни черта ни о чем не знал, вся округа приобрела зловещий вид. За Черчтауном он обгоняет в темноте повозку меннонитов; перед глазами в призрачном экипаже на конной тяге мелькает бородатый мужчина и женщина в черном. Оба смотрят злобно, как дьяволы. Борода торчит из повозки, как волоски из ноздри. Он пытается думать о праведной жизни этих людей, о том, как они сторонятся всей этой показухи, этого витаминного рэкета двадцатого века, но все равно для него они остаются дьяволами; рискуя быть раздавленными, они плетутся по дорогам с одним-единственным тусклым красным отражателем позади, полные лютой ненависти к Кролику и ему подобным с их огромными пушистыми задними фонарями. Что они о себе воображают? Он не может выбросить их из головы. В зеркале заднего вида они так и не появились. Он проехал, и от них не осталось и следа. Всего лишь мимолетный взгляд вбок — широкоскулое лицо женщины, словно треугольник из дыма в квадратной тени. Высокий, подбитый волосом гроб тарахтит по дороге под топот копыт полудохлой клячи. Меннониты ведь до смерти загоняют своих лошадей. Фанатики. Совокупляются со своими женщинами стоя, в полях, одетыми, попросту задерут черную юбку, а под ней ничего. Никаких штанов. Фанатики. Навозопоклонники.

Тучная земля как бы отбрасывает в воздух тьму. Ночью поля выглядят уныло. Когда огни Ланкастера сливаются с приглушенным светом его фар, ему становится легче. Он останавливается у кафе; часы показывают 8,04. Он не собирался есть, пока не выедет за пределы штата. Он берет карту со стеллажа возле входа и,

поедая у стойки три булочки с котлетой, пытается определить в пространстве. Он в Ланкастере: кругом — городки со смешными названиями: Берд ин Хенд — Синицу в Руки, Пэрадайз — Рай, Интеркорс — Сношение, Маунт Эри — Воздушная Гора, Мэскет — Талисман. Наверно, если в них живешь, они не кажутся смешными. Как Маунт Джадж — Гора Судья. Привыкаешь. Должен же город как-то называться.

Берд ин Хенд, Пэрадайз, глаза снова и снова возвращаются к изящным буковкам на карте. Стоя посреди мерцающей синтетическим блеском ресторанной суматохи, он чувствует желание отправиться туда. Маленькие пухлые женщины, крохотные собачонки на улицах, леденцовые домики в лимонных солнечных лучах.

Но нет, его цель — белое солнце юга, как огромная подушка в небесах. А судя по карте, он все время двигался скорее на запад, чем на юг; если б у того навозного жука была карта, он мог бы проехать прямо на юг по дороге № 10. Теперь остается только въехать в центр Ланкастера, выбраться из него по дороге № 222, не съезжать с нее до самого Мериленда, а потом свернуть на дорогу № 1. Он вспоминает заметку в «Сэтердей ивнинг пост», что № 1 тянется от Флориды до Мейна по самой живописной местности в мире. Он берет стакан молока и к нему яблочный пирог, корочка хрустит и пузырится, и у них хватило ума положить туда корицу. Мать всегда кладет в пироги корицу. Он расплачивается, разменяв десятку, и довольный выходит на автомобильную стоянку. Здешние котлеты жирнее и теплее, чем в Бруэре, а булочки, как видно хорошо пропеклись. Дела идут на лад.

Полчаса он плетется через город. Выехав на № 222, направляется к югу через Рефтон, Хесседейл, Нью-Провиденс и Куарривилл, затем через Механикс Гроув — Рощу Механики и Юникорн — Единорог, после чего начинается ровная местность, такая унылая и неприятная, что лишь натолкнувшись на Оквуд, он осознает, что въехал в Мериленд. По радио передают: «Не надо мне ни рук, ни губ чужих», «Стеггер Ли», рекламу Прозрачных Чехлов на Сиденья из Пластика фирмы Рейко, «О, если бы мне было наплевать» в исполнении Конни Френсис, рекламу Управляемых по Радио Дверей для Гаража, Мел Торм поет: «Я бежал всю дорогу домой просить прощенья», «Это старое чувство», рекламу Телевизора Вестингауз с Большим Экраном и Автоматической Настройкой Одним Пальцем — «предельно четкое изображение не дальше носа от экрана», «Песни итальянского ковбоя», «Ну да» в исполнении Дуэйна Эдди, рекламу Шариковой Ручки Друг Бумаги, «Я совсем большой», рекламу Полоскания для Волос после Шампуня, «Пойдем с тобой бродить», последние известия (президент Эйзенхауэр и премьер-министр Гарольд Макмиллан приступили к переговорам в Геттисберге, тибетцы сражаются с китайскими коммунистами в Лхассе, местонахождение далайламы, духовного вождя этой далекой отсталой страны, неизвестно, служанка с Парк-авеню получила в наследство 250 тысяч долларов, весна начнется завтра), новости спорта (Янки против Храбрецов в Майами, кто-то с кем-то сыграли вничью на открытых

состязаниях в Санкт-Петербурге, счет местных баскетбольных соревнований), погода (безоблачно и по сезону тепло), «Счастливый голос», «Пусти меня», рекламу Страхования Жизни через Сберегательные Кассы, «Роксвилл П-А» (эту Кролик любит), «Картина, какой не нарисует ни один художник», рекламу Пасты для Бритья Барбазол Престо Нового Состава — очищает кожу от пятен и что-то там эмульсирует, Доди Стивенс поет «Розовые шнурки для ботинок», письмо от мальчика по имени Билли Тесман — он попал под машину и будет благодарен за письма и открытки, «Пти Флер», «Фанго» (большое), рекламу Костюмов Из Чистой Шерсти Вул Текс, «Ссору» Генри Манчини, «Все любят ча-ча-ча», рекламу Столовых Сальфеток Милость Божья и великолепной Скатерти Тайная Вечеря, «Биенье сердца моего», рекламу Полировочной Пасты Скорость и Ланолинового Крема, «Венеру» и снова те же известия. Где далай-лама?

Сразу за Оквудом Кролик выезжает на дорогу № 1; киоски с горячими сосисками, щиты Кэлсо и придорожные кабачки, притворяющиеся бревенчатыми хижинами, производят неожиданно унылое впечатление. Чем дальше, тем сильнее становится ощущение, что к нему тянется какой-то огромный беспорядочный конгломерат — теперь уже не Филадельфия, а Балтимор. Он останавливается взять на два доллара бензина. В сущности, ему нужна новая карта. Стоя у автомата с кока-колой, он развертывает и изучает ее в свете, льющемся из окна, зеленого от пирамиды банок с жидкой восковой пастой. Вопрос в том, как оторваться от конгломерата Балтимор — Вашингтон, который, подобно двуглавому псу, стережет прибрежный путь к югу, и уйти на запад. Он не хочет ехать на юг вдоль моря; перед глазами встает такая картина: он спускается на юг через центр, прямиком в мягкое чрево страны, и пробуждающиеся на заре хлопковые поля с изумлением взирают на его северные номерные знаки.

Сейчас он примерно здесь. Дальше дорога № 23 повернет налево, нет, направо. Это значит — вверх по карте, а потом снова назад в Пенсильванию, но здесь, у Шосвилла, он может поехать по узкой дороге, обозначенной тонкой синей линией без номера. Потом проехать немного вниз и снова повернуть на № 137. Затем — длинная кривая и пересечение с № 482 и № 31. Кролик уже чувствует, как разворачивается и переходит на красную линию № 26, а потом едет по ней до следующей — № 340. Она тоже красная; он скользит по ней пальцем, и вдруг его осеняет, куда ему надо ехать. Слева тянутся с северо-востока на юго-запад три параллельные красные линии, и Кролик прямо-таки чувствует, что они скользят вниз по долинам Аппалачей. Если поехать по одной из них, то к утру, как по желобу, скатишься в славные хлопковые низины. Да. Стóит только очутиться там, как сразу можно будет отряхнуть все мысли о неразберихе, оставшейся позади.

Кролик дает два доллара за бензин служителю бензоколонки, высокому молодому негру, и его охватывает нелепое желание обнять это ленивое гибкое тело, боятающееся в мешковатом фирмен-

ном комбинезоне. Здесь гораздо теплее. Теплый воздух коричневыми и лиловыми дугами вибрирует между светильниками бензоколонки и луной. Часы в окне над зелеными банками с жидкой восковой пастой показывают 9.10. Тонкая красная секундная стрелка невозмутимо метет цифры, и Кролику чудится, что она сулит ему ровную дорогу. Он ныряет в свой «форд» и, забравшись в его жаркое душное нутро, начинает мурлыкать «Все любят ча-ча-ча». Сперва он едет смело. По черному гудрону, по белому асфальту, сквозь городки и поля, мимо перекрестков, вероломно манящих голосами сирен; рядом на сиденье лежит карта, и Кролик строго придерживается нужных номеров, подавляя желание повернуть прямо к югу. Какой-то животный инстинкт говорит ему, что он едет на запад.

Местность становится все более дикой. Дорога обходит большие озера и ныряет в туннели сосновых лесов. В верхней части ветрового стекла телефонные провода без конца подхлестывают звезды. Музыка в радиоприемнике постепенно замерзает, рок-н-ролл для подростков сменяется старыми мотивами, мелодиями из кинофильмов и утешительными песенками сороковых годов. Кролик мысленно видит супружеские пары — после кино и ужина в ресторане они спешат домой к приходящим няням. Потом мелодии окончательно коченеют, и тогда вступает в свои права настоящая, ночная музыка — рояль и виброфон воздвигают гроздья ломких октав, словно рябь на поверхности пруда, шастает вокруг кларнет, снова и снова описывают все ту же восьмерку саксофоны. Кролик проезжает через Уэстминстер. Целую вечность плетется до Фредерика, выбирается на № 340 и пересекает Потомак.

В полночь его начинает клонить ко сну, и он останавливается у придорожного ресторанчика выпить кофе. Чем-то — чем именно, ему никак не ухватить — он отличается от остальных клиентов. Они тоже это чувствуют и смотрят на него тяжелым взглядом; глаза, словно маленькие металлические кнопки, торчат на белых лицах юношей в куртках с молниями, сидящих в отдельных кабинках по трое на одну девицу; оранжевые волосы девиц свисают, как морские водоросли, или небрежно схвачены заколками, золотыми, как сокровище пиратов. У стойки супружеские пары средних лет в пальто, вытянув губы, сосут через соломинки серое мороженое с содовой. В общем гуле, вызванном его появлением, преувеличенная любезность утомленной женщины за стойкой еще больше подчеркивает его чужеродность. Он спокойно заказывает кофе и, подавляя спазмы в животе, рассматривает края чашки. Он думал, он читал, что от моря и до моря Америка везде одна и та же. Интересно, я чужой только для этих людей или для всей Америки?

На улице, в студеном воздухе, он вздрагивает, услышав тяжелые шаги у себя за спиной. Однако это всего лишь торопятся к своей машине какие-то влюбленные; их сплетенные руки, словно морская звезда, проносятся сквозь тьму. На номерном знаке их машины индекс Западной Вирджинии. Тот же индекс на всех остальных номерах, кроме его собственного. С противоположной

стороны дороги лес так круто уходит под уклон, что вершины деревьев на склоне горы напоминают вырезанный зубчиками лист картона, приклоненный к слегка выцветшей голубой простыне. Кролик с отвращением лезет в свой форд, но спертый воздух в машине — его единственное убежище.

Он едет сквозь сгущающуюся ночь. Дорога петляет с раздражающей медлительностью: куда бы ни направлялся свет фар, перед ними неизменно встает ее черная стена. Гудрон засасывает шины. Кролик осознает, что щеки у него горят от злости, он злится с тех самых пор, как вышел из набитого русалками кабака. Он так зол, что во рту все пересохло, а из носу течет. Он вдавливает ногу в пол, словно желая раздавить змею-дорогу, и машина едва не опрокидывается, когда на вираже оба правых колеса выскакивают на грунтовую обочину. Он выворачивает, но стрелка спидометра все время клонится вправо от законного предела скорости.

Он включает радио — музыка уже не кажется рекой, несущей его вниз по течению; она говорит с ним голосом огромных городов, скользкими руками шлепает по голове. Однако он не пускает мысли в образовавшуюся тишину. Он не хочет думать, он хочет уснуть и проснуться на мягкой песчаной подушке. Какой он дурак, какой осел, что так мало проехал. Уже полночь, ночь наполовину пролетела.

Местность упорно остается неизменной. Чем дальше, тем больше она напоминает окрестности Маунт Джаджа. Тот же мусор вдоль придорожных насыпей, те же обшарпанные щиты с рекламой все тех же товаров — непонятно, кому может прийти в голову их покупать. Дальний свет фар свивает голые сучья в бесконечную сеть. Теперь она даже еще плотнее.

Животное начало в нем бурно протестует, не желает двигаться на запад. Мозг упорно стоит на своем. Единственный способ куда-нибудь попасть — твердо решить, куда ты едешь, и ехать. После Фредерика нужно было проехать налево 28 миль, но эти 28 миль уже позади, и хотя инстинкты категорически против, он сворачивает влево на широкую дорогу без всякого указателя. Впрочем, судя по ее толщине на карте, никакого указателя быть не должно. Он и так знает, что это кратчайший путь. Он вспоминает, что, когда Марти Тотеро стал его тренером, он, Кролик, не хотел делать штрафные броски снизу, но в конце концов оказалось, что именно это и было правильно. На свете все именно так и устроено — правильный путь сначала кажется неправильным. Чтоб испытать нашу веру.

Дорога еще долго остается широкой и надежной, но вдруг начинается кое-как залатанный участок, а потом она поднимается вверх и сужается. Сужается не то чтобы по плану, а скорее естественно — обочины крошатся, с обеих сторон наступают леса. Устремляясь ввысь, дорога бешено виляет, потом вдруг ни с того ни с сего сбрасывает свою асфальтовую шкуру и червем уползает в грунт. Теперь Кролик уже понял, что это не та дорога, но боится остановить машину и повернуть обратно. Последний освещенный дом остался далеко позади. Когда он пытается объехать

густую траву, кустарник царапает краску на крыльях. В свете фар видны одни только стволы и нижние ветви деревьев; ползучие тени отступают сквозь дебри в черное сердце паутины, и Кролик опасается, как бы лучи не вспугнули там какого-нибудь зверя или призрак. Он поддерживает скорость молитвой, он молит, чтобы дорога не зашла в тупик, вспоминая, что на горе Джадж даже самая глухая заросшая лесная тропинка неизменно выводит в долину. У него начинается зуд в ушах — на них давит высота.

В ответ на молитву его ослепляют. Деревья на далеком вираже взмывают ввысь языками огня; автомобиль с включенным дальним светом выскакивает из-за поворота и летит прямо на него. Кролик сползает в кювет, и безликая, словно смерть, машина проносится мимо со скоростью вдвое больше его собственной. Минуты две Кролик тащится сквозь пыль, поднятую этим гадом. Однако утешается приятной новостью — дорога все же куда-то ведет. Вскоре он попадает в какой-то парк. Фары освещают зеленые бочонки с надписью ПРОШУ ВАС, деревья по обе стороны редеют, и среди них возникают прямые линии летних столиков, павильонов и уборных. Появляются и плавные изгибы автомобилей; некоторые стоят у самой дороги, но пассажиров не видно. Итак, дорога ужасов оказалась тропой любви. Еще ярдов сто, и ее больше нет.

Она упирается под прямым углом в широкое ровное шоссе, над которым черной тучей нависает горный хребет. Одна машина со свистом мчится на север. Другая со свистом мчится на юг. Никаких указателей нет. Кролик переводит рычаг переключения передач в нейтральное положение, вытягивает ручной тормоз, зажигает свет в салоне и изучает карту. Руки и ноги у него дрожат. За воспаленными веками пульсирует усталый мозг; наверное, уже половина первого, если не больше. Шоссе пусто. Он забыл номера дорог и названия городов, по которым проезжал. Он вспоминает Фредерик, не может его найти и в конце концов соображает, что ищет его западнее Вашингтона, где вообще никогда не бывал. На карте множество красных линий, синих линий, длинных названий, маленьких городков, квадратиков, кружков и звездочек. Он переводит взор кверху, но единственная линия, которую он узнает, это прямая пунктирная линия границы между Пенсильванией и Мерилендом. Линия Мейсон — Диксон. Он вспоминает школьный класс, в котором учил про нее: ряды привинченных к полу парт, исцарапанный лак, белесая грифельная доска, симпатичные девчонки в алфавитном порядке вдоль проходов. Кролик тупо таращит глаза. Он слышит, как в голове тикают часы, дьявольски медленно, тихо и редко, напоминая шум волн на берегу, к которому он стремится. Сквозь застилающий глаза туман он снова впивается в карту. В поле зрения моментально выскакивает «Фредерик», но, пытаясь засечь его местоположение, Кролик тотчас его теряет, и от ярости у него начинает ныть переносица. Названия тают, и перед ним предстает вся карта — сеть из красных линий, синих линий и звездочек, есть, в которой он где-то запутался. Задыхаясь от ярости, он вцепляется в карту, отрывает от нее

большой треугольник, рвет на две части остаток, немного успокоившись, кладет эти три обрывка друг на друга, разрывает пополам, потом рвет оставшиеся шесть и так далее, пока в руке не остается комок, который можно сжать, как резиновый мячик. Он опускает стекло и выбрасывает его наружу, мячик лопается, бумажки взмывают над машиной, словно выщипанные из птичьего крыла перья. Он поднимает стекло. Во всем виноват тот фермер в очках и в двух рубашках. До чего же этот тип въелся ему в печенки. Он никак не может выбросить из головы это самодовольство, эту *солидность*. Он уже там об него споткнулся и продолжает спотыкаться здесь, фермер болтается у него под ногами, словно слишком длинные шнурки от ботинок или застрявшая в ботинке щепка. Этот тип прямо-таки источал издевку — то ли изо рта, то ли размеренными движениями рук, то ли из волосатых ушей; все его тело каким-то непонятным образом источало глумление над робкими бессловесными надеждами Гарри, выбивало почву из-под ног. *Сперва реши, куда хочешь ехать, а потом езжай* — разумеется, не в этом суть, и все же что-то в этом есть. Как бы там ни было, доверься он чутью, он был бы уже в Южной Каролине. Сейчас бы в самый раз сигарета, она бы помогла ему понять, что подсказывает чутье. Он решает несколько часов подремать в машине.

Но позади в поцелуйной роще ревет мотор, фары описывают круг и упираются Кролику в затылок. Он остановился поглядеть на карту прямо посреди дороги. Надо уезжать. Его охватывает беспричинный страх, будто за ним гонятся; еще какие-то фары вливаются в зеркало заднего вида, заполняя его до краев, словно чашку. Он выжимает сцепление, включает первую скорость и отпускает ручной тормоз. Выскочив на шоссе, он инстинктивно поворачивает вправо, на север.

Путь домой намного легче. Хотя у него нет карты и почти совсем нет бензина, возле Хейджерстауна как по мановению волшебной палочки возникает ночная бензоколонка Мобил и зеленые огни, указывающие дорогу к Пенсильванской Автостраде. Радио передает теперь успокаивающие лирические мелодии, безо всякой рекламы, и радиолуч, посланный сперва из Гаррисберга, а потом из Филадельфии, безошибочно ведет его за собой. Он преодолел барьер усталости и вступил в спокойный плоский мир, где ничто не имеет значения. В этот мир он обычно переносился на последней четверти баскетбольного матча, когда бегаешь не ради счета, как воображают зрители, а просто так, для собственного удовольствия. На площадке ты, иногда мяч и еще дырка, прекрасная высокая дырка с хорошенькой юбочкой из сетки. Там ты, только ты и это бахромчатое кольцо, и иногда кажется, что оно спустилось прямо тебе под нос, а иногда оно остается далеким, маленьким и твердым. Как странно — ты уже давно ощущаешь все это пальцами, руками, даже глазами — в пылу азарта он различал, как скручиваются в шнуры отдельные нити, оплетающие обруч, — а зрители начинают кричать и хлопать намного позже. Но в самом начале, на разминке, когда видишь, как все городские болельщики,

сидя на дешевых местах, толкают друг друга локтями, а учителя побойчее обмениваются шуточками со знатоками, кажется, будто вся эта толпа сидит у тебя внутри, в печенках, в животе и в легких. Один толстяк, так тот ухитрялся залезть Кролику на самое дно живота, от него прямо все поджилки тряслись. «Эй, командор! Бей! Дай им прикурить!» Кролик с симпатией вспоминает его теперь — для этого парня он был настоящим героем.

Все утро, все эти ранние темные часы музыка продолжает играть, а дорожные знаки продолжают указывать ему дорогу. Мозг будто слабый, но шустрый инвалид — он утонул в подушках, а по длинным коридорам снуют посыльные со всей этой музыкой и информацией по части географии. Одновременно у него появилась какая-то ненормальная поверхностная чувствительность, как будто его кожа мыслит. Рулевое колесо словно тонкий хлыст в руках. Легонько поворачивая его, он ощущает, как туго вращается вал, входят друг в друга зубцы шестерен дифференциала и перекатываются шарики в набитых смазкой канавках подшипников. Фосфоресцирующие мигалки на краю дороги навевают мысли о юных Дюпоншах: они вереницами вьются по огромным зеркальным танцевальным залам, и под блестками вечерних туалетов угадываются голые тела. Богатые девушки фригидны? Он так никогда и не узнает.

Интересно, почему на обратном пути указателей так много, а когда он ехал на юг, их было так мало. Конечно, он понятия не имел, куда ехал. Он сворачивает с автострады на дорогу в Бруэр, и она приводит его в городок, где он в первый раз брал бензин. Сворачивая на дорогу с указателем БРУЭР 16, он видит по ту сторону главной улицы стоящие под косым углом бензоколонки того навозного жука и темное окно его лавки с поблескивающими лопатами и удочками. У окна очень довольный вид. Воздух чуть тронут лиловым рассветом. Длинный айсберг радиомузыки раскалывается на сообщения о теплой погоде и ценах на сельскохозяйственные продукты.

Он въезжает в Бруэр с юга, и в предрассветном тумане город предстает перед ним сначала как дома, чем дальше, тем все ближе стоящие друг к другу среди деревьев вдоль дороги, потом как лишенная растительности индустриальная пустыня — обувные фабрики, разливочные фабрики, заводские стоянки автомашин, трикотажные фабрики, превращенные в заводы по производству электронных элементов, и слоноподобные газгольдеры, они стоят выше заваленного отбросами болота, но ниже голубого гребня горы, с вершины которой Бруэр кажется теплым ковром, сотканным из нитей одного-единственного кирпичного оттенка. Над горой гаснут звезды.

Он проехал мост через реку Скачущая Лошадь и теперь катит по знакомым улицам. По Уоррен-авеню пересекает южную часть города и возле городского парка выезжает на дорогу № 422. Огибает гору в обществе нескольких шипящих грузовиков с прицепами. Оранжевая полоса рассвета, прижатая к далекому холму, вспыхивает у них под колесами. Делая левый поворот с Центральной

улицы на Джексон-роуд, он чуть-чуть не задел боком молоковоз, лениво торчащий посреди дороги. Едет по Джексон-роуд дальше, мимо дома родителей и сворачивает в переулок Кегерайз. Холодная заря внезапно окрашивает здания бледно-розовым светом. Он минует заброшенный курятник, безмолвную кузовную мастерскую и ставит машину против Спротивной Ассоциации «Солнечный Свет», в нескольких шагах от закрытого навесом крыльца, где каждый выходящий из клуба непременно его увидит. Кролик с надеждой смотрит на окна третьего этажа, но света в них нет. Если Тотеро там, он еще спит.

Кролик решает вздремнуть. Сбросив пиджак, он вместо одеяла укрывает им грудь. Но становится все светлее, переднее сиденье слишком коротко, и плечи упираются в рулевое колесо. Перебраться на заднее сиденье — значит стать легкоуязвимым, а он в случае необходимости должен иметь возможность в одну секунду отсюда уехать. К тому же он не хочет уснуть слишком крепко, чтоб не упустить Тотеро.

Итак, неудобно согнув длинные ноги, он лежит и воспаленными глазами смотрит поверх баранки через лобовое стекло на ровную свежую голубизну утреннего неба. Сегодня суббота, и небо ясно, просторно и прозрачно, как всегда по субботам, с самого детства, когда субботнее утреннее небо казалось Кролику пустым табло перед предстоящей долгой игрой. Руфбол, хоккей, тетербол, метание стрелок...

По переулку проезжает машина. Кролик закрывает глаза, и темнота вибрирует бесконечным автомобильным шумом минувшей ночи. Он снова видит леса, узкую дорогу, темную, набитую машинами рощу, и в каждой молчаливая пара. Он снова думает о своей цели — ранним утром улечься на берегу Мексиканского залива, и ему чудится, будто шероховатое сиденье автомобиля — тот самый песок, а шелест пробуждающегося города — шелест моря.

Только бы не прозевать Тотеро. Он открывает глаза и пытается выбраться из своего тесного склепа. Уж не проспал ли он? Однако небо все то же.

Он с тревогой думает об окнах автомобиля. Приподнявшись на локте, проверяет их одно за другим. Стекло над головой чуть-чуть опустилось, он плотно его закрывает и нажимает все стопорные кнопки. Безопасность безнадежно расслабляет. Скрючившись, он втискивает лицо в щель между сиденьем и спинкой. Колени упираются в тугую отвесную подушку, и с досады он окончательно просыпается. Интересно, где ночевал его сын, что делала Дженис, где его искали те и другие родители. Знает ли полиция. При мысли о полиции ему становится не по себе. Поблекшая ночь, которая осталась позади, здесь, на этом месте, кажется ему сетью из телефонных разговоров, торопливых поездок, потоков слез и цепочек слов, ее белые нити, тревожно сновавшие сквозь ночь, теперь поблекли, но все еще существуют, и в самом центре этой невидимой, нависшей над крутыми улицами сети он преспокойно лежит в своей плотно закупоренной пустой клетке.

Хлопок и чайки в полумраке, и как здорово у нее все получа-

лось на чужой кровати, а вот на своей никогда. Но было и хорошее: Дженис очень стеснялась показывать свое тело даже в первые недели после свадьбы, но однажды вечером он безо всякой задней мысли зашел в ванную и вдруг увидел, что зеркало заволокло паром, а Дженис — она только-только вышла из-под душа, — очень довольная, с маленьким голубым полотенцем в руке, лениво стоит, ничуть не стесняясь, нагибается, поворачивается и смеется над выражением его лица — уж какое оно там было — и тянется к нему с поцелуем; у нее порозовевшее от пара тело и скользкий мягкий затылок. Кролик устраивается поудобнее и загоняет память в темную нишу; у нее скользкий затылок, податливая спина. Он ударил ногу об ручку двери, и боль как-то странно сливается с ударами металла о металл в кузовной мастерской неподалеку. Началась работа. Восемь часов? Судя по тому, как пересохли губы, прошло уже много времени. Кролик потягивается и садится; пиджак, которым он был накрыт, сползает на пол, и сквозь запотевшее стекло он и впрямь видит Тотеро, уходящего по переулку. Он уже скрывается за старым фермерским домом; Кролик выскакивает из машины, набрасывает пиджак и мчится за ним.

— Мистер Тотеро! Эй, мистер Тотеро! — Голос его после многих часов молчания звучит надтреснуто и хрипло.

Человек оборачивается: вид у него еще более странный, чем Кролик ожидал. Издали он похож на большого усталого карлика — большая лысеющая голова, толстая спортивная куртка, толстые обрубки ног в синих брюках — они слишком длинные, складка согнулась и зигзагами свисает на башмаки. Кролик замедляет бег, и на последних шагах ему приходит тревожная мысль, не обознался ли он.

Однако Тотеро произносит именно то, что надо.

— Гарри, — говорит он, — изумительный Гарри Энгстром.

Он протягивает Гарри правую руку, а левой крепко вцепляется ему в предплечье. Кролик вспоминает, что у него всегда была твердая рука. Тотеро стоит и, не отпуская Кролика, мрачно улыбается. Нос у него искривлен, один глаз широко открыт, над вторым опустилось тяжелое веко. С годами лицо его становится все более несимметричным. Лысеет он неравномерно — приглаженные седые и светло-коричневые пряди полосами прикрывают череп.

— Мне нужен ваш совет, — говорит Кролик. — То есть, в сущности, мне нужно где-то выспаться.

Тотеро молчит. Сила его как раз и состоит в этих молчаливых паузах; он усвоил этакий педагогический прием — прежде чем ответить, подольше помолчать, пока слова не станут более весомыми.

— А что у тебя дома? — спрашивает он наконец.

— Дома у меня вроде бы и нет.

— То есть как это нет?

— Там было скверно. Я сбежал. Правда.

Новая пауза. Кролик щурится — его слепит солнечный свет, который отскакивает от асфальта. У него ноет левое ухо. Зубы на левой стороне тоже вот-вот разболятся.

— Не слишком-то разумный поступок, — замечает Тотеро.

— Там была жуткая неразбериха.

— В каком смысле неразбериха?

— Сам не знаю. Моя жена алкоголичка.

— А ты пытался ей помочь?

— Ну да. Только как?

— Ты с ней пил?

— Нет, сэр, никогда. Я эту дрянь не перевариваю, просто вкуса не терплю, — с готовностью отвечает Кролик: он горд, что не пренебрегал заботой о своем теле и теперь имеет возможность доложить об этом своему бывшему тренеру.

— А может, и стоило бы, — спустя минуту замечает Тотеро. — Может, если б ты делил с ней это удовольствие, она сумела бы держать себя в узде.

Кролик, ослепленный солнцем, оцепеневший от усталости, не улавливает смысла сказанного.

— Ты ведь, кажется, женат на Дженис Спрингер? — спрашивает Тотеро.

— Да. Господи, как она глупа. Непроходимо глупа.

— Гарри, это очень жестокие слова. Нельзя так говорить. Ни о какой живой душе.

Кролик кивает — Тотеро, как видно, твердо в этом убежден. Он начинает слабеть под тяжестью его пауз. Они стали еще длиннее, словно и сам Тотеро ощущает их вес. Кролику снова становится страшно — уж не рехнулся ли его старый тренер? И он начинает все сначала.

— Я думал, может, соснуть часика два где-нибудь в «Солнечном Свете». Иначе придется ехать домой. А я уже сыт по горло.

К его великому облегчению, Тотеро начинает суетиться, берет его под руку, ведет назад по переулку и говорит:

— Да, да, конечно, Гарри, у тебя ужасный вид, Гарри. Ужасный.

Железной рукою вцепившись в Кролика, он подталкивает его вперед, заставляя сжатые кости прямо-таки тереться друг о друга. В мертвой хватке Тотеро есть что-то безумное. Голос его звучит теперь отчетливо, торопливо, весело и, словно острый нож, врезается в ватное тело Кролика.

— Ты просил у меня две вещи, — говорит Тотеро. — Две вещи. Место, где поспать, и совет. Ну вот, Гарри, я дам тебе место, где поспать, при условии, при условии, Гарри, что когда ты проснешься, у нас с тобой будет серьезный, долгий и серьезный разговор о кризисе в твоей семейной жизни. Скажу тебе сразу, Гарри, я беспокоюсь не столько о тебе, я слишком хорошо тебя знаю и уверен, что ты не пропадешь, Гарри, но дело не в тебе, а в Дженис. У нее нет твоей координации движений. Ты обещаешь?

— Ладно, что именно?

— Обещай мне, Гарри, что мы с тобой подробно обсудим, как ей помочь.

— Ладно, да только я, наверно, не сумею. То есть я хочу сказать, что она не так уж мне нужна. Была нужна, а теперь нет.

Они подходят к цементным ступенькам и к обшитому досками входу. Тотеро открывает дверь своим ключом. В здании пусто, молчаливый бар окутан полутьмой, маленькие круглые столики, когда за ними никто не сидит, кажутся хилыми и шаткими. Электрическая реклама на стене за стойкой выключена и мертва — пыльные трубки и мишура. Тотеро чрезмерно громким голосом произносит:

— Я не верю. Не верю, что мой лучший ученик превратился в такое чудовище.

Чудовище — это слово с грохотом топочет вслед за ними по ступенькам лестницы, когда они поднимаются на второй этаж.

— Я немножко посплю, а потом постараюсь подумать, — извиняющимся тоном говорит Кролик.

— Молодец. Это как раз то, что нам надо.

Интересно, кому это — нам? Все столики пусты. Солнце рисует золотые квадраты на коричневых шторах над низкой, черной от пыли батареей. Мужские ноги выбили дорожки на узких голых досках пола.

Тотеро ведет его к двери, в которую он никогда не входил; они поднимаются на чердак по крутой лестнице, похожей на прибитую к стене стремянку, между ступеньками виднеются электрические провода и изодранные обои. Наверху довольно светло.

— Вот моя обитель, — говорит Тотеро, возясь с клапанами от карманов куртки.

Крохотная комнатка выходит на восток. Щель в шторе отбрасывает длинный нож солнечного света на боковую стену над незастланной армейской койкой. Вторая штора поднята. Между окнами стоит комод, хитроумное сооружение из шести связанных проволокой пивных ящиков — три в высоту и два в ширину. В ящиках верхние рубашки в целлофановых мешках из прачечной, аккуратно сложенные нижние рубашки и трусы, скатанные парами носки, носовые платки, начищенные туфли и щетка с вставленной в нее расческой. С двух толстых гвоздей свисают надетые на плечики короткие спортивные куртки ярких, веселых тонов. Дальше одежды хозяйственные заботы Тотеро не простираются. Весь пол в хлопьях пыли. Повсюду пачки газет и всевозможных журналов, от «Нейшенл джеографик» до комиксов и автобиографий бывших уголовников для юношества. Жилище Тотеро незаметно переходит в остальную часть чердака — склад, где хранятся турнирные таблицы для игры в пинокль, бильярдные столы, какие-то доски, металлические бачки и ломаные стулья с плетеными сиденьями, рулон тонкой проволочной сетки; на трубке, укрепленной между двумя наклонными брусьями, закрывая свет из окна в дальнем конце помещения, висят костюмы для софтбола.

— Тут есть уборная? — спрашивает Кролик.

— Внизу, Гарри. — Оживление Тотеро сникло, и он кажется смущенным. Из уборной Кролик слышит, как старик сустится наверху, но возвратившись, никаких перемен не замечает. Постель еще не постлана.

Тотеро ждет, Кролик тоже, и только через некоторое время до

него доходит, что Тотеро хочет посмотреть, как он будет раздеваться; он раздевается и в трусах и майке ныряет в смятую теплую постель. Хотя Кролику противно лезть в логово старика, он рад, что можно, наконец, вытянуться, ощутить рядом крепкую прохладную стену и услышать, как далеко внизу проносятся автомобили, которые, возможно, охотятся за ним. Повернув голову, чтобы сказать пару слов Тотеро, он с удивлением обнаруживает, что остался в одиночестве. Дверь у основания лестницы на чердак закрылась, шаги, удаляясь по первому и второму лестничному маршу, затихают, в наружной двери скребется ключ, за окном кричит какая-то птица, снизу доносится тихое лязганье из кузовной мастерской. При воспоминании, как старик стоял и смотрел на него, Кролика передергивает, но он уверен, что его тренер этим делом не интересуется. Тотеро всегда был бабником, а не педиком. Зачем же он тогда смотрел? И вдруг Кролика осеняет. Это возвращает Тотеро в прошлое. Ведь он всегда стоял в раздевалке и смотрел, как его ребята переодеваются. Решив эту задачу, Кролик весь расслабляется. Он вспоминает, как парочка, держась за руки, бежала по автомобильной стоянке у придорожного кафе в Западной Вирджинии, и жалеет, что не он подцепил ту девицу. Волосы как морские водоросли. Рыжая? Девушки из Западной Вирджинии представляются ему неотесанными, нахальными хохотушками вроде молодых техасских шлюх. Они так сладко растягивали слова, будто все время подшучивали, но ведь ему тогда было всего девятнадцать. Он шагал по улице с Хэнли, Джезило и Шембергером; тесная солдатская форма действовала ему на нервы; равнины со всех сторон уходили за горизонт, такой низкий, не выше чем по колено; в окна домов было видно, как целые семьи, словно куры на насесте, сидят на диванах перед телевизорами. Маньяк Джезило громко гоготал. Кролик никак не мог поверить, что они не ошиблись адресом. В окне были цветы, настоящие живые цветы невинно стояли на окне, и его так и подмывало повернуться и сбежать. Женщина, открывшая дверь, вполне могла бы рекламировать по телевизору сухую смесь для кекса. Однако она сказала:

— Заходите, мальчики, не б-о-о-йтесь, заходите и будьте как д-о-о-м-а, — сказала таким материнским тоном, и действительно там были они, хотя и не так много, как он воображал; они сидели в гостиной на старомодных стульях с шишечками и завитушками. Что придало ему смелости, так это их вид — довольно-таки невзрачный, как у простых фабричных работниц, их и девушками-то не назовешь. На лицах у них был какой-то отблеск, как под лампой дневного света. Они забросали солдат шуточками, словно шариками из пыли, парни стали смеяться и, оторопев от неожиданности, сгрудились в кучу. Та, которую он выбрал, вернее, выбрала его она — подошла и тронула за руку, — в блузе, застегнутой только на две нижние пуговки, спросила наверху сладким надтреснутым голосом, как он хочет — включить свет или выключить, и когда он сдавленным голосом ответил: «выключить», засмеялась, а после улыбалась, добродушно приговаривая:

— Молодец, мальчик. Ты просто молодец. Да-а-а-а. Ты уже ученый.

И когда все кончилось, он — по усталым складкам в уголках ее рта и еще по тому, что она ни за что не хотела полежать с ним рядом, а упрямо поднялась, села на край металлической кровати и уставилась в зеленое ночное небо за темным окном, — понял, что она просто играла свою роль. Его разозлила ее немая спина с желтовато-белой полоской бюстгальтера, он схватил ее за плечо и грубо повернул к себе. В полумраке тяжелые тени ее грудей казались такими беззащитными, что он отвернулся. «Милый, ты ведь только за один раз заплатил», — проговорила она ему в ухо. Славная бабенка, ее только деньги интересуют. Снизу тихо доносится лязганье из кузовной мастерской. Этот шум успокаивает его, говорит, что он в безопасности, и пока он тут прячется, люди заколачивают гвоздями все на свете, и его сердце шлет из темноты привет этим бесплотным звукам.

Сны ему снятся какие-то пустые и смутные. Ноги дергаются. Губы шевелятся. Когда он поворачивает глазные яблоки, оглядывая внутренние стены поля зрения, кожа век трепещет. В остальном он безобиден, словно труп. Нож солнечного света медленно перемещается вниз по стене, разрезает ему грудь, монеткой падает на пол и исчезает. Окутанный тенью, он внезапно просыпается, и его призрачные голубые радужки шарят по незнакомым плоскостям в поисках источника мужских голосов. Голоса раздаются внизу; судя по грохоту, люди передвигают мебель и, разыскивая его, описывают круги. Но раздается знакомый звучный бас Тотеро, и, кристаллизуясь вокруг этого центра, шум внизу принимает форму звуков, сопровождающих игру в карты, выпивку, грубые шутки и дружеские беседы. Кролик ворочается в своем жарком логове, обращает лицо к прохладному товарищу-стене и сквозь красный конус сознания снова проваливается в сон.

— Гарри! Гарри! — Голос дергает его за плечо, ерошит волосы. Кролик откатывается от стены, ища глазами исчезнувший солнечный свет. В тени беспокойной темной глыбой сидит Тотеро. Его грязно-молочное лицо, перекошенное улыбкой, наклоняется вперед. От него попахивает виски.

— Гарри, я нашел тебе девушку!

— Здóрово. Тащите ее сюда.

Старик смеется. Смущенно? Что у него на уме?

— Это Дженис?

— Уже седьмой час. Вставай, Гарри, вставай, ты спал, как дитя. Мы уходим.

— Зачем? — Кролик хочет спросить: «Куда?»

— Питаться, Гарри, обедать. О-Б-Е-Д-А-Т-Ь. Вставай, мой мальчик. Неужели ты не голоден? Голод. Голод. — Он явно рехнулся. — О, Гарри, тебе не понять, что такое стариковский голод, человек ест и ест, и ему все время кажется, что еда не та. Тебе этого не понять. — Он подходит к окну, смотрит вниз на

переулок, и в тусклом свете его неуклюжий профиль кажется свинцовым.

Кролик сбрасывает одеяло и, перекинув голые ноги через край кровати, старается принять сидячее положение. Вид собственных бедер, параллельных, чистых и гладких, взбадривает вялый мозг. Волосы на ногах, некогда тонкая рыжеватая шкура, потемнели и напоминают жесткие бакенбарды. В ноздри вливается запах собственного сонного тела.

— Что там за девушка? — спрашивает он.

— Что за девушка, да, что за девушка? Б...! — выпаливает Тотеро, и в сером свете, падающем из окна, лицо его вытягивается, словно он сам изумлен, услышав из своих уст такую гадость. В то же время он наблюдате, как будто поставил некий опыт. Определив результат, он поправляет самого себя: — Нет. Просто у меня есть одна знакомая, знакомая в Бруэре, так сказать, дама сердца; раз в год я приглашаю ее обедать в ресторан. И больше ничего, почти ничего. Ты такой невинный младенец, Гарри.

Речи Тотеро настолько бессвязны, что Кролику становится не по себе. Он встает с кровати.

— Пожалуй, мне пора. — К голым ступням прилипает мусор с пола.

— Ах, Гарри, Гарри! — восклицает Тотеро громким голосом, в котором горечь смешивается с нежностью, и, подойдя к нему, обнимает его одной рукой. — Мы с тобой два сапога пара. — Большое перекошенное лицо доверчиво обращено к Кролику, но тот не совсем понимает, о чем речь. Однако воспоминания об этом человеке, бывшем его тренере, заставляют слушать дальше. — Мы с тобой знаем, что к чему. Мы знаем... — Добравшись до самой сути своей тирады, Тотеро обалдело умолкает.

— Знаем, знаем, — твердит он, отнимая руку.

— Я думал, что, когда проснусь, мы поговорим о Дженис, — вставляет Кролик. Подняв с пола брюки, он натягивает их на себя. Их жеваный вид беспокоит его, напоминает, какой важный шаг он совершил, и от этой мысли в животе и в горле начинаются нервные спазмы.

— Поговорим, поговорим, — соглашается Тотеро. — Как только выполним наши общественные обязательства. — Пауза. — Ты хочешь вернуться? Ты скажи, если хочешь.

Кролик вспоминает идиотскую щель ее рта, вспоминает, как дверь стенного шкафа бьет по телевизору.

— Упаси бог.

Тотеро в восторге, от счастья он без умолку болтает.

— Вот и прекрасно, вот и прекрасно, давай одеваться. Мы не можем ехать в Бруэр не одевшись. Тебе нужна чистая рубашка?

— Но ведь ваша мне не подойдет.

— Почему, Гарри? Какой у тебя размер?

— Сорок второй, третий рост.

— Как у меня! В точности как у меня! Для твоего роста у тебя короткие руки. О, это просто замечательно, Гарри. Не могу тебе передать, как много для меня значит, что, когда тебе потребова-

лась помощь, ты пришел ко мне. Все эти годы, — говорит он, доставая из самодельного комода рубашку и срывая с нее целлофановую обертку, — все эти годы, все эти ребята, они проходят через твои руки и растворяются в эфире. И никогда не возвращаются, Гарри, никогда не возвращаются.

Кролик с удивлением чувствует и видит в мутном зеркале, что рубашка Тотеро ему в самый раз. Очевидно, вся разница между ними только в длине ног.

Тотеро трещит без умолку, словно преисполненная гордости мамаша, и смотрит, как он одевается. Теперь, когда ему уже не надо объяснять, что́ именно они будут делать, он перестает смущаться, и его речи становятся более осмысленными.

— Прямо душа радуется, — говорит он. — Молодость перед зеркалом. Признайся, Гарри, когда ты в последний раз развлекался? Давно?

— Вчера ночью, — отвечает Кролик. — Я съездил в Западную Вирджинию и обратно.

— Тебе понравится моя дама, непременно понравится, этакий городской цветочек, — продолжает Тотеро. — Девушку, которая с ней придет, я никогда не видел. Говорит, она толстая. Моей даме все на свете кажутся толстыми: видел бы ты, как она ест, Гарри! Аппетит молодости. Как ты здорово повязал галстук, нынешняя молодежь знает столько разных штучек, каких мне и во сне не снилось.

— Обыкновенный виндзор. — Одевшись, Кролик снова успокаивается. Пробуждение каким-то образом возвратило его в мир, который он покинул. Ему не хватало докучного присутствия Дженис, малыша с его шумными потребностями, своих четырех стен. Он сам не знал, что делает. Но теперь эти рефлексы, всего лишь поверхностные царапины, иссякли, и на передний план выступили более глубокие инстинкты, которые убеждают его, что он прав. Он дышит свободой, она — как кислород, везде, кругом; Тотеро — вихрь воздуха, а здание, в котором он находится, и улицы поселка — всего лишь лестницы и дороги в пространстве. Свобода, в которую простым усилием его воли кристаллизовался мировой хаос, настолько законченна и совершенна, что все пути кажутся равно прекрасными, все движения будут одинаково мягко ласкать кожу, и если б даже Тотеро сказал ему, что они сейчас встретятся не с двумя девицами, а с двумя козами и поедут не в Бруэр, а в Тибет, счастье его не умалилось бы ни на йоту. Он завязывает галстук с бесконечным тщанием, как будто линии виндзорского узла, воротник рубашки Тотеро и основание его собственной шеи — руки звезды, и когда он кончит, они протянутся к самому краю вселенной. И вообще он — далай-лама. Словно облачко, возникшее в уголке его поля зрения, Тотеро подплывает к окну.

— Мой автомобиль еще здесь? — спрашивает Кролик.

— Он синий? Здесь. Надевай башмаки.

— Интересно, видел его тут кто-нибудь или нет. Вы не слышали никаких разговоров, пока я спал? — Ибо Кролик вспомнил,

что в необъятной пустоте его свободы имеются кой-какие несовершенства — дом его родителей, дом родителей жены, их квартира — сгустки забот. Едва ли бег времени мог так быстро их растворить, но, судя по ответу Тотеро, именно так оно и есть.

— Нет, — говорит он. И добавляет: — Впрочем, я не был там, где могли о тебе говорить.

Кролика бесит, что для Тотеро он всего лишь спутник в увеселительной поездке.

— Я должен был сегодня идти на работу, — резко замечает он, словно во всем виноват старик. — Суббота для меня большой день.

— Кем ты работаешь?

— Демонстрирую кухонный прибор под названием Чудо-Терка в магазинах десяти- и пятицентовых товаров.

— Благородная профессия, — говорит Тотеро, отворачиваясь от окна. — Великолепно, Гарри. Ты, наконец, оделся.

— Есть у вас какая-нибудь расческа, мистер Тотеро? И еще мне надо в сортир.

Внизу свистят и смеются над всякой чепухой члены Спортивной Ассоциации «Солнечный Свет». Кролик представляет себе, как он пойдет мимо них, и спрашивает:

— Скажите, непременно надо, чтобы все меня видели?

Тотеро возмущается, как в свое время на тренировках, когда ребята вместо того, чтоб заниматься делом, дурачились у сетки.

— Кого ты боишься, Гарри? Этой несчастной козявки Дженис Спрингер? Ты переоцениваешь людей. Никому до тебя нет дела. Сейчас мы попросту сойдем вниз; только не задерживайся в туалете. Я еще не слышал от тебя благодарности за все, что я для тебя сделал и делаю.

Вынув из щетки расческу, он подает ее Гарри.

Боязнь омрачить свободу мешает произнести простые слова благодарности.

— Спасибо, — поджав губы, бормочет Кролик.

Они спускаются вниз. Вопреки уверениям Тотеро, все мужчины — большей частью старые, хотя и не настолько, чтобы их бесформенные тела окончательно утратили свою тошнотворную бодрость, — с интересом на него смотрят. Тотеро снова и снова его представляет:

— Фред, этой мой лучший ученик, замечательный баскетболист Гарри Энгстром, ты, наверно, помнишь его имя по газетам, он дважды поставил рекорд округа — сперва в тысяча девятьсот пятидесятом, а потом сам побил его в тысяча девятьсот пятьдесят первом, это был изумительный результат.

— Что ты говоришь, Марти!

— Гарри, сочту за честь с вами познакомиться.

Их живые бесцветные глазки — такие же смазанные пятна, как и их темные рты, — пожирают его странную фигуру, а потом отправляют острые впечатления вниз, чтобы переварить их в своих отвратительных, раздутых от пива утробах. Кролику ясно, что Тотеро для них просто шут, и ему стыдно за своего друга и за

себя. Он скрывается в уборной. Краска на сиденье облупилась, раковина вся в потеках от ржавых слез крана с горячей водой, стены засалены, на вешалке нет полотенца. Высота крошечного помещения наводит жуть — один квадратный ярд потолка затянут густой паутиной, в которой висят спеленатые белесой пленкой мухи. Подавленное настроение Кролика усиливается, превращаясь в какой-то паралич; он выходит и присоединяется к прихрамывающему и гримасничающему Тотеро, и они, словно во сне, покидают клуб. Тотеро влезает к нему в автомобиль, и Кролик злится на его непрошенное вторжение. Но, как и полагается во сне, не утруждая себя вопросами, садится за руль и, когда его руки и ноги возобновляют контакт с рычагами и педалями, вновь обретает силу. Мокрые приглаженные волосы плотно облегают голову.

— Значит, по-вашему, я должен был пить вместе с Дженис, — отрывисто бросает он.

— Действуй по велению сердца, — говорит Тотеро. — Сердце — наш единственный советчик. — Голос его звучит устало и как бы издалека.

— В Бруэр?

Ответа нет.

Кролик проезжает по переулку, сворачивает на Поттер-авеню, вдоль которой прежде шла канава с водой с фабрики искусственного льда. Едет направо, подальше от Уилбер-стрит, где его квартира; еще два поворота выводят его на Центральную улицу, которая огибает гору по направлению к Бруэру. Слева земля уходит в глубокую расселину, по дну которой бесшумно течет широкая быстрая река Скачущая Лошадь; справа светятся бензоколонки, мигают гирлянды разноцветных лампочек, протестуют фары.

По мере того как городская застройка редеет, у Тотеро все больше развязывается язык.

— Сейчас мы встретимся с дамами, Гарри; я не имею понятия о второй, но знаю, что ты будешь джентльменом. И ручаюсь, что моя приятельница тебе понравится. Это замечательная девушка, Гарри; все обстоятельства с самого рождения были против нее, но она сделала большое дело.

— Какое?

— Она бросила им вызов. В этом весь секрет — бросить вызов. Ты согласен, Гарри? Я счастлив, счастлив и считаю за честь иметь с ней даже такие, я бы сказал, весьма далекие отношения.

— Да?

— Известно ли тебе, Гарри, что у молодых женщин все тело покрыто волосами?

— Я об этом не думал. — Отвращение обволакивает ему горло.

— А ты подумай, — продолжает Тотеро. — Подумай. Они обезьяны, Гарри. Женщины — обезьяны.

Он говорит это с таким серьезным видом, что Кролик невольно смеется.

Тотеро тоже смеется и подвигается к нему.

— Однако мы их любим, верно, Гарри? Почему мы их любим? Ответь мне на этот вопрос, Гарри, и ты разгадаешь загадку бы-

тия. — Он ерзает на сиденье, суетливо дергает ногами, наклоняется, хлопает Кролика по плечу, откидывается назад, выглядывает в окно, снова поворачивается и снова хлопает его по плечу. — Я ужасный человек, Гарри. Человек, вызывающий отвращение. Гарри, сейчас я тебе что-то скажу. — Будучи тренером, он вечно что-то всем говорил. — Моя жена утверждает, что я человек, вызывающий отвращение. Но знаешь, с чего это все началось? Это началось с ее кожи. Однажды весной, в тысяча девятьсот сорок третьем или сорок четвертом, во время войны, ее кожа вдруг ни с того ни с сего стала отвратительной. Словно сшили в одну шкурку тысячи ящериц. Сшили кое-как. Ты можешь себе это представить? Ощущение, что кожа ее состоит *из отдельных кусков*, привело меня в ужас, Гарри! Ты меня слушаешь? Ты не слушаешь. Ты думаешь о том, зачем ты ко мне пришел.

— Меня немного беспокоит то, что вы утром сказали про Дженис.

— Дженис! Не будем говорить о маленьких идиотках вроде Дженис Спригнер, мой мальчик. Сегодня наш вечер. Сейчас не время для жалости. С деревьев падают настоящие женщины. — Он показывает руками, как с дерьевев что-то падает. Пляп-плип-плип.

Хотя Кролику ясно, что этот человек псих, его все равно разбирает нетерпение. Они ставят машину в стороне от Уизер-авеню и встречают девиц у дверей китайского ресторана.

Девицы, стоящие под малиновым неоном, изящны, как цветки; красный свет, обрамляя их пушистые волосы, придает им легкий оттенок увядания. Сердце Кролика, обгоняя его, с глухим стуком устремляется вперед по мостовой. Когда они подходят, Тотеро представляет ему Маргарет:

— Маргарет Коско, Гарри Энгстром, мой лучший спортсмен; я счастлив, что мне довелось представить друг другу двоих столь выдающихся молодых людей. — В поведении старика чувствуется странная робость; он вот-вот закашляется.

После его неумеренных восхвалений Кролик с изумлением видит, что Маргарет всего лишь копия Дженис — такая же землисто-бледная козявка, такое же непроходимое упрямство. Еле шевеля губами, она лепечет:

— Рут Леонард, Марти Тотеро, и вы, как вас там.

— Гарри, — говорит Кролик. — Он же Кролик.

— Точно! — восклицает Тотеро. — Ребята звали тебя Кроликом. А я и забыл. — Он откашливается.

— Довольно-таки крупный кролик, — замечает Рут. Рядом с Маргарет она кажется толстой, но не так, чтобы уже очень. Она скорее плотная. Но высокая. У нее блеклые голубые глаза в прямоугольных глазницах. Крутые бедра распирают платье. Грязновато-рыжие волосы собраны узлом на затылке. На платной стоянке у нее за спиной отступают вдоль поребрика счетчики с красными язычками, а у ног, втиснутых в лиловые ремешки, буквой Х сходятся четыре квадратные плиты тротуара.

— Я большой только снаружи, — говорит он.

— Я тоже, — отзывается она.

— О господи, как я голоден, — обращается Кролик ко всей компании, чтобы хоть что-нибудь сказать. Его почему-то бросает в дрожь.

— Голод, голод, — твердит Тотеро, словно радуясь, что ему подсказали тему для разговора. — Куда направятся мои малютки?

— Сюда? — спрашивает Гарри. По взглядам, которые бросают на него обе девицы, он видит, что бразды правления должен взять на себя он. Тотеро, пятясь, словно рак, натыкается на проходящую мимо пожилую пару. От толчка на лице его изображается такое изумленйе и он так многословно извиняется, что Рут хохочет; смех ее разносится по улице, словно брошенная оземь горсточка монет. Эти звуки снимают напряжение, и Кролик чувствует, как наполняется теплым воздухом пространство между мышцами груди. Тотеро первым протискивается сквозь стеклянные двери, Маргарет идет за ним, а Рут берет Кролика под руку и говорит:

— Я вас знаю. Я училась в средней школе в Вест Бруэре и кончила в пятьдесят первом.

— И я в пятьдесят первом. — Значит, они ровесники, это радует, как прикосновение ее ладони, словно оба они даже в школах на разных концах города выучили одно и то же и приобрели одни и те же взгляды на жизнь. Взгляды выпуска пятьдесят первого года.

— Вы нас обыграли, — говорит она.

— У вас была паршивая команда.

— Ничего подобного. Я дружила с тремя игроками.

— Сразу с тремя?

— Вроде бы да.

— То-то у них был такой усталый вид.

Она снова хохочет, монетки снова сыплются на землю, и хотя ему стыдно за свои слова, она кажется такой добродушной, а в те времена, может, даже была хорошенькой. Теперь цвет лица у нее скверный. Однако волосы густые, и по ним можно судить.

Молодой китаец в грязновато-сером полотняном кителе преграждает им путь возле стеклянной стойки, за которой девушка-американка в кимоно пересчитывает истрепанные ассигнации.

— Простите, сколько вас?

— Четверо, — отвечает Кролик, убедившись, что Тотеро молчит.

Неожиданно Рут величественным жестом сбрасывает короткое белое пальто и подает его Кролику. От мягкой буклированной ткани поднимается волна духов.

— Четверо, пожалуйста, сюда.

Официант ведет их в красную кабинку. Заведение только недавно стало китайским, и на стенах еще висят розовые виды Парижа. Рут слегка пошатывается; Кролик, шагая сзади, замечает, что ее желтые от напряжения пятки то и дело разъезжаются в разные стороны в переплете лиловых ремешков, пригвождающих ноги к шпилькам-каблукам. Однако широкий зад, влитый в блестящее зеленое платье, сохраняет спокойствие. Плотная талия

подтянута так же аккуратно, как прямые линии ее лица. Вырез платья обнажает треугольник жирной белой спины. Подходя к кабинке, он наталкивается на нее и тычется носом ей в макушку. Острый запах ее волос смешивается с запахом духов. Столкнулись они потому, что Тотеро очень уж церемонно провожает Маргарет на место — ни дать ни взять гном у входа в пещеру. Ожидая своей очереди, Кролик с восторгом думает, что какой-нибудь незнакомец, проходя мимо ресторанного окна, как он сам вчера вечером проходил за окном того западновирджинского кафе, увидит его с женщиной. Ему кажется, что он и есть тот незнакомец, который с завистью смотрит в окно на его тело и на тело его женщины. Рут нагибается и проскальзывает на свое место. Кожа на ее плечах вспыхивает, потом тускнеет в тени кабинки. Кролик садится рядом, чувствуя, как она, устраиваясь поудобнее, со свойственной женщинам суетливостью шелестит платьем, словно вьет себе гнездо.

Оказывается, он все еще держит ее пальто. Бледная мягкая шкурка дремлет у него на коленях. Не вставая, он протягивает руку и вешает пальто на крючок вешалки.

— Хорошо иметь длинные руки, — говорит она, заглядывает в сумочку и достает пачку сигарет «Ньюпорт».

— А Тотеро говорит, что руки у меня короткие.

— Где вы откопали этого старого бездельника? — громко, чтобы Тотеро при желании мог услышать, спрашивает Рут.

— Он не бездельник, он мой бывший тренер.

— Хотите сигарету?

— Я бросил курить, — нерешительно отвечает он.

— Значит, этот старый бездельник был вашим тренером, — вздыхает она. Затем вынимает из бирюзовой пачки «Ньюпорта» сигарету, втыкает в оранжевые губы и, хмуро покосившись на серный кончик бумажной спички, по-женски неуклюже чиркает ею от себя; при этом она держит спичку боком, от чего та сгибается и загорается лишь с третьего раза.

— *Рут*, — произносит Маргарет.

— Бездельник? — повторяет Тотеро; его тяжелое нездоровое лицо кривится в кокетливой усмешке, словно он уже начал таять. — Да, я бездельник, бездельник. Гнусный старый бездельник, угодивший в общество принцесс.

Маргарет, не усмотрев в этом ничего уничижительного для себя, кладет руку на его руку, лежащую на столе, и с убийственной серьезностью заявляет:

— Никакой вы не бездельник.

— Где наш юный конфуцианец? — подняв вторую руку, оглядывается вокруг Тотеро. Когда юноша подходит, он спрашивает: — Здесь подают алкогольные напитки?

— Мы приносим их от соседей, — отвечает юноша.

Забавно, что у китайцев брови не торчат, а словно вдавлены в кожу.

— Двойной шотландский виски, — говорит Тотеро. — Вам, дорогая?

— Дайкири, — ответ Маргарет звучит как острота.

— Вам, детка?

Кролик смотрит на Рут. Лицо ее облеплено оранжевой пыльцой. Ее волосы, волосы, которые с первого взгляда казались не то грязно-пепельными, не то блекло-каштановыми, на самом деле разноцветные — рыжие, желтые, коричневые и черные; в ярком свете каждый волосок принимает множество различных оттенков, как у собаки.

— Черт его знает, — отвечает она. — Пожалуй, дайкири.

— Три, — говорит Кролик юноше. Он думает, что дайкири нечто вроде лаймового сока.

Официант повторяет:

— Три дайкири, один двойной шотландский виски со льдом, — и уходит.

— Когда ваш день рождения? — спрашивает Кролик у Рут.

— В августе. А что?

— А мой в апреле. Моя взяла!

— Ваша взяла, — соглашается она, как будто понимает его мысль: нельзя чувствовать полное превосходство над женщиной, которая старше тебя.

— Если вы узнали меня, почему вы не узнали мистера Тотеро? Он был тренером нашей команды.

— Кто смотрит на тренеров? Никакого проку от них нет.

— То есть как это нет? Школьная команда — это только тренер, верно?

— Школьная команда — это только ребята, — отзывается Тотеро. — Из свинца золота не сделаешь. Да, из свинца золота не сделаешь.

— А вы делали, — возражает Кролик. — Когда я попал в школьную команду, я головы от локтя отличить не мог.

— Мог, еще как мог, Гарри. Я ничему тебя не научил, я просто предоставил тебя самому себе. — Он все время оглядывается. — Ты был юный олень с большими ногами, — продолжает он.

— Какого размера? — интересуется Рут.

— Сорок четвертого, — отвечает Кролик. — А у вас какой?

— У меня маленький-премаленький, — отвечает Рут. — Ножки-крошки.

— А мне показалось, будто они вываливаются из туфель.

Он опускает голову, стараясь заглянуть под стол, в подводный полумрак, где ее укороченные перспективой икры висят, как две коричневые рыбы. Они ныряют под стул.

— Не смотрите так пристально, а то вывалитесь из кабинки, — говорит она с досадой. Это хорошо. Женщины любят, когда их приводят в смущение. Ни за что в этом не признаются, но это факт.

Официант приносит напитки, бумажные салфетки под тарелки и тусклое серебро. Положив прибор для Маргарет, он подходит к Тотеро, как вдруг тот отнимает от губ стакан с виски и освеженным твердым голосом произносит:

— Вилки и ложки? Для восточных блюд? Разве у вас нет палочек?

— Палочки, да.

— Всем палочки, — решительно заявляет Тотеро. — В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

— Моих не трогайте! — вопит Маргарет, со звоном хлопая рукой по своей ложке и вилке, когда официант хочет их убрать. — Не желаю никаких палочек.

— Гарри и Рут? — обращается к ним Тотеро. — Что предпочитаете вы?

Дайкири и в самом деле отдает лаймом, вкус которого, словно масло, растекается по поверхности прозрачной терпкой жидкости.

— Палочки, — звучным низким голосом отвечает Кролик, радуясь, что можно досадить Маргарет. — В Техасе мы никогда не прикасались металлом к китайским кушаньям.

— Рут? — Тотеро смотрит на нее робко и напряженно.

— Пожалуй. Если этот балбес может, то и я могу. — Она гасит сигарету и берет из пачки вторую.

Официант удаляется с отвергнутым серебром, словно подружка невесты с букетом. Маргарет остается в одиночестве, и это ее бесит. Кролик доволен: она — тень на его безоблачном счастье.

— Вы ели в Техасе китайские блюда? — интересуется Рут.

— Все время. Дайте сигарету.

— Вы же бросили курить.

— А теперь начал. Дайте десять центов.

— Десять центов! Черта с два!

Излишняя резкость ее отказа обижает Кролика, он звучит так, словно она хочет заработать. Почему она думает, что он собирается ее обокрасть? Что он может украсть? Сунув руку в карман, Кролик вынимает горсть мелочи, берет десятицентовик и вставляет в маленький отделанный слоновой костью музыкальный автомат, который мягко светится возле их стола. Наклонившись и перелистав список мелодий, он нажимает кнопки В и 7 — «Рокс-вилл, П-А».

— Китайская кухня в Техасе лучшая в Соединенных Штатах, кроме Бостона, — заявляет он.

— Слушайте великого путешественника, — говорит Рут и дает ему сигарету. Он прощает ее за десятицентовик.

— Итак, вы полагаете, — настаивает Тотеро, — что тренеры ничего не делают.

— Они никому не нужны, — отвечает Рут.

— Да бросьте вы, — вступается Кролик.

Официант возвращается с палочками и с двумя меню. Кролик разочарован — у палочек такой вид, словно они вовсе не деревянные, а пластмассовые. От сигареты отдает соломой. Он вынимает ее изо рта. Нет уж, хватит.

— Каждый закажет по блюду, а потом мы все поделимся, — предлагает Тотеро. — Кто что любит?

— Я кисло-сладкую свинину, — заявляет Маргарет. Что ни говори, решительности у нее не отнимешь.

— Гарри?

— Не знаю.

— Вот тебе и специалист по китайской кухне, — замечает Рут.

— Здесь написано по-английски. Я привык заказывать по китайскому меню.

— Ладно, ладно, скажите мне, что самое вкусное.

— Отстаньте, вы мне совсем голову заморочили.

— Вы никогда не были в Техасе, — говорит Рут.

Он вспоминает дом на той незнакомой, лишенной деревьев улице, зеленую ночь, встающую из прерий, цветы в окне и отвечает:

— Конечно, был.

— А что вы там делали?

— Служил у дядюшки Сэма.

— А, в армии, так это не в счет. Все были на военной службе в Техасе.

— Заказывайте по своему вкусу, — говорит Кролик Тотеро. Его раздражают все эти ветераны, с которыми Рут, как видно, знался, и он напряженно вслушивается в последние такты песни, на которую потратил десятицентовик. В этом китайском заведении она доносится как будто из кухни и лишь весьма отдаленно напоминает ту разудалую мелодию, которая прошлой ночью так подбодрила его в машине.

Тотеро дает официанту заказ и, когда тот уходит, пытается разубедить Рут. Тонкие губы старика мокры от виски.

— Тренер, — говорит он, — тренер печется о развитии трех орудий, которыми нас наделила жизнь. Это голова, тело и сердце.

— И еще пах, — добавляет Рут.

Смеется — кто бы мог подумать? — Маргарет. Кролика от этой девицы прямо-таки оторопь берет.

— Юная леди, вы бросили мне вызов, и теперь я требую вашего внимания. — Тотеро преисполнен важности.

— Чушь, — тихо отвечает Рут, опустив глаза. — Отвяжитесь вы от меня. — Он ее рассердил. Крылья ее носа белеют, грубо накрашенное лицо потемнело.

— Во-первых, голова. Стратегия. Мальчишки большей частью приходят к баскетбольному тренеру с дворовых площадок и не имеют понятия — как бы это получше выразиться — об *изяществе* игры на площадке с двумя корзинами. Надеюсь, ты меня поддержишь, Гарри?

— Еще бы. Как раз вчера...

— Во-вторых, — я кончу, Гарри, и тогда скажешь ты, — во-вторых, тело. Выработать у мальчиков спортивную форму. Придать их ногам твердость. — Он сжимает в кулак руку на полированном столе. — Твердость. Бегать, бегать, бегать. Пока их ноги стоят на земле, они должны все время бегать. Сколько ни бегай, все будет мало. В-третьих, — большим и указательным пальцами второй руки он смахивает влагу с уголков губ, — в-третьих, сердце. И здесь перед хорошим тренером, каким я, юная леди, безусловно, старался быть и, как утверждает кое-кто, в самом деле *был*, здесь перед ним открываются самые серьезные возможности. Воспитать у мальчиков волю к совершенству. Я всегда считал,

что она важнее воли к победе, ибо совершенство возможно даже в поражении. Заставить их ощутить, да, это слово, пожалуй, подходит, ощутить святость совершенства, понять, что каждый должен дать все, на что способен. — Теперь он позволяет себе сделать паузу и, поочередно взглядывая на слушателей, заставялет их прикусить языки. — Мальчик, чье сердце сумел облагородить вдохновенный тренер, — заключает он свою речь, — никогда уже — в глубочайшем смысле этого слова, — никогда уже не станет неудачником в более серьезной игре жизни. А теперь очи всех на тебя, господи, et cetera... — Он поднимает к губам стакан, в котором не осталось почти ничего, кроме кубиков льда. Когда стакан опрокидывается, они съезжают вниз и со звоном катятся к его губам.

Обернувшись к Кролику, Рут спокойно, словно желая переменить тему, спрашивает:

— Чем вы занимаетесь?

— Я не уверен, что теперь вообще чем-либо занимаюсь, — смеется он. — Сегодня утром я должен был пойти на работу. Я... это довольно трудно объяснить... я демонстрирую нечто, называемое Чудо-Теркой.

— И я уверен, что это получается у него превосходно, — вмешивается Тотеро. — Я уверен, что когда члены Совета Корпорации Чудо-Терок собираются на свое ежегодное совещание и задают себе вопрос: «Кто больше всех способствовал успеху нашего дела среди американской публики?» — имя Гарри Кролика Энгстрома оказывается первым в списке.

— А вы чем занимаетесь? — в свою очередь интересуется Кролик.

— Ничем, — отвечает Рут. — Ничем. — Ее веки сальной голубой занавеской опускаются над бокалом дайкири. На подбородок ложится зеленоватй отсвет жидкости.

Приносят китайские блюда. У Кролика прямо слюнки текут. Он и вправду не пробовал их после Техаса. Он любит эту пищу, в которой не найти следов зарезанных животных — кровавых кусков задней части коровы, жилистого скелета курицы; их призраки мелко изрублены, уничтожены и безболезненно смешаны с неодушевленными овощами, чьи пухлые зеленые тела возбуждают в нем невинный аппетит. Прелесть. Все это лежит на дымящейся грудке риса. Каждый получает такую аккуратную горячую грудку, и Маргарет торопливо перемешивает свою порцию вилкой. Все с удовольствием едят. От овальных тарелок поднимается терпкий запах коричневой свинины, сахарного горошка, цыпленка, густого сладкого соуса, креветок, водяного ореха и невесть чего еще. Лица наливаются здоровым румянцем. Разговор оживляется.

— Он был страшен, — говорит Кролик про Тотеро. — Он был величайшим тренером округа. Без него я был бы ничто.

— Нет, Гарри, ты не прав. Ты сделал для меня больше, чем я для тебя. Девушки, в первой же игре он набрал двадцать очков.

— Двадцать три, — уточняет Кролик.

— Двадцать три очка! Вы только подумайте! — Девицы про-

должают есть. — Гарри, помнишь состязания на первенство штата в Гаррисберге — и маленького чемпиона из Деннистона?

— Да, он был совсем коротышка, — говорит Гарри Рут. — Пять футов два дюйма, уродливый, как обезьяна. И при том нечестный игрок.

— Да, но свое дело он знал, — говорит Тотеро, — свое дело он знал. Гарри столкнулся с сильным противником.

— А помните, как он поставил мне подножку?

— Верно, я и забыл, — подтверждает Тотеро.

— Этот коротышка ставит мне подножку, и я лечу кувырком. Если б стенка не была обита матами, я бы разбился насмерть.

— А что было дальше, Гарри? Ты его отделал? Я совсем забыл про этот случай. — У Тотеро полный рот, его одолевает страшная жажда мести.

— Да нет, — медленно отвечает Кролик. — Я никогда не нарушал правил. Рефери все видел, а так как это было уже в пятый раз, его удалили с поля. И тогда мы их расколошматили.

В лице Тотеро что-то гаснет, оно становится рыхлым и вялым.

— Верно, ты никогда не нарушал правил. Никогда. Гарри всегда был идеалистом.

— Просто не было нужды, — пожимает плечами Кролик.

— И второе удивительное свойство Гарри — с ним никогда ничего не случалось, — сообщает Тотеро девушкам.

— Нет, однажды я растянул запястье, — поправляет Кролик. — Но что мне действительно помогло, как вы сказали, так это...

— А что было дальше? Просто ужас, до чего я все забыл.

— Дальше? Дальше был Пенноак. Ничего не было. Они нас побили.

— Они победили? Разве не мы?

— Да нет же, черт возьми. Они здорово играли. У них было пять сильных игроков. А у нас? По правде говоря, только я один. У нас был Гаррисон, он был о'кей, да только после той футбольной травмы он уже больше никогда не оправился.

— *Ронни* Гаррисон? — спрашивает Рут.

— Вы его знаете? — с тревогой спрашивает Кролик. Гаррисон был знаменитый бабник.

— Я не уверена, — довольно равнодушно отзывается Рут.

— Невысокого роста, курчавый. Чуточку прихрамывает.

— Нет, не знаю, — говорит она. — Пожалуй, нет.

Как ловко она управляется одной рукой с палочками; вторая лежит на коленях ладонью вверх. Он с удовольствием смотрит, как она наклоняет голову, как наивная толстая шея подается вперед, сухожилия на плече напрягаются, губы смыкаются вокруг куска. Палочки точно рассчитанным движением зажимают еду. Просто удивительно, сколько нежности у этих толстух. Маргарет — та, словно лопатой, сгребает еду тусклой изогнутой вилкой.

— Мы проиграли, — повторяеет Тотеро, зовет официанта и просит еще раз повторить те же напитки.

— Мне больше не надо, спасибо, — говорит Кролик. — Я уже и так пьян.

— Вы просто большой пай-мальчик, — говорит Маргарет. Она до сих пор не усвоила, как его зовут. Господи, доч его она ему противна.

— О чем я начал говорить и что, по вашим словам, мне и вправду помогло, так это уменье брать мяч обеими руками, едва касаясь его большими пальцами. Вся штука в том, чтоб держать мяч перед собой, и тогда появляется это славное легкое чувство. Мяч со свистом сам летит вперед. — Он показывает руками, как это делается.

— Ах, Гарри, — грустно замечает Тотеро, — когда ты ко мне пришел, ты уже умел бросать мяч. Я внушил тебе всего лишь волю к победе. Волю к совершенству.

— Знаете, моя лучшая игра была не в тот раз, когда мы набрали сорок очков против Аленвилла, а я предпоследнем классе. Мы в самом начале сезона поехали в дальний конец округа в маленькую забавную провинциальную школу, там было всего около сотни учеников во всех шести классах. Как этот городишко назывался? Птичье Гнездо, что ли? Вы должны это помнить.

— Птичье Гнездо... Нет, — отвечает Тотеро.

— По-моему, это был один-единственный раз, когда мы их включили в программу соревнований. Там был такой смешной малюсенький квадратный спортзал, и зрители сидели на сцене. Какое-то забавное название.

— Птичье Гнездо, — повторяет Тотеро. Он озабочен. Он все время потирает ухо.

— Иволга! — вне себя от радости восклицает Кролик. — Средняя Школа Иволга. Такой маленький разбросанный городишко, дело было в начале спортивного сезона, так что было еще тепло, и на полях торчали кучи кукурузы вроде вигвамов. И вся школа пропахла сидром, помню, вы еще насчет этого острили. Вы мне велели не принимать все это близко к сердцу, мы приехали попрактиковаться и вовсе не должны их *расколошматить*.

— У тебя память лучше, чем у меня, — говорит Тотеро.

Официант возвращается, и Тотеро, не дожидаясь, пока ему подадут, берет стакан прямо с подноса.

— Ну вот, — продолжает Кролик, — мы приходим и начинаем играть, а там эта пятерка фермеров топчется по площадке, и мы с ходу набираем пятнадцать очков, и я ничего не принимаю близко к сердцу. А на сцене сидит всего десятка два зрителей, и игра эта вовсе не зачетная, и все это не важно, и у меня появляется такое удивительное чувство, будто я могу все на свете, и мне надо только бегать просто так, пасовать и больше ничего, и вдруг я вижу, понимаете, *вижу*, что действительно могу все на свете. Во второй половине я делаю всего каких-нибудь десять бросков, и каждый мяч летит прямо в корзину, не то что ударяет в обод, а даже и не задевает, будто я камушки в колодец бросаю. А эта деревенщина носится туда-сюда, они все мокрые, а запасных у них всего только двое, но наша команда не в их лиге, так что им тоже все равно, и

единственный рефери наклоняется над краем сцены и разговаривает с их тренером. Средняя Школа Иволга. Вот так, а потом их тренер приходит в раздевалку, где переодеваются обе команды, достает из шкафчика кувшин сидра и пускает по кругу. Неужели вы не помните? — Как странно, даже смешно, почему они никак не могут понять, что́ в этом было такого особенного. Он снова принимается за еду. Остальные уже поели и теперь выпивают по второй.

— Да, сэр, Как-вас-там, вы и вправду милый мальчик, — говорит Маргарет.

— Не обращай внимания, Гарри, — замечает Тотеро. — Шлюхи всегда так разговаривают.

Рука Маргарет, оторвавшись от стола, пролетает мимо ее тела и бьет его прямо в зубы.

— Один-ноль, — хладнокровно произносит Рут.

Все происходит так тихо, что китаец, который убирает со стола тарелки, не поднимает головы и явно ничего не слышит.

— Мы уходим, — объявляет Тотеро и пытается встать, но натыкается бедром на край стола, застревает и стоит, ссутулясь, как горбун. От удара рот его чуть-чуть скривился, и Кролик отводит глаза от этой двусмысленной болезненной смеси бравады, стыда и, что еще хуже, гордости, скорее даже тщеславия. С искаженных кривой ухмылкой губ слетают слова:

— Вы идете, дорогая?

— Сукин сын, — отзывается Маргарет; однако ее крепкое, как орешек, тельце выскальзывет из кабинки, и она оглядывается посмотреть, не оставила ли она сигарет или кошелька. — Сукин сын, — повторяет она, и в невозмутимости, с какой она это произносит, есть даже что-то красивое. Вид у них с Тотеро теперь более спокойный, решительный и как бы даже суровый.

Кролик хочет выскочить из-за стола, но Тотеро поспешно кладет ему на плечо руку; твердое прикосновение этой тренерской руки Кролик, сидя на скамейке, частенько ощущал незадолго до того, как шлепок по спине отправлял его на баскетбольную площадку.

— Нет, нет, Гарри. Оставайся. Не все сразу. Пусть наша грубость тебя не смущает. Ты бы не мог дать мне на время машину?

— Что? Мне же без нее никуда не попасть.

— Да, да, ты прав, ты совершенно прав. Прости, пожалуйста.

— Да нет, я хотел сказать, что если она вам нужна... — Ему не хочется одалживать автомобиль, который принадлежит ему лишь наполовину.

Тотеро это понимает.

— Нет, нет. Нелепая идея. Спокойной ночи.

— Обрюзгший старый болван, — говорит ему Маргарет.

Взглянув на нее, Тотеро суетливо опускает глаза. Гарри видит, что она права, Тотеро и вправду обрюзг, лицо его искривилось, как спущенный баллон. Однако этот баллон смотрит на Кролика, словно распираемый какой-то важной мыслью, тяжелой и бесформенной, как вода.

— Куда ты денешься? — спрашивает Тотеро.

— Все будет о'кей. У меня есть деньги. Я возьму номер в гостинице, — отвечает Кролик. Отказав Тотеро, он хочет, чтобы тот поскорее ушел.

— Дверь моей обители открыта, — говорит Тотеро. — Правда, там всего одна койка, но можно сделать матрас...

— Нет, нет, — резко возражает Кролик. — Вы спасли мне жизнь, но я не хочу садиться вам на шею. Все будет хорошо. Я и без того не знаю, как мне вас благодарить.

— Мы еще побеседуем, — обещает Тотеро; рука его дергается и как бы случайно шлепает Маргарет по заду.

— Я готова тебя убить, — говорит ему Маргарет, и они удаляются. Похожие со спины на отца с дочерью, они минуют стойку, возле которой шепчется с девушкой-американкой официант, и выходят сквозь стеклянную дверь, Маргарет впереди. Словно так и надо, словно они — деревянные фигурки, входящие и выходящие из старинного барометра.

— Господи, в какой же он скверной форме.

— А кто в хорощей? — интересуется Рут.

— Хотя бы вы.

— Вы хотите сказать, что у меня хороший аппетит?

— Послушайте, у вас какой-то комплекс насчет того, что вы такая большая. Вы совсем не толстая. Вы пропорционально сложены.

Она смеется, потом умолкает, смотрит на него, снова смеется, берет его обеими руками за плечо и говорит:

— Кролик, вы истинно христианский джентльмен.

От того, что она назвала его по имени, его обдает волнующим теплом.

— За что она его ударила? — спрашивает он и хихикает, боясь, что ее руки, лежащие у него на плече, игриво ткнут его в бок. Ее крепкая хватка не исключает такой возможности.

— Ей нравится бить людей. Однажды она ударила меня.

— Наверняка вы сами напросились.

Она убирает руки и кладет их обратно на стол.

— Так ведь и он напросился. Ему нравится, когда его бьют.

— Вы его знаете? — спрашивает он.

— Она мне про него рассказывала.

— Это еще не значит, что вы его знаете. Эта девка глупа.

— Что верно, то верно. Вы даже и представить себе не можете, до чего она глупа.

— Еще как могу. Я женат на ее двойняшке.

— У-у-у! Женат!

— Слушайте, что вы там говорили насчет Ронни Гаррисона? Вы его знаете?

— А что вы там говорили насчет того, что вы женаты?

— Да, я был женат. И до сих пор женат.

Он жалеет, что заговорил об этом. Огромный пузырь, сознание чудовищности его положения теснит ему сердце. Так бывало в детстве, когда, субботним вечером возвращаясь домой, он вдруг

осознавал, что все кругом — деревья, мостовая — все это жизнь, единственная, неповторимая действительность.

— Где она?

Этого еще не хватало — попробуй-ка ответить на вопрос: куда могла пойти Дженис?

— Она, наверно, у своих родителей. Я только вчера ее бросил.

— А, так это просто отпуск. Вы ее не бросили.

— Да нет, пожалуй, бросил.

Официант приносит им блюдо кунжутных пирожных. Кролик на пробу берет одну штуку, он думает, что они твердые, и с удовольствием ощущает, как сквозь тонкую оболочку семян проступает мягкое тягучее желе.

— Ушли совсем ваши друзья? — спрашивает официант.

— Не беспокойтесь. Я заплачу, — отвечает Кролик.

Китаец поднимает свои вдавленные брови, морщит в улыбке губы и уходит.

— Вы богатый? — интересуется Рут.

— Нет, бедный.

— Вы и вправду собираетесь ночевать в гостинице?

Оба берут по нескольку пирожных. На блюде их штук двадцать.

— Да. Сейчас я расскажу вам про Дженис. Я не собирался ее бросать до той самой минуты, когда я от нее ушел. Мне вдруг стало ясно, что иначе и быть не может. В ней пять футов шесть дюймов, она смуглая...

— Не желаю про нее слушать. — Голос Рут звучит решительно; когда она, закинув голову, вглядывается в светильники на потолке, ее разноцветные волосы приобретают однородный темный оттенок. Волосам свет льстит больше, чем лицу, — на обращенной к Гарри стороне ее носа из-под пудры проступают какие-то пятна или прыщи.

— Не желаете, — говорит Кролик. Пузырь скатывается с груди. Раз это никого не беспокоит, почему это должно беспокоить его? — О'кей. О чем мы будем говорить? Сколько вы весите?

— Сто пятьдесят.

— Да вы же просто крошка. Второй полусредний вес. Кроме шуток. Кому нужна кожа да кости? Каждому фунту вашего веса просто цены нет.

Он болтает просто так, от радости, по что-то в его словах заставляет ее насторожиться.

— Уж очень вы умный, — замечает она, поднимая к глазам пустой бокал. Это плоская вазочка на коротенькой ножке, вроде тех, в каких подают мороженое на пижонских вечеринках по случаю дня рождения. Бледные дуги отраженного света проплывают по ее лицу.

— Про свой вес вы тоже не желаете говорить. Гм. — Отправив в рот еще одно пирожное, он ждет, чтобы прошло первое ощущение острого вкуса желе. — Ладно, переменим пластинку. Что вам требуется, миссис Америка, так это Чудо-Терка. Сохраняет витамины. Снимает излишек жиров. Один поворот пластмассового

винта, и вы можете натереть морковь или наточить карандаши вашего супруга. Годится на все случаи жизни.

— Бросьте. Бросьте дурака валять.

— Ладно.

— Поговорим о чем-нибудь приятном.

— Ладно. Начинайте вы.

Она откусывает пирожное и смотрит на него, улыбаясь полным ртом и потешно опустив уголки туго надутых губ; когда она жует, на лице ее изображается безмерное удовольствие. Наконец, она глотает, широко раскрывает круглые голубые глаза, коротко вздыхает, хочет что-то сказать, но вместо этого смеется прямо ему в лицо.

— Обождите, — говорит она, — сейчас. — Затем заглядывает в свой бокал, сосредоточенно думает, но наибольшее, на что она способна, это заявление:

— Не надо жить в гостинице.

— Придется. Скажите, какая лучше.

Интуиция подсказывает ему, что она много чего знает про гостиницы. Там, где ее шея незаметно переходит в плечо, белеет мелкая ложбинка, в которую, свернувшись клубочком, ложится его внимательный взгляд.

— Они все дорогие, — говорит она. — Все дорого. Даже моя маленькая квартирка, и та дорогая.

— Где ваша квартира?

— Тут неподалеку. На Саммер-стрит. Второй этаж, над кабинетом врача.

— Вы там одна живете?

— Да. Моя подруга вышла замуж.

— Как же вы платите за квартиру, если нигде не работаете?

— Что вы хотите этим сказать?

— Ровно ничего. Вы же сами говорили, что нигде не работаете. Она правда дорогая?

Рут смотрит на него с той любопытной настороженностью, которую он заметил с самого начала, еще возле счетчиков на автостоянке.

— Квартира, — поясняет он.

— Сто десять в месяц. Не считая света и газа.

— И вы нигде не работаете.

Она смотрит в бокал и раскачивает его обеими руками, от чего отраженный свет пробегает по краю стекла.

— О чем вы думаете? — спрашивает Кролик.

— Просто удивляюсь.

— Чему?

— Какой вы умный.

Не поворачивая головы, он чувствует дуновение легкого ветерка. Ага, вот куда она клонит, а он еще сомневался.

— Ну так вот что я вам скажу. Почему бы мне не помочь вам уплатить за квартиру?

— С какой стати?

— По доброте сердечной, — отвечает он. — Десятку?

— Мне нужно пятнадцать.

— За свет и газ. О'кей, о'кей.

Ему не совсем ясно, что делать дальше. Они сидят и смотрят на пустое блюдо, где лежала пирамидка кунжутных пирожных, — они их все съели. Появившийся официант удивленно переводит глаза с блюда на Кролика, с Кролика на Рут — все это в течение секунды. Он подает им чек на 9.60. Кролик кладет на чек десятку и доллар, а рядом еще десятку и пятерку. Он подсчитывает, что остается в бумажнике — три десятки и четыре доллара. Когда он поднимает голову, деньги Рут уже исчели с полированного стола. Он встает, берет ее мягкое пальтишко, подает ей, и, словно большая зеленая рыба, его добыча тяжело поднимается, выходит из кабинки и безучастно позволяет надеть на себя пальто. По десять центов фунт, подсчитывает он.

И это сверх ресторанного счета. Подойдя со счетом к стойке, он протягивает девушке десятку. Она хмуро отсчитывает сдачу; жуткая пустота ее глаз аккуратно обведена тушью. Простое лиловое кимоно никак не вяжется с пружинистым перманентом и нарумяненным испитым лицом с типично американской кислой миной. Когда она кладет монеты на розовое блюдце для сдачи, он отмахивается от кучки серебра и, добавив еще доллар, показывает на молодого китайца, который торчит возле девушки, не спуская с них глаз.

— Польшое спасипо, сэр. Польшое спасипо, — говорит он Кролику. Однако его благодарности не хватает даже на то время, в течение которого они успевают скрыться из виду. Когда они направляются к стеклянной двери, он поворачивается к кассирше и тонким голосом с тщательно отработанными интонациями продолжает свой рассказ: «...и тогда тот второй парень ему говорит...»

Вместе с этой самой Рут Кролик выходит на улицу. Справа, в сторону от горы Джадж, сияет центр города — путаница огней, обведенные неоном контуры: башмак, земляной орех, цилиндр, реклама пива «Подсолнечник» — зеленый неоновый стебель высотой с шестиэтажное здание и желтая, как вторая луна, сердцевина цветка. Кварталом ниже слышатся торопливые монотонные удары колокола, шлагбаум на железнодорожном переезде — два длинных ножа с красными кончиками, — опускаясь, врезается в мягкую массу неона, и движение, постепенно замедляясь, останавливается.

Рут сворачивает налево, в тень горы, Кролик следует за ней; они идут вверх по скрипучей мостовой. Покрытый асфальтом склон — точно погребенный голос, нежданное эхо земли, которая была здесь задолго до города. Мостовая кажется Кролику тенью прозрачного дайкири; ему весело, и он подпрыгивает, чтобы попасть в ногу со своей дамой. Ее глаза обращены к небу, в котором яркое созвездие гостиницы «Бельведер» смешивается со звездами над горой Джадж. Они шагают молча, а позади с пыхтением и скрежетом ползет через переезд товарный состав.

Ага, вот в чем дело — сейчас он ей явно не нравится, совсем как той шлюхе в Техасе.

— Слушайте, вы хоть раз поднимались на вершину? — спрашивает он.

— Ну да. В автомобиле.

— Когда я был маленький, — говорит он, — мы часто ходили наверх, только с другой стороны. Там такой густой мрачный лес, и однажды я наткнулся на развалины старого дома — просто дыра в земле да несколько камней; наверняка ферма какого-нибудь пионера.

— Я была наверху только раз, ездила на машине с одним нахальным типом.

— С чем вас и поздравляю, — отзывается он, раздосадованный той жалостью к себе, которая таится под ее резким тоном.

Чувствуя, что он это понял, она огрызается.

— На что он мне сдался, это ваш пионер?

— Не знаю. Пригодится, Вы ведь американка.

— Подумаешь! С таким же успехом я могла бы родиться мексиканкой.

— Ну нет, для этого надо быть поменьше ростом.

— Знаете, вы просто свинья.

— Брось, детка, — отвечает он, обнимая ее широкую талию. — По-моему, я довольно чистоплотный.

— Как бы не так.

С Уизер-стрит она сворачивает налево и отстраняет его руку. Теперь она на Саммер-стрит. Кирпичные фасады сливаются в один сплошной темный фасад. Номера домов вставлены в полукруглые цветные оконца над входными дверями. В зеленовато-оранжевом свете маленькой бакалейной лавки на углу видны силуэты болтающихся на углу мальчишек. Супермаркеты вытесняют эти мелкие лавчонки, заставляют торговать до поздней ночи.

Обняв ее, он просит:

— Ну, хватит. Будь паинькой.

Он хочет показать ей, что грубыми речами его не оттолкнешь. Она хочет, чтобы он довольствовался только ее тяжелым телом, тогда как он хочет, чтобы женщина принадлежала ему целиком, легкая, как перышко. К его удивлению, она, повторяя движение его руки, тоже обнимает его за талию. Идти в таком положении неудобно, и у светофора они разъединяются.

— По-моему, в ресторане я тебе понравился. Я ведь старался угодить Тотеро, говорил ему, какой он был замечательный.

— По-моему, ты говорил только о том, какой замечательный был ты.

— А я и был замечательный. Факт. Теперь-то я почти ни на что не годен, а раньше я и вправду здóрово играл.

— А знаешь, что я здóрово делала?

— Что?

— Стряпала.

— Это как раз то, чего не умеет моя жена. Бедняжка.

— Помнишь, в воскресной школе нам вечно талдычили, что

господь бог наделил каждого каким-нибудь талантом? Так вот, мой талант — это стряпня. Я мечтала стать замечательной стряпухой.

— Ну и что, стала?

— Не знаю. Я ведь редко обедаю дома.

— Почему?

— В нашем доме без этого нельзя, — отвечает она, и он умолкает. Он не думал о ней так грубо. Ему становится страшно. Если так, что ее любовь сулит слишком уж много.

— Ну вот я и пришла, — говорит она.

Ее дом кирпичный, как и все остальные на западной стороне улицы. Через дорогу, словно серая штора под фонарем, высится большая, выстроенная из известняка церковь. Они входят в подъезд под цветным оконцем. В вестибюле ряд звонков под медными почтовыми ящиками, лакированная подставка для зонтов, резиновый коврик на мраморном полу и две двери — справа с матовым стеклом, прямо — с небьющимся проволочным стеклом, сквозь которое видна лестница, покрытая резиновыми дорожками. Рут вставляет в эту дверь ключ, а Кролик читает на второй двери позолоченную надпись: «Д-р Ф.-Кс. Пеллигрини.

— Старая лиса, — замечает Рут и ведет его по лестнице наверх.

Она живет этажом выше. Ее дверь в дальнем конце покрытого линолеумом коридора, ближе к улице. Пока Рут скребет ключом в замке, он стоит у нее за спиной. В холодном свете уличного фонаря, проникающем сквозь четыре неровных стекла в окне, возле которого он стоит, — эти синие стакла на вид такие тонкие, что кажется, стоит к ним прикоснуться, как они тотчас же лопнут, — его неожиданно охватывает дрожь: сперва начинают дрожать ноги, потом кожа на боках. Наконец, ключ поворачивается в замке, и дверь открывается.

Войдя в квартиру, Рут тянется к выключателю; Кролик, оттолкнув руку, поворачивает ее к себе и целует. Это какое-то безумие; он хочет ее раздавить; моторчик у него под ребрами удваивает и учетверяет его желание — давить, давить что есть силы; это не любовь, что взглядом скользит по коже, ни своей, ни ее кожи он не ощущает, ему хочется только вдавить ее сердце в свое, чтобы раз и навсегда ее утешить. Она вся сжимается. Податливая влажная подушечка губ, охотно принявших его поцелуй, твердеет и высыхает, и как только Рут удается откинуть голову и высвободить руку, она отталкивает ладонью его подбородок, словно желая выбросить его череп обратно в коридор. Пальцы ее скрючиваются, и длинный ноготь впивается в нежную кожу у него под глазом. Он отпускает ее. Чудом уцелевший глаз косит, шея начинает ныть.

— Убирайся, — говорит она. В свете, падающем из коридора, ее пухлое помятое лицо кажется уродливым.

Он закрывает дверь пинком ноги.

— Перестань, — говорит он. — Я же хотел тебя приласкать.

В темноте он видит, что ей страшно; он чует этот страх в изгибе ее крупного тела, как язык чует кровь в полости из-под

вырванного зуба. Самый воздух как бы велит ему стоять недвижимо; его душит беспричинный смех. Ее страх и его внутренняя уверенность очень уж не вяжутся друг с другом — он-то ведь знает, что не причинит ей вреда.

— Приласкать? — отзывается она. — Скорее задушить.

— Я так любил тебя весь вечер, — продолжает он. — Мне надо было вытеснить эту любовь из своего организма.

— Знаю я ваши организмы. Пшик — и все.

— Со мной так не будет, — обещает он.

— Пусть лучше будет. Я хочу, чтоб ты поскорее отсюда убрался.

— Неправда.

— Вы все воображаете себя замечательными любовниками.

— А я такой и есть. Я — замечательный любовник, — уверяет он и, гонимый волной алкоголя и возбуждения, словно в забытьи подается вперед.

Она отступает, но не настолько быстро, чтобы он не успел почувствовать, что каверна ее страха затянулась. В свете, проникающем с улицы, он видит, что они в маленькой комнате, обстановку которой составляют два кресла, кровать-диван и стол. Рут идет в соседнюю комнату, чуть побольше, с двуспальной кроватью. Штора наполовину опущена, и в низких лучах света каждый бугорок на покрывале отбрасывает тень.

— Ладно, заходи, — говорит она.

— Куда ты? — отзывается он, заметив, что она взялась за ручку двери.

— Сюда.

— Ты хочешь там раздеваться?

— Да.

— Не надо. Позволь мне раздеть тебя. Ну, пожалуйста.

Он так поглощен этой мыслью, что подходит и берет ее за руку. Она уклоняется от его прикосновения.

— Я смотрю, ты привык командовать.

— Пожалуйста, прошу тебя.

— Слушай, я не знаю, что ты хочешь получить за свои пятнадцать долларов, а только я должна подумать о себе.

— В таком случае верни мне пятнадцать долларов.

Она пытается уйти, но теперь он крепко держит ее за руку.

— Ты так командуешь, словно мы муж и жена.

Его снова обдает прозрачной волной, и он еле слышно шепчет:

— Ну что ж, пожалуй.

Так стремительно, что она не успевает шевельнуть руками, висящими вдоль тела, он опускается на колени у ее ног и целует на пальце то место, где должно быть кольцо. Потом начинает расстегивать ремешки ее туфель.

— И зачем только женщины ходят на высоких каблуках? — спрашивает он и таким сильным рывком поднимает ей ногу, что она вынуждена схватить его за волосы, чтобы не упасть. — Неужели у тебя от них ноги не болят?

Он швыряет в соседнюю комнату одну туфлю с переплетенны-

ми ремешками, вслед за ней вторую. Ее ноги теперь твердо стоят на полу. Схватив ее за лодыжки, он начинает с силой растирать округлые толстые икры. Массируя, он всегда нервничает.

— Идем, — говорит Рут. Голос ее слегка напряжен — она боится упасть, потому что он всем своим весом пригвоздил ей ноги к полу. — Ложись в постель.

Завороженная его волей, она движется скованно и робко. Он тоже робеет. Дрожа всем телом, он подводит ее к кровати и начинает искать застежку платья. Нашарив на спине пуговицы, он не может сразу их расстегнуть, потому что берется за петли не с той стороны.

— Дай я сама.

— Не спеши, я расстегну. Ты должна радоваться. Ведь это наша брачная ночь.

— По-моему, ты просто спятил.

Он грубо поворачивает ее к себе, и его снова обуревает неуемное желание ее утешить. Он касается ее густо накрашенных щек, и когда он смотрит сверху на затененное сердитое лицо, она кажется ему совсем маленькой. Он ласково тянется к ее глазу, пытаясь поймать губами биение пульса на веке, пытаясь внушить ей, что в эту ночь не надо торопиться. Рискуя вызвать смех своей бесстрастной осторожностью, он целует второй глаз, потом, возбужденный собственной нежностью, поддается страсти и так неистово кусает и лижет ей лицо, что она и в самом деле смеется от удовольствия и отталкивает его. Он прижимает ее к себе, наклоняется и вдавливает зубы в мягкую горячую ложбинку у основания шеи. Ожидая укуса, Рут испуганно вздрагивает и упирается ему ладонями в плечи, но он не отпускает ее и, чуть не задушив в объятиях, кричит, что ему нужно не ее тело, а она, она вся. Хотя слов не слышно, Рут все понимает и говорит ему:

— Не старайся доказать, какой ты замечательный любовник. Делай свое дело и катись.

— Ишь ты какая умница.

Подняв руку, чтобы ее ударить, он сдерживается и предлагает:

— Ударь меня. Валяй. Тебе ведь очень хочется. Отколоти меня как следует.

— О, господи, эта канитель на всю ночь.

Он хватает ее вялую руку, нацеливает на себя, но она сгибает пальцы и легонько шлепает его по щеке.

— Бедняжка Маргарет, вот как ей приходится поступать с этим старым подонком, твоим приятелем.

— Не говори о них, — умоляет он.

— Проклятые мужчины. Непременно хотят сделать больно или чтобы больно сделали им.

— Я вовсе этого не хочу. Ни того, ни другого. Честное слово.

— Тогда какого дьявола ты канителишься? Раздевай меня, и все.

— Ну и язычок у тебя, — вздыхает он.

— Мне очень жаль, если я тебя шокирую, — в голосе ее звучит металлическая нотка.

— Нет, ничуть не шокируешь, — отвечает он и, всерьез приступив к делу, берется за подол ее платья. Глаза ее теперь настолько привыкли к темноте, что ясно различают зеленый цвет ткани. Когда он тянет платье вверх, она поднимает руки, и голова ее на секунду застревает в узком вороте. Она сердито трясет головой, платье высвобождается и бесформенным теплым комком падает ему на руки. Он швыряет его на маячащий в углу стул.

— Ох, до чего ж ты хороша! — восклицает он.

В серебристой комбинации она похожа на привидение. Стаскивая через голову платье, он растрепал ей прическу. Хмуро глядя на него, Рут быстро вынимает шпильки, и волосы густыми кольцами рассыпаются по плечам. В комбинациях все женщины похожи на новобрачных.

— Не столько хороша, сколько толста, — отзывается она.

— Нет, ты такая... — В мгновение ока он поднимает на руки эту огромную сахарную глыбу, обтянутую прозрачной комбинацией, и несет к кровати.

— Ты меня поднял. Теперь у тебя ничего не получится.

Яркий свет из окна падает ей прямо на лицо, резко обводя чернотой морщины на шее.

— Опустить штору?

— Да, пожалуйста. Уж очень тут уныло.

Он подходит к окну посмотреть, о чем она говорит. На противоположной стороне видна только церковь — серая, мрачная, самоуверенная. За окном-розеткой все еще горит свет, и в городской ночи этот красный, лиловый и золотой кружок кажется дырой, которую пробили в реальном мире, чтоб люди увидели за ним неземное сиянье. Кролика охватывает благодарность к создателям этой красоты, и он виновато опускает штору. Стремительно обернувшись, он видит, что глаза Рут следят за ним из теней; они тоже кажутся пробоинами на поверхности. На изгибе ее бедра серебрится полумесяц, и кажется, будто самое ощущение ее тяжести источает какой-то аромат.

— Ну, что там на тебе еще осталось? — Сняв пиджак, Кролик швыряет его прочь. Он любит разбрасывать одежду — разлетаясь во все стороны, вещи подчеркивают нарастающую наготу. — Чулки?

— С ними на так-то просто, — отвечает она. — Они могут поползти.

— Тогда снимай сама.

Сидя на кровати, она мягкими кошачьими движениями ловко выскальзывает из тонкой паутины эластика, шелка и хлопка. Сняв и аккуратно скатав чулки, она засовывает их в щель между матрасом и спинкой кровати. Кролику кажется, что он парит в темном, загадочном, лишенном всех измерений пространстве и где-то совсем рядом, за углом, его ждет нежная, прекрасная женщина. Когда он выпрямляется, стоя на коленях у кровати, Рут в его глазах приобретает размеры какого-то необъятного континента; сбившаяся кверху комбинация белеет, как снежная шапка на северном полюсе.

— Какая ты большая.

— Слишком большая.

— Нет, ты послушай. Ты добрая.

Просунув ладонь под ее горячий затылок, он рывком поднимает ее и стягивает через голову комбинацию. Она скатывается легко, словно жидкость, — одежда сама собой спадает с женщины, которая хочет, чтобы ее раздели. Прохладная впадина, которую он нащупывает у нее на пояснице, сливается в его мыслях с прозрачной тенью, что оседяет кожу, струящуюся с плеч. Кролик целует это место. Там, где кожа белее, она прохладнее. Он отодвигается, садится в уголке кровати и впивает зрелище этой чистой наготы. Когда она, прижав правую руку к груди, подняла левую, на пальце блеснуло кольцо. Ее застенчивость ему льстит — это признак чувства. Всей своей тяжестью она опирается на вытянутую руку. Свет падает на нее справа; бесшумно повернувшись, она застывает в этой стыдливой грациозной позе, одной лишь неподвижностью защищаясь от его взгляда. Она не меняет позы, и белизна начинает резать ему глаза. Когда, наконец, раздается ее голос, он даже вздрагивает.

— Ну, а ты?

Он все еще одет вплоть до галстука. Пока он вешает на стул брюки, стараясь сохранить складку, Рут забирается под одеяло. Стоя над ней в одном белье, он спрашивает:

— Теперь на тебе и вправду больше ничего нет?

— Так ты же сам велел все снять.

Он вспоминает, как блеснуло что-то у нее на пальце.

— Дай кольцо.

Она выпрастывает из-под одеяла руку, и он осторожно свинчивает с припухшего сустава толстое латунное кольцо. Он задумчиво смотрит на нее сверху вниз. Она накрыта до самого подбородка, бледная рука на одеяле свернулась, как змея.

— Больше ничего?

— Одна кожа, — отзывается она. — Иди сюда. Ложись.

— Ты меня хочешь?

— Не обольщайся. Я хочу, чтоб это поскорее кончилось.

— У тебя все лицо в коросте.

— Перестань меня оскорблять.

— Я просто очень люблю тебя. Где взять салфетку?

— Черта с два я позволю мыть себе лицо!

Он идет в ванную, зажигает свет, находит махровую салфетку, смачивает под горячм краном, выжимает и гасит свет. Когда он возвращается в комнату, Рут смеется.

— Что тут смешного? — удивляется он.

— В этом дурацком белье ты и впрямь похож на кролика. Я думала, только маленькие дети носят эластичные трусики.

Он смотрит вниз на свой майку и плотно прилегающие трусы, довольный и еще больше возбужденный. Звук его имени ощущается как физическое прикосновение. Она поняла, что он не такой, как все. Когда он прикладывает шероховатую ткань к ее лицу, она пытается вырваться, совсем как Нельсон, однако он —

умудренный опытом отец — продолжает свое привычное дело. Он протирает ей лоб, щеки, засовывает кончик салфетки в ноздри и, и не обращая внимания на то, что она, пытясь увернуться, извивается всем телом, стирает ей с губ помаду, заглушая слова. Когда он, наконец, отпускает ее руки и убирает салфетку, она мельком взглядывает на него и молча закрывает глаза.

Он стоит, прижимая салфетку к своему лицу. Потом подходит к изножью кровати, швыряет салфетку в сторону ванной, сбрасывает белье, ныряет в постель и скрывается в длинном темном пространстве между простынями.

В их взимном проникновении таится какая-то грусть. Уткнувшись лицом ей в шею, он впивает мятный запах ее волос. Тонкими легкими руками прижимая его к себе, она поднимается с подушки.

— Хорошо, — одобрительно шепчет он.

— Хорошо, — отзывается она.

— Ты красивая.

Ей кажется, что она стала прозрачной, что он видит ее сердце. Она обогнала его и теперь ждет, а он в трепетном апогее нежности снова и снова обводит большим пальцем крутой изгиб ее бровей.

— Ну, как? — спрашивает она наконец.

— Ты красивая.

Он смотрит ей в лицо, и в глубоких тенях ему чудится грустное всепрощенье, словно она знает, что в последний миг любви он предал ее своим отчаяньем. Природа ведет тебя как мать, но, едва заполучив свою награду, оставляет ни с чем. Пот холодит ему кожу, и он поднимает сбившееся одеяло.

— Ты была прекрасна, — говорит он, вялой рукою касаясь ее мягкого бока. Ее тело все еще трепещет, восторг гаснет в ней не так быстро, как в нем.

— Я совсем забыла.

— Что ты забыла?

— Что мне тоже может быть хорошо.

— А что ты при этом чувствуешь?

— У меня такое ощущение, словно я проваливаюсь.

— Куда?

— Никуда. Не хочется об этом говорить.

Он целует ее в губы — она не виновата. Она лениво принимает поцелуй. Он обнимает ее талию и, прижавшись к ней, готовится уснуть.

— Мне надо встать, — говорит она.

— Лежи.

— Я пойду в ванную.

— Нет, — он крепко держит ее рукой.

— Пусти.

— Не пугай меня, — бормочет он, еще уютнее прижимаясь к ее боку.

Когда она высвобождается и встает, он просыпается настолько, чтобы почувствовать, как сквозь его обмякшие губы рвется сухое дыхание.

— Принеси-ка мне стакан воды.

Она стоит у кровати, дряблая в своей наготе, потом идет в ванную. Ревут краны. Чем больше он просыпается, тем в большее уныние приходит. Глубоко зарывшись в подушку, он смотрит на горизонтальную полоску витража в церковном окне, которая светится из-под шторы. Этот ребяческий блеск только и остался ему в утешение.

Свет, пробивающийся из-за закрытой двери в ванную, слегка подсвечивает воздух спальни. Плеск воды напоминает ему детство, когда он, проснувшись среди ночи, осознавал, что родители поднялись в спальню, что скоро весь дом погрузится во тьму, а потом он увидит утро. Когда умытая Рут, в лунном свете похожая на фавна, тихонько выходит из ванной со стаканом воды и ложится рядом с ним, он уже спит.

Ему снится очень четкий сон. Они с матерью, отцом и еще с кем-то сидят за столом у них на кухне. Это кухня в их старом доме. Девочка за столом протягивает длинную руку с браслетом, открывает деревянный ледник, и Кролика обдает струя холодного воздуха. За открытой дверцей четырехугольной камеры в нескольких дюймах от себя Кролик видит подтаявший, кривобокий, но все еще большой кусок льда; в центре металлической черной массы блестит белая прослойка, как у всех ледяных брусков, которые соскакивают с лотка на фабрике искусственного льда. Нагнувшись, он тянется к холодному, пропахшему жестью дахынию льда — этот холод ассоциируется у него с металлом, из которого сделаны стенки и ребристое основание камеры; металл бледно-синего цвета, с такими же темными крапинками, какими испещрен линолеум.

Нагнувшись еще ниже, он видит, что под водянистой поверхностью переливается множество белых прожилок наподобие капилляров на листе, словно лед тоже состоит из живых клеток. Дальше в глубине, настолько смутное и зыбкое, что он замечает его только под конец, висит зазубренное по краям облачко, словно образованное взрывом, в эпицентре которого расплывается от преломления света яркая звезда, а ее прямые и длинные лучи расходятся под косым углом ко всем поверхностям куба. Ржавые ребра, на которых покоится ледяной брусок, колышутся у него перед глазами, словно зубы, оскаленные в кривой усмешке. Его пронизывает страх — эта холодная глыба живая.

— Закрой дверцу, — говорит ему мать.

— Я ее не открывал.

— Знаю.

— Это она открыла.

— Знаю. Мой славный мальчик никого не обидит.

Девочка за столом неловко ковыряет в тарелке еду, и мать, обернувшись, обрушивает на нее град сердитых упреков. Упреки продолжаются, бессмысленно, однообразно, бесконечно; непрерывный поток слов напоминает сильное внутреннее кровотечение.

Это у него кровотечение; от обиды за девочку лицо его так вытянулось, что ему кажется, будто оно превратилось в большое белое блюдо.

— Девчонка ведет себя за столом как маленький ребенок, — говорит мать.

— Хватит, хватит, хватит! — кричит Кролик, вступаясь за сестру.

Мать с усмешкой отходит. Они стоят в узком пространстве между двумя домами, — теперь их только двое — он и девочка; это Дженис Спрингер. Он пытается объяснить ей про мать. Дженис робко смотрит на него, и, обняв ее, он видит, что глаза у нее покраснели. Хотя их лица далеки друг от друга, он ощущает ее горячее от слез дыхание. Они в Маунт Джадже, позади зала для танцев, на затоптанном участке, поросшем сорняками и усыпанными осколками бутылок; за стеной слышится музыка из репродукторов, на Дженис розовое бальное платье; она всхлипывает. Кролик с тяжелым сердцем твердит, что мать хотела выбранить его, а не ее, но девочка все плачет и плачет, и он с ужасом замечает, что лицо ее начинает расплываться, кожа потихоньку сползает с костей, но костей нет — под кожей всего лишь тающая масса; он подставляет ладони, пытаясь поймать эту струящуюся массу, приклеить ее обратно на место, и когда она падает ему в ладони, воздух становится белым от его собственного крика.

Эта белизна — свет; от солнца у него перед глазами блестит подушка; на опущенной шторе отражаются изъяны стекол. Между ним и окном под одеялом свернулась клубочком женщина. Лучи солнца окрашивают рассыпавшиеся по подушке волосы в рыжий, темно-коричневый, золотистый, черный и белый цвет. С облегчением улыбнувшись, она опирается на локоть, целует ее в толстую мягкую щеку и восхищается четкой структурой пор. В полосах слабого розового света видно, что в темноте он плохо отмыл ей лицо. Он снова принимает положение, в котором спал, но за последние несколько часов он проспал уже слишком много. Как бы нащупывая вход в следующий сон, он через небольшое пространство, отделяющее их друг от друга, тянется рукой к ее обнаженному телу, оглаживая сверху вниз широкие, теплые, как свежий пирог, склоны. Она лежит к нему спиной; ее глаз он не видит. Тяжело вздохнул и потянувшись, она поворачивается к нему, и только тогда он понимает, что она ощутила его ласку.

В утреннем свете они вновь предаются любви, целуясь заспанными вялыми губами; ее груди распластались по ребристой грудной клетке. Соски — поникшие коричневые бутоны. Нагота ее кажется ему чрезмерной; рядом с изобилием этой блестящей кожи его страсть, выглядит слабой и ничтожной, и он подозревает, что она притворяется. Однако она говорит, что нет — сегодня было иначе, но все равно хорошо. Правда, хорошо. От стыда он прячется под одеяло, а она, расхаживая босиком по комнате, начинает одеваться. Когда она надевает трусики, он впервые воспринимает, ее ноги как отдельные предметы — толстые, розовые, зыбкие, утончающиеся книзу жгуты. При движении они отбрасывают

друг на друга розовые блики. Она не мешает ему смотреть; он польщен и чувствует себя надежней, уверенней. Это уже совсем по-домашнему.

Громко звонят церковные колокола. Он подвигается к ее стороне кровати посмотреть, как люди в отутюженных костюмах идут в известняковую церковь, освещенное окно которой накануне его убаюкивало. Протянув руку, он приподнимает штору. Окно-розетка теперь не светится, а над церковью, над Маунт Джаджем, на голубом фасаде небес сияет солнце. В прохладной приземистой тени колокольни, словно на негативе, стоят и сплетничают несколько мужчин с цветками в петлицах, между тем как простые овечки, опустив головы, стадом вливаются в церковь. Мысль о том, что люди решились оставить свои дома и прийти сюда молиться, радует и ободряет Кролика, он закрывает глаза и склоняет голову таким легким движением, чтобы Рут этого не заметила. *Помоги мне, господи. Прости меня. Наставь на путь истинный. Благослови Рут, Дженис, Нельсона, маму и папу, мистера и миссис Спрингер и неродившегося младенца. Прости Тотеро и всех остальных. Аминь.*

Открыв глаза навстречу дню, он говорит:

— Тут довольно большой приход.

— Воскресное утро, — отвечает она. — В воскресенье утром мне всегда хочется блевать.

— Почему?

— Фу, — отзывается она коротко, словно ответ ему заранее известен. Подумав немного и убедившись, что он лежит и серьезно смотрит в окно, она добавляет: — У меня тут однажды был один тип, так он разбудил меня в восемь утра, потому что в девять тридцать ему надо было преподавать в воскресной школе.

— Ты ни во что не веришь?

— Нет. А ты веришь?

— Пожалуй, да. По крайней мере, я так думаю.

Ее сердитый уверенный тон режет ему слух, и он начинает сомневаться, правду ли он говорит. Если он соврал, значит, он подвешен в центре пустоты; эта мысль преследует его, и у него сжимается сердце. Напротив несколько человек в праздничной одежде проходят по тротуару вдоль ряда облезлых кирпичных домов; чувствуют ли они себя на седьмом небе? Одежда, они надели свою лучшую одежду; он лихорадочно цепляется за эту мысль — она кажется ему зримым доказательством существования невидимого мира.

— Если ты верующий, то что ты тут делаешь? — спрашивает она.

— А что такого? Ты что считаешь себя Сатаной, что ли?

От неожиданности она останавливается с расческой в руке, потом смеется.

— Ну и верь на здоровье, если тебе от этого легче.

— Почему ты ни во что не веришь? — не отстает он.

— Ты что, шутишь?

— Нисколько. Разве тебе никогда, хотя бы на секунду, не казалось, что это ясно.

— Что ясно? Что существует бог? Нет. Наоборот, мне всегда было ясно, что его нет. Все время.

— Но если бога не существует, то почему существует все остальное?

— Почему? Причем тут почему? Просто существует, и все. — Она стоит перед зеркалом, и расческа, оттягивая назад волосы, приподнимает ее пухлую верхнюю губу; в кино у женщин всегда такой вид.

— Про тебя я бы так не сказал. Что ты просто существуешь, и все.

— Слушай, может, ты все-таки оденешься, вместо того чтобы валяться и проповедовать мне слово божие.

Это замечание, а также движение, с каким она, взмахнув волосами, поворачивается к нему, снова возбуждает в нем желание.

— Иди сюда, — зовет он. — Неплохо бы заняться делом, когда в церквах полно народу.

— Нет, — отзывается Рут. Она действительно немножко рассердилась. То, что он верит в бога, ее просто раздражает.

— Я тебе больше не нравлюсь? — спрашивает он.

— А тебе не все равно?

— Ты знаешь, что не все равно.

— Вставай с моей кровати.

— Я ведь должен тебе еще пятнадцать долларов.

— Ничего ты мне не должен. Катись отсюда подальше.

— Что? Бросить тебя в одиночестве? — Он выпаливает это как бы в шутку и, пока она стоит, застыв от неожиданности, вскакивает с кровати, хватает что-то из одежды, ныряет в ванную и закрывает дверь. Затем выходит оттуда в одном белье и, все еще дурачась, печально повторяет:

— Я тебе больше не нравлюсь, — после чего направляется к стулу, на котором аккуратно сложены его брюки. Пока его не было, она постелила постель.

— Ты мне достаточно нравишься, — рассеянно отвечает она, приглаживая покрывало.

— Достаточно для чего?

— Просто так.

— Почему я тебе нравлюсь?

— Потому что ты выше меня ростом. — Она переходит к другому углу кровати и выравнивает покрывало. — Я просто подыхаю от злости, когда эти маленькие женщины, которых все считают такими пикантными, хватают самых высоких мужчин.

— В них что-то есть, — говорит он. — С ними вроде бы легко иметь дело.

— Пожалуй, — смеется она.

Он натягивает брюки и застегивает ремень.

— А еще чем я тебе нравлюсь?

Она смотрит на него.

— Сказать?

— Скажи.

— Тем, что ты не сдаешься. Хоть и по-дурацки, а продолжаешь бороться.

Ему приятно это слышать, удовольствие щекочет нервы, он чувствует себя очень высоким и улыбается. Но привычная американская скромность берет верх, и, скривив губы, он произносит:

— Воля к совершенству.

— Этот несчастный старый подонок, — понимающе отзывается она. — Самый настоящий подонок.

— Знаешь что, — говорит Кролик, — я сбегаю в лавку и куплю нам чего-нибудь на завтрак.

— Ты что, намерен тут оставаться?

— А почему бы и нет? Ты кого-нибудь ждешь?

— Никого я не жду.

— Вот и прекрасно. Ты же вчера сказала, что любишь стряпать.

— Когда-то любила.

— Раз когда-то любила, значит, и теперь любишь. Что купить?

— Откуда ты знаешь, что лавка открыта?

— А разве нет? Конечно, открыта. Из-за универсамов эти лавчонки только и могут заработать что по воскресеньям. — Он выглядывает из окна. Так и есть, дверь на углу открывается, и из нее появляется человек с газетой.

— У тебя грязная рубашка, — говорит Рут.

— Знаю. — Он выходит из полосы света, льющейся из окна. — Это рубашка Тотеро. Мне надо взять дома кос-что из одежды. Но сначала я схожу за продуктами. Что купить?

— А что ты любишь?

Он уходит очень довольный. Что в ней есть, так это доброта. Он понял это в ту самую секунду, когда увидел ее возле счетчиков на автостоянке. Уж очень мягким выглядел ее живот. С женщинами вечно натыкаешься на острые углы, потому что им надо совсем не то, что мужчинам, они — другая раса. Либо они отдают все, как растение, либо царапают, как камень. На всем белом свете нет ничего лучше женской доброты. Мостовая так и летит из-под ног, когда он в своей грязной рубашке мчится в лавку. *А что ты любишь?* Теперь она от него не уйдет. Не уйдет, это факт.

Он приносит восемь сосисок с булочками в целлофане, пакет замороженной фасоли, пакет замороженной жареной картошки, кварту молока, баночку острого соуса, хлеб с изюмом, завернутый в красный целлофан кусок сыра и сверх всего пирожное «суфле матушки Швейцер». Все это стоит 2 доллара 43 цента. Вынимая из сумки свертки в маленькой разноцветной кухне, Рут говорит:

— Я смотрю, ты на диете.

— Я хотел взять бараньи отбивные, но у него были только сосиски, салями и тушенка в банках.

Пока она готовит завтрак, он слоняется по гостиной и находит на полке журнального столика несколько детективов. В Форд-Худе его сосед по койке беспрерывно их читал. Рут открыла окно, и прохладный мартовский воздух при воспоминании о знойном Техасе

кажется еще холоднее. Пыльные в горошек занавески трепещут, кисея полнится ветром, выгибаясь в сторону Кролика, который стоит, парализованный другим, более приятным воспоминанием: детство, он дома, вечерний ветерок задувает в окно и треплет воскресные газеты, на кухне гремит посудой мать, скоро она освободится и поведет их всех — папу, его и малютку Мириам — на прогулку. Мим еще совсем маленькая, и поэтому они пройдут немного, всего несколько кварталов, возможно, до старого гравийного карьера, где зимний лед растаял озерцом в несколько дюймов глубиной. Отражаясь в воде, каменистый берег кажется вдвое выше, чем на самом деле. Но это всего лишь вода; они проходят еще несколько шагов по краю обрыва, и под новым углом зрения пруд отражает солнце, иллюзия перевернутых камней исчезает, и водная гладь кажется твердой, как лед на свету. Кролик крепко держит за руку маленькую Мим.

— Слушай, — кричит он Рут. — У меня колоссальная идея. Давай пойдем гулять.

— Гулять! Я и так все время гуляю.

— Дойдем до вершины Джаджа.

Он не припомнит, чтобы ему приходилось подниматься на гору со стороны Бруэра, и когда он, предвкушая удовольствие, в восторге отворачивается от надутой ветром занавески, раздается звон больших церковных колоколов.

— Пойдем, пожалуйста, пойдем, — кричит он в кухню.

Из церкви выходят люди, рассеянно держа в руках зеленые ветки.

Рут подает завтрак, и он видит, что она стряпает лучше, чем Дженис, — она ухитрилась подогреть сосиски так, что они не лопнули. У Дженис они всегда подавались на стол изорванные и перекрученные, словно их пытали. Они с Рут едят за маленьким белым столиком на кухне. Прикоснувшись вилкой к тарелке, он вспоминает, какое холодное лицо было у Дженис в приснившемся ему сне, когда оно, растаяв, текло ему в ладони; воспоминание портит ему аппетит, и первый кусок от ужаса не лезет в горло.

— Колоссально, — говорит он, однако храбро берется за еду и постепенно вновь обретает аппетит.

Гладкая поверхность стола бросает бледный отсвет на лицо сидящей напротив Рут, кожа на широком лбу блестит, а два прыщика возле носа напоминают пятнышки пролитой жидкости. Она чувствует, что стала непривлекательной, и торопливо, как бы украдкой, отщипывает кусочками еду.

— Послушай.

— Что?

— Моя машина все еще стоит там на Черри-стрит.

— Ну и пусть. По воскресеньям счетчики не работают.

— Да, но завтра они будут работать.

— Продай ее

— Что?

— Продай машину. Жизнь станет проще. Сразу разбогатеешь.

— Да нет, не в этом дело. Может, тебе нужны деньги? Знаешь,

у меня осталось тридцать долларов. Хочешь, я сейчас их тебе отдам? — Он тянется к карману брюк.

— Нет, нет, что ты. Я совсем не то имела в виду. Я вообще ничего не имела в виду. Просто так ляпнула. — Она смутилась, шея пошла пятнами, и ему становится ее жалко — ведь вчера она казалась такой хорошенькой.

— Понимаешь, мой тесть торгует подержанными машинами, и когда мы поженились, он продал нам эту машину с большой скидкой, — объясняет он. — Машина, в сущности, принадлежит жене, а поскольку малыш останутся с ней, я думаю, что и машина тоже должна быть у нее. И потом, ты сама сказала, что у меня грязная рубашка, и мне надо взять кое-что из одежды. Вот я и подумал, что после завтрака съезжу домой, оставлю там машину и заберу свои вещи.

— А вдруг она там?

— Ее там нет. Она у своей матери.

— По-моему, ты очень обрадуешься, если она окажется дома, — говорит Рут.

Может и правда? Он представляет себе, как открывает дверь и видит, что Дженис, сидя в кресле, смотрит телевизор; возле нее пустой стакан. И словно внутри у него что-то оборвалось, словно застрявший в горле кусок, наконец, проглочен, он чувствует огромное облегчение от того, что лицо у нее такое же тупое и упрямое, как всегда.

— Нет, — говорит он. — Ничуть не обрадуюсь. Я ее боюсь.

— Еще бы, — замечает Рут.

— В ней есть что-то такое, — настаивает он. — Она опасный человек.

— Эта несчастная, которую ты бросил? Ты сам опасный человек.

— Нет.

— Не нет, а да. Ты воображаешь, что ты кролик. — Слова звучат насмешливо и раздраженно — непонятно почему.

— Интересно, что ты собираешься делать со своими вещами? — спрашивает она. Так вот оно что — она чувствует, что он хочет у нее поселиться.

— Принести их сюда, — признается он.

Она переводит дух, словно хочет что-то сказать, но молчит.

— Только на сегодня, — просительно говорит он. — Ты ведь никуда не пойдешь?

— Может быть... Не знаю. Наверно, нет.

— Прекрасно. Знаешь, я тебя люблю.

Она встает, чтобы убрать посуду, останавливается и глядит на середину белого стола. Медленно покачав головой, она отвечает:

— Ты — неприятный сюрприз.

Ее широкий таз, обтянутый пупырчатой коричневой юбкой, тяжел и симметричен, как основание мощной колонны. Эта массивная колонна наполняет его сердце восхитительным ощущением вновь пробудившейся любви, однако посмотреть Рут в лицо он не смеет.

— Ничего не поделаешь, — говорит он. — Зато ты — приятный сюрприз.

Он съедает три куска «суфле матушки Швейцер», и крошка, застрявшая в уголке его рта, остается на свитере Рут, когда он, прощаясь, целует ее на кухне. Он оставляет ее с грязной посудой. Его машина ждет его на Черри-стрит в прохладном воздухе весеннего полудня. Вид у нее такой, словно одну из комнат его дома прибило течением к краю тротуара, а когда ночной прилив отступил, она в целости и сохранности осталась стоять на песке и теперь загадочно поблескивает, готовая с первым же поворотом ключа отправиться в новое плаванье. Тело его под измятой и грязной одеждой кажется чистым, опустошенным и узким. Его любят. От машины исходит успокоительный запах резины, пыли и разогретого солнцем окрашенного металла. Она — ножны, он — нож. Он разрезает оглушенный воскресеньем город — мягкие ряды кирпичных домов, обнесенные перилами безмятежные деревянные веранды. Он объезжает большой бок горы Джадж, ее склон вдоль шоссе припудрен желтовато-зеленой молодой листвой, еще выше вечнозеленые деревья черной линией обводят горизонт. С тех пор, как он последний раз был здесь, пейзаж изменился. Вчера утром небо распирали тонкие полосы предрассветных облаков, а он, измученный усталостью, направлялся в самый центр сети, где, казалось, только и можно отдохнуть. Теперь полдень нового дня сжег облака, небо в ветовом стекле стало пустым и холодным, а впереди нет ничего, ничего в голубых глазах Рут, она сказала ему, что ничего не делает, ни во что не верит. Сердце вечно рвется в это пустое небо.

Стоит ему спуститься к знакомым домам Маунт Джаджа, как его душевное равновесие рассыпается в прах. Он оглядывается, нервничает. Поднимаясь вверх по Джексон, Поттер и Уилберстрит, он пытается по внешним признакам определить, есть ли кто-нибудь в его квартире. И по свету ничего не угадаешь — день стоит в зените. Перед домом нет никакой машины. Он дважды объезжает квартал и, напрягая шею, пытается разглядеть в окне чье-нибудь лицо. Высокие стекла непроницаемы. Рут была неправа — он вовсе не хочет видеть Дженис.

Даже мысль о такой возможности настолько лишает его сил, что, когда он выходит из машины, яркое солнце чуть не сбивает его с ног. Он поднимается по лестнице, и ступеньки, словно зубцы бегущей в обратную сторону шестерни, тянут вниз обессилевшее от страха тело. Готовый обратиться в бегство, он стучит в дверь. На стук никто не отзывается. Он снова стучит, прислушивается и вынимает из кармана ключ.

Квартира пуста, но до сих пор так полна Дженис, что его бросает в дрожь; при виде повернутого к телевизору кресла у него подгибаются колени. От разбросанных по полу ломаных игрушек Нельсона мутится в голове; все содержимое черепа — серое вещество, слуховой и зрительный аппарат — беспорядочно теснится в трубке, какой представляется ему он сам; лобные пазухи забиты, хочется не то чихнуть, не то заплакать. Гостиная насквозь пропы-

лена. Шторы опущены. Дженис днем всегда их отпускает, чтобы на экран телевизора не падал свет. Кто-то пытался навести порядок — ее пепельница и пустой бокал убраны. Кролик кладет ключ от квартиры и ключи от машины на телевизор — металлическую коробку, выкрашенную коричневой краской под дерево. Когда он открывает стенной шкаф, ручка дверцы задевает угол телевизора. Нескольких платьев Дженис не хватает.

Вместо того чтобы достать одежду, Кролик поворачивается и плетется на кухню, стараясь разобраться в своих поступках. Сочащийся сквозь шторы солнечный свет падает на просевшую кровать. У них никогда не было хорошей кровати. Эту подарили им родители Дженис. На комоде ее флакончики, миникюрные ножницы, белая катушка с иголкой, латунные заколки, телефонная книга, будильник со светящимся циферблатом, вырванный из журнала рецепт которым она ни разу не воспользовалась, ожерелье из яванских деревянных бус — его подарок к рождеству. К стенке прислонено большое овальное зеркало, которое они взяли, когда ее родители оборудовали себе новую ванную комнату; он все время хотел прикрепить его над комодом Дженис, да так и не собрался купить шурупы. На подоконнике стакан, до половины наполненный затхлой пузыристой водой, отбрасывает блеклый солнечный зайчик на пустое место, куда нужно было повесить зеркало. Тут же на стене три длинных параллельных царапины. Кто их сделал? Когда? Из-за застланной постели видисется белый треугольник пола ванной; Дженис после душа, ее спина розовеет от пара, она радостно тянется к нему с поцелуем, под мышками во слипшиеся мокрые волосы. Что за непрошеная радость обуяла ее, а потом и его?

В кухне забытые на сковородке холодные, как смерть, свиные отбивные покоятся в застывшем жире. Сбросив их в бумажный мешок под раковину, он лопаточкой счищает куски пятнистого твердого жира и отправляет их туда же. Мешок, в темно-коричневых пятнах снизу, издает сладкий запах тления. Он тупо смотрит на него. Мусорный ящик за входной дверью, но он не может сделать и двух шагов. Не стоит об этом думать. Он открывает горячий кран и ставит сковородку в раковину, чтобы ее размочить. Дыхание пара, словно шепот в гробнице.

Объятый страхом, он торопливо берет чистые трусы, майки и носки из одного ящика, три рубашки в целлофане и голубой картонке из другого, выстиранные коричневые бумажные брюки из третьего, вынимает из стенного шкафа оба костюма, спортивную рубашку и завертывает мелкие вещи в костюмы, чтобы было удобнее нести. От этой работы он прямо вспотел. Зажав сверток между руками и приподнятой ногой, он еще раз огладывает квартиру; мебель, ковры, обои — все, как и его лицо, словно подернуто густою темной пеленой; в комнатах царит беспорядок, и он рад отсюда уйти. Дверь безвозвратно захлопывается. Его ключ остался внутри.

Зубная щетка. Бритва. Запонки. Башмаки. С каждым шагом вниз по лестнице он вспоминает еще какую-нибудь забытую вещь.

Он торопится, ноги стучат. Подпрыгнув, чуть не задевает голую лампочку на черном шнуре в вестибюле. Когда он проносится через вестибюль, ему чудится, будто его имя на почтовом ящике зовет его к себе, выведенные синими чернилами буквы немым криком наполняют воздух. Он выскальзывает на солнце и кажется самому себе смешным — ни дать ни взять, один из тех таинственных воров, о которых пишут на последних страницах газет, — вместо денег и серебра они уносят фарфоровую полоскательницу, двадцать рулонов обоев и кучу старого тряпья.

— Добрый день, мистер Энгстром.

Это их соседка, мисс Арндт, она в лиловой шляпе для церкви, в руках зажат пальмовый лист.

— А, хелло. Как здоровье?

Она живет через три дома от них, говорят, у нее рак.

— Великолепно, — отзывается она, — просто великолепно.

И стоит на солнце, ошалев от великолепия, инстинктивно опираясь плоскими ступнями об уклон мостовой. Мимо подозрительно медленно проезжает зеленая машина. Мисс Арндт загораживает ему дорогу, она приятно смущена, преисполнена благодарности неизвестно за что, наверно, просто за то, что держится на мостовой, словно муха, которая ползла по потолку и остановилась подивиться на самое себя.

— Прекрасная погода, — замечает Кролик.

— Ах, я просто в восторге, просто в восторге, вербное воскресенье всегда такое голубое. Даже кровь быстрей бежит по жилам, — смеется она.

Кролик тоже смеется. Она словно приросла к горячему асфальту в узорчатой тени двух молодых кленов. Она ничего не знает, это совершенно ясно.

— Да, а я вот решил подумать о весенней чистке, — поясняет он, видя, что она уставилась на его руки, и для наглядности встряхивает сверток.

— Прекрасно, — с неожиданно саркастической ухмылкой отзывается мисс Арндт, — молодые мужья вечно мчатся, закусив удила, — и, повернувшись кругом, восклицает: — Ой, священник!

Зеленая машина еще медленнее прежнего возвращается обратно посередине улицы. В тревоге, которая удваивает вес узла с одеждой, Кролик видит, что попался. Он скатывается с крыльца, пробегав мимо мисс Арндт и в ответ на ее глубокомысленное замечание: «Нет, это не преподобный Круппенбах», — говорит: «Мне пора».

Нет, конечно, это не Круппенбах. Кролик знает, кто это, хотя и не знает, как его зовут. Священник епископальной церкви. Спрингеры ходят в епископальную церковь — еще одна уловка, с помощью которой старый подонок пытается пролезть в высшее общество; раньше они принадлежали к реформированной церкви. Кролик не то чтобы бежит; идущий под уклон тротуар на каждом шагу хватает его за пятки. Сверток заслоняет асфальт. Хоть бы до переулка добраться. Единственная надежда, что священник его не узнает. Он чувствует, что зеленая машина ползет за ним; может,

бросить вещи и в самом деле дать деру? Хорошо бы спрятаться на старой фабрике искусственного льда. Но до нее еще целый квартал. Рут, наверно, уже вымыла посуду и ждет его по ту сторону горы. Синева за синевой под синевой.

Подобно акуле, беззвучно рассекающей перед собою воду, зеленое крыло машины поднимает в воздухе зыбь, которая разбивается о тыльную сторону коленок Кролика. Чем быстрее он шагает, тем сильнее зыбь разбивается. Позади тонкий детский голосок гнусавит:

— Простите, вы не Гарри Энгстром?

Чувствуя, как слабеет желание соврать, Кролик оборачивается и полушепотом отвечает:

— Да.

Молодой блондин с какими-то белыми путами на шее сворачивает к левому тротуару, вытягивает ручной тормоз, глушит мотор и, таким образом, ставит машину не на той стороне улицы и к тому же под косым углом. Забавно, как эти священники игнорируют мелкие правила. Кролик вспоминает, как сын Круппенбаха носился по городу на мотоцикле. Это всегда казалось ему богохульством.

— Я Джек Экклз, — говорит священник, совершенно некстати хихикнув. В сочетании с белым воротником приклеенная к губам белая полоска незажженной сигареты производит комический эффект. Он вылезает из автомобиля, оливково-зеленого четырехдверного «бьюика» образца 58 года и протягивает Кролику руку. Чтобы пожать ее, тому приходится положить узел с одеждой на газон между мостовой и тротуаром.

Рукопожатие Экклза, энергичное, отработанное и крепкое, очевидно, должно символизировать объятие. На мгновение Кролику кажется, что он его уже никогда не выпустит. Он чувствует, что попался; предвидит объяснения, смущенные недомолвки, мольбы, примирения — все это встает перед ним, как сырые унылые стены; от отчаяния по коже пробегают мурашки. В его преследователе чувствуется упорство.

Священник одних лет с ним, может быть, чуть-чуть постарше, но намного ниже ростом. Однако он не так уж мал; под черным пиджаком играет явно бесполезная мускулатура. Он чем-то раздосадован и стоит, слегка выпятив грудь. Длинные рыжеватые брови образуют озабоченную морщинку над переносицей, под ртом торчит маленький, бледный, острый, как шишка, подбородок. Несмотря на досаду, в нем чувствуется что-то дружелюбное и глуповатое.

— Куда вы идете? — спрашивает он.

— Что? Никуда.

Кролика сбивает с толку костюм этого типа. Костюм только притворяется черным, на самом деле он темно-синий, скромный, но элегантный, из облегченной ткани. Манишка, слюнявчик, или как там эта штука называется, напротив, черна, как печка. Экклз хочет улыбнуться, но, стараясь удержать в губах сигарету, вместо этого фыркает. Он хлопает себя по пиджаку.

— У вас случайно нет спички?

— К сожалению, нет. Я бросил курить.

— Значит, вы мужественнее меня. — Задумавшись, он смотрит на Гарри, испуганно подняв брови. От напряжения его серые глаза становятся круглыми и бледными, как стекло. — Хотите, я вас подвезу?

— Нет, черт возьми. Не беспокойтесь.

— Я хотел бы с вами побеседовать.

— В самом деле?

— Серьезно. Даже очень.

— Ладно. — Кролик подбирает с земли свою одежду, обходит «бьюик» спереди и садится. Внутри стоит острый сладковатый запах пластика — запах новой машины; глубоко вдохнув его, Кролик немного успокаивается. — Это насчет Дженис?

Эккл кивает и, глядя в заднее окно, отъезжает от тротуара. Его верхняя губа нависает над нижней, под глазами усталые фиолетовые впадины. Воскресенье для него тяжелый день.

— Как она? Что делает?

— Сегодня она как будто гораздо нормальнее. Они с отцом утром были в церкви.

Они едут по улице вниз. Эккл молчит и, мигая, смотрит в ветровое стекло. Потом нажимает кнопку прикуривателя на приборном щитке.

— Я так и думал, что она поедет к ним, — говорит Кролик.

Он несколько раздосадован тем, что священник на него не орет; видно, неважно знает свое дело.

Прикуриватель выскакивает обратно. Эккл подносит его к сигарете, затягивается и как будто вновь собирается с мыслями.

— По-видимому, — говорит он, — когда вы через полчаса не вернулись, она позвонила вашим родителям и попросила вашего отца привезти мальчика. Ваш отец, как я понимаю, всячески ее успокаивал и сказал, что вы, наверно, где-нибудь задержались. Тогда она вспомнила, что вы опоздали домой, потому что играли с кем-то на улице, и решила, что вы снова туда вернулись. Мне даже кажется, что ваш отец ходил по городу и смотрел, не играют ли где-нибудь в баскетбол.

— А где был старик Спрингер?

— Она им не звонила. Бедняжка позвонила им только в два часа ночи, когда потеряла всякую надежду.

«Бедняжка» — единственное слово, которое легко сходит с его уст.

— Только в два часа ночи? — спрашивает Кролик. Ему становится страшно, руки крепко сжимают сверток, словно он хочет утешить Дженис.

— Около того. К этому времени она пришла в такое состояние — от спиртного и от всего прочего, что ее мать позвонила мне.

— Почему вам?

— Не знаю. Люди всегда мне звонят, — смеется Эккл. — Так оно и должно быть, и это утешительно. По крайней мере, для

меня. Я всегда думал, что миссис Спрингер меня ненавидит. Она месяцами не ходит в церковь.

Обернувшись к Кролику, посмотреть, какое впечатление произвела его шутка, он лукаво поднимает брови, и от этого его широкий рот открывается.

— Это было около двух часов ночи?

— Между двумя и тремя.

— Ой, простите, пожалуйста. Я вовсе не хотел поднимать вас с постели.

— Не имеет значения, — с досадой качает головой священник.

— Я просто вне себя.

— Да? Это вселяет некоторую надежду. Ну, а каковы, в сущности, ваши планы?

— Никаких планов у меня нет. Я, так сказать, играю по слуху.

Смех Экклза удивляет Кролика, но ему приходит в голову, что священник как раз специалист по части разбитых семей, сбежавших мужей и так далее, и выражение «играю по слуху», внесло что-то новое. Он польщен: Экклз знает, что к чему.

— Ваша матушка придерживается любопытной точки зрения, — говорит Экклз. — По ее мнению, мы с вашей женой заблуждаемся, воображая, будто вы ее бросили. Она говорит, что вы слишком хороший мальчик и не можете так поступить.

— Я вижу, вы этим делом занялись всерьез.

— Да, а вчера еще и одним покойником в придачу.

— Ой, простите, пожалуйста.

Они лениво тащатся по знакомым улицам, минуют фабрику искусственного льда, огибают угол, откуда открывается вид на всю долину.

— Знаете что, если вы действительно хотите меня подвезти, то поедемте в Бруэр, — говорит Кролик.

— Вы не хотите, чтобы я отвез вас к жене?

— Нет уж, дудки. То есть, я хочу сказать, что никакого толку от этого не будет. А вы как думаете?

Какое-то время священник молчит; его четкий усталый профиль обращен к собеседнику, а взгляд прикован к ветровому стеклу; огромная машина с глухим рокотом неуклонно катится вперед. Гарри уже хочет повторить свой вопрос, но тут Экклз отвечает:

— Конечно не будет, если вы сами этого не хотите.

Похоже, что тема исчерпана — довольно просто. Они спускаются по Поттер-авеню к шоссе. На солнечных улицах одни только дети, часть еще в костюмах для воскресной школы. Девочки в розовых юбочках колоколом. Ленты под цвет носков.

— Что она такого сделала, что вы ушли?

— Попросила купить ей пачку сигарет.

Он надеялся, что Экклз засмеется, но тот пропускает его слова мимо ушей как дерзость, несколько переходящую границы. Но ведь так оно и было.

— Правда. Мне надоело быть на побегушках и вечно убирать грязь, которую она повсюду разводила. Понимаете, мне все время

казалось, будто я приклеен к ломаным игрушкам, пустым стаканам и к телевизору; никогда невозможно вовремя поесть и никак оттуда не уйти. А потом я вдруг понял, как это легко — просто взять да уйти, и, черт возьми, так оно и оказалось.

— Меньше чем на два дня и в самом деле просто.

— А... Но ведь есть же закон...

— Об этом я еще не думал. Ваша теща сразу об этом подумала, но ваша жена и мистер Спрингер категорически против. Причины, по-моему, разные. Ваша жена в каком-то столбняке, она не хочет, чтоб кто-нибудь вообще что-нибудь предпринимал.

— Бедняга. Она такая идиотка.

— Почему вы здесь?

— Потому что вы меня поймали.

— Я хочу сказать, как вы очутились возле своего дома?

— Вернулся за чистым бельем.

— Разве чистое белье так много для вас значит? К чему цепляться за приличия, если так легко топтать других?

Кролик чувствует, что разговор становится опасным; его собственные слова возвращаются к нему, вокруг расставлены ловушки и крючки.

— Кроме всего прочего, я вернул ей машину.

— Почему? Разве она вам не нужна, чтобы сбежать?

— Я просто подумал, что автомобиль, в сущности, принадлежит ей. Ее отец уступил нам его по дешевке. Да и пользы мне от него никакой.

— Никакой? — Экклз давит в пепельнице сигарету и тянется к карману пиджака за новой. Они огибают гору по самому высокому отрезку дороги, где склон с одной стороны поднимается вверх, а с другой обрывается вниз так круто, что здесь не построить ни дома, ни бензоколонки. Внизу смутно поблескивает река.

— Если б я решил бросить жену, — говорит Экклз, — я бы сел в машину и уехал за тысячу миль. — Слова, спокойно раздавшиеся над белым воротником, звучат почти как совет.

— Именно это я и сделал! — восклицает Кролик в восторге от того, что между ними так много общего. — Я доехал до Западной Вирджинии. Но потом решил послать все к черту и вернулся. — Пора прекратить эту ругань. Почему он все время ругается? Может, чтоб держаться подальше от Экклза, — он чувствует, что какая-то опасная сила притягивает его к этому человеку в черном.

— Могу я узнать почему?

— Понятия не имею. Комбинация причин. В знакомых местах надежнее.

— Может, вы приехали помочь своей жене?

На это Кролик не находит, что ответить.

— Вы толкуете про неразбериху. А как, по-вашему, чувствуют себя другие молодые пары? Почему вы считаете себя исключением?

— Вы думаете, я не смогу вам на это ответить, но я отвечу. Я когда-то здóрово играл в баскетбол. По-настоящему здóрово. А после того как человек был первый сорт — неважно, в чем, —

ему уже неинтересно быть вторым. А то, что у нас было с Дженис, иначе как вторым сортом не назовешь.

Выскакивает прикуриватель. Закурив, Экклз снова поднимает глаза на дорогу. Они спустились в предместья Бруэра.

— Вы верите в бога? — спрашивает он.

Отрепетировав ответ сегодня утром, Кролик без всяких колебаний отвечает:

— Верю.

От удивления Экклз моргает. Пушистое веко в одноглазом профиле захлопывается, но лицо не оборачивается.

— Значит, по-вашему, господь хочет, чтобы вы заставляли вашу жену страдать?

— Позвольте вас спросить. По-вашему, господь хочет, чтобы водопад был деревом? — Кролику ясно, что этот вопрос Джимми Мышкетера звучит нелепо; его раздражает, что Экклз просто-напросто проглатывает его, печально затянувшись дымом. Ему ясно, что любые его высказывания Экклз проглотит с той же усталой затяжкой; его профессия — слушать. Большая светловолосая голова имеет такой вид, словно она набита серой кашицей из драгоценных тайн и отчаянных вопросов каждого встречного и поперечного, и несмотря на всю его молодость, ничто не может окрасить эту кашицу в какой-нибудь иной цвет. Кролик в первый раз чувствует к нему антипатию.

— Нет, — подумав, отвечает Экклз. — Но, по-моему, он хочет, чтобы маленькое дерево стало большим.

— Если это значит, что я не созрел, так я из-за этого плакать не стану, потому что, насколько я понимаю, созреть — все равно что умереть.

— Я и сам тоже незрелый, — так бы в виде подарка бросает Экклз.

Не бог весть какой подарок. Кролик его отвергает.

— Ну так вот, жалко вам эту кретинку или нет, а я к ней возвращаться не намерен. Что́ она чувствует, я не знаю. Уже много лет не знаю. Я знаю только то, что чувствую я. Это все, что у меня есть. Известно ли вам, чем я занимался, чтобы содержать всю эту шайку? Демонстрировал в магазинах дешевых товаров грошовую жестянку под названием «Чудо-Терка»!

Экклз смотрит на него и смеется, в изумлении подняв брови.

— Так вот откуда ваш ораторский талант, — говорит он.

В этой аристократической насмешке, по крайней мере, есть смысл — она ставит их обоих на место. Кролик чувствует себя увереннее.

— Высадите меня, пожалуйста, — просит он.

Они уже на Уизер-стрит и едут к большому подсолнечнику. Днем он мертв.

— Может, я отвезу вас туда, где вы поселились?

— Я нигде не поселился.

— Как хотите. — С мальчишеской досадой Экклз подъезжает к тротуару и останавливается перед пожарным гидрантом. От резкого торможения в багажнике раздается бренчание.

— У вас что-то сломалось, — сообщает ему Кролик.

— Это клюшки для гольфа.

— Вы играете в гольф?

— Плохо. А вы? — Экклз оживляется, забытая сигарета дымится у него в руке.

— Я когда-то подносил мячи.

— Разрешите мне пригласить вас на игру — Ага, вот она, ловушка.

Кролик выходит и стоит на тротуаре, прижимая к себе сверток с одеждой и приплясывая от радости, что вырвался на свободу.

— У меня нет клюшек.

— Их ничего не стоит взять напрокат. Пожалуйста, очень вас прошу. — Экклз перегибается через правое сиденье, чтобы говорить через дверь. — Мне очень трудно найти партнеров. Все, кроме меня, работают, — смеется он.

Кролику ясно, что надо бежать, но мысль об игре и уверенность, что не выпускать охотника из виду безопаснее, удерживают его на месте.

— Давайте пораньше, а то вы снова начнете демонстрировать свои терки, — настаивает Экклз. — Во вторник? В два часа? Заехать за вами?

— Нет, я приду к вам домой.

— Обещаете?

— Да. Однако не верьте моим обещаниям.

— Приходится. — Экклз называет свой адрес в Маунт Джадже, и они наконец прощаются. По тротуару вдоль закрытых, по-воскресному окоченелоых витрин, глубокомысленно поглядывая вокруг, шагает старый полисмен. Он, наверно, думает, что этот священник прощается с президентом своей молодежной группы, который несет узел с одеждой для бедных. Гарри улыбается полисмену и весело уходит по искрящемуся тротуару. Забавно, что никто на свете не может тебя и пальцем тронуть.

Рут открывает ему дверь. В руке у нее детектив, глаза сонные от чтения. Она надела другой свитер. Волосы как будто потемнели. Он швыряет одежду на кровать.

— У тебя есть плечики?

— Ты что, воображаешь, будто эта квартира уже твоя?

— Это ты моя, — отвечает он. — Ты моя, и солнце мое, и звезды тоже мои.

Когда он сжимает ее в объятиях, ему и в самом деле кажется, будто так оно и есть. Она теплая, плотная, нельзя сказать, чтобы податливая, нельзя сказать, чтоб нет. Тонкий запах мыла поднимается к его ноздрям, и подбородок ощущает влагу. Она вымыла голову. Темные пряди аккуратно зачесаны назад. Чистая, она такая чистая, большая чистая женщина. Прижавшись носом к ее голове, он упивается благопристойным терпким запахом. Он представляет себе, как она стоит голая под душем, подставив наклоненную голову с мокрыми от пены волосами под хлещущие струи.

— Я заставил тебя расцвести, — добавляет он.

— Ты просто чудо, — говорит она, отталкиваясь от его груди, и, глядя, как он аккуратно вешает свои костюмы, интересуется: — Отдал жене машину?

— Там никого не было. Я незаметно вошел и вышел. Ключ оставил внутри.

— Неужели тебя никто не поймал?

— По правде говоря, поймали. Священник епископальной церкви подвез меня обратно в Бруэр.

— Слушай, ты и вправду религиозный?

— Я его не просил.

— Что он сказал?

— Ничего особенного.

— Какой он из себя?

— Довольно въедливый. Все время смеется.

— Может, это ты его насмешил.

— Он пригласил меня во вторник сыграть с ним в гольф.

— Ты шутишь.

— Нет, серьезно. Я ему сказал, что не умею.

Она смеется, смеется долго, как обычно смеются женщины, которых ты волнуешь, но им стыдно в этом признаться.

— Ах ты мой милый Кроличек! — в порыве нежности восклицает она наконец. — Ты ведь просто так бродишь по белу свету, правда?

— Он сам ко мне привязался, — настаивает он, чувствуя, что попытки объяснить ей, в чем дело, по каким-то непонятным причинам должны ее насмешить. — Я вообще тут ни при чем.

— Ах ты бедняжка, — отзывается она. — Ты просто неотразим.

С огромным облегчением он, наконец, снимает грязную одежду, надевает чистое белье, свежие носки и коричневые бумажные брюки. Бритву он оставил дома, но у Рут есть маленькая бритва, какой женщины бреют под мышками. Он останавливает свой выбор на шерстяной спортивной рубашке, потому что весенними вечерами быстро холодает. Приходится снова надеть замшевые туфли. Он забыл захватить другие.

— Идем гулять, — заявляет он, переодевшись.

— Я читаю, — отзывается она. Она сидит на стуле; книга почти дочитана. Она аккуратно обращается с книгами, и хотя они стоят всего по 35 центов, бумажные корешки целы.

— Пошли. Подышим свежим воздухом. — Он подходит и пытается отнять у нее детектив. Книжка называется «Мертвецы в Оксфорде». Какое ей дело до мертвецов в Оксфорде, когда здесь у нее он, великолепный Гарри Энгстром?

— Обожди, — просит она, переворачивает страницу и, пока он тянет у нее книгу, успевает прочесть еще несколько фраз, потом закрывает глаза и выпускает книгу из рук. — О, господи, до чего же ты упрямый.

Он закладывает страницу обгоревшей спичкой и смотрит на ее босые ноги.

— У тебя есть спортивные туфли или что-нибудь в этом роде? На каблуках ходить нельзя.

— Нет. Я хочу спать.

— Мы рано ляжем.

При этих словах ее глаза поворачиваются к нему, и она слегка надувает губы. Есть в ней все же что-то вульгарное: никак не может пропустить мимо ушей подобное замечание.

— Пошли. Надевай туфли на низких каблуках, и мы высушим тебе волосы.

— Я надену на высоких. — Когда она нагибается, чтобы натянуть туфли, он с улыбкой смотрит на белую линию пробора, до того она прямая. Как у маленькой девочки в день рождения. Они подходят к горе через парк. Корзины для мусора и передвижные металлические скамейки еще не расставлены. На скамейках из бетона и деревянных планок хилые старички греются на солнце, как большие голуби в перьях разнообразных оттенков серого цвета. Покрытые мелкими листочками деревья опыляют прозрачными тенями полуголую землю. Натянутые на жердочки веревки отделяют свежезасеянные газоны от неподметенных гравийных дорожек. Легкий ветерок, непрерывно дующий со склона мимо пустой оркестровой раковины, в тени кажется прохладным. Шерстяная рубашка в самый раз. Голуби с заводными игрушечными головами семенят на розовых лапках, взлетают, хлопая крыльями, и вновь садятся на землю. Какой-то бродяга с испитой физиономией сидит на скамье, вытянув руку вдоль спинки, и чихает изящно, словно кошка. Несколько мальчишек лет по четырнадцати и меньше толкаются и курят у запертого сарая с оборудованием для спортивных игр, на желтых досках которого кто-то намалевал красной краской «Текс и Джози», «Рита и Джей». Интересно, где они взяли красную краску? Сквозь матовую коричневую землю пробиваются зеленые нити. Кролик берет Рут за руку. Из декоративного пруда перед оркестровой раковиной спустили воду, и на дне полно мусора. Они идут по дорожке вдоль его изогнутого холодного края, и в безмолвии раковины отдается эхо их шагов. Танк времен второй мировой войны, превращенный в памятник, нацелил свои пушки на далекие теннисные корты. Сетки еще не натянуты, границы и линии площадок не обведены белой краской.

Деревья темнеют, павильоны катятся под гору. Рут с Кроликом идут верхней частью парка, где по ночам бродят хулиганы. Первые ступеньки лестницы почти совсем скрыты зарослями густого кустарника, слегка тронутого тусклым янтарем набухающих почек. Много лет назад, когда в моде были пешеходные прогулки, на обращенном к Бруэру склоне горы построили эту лестницу. Ступени сделаны их шестифутовых просмоленных бревен, между которыми плотно набита земля. Позже эти круглые ступени укрепили железными трубами, а землю посыпали мелкой голубоватой галькой. Рут поднимается с большим трудом. Кролик смотрит, как ее тяжелое тело едва удерживает равновесие на зарывающихся в землю острых каблуках. Она вязнет и спотыкается, задевая за неровности почвы, скрытые под слоем гальки. Зад вихляет, и, чтобы сохранить равновесие, она размахивает руками.

— Сними туфли, — говорит он ей.

— И разбей ноги? Ишь ты, какой заботливый.

— Тогда пойдем обратно.

— Нет, нет. Уже немного осталось.

— Мы еще и полдороги не прошли. Снимай туфли. Эти синие камушки скоро кончатся, дальше будет утоптанная земля.

— С осколками стекол.

Однако она все-таки снимает туфли и чулки. Перед его глазами мелькают полные белые икры над тонкими лодыжками, вспыхивает желтая кожа на пятках. В знак благодарности он тоже снимает туфли, чтобы разделить с нею боль. Земля утоптана, но незаметные камушки и в самом деле врезаются в кожу, когда тело всей своей тяжестью давит на ноги. К тому же земля холодная.

— Ай! — восклицает он. — Ой!

— Вперед, солдат! Мужайся.

Наконец они догадываются, что надо идти по траве у концов бревен. Часть лестницы прикрыта ветвями деревьев, которые превращают ее в уходящий кверху туннель. В других местах открывается вид на крыши Бруэра, среди которых торчит двадцатиэтажное здание суда, единственный в городе небоскреб. Между верхними окнами распростерли крылья рельефные бетонные орлы. Навстречу спускаются две пожилые пары в клетчатых шарфах — любители пернатых; как только они скрываются за искривленным суком дуба, Кролик вскакивает на ступеньку к Рут, крепко сжимает ее в объятиях, целует соленые от пота неотзывчивые губы. Она считает, что сейчас не время целоваться, ее односторонний женский ум поглощен подъемом на гору. Однако мысль, что эти бледные, как бумага, городские ноги ради его ступают босиком по камням, переполняют его бешено бьющееся от напряжения сердце, и он со слабостью отчаянья цепляется за ее крепкое тело. Над ними, торопливо расталкивая воздух, с грохотом пролетает самолет.

— Моя королева, — говорит он, — славная моя лошадка.

— Кто?

— Лошадка.

У самой вершины гора крутым утесом взмывает вверх. Здесь построена бетонная лестница с железными перилами, которая тремя пролетам в форме буквы Z ведет к асфальтированной автостоянке гостиницы «Бельведер». Они снова надевают туфли и поднимаются по лестнице, глядя на растростершийся под ними город.

Край обрыва огорожен перилами. Кролик берется за белую перекладину, нагретую солнцем, которое теперь круто спускается с зенита, и смотрит прямо вниз, в распущенные кроны деревьев. Жуткая картина, он помнит ее с детства, когда перед ним всякий раз вставал вопрос: что будет, если туда прыгнуть — разобьешься насмерть или провалишься в эти мягкие зеленые шары, словно в облака во сне? В нижней части поля зрения к его ногам поднимается отвесная каменная стена, укороченная перспективой до размеров узкого ножа; в верхней — склон холма отлого спускается

вниз, открывая тут и там заросшие тропинки, лужайки и ступени, по которым они сюда взбирались.

Рут, словно читая книгу, прикрыла глаза веками и неотрывно смотрит на город. В прозрачном воздухе резко очерченный силуэт ее щеки насторожен и неподвижен. Может, ей кажется, что она индианка? Ведь говорила же она, что могла бы родиться мексиканкой.

Ладно. Они залезли сюда, на верхотуру. Полюбоваться? Чем? Город ничинается с рядов кукольных домиков у края парка, идет через широкое, расползшееся брюхо цвета красных цветочных горшков, усеянное пятнами толевых крыш и сверкающих автомобилей, и кончается розовым отблеском в тумане, нависшем над далекой рекой. В этой дымке тускло мерцают газгольдеры. Предместья тянутся по ней как шарфы. Город, вместившийся в поле зрения, огромен, и Кролик раскрывает губы, как бы желая, чтобы душа его причастилась истине этого мира, словно истина — тайна в таком слабом растворе, что лишь необъятность способна дать нам ощутимое понятие о ней. От воздуха сохнет во рту.

Весь этот день прошел в раздумьях о боге: насмешки Рут, удивленные взгляды Экклза — зачем нас учат тому, во что никто не верит? Когда стоишь тут, совершенно ясно: раз существует пол, то существует и потолок, а пространство, в котором мы живем, явно обращено кверху. Кто-то умирает. В этом огромном скоплении кирпича кто-то умирает. Мысль приходит ниоткуда — неизбежный процент. Кто-то в каком-то доме на этих улицах умрет — если не в эту минуту, то в следующую, и ему кажется, что во внезапно окаменевшей груди именно этого человека заключено сердце этой плоской, распростертой внизу розы. Он ищет глазами это место — вдруг ему удастся увидеть, как почерневшая от рака душа старика взмывает в синеву, словно обезьянка на веревочке. Он напрягает уши, надеясь услышать вздох облегчения, когда лежащая у него под ногами кирпично-красная иллюзия отринет это живое существо. Тишина разрушает его надежды. Цепочки автомобилей ползут совершенно бесшумно, в дверях одного из домов появляется какая-то точка. Что он здесь делает, почему висит в воздухе? Почему он не дома? Ему становится страшно, и он просит Рут:

— Обними меня.

Она небрежно повинуется — подходит к нему, охватывает его рукой, прижимается бедром к его бедру. Он с силой притягивает ее к себе, и ему становится легче. Бруэр у них под ногами греется в лучах заходящего солнца; его огромный красный покров поднимается из впадины, в которую он погружен, как вдохнувшая воздух грудь; Бруэр, мать-прародительница сотни тысяч, убежище любви, хитроумное сверкающее творение рук человеческих. И, наконец, почувствовав себя в полной безопасности, он, словно избалованный ребенок, задает ей ехидный вопрос:

— Ты правда была шлюхой?

К его удивлению, Рут каменеет, грубо вырывается из его объятий и угрожающе останавливается возле самых перил. Глаза ее

щурятся, и даже подбородок меняет форму. Охваченный нервной дрожью, он замечает, что три бойскаута, ухмыляясь, глазеют на них с противоположной стороны асфальтовой площадки.

— А ты правда сволочь?

Он чувствует, что отвечать надо осторожно.

— Отчасти да.

— Вот и прекрасно.

Вниз они едут на автобусе.

Во вторник днем пасмурно. Кролик едет автобусом в Маунт Джадж. Эккли живет на северном конце города, и он благополучно проезжает мимо своего района, выходит на Спрус-стрит и шагает, высоким голосом напевая про себя «Ах, я помешана на Гар-ри».

На душе у него спокойно. Они с Рут уже два дня прожили на его деньги, а у него все еще остается четырнадцать долларов. Кроме того, сегодня утром, пока она ходила за покупками, он рылся в ее комоде и обнаружил, что у нее в банке огромный текущий счет — в конце февраля на нем было больше пятисот долларов. Один раз они играли в шары и, кроме всего прочего, видели четыре фильма — «Гиги», «Колокол, Книга и Свеча», «Гостиница Шестого Счастья» и «Косматая Собака». В передачах «Клуба Микки Мауса» он видел столько фрагментов из «Косматой Собаки», что ему очень хотелось посмотреть весь фильм. Казалось, будто листаешь альбом с фотографиями, где половина лиц давно знакома. Сцену, в которой ракета проходит сквозь крышу и Фред Макмаррей выбегает из дома с кофейником в руках, он вообще знал как свои пять пальцев.

Рут его забавляла. В шары она играла ужасно — попросту прошлепала по лужайке и уронила шар. Плюх. В кино, всякий раз, как стереофонический динамик начинал реветь у них за спиной, она оборачивалась и шикала, словно в зале кто-то слишком громко разговаривал. В «Гостинице Шестого Счастья», как только на экране появлялась Ингрид Бергман, она нагибалась к Кролику и шепотом спрашивала: «Она на самом деле шлюха?» Кролика очень огорчил Роберт Донат, вид у него был ужасный. Он знал, что умирает. Вообразите, что вы умираете и при этом должны притворяться мандарином. Вчера вечером Рут так комментировала фильм «Колокол, Книга и Свеча»: «Почему здесь никогда не увидишь барабанов бонго?» Он тайно поклялся раздобыть несколько штук. Полчаса назад, ожидая автобуса на Уизер-стрит, он увидел их в витрине музыкального магазина «Струны и Диски». Цена 19.95. В автобусе он всю дорогу выстукивал у себя на коленях ритмы бонго.

«Потому что я помешана на Гарри-ри-и...»

Номер 61 — большой кирпичный дом с белой деревянной отделкой, с маленькой верандой, изображающей греческий храм, и шиферной крышей, которая блестит, как чешуя большой рыбы. Во дворе за домом огороженные сеткой желтые детские качели и песочница. Когда Гарри проходит по дорожке, в этом загончике

тявкает щенок. У травы маслянистый ядовито-зеленый цвет, какой бывает перед дождем и на цветных снимках. У всего вместе ненормально веселый вид — Кролик всегда думал, что священники живут в мрачных каменных замках, крытых черным гонтом. Однако на маленькой дощечке над дверным молоточком в форме рыбы выгравировано: «Пасторат». Он два раза стучит этой рыбой в дверь. Никто не отзывается, и он стучит еще два раза.

Шустрая коротышка с пятнистыми зелеными глазами открывает дверь.

— Вам кого? — Голос звучит так, словно она хочет сказать: «Как вы посмели?»

Когда она поднимает лицо, чтобы приспособиться к его высокому росту, глаза ее расширяются, видны яркие белки, в которые воткнуты мшистые зеленые радужки.

Вдруг, ни с того ни с сего, он чувствует, что взял над ней верх, что он ей нравится. Веснушки испещряют ее курносый, слегка приплюснутый носик, узкий и бледный под пятнами загара. Кожа у нее светлая, с мелкими порами, как у ребенка. На ней оранжевые шорты. Так весело, что это граничит с нахальством, Кролик говорит:

— Хелло.

— Здравствуйте.

— Простите, преподобный Экклз дома?

— Он спит.

— Средь бела дня?

— Он не спал почти всю ночь.

— Ах, бедняга.

— Вы хотите зайти?

— Право, не знаю. Он велел мне прийти.

Она ведет его через прихожую, мимо лестницы, в прохладную комнату с высоким потолком, серебристыми обоями, пианино, акварельными пейзажами на стенах, множеством книг на встроенном стеллаже и камином, на котором стоят часы с маятником из четырех шаров — такие по идее никогда не останавливаются. Повсюду фотографии в рамках. Мебель темно-зеленая и темно-красная, за исключением длинного дивана с завитками на спинке и подлокотниках и кремовой обивкой. От комнаты несет ледяным равнодушием. Издали доносится более теплый запах: там печется пирог. Она останавливается посередине ковра и говорит:

— Слышите?

Кролик останавливается. Глухой стук, который он тоже слышал, не повторяется.

— Я думала, что этот ублюдок дрыхнет, — поясняет она.

— Вы приходящая няня?

— Я жена, — заявляет она и в доказательство усаживается на середину белого дивана.

Он садится напротив в мягкое кресло с высоким подголовником. Шероховатая темная ткань слегка царапает ему голые руки. Он в клетчатой спортивной рубашке, рукава засучены до локтей.

— Ах, простите.

Ну, конечно. На ее скрещенных голых ногах видны синие пятна набухших вен. Теперь, когда она сидит, лицо уже не кажется таким молодым, как у дверей. Когда она удобно откидывает голову назад, виден двойной подбородок. Аппетитная булочка. Крепкие грудки.

— Сколько лет вашему ребенку?

— У меня двое. Две девочки — три года и год.

— Моему мальчику два.

— Я тоже хотела мальчика, — говорит она. — У меня с дочками возникают личные конфликты. Мы слишком похожи. Мы совершенно точно знаем, кто что думает.

Не любит собственных детей! Кролик шокирован — все-таки жена священника.

— А ваш муж это замечает?

— О, Джек в восторге. Ему льстит, когда женщины из-за него ссорятся. Это его маленький гарем. Я уверена, что мальчика он бы боялся. Вы своего боитесь?

— Сына? Конечно, нет. Ему ведь всего два года.

— Это начинается задолго до двух, поверьте мне. Сексуальный антагонизм возникает практически со дня рождения.

— Я этого не заметил.

— Тем лучше для вас. Вы, очевидно, примитивный отец. По-моему, Фрейд похож на бога, и вы тому доказательство.

Кролик улыбается — наверно, Фрейд как-то связан с серебристыми обоями и акварельным изображением дворца и канала у нее над головой. Высокий класс. Кончиками пальцев она касается висков, откидывает голову, закрывает глаза и вздыхает сквозь пухлые раскрытые губы. Он потрясен — в эту минуту она кажется уменьшенной копией Рут.

Тонкий голос Экклза, странно усиленный в его собственном доме, кричит с лестницы:

— Люси! Джойс лезет ко мне в постель!

Люси открывает глаза и гордо заявляет:

— Вот видите.

— Она говорит, что ты ей позволила, — скулящий голос проникает сквозь перила, стены и слои обоев.

Миссис Экклз встает и направляется к двери. Оранжевые шорты сзади помялись и вздернулись кверху. Бедра у нее белее дивана. Пока она сидела, кожа от давления зарумянилась, а теперь постепенно бледнеет.

— Ничего подобного я ей не говорила! — кричит она наверх и белой рукой тянет книзу свои элегантные помятые шорты, на правой половинке которых красуется простроченный черной ниткой кармашек. — Джек, — продолжает она, — к тебе пришел гость! Очень высокий молодой человек, говорит, что ты его пригласил!

Когда речь заходит о нем, Кролик встает и, стоя у нее за спиной, добавляет:

— Играть в гольф.

— Играть в гольф! — эхом отзывается она.

— Ай-ай-ай, — тихонько доносится сверху, после чего раздается крик: — Хелло, Гарри! Я сейчас спущусь.

— Мама позволила! Мама позволила! — хныкает наверху ребенок.

— Хелло! — кричит Кролик в ответ.

Миссис Экклз любезно поворачивает голову:

— Гарри...?

— Энгстром.

— Чем вы занимаетесь, мистер Энгстром?

— Я? Я, как бы это сказать, сейчас без работы.

— Энгстром. Ну ясно. Вы не тот, который исчез? Зять Спрингеров?

— Он самый, — бодро отвечает Кролик, и в ту самую секунду, как она, услышав его ответ, высокомерно вновь от него отворачивается, он, ничуть не задумываясь, шлепает по ее кокетливому заду. Не сильно — всего лишь легкий шлепок, одновременно упрек и ласка — точь-в-точь по кармашку.

Молниеносно повернувшись, она прячет свою заднюю часть в безопасное место. Веснушки, словно булавочные уколы, резко проступают на побледневшем от возмущения лице. Застывший холодный взгляд настолько не вяжется со снисходительным ленивым и теплым чувством, которое Кролик к ней испытывает, что он строит дурацкую гримасу — в притворном раскаянии натягивает верхнюю губу на нижнюю.

От дикого грохота на лестнице сотрясаются стены. Экклз, едва не потеряв равновесие, буквально валится на них со ступенек и, остановившись, начинает запихивать грязную белую рубашку в измятые коричневые штаны. Под его пушистыми ресницами слезятся мутные глаза.

— Простите, — говорит он. — Вы не думайте, я не забыл.

— Все равно небо в тучах, — невольно улыбаясь, отвечает Кролик. Ее зад был такой симпатичный, в самый раз, плотный и упругий. Она наверняка сию минуту все скажет, и тогда его песенка спета. Ну и пусть. Он и сам не знает, зачем сюда явился.

Может, она бы и сказала, но муж немедленно начинает действовать ей на нервы.

— Что вы, до дождя мы наверняка возьмем все девять лунок, — говорит он Кролику.

— Джек, ты ведь *не можешь* сейчас играть в гольф. Ты говорил, что тебе надо сделать еще несколько визитов.

— Я сделал визиты утром.

— Два. Всего два. Ты съездил к Фредди Дэвису и к миссис Лендис. Как раз туда, где все в порядке. А как насчет Ферри? Ты уже полгода толкуешь мне про этих Ферри.

— А что в них особенного? Они никогда ничего не делают для церкви. Миссис Ферри явилась в первый день рождества и вышла через хоры, чтобы не встретиться со мной.

— Разумеется, они ничего не делают для церкви, и именно поэтому их надо посетить, и ты это отлично знаешь. Да, в них нет ничего особенного, за исключением того, что ты месяцами морочишь всем голову, рассуждая о том, почему миссис Ферри вышла в боковую дверь. Если она соизволит явиться на пасху, будет

опять то же самое. Хочешь знать мое мнение, так вы с миссис Ферри прекрасно бы поладили: вы оба одинаково инфантильны.

— Люси, от того, что мистер Ферри владеет обувной фабрикой, они не стали лучшими христианами, чем те, кто там работает.

— Ах, Джек, какой ты зануда. Ты просто боишься, как бы тебя не отбрили и, пожалуйста, перестань в свое оправдание цитировать Библию. Мне глубоко безразлично — будут эти Ферри посещать церковь, не будут, или даже станут Свидетелями Иеговы.

— Свидетели Иеговы, по крайней мере, осуществляют на практике то, во что верят.

Обернувшись к Гарри, Экклз заговорщически хихикает после этого колкого замечания, но горечь парализует его смех, губы растягиваются, а зубы выступают вперед.

— Не знаю, что ты хочешь этим сказать, но только когда ты делал мне предложение, я сообщила тебе, каковы мои взгляды, и ты сказал — ладно, все в порядке.

— Да, до тех пор, пока твое сердце открыто для *благодати*. — Экклз обрушивает на нее эти слова таким высоким зычным голосом, что даже лоб у него заливается яркой краской.

— Мамочка, я выспалась, — неожиданно раздается робкий детский голосок. На верхней площадке застеленной ковром лестницы стоит, перевесившись через перила, маленькая смуглая девочка в трусиках. Она кажется Кролику слишком смуглой по сравнению с родителями, слишком мрачной в полутени, где силуэтом вырисовываются ее крепкие, по-детски пухлые ножки. Руки сердито дергают и щиплют голую грудь. Она знает ответ матери еще до того, как та откроет рот.

— Джойс! Ложись в свою кроватку и спи.

— Не могу. Тут такой шум.

— Мы орали прямо у нее над головой, — говорит Экклз жене.

— Это ты орал. Насчет благодати.

— Я видела страшный сон, — заявляет Джойс и неуклюже спускается на две ступеньки.

— Ты ничего не видела. Ты вообще не спала. — Миссис Экклз подходит к основанию лестницы.

— Что ты видела во сне? — спрашивает Экклз у девочки.

— Лев съел мальчика.

— Это был совсем не сон, — отрезает миссис Экклз и, повернувшись к мужу, добавляет: — Это все омерзительные стихи Беллока, которые ты беспрерывно ей читаешь.

— Она сама просит.

— Они омерзительны. Они ее травмируют.

— А мы с Джойс находим, что они смешные.

— Значит, у вас *обоих* извращенное чувство юмора. Каждый вечер она спрашивает меня про этого проклятого пони Тома и что значит «умер».

— Ну так объясни ей, что это значит. Если б ты, подобно нам с Беллоком, обладала верой в сверхъестественное, эти вполне естественные вопросы не выводили бы тебя из равновесия.

— Перестань нудить, Джек. Ты становишься ужасно противным, когда так нудишь.

— Ты хочешь сказать, что я становлюсь ужасно противным, когда принимаю себя всерьез.

— У вас что-то подгорает, — говорит Кролик.

Она окидывает его ледяным взором. Однако в нем таится холодный призыв, слабый крик о помощи из толпы врагов, который Кролик слышит, но игнорирует и, небрежно скользнув глазами по ее макушке, показывает ей чувствительные ноздри, почуявшие запах гари.

— Если б ты *действительно* принимал себя всерьез, — говорит она Экклзу и на проворных голых ногах убегает по угрюмому коридору пастората.

— Джойс, поди в свою комнату, надень рубашку и тогда сможешь спуститься вниз, — кричит Экклз.

Девочка слезает еще на три ступеньки.

— Джойс, ты слышала, что я тебе сказал?

— Ты принеси рубашку, папочка.

— Почему я? Я ведь уже внизу.

— Я не знаю, где она.

— Нет, знаешь. Лежит у тебя на комоде.

— Не знаю, где мой ко-мо-од.

— У тебя в комнате, деточка. Ты прекрасно знаешь, где он. Принеси рубашку, и я разрешу тебе спуститься.

Но она уже спустилась до середины лестницы.

— Я боюсь льва-а-а, — вздыхает Ждойс с улыбкой, которая ясно показывает, что она отлично осознает свою дерзость. Слова она выговаривает медленно и опасливо. Такую же осторожную нотку Кролик уловил в голосе ее матери, когда та поддразнивала того же самого мужчину.

— Никакого льва там нет. Там вообще никого нет, только Бонни, а она спит. Бонни не боится.

— Пожалуйста, папочка. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, *пожалуйста*. — Она уже спустилась до самого низа и крепко охватила колени отца.

Экклз смеется и, пытаясь вернуть равновесие своему тяжелому телу, опирается о голову девочки, довольно широкую и с такой же плоской макушкой, как его собственная.

— Ладно, — говорит он. — Побудь здесь и поболтай с этим веселым дядей, — говорит он и с неожиданной легкостью спортсмена взбегает по лестнице.

— Джойс, ты хорошая девочка? — спрашивает Кролик.

Она выпячивает живот и втягивает голову в плечи. При этом у нее вырывается легкий гортанный звук «гхк». Она качает головой, и Кролику кажется, будто она хочет спрятаться за своими ямочками. Однако она с неожиданной твердостью заявляет:

— Да.

— А мама у тебя тоже хорошая?

— Да.

— А почему она хорошая?

Он надеется, что Люси слышит его из кухни. Торопливая возня у плиты прекратилась.

Джойс смотрит на него, и, подобно простыне, которую дернули за уголок, лицо ее морщится от страха. Глаза наполняются самыми настоящими слезами. Она удирает от него в ту сторону, куда ушла мать. Оставшись в одиночестве, Кролик неуверенно бродит взад-вперед по прихожей и, стараясь утишить волнение, разглядывает висящие на стенах картины. Виды чужеземных столиц, женщина в белом под деревом, каждый листок которого обведен золотом; изображение епископальной церкви святого Иоанна — кирпичик за кирпичиком педантично выписан пером — датированное 1927 годом и подписанное крупными буквами: Милдред Л. Креймер. Над маленьким столиком висит художественная фотография: какой-то старикан с седым пушком над ушами и с пасторским воротником смотрит мимо тебя как бы в самое сердце вселенной; в ту же рамку воткнут вырезанный из газеты пожелтевший снимок того же старого джентльмена с сигарой — он хохочет, как сумасшедший, вместе с тремя другими типами в церковном облачении. Он немного похож на Джека, только толще и крепче. Сигару он зажал в кулаке. Дальше красуется цветная репродукция — сцена в мастерской, где плотник работает при свете, излучаемом головою его подмастерья; стекло, в которое она вставлена, отражает голову самого Кролика. В прихожей стоит какой-то острый запах. Пятновыводителя? свежего лака? нафталина? старых обоев? — гадает он, он, «человек, который исчез». *«Сексуальный антагонизм возникает практически со дня рождения»*. Ну и сука. Однако в ней горит приятный огонек, которые освещает ее ноги. Эти гладкие белые ноги. Да, такая знает, чего хочет. Булочка. Терпкая ванильная булочка. Несмотря ни на что, она ему нравится.

В доме, очевидно, есть еще одна лестница, потому что он слышит, как Экклз на кухне уговаривает Джойс надеть свитер, спрашивает у Люси, сгорело ли печенье и, не зная, что уши Кролика совсем рядом, говорит:

— Ты не думай, что я развлекаюсь. Это работа.

— А иначе с ним нельзя поговорить?

— Он боится.

— Милый, у тебя все боятся.

— Но он даже меня боится.

—Однако он довольно бодро вошел в эту дверь.

Тут самое время добавить: *и шлепнул меня по заду, который принадлежит тебе и который ты должен защищать.*

Как! По заду! Да я убью мерзавца! Я позову полицию!

На самом деле голос Люси умолкает на слове «дверь», а Экклз толкует о том, что, если позвонит такой-то, где новые мячи для гольфа, Джойс, ты уже съела печенье десять минут назад, и, наконец, слишком спокойным голосом, словно царапины их спора уже затянулись, произносит «до свиданья». Кролик шагает по прихожей и в конце концов останавливается, прислонившись к радиатору, когда Экклз, похожий на совенка, неловко и сердито выскакивает из кухни.

Они идут к автомобилю. Под угрозой дождя зеленая шкура «бьюика» приобретает тропический восковой отлив. Экклз закуривает сигарету, они едут вниз, пересекают дорогу № 422, выезжают на равнину и направляются к полю для гольфа. Сделав несколько глубоких затяжек, Экклз объявляет:

— Итак, ваша беда отнюдь не в отсутствии веры.

— Что?

— Я вспомнил наш прошлый разговор. Насчет дерева и водопада.

— А, вот оно что. Я украл эту идею у Микки Мауса.

Экклз озадаченно смеется; Кролик замечает, что рот у него не закрывается, обращенные вовнутрь зубы ждут, а брови тем временем выжидательно поднимаются и опускаются.

— Я, по правде говоря, несколько удивился, — признается он, закрывая свою кокетливую пещеру. — Потом вы еще говорили, будто знаете, что́ у вас внутри. Я весь уикенд думал, что это такое. Вы не могли бы мне объяснить?

Кролик не желает ему ничего объяснять. Чем больше он говорит, тем больше теряет. Под своей кожей он в полной безопасности и не хочет из нее вылезать. Вся цель этого типа сводится к тому, чтобы выманить его наружу, где с ним можно будет поступать по своему усмотрению. Однако безжалостный закон вежливости разжимает ему губы.

— Да ничего особенного, — отвечает он. — Вернее, всё вообще. Вы ведь тоже так думаете?

Экклз кивает, моргает и молча едет дальше. Он по-своему здо́рово уверен в себе.

— Как Дженис? — спрашивает Кролик.

Экклз не ожидал, что он так быстро переменит тему.

— Я заезжал к ним в понедельник утром, сказать, что вы здесь в о́круге. Ваша жена гуляла во дворе с вашим мальчиком и, как я понял, со своей старой подругой, миссис — не то Фостер, не то Фоглмен.

— Какая она из себя?

— Я, право, не заметил. Меня сбили с толку ее очки. Они зеркальные, с очень широкими оглоблями.

— А, Пегги Гринг. Жуткая идиотка. Вышла за этого простака Мориса Фоснахта.

— Вот-вот, Фоснахт. Я еще обратила внимание, что фамилия у нее вроде бы немецкая.

— Вы до приезда сюда никогда не слыхали про «Фоснахт»[1]?

— Нет. У нас в Норуолке ничего такого не было.

— Я помню, что когда мне было, наверно, лет шесть или семь, потому что дедушка умер в тысяча девятьсот сороковом году, — он всегда ждал наверху, пока я сойду вниз, чтобы я не стал Фоснахтом. Он тогда жил с нами. — Кролику приходит в голову, что он уже много лет не думал и не говорил о своем дедушке.

— А как наказывали того, кто стал Фоснахтом?

---

[1] От *нем.* Fastnacht — масленица, карнавал.

— Забыл. Просто никто не хотел им быть. Обождите. Один раз я сошел вниз последним, и все меня за это дразнили, мне это не понравилось, я обиделся и, кажется, даже заплакал. Во всяком случае, именно поэтому старик и оставался наверху.

— Это был дед со стороны отца?

— Нет, со стороны матери. Он жил с нами.

— А я помню деда со стороны отца, — рассказывает Экклз. — Он, бывало, приезжал к нам в Коннектикут и ужасно ссорился с отцом. Мой дед был епископом в Провиденсе и так старался, чтобы его церковь не превратилась в унитарианскую, что сам чуть не стал унитарием. Он называл себя деистом-дарвинистом. Отец, наверное, из чувства противоречия, стал страшно ортодоксальным, чуть ли не приверженцем англо-католической церкви. Он любил Беллока и Честертона. Он всегда читал нам те самые стихи, против которых, как вы слышали, возражает моя жена.

— Про льва?

— Да. У Беллока есть горькая ирония, которой моя жена не одобряет. Он подсмеивается над детьми, и она никак не может ему этого простить. Это все из-за ее увлечения психологией. Психология рассматривает детей как некую святыню. О чем я говорил? Несмотря на свои весьма расплывчатые теологические теории, в религиозной практике дед сохранял определенную оригинальность и даже ригоризм, который совершенно утратил мой отец. Дедушка считал папу крайне нерадивым, потому что он не устраивал каждый вечер семейных богослужений. Отец, бывало, отвечал, что не хочет надоедать детям мыслями о боге так, как надоедали ему, да и вообще, какой смысл молиться богу джунглей в гостиной? «Значит, ты не веришь, что господь обитает в лесах? Ты думаешь, что он только за витражами?» — говорил, бывало, дедушка. И так далее. Мы с братьями просто дрожали от страха, потому что споры с дедом в конце концов вызывали у отца жуткую депрессию. Вы же знаете, как это бывает с отцами, — никогда не можешь избавиться от мысли: а вдруг они все-таки правы? Маленький сухой старичок, по выговору типичный янки, в общем-то ужасно милый. Помню, за едой он, бывало, схватит когонибудь из нас за коленку своей костлявой коричневой ручкой и проквакает: «Неужели он заставил тебя поверить в существование ада?»

Гарри хохочет — Экклз здорово подражает, роль старика особенно ему удается.

— Да ну? И вы верите?

— Пожалуй, да. В ад, как понимал его Иисус. Как отлучение от бога.

— Тогда мы все в той или иной степени находимся в аду.

— Я этого не думаю. Никоим образом не думаю. Я думаю, что даже самый оголтелый атеист не понимает, что значит настоящее отлучение. Тьма вовне. А то, в чем мы живем, можно назвать скорее тьмой внутри, — со смехом говорит он, глядя на Гарри.

Все эти рассуждения Экклза усыпляют бдительность Кролика. Он хочет внести что-то свое в разделяющее их пространство. Воз-

бужденный чувством дружбы, соревнования, он поднимает руки, размахивает ими, словно мысли — баскетбольные мячи, и в конце концов заявляет:

— Я, конечно, ничего не смыслю в теологии, но чувствую, что где-то за всем этим, — он обводит рукою вокруг; они как раз проезжают через жилой район по эту сторону поля для гольфа — домики в полтора этажа, наполовину дерево, наполовину кирпич; укатанные бульдозерами плоские дворики с трехколесными велосипедами и чахлыми трехлетними деревцами — самый что ни на есть убогий пейзаж на свете, — где-то за всем этим находится нечто, и это нечто хочет, чтобы я его отыскал.

Эккл аккуратно давит сигарету в автомобильной пепельнице.

— Ну как же, все бродяги воображают, будто вышли на поиски чего-то. По крайней мере вначале.

Кролик считает, что не заслужил такой пощечины. Особенно после того, как попытался уступить этому типу хоть немного. Священникам, наверно, только того и надо — подстричь всех и каждого под одну жалкую гребенку.

— В таком случае ваш друг Иисус выглядить довольно-таки глупо.

При упоминании всуе имени божия щеки Эккла покрываются красными пятнами.

— Он всегда говорил, что святые не должны жениться, — заявляет священник.

Они сворачивают с шоссе и поднимаются по извилистой дороге к клубу — большому шлакоблочному зданию, на фасаде которого между двумя эмблемами кока-колы красуется длинная вывеска ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА «КАШТАНОВАЯ РОЩА». Когда Гарри подносил мячи, здесь была всего лишь дощатая хибарка с дровяной печуркой, с таблицами старых состязаний, двумя креслами, стойкой с конфетами и мячами для гольфа, которые он выуживал из болота, а миссис Венрих перепродавала. Миссис Венрих, наверно, давно уже умерла. Это была худощавая старая вдова, похожая на нарумяненную седую кукол, и ему всегда казались забавными ее рассуждения о дерновых площадках, числе ударов, состязаниях и клюшках. Эккл ставит машину на асфальтовой стоянке и говорит.

— Да, пока я не забыл.

— Что? — спрашивает Кролик, держась за ручку двери.

— Вам нужна работа?

— Какая?

— У одной моей прихожанки, некоей миссис Хорейс Смит, имеется сад площадью восемь акров не доезжая Эплборо. Ее муж был просто помешан на рододендронах. Впрочем, нехорошо говорить: «помешан», очень уж милый был старик.

— Я ничего не понимаю в садоводстве.

— Никто не понимает — так, по крайней мере, думает миссис Смит. На свете не осталось ни одного садовника. За сорок долларов в неделю наверняка.

— Доллар в час. Маловато.

— Сорока часов там не наберется. Свободное расписание. Вам ведь это и нужно. Свобода. Чтоб оставалось время проповедовать массам.

В Экклзе действительно есть что-то подлое. В нем и в Беллоке. Сняв пасторский воротник, он дает себе волю. Кролик выходит из машины. Экклз тоже, и над крышей его голова напоминает голову на блюде. Он разевает свой широкий рот.

— Подумайте над этим предложением.

— Не могу. Я, может, и в о́круге не останусь.

— Разве эта девица собирается вас выгнать?

— Какая девица?

— Как ее зовут? Ленард. Рут Ленард.

— Да уж. Все-то вам известно. — Кто мог ему сказать? Пегги Гринг? Тотеро? Скорей всего девка, что была с Тотеро. Как ее там? Копия Дженис. Ну и наплевать, мир — так и так сплошная сетка, и сквозь нее все проваливается. — В первый раз слышу.

В отраженном от металла солнечном блеске голова на блюде криво ухмыляется.

Они идут рядом к шлакоблочному зданию клуба. По дороге Экклз замечает:

— Удивительно, как часто у вас, мистиков, экстазы ходят в юбках.

— Между прочим, я не обязан был к вам являться.

— Верно. Простите. У меня сегодня очень тяжело на душе.

В этом замечании нет ничего особенного, но оно почему-то гладит Кролика против шерстки. Оно как будто липнет. И говорит: «Жалей меня. Люби меня». Оно так крепко склеивает губы, что Кролик не может раскрыть рот для ответа. Когда Экклз за него расплачивается, он с трудом выдавливает из себя «спасибо». Они выбирают клюшки, чтобы взять ему напрокат, он молчит и глядит до того безучастно, что веснушчатый паренек, ведающий инвентарем, смотрит на него, как на слабоумного. Шагая с Экклзом к первой метке, он чувствует себя униженным, словно добрый конь в одной упряжке с неподкованной клячей.

То же самое чувствует и мяч, тот мяч, по которому он бьет после краткой инструкции Экклза. Мяч отскакивает в сторону, неправильный крученый удар парализует его полет, и он, словно ком глины, уныло шлепается наземь.

— В жизни не видел такого отличного первого удара, — смеется Экклз.

— Это не первый удар. Когда я тут работал, я частенько гонял мячи. Мог бы вообще-то и лучше ударить.

— Вы слишком много от себя требуете. Следите за мной, и вам сразу станет легче.

Кролик отходит в сторону и с удивлением видит, что Экклз, бессознательные движения которого не лишены некоторой гибкости, замахивается клюшкой так, словно ему уже за пятьдесят и все суставы у него закостенели. Словно ему мешает толстое брюхо. Он бьет по мячу с вялой основательностью. Мяч движется по прямой, хотя слишком высоко и слабо, а Экклз, явно очень до-

вольный собой, с важным видом шествует по ровной лужайке. Гарри тяжелым шагом плетется за ним. Мягкий дерн, холодный и мокрый после недавней оттепели, хлюпает под его большими замшевыми башмаками. Они как на качелях — Экклз вверх, он вниз.

В языческих рощах и зеленых аллеях Экклз преображается. Его охватывает телячий восторг. Он смеется, размахивает клюшкой, кудахчет, кричит. Гарри уже не чувствует к нему ненависти — отвратительным кажется ему он сам. Неуменье обволакивает его как неприличная болезнь, и он благодарен Экклзу, что тот от него не бежит. Обойдя Гарри футов на пятьдесят, Экклз — у него привычка возбужденно забегать вперед — то и дело возвращается искать потерянный Гарри мяч. Кролик никак не может оторвать свой взор от того места, куда мяч должен был прилететь, — от маленькой, идеально выстриженной зеленой салфеточки с хорошеньким розовым флажком. Уследить за тем, куда мяч *на самом деле* угодил, его глаза не в состоянии.

— Вон он, за корнем, — говорит Экклз. — Вам ужасно не везет

— Для вас это, наверное, просто кошмар.

— Нисколько, нисколько. Вы подаете большие надежды. Вы никогда не играли и все же ни разу не промахнулись окончательно.

Только этого недоставало — он прицеливается, и отчаянное желание забить мяч, несмотря на корень, заставляет его промахнуться окончательно.

— Единственная ваша ошибка в том, что вы пытаетесь использовать свой рост, — говорит ему Экклз. — У вас от природы изумительный замах.

Кролик снова колотит по мячу, мяч вываливается из-за корня и, вихляя, пролетает несколько ярдов.

— Наклоняйтесь к мячу, — говорил ему Экклз. — Представьте себе, что вы хотите сесть.

— Скорее лечь, — Гарри тошнит, у него кружится голова, и он чувствует, что его все глубже затягивает в водоворот, верхний край которого обведен безмятежными верхушками распускающихся деревьев. Ему кажется, что он уже раньше был здесь. Его засасывают лужи, поглощают деревья, он беспрестанно вязнет в отвратительном мусоре по краям лужаек.

Кошмар — это именно то слово. Наяву только одушевленные предметы способны так дергаться и извиваться. С неодушевленными он всегда был в ладу. От этих противоестественных ударов по мячу у него мутится в голове, ошалелый мозг играет с ним странные шутки, и он лишь с трудом осознает, что́, собственно, происходит. Он мысленно разговаривает с клюшками, словно они женщины. Металлические клюшки, легкие и тонкие, но в его руках почему-то полные коварства, — это Дженис. *Иди сюда, дуреха, успокойся, пойдем, все в порядке.* Когда выдолбленная головка клюшки разрыхляет землю за мячом, а руки от удара взлетают вверх, ему кажется, что Дженис его ударила. *Ох, как она глупа.* От ярости его кожа расползается настолько, что сквозь нее прони-

кает внешний мир; внутренности исцарапаны крошечными сухими шипами колючих кустов; в них висят слова — гнезда, гусениц, которые никак не сжечь. Еще одна палка — хрупкая серебристая рукоятка. *Она бьет, бьет, бьет; земля, разевающая коричневую пасть.* Когда в руках деревянные клюшки, «она» — это Рут. Он держит деревянную клюшку номер три, не отрывает глаз от ее толстой красной головки, от травянистых пятен на фаске, от аккуратной беленькой полоски на краю, думает: *Ишь ты какая хитрая,* крепко сжимает рукоятку и бьет. У-у-у-х! Раз ты так легко сдалась, чего уж теперь-то артачиться! Ободранная пасть травы, мяч летит, прыг, скок, прячется в кустах, белый хвост. Когда Кролик подходит к кусту, это уже не куст, а человек, черт побери, это его мать; он задирает обиженные ветви, словно юбки, ему смертельно стыдно, но он следит, чтобы они не сломались, ветви хлещут его по ногам, а он пытается влить свою волю в тугой неподатливый шарик, который и не он, и в то же время он — хотя бы потому, что торчит тут в самой гуще всего. Когда железка номер семь со свистом рвется вниз, *ну, пожалуйста, Дженис, всего один разок,* боль неуклюжим пауком ползет к локтям, и он видит, как мяч, петляя, с тошнотворной медлительностью зарывается в еще одну унылую кучу мусора техасского цвета хаки. *Ах ты, кретин, ступай домой.* Дом — это лунка, а надо всею грудой отвратительных, почти физически ощутимых видений, которые затуманивают ему мозг, — небо в светло-серых дождевых облаках, это его дед, он ждет наверху, чтобы маленький Гарри не стал Феснахтом.

И еще — то по углам, то в самой середине этого устремленного к победе сна мельтешит в своей грязной рубашке Экклз; он подбадривает Гарри и, трепеща на зелени, словно белый флаг всепрощенья, указует ему путь к дому.

Дерновые лужайки, еще не ожившие после зимы, присыпаны сухой пылью — удобрением? Мяч скачет, разбрасывая камушки.

— Загоняя мяч в лунку, не бейте слишком резко, — говорит Экклз. — Короткий легкий размах, руки напряжены. При первом ударе дистанция важнее, чем цель. Попробуйте еще раз.

Ногой он толкает мяч обратно. Чтобы добраться сюда, на четвертую дерновую лужайку, Гарри потребовалось двенадцать ударов, но нахальное заявление, что эти удары не стоит считать, его раздражает. *Давай, детка, уговаривает он жену. Вот она лунка, огромная, как ведро. Все в порядке.*

Но нет, ей непременно нужно в панике колотить по мячу. Чего она боялась? Слишком крепко — перелет чуть не на пять футов. Он подходит к Экклзу и говорит:

— Вы мне так ничего и не сказали про Дженис.

— Про Дженис? — Экклз с трудом отвлекается от игры. Он целиком поглощен мыслью, как бы выиграть. *Он меня сожрет,* думает Гарри. — По-моему, в понедельник она была в хорошем настроении. Они с подругой весело смеялись во дворе. Вы должны понять, что теперь, когда она привыкла, ей, наверно, даже нравится некоторое время снова пожить у родителей. Это ее реакция на вашу безответственность.

— Ничего подобного, — раздраженно отзывается Гарри, присев на корточки, чтобы точнее нацелиться для последнего удара, как показывают по телевизору. — Она ненавидит своих родителей ничуть не меньше, чем я. Она, наверно, вообще бы за меня не вышла, если бы не торопилась поскорей оттуда смыться.

Клюшка скользит по нижней части мяча, и проклятый мяч снова перелетает фута на два или на три. На все четыре. Сволочь.

Теперь бьет Экклз. Мяч взлетает и с треском прыгает в лунку. Священник поднимает восторженно сияющие глаза.

— Гарри, — добродушно, но нахально спрашивает он, — почему вы ее бросили? Вы ведь, наверно, глубоко к ней привязаны.

— Я же вам *говорил*. Из-за того, чего у нас с ней не было.

— Что это такое? Вы это когда-нибудь видели? Вы уверены, что оно существует?

Снова недолет, и Гарри дрожащими пальцами поднимает свой мяч.

— Если вы не уверены, что оно существует, то не спрашивайте у меня. Это как раз по вашей части. Уж если вы не знаете; тогда вообще никто не знает.

— Нет! — восклицает Экклз таким же неестественно напряженным голосом, каким он велел жене открыть свое сердце благодати. — Христианство не строит воздушных замков. Если б оно было таким, как вы думаете, нам пришлось бы раздавать в церквах опиум. Мы стремимся *служить* богу, а не *заменить* бога.

Они берут свои сумки и идут в ту сторону, куда показывает деревянная стрелка. Экклз продолжает свои объяснения:

— Этот спор был уже решен много сотен лет назад, в ересях ранней церкви.

— Говорю вам, я знаю, что это такое.

— Что это такое? Какое оно, Гарри? Мягкое или жесткое? Синее или красное? А может, в горошек?

Гарри неприятно поражен: Экклз, оказывается, и вправду хочет про это узнать. Под всей его болтовней: я-то-знаю-больше-чем-ты-насчет-ересей-раннего-христианства — и вправду таится желание узнать, что это существует, что он каждое воскресенье не врет людям. Мало того, что он, Гарри, пытается понять смысл этой дурацкой игры, надо еще возиться с этим психом, который готов из тебя всю душу вынуть. Горячий ремень сумки врезается ему в плечо.

— Суть в том, — по-женски волнуясь, дрожащим от смущения голосом говорит ему Экклз, — суть в том, что вы чудовищно эгоистичны. Вы трус. Вам наплевать на добро и зло, вы поклоняетесь только своим низменным инстинктам.

Они подходят к метке — возвышению из дерна возле горбатого фруктового дерева, которое грозит кулаками набухших бледных почек.

— Я, пожалуй, пойду первым, а вы пока успокойтесь, — говорит Кролик.

Сердце у него останавливается от злости, прямо-таки глохнет на ходу. Он мечтает только об одном — выбраться из всей этой

неразберихи. Хотя бы дождь пошел, что ли. Избегая взгляда Экклза, он смотрит на мяч, который так высоко лежит на холмике, словно уже оторвался от земли. Кролик замахивается клюшкой и бьет головкой по мячу. Раздается пустой, ни на что не похожий звук. Такого он еще не слыхал. Поднятые руки тянут голову кверху, и он видит, что его мяч повисает вдалеке, бледный, как луна, на фоне великолепных иссиня-черных грозовых облаков цвета его деда, плотно затянувших весь восток. Мяч удаляется по прямой, ровной, как ребро линейки. Сфера, звезда, точка. Мяч колеблется, и Кролик думает, что он сейчас упадет, но он ошибся — колебание придает мячу силы для последнего прыжка, он со всхлипом прямо на глазах втягивает последний глоток пространства и, наконец, исчезает на земле.

— Вот оно! — кричит Гарри и, повернувшись к Экклзу, с торжествующей улыбкой повторяет: — Вот *оно*.

Солнце и луна, солнце и луна, время проходит. В саду миссис Смит крокусы пробивают корку земли. Белые и желтые нарциссы развертывают свои трубы. В пробуждающейся траве прячутся фиалки, а лужайку вдруг разлохмачивают одуванчики и широколистные сорняки. Невидимые ручейки петляют по низине, и она поет от их журчанья. Матовые красные ростки, которые позже превратятся в пионы, пронзают клумбы, окаймленные косо врытыми в почву кирпичами, и сама земля, слегка размытая утыканная камешками, мозолистая, кое-как залатанная лоскутками лужиц и просохших участков, выглядит, как нечто самое древнее, и благоухает, как нечто самое юное под небесами. Косматая золотистая пена цветущей форзиции сияет сквозь дым, который заволакивает сад, когда Кролик сжигает кучи измытых стеблей, сухой травы, листьев дуба, осыпавшихся в глубокой осенней тьме, и обрезанных веток роз; они сплетаются в комья и, цепляясь за ноги, приводят его в бешенство. Эти кучи мусора, затянутые паутиной росы, он поджигает, приходя утром на работу с заспанными глазами и со вкусом кофе во рту; они все еще дымятся, ночными призраками поднимаясь у него за спиной, когда он, хрустя башмаками по гравию, уходит по подъездной аллее имения Смитов. Всю дорогу до Бруэра он, сидя в автобусе, чувствует запах теплой золы.

Забавно, что за эти два месяца ему ни разу не понадобилось стричь ногти. Он подрезает кусты, выкапывает саженцы, рыхлит землю. Он сажает однолетние растения, разбрасывая семена из пакетиков, которые дает ему старуха, — настурции, маки, душистый горошек, петунии. Ему нравится присыпать семена разрыхленной землей. Погребенные, они уже не принадлежат ему. Так просто. Избавиться от чего-то, предоставив его самому себе. Словно сам господь заключил себя в этот несокрушимый крохотный организм. Обреченный на последовательный ряд взрывов, он медленно извлекает жизненные соки из воды, воздуха и кремния. Кролик инстинктивно чувствует это, поворачивая в ладонях круглую рукоятку мотыги.

Теперь, когда царство магнолий уже кончилось и одни только листья клена выросли достаточно для того, чтобы отбрасывать глубокие тени, вишни, дикие яблони и одинокая слива в дальнем углу усадьбы покрылись цветами, белизну которых черные ветки словно собрали с пролетающих по небу облаков, а потом немыслимой метелью белого конфетти сдули на пробудившуюся траву. Источая запах бензина, механическая косилка жует лепестки, а лужайка их поглощает. У обвалившейся ограды теннисных кортов цветет сирень. На птичью ванну прилетают птицы. Однажды утром, когда Гарри орудует серповидным окулировочным ножом, его обдает волна аромата, — позади него ветер переменился и дует теперь вниз по склону, густо заросшему листьями ландышей, среди которых в эту теплую ночь распустились тысячи колокольчиков — те, что на самом верху стебелька все еще сохраняют бледно-зеленый цвет щербета. Яблони и груши. Тюльпаны. Уродливые лиловые лохмотья ирисов. И, наконец, предшествуемые азалиями, сами рододендроны, которые особенно буйно цветут в последнюю неделю мая. Кролик всю весну ждал этого блистательного финала. Кусты его озадачивали — они были такие огромные, высокие, почти как деревья, некоторые в два раза выше его самого, и казалось, что их такое великое множество. Они посажены вдоль ряда высоченных, словно башни, елей со склоненными ветвями, которые защищают усадьбу, а в центре сада стоит еще несколько прямоугольных групп кустов, напоминающих буханки пористого зеленого хлеба. Кусты эти вечнозеленые. Их изогнутые ветви и длинные листья, торчащие во все стороны наподобие растопыренных пальцев, как будто говорят о том, что они принадлежат иному климату, иной земле, где сила тяготения меньше, чем здесь. Когда появились первые соцветия, каждое было как один большой цветок — из тех, что проститутки Востока носят на голове, — он видел их на бумажных обложках детективов, которые читала Рут. Но когда полушария соцветий стали распускаться все сразу, они больше всего напоминали Кролику шляпы, в которых девицы легкого поведения ходят в церковь на пасху. Гарри всегда мечтал о такой девушке, но у него никогда ее не было — маленькая католичка из ветхого домишки в кричащем дешевом наряде; в темных листьях под дерзкой мягкой шапочкой цветка о пяти лепестках ему чудится ее лицо; он прямо-таки слышит запах ее духов, когда она проходит мимо него по бетонным ступеням собора. Так близко, что он может добраться до лепестков. В верхней части каждого из них, там, где к нему прикасается пыльник, два ряда крапинок, словно веера веснушек над ртом.

Когда цветение сада ее покойного супруга достигает апогея, миссис Смит выходит из дома и, опираясь о руку Кролика, отправляется в самую гущу плантации рододендронов. Некогда рослая, она теперь сгорбилась и сморщилась; замешкавшиеся в седых волосах черные пряди кажутся грязными. Она обычно ходит с тростью, но, видимо, в рассеянности вешает ее на руку и ковыляет дальше, а трость болтается на руке, словно диковинный браслет. За своего садовника она держится так: он сгибает правую

руку, направляя локоть к ее плечу, она поднимет свою трясущуюся левую руку и распухшими веснушчатыми пальцами крепко охватывает его запястье. Она как лоза на стене: если ее покрепче дернуть, она оторвется, а если не трогать — выдержит любую непогоду. Он чувствует, как на каждом шагу все ее тело вздрагивает, а голова при каждом слове дергается. Не то, чтобы ей было трудно говорить, просто ее охватывает радость общения, от которой нос отчаянно морщится, а губы над выступающими вперед зубами комически и в то же время застенчиво растягиваются в гримасе тринадцатилетней девчонки, которая беспрерывно подчеркивает, что она некрасива. Она рывком поднимает голову, чтобы взглянуть на Гарри, и ее потрескавшиеся голубые глаза под напором скрытой в их глубине жизни вылезают из маленьких коричневых орбит, собранных складочками, как будто сквозь них продернули множество тесемок.

— О, я *терпеть не могу* «Миссис Р.-С. Холкрофт»[1], она вся такая пошлая и линялая. Гарри очень любил эти оранжево-розовые тона. Я, бывало, говорю ему: «Если я хочу красный цвет, дай мне красный — сочную красную розу. А если я хочу белый, дай мне белый — высокую белую лилию, и не морочь мне голову всеми этими межеумками — чуть-чуть розоватыми или лиловато-синеватыми, которые сами не знают, чего им надо. «Рододендрон — сладкоречивое растение, — говорила я, бывало, Гарри, — у него есть мозги, и потому он дает тебе всего понемножку». Конечно, я это говорила просто чтобы его подразнить. Но я и вправду так думала.

Эта мысль как будто ее поразила. Как вкопанная, она останавливается на травянистой тропинке, и глаза ее, с радужками белесыми, как битое стекло внутри утойчиво голубых колец, нервно перекатываются, оглядывая его то с одной, то с другой стороны.

— Да, я и вправду так думала. Я — дочь фермера, мистер Энгстром, и я бы скорее хотела, чтобы эту землю засеяли люцерной. Я ему, бывало, говорю: «Если тебе так уж приспичило копаться в земле, почему бы не посеять пшеницу? Вот это будет настоящее дело. Вырасти пшеницу, а я буду печь хлеб». И пекла бы, уж будьте уверены. «На что нам все эти букетики — они отцветают, а потом круглый год гляди на их уродливые листья, — говорю я ему. — Может, ты их для какой-нибудь красотки выращиваешь?» Он был моложе меня, вот я его и дразнила. Не скажу вам, насколько моложе. Чего мы тут стоим? Такое старое туловище где-нибудь подольше постоит, глядишь, уже и в землю вросло — Она тычет палкой в траву — знак, чтобы он протянул ей руку. Они идут дальше по цветущей аллее. — Никогда не думала, что я его переживу. Но уж очень он был слаб. Придет домой из сада, сядет и сидит Дочь фермера, ей никогда не понять, что это значит — сидеть.

Ее слабые пальцы трепещут на его запястье, как верхушки гигантских елей. Эти деревья всегда ассоциируются в его сознании

[1] Название одного из сортов рододендрона.

с запретными зонами, и ему приятно находиться под их защитой.

— Ага. Вот, наконец, *настоящее* растение. — Они останавливаются на повороте дорожки, и миссис Смит показывает своей болтающейся палкой на маленький рододендрон, весь усыпанный соцветиями чистейшего розового цвета. — Это любимый цветок моего Гарри — «Бианки». Единственный рододендрон, кроме некоторых белых, — я забыла их имена, они все какие-то дурацкие, — который говорит то, что он думает. Единственный по-настоящему розовый из всех, какие тут есть. Когда Гарри его получил, он сперва посадил его среди остальных розовых, и рядом с ним они сразу стали казаться такими грязными, что он их все повыдирал и окружил этого «Бианки» малиновыми. Малиновые уже отцвели, да? Ведь уже июнь?

Ее безумные глаза окидывают Гарри диким взглядом, а пальцы еще крепче впиваются в руку.

— Не знаю. Впрочем, нет. День поминовения павших в войнах [1] будет еще только в следующую субботу.

— О, я так хорошо помню тот день, когда мы получили это дурацкое растение. Жарища! Мы поехали в Нью-Йорк, взяли его с парохода и водрузили на заднее сиденье «паккарда», словно любимую тетушку или еще что-нибудь в этом же роде. Оно приехало в большой деревянной синей бочке с землей. В Англии всего один питомник выращивал этот сорт, и одна только перевозка обошлась в двести долларов. Каждый день специально нанятый человек спускался в трюм его поливать. Жарища, кошмарные заторы в Джерси-Сити и Трентоне, а этот чахлый кустик сидит себе в своей синей бочке на заднем сиденье, словно принц крови! Тогда еще не было всех этих автострад, и потому в Нью-Йорк мы добирались добрых шесть часов. Самый разгар кризиса, а впечатление такое, словно все на свете купили себе автомобили. Через Делавар тогда переезжали возле Берлингтона. Это было до войны. Вы, наверное, не знаете, о какой войне я говорю. Вы, наверное, думаете, что «война» — это та корейская история.

— Нет, под войной я всегда подразумеваю вторую мировую войну.

— Я тоже! Я тоже! Вы в самом деле ее помните?

— Еще бы. Я был уже большой. Я выпрямлял банки от консервов, покупал военные марки, и за это мы в начальной школе получали награды.

— Нашего сына убили.

— О, мне очень жаль.

— Он был уже старый, он был старый. Ему было почти сорок. Его сразу же произвели в офицеры.

— Но...

— Знаю. Вы думаете, что убивают только молодых.

— Да, все так думают.

— Это была хорошая война. Не то что первая. Мы должны были победить, и мы победили. Все войны отвратительны, но в этой

---

[1] 30 мая.

войне мы победили, и это прекрасно. — Она снова показывает палкой на розовое растение. — В тот день, когда мы приехали из порта, оно, конечно, не цвело, потому что лето уже кончилось, и я считала, что просто глупо везти его на заднем сиденье, как... как... — она понимает, что повторяется, запинается, но продолжает: — ...как принца крови. — Почти совсем прозрачные голубые глаза зорко следят, не смеется ли он над ее старческим многословием. Не усмотрев ничего подобного, она выпаливает: — Он — единственный!

— Единственный «Бианки»?

— Да! Вот именно! Во всех Соединенных Штатах такого больше нет. Другого настоящего розового нет от Золотых Ворот до... докуда угодно. До Бруклинского Моста, так, кажется, принято говорить. Все, что есть *настоящего* розового во всей стране, находится здесь у нас перед глазами. Один цветовод из Ланкастера взял у нас несколько черенков, но они все погибли. Наверное, задушил известью. Глупец. Грек.

Она вцепляется в его руку и движется вперед еще тяжелее и быстрее. Солнце уже высоко, и ей, наверное, пора домой. В листве плавают пчелы, бранятся невидимые птицы. Волна листьев догнала волну цветов, и от свежей зелени веет еле заметным горьковатым запахом. Клены, березы, дубы, вязы и конские каштаны образуют редкий лесок, который то более широкой, то более узкой полосой окаймляет дальнюю границу усадьбы. В прохладной сыроватой тени между лужайкой и этой рощей все еще цветут рододендроны, но на солнце посредине лужайки они уже осыпались, и лепестки аккуратными рядами лежат по краям травяных дорожек.

— Мне это не нравится, мне это не нравится, — произносит миссис Смит, ковыляя об руку с Кроликом вдоль этих остатков былого великолепия. — Я ценю красоту, но предпочла бы люцерну. Одна женщина — не знаю, почему меня это так раздражало, — Хорейс вечно зазывал соседей любоваться цветами, он во многом был как ребенок. Так вот, эта женщина, миссис Фостер, она жила у подножья холма в маленькой оранжевой хижине, где по ставням лазала серая кошка, она вечно твердила — повернется ко мне, помада у нее чуть не до самого носа, и говорит, — приторно-сладким голосом щебечет старуха, вся дрожа от злорадства, — «ах, говорит, миссис Смит, наверное, только на небесах бывает такая красота!». Однажды я ей сказала, я уже больше не могла сдерживать свой язык, и я взяла да и сказала: «Если я каждое воскресенье езжу шесть миль туда и обратно в епископальную церковь святого Иоанна, только чтоб полюбоваться еще одной кучкой рододендронов, то я с таким же успехом могла бы сэкономить эти мили, потому что я вовсе не желаю туда ездить». Разве не ужасно, когда старая грешница такое говорит?

— Да нет, что вы.

— И к тому же несчастной женщине, которая всего лишь хотела быть вежливой. Ни капли мозга в голове, красилась, как молодая идиотка. Теперь она уже скончалась, бедняжка, Альма

Фостер скончалась две или три зимы назад. Теперь она познала истину, а я еще нет.

— Но может быть, то, что она приняла за рододендроны, на самом деле люцерна.

— Ха-ха-ха! Точно! Точно! Вот именно! Именно! Знаете, мистер Энгстром, это *такое* удовольствие... — Она останавливается и неловко гладит ему руку; освещенный солнцем крохотный желтовато-коричневый ландшафт ее лица поднимается к нему, и в ее взгляде, под суетливым девичьем кокетством и беспокойной неуверенностью, поблескивает прежняя острота, так что стоящий рядом Кролик отчетливо ощущает ту недобрую силу, которая выгоняла мистера Смита к безгласным цветам. — Вы и я, мы с вами думаем одинаково. Правда? *Ведь правда же?*

— Здóрово тебе повезло, а? — говорит ему Рут.

В день поминования павших в войнах они пошли в общественный бассейн в Уэст Бруэр. Они сначала стеснялась надевать купальник, но когда вышла из кабинки, вид у нее был отличный — маленькая голова в купальной шапочке, величественные плечи. Стоя по пояс в воде, она казалась большой статуей. Плавала она легко, размеренно перебирая большими ногами и поднимая гладкие руки, а спина и зад черными пятнами переливались под зеленой рябью. Когда она, погрузив лицо в воду, медленно проплыла мимо, сердце Кролика тревожно замерло. Потом зад, словно поблескивающий круглый черный островок, сам по себе поднялся на поверхность, четкое изображение в воде вдруг начало рябиться, как на экране испорченного телевизора, и это зрелище переполнило его холодной гордостью обладания. Она принадлежит ему, только ему, он знает ее не хуже, чем вода, и, как воде, ему доступно все ее тело. Когда она плыла на спине, струи разбивались, стекали в чашки бюстгальтера, нежно касались грудей, погруженное в воду тело изогнулось, она закрыла глаза и слепо двинулась вперед. Двое тощих мальчишек, которые барахтались в мелком конце бассейна, брызгаясь, помчались прочь. Отбрасывая руки назад, она задела одного, очнулась и с улыбкой села на карточки в воде, размахивая бескостными руками, чтобы сохранить равновесие во взбудораженных волнах переполненного людьми бассейна. Воздух был пронизан запахом хлора. Все такое чистое, чистое. Его вдруг осенило, что значит чистота. Все, что не относится к тебе и никак тебя не затрагивает — ее в воде, его — в воздухе и на траве. Ее голова, подскакивая, словно пустой мяч, строит ему рожи. Сам он — не водяное животное. В воде ему зябко. Окунувшись, он предпочел усесться на облицованный плитками парапет и, болтая ногами, воображать, будто девочки-школьницы, сидящие сзади, восхищаются игрой мускулов на его широкой спине; потом расправил плечи, чувствуя, как лопатки растягивают согретую солнцем кожу. Рут прошлепала по воде до края бассейна, где так мелко, что шахматный узор дна отражается на поверхности воды. Она поднялась по лесенке, стряхивая

воду Он улегся на одеяло. Рут подошла, остановилась над ним, широко расставив ноги на фоне неба, сняла шапочку и наклонилась за полотенцем. Вода, стекая у нее со спины, закапала с плеч. Глядя, как она вытирает руки, он ощутил сквозь одеяло запах травы и услышал, как трепещет от криков прозрачный воздух. Она легла рядом, закрыла глаза и отдалась солнцу. Лицо ее с такого близкого расстояния казалось составленным из больших кусков кожи; солнце стерло с них все краски, кроме желтоватого отблеска чистого неотесанного камня, что привозят прямо с каменоломен к храмам. Слова, произносимые этой монументальной Рут, движутся тем же темпом, что и массивные колеса, которые катятся к портикам его ушей, что и немые монеты, вращающиеся на свету.

— Здóрово тебе повезло?

— В каком смысле?

— О — слова ее слетают с губ не сразу, — сперва он видит, как губы шевелятся, а уж потом слышит: — ...посмотри, чего у тебя только нет. У тебя есть Экклз, который каждую неделю играет с тобой в гольф и не дает твоей жене тебе вредить. У тебя есть цветы и влюбленная в тебя миссис Смит. У тебя есть я.

— Ты думаешь, она и вправду в меня влюблена? Миссис Смит.

— Я знаю только то, что ты мне рассказываешь. Ты же сам сказал, что влюблена.

— Нет, я так прямо никогда этого не говорил. А может, говорил?

Она не удостаивает его ответом; расплывшееся от сонного довольства большое лицо кажется еще крупнее. Меловые блики пробегают по загорелой коже.

— А может, говорил? — повторяет он, больно ущипнув ее за руку. Он не хотел сделать ей больно, но что-то в прикосновении ее кожи его разозлило. Ее неподатливость.

— У-у. Скотина ты этакая, — говорит она.

Однако продолжает лежать, обращая больше внимания на солнце, чем на него. Он поднимается на локте и за ее тяжелым телом видит легкие фигурки двух шестнадцатилетних девчонок, которые стоят, потягивая апельсиновый сок из картонных пакетиков. Одна из них, в белом купальнике без лямок, карими глазами поглядывает на него, не выпуская изо рта соломинки. Ее тощие ноги черны, как у негритянки. По обе стороны плоского живота торчат под косым углом тазовые кости.

— Да, *все на свете* тебя любят, — внезапно заявляет Рут. — Хотела бы я знать за что.

— Я создан для любви.

— Какого дьявола именно *ты*? Что в тебе особенного?

— Я мистик, я дарю людям веру.

Это сказал ему Экклз. Как-то раз, со смехом, наверняка в шутку. Никогда не поймешь, что Экклз думает на самом деле, понимай как знаешь. Данное высказывание Кролик принял всерьез. Сам он никогда бы до этого не додумался. Он не особенно задумывается о том, что дает другим.

— *Мне* ты причиняешь только неприятности.

— Какого черта! — Несправедливо. Он так гордился ею, когда она плавала в бассейне, так ее любил.

— Почему ты воображаешь, что кто-то должен за тебя все делать?

— Что именно? Я тебя кормлю.

— Черта с два ты меня кормишь. Я работаю.

Что верно, то верно. Вскоре после того как он поступил к мис сис Смит, Рут нашла место стенографистки в страховой компании с филиалом в Бруэре. Он хотел, чтоб она работала, он беспокоился, что на будет делать по целым дням одна. Она говорила, что ей никогда не нравилось то, чем она прежде занималась, но никакой уверенности в этом у нее не было. Когда они познакомились, по ней вовсе не было видно, будто она очень уж страдает.

— Брось службу. Мне наплевать. Сиди целый день дома и читай свои детективы. Я тебя прокормлю.

— Ты меня прокормишь. Если ты такой богатый, почему ты не помогаешь своей жене?

— Зачем? У ее папаши куча денег.

— Что меня бесит, так это твоя самоуверенность. Тебе никогда не приходит в голову, что в один прекрасный день придется за все расплачиваться?

Она смотрит ему прямо в лицо, глаза от воды налились кровью. Она прикрывает их рукой. Это не те глаза, которые он увидел вечером у счетчиков на автостоянке, не те плоские бледные диски, словно у куклы. Голубые радужки потемнели, и их густая глубина нашептывает его инстинктам правду, которая его тревожит.

Эти глаза горят, она отворачивается, чтобы спрятать слезы, и размышляет. Легкие слезы — один из признаков. О, господи, на службе ей приходится вскакивать от машинки и мчатся в уборную, словно у нее понос, и плакать, плакать. Стоять в кабинке, смотреть в унитаз, смеяться над собой и плакать до тех пор, пока не заболит грудь. И все время клонит ко сну. О, господи, после обеда ей стоит огромных усилий не растянуться в проходе прямо на грязном полу, между Лили Орф и Ритой Фиорванте — этому лупоглазому Хонигу пришлось бы через нее переступать. И еще голод. На обед мороженое с содовой, бутерброд, пирожок, кофе, и все равно приходится подкупать шоколадку в кассе. А ведь она так старалась ради него похудеть и *действительно* потеряла шесть фунтов — если, конечно, верить весам. Ради него, вот в чем вся загвоздка, ради него она старалась измениться в одну сторону, а он по глупости старался изменить ее совсем в другую. Он — страшный человек, несмотря на всю свою мягкость. Да, есть в нем эта мягкость, он — первый мужчина, в котором она есть. По крайней мере, чувствуешь, что для него существуешь ты, а не просто что-то, что приклеено изнутри к их грязным мозгам. Господи, как она ненавидела их, с их мокрыми губами и дурацким хохотком, но когда она была с Гарри, она как бы простила их всех, они ведь только наполовину виноваты, они что-то вроде

стены, о которую она билась, потому что знала — за ней что-то есть, а с Гарри она вдруг нашла это что-то, и все прежнее стало совсем нереальным. В сущности, никто никогда ее не обидел, не оставил неизгладимых следов в душе, и когда она пытается все это вспомнить, порою кажется, что это было с кем-то другим. Они виделись ей словно в тумане, жалкими, нетерпеливыми, вечно добивались чего-то такого, чего не давали им жены. Да, вот именно. И что они во всем этом находят? Ее еще в школе удивило, как быстро все узнают, что ты на все согласна. И если ты не против, то все получается хорошо или не очень хорошо, но, во всяком случае, ты тогда заодно с ними против других, против всех этих маленьких козявок, которые толклись вокруг нее в спортзале во время хоккея, а она была самая настоящая корова в этой дурацкой синей форме вроде детской матроски, она в двенадцатом классе наотрез отказалась в ней ходить и заработала выговор. О, господи, как она ненавидела этих девчонок вместе с их папашами — подрядчиками и фармацевтами. Зато она брала свое по ночам, как королева принимая то, о чем они и понятия не имели. Ее имя писали на стенах уборной, она стала притчей во языцех в школе. Про это ей любезно сообщил Алли. Но с Алли у нее было много хорошего; однажды после уроков, солнце еще не зашло, они поехали по лесной дороге, свернули на тропинку и забрались в заросли, откуда был виден Маунт Джадж — город на фоне горы, издали все в дымке; он положил голову ей на колени, нежно, как ребенок, и птички тихонько пели на солнышке у них над головой. Алли проболтался. Он не мог не проболтаться. Она его простила, но с тех пор стала умнее. Она начала встречаться с другими, постарше; ошибка, если вообще можно говорить об ошибке, но почему бы нет? Почему бы нет? Это как было, так и осталось вопросом. Мысль о том, совершила ли она ошибку, вызывает усталость, она вообще устала думать и лежит мокрая, перед закрытыми глазами красные круги, лежит и пытается сквозь этот красный туман проникнуть в прошлое, понять, была ли она неправа. Нет, она поступила умно. С ними ее молодость сходила за красоту, а от того, что они были постарше, не было такой спешки. О, господи, попадались такие подонки, что, бывало, думаешь, никогда и никто на свете такого больше не увидит.

Но *этот*. Настоящий псих. Однако что в нем такого особенного? Для мужчины он даже красив — лежит себе на боку такой пушистый и мягкий, а потом вдруг становится твердым, как стальной клинок, но дело, наверно, даже не в этом, и не в том, что он похож на мальчишку — дарит ей барабаны бонго и говорит такие хорошие слова, — а в том, что у него над ней какая-то странная власть, и когда им хорошо вместе, она чувствует себя совсем маленькой, и, наверно, в этом все дело, наверно, этого-то она и искала. Мужчину, с которым чувствуешь себя совсем маленькой. Ох, в ту первую ночь, когда он так гордо сказал: «Здóрово», она ничего не имела против, ей даже показалось, что так и надо. Она тогда простила их всех, его лицо слило все их лица в одну жуткую массу, и ей даже показалось, что она теперь подпадает под

другую категорию, более высокую, чем та, к которой она принадлежала. Но в конце концов оказалось, что он не так уж сильно отличается от остальных, уныло и жадно вешается на шею, а потом поворачивается спиной и думает о чем-то другом. Мужчины относятся с этому не так, как женщины. Это все больше и больше входит в привычку. Иногда он пытается ее подбодрить, но она такая сонная и тяжелая, что все без толку; порой ей хочется как следует тряхнуть его и крикнуть: «Да не могу я, идиот несчастный, ты что, не видишь, что стал отцом!» Но нет. Нельзя ему ничего говорить. Сказать хоть слово — значит поставить точку, а у нее только раз ничего не было, дня через два должно быть снова, и может, вовсе ничего и нет. И без того все так перепуталось, она даже не знает, будет ли она от этого счастлива. А так она, по крайней мере, что-то делает, заглатывает все эти шоколадки. Господи, она даже не уверена, что совсем этого не хочет, потому что этого хочет он — судя по тому, как он себя ведет. Она даже не уверена, что не подстроила это нарочно сама — уснула у него под рукой назло самовлюбленному подонку. Ему ведь все равно, когда он уснул, она может вставать и плестись в холодную ванную, лишь бы ему ничего не видеть и ничего не делать. Такой уж он есть — живет себе в своей шкуре и не задумывается ни о каких последствиях. Скажешь ему про шоколадки и про сонливость, он наверняка перепугается и сбежит, вместе со своим славным, маленьким богом и со славным маленьким священником, который каждый вторник играет с ним в гольф. Самое паршивое в этом священнике то, что раньше Кролик хотя бы думал, что поступает плохо, а теперь вообразил, будто он — не кто иной, как сам Иисус Христос, и должен спаси человечество, делая все, что ему в голову взбредет. Хорошо бы добраться до епископа, или кто у них там главный, и сказать ему, что этот священник — опасный человек. Забил бедняге Кролику голову черт знает чем, и даже теперь тихий нахальный голос жужжит ей прямо в ухо, отвечая на ее вопрос с таким небрежным самодовольством, что у нее от злости и вправду текут слезы.

— Так вот что я могу тебе сказать, — говорит он. — Когда я сбежал от Дженис, я сделал интересное открытие. — Слезы пузырями вытекают у нее из-под век, во рту застрял отвратительный вкус воды из бассейна. — Если у тебя хватит пороху быть самим собой, то расплачиваться за тебя будут другие.

Неприятные визиты, или, по крайней мере, предвкушение их, — просто смерть для Экклза. Обычно сон хуже действительности; действительностью правит господь. Присутствие людей всегда можно перенести. Миссис Спрингер — смуглая, пухлая, тонкокостная женщина, смахивающая на цыганку. От обеих — и от матери и от дочери — веет чем-то зловещим, но если у матери эта способность нагнетать беспокойство — прочно укоренившееся свойство, неразрывно связанное с мелкобуржуазным образом жизни, то у дочери это нечто текучее, бесполезное и опасное как для

нее, так и для других. Экклз с облегчением вздыхает, узнав, что Дженис нет дома; при ней он чувствует себя в чем-то виноватым. Она с миссис Фоснахт уехала в Бруэр на утренний сеанс фильма «Некоторые любят погорячее». Их сыновья играют во дворе у Спрингеров. Миссис Спрингер ведет его через весь дом на застекленную веранду, откуда можно присмотреть за детьми. Дом обставлен богато, но бестолково — кажется, будто в каждой комнате на одно кресло больше, чем нужно. Чтобы попасть от парадной двери к веранде, им приходится совершить извилистый путь по тесно заставленным мебелью комнатам. Миссис Спрингер идет медленно — обе ее лодыжки забинтованы эластичным бинтом. Болезненно-короткие шажки усиливают иллюзию, будто нижняя часть ее тела заключена в гипс. Она тихонько опускается на подушки кресла-качалки, кресло под тяжестью ее тела отлетает в сторону, а ноги подпрыгивают кверху, и Экклз в ужасе отшатывается. Миссис Спрингер радуется, как ребенок; ее бледные лысые икры торчат из-под юбки, а полосатые туфли на секунду отрываются от пола. Туфли потрескавшиеся и закругленные, словно они много лет вращались в стиральной машине. Экклз садится в шезлонг из алюминия и пластика с замысловатыми шарнирами. Сквозь стекло, у которого он сидит, видно, как Нельсон Энгстром и сынишка Фоснахтов, чуть постарше, играют на солнце возле качелей и песочницы.

— Очень приятно вас видеть, — говорит миссис Спрингер. — Вы так давно у нас не были.

— Всего три недели, — отвечает Экклз. Шезлонг врезается ему в спину, и он упирается пятками в нижнюю алюминиевую трубку, чтобы шезлонг не сложился. — Было очень много работы — подготовка к конфирмации, потом молодежная группа решила организовать софтбольную команду и, кроме того, умерло несколько прихожан.

Он вовсе не склонен перед нею извиняться. То, что она владеет таким большим домом, совершенно не вяжется с его аристократическими представлениями о социальном порядке; он предпочел бы видеть ее на крыльце какой-нибудь хижины.

— Я бы ни за что на свете не согласилась выполнять ваши обязанности.

— Большей частью они доставляют мне много радости.

— Да, так про вас говорят. Говорят, вы стали прямо-таки мастером по части гольфа.

О, господи! А он-то думал, что она успокоилась. Что они сидят на крыльце ветхой облезлой лачуги и что она — многострадальная толстая жена фабричного рабочего, которая научилась принимать вещи такими, какие они есть. Именно на такую она и похожа, именно такой вполне могла бы быть. Когда Фред Спрингер на ней женился, он, наверно, был еще менее завидным женихом, чем Гарри Энгстром для ее дочери. Он пытается представить себе, каким был Гарри четыре года назад, и перед ним возникает весьма привлекательный образ — высокий, белокурый, школьная знаменитость, достаточно умный — сын утренней зари. Его

уверенность в себе, наверное, особенно импонировала Дженис. Давид и Мелхола. *Да не обманете друг друга...* Почесывая лоб, он говорит:

— Играя в гольф, можно хорошо узнать человека. Именно это я и стараюсь делать, понимаете — узнавать людей. Мне думается, нельзя повести человека ко Христу, если его не знаешь.

— Прекрасно, но что вы знаете о моем зяте, чего не знаю я?

— В-первых, что он хороший человек.

— Хороший для чего?

— Разве нужно быть хорошим *для* чего-нибудь? — Он задумывается. — Да, пожалуй, нужно.

— Нельсон! Сию минуту перестань! — Миссис Спрингер застывает в своем кресле, но не встает посмотреть, отчего мальчик плачет. Экклзу, сидящему возле окна, все видно. Маленький Фоснахт стоит у качелей с двумя пластмассовыми грузовиками в руках. Сынишка Энгстрома, на несколько дюймов ниже старшего мальчишки, замахнулся на него, но не смеет шагнуть вперед и по-настоящему его ударить. Юный Фоснахт в раздражающей неуязвимостью идиота смотрит сверху вниз на поднятую руку и искаженную физиономию младшего мальчика, и на лице его нет даже улыбки удовлетворения — он, как истый ученый, бесстрастно наблюдает за ходом своего опыта. В голосе миссис Спрингер звучит яростная, проникающая сквозь стекло решимость:

— *Ты слышал, что я тебе сказала, сейчас же прекрати реветь!*

Нельсон поворачивает лицо к веранде и пытается объяснить:

— Пилли, — лепечет он, — Пилли зял...

Однако даже самая попытка рассказать о несправедливости делает обиду нестерпимой. Словно от удара в спину, Нельсона шатнуло вперед, он шлепает вора по груди, получает в ответ легкий толчок, плюхается на землю, валится на живот и, болтая ногами, катится по траве. Экклз чувствует, что его сердце переворачивается вместе с телом ребенка — он слишком хорошо знает силу зла, знает, как бьется с ним разум, как каждый напрасный удар высасывает воздух из вселенной, пока не начнет казаться, что вся твоя плоть и кровь вот-вот взорвется в пустоте.

— Мальчик отнял у него грузовик, — сообщает он миссис Спрингер.

— Пусть сам его и отберет, — отвечает она. — Пусть учится. Не могу же я каждую минуту вскакивать и бежать во двор, с моими-то больными ногами. Они весь день только и знают, что драться.

— *Билли.* — При звуке мужского голоса мальчик удивленно поднимает глаза. — Отдай грузовик.

Билли обдумывает это новое обстоятельство и в нерешительности медлит.

— *Пожалуйста,* отдай.

Это звучит убедительно. Билли подходит к Нельсону и аккуратно опускает игрушку на голову плачущего друга.

Боль вызывает новый приступ горя в груди Нельсона, но, уви-

дев, что грузовик лежит в траве рядом с ним, он умолкает. Ему требуется секунда, чтобы понять: причина его обиды устранена, и еще секунда, чтобы обуздать свое взволнованное тело. Кажется, будто от долгих сухих всхлипов, которыми сопровождаются его усилия, вздымается подстриженная трава и даже меркнет солнечный свет. Оса, которая все время упорно билась о стекло, улетает; алюминиевый шезлонг под Экклзом вот-вот рухнет, словно весь белый свет участвует в том, как Нельсон берет себя в руки.

— Не понимаю, почему этот мальчик такая неженка, — говорит миссис Спрингер. — Впрочем, пожалуй, понимаю.

— Почему? — Это ехидное добавление бесит Экклза.

Уголки ее рта опускаются в презрительной гримасе.

— Потому что он такой же, как его отец, — избалованный. С ним слишком носились, и он уверен, что весь мир обязан дать ему все, чего он хочет.

— Но виноват был другой мальчик, Нельсон только хотел получить свою игрушку.

— Да, и вы, наверно, думаете, что в случае с его отцом во всем виновата Дженис. — От того, как она произносит «Дженис», та кажется более осязаемой, драгоценной и значительной, чем жалкая тень в мозгу Экклза. Ему приходит в голову, что миссис Спрингер в конце концов права и что он уже перешел на ее сторону.

— Нет, не думаю, — возражает он. — Я считаю, что его поступкам нет оправдания. Это, однако, не означает, что его поступки не имеют причин, причин, за которые отчасти несет ответственность ваша дочь. Я принадлежу к церкви, которая полагает, что все мы — сознательные существа, ответственные за себя и за других.

От этих столь удачно сформулированных слов во рту у него появляется привкус мела. Хоть бы она предложила чего-нибудь выпить. Весна становится жаркой.

Старая цыганка видит его неуверенность.

— Конечно, легко говорить. Но, может быть, не так легко придерживаться подобных взглядов, если вы на девятом месяце и из приличной семьи, и ваш муж где-то неподалеку крутит с какой-то летучей мышью, и все над вами смеются. — Слова «летучая мышь» быстро взмывают в воздух, хлопая черными крыльями.

— Никто над вами не смеется, миссис Спрингер.

— Вы не слышите, что люди говорят. Вы не видите их улыбочек. Одна особа на днях заявила мне, что если Дженис не может его удержать, значит, она никаких прав на него не имеет. У нее хватило наглости ухмыляться мне прямо в лицо. Я готова была ее задушить. Я ей ответила: «Обязанности есть и у мужчин, а не только у женщин». Такие вот особы и внушают мужчинам, будто весь мир существует только для их удовольствия. Судя по вашему поведению, вы и сами готовы в это поверить. Если весь мир будет состоять из одних Гарри Энгстромов, то долго ли он будет нуждаться в вашей церкви, как по-вашему?

Она выпрямилась на своей качалке, и глаза ее блестят от

непролитых слез. Пронзительный голос, как ножом по сковородке, скребет Экклза, и ему кажется, будто он весь в ссадинах. Ее слова о сплетнях и улыбках поражают ужасающей реальностью, наподобие реальности той сотни лиц, которые смотрят на него, когда он по воскресеньям в 11.30 утра поднимается на кафедру, и заготовленный текст мгновенно улетучивается из головы, а записи превращаются в бессмыслицу. Он судорожно роется в памяти, и, наконец, ему удается выговорить:

— Мне кажется, что Гарри в некотором смысле особый случай.

— Особенного в нем только то, что ему все равно, кому он причиняет горе и какое. Я не хочу вас обижать, преподобный Экклз, я даже думаю, что вы сделали все, что было в ваших силах, принимая во внимание вашу занятость, но если уж говорить правду, то я жалею, что в ту первую ночь не позвала полицию.

Ему кажется, что сейчас она позовет полицию, чтобы арестовать *его*, Экклза. А почему бы и нет? Он, со своим белым воротником, только и знает, что искажать слово божие. Он похищает веру у детей, которых обязан учить. Он убивает веру в душе каждого, кто слушает его болтовню. Он совершает обман каждой заученной фразой церковной службы, поминая всуе имя Отца Нашего, тогда как душа его чтит настоящего отца, которого он пытается ублажить, всю жизнь пытался ублажить, и бога, который курит сигары.

— А что может сделать полиция? — спрашивает он.

— Не знаю, но уж, во всяком случае, она не станет играть с ним в гольф.

— Я уверен, что он вернется.

— Вы уже два месяца это твердите.

— Я все еще в это верю. — Но он не верит, он ни во что не верит.

В наступившем молчании миссис Спрингер пытается прочесть этот факт у него на лице.

— Вы не могли бы... — голос ее изменился, стал умоляющим, — вы не могли бы подать мне вон ту табуретку, что стоит в углу? Мне надо поднять ноги.

Он моргает, и его веки царапают друг друга. Он выходит из оцепенения, берет табуретку и несет к ней. Ее широкие голени в зеленых детских носочках робко поднимаются, он нагибается, подставляет ей под пятки табуретку и вспоминает картинки в религиозных брошюрах, на которых Христос моет ноги нищим, от чего в его тело вливается поток новых сил. Он выпрямляется и глядит на нее сверху вниз. Она натягивает юбку на колени.

— Благодарю вас. Это такое облегчение.

— Боюсь, что это единственное облегчение, какое я вам принес, — признается он с простотой, которую сам находит — и смеется над собой, за то, что находит — достойной восхищения.

— Ах, — вздыхает миссис Спрингер. — Тут уж ничем не поможешь.

— Нет, кое-что, сделать можно. Пожалуй, насчет полиции вы правы. Закон охраняет интересы женщин, так почему бы не прибегнуть к закону?

— Фред против.

— У мистера Спрингера, безусловно, есть на то свои причины. Я имею в виду не только интересы бизнеса. Закон может добиться от Гарии только финансовой поддержки, а я думаю, что в данном случае дело не в деньгах. По правде говоря, я уверен, что деньги *никогда* не играют решающей роли.

— Это легко говорить, если у вас их всегда было достаточно.

Последнее замечание Экклз пропускает мимо ушей — оно явно вылетело у нее машинально, скорее от усталости, нежели от злобы: он уверен, что она хочет его слушать.

— Не знаю. Как бы то ни было, я — как, вероятно, и все остальные — надеюсь на лучшее. И если возможно настоящее исцеление, то действовать должны сами Гарри и Дженис. Как бы мы ни стремились им помочь, как бы ни старались что-нибудь сделать, мы всегда останемся где-то в *стороне*.

Подражая своему отцу, он заложил руки за спину и, отвернувшись от миссис Спрингер, смотрит через окно, как тот, кто едва ли останется в стороне, а именно Нельсон, сопровождаемый фоснахтовским мальчишкой, гонится за соседской собакой. Хохоча во весь рот, Нельсон неуклюже ковыляет по лужайке. Собака старая, рыжеватая, маленькая и медлительная; юный Фоснахт, озадачен, но очень доволен криком своего друга: «Лев! Лев!» Экклз с любопытством отмечает, что в мирных условиях сын Энгстрома ведет за собой другого мальчика. Зеленый воздух, пробивающийся сквозь мутное стекло, словно трепещет от поднятого Нельсоном шума. Ситуация ясна: постоянный прозрачный поток внутреннего возбуждения должен, естественно, время от времени запирать узкие мозговые каналы менее восприимчивого мальчика, вызывая угрюмое обратное течение, которое выливается в акт грубого насилия. Ему жалко Нельсона, который много раз будет в наивном изумлении сидеть на мели, прежде чем обнаружит, что источник этого странного обратного течения — в нем самом. Экклзу кажется, что в детстве он тоже был таким — всегда давал, давал и давал, и всегда неожиданно погружался в трясину. При приближении мальчиков старая собака виляет хвостом. Хвост перестает вилять и повисает нерешительной настороженной дугой, когда мальчики, словно охотники, с радостным гиканьем ее окружают.

Нельсон тянется к собаке и шлепает ее обеими руками по спине. Экклз хочет крикнуть — собака может укусить, он не в состоянии спокойно на это смотреть.

— Да, но он уходит все *дальше*, — поет миссис Спрингер. — Ему слишком хорошо живется. У него не будет причины вернуться, если мы сами об этом не подумаем.

Экклз снова садится в алюминиевый шезлонг.

— Нет. Он вернется по той же причине, по которой ушел. Он привередлив. Он должен сделать мертвую петлю. Мир, в котором он теперь живет, мир этой девушки в Бруэре, перестанет питать его воображение. Я вижу его раз в неделю — и заметил, что он уже изменился.

— Послушать Пегги Фоснахт, так все как раз наоборот. Ей

сказали, что он ведет развеселую жизнь. Не знаю, сколько у него там женщин.

— Всего одна, я в этом уверен. Самое удивительное в Энгстроме то, что он от природы домашнее животное. *О, господи!*

Далекая группа во дворе распалась — мальчики бегут в одну сторону, собака в другую. Юный Фоснахт останавливается, Нельсон же мчится вперед, лицо у него перекосилось от страха.

Услышав его всхлипыванье, миссис Спрингер сердито говорит:

— Опять они довели Элси. Собака, наверное, спятила, если все-таки сюда приходит.

Эккл вскакивает — шезлонг валится у него за спиной, — открывает раздвижную дверь и выбегает на солнце навстречу Нельсону. Мальчик пытается увернуться. Он хватает его на руки.

— Собака тебя укусила?

Всхлипыванья мальчика мгновенно прекращаются от нового испуга — он боится этого черного дядю.

— Элси тебя укусила?

Юный Фоснахт держится на безопасном расстоянии сзади.

Нельсон, неожиданно тяжелый и влажный в объятиях Эккла, издает глубокие хриплые вздохи и постепенно вновь обретает голос.

Эккл трясет его, чтобы он не заревел и, изо всех сил стараясь, чтобы тот его понял, щелкает зубами возле самой его щеки.

— Так? Собака так сделала?

От этой пантомимы лицо ребенка расплывается в восторженной улыбке.

— Так, так, — говорит он; его узкая верхняя губа поднимается, обнажая зубы, нос морщится, и он отдергивает голову.

— Не укусила? — настаивает Эккл, ослабляя свои объятия.

Нельсон снова свирепо поднимает верхнюю губу. В этом живом личике, формой и выражением напоминающем лицо Гарри, Эккл ощущает насмешку. Нельсон опять начинает всхлипывать, вырывается из его рук и взбегает по ступенькам веранды к бабушке. Эккл встает; пока он стоял на корточках, его черная спина вспотела от солнца.

Поднимаясь по ступенькам, он вспоминает, как, подражая собаке, мальчик оскалил мелкие квадратные зубы, и это хватает за душу чем-то пронзительно-трогательным. Безобидный, но такой живой инстинкт. Инстинкт котенка, который ватными лапками пытается задушить клубок.

Вернувшись на веранду, он видит, что мальчик стоит между ногами бабушки, уткнувшись лицом ей в живот. Приникнув к теплому телу, он задрал платье с ее колен, и молочная белизна беззащитно оголившихся широких бледных ног, на которую наложились весело оскаленные зубы ребенка, ассоциируется в сознании Эккла с его собственной кровью. Преисполненный силы — словно сострадание, как его учили, не беспомощный вопль, а мощная волна, вымывающая пыль и мусор изо всех уголков вселенной, — он делает шаг вперед и обещает обеим склоненным головам:

— Если он не вернется, когда она родит, мы прибегнем к помощи закона. Такие законы есть, и их не так уж мало.

— Элси кусается, потому что вы с Билли ее дразните, — говорит мальчику миссис Спрингер.

— Элси бяка, — говорит Нельсон.

— Нельсон бяка, — поправляет его миссис Спрингер. И, подняв лицо к Экклзу, таким же менторским тоном продолжает: — Ей осталось всего неделя, но я не вижу, чтоб он торопился.

Минута симпатии к ней миновала, и он оставляет ее на веранде. *Любовь никогда не кончается*, говорит он себе. Это по Переработанному Стандартному Изданию Библии. В Издании короля Джеймса сказано, что она никогда не подводит. Голос миссис Спрингер сопровождает его по дому:

— Если ты еще раз начнешь дразнить Элси, бабушка тебя отшлепает.

— Не надо, баба, — робко упрашивает мальчик. Испуг его прошел.

Экклз надеется найти кухню и напиться воды из крана, но в беспорядочном нагромождении комнат кухня от него ускользает. Выходя из оштукатуренного дома, он глотает слюну. Он садится в свой «бьюик» и по Джозеф-стрит и Джексон-роуд едет к дому Энгстромов.

У миссис Энгстром черепахугольные ноздри. Вернее, они ромбовидные и помещены в нос, который не то чтобы велик, а просто не укладывается в обычные анатомические формы. кусочки мышц, хряща и кости индивидуально выразительны и в резком свете делят кожу на множество граней. Интервью происходит у нее на кухне под множеством горящих ламп. Они горят средь бела дня, потому что Энгстромы занимают темную сторону двухквартирного кирпичного дома. Когда миссис Энгстром открыла ему дверь, руки ее были покрыты мыльной пеной, возвратившись с ним на кухню, она идет к раковине, полной раздувшихся рубашек и нижнего белья. Во время их беседы она энергично кидается на эти вещи. Она энергичная женщина. Рыхлый жир, болезненный излишек веса у миссис Спрингер образовался на тонкой кости, некогда принадлежавшей козявке вроде Дженис, тогда как миссис Энгстром плотно вставлена в большую крепкую раму. Высокий рост Гарри, очевидно, унаследовал от нее. В голове у Экклза неотступно вертится мысль о холодной воде в кранах, заслоненных мощным телом миссис Энгстром, но для столь мелкой просьбы все никак не представляется удобный случай.

— Не понимаю, зачем вы ко мне пришли, — говорит она. — Гарольду уже исполнится двадцать один год. Я им не распоряжаюсь.

— Он у вас не был?

— Нет, сэр. — Она поворачивает голову через левое плечо, демонстрируя ему свой профиль. — Вы внушили ему такой стыд, что он, наверно, стесняется.

— Разве вы считаете, что ему *должно* быть стыдно?

— А чего ему стыдиться. Начать с того, что я никогда не

одобряла его связь с этой девицей. Стоит на нее взглянуть, сразу ясно, что она на две трети сумасшедшая.

— О, вы, конечно, шутите.

— Шучу? Первое, что эта девица мне сказала: «Почему вы не купите стиральную машину?» Является ко мне на кухню, смотрит вокруг и начинает мне объяснять, как я должна жить.

— Но вы, конечно, поняли, что она ничего худого не имела в виду.

— Разумеется, она ничего не имела в виду. Она только хотела сказать — чего ради я торчу в этакой развалюхе, а она, мол, явилась из этого огромного сарая на Джозеф-стрит, где кухня набита всякими новомодными штуками, и как же мне повезло, что я сумела сбагрить своего сына малютке с таким прекрасным приданым? Мне всегда не нравились ее глаза. Они никогда не смотрят вам в лицо.

Она поворачивается к Экклзу, и он, предупрежденный заранее, отвечает на ее взгляд. Под запотевшими очками — они старомодные, со стальной оправой, бифокальные полумесяцы отсвечивают розовыми бликами — дерзко открывает свою замысловатую мясистую нижнюю часть ее курносый нос. Широкий рот слегка растянут в неопределенном ожидании. Экклзу ясно, что эта женщина любит поострить. Трудность общения с остряками состоит в том, что они смешивают то, во что верят, с тем, во что не верят, лишь бы скорее произвести желанный эффект. Странно, но она ему очень нравится, хотя и набрасывается на него так же грубо, как на свое грязное белье. Но в том-то и дело, что для нее это одно и то же. В отличие от миссис Спрингер, она его, в сущности, просто не видит. Она в конфронтации со всем миром, и, защищенный ее необъятным сарказмом, он может спокойно говорить, что ему вздумается.

Он без обиняков становится на сторону Дженис.

— Она робкая.

— Робкая! Однако сумела забеременеть, и бедному Хасси пришлось на ней жениться, когда он сам едва только научился рубашку в брюки заправлять.

— Ему был двадцать один год, как вы изволили выразиться.

— При чем тут годы. Одни умирают молодыми, другие рождаются стариками.

Эпиграммы по любому поводу. Забавно. Экклз громко смеется. Она делает вид, будто не слышит, и с яростным усердием принимается за белье.

— Робкая, как змея, — говорит она. — Эти маленькие женщины просто яд. Семенят вокруг, зыркают своими подлыми глазенками и возбуждают всеобщее сочувствие. От меня она сочувствия не дождется, пускай мужчины плачут. Послушать ее свекра, так она величайшая мученица со времен Жанны д'Арк.

Экклз снова смеется. Так оно и есть.

— А что, по мнению мистера Энгстрома, должен делать Гарри?

— Ползти обратно. Что еще? Он и приползет, бедный мальчик.

Он, в сущности, такой же, как отец. Добрая душа. Наверно, потому-то мужчины и управляют миром. Все они — сплошь душа.

— Довольно необычная точка зрения.

— Разве? Именно это все время твердят нам в церкви. Мужчины — сплошь душа, а женщины — сплошь тело. Не знаю только, у кого мозги. Наверное, у господа бога.

Он улыбается и думает: неужели лютеранская церковь внушает всем такие идеи? Сам Лютер был тоже отчасти таким — в комическом гневе преувеличивал полуправду. Возможно, именно отсюда и берет начало протестантская чеканка мрачных парадоксов. Глубоко укоренившаяся безнадежность лежит в основе подобного образа мыслей. Высокомерие пренебрегает частностями. Впрочем, кто знает — он уже изрядно забыл теологию, которой его пичкали. Ему приходит в голову, что следовало бы повидать, пастора Энгстромов.

Миссис Энгстром продолжает развивать свою мысль.

— Ну вот, а моя дочь Мириам стара, как мир, и всегда была старухой, о ней я никогда не беспокоилась. Я помню, еще давно по воскресеньям мы, бывало, ходили гулять к каменоломне, Гарольд так боялся — ему было не больше двенадцати, — он так боялся, что она упадет в пропасть. Я-то знала, что она не упадет. Вы только на нее посмотрите. Она не выйдет замуж из жалости, как поступил несчастный Хасси, чтобы потом весь мир набросился на него, когда он попытался вырваться на свободу.

— Я бы не сказал, что весь мир на него набросился. Мы с матерью его жены только что говорили о том, что дело обстоит как раз наоборот.

— Напрасно вы так думаете. От меня она пускай сочувствия не ждет. На ее стороне все, начиная с самого президента Эйзенхауэра. Они заговорят ему зубы. *Вы сами* заговорите ему зубы. А вот и второй.

Парадная дверь открылась так тихо, что только она это слышит. На кухню входит ее муж, он в белой рубашке и галстуке, но под ногтями черные полоски — он наборщик. Такой же высокий, как жена, он кажется меньше ее ростом. Губы в самоуничижении шевелятся над плохо пригнанными искусственными зубами. Нос у него, как у Гарри, — аккуратная гладкая пуговка.

— Добрый день, святой отец, — говорит он. Одно из двух — либо он католик, либо вырос среди католиков.

— Очень рад познакомиться с вами, мистер Энгстром. — Рука у Энгстрома жесткая по краям, но ладонь мягкая и сухая. — Мы говорили о вашем сыне.

— Я в ужасе от его поведения.

Экклз ему верит. Вид у Эрла Энгстрома серый и изможденный. Вся эта история его явно доконала. Он сжимает губы над ускользающими зубами, словно человек с больным желудком, который пытается подавить отрыжку. Кажется, будто что-то грызет его изнутри. Краска, как дешевые чернила, сошла с его глаз и волос. Прямолинейный человек, он измерял свою жизнь полиграфической

линейкой, плотно уложил все строки на верстатку, а утром пришел и увидел, что кто-то рассыпал весь набор.

— Он все твердит и твердит про эту девку, словно она богородица, — говорит миссис Энгстром.

— Неправда, — мягко возражает мистер Энгстром и садится за белый кухонный стол. Четыре прибора, которые ставились на него из года в год, протерли черные пятна на эмали. — Я просто не понимаю, как Гарри мог устроить такую неразбериху. В детстве он всегда был очень аккуратный. Он не был неряшливым, как другие мальчики. Он всегда хорошо работал.

Не смывая пены с красных рук, миссис Энгстром принимается варить мужу кофе. Этот маленький знак внимания приводит ее в согласие с ним; они, подобно многим старым семейным парам, которые внешне как будто не в ладах, неожиданно начинают говорить одно и то же.

— Это все армия, — поясняет она. — Когда он вернулся из Техаса, его просто нельзя было узнать.

— Он не захотел идти в типографию, — говорит Энгстром. — Не хотел пачкаться.

— Преподобный Экклз, хотите кофе? — спрашивает миссис Энгстром.

Наконец-то настал его час.

— Нет, спасибо. Но я с удовольствием выпил бы стакан воды.

— Воды? Может быть, со льдом?

— Все равно. Какой угодно.

— Да, Эрл прав, — замечает она. — Теперь все говорят, что Хасси ленив, но это неверно. Он никогда не был ленивым. Еще когда он учился в школе, бывало, прихвастнешь, как хорошо он играет в баскетбол, а в ответ слышишь: «Да, он такой высокий, ему это легко дается». Но ведь они не знали, сколько он работал. Каждый вечер дотемна кидал мяч во дворе, до удивления: что он там видит?

— С двенадцати лет он только этим и занимался, — подтверждает Энгстром. — Я вбил для него столб во дворе, гараж был слишком низкий.

— Если он что-нибудь решил, его не остановишь, — говорит миссис Энгстром. Она с силой нажимает рычажок лотка с ледяными кубиками, и они с хрустом выскакивают наружу, сверкая и искрясь разноцветными искорками. — Он хотел быть первым, и я уверена, что он этого добился.

— Я понимаю, что вы хотите сказать, — говорит Экклз. — Мы иногда играем с ним в гольф, и он уже играет лучше меня.

Она кладет кубики в стакан, наливает воду из крана и подает Экклзу. Он поднимает стакан к губам, и сквозь жидкость до него доносится настойчивый голос Эрла Энгстрома:

— Потом он возвращается из армии и только и знает, что гоняться за юбками. Отказался работать в типографии, потому что ногти будут черные. — Экклз опускает стакан, и теперь Энгстром говорит через стол прямо ему в лицо. — Он стал типичным бруэр-

ским бездельником. Если б я только мог до него добраться, святой отец, я бы из него эту дурь выбил, пусть бы даже он меня прикончил.

Его землистое лицо сердито морщится у рта, бесцветные глаза блестят.

— Что за выражения, Эрл, — говорит ему жена и ставит на стол кофе в чашке с цветочками.

Он опускает глаза и говорит:

— Простите. Когда я думаю о том, что делает этот парень, у меня все нутро переворачивается.

Экклз поднимает стакан, говорит в него, как в мегафон: «Нет», допивает воду, из-под ледяных кубиков, которые толкутся у него под носом, больше ничего уже не высосать, вытирает губы и добавляет:

— В вашем сыне очень много доброты. Когда я с ним, мне, разумеется, совсем некстати, становится так весело, что я забываю, зачем его позвал. — Он смеется, глядя сначала на Энгстрома, но не вызвав у него ни тени улыбки, переводит взгляд на миссис Энгстром.

— Этот ваш гольф, — говорит мистер Энгстром. — Зачем он вам нужен? Почему родители Дженис не обратятся в полицию? Если хотите знать мое мнение, его надо как следует вздуть, и притом поскорее.

Экклз косится на миссис Энгстром и чувствует, что дуги его бровей прилипли ко лбу, словно засыхающий клей. еще минуту назад он не ожидал увидеть в ней союзника, а в этом изможденном добром человеке — довольно пошлого, обманувшего все ожидания врага.

— Миссис Спрингер так и хочет сделать, — говорит он Энгстрому. — Но Дженис и ее отец хотят подождать.

— Не пори ерунду, Эрл, — говорит миссис Энгстром. — Неужели мистеру Спрингеру хочется, чтобы его имя попало в газеты? Ты так говоришь, будто бедный Гарри твой злейший враг.

— Да, он мой враг, — отвечает Энгстром. Он двумя руками берется за блюдечко. — В ту ночь, когда я искал его по всем улицам, он стал мне врагом. Ты не можешь судить. Ты не видела ее лица.

— Что мне за дело до ее лицо? По моим понятиям, постаскушки не превращаются в святых только потому, что у них есть свидетельство о браке. Эта девка хотела заполучить Гарри и заполучила его при помощи единственной уловки, какую знала, а других у нее в запасе нет.

— Не говори так, Мэри. Ведь это же пустые слова. Представь себе, что я поступил бы, как Гарри.

— Ах, вот оно что, — говорит она, и Экклз вздрагивает, видя, что лицо у нее напряглось и она вот-вот выпустит новый снаряд. —Я тебя не домогалась, это ты меня домогался. Или не так?

— Конечно, именно так, — бормочет Энгстром.

— Ну так нечего сравнивать.

Энгстром сгорбился над кофе и совсем ушел в себя.

— Ах, Мэри, — вздыхает он, не смея вставить ни слова.

Экклз пытается его защитить, в споре он почти автоматически переходит на сторону слабейшего.

— Мне думается, вы не правы. Дженис наверняка была уверена, что их брак основан на взаимном чувстве, — говорит он миссис Энгстром. — Будь она хитрой интриганкой, она бы не позволила Гарри так легко сбежать.

Теперь, когда миссис Энгстром убедилась, что нажала на мужа достаточно сильно, ее интерес к дискуссии угас. Ее точка зрения — Дженис не пропадет — столь очевидно неверна, что ей приходится пойти на уступки.

— А она и не позволяла ему сбежать, — говорит она. — Она получит его обратно. Вот увидите.

Экклз обращается к Энгстрому — если он согласен с женой, они все трое будут заодно, и он сможет уйти.

— Вы тоже считаете, что Гарри вернется?

— Нет, — говорит Энгстром, опустив глаза. — Никогда. Он слишком далеко зашел. Он теперь будет опускаться все ниже и ниже, пока мы вообще сочтем за лучшее выкинуть его из головы. Будь ему двадцать ли двадцать два, но в его возрасте... У нас в типографии иногда появляются этакие молодчики из Бруэра. Они ни на что не пригодны. Вроде инвалидов, только что не хромают. Подонки, вот они кто. А я уже два месяца сижу за своей машиной и думаю, почему мой Гарри так поступает, ведь он всегда ненавидел беспорядок и неразбериху.

Экклз поворачивается к матери Гарри и в изумлении видит, что она стоит, опираясь о раковину, и под ее очками блестят мокрые щеки. Глубоко потрясенный, он встает. Почему она плачет — потому, что муж говорит правду, или потому, что ей кажется, будто он говорит это, чтобы ее обидеть, в отместку за вынужденное признание, что он ее домогался?

— Я надеюсь, что вы ошибаетесь, — говорит Экклз. — Мне пора ехать. Благодарю вас обоих, что вы обсудили со мной это дело. Я понимаю, как вам должно быть неприятно.

Энгстром провожает его к выходу и в темной столовой касается его руки.

— Он так любил, чтобы все было хорошо, — говорит он, — я никогда не видел такого мальчика. Он страшно болезненно воспринимал любую ссору в семье, пусть даже мы с Мэри, как бы это сказать, просто шутили.

Экклз согласно кивает, сильно сомневаясь, что слово «шутили» соответствует только что виденному.

В полумраке гостиной стоит девушка в летнем платье без рукавов.

— Мим! Ты только что пришла?

— Да.

— Это святой отец... то есть преподобный...

— Экклз.

— Да, Экклз, он приезжал поговорить с Гарри. Моя дочь Мириам.

— Здравствуйте, Мириам. Гарри всегда с большой любовью про вас вспоминает.

— Хелло.

От этого слова большое окно у нее за спиной приобретает интимный блеск большого окна в кафе. Кажется, что позади раздаются небрежные приветствия, витает сигаретный дым и запахи дешевых духов. Нос миссис Энгстром повторяется на лице девушки в утонченном варианте, он приобретает сарацинскую или какую-то еще более древнюю, варварскую заостренность. Если начинать с длинного носа, то можно подумать, будто рост она унаследовала от матери, но, глядя на нее рядом с отцом, понимаешь, что она и ростом в него — усталый мужчина и красивая девушка как две капли воды похожи друг на друга. Оба одинаково узкие — словно лезвие ножа, — и теперь, когда Экклз увидел, как под очками миссис Энгстром открылись старые раны, он знает, что этот нож может причинить боль. Их узость и усмиренное мещанство раздражают Экклза. Эти двое не пропадут. Они знают, что делают. Его слабость — люди, которые не знают, что делают. Беспомощные — им и тем, кто на самом верху, увы, ничем не поможешь. Те же, кто более или менее успешно лавируют посередине, с его аристократической точки зрения, обкрадывают и тех и других. Они подходят к двери, Энгстром обнимает дочь за талию, и Экклз думает о миссис Энгстром, безумной узнице, молча стоящей на кухне, о ее мокрых щеках и красных руках. Однако, когда он оборачивается помахать им на прощанье, явная несовместимость этой пары — арабского юноши с серьгами в ушах, исполненного наивного презрения к его, Экклза, пасторскому воротнику, и обрюзглой старой бабы-наборщика, стройных, тесно сплетенных друг с другом, — невольно вызывает улыбку.

Он садится в машину раздосадованный и страдающий от жажды. За последние полчаса было сказано что-то приятное, но он никак не может вспомнить, что́ именно. Он весь исцарапан, взъерошен, ему жарко, в горле пересохло, словно он провел целый день в зарослях колючего кустарника. Он видел полдюжины людей и одну собаку, но ничье мнение не совпало с его собственным — что Гарри Энгстрома стоит спасать и можно спасти. В кустарнике вообще не было никакого Гарри — ничего, кроме затхлого воздуха и мертвых прошлогодних стеблей.

Светлый день клонится к долгому голубому весеннему вечеру. Он проезжает перекресток; за открытым окном верхнего этажа кто-то упражняется на трубе. Ду ду до до да да ди. Ди ди ди да да до до ду. Автомобили тихо шелестят по асфальту, возвращаясь домой с работы. Он едет через поселок, лавируя по косым поперечным улицам, держась параллельно далекому гребню горы. Фриц Круппенбах, лютеранский пастор Маунт Джаджа в течение двадцати семи лет, живет в высоком киричном доме неподалеку от кладбища. Мотоцикл его студента сына, наполовину разобранный, лежит на боку возле подъездной дорожки. У покатого, расположенного причудливыми террасами газона противоестественно ровный зеленовато-желтый цвет — его слишком усердно удобряют,

стригут и пропалывают. Миссис Круппенбах — интересно, будет ли Люси когда-нибудь такая же смиренная, вся в ямочках? — открывает дверь; она в сером платье, презирающем времена года. Седые волосы, заплетенные в плотные косы, короной уложены на голове. С распущенными волосами она, наверно, смахивает на ведьму.

— Он стрижет газон, — говорит она.

— Я хотел бы с ним поговорить. Вопрос касается обоих наших приходов.

— Пожалуйста, поднимитесь в его комнату. Я сейчас его позову.

Весь дом — прихожая, коридоры, лестница, даже кожаный кабинет пастора наверху — пропитан запахом жаркого. Экклз сидит у окна круппенбаховского кабинета на церковной скамье с дубовой спинкой, оставшейся, наверно, после очередного ремонта. Скамья вызывает в нем мальчишеское желание помолиться, но вместо этого он смотрит в долину на бледно-зеленое поле для гольфа, на котором охотно очутился бы вместе с Гарри. Другие партнеры Экклза играют либо лучше, либо хуже него, и только Гарри и то и другое вместе, и только Гарри придает игре отчаянную веселость, словно некий доброжелательный, но эксцентричный повелитель, послал их обоих на безнадежные поиски чего-то совершенно недосягаемого; поиски эти унижают их чуть не до слез, но у каждой метки, в каждом свежем потоке зелени они начинаются сызнова. А Экклз лелеет еще одну надежду — он втайне задался целью одержать победу над Гарри. Он чувствует — то, что лишает Гарри устойчивости, то, что не позволяет ему каждый раз повторять его великолепный легкий удар, — коренится в основе всех проблем, созданных самим Гарри и, нанеся ему решительное поражение, он, Джек, преодолеет эту слабость, этот изъян, и таким образом решит все проблемы. А пока он с удовольствием слушает, как Гарри время от времени восклицает: «Да, да» или «Вот здóрово!». Их согласие порой приводит Экклза в состояние такого неимоверного восторга, такого невинного экстаза, что весь мир с его бесконечной массой подробностей кажется далеким зеленым шаром.

Дом дрожит под шагами хозяина. Круппенбах поднимается в свой кабинет, раздосадованный тем, что его оторвали от газонокосилки. На нем старые черные брюки и мокрая от пота нижняя рубашка. Руки покрыты жесткой седой шерстью.

— Здравствуйте, Чэк, — произносит он густым церковным басом без всякой приветственной интонации. От немецкого акцента слова, словно камни, злобно валятся друг на друга. — Ну, что там у вас?

Экклз, не смея назвать старшего по годам Фрицем, смеется и восклицает: «Здравствуйте!»

Круппенбах кривится. Его тяжелая квадратная голова подстрижена ежиком. Этот человек сделан из кирпича. Словно он и в самом деле родился глиняным и за много десятков лет атмосфера придала ему твердость и цвет кирпича.

— Ну, что? — повторяет он.

— У вас в приходе есть семья по фамилии Энгстром.

— Да.

— Отец — наборщик.

— Да.

— Их сын Гарри два месяца назад бросил жену. Ее родители, Спрингеры, принадлежат к моей церкви.

— Ну, да. Этот парень. Этот парень Schussel [1].

Экклэ не совсем понимает, что это значит. Видимо, Круппенбах не садится, чтобы не запачкать своим потом мебель. Экклэ, который, словно мальчишка-хорист, сидит на церковной скамье, попадает в положение просителя. Запах жареного мяса усиливается по мере того, как он излагает свою версию произошедшего: что Гарри был несколько избалован своими спортивными успехами; что жена его, честно говоря, проявила слишком мало воображения в их браке; что сам он в качестве священника пытался разбудить совесть молодого человека по отношению к жене, не настаивая, однако, на преждевременном воссоединении, ибо проблема молодого человека не столько в недостатке чувств, сколько в необузданном их избытке; что от тех и других родителей по различным причинам помощи ждать не приходится; что всего лишь несколько минут назад он оказался свидетелем ссоры между Энгстромами, ссоры, которая, возможно, дает ключ к загадке, почему их сын...

— Вы считаете, — перебивает его Круппенбах, — вы считаете, что ваша задача вмешаться в жизнь этих людей? Я знаю, чему теперь учат в семинарии — всей этой психологии и так далее.

Но я с этим не согласен. Вы считаете, что ваша задача быть бесплатным врачом, носиться туда-сюда, затыкать все дыры и сглаживать все углы. Я этого не считаю. Я не считаю, что это входит в ваши обязанности.

— Я только...

— Нет уж, дайте мне кончить. Я прожил в Маунт Джадже двадцать семь лет, а вы всего только два года. Я выслушал ваш рассказ, но извлек из него не то, что он говорил об этих людях, а то, что он говорил о вас. Это был рассказ о служителе господа бога, который поменял свою миссию на несколько жалких сплетен и несколько матчей в гольф. Какое, по-вашему, дело господу богу до того, что один инфантильный муж бросает одну инфантильную жену? Задумываетесь ли вы еще о том, что видит господь? Или вы уже выше этого?

— Разумеется, нет. Но мне кажется, наша роль в подобной ситуации...

— Вам кажется, что наша роль быть полицейскими, полицейскими, у которых нет наручников, нет пистолетов, нет ничего, кроме человеческой доброты. Так или нет? Не отвечайте, а только подумайте, прав я или нет. Так вот что я вам скажу — это дьявольская идея. Я вам скажу — пусть полицейские будут

---

[1] Ветрогон *(нем.)*.

полицейскими и заботятся о своих законах, которые не имеют ничего общего с нами.

— Я согласен, но лишь до некоторой степени...

— Что значит «до некоторой степени»? Тому, что мы должны делать, нет ни причин, ни меры. — Своим толстым указательным пальцем, который между суставами зарос шерстью, он стучит по спинке кожаного кресла, подчеркивая значение слов. — Если господь захочет прекратить страдания, он возвестит царствие свое немедленно. — Джек чувствует, что у него начинает гореть лицо. — Чем, по-вашему, ваши ничтожные друзья выделяются среди миллиардов, которых видит бог? На улицах Бомбея каждую минуту умирают люди! Вы говорите: «роль». А я вам говорю, что вы не знаете, в чем состоит ваша роль, иначе вы заперлись бы у себя дома и молились. Вот в чем ваша роль — показывать пример истинной веры. Вот откуда приходит утешение — от веры, а не от мелкой суеты, не от того, что вы устраиваете бурю в стакане воды. Бегая взад-вперед, вы убегаете от долга, который господь дал вам, чтоб укрепить вашу веру, чтобы, когда раздастся зов, вы смогли бы выступить вперед и сказать им: «Да, он умер, но вы снова увидите его на небе. Да, вы страдаете, но вы должны *любить* свою боль, потому что это боль *Иисуса Христа*». Вот почему воскресным утром, когда мы предстаем перед ними, мы должны являться не измученные горем, а полные мыслями о Христе, мы должны гореть, — он сжимает свои волосатые кулаки, — гореть мыслями о Христе, мы должны зажечь их силою нашей веры. Вот почему они приходят, а иначе за что они станут нам платить? Все остальное, что мы можем сказать или сделать, может сказать или сделать каждый. На то у них есть врачи и юристы. Все это сказано в Священном писании — разбойник, который верит, дороже всех фарисеев. Не ошибитесь. Я говорю вам серьезно. Не ошибитесь. Для нас не существует ничего, кроме Христа. Все остальное, все эти приличия и усердие — ничто. Козни дьявола.

— Фриц, — раздается снизу осторожный голос миссис Круппенбах. — Ужин готов.

Краснолицый человек в нижней рубашке смотрит сверху вниз на Экклза и спрашивает:

— Хотите ли вы преклонить со мною колени и помолиться о том, чтобы Христос снизошел в эту комнату?

— Нет. Нет, не хочу. Я слишком сердит. Это было бы лицемерием.

Отказ, немыслимый в устах мирянина, если не смягчает Круппенбаха, то несколько его успокаивает.

— Лицемерие, — говорит он кротко. — Это несерьезно. Разве вы не верите в вечные муки? Разве, надевая этот воротник, вы не знали, чем рискуете?

Глаза его кажутся мелкими изъянами на кирпичной коже лица; розовые и блестящие, они как бы горят от сильного жара.

Не дожидаясь ответа, Круппенбах поворачивается и идет вниз ужинать. Джек спускается следом за ним, направляясь к двери. Сердце его стучит, как у испуганного ребенка, колени дрожат от

ярости. Он пришел обменяться информацией, но стал жертвой какой-то безумной игры. Напыщенный елейный старый гуни не имеет ни малейшего представления о миссии церкви как провозвестника света и наверняка пролез в нее из мясной лавки. Джек понимает, что это злобные и недостойные мысли, но не может их отогнать. его отчаянье настолько глубоко, что он пытается загнать его еще глубже, повторяя: *он прав, он прав,* чтобы — как это ни глупо — вызвать слезы и очиститься от этой скверны, сидя за идеально круглым зеленым рулем «бьюика». Плакать он не может — внутри все пересохло. Стыд и поражение висят на нем тяжелым мертвым грузом.

Хотя он знает, что дома его ждет Люси, — если обед еще не готов, он успеет выкупать детей, — он вместо этого едет в аптеку в центр поселка. Подстриженная под пуделя девица за прилавком — она из его молодежной группы — и два прихожанина, которые покупают лекарства, противозачаточные средства или туалетную бумагу, радостно его приветствуют. Вот куда они ходят за утешением. Экклзу хорошо, в общественных местах он чувствует себя лучше всего. Положив руки на чистый холодный мрамор, он заказывает ванильное мороженое с содовой и еще шарик с кленовым сиропом и грецким орехом и в ожидании, пока их принесут, выпивает два стакана восхитительной прозрачной воды.

Клуб «Кастаньеты», получивший свое название во время войны, когда все помешались на Южной Америке, занимает треугольное здание там, где Уоррен-авеню под острым углом пересекает улицу Скачущей Лошади. Это южная часть Бруэра, здесь живут итальянцы, негры и поляки, и Кролик считает это заведение сомнительным. Окна из стеклянной черепицы, нагло ухмыляющиеся на фасаде, делают его похожим на крепость смерти, а тускло освещенный полированный интерьер напоминает модную похоронную контору — горшки с цветами, утешительный писк музыки, запах ковров, ламп дневного света, пластинок от жалюзи и еле заметный запах спиртного. Сперва мы его пьем, а после нас в нем бальзамируют. С тех пор, как одного их соседа на Джексон-роуд уволили к должности служителя похоронной конторы и он стал барменом, Кролику кажется, что эти две профессии както связаны между собой; представители обеих говорят мягкими тихими голосами, очень чистенькие с виду и всегда стоят. Они с Рут заняли кабинку недалеко от входа, и из окна им видно, как вибрируют красные блики, когда неоновые кастаньеты на вывеске перебегают взад-вперед, имитируя стук.

От этого розового трепетанья лицо Рут как бы повисает в воздухе. Она сидит против него. Он пытается представить себе ее прежний образ жизни — гнусное заведение, в котором они сидят, очевидно, знакомо ей не хуже, чем ему раздевалка спортивного зала. Одна только мысль об этом действует ему на нервы; ее беспорядочная жизнь, как и его семья, — нечто такое, о чем он все время пытается забыть. Он был счастлив — вечерами они сидели

в ее квартире; она читала свои детективы, он либо бездельничал, либо бегал в кулинарию за имбирным пивом, а иногда они ходили в кино, — но того, что здесь, ему не надо. В тот первый вечер дайкири, может, и пошел ему на пользу, но с тех пор он никогда не помышлял о выпивке и надеялся, что и она тоже. Вначале так оно и было, но с некоторых пор что-то ее грызет, она отяжелела и временами поглядывает на него так, словно он свинья, и только. Он не знает, в чем его вина, но знает, что легкость почему-то исчезла. И вот сегодня звонит ее так называемая подруга Маргарет. Телефонный звонок перепугал его насмерть. Последнее время он стал бояться, что за ним придут полицейские, или его мать, или кто-нибудь еще, у него появилось такое чувство, будто по ту сторону горы что-то нарастает. После того как он тут поселился, несколько раз звонил телефон, и кто-то низким голосом спрашивал: «Рут?» или, услыхал голос Кролика, вешал трубку. Потом звонили снова, Рут повторяла в трубку «нет, нет», и этим дело кончалось. Она знает, как с ними обращаться, да и звонило-то всего человек пять. Прошлое, как лоза, держалось лишь за эти пять усиков и легко оборвалось, оставив ее чистой, голубой и пустой. Но сегодня из этого прошлого явилась Маргарет, которая пригласила их в «Кастаньеты», и Рут захотела пойти и Кролик пошел с ней. Просто для разнообразия. Ему скучно.

— Что ты будешь пить? — спрашивает он.

— Дайкири.

— Ты уверена? Ты уверена, что тебя от него не стошнит? — Он заметил, что иногда ее как будто тошнит, и она отказывается от еды, а иногда готова съесть весь дом.

— Нет, не уверена, но почему меня не должно тошнить?

— Не знаю почему. Других ведь не тошнит.

— Послушай, оставь хоть на минутку свою философию. Позаботься, чтобы мне принесли выпить.

Цветная девица в оранжевом платье, которое, судя по оборкам, должно изображать нечто южноамериканское, подходит к столику и он заказывает два дайкири. Она захлопывает блокнотик, уходит, и в глубоком вырезе у нее на спине он видит кусочек черного бюстгальтера. В лучах света ее кожа вовсе не кажется черной, просто приятный густой цвет, на лопатках играют фиолетовые тени. Она немножко косолапая и идет неторопливой походкой, размахивая своими оборками. Она не обращает на него никакого внимания; и ему нравится, что она не обращает на него внимания. А Рут последнее время пытается внушить ему, будто он в чем-то виноват.

— Ты на что смотришь? — спрашивает она.

— Ни на что.

— Тебе этого нельзя, Кролик. Ты слишком белый.

— Веселое у тебя сегодня настроение.

— А я всегда такая, — вызывающе улыбается она.

— Надеюсь, что нет.

Негритянка возвращается и ставит перед ними дайкири. Они молчат. Позади открывается дверь, и вместе со струей холодного

воздуха входит Маргарет. Вдобавок ко всему ее сопровождает тип, которого он вовсе не желает видеть, — Ронни Гаррисон.

— Хелло, — говорит Маргарет Кролику, — вы все еще при ней?

— Черт побери, да это же великий Энгстром! — восклицает Гаррисон, словно пытается во всем заменить Тотеро, и нагло добавляет: — Я кое-что о тебе слышал.

— Что ты слышал?

— О, разное.

Гаррисон никогда особенно не нравился Кролику, и теперь он лучше не стал. В раздевалке он вечно болтал о своих успехах у женщин. У него было жирное волосатое брюхо, и это брюхо сильно раздулось. Гаррисон толст. Толст и наполовину лыс. Его курчавые бронзовые волосы поредели, и когда он поворачивает голову, на черепе проглядывает розовая кожа. Этот розовый цвет кажется Кролику непристойным. Однако он вспоминает, что однажды Гаррисон вернулся на площадку после того, как кто-то выбил ему локтем два зуба, и хочет ему обрадоваться. На площадке одновременно всегда бывает пятеро, и на это время остальные четверо представлялись ему единственными в мире.

Но все это кажется таким далеким и с каждой секундой, что Гаррисон стоит тут, глупо ухмыляясь, отодвигается все дальше. На нем узкий в плечах летний костюм из какого-то искусственного полотна, и эта торчащая рядом самодовольная модная тряпка бесит Кролика. Он чувствует, что его окружают. Вопрос в том, кто где будет сидеть. Они с Рут сели друг против друга, что было ошибкой. Гаррисон принимает решение и ныряет на место рядом с Рут; движения его, чуть-чуть замедленные, выдают хромоту от старой футбольной травмы. Кролик никак не мог отвлечься от недостатков Гаррисона. Его эффективный костюм в стиле аристократического колледжа испорчен черным шерстяным галстуком, как у итальянца. Когда он открывает рот, видны два вставных зуба, которые не совсем подходят к остальным.

— Как жизнь, старина? Я слышал, ты преуспеваешь, — говорит он, подмигивая Рут, которая сидит чурбан чурбаном, держа обеими руками бокал дайкири. Суставы ее пальцев покраснели от мытья посуды. Когда она поднимает ко рту бокал, сквозь него виден искаженный подбородок.

Рядом с Кроликом корчится Маргарет. Она такая же суетливая, как Дженис. Ее присутствие в левом углу его поля зрения ощущается, словно мокрая грязная тряпка, которую подносят к лицу

— Где Тотеро? — спрашивает он ее.

— Тотер-кто?

Рут хихикает, черт бы ее побрал. Гаррисон наклоняется к ней и, блестя розовой лысиной, что-то шепчет Ее губы расползаются в улыбке — точь-в-точь как в тот вечер в китайском ресторане. Что бы он ни сказал, ей все нравится, и вся разница лишь в том, что сегодня это Гаррисон, а он, Кролик, сидит напротив них, привязанный к этой ненавистной девке. Он уверен, что Гаррисон шепчет что-то про него, про «старину». С той самой

минуты, когда их стало четверо, ясно, что козлом отпущения будет он. Как в тот вечер Тотеро.

— Вы отлично знаете кто, — говорит он Маргарет. — Тотеро.

— Наш бывший тренер, Гарри! — восклицает Гаррисон и наклоняется через стол, чтобы прикоснуться к пальцам Кролика. — Человек, который сделал нас бессмертными!

Кролик на дюйм отодвигает свои пальцы, чтобы Гаррисон не мог до них дотронуться, и Гаррисон с самодовольной усмешкой отдергивает руку; при этом его ногти со скрипом царапают скользкий полированный стол.

— Меня, ты хочешь сказать, — отзывается Кролик. — Ты был пустым местом.

— Пустым местом. Это звучит немного жестоко. Это звучит немного жестоко, Гарри, дружище. Давай обратимся к прошлому. Когда Тотеро хотел вывести кого-нибудь из игры, кого он посылал на площадку? Когда он хотел, чтобы кто-то прикрывал классного игрока вроде тебя, кого он выбирал для этой цели? — Он хлопает себя по груди. — Ты был слишком яркой звездой, чтобы пачкать руки такими делами. Ты ведь никогда никого не трогал, верно? И в футбол ты тоже не играл и коленок себе не разбивал, так или не так? Нет, сэр, только не птичка Гарри — ему надо беречь свои крылышки. Подавай ему мяч и смотри, как он бросает его в корзину.

— И он в нее, между прочим, попадал, если ты заметил.

— Иногда. Иногда попадал. Не морщи свой носик, Гарри. Не думай, что мы не ценим твой талант.

Судя по тому, как он действует руками — бьет по столу, заученными движениями поднимает их и опускает, Кролик делает вывод, что он частенько разглагольствует за столом. Однако руки слегка дрожат, и, заметив, что Гаррисон его побаивается, Кролик теряет к нему всякий интерес. Приходит официантка; Гаррисон заказывает виски со льдом для себя и Маргарет и еще один дайкири для Рут; Кролик смотрит вслед удаляющейся темной спине, словно на свете нет ничего лучше, чем этот треугольничек черного бюстгальтера между двумя лиловато-коричневыми подушками мышц. Он хочет, чтобы Рут заметила его взгляд.

Гаррисон теряет свою коммивояжерскую уверенность.

— Я тебе не рассказывал, что́ однажды говорил мне про тебя Тотеро? Ты меня слушаешь, ас?

— Что же он говорил?

О, господи, этот тип просто старый зануда, а ведь ему еще и тридцати нет.

— Он мне сказал: «Это строго между нами, Ронни, но я надеюсь, что ты воодушевишь команду. Гарри никогда не думает о команде».

Кролик смотрит сверху вниз на Маргарет и через стол на Рут.

— А теперь я расскажу вам, что было на самом деле. Гаррисон пришел к Тотеро и заявил: «Настоящий лидер — это я, верно, тренер? Я — настоящий ас, верно? Не то, что этот паршивый хвастун Энгстром». А Тотеро, наверно, спал и ничего ему не ответил,

вот Гаррисон с тех пор и воображает, будто он — настоящий герой, классный игрок. Понимаете, когда в баскетбольной команде появляется какой-нибудь неуклюжий толстозадый коротышка, который ни на что не способен, его называют классным игроком. Не знаю уж, где он разыгрывает все эти игры. Наверно, у себя в спальне.

Рут смеется, меньше всего он хотел ее рассмешить.

— Это неправда. — Тренированные руки Гаррисона мелькают еще более суетливо. — Тотеро мне это сам сказал. Впрочем, ничего нового в этом не было, это вся школа знала.

— Неужели? Никто никогда ему не говорил.

— О, господи, давайте не будем говорить о *баскетболе.* Куда б я с этим подонком ни пошла, мы только о нем и говорим, — вставляет Рут.

Неужели на его лице появилось сомнение, и она сказала это, чтобы его подбодрить? Неужели она хоть капельку его жалеет?

Гаррисон, очевидно, догадался, что вел себя немного нахальнее, чем приличествует обходительному коммивояжеру. Он вынимает сигарету и зажигалку «ронсон» в футляре из крокодиловой кожи. Словно дети, собравшиеся вокруг фокусника, они во все глаза смотрят, как он щелкает ею, извлекая аккуратный язычок пламени.

Кролик поворачивается к Маргарет — при этом ему кажется, будто он точно так же поворачивался к ней миллион лет назад, — и говорит:

— Вы мне так и не ответили.

— Черт его знает, где он. Наверно, вернулся домой. Он был болен.

— В каком смысле? Действительно болен, или... — Рот Гаррисона кривится в забавной гримасе — он одновременно и улыбается и морщится, словно столичный житель, желающий продемонстрировать жалким провинциалам нечто такое, чего они отродясь не видывали, и, чтобы у них не осталось никаких сомнений, постукивает себя по лбу. — Болен, болен, болен?

— Во всех смыслах, — отвечает Маргарет.

Мрачная тень пробегает по ее лицу и как бы отделяет ее и Гарри, который замечает эту тень, от остальных, уводя их обоих в таинственную эпоху, в которой они оба были миллион лет назад, и Гарри пронзает странное чувство вины от того, что он здесь, а не там, где никогда не бывал. Рут и Гаррисон, сидящие напротив под мигающим красным светом, улыбаются им словно из самого сердца преисподней.

— Дорогая Рут, — говорит Гаррисон. — Как ты живешь? Я часто о тебе беспокоюсь.

— Обо мне можешь не беспокоиться. — Однако она явно польщена.

— Я просто думаю, способен ли наш общий друг обеспечить тебе жизнь в том стиле, к какому ты привыкла.

Негритянка приносит напитки, и Гаррисон размахивает у нее перед носом крокодиловым «ронсоном».

— Настоящая кожа, — замечает он.

— Неужели? — произносит она. — Ваша собственная?

Кролик смеется. Ему нравится эта женщина.

Когда она уходит, Гаррисон наклоняется вперед со слащавой улыбочкой, какой улыбаются детям.

— Известно ли тебе, что мы с Рут как-то раз ездили в Атлантик-Сити? — спрашивает он Кролика.

— С нами была еще одна пара, — поясняет он Гарри.

— Омерзительная пара, — говорит Гаррисон, — которая предпочитала уединение в своем обшарпанном бунгало золотым лучам солнца на воздухе. Представитель ее мужской половины позже с плохо скрытой гордостью мне признался, что он в течение весьма короткого периода в тридцать шесть часов одиннадцать раз подряд пережил оргазматическую кульминацию.

— Послушать тебя, Ронни, так можно подумать, будто ты учился в Гарварде, — смеется Маргарет.

— В Принстоне, — поправляет он. — Я хочу произвести впечатление выпускника Принстона. Гарвард здесь не котируется.

Кролик смотрит на Рут и видит, что она выпила первую порцию дайкири и принялась за вторую. Она хихикает.

— Хуже всего то, что они занимались этим делом в машине. Несчастный Ронни сидел за рулем, лавируя в воскресных пробках, а когда мы остановились перед светофором, я оглянулась и увидела, что у Бетси платье задрано до самой шеи.

— Я не всю дорогу сидел за рулем, — говорит ей Гаррисон. — Помнишь, в конце концов нам все же удалось посадить за руль его.

Голова его наклоняется к Рут за подтверждением, и розовая плешь блестит.

— Да, верно. — Рут смотрит в свой бокал и снова хихикает, возможно, при воспоминании о голой Бетси.

Гаррисон внимательно следит, какое впечатление все это производит на Кролика.

— У этого типа, — продолжает он нагло-обходительным тоном, словно предлагая выгодную сделку, — у этого типа была любопытная теория. Он считал... — руки Гаррисона взлетают в воздух, — он считал, что в самый критический — как бы это получше выразиться? — в самый критический момент следует как можно сильнее ударить партнершу по лицу. Если, конечно, находишься в соответствующем положении. Иначе бей куда попало.

Кролик моргает; он и вправду не знает, как вести себя с этим гнусным типом. И тотчас же, буквально в мгновение ока, под влиянием спиртного, которое испаряется у него под ребрами, он вдруг чувствует, что ему на все наплевать. Он смеется, по-настоящему смеется. Пусть все они катятся к чертям.

— А как насчет того, чтобы кусаться?

Ухмылка Гаррисона, долженствующая означать: «Я тебя понял, приятель», застывает; реакция у него не настолько быстрая, чтобы он мог сразу сориентироваться.

— Кусаться? Не знаю.

— Он, наверно, об этом не подумал. Хороший кровавый

укус — нет ничего лучше. Конечно, я понимаю, восклицает Маргарет. — Как интересно! Ты никогда не говорил.

— Конечно, искусственные, — поясняет ей Кролик. — Неужели вы думали, что эти две клавиши от рояля его собственные? Они ведь и рядом с настоящими не лежали.

Гаррисон сжимает губы, но не может позволить себе отказаться от вымученной ухмылки, и она резко искажает его лицо. Языком он тоже еле ворочает.

— В том доме, куда мы захаживали в Техасе, — говорил Кролик, — была одна девица, так у ней весь зад был так сильно искусан, что напоминал кусок старого картона. Который долго пролежал под дождем. Ее только для того и держали. В остальном она была девственница.

Оглядев слушателей, он видит, что Рут тихонько качает головой, словно хочет сказать: *«Не надо, Кролик»*, так бесконечно грустно, так грустно, что тонкий слой песка как бы окутывает ему душу и затыкает рот.

— Это похоже на рассказ про ту б..., ах, вы, наверно, не хотите про это слушать, — вставляет Гаррисон.

— Наоборот, хотим. Валяй, — говорит Рут.

— Ну так вот, этот парень... — Лицо Гаррисона качается в мерцающем свете. Руки начинают иллюстрировать рассказ. Бедняге, наверно, приходится раз пять на дню восхвалять достоинства своего товара, думает Кролик. Интересно, чем он торгует, скорее всего идеями, вряд ли чем-нибудь столь же осязаемым, сколь Чудо-Терка. Милая старая Чудо-Терка. Кролику даже кажется, будто он держит ее в руке. Рукоятки были на выбор трех цветов — бирюзовые, алые и золотые. Самое забавное, что она действительно делала все то, что про нее говорили, — действительно чистила и натирала репу, морковь, картошку и редиску быстро и аккуратно, в ней была такая длинная щель с острыми, как у бритвы, краями... Рут безучастно сидит на своем месте, и Кролику приходит в голову ужасная мысль, что ей все равно, для нее нет никакой разницы между ним и Гаррисоном, да и есть ли, в сущности, между ними разница? Весь интерьер затуманивается и сливается в нечто огромное и красное, словно внутренность желудка, который их всех переваривает.

Гаррисон ждет, когда можно будет смеяться вместе со всеми. Все молчат. Товар продать не удалось.

— Это слишком фантастично, — замечает Маргарет.

Кролик покрывается липким потом, и струя воздуха из отворяющейся двери резко холодит ему спину.

— Смотри-ка, уж не твоя ли это сестра? — говорит Гаррисон.

Рут поднимает глаза от бокала.

— Да?

Гаррисон молчит, и тогда она добавляет:

— У нее такое же лошадиное лицо.

Кролику достаточно одного взгляда. Мириам и ее спутник проходят мимо их стола и останавливаются в поисках свободной кабинки. Кафе имеет форму клина, расширяющегося от входа. Бар

находится в середине, по обе его стороны расположен ряд кабинок. Молодая пара направляется к противоположному ряду. Мим в белых туфлях на высоченных каблуках. У парня пушистые светлые волосы, очень коротко остриженные — только-только чтоб пригладить расческой — и ровный, гладкий конфетный загар, какой бывает у тех, кто летом на свежем воздухе не работал, а отдыхал.

— Это ваша сестра? — спрашивает Маргарет. — Симпатичная. Вы с ней, наверно, в разных родителей пошли.

— Ты-то откуда ее знаешь? — спрашивает Кролик Гаррисона.

— А, — неуверенно машет рукой Гаррисон, словно скользя пальцами по жирной полосе в воздухе, — встречал в разных местах.

Кролик сначала хотел сделать вид, будто ничего не замечает, но намек Гаррисона, что его сестра — шлюха, заставляет его встать и по устланному оранжевыми плитками полу обогнуть бар.

— Мим.

— Хелло.

— Что ты тут делаешь?

— Это мой брат, — говорит она своему спутнику, — он воскрес из мертвых.

— Хелло, старший братец.

Кролику не нравится тон мальчишки, не нравится, что он сидит внутри кабинки, а Мим с краю на месте мужчины. Ему вообще не нравится все это — будто Мим выводит его в свет. На мальчишке легкий полосатый пиджак и узкий галстук; с виду он одновременно слишком юный и слишком старый, словно замызганный ученик курсов по подготовке в колледж. Губы слишком толстые. Мим не говорит, как его зовут.

— Гарри, папа с мамой все время из-за тебя ссорятся.

— Если б они знали, что ты шляешься по таким кабакам, они нашли бы еще одну тему для разговоров.

— Для этой части города он не так уж плох.

— Он воняет. Почему бы вам с малышом не убраться отсюда?

— Послушай. Кто тут командует парадом? — спрашивает мальчишка, поднимая плечи и еще больше надувая толстые губы.

Гарри перегибается через стол, зацепляет пальцем полосатый галстук и дергает его кверху. Галстук шлепает мальчишку по толстым губам и несколько искажает его наманикюренную физиономию. Он пытается встать, но Кролик кладет руку на макушку его прилизанной головы, толкает его на место и уходит, все еще сохраняя в кончиках пальцев ощущение твердой узкой мальчишеской головы. За спиной раздается голос сестры:

— Гарри.

Слух у него такой острый, что, огибая бар, он слышит, как малыш хриплым от страха голосом объясняет Мим:

— Он в тебя влюблен.

Вернувшись к своему столу, он говорит:

— Пошли, Рут.

— Мне тут хорошо, — протестует она.

— Идем.

Она начинает собираться, и Гаррисон, нерешительно оглянувшись вокруг, выходит из кабинки, чтобы ее пропустить. Он стоит рядом с Кроликом, и Кролик импульсивно кладет руку на его подбитое ватой псевдопринстонское плечо. По сравнению с кавалером Мим он ему даже нравится.

— Ты прав, Ронни, — говорит он. — Ты был классный игрок.

Получается довольно противно, но намерения у него самые лучшие — в память о старой команде.

Гаррисон соображает слишком медленно, и потому до него не доходит, что Кролик говорит серьезно, он отбрасывает его руку и отвечает:

— Когда ты, наконец, станешь взрослым?

Его вывела из равновесия реакция на его дурацкий анекдот.

На теплых по-летнему ступеньках кафе Кролика разбирает смех.

— Ха-ха-ха, — хохочет он под неоновым светом.

Рут, однако, не до смеха.

— Ты просто псих, — заявляет она.

Идиотка не понимает, что он и вправду взбешен. Его бесит, как она неодобрительно качала головой, когда он попытался сострить; мысль его снова и снова возвращается к той минуте, и каждый раз его от этого коробит. Причин для злости столько, что он даже не знает, с чего начать. Ясно одно — он ее как следует взгреет.

— Значит, ты ездила с этим подонком в Атлантик-Сити.

— Почему он подонок?

— Ну, конечно. Подонок не он, а я.

— Я этого не говорила.

— Говорила. Когда мы сидели в этой паршивой дыре.

— Это просто такое выражение. Ласкательное, хотя я и не знаю почему.

— Не знаешь.

— Не знаю. Стоило тебе увидеть твою сестру с каким-то приятелем, как ты тут же наделал в штаны.

— Ты видела сопляка, с которым она явилась?

— А что в нем такого? По-моему, вполне приличный парень.

— По-твоему, они все приличные парни.

— Не понимаю, почему ты ведешь себя, словно всемогущий судия.

— Да, милая, по-твоему, всякий, кто ходит в штанах, приличный парень.

Они идут по Уоррен-авеню. До их дома еще семь кварталов. Ветер теплый, люди сидят на ступеньках, слышат их разговор, и потому они стараются говорить тихо.

— Знаешь, если встреча с сестрой так на тебя подействовал, я рада, что мы не женаты.

— Это еще к чему?

— Что — это?

— Женитьба.

— Ты же сам начал, в ту первую ночь. Ты забыл, что все время об этом говорил и целовал мне палец, где должно быть кольцо?

— Это была приятная ночь.

— Ну и ладно.

— Ничего не ладно. — Кролик чувствует, что его загнали в угол, и если он теперь попробует ее взгреть, ему придется с ней покончить навсегда, вычеркнуть все, что у них было хорошего. Но она сама виновата — зачем потащила его в эту вонючую дыру.

— Ты спала с Гаррисоном?

— Может быть. Да.

— Может быть? Ты что, не знаешь?

— Я сказала — да.

— А еще сколько у тебя их было?

— Не знаю.

— Сто?

— Бессмысленный вопрос.

— Почему бессмысленный?

— Это все равно, что спрашивать, сколько раз ты ходил в кино.

— Ты хочешь сказать, что для тебя это одно и то же?

— Нет, не одно и то же, но я не вижу смысла в подсчетах. Ты знал, чем я занималась.

— Не совсем уверен. Ты была настоящей проституткой?

— Я брала немного денег. Я же тебе говорила. Когда я работала стенографисткой, у меня были приятели, и у них тоже были приятели, а потом меня уволили, возможно, из-за сплетен, я точно не знаю, а еще некоторые мужчины постарше, наверно, узнали про меня от Маргарет. Не знаю. Послушай. С этим покончено. Если ты думаешь, что это грязно или еще что-нибудь в этом роде, то многие замужние женщины делают это гораздо чаще, чем я.

— Ты позировала для фотографий?

— Для тех, что продают школьникам? Нет.

— А что-нибудь еще не делала?

— Может, нам пора сказать друг другу до свиданья?

При этой мысли у нее дрожит подбородок, горят глаза, и она чувствует к нему такую ненависть, что ей даже и в голову не приходит открыть ему свою тайну. Ей кажется, что тайна, скрытая у нее внутри, не имеет ничего общего с ним, с этим большим телом, которое шагает рядом с ней под фонарями и, жадное, как призрак, напрашивается на слова, которые еще больше его взвинтят. Кролик представляется ей таким же, как все остальные мужчины, с той только разницей, что в своем неведении он приковал ее к себе, и теперь она не может уйти.

С унизительной благодарностью она слышит:

— Нет, я не хочу говорить тебе до свиданья. Я только хочу ответа на мой вопрос.

— Ответ на твой вопрос — да.

— Гаррисон?

— Почему Гаррисон для тебя так много значит?

— Потому что он дерьмо. И если тебе все равно, что Гаррисон, что я, значит, я тоже дерьмо.

На секунду ей кажется, что ей действительно все равно — она даже предпочла бы Гаррисона, хотя бы для разнообразия, хотя бы потому, что он не считает себя лучше всех на свете, — но это неправда.

— Нет, мне не все равно. Вы в разных спортивных лигах.

— Когда вы с ним сидели против меня в кафе, у меня появилось очень странное чувство. Что у тебя еще с ним было?

— Да не знаю я. Что вообще у людей бывает? Спят, стараются сблизиться.

— Ну, хорошо, а ты согласна, чтоб у тебя со мной было все то, что и с ним?

От этих слов кожа у нее почему-то так сильно натянулась, что все тело сжимается, будто под прессом, и к горлу подступает тошнота.

— Если ты хочешь.

Для жены кожа шлюхи слишком тесна.

Он радуется, как мальчишка, зубы в восторге сверкают.

— Только один раз, — обещает он. — Честное слово. Я больше никогда не стану тебя просить.

Он хочет обнять ее, но она отталкивает его. Единственная надежда, что они говорят о разных вещах.

Войдя в квартиру, он жалобно спрашивает:

— Ты не раздумала?

Ее поражает беспомощность его позы — в темноте, к которой ее глаза еще не привыкли, он кажется костюмом, висящим на белой кнопке его собственного лица.

— Ты уверен, что мы говорим об одном и том же?

— А о чем мы, по-твоему, говорим? — Скромность не позволяет ему облечь свои мысли в слова.

Она их произносит.

— Вот именно, — подтверждает он.

— Значит, ты этого хочешь?

— Угу. Неужели это для тебя так страшно?

Проблек его прежней доброты придает ей смелости.

— Можно мне спросить, чем я перед тобой провинилась?

— Мне не понравилось, как ты себя вела.

— Как я себя вела?

— Как та, кем была прежде.

— Я не хотела.

— Неважно. Сегодя я увидел тебя такой и почувствовал, что между нами стена и есть только один способ через нее перейти.

— Очень остроумно. Ты и вправду этого хочешь. — Ее так и подмывает оскорбить его, сказать, чтобы он убирался. Но время уже упущено.

— Неужели это для тебя так страшно? — повторяет он.

— Да, потому что ты так считаешь.

— Может, и не считаю.

— Слушай. Я тебя любила.

— Ну и что? Я тоже тебя любил.

— А теперь?

— Не знаю. Но я все еще хочу тебя любить.

Опять эти проклятые слезы. Она торопит слова, пока голос еще не сорвался.

— Ах, как мило. Ты же просто герой.

— Не умничай. Слушай. Сегодня ты пошла против меня. Я хочу поставить тебя на колени.

— Только и всего?

— Нет. Не только.

Две изрядные порции спиртного привели к печальным результатам — ей смертельно хочется спать, во рту какой-то кислый вкус. Но нутром она чувствует необходимость удержать его при себе и думает: не отпугнет ли его это? Не убьет ли в нем чувство к ней?

— Если я поступлю по-твоему, что это докажет?

— Это докажет, что ты моя.

— Раздеться?

— Конечно.

Он быстро и аккуратно снимает одежду и во всем великолепии своего тела стоит возле тусклой стены. Неловко прислонившись к стене, он поднимает руку и, не зная, куда ее девать, вешает себе на плечо. Во всей его робкой позе чувствуется какая-то напряженность, словно он крылатый ангел, ожидающий слова. Рут раздевается, и прикосновение к собственному телу холодит ей руки. Последний месяц ей все время было холодно. В сумеречном свете он слегка шевелится. Она закрывает глаза и говорит себе: *они вовсе не уродливы. Не уродливы. Нет.*

Миссис Спрингер позвонила в пасторат в самом начале девятого. Миссис Экклз сказала ей, что Джек поехал с юношеской командой играть в софтбол куда-то за пятнадцать миль и она не знает, когда он вернется. Паническое настроение миссис Спрингер передалось по проводам, и Люси два часа звонила всем подряд, пытаясь найти мужа. Стемнело. В конце концов она дозвонилась до священника той церкви, с чьей софтбольной командой они играли, и он сказал, что игра давно кончилась. На улице спустилась тьма, окно, на котором стоял телефон, превратилось в восковое полосатое зеркало, в нем было видно, как она, растрепанная, мечется между телефонной книгой и телефоном. Джойс, слыша беспрерывное щелканье диска, сошла вниз и прильнула к матери. Люси три раза уводила ее наверх и укладывала в постель, но девочка дважды спускалась обратно и в молчаливом испуге тяжелым, влажным телом прижималась к ногам матери. Весь дом, комната за комнатой, окружив тьмой маленький островок света вокруг телефона, полнился угрозой, и когда в третий раз Джойс уже не вернулась, Люси почувствовала себя одновременно и виноватой и покинутой, словно продала теням своего единственного союзника. Она набирала номера всех подопечных Экклза, о которых только могла вспомнить, говорила с секретарем и членами приходского совета, с тремя сопредседате-

лями благотворительного общества, со старым глухим церковным сторожем Генри и даже с органистом — учителем музыки из Бруэра.

Часовая стрелка передвинулась за десять, и Люси стало просто не по себе. Похоже на то, что он ее бросил. Кроме шуток, даже страшно, что ее мужа нет нигде на свете. Она варит кофе и тихонько плачет у себя на кухне. Почему она вообще за него вышла? Что ее привлекло? Его веселость, он всегда был такой веселый. Тот, кто знал его семинаристом, никогда бы не поверил, что он будет принимать все так близко к сердцу. Когда они с друзьями сидели в своих старинных комнатах, где постоянно тянуло сквозняком, где стены были уставлены красивыми голубыми фолиантами с толкованием библейских текстов, все казалось ей изящной шуткой. Она вспоминает, как играла с ними в софтбольном мачте — афанасиане против ариан [1]. А теперь она никогда не видела его веселым; всю свою веселость он растрачивал на чужих, на этот серый, унылый, неосязаемый приход — ее злейшего врага. О, как она ненавидит всех этих въедливых, психованных, ноющих вдов и религиозно озабоченных молодых людей! Хорошо бы сюда пришли русские — они, по крайней мере, отменят всякую религию. Ее вообще надо было отменить сто лет назад. Может, и нет, может, она нужна нам для души, но пусть ею занимается кто-нибудь другой. Джека все это повергает в такое уныние. Иногда его просто жалко, вот и сейчас тоже.

Без четверти одиннадцать он, наконец, приезжает. Оказалось, что он сидел в какой-то аптеке и сплетничал со своими подростками, — эти идиоты обо всем ему рассказывают, все они курят, как паровозы, и вот он является в телячьем восторге от их вопросов, вроде «как далеко» можно «заходить» на свиданиях и все же любить Иисуса.

Экклз сразу видит, что она в ярости. Ему было слишком хорошо в аптеке. Он любит ребят, их вера так безыскусна, так легка.

Люси передает ему свое сообщение в форме упрека, но все ее старания напрасны, ибо, презрев намек на проведенный с ним ужасный вечер, он мчится к телефону.

Он открывает бумажник и между водительскими правами и карточкой публичной библиотеки находит номер телефона, который давно уже хранит, ключ, который можно повернуть в замке один-единственный раз. Набирая номер, он думает, подойдет ли этот ключ, не глупо ли полагаться только на слова молодой миссис Фоснахт с ее зеркальными, пустыми солнечными очками. Далекий телефон дает длинные гудки, словно электричество, эта дрессированная мышь, пронеслось по бесконечно длинным проводам лишь для того, чтобы у самой цели вгрызться в непроницаемую металлическую пластинку. Он молится, но это дурная молитва, молитва, полная сомнений, ему не удается заставить бога подчинить себе мудреное электричество. Бог отступает перед его

---

[1] Афанасиане и ариане — представители различных течений в раннем христианстве.

незыблемыми законами. Надежда рухнула, он не вешает трубку просто по инерции, как вдруг грызущие гудки умолкают, металл отодвигается, и в ухо Экклза врывается принесенная проводами мощная волна воздуха и света.

— Алло. — Мужской голос, но это не Гарри. Он более вялый и грубый, чем голос его приятеля.

— Нет ли здесь Гарри Энгстрома? — Солнечные очки издеваются над его тревогой, он не туда попал.

— Кто это?

— С вами говорит Джек Экклз.

— А. Привет.

— Это вы, Гарри? Я вас не узнал. Вы спали?

— Да, кажется.

— Гарри, у вашей жены начались роды. Ее мать звонила сюда около восьми, но я только что приехал. — Экклз закрывает глаза, он чувствует, что в темной пронзительной тишине подвергается испытанию самая суть его пастырской деятельности.

— Да, — шепотом отвечает его собеседник из далского угла тьмы. — Мне, пожалуй, надо к ней пойти.

— Я бы очень хотел.

— Да, я, пожалуй, должен. Ребенок-то ведь мой.

— Вот именно. Встретимся там. В больнице святого Иосифа в Бруэре. Вы знаете, где она?

— Конечно, знаю. Туда десять минут ходьбы.

— Может, за вами заехать?

— Нет, я дойду пешком.

— Хорошо. Как хотите. Гарри?

— Что?

— Я вами очень горжусь.

— Да что там. Ладно. Пока.

У него такое чувство, будто Экклз говорил с ним из-под земли. Голос звучал оловянно, как из склепа. В спальне Рут полутемно; уличный фонарь, словно низкая луна; окутывает тенями кресло, обремененную тяжестью кровать, скомканную простыню, которую он в конце концов отбросил, слыша, что телефон упорно не желает умолкать. Яркое окно-розетка в церкви напротив все еще светится — лиловое, красное, синее, золотое, будто звуки разных колоколов. Его тело, вся эта конструкция из нервов и костей, звенит и трепещет, как будто серебряная кожа сверху донизу увешана маленькими колокольчиками. Интересно, спал он или нет, а если спал, то сколько — десять минут или пять часов. Он находит свое белье, висящие на стуле брюки и начинает одеваться; руки у него дрожат, перед глазами колышется светящаяся мгла. Белая рубашка уползает, как свившиеся клубком светлячки в траве. Он на секунду останавливается, прежде чем сунуть пальцы в это гнездо, и под его прикосновением оно превращается в надежную мертвую ткань. Он несет ее к угрюмой, прогнувшейся под тяжестью кровати.

— Послушай.

Длинная глыба под одеялом не отвечает. На подушке видна только темная прядь. Он чувствует, что Рут не спит.

— Послушай. Мне надо идти.

Ответа нет. Если она не спала, она слышала все, что он говорил по телефону, но что он сказал? Он не помнит ничего, кроме ощущения, что до него добрались. Рут, тяжелая и молчаливая, лежит на кровати, тело ее закрыто. Ночь такая теплая, что достаточно одной простыни, но она накрылась одеялом, сказав, что ей холодно. Кажется, это были ее единственные слова. Не надо было ее заставлять. Он не знает, зачем он это сделал, хотя в ту минуту ему казалось, что так надо. Он думал, а вдруг ей понравится или хотя бы понравится унижение. Если она не хотела, то почему не сказала нет, на что он, между прочим, надеялся. Кончиками пальцев он все время гладил ей лицо. Ему хотелось поднять ее, приласкать, поблагодарить и сказать: *хватит, ты снова моя,* но он все никак не мог остановиться и все время думал: *сейчас, еще секунду,* пока не стало поздно, и все кончилось. И сразу же ушло это странное текучее чувство неимоверной гордости. Его охватил стыд.

— Моя жена рожает. Я должен быть с ней. Через несколько часов я вернусь. Я люблю тебя.

Закрытое тело и выглядывающий из-под одеяла кудрявый полумесяц волос недвижимы. Он так уверен, что она не спит, что даже думает: *я ее убил.* Смешно, это не могло ее убить, это не имеет ничего общего со смертью, но самая мысль парализует его, мешает подойти, прикоснуться к ней, заставить ее слушать.

— Рут. Я обязан туда пойти, это мой ребенок, а она такая идиотка, что сама не справится. Первые роды были ужасно тяжелые. Я должен быть там.

Возможно, это не лучший способ выразить свою мысль, но он пытается объяснить, и ее неподвижность пугает его и начинает раздражать.

— Рут. Послушай. Если ты ничего не скажешь, я не вернусь. Рут.

Она лежит как мертвое животное или жертва автомобильной катастрофы, прикрытая брезентом. Он чувствует, что, если он подойдет и поднимет ее, она оживет, но он терпеть не может, когда на него оказывают давление, и злится. Он надевает рубашку, отбрасывает пиджак и галстук, но никак не может натянуть носки — ступни у него липкие.

Когда дверь закрывается, прилив невыносимой боли смывает вкус морской воды во рту и таким плотным комком подступает к горлу, что ей приходится сесть, чтобы не задохнуться. Из невидящих глаз катятся слезы, оставляя соленые капли в уголках рта, а пустые стены обретают плотность и реальность. Так было с ней в четырнадцать лет, когда весь мир — деревья, солнце, звезды — все сразу встало бы на место, если б она смогла похудеть на

двадцать фунтов, всего на двадцать фунтов, ведь это сущий пустяк для господа бога, который создал каждый цветок в поле. Только сейчас ей надо не это, она теперь знает, что это предрассудок, она хочет только вернуть то, что у нее было минуту назад, хочет, чтобы здесь с нею был он, он, который умел быть таким добрым, умел превратить ее в цветок, умел снять с нее все тело и сделать ее невесомой. Милая Рут, называл он ее, и если б он сейчас назвал ее «милой», она бы ему ответила, и он все еще был бы в этих четырех стенах. Нет. Она с первой ночи знала, что жена возьмет верх, жены крепко держатся за свое, и к тому же ей очень скверно — тошнота подкатывает к горлу и смывает все остальные заботы. Она идет в ванную, становится на колени на холодные плитки и смотрит на спокойный овал воды в унитазе, как будто вода может чем-то помочь. Возможно, сейчас и не будет рвоты, она стоит тут просто потому, что ей так нравится, ее голая рука лежит на ледяном фарфоровом краю унитаза, она привыкает к тяжести в желудке, которая не растворяется, а остается при ней, и, впадая в полусумеречное состояние, она начинает думать: то, от чего ей так плохо, — нечто вроде друга.

Почти всю дорогу до больницы он бежит. Один квартал до Саммер-стрит, потом по Янгквист — параллельной Уизер-стрит, где расположены кирпичные жилые дома и разные мелкие учреждения и предприятия: сапожные мастерские, пропахшие кожей; темные кондитерские; страховые конторы с фотографиями разрушений, причиненных ураганом, в окнах; конторы по продаже недвижимости, с золотыми буквами на вывесках; книжная лавка. Янгквист-стрит упирается в старинный деревянный мост, перекинутый через железнодорожные рельсы, — стиснутые стенами из заросшего сажей камня, они вьются сквозь центр города, как металлические провода, натянутые вдоль глубокого и темного ущелья, — и, подобно реке, переливающейся розовым отблеском заката, отражают неоновые огни кабаков на Железнодорожной улице. Снизу доносится музыка. Толстые доски старого моста, почерневшие от паровозного дыма, грохочут у него под ногами. Он вырос в маленьком поселке и всегда опасается, как бы его не пырнули ножом в городских трущобах. Он ускоряет бег; мостовая расширяется, появляются счетчики на автостоянках и новый банк для автомобилистов, — им можно пользоваться, не выходя из машины, — напротив старинного здания Ассоциации Христианских Молодых Людей. Он срезает угол по переулку между Ассоциацией и известняковой церковью, чьи окна со свинцовыми рамами повернули к улице оборотную сторону библейских сцен. Он никак не может взять в толк, что они изображают. Из высокого окна Ассоциации слышится стук бильярдных шаров, а в остальном широкая стена здания не подает признаков жизни. Через боковую стеклянную дверь видно, как старый негр подметает прихожую, освещенную зеленым, как в аквариуме, светом. Теперь у Кролика под ногами мясистые семена какого-то дерева. Узкие, как у

тропического растения, листья черными пиками торчат на фоне темно-желтого неба. Наверно, это дерево вывезли из Китая, Бразилии или еще откуда-нибудь, иначе оно бы не выдержало сажи и ядовитых испарений. Автостоянка больницы святого Иосифа — полосатый асфальтовый квадрат — обсажена такими же деревьями, и над их вершинами, в мрачном открытом пространстве, он видит скорбный лик луны, на секунду останавливается и ведет с ней беседу; как вкопанный останавливается на своей кривой короткой тени на асфальте, чтобы поднять взор на этот небесный камень, в котором с металлическим блеском отражается камень, лежащий под горячей кожей у него на сердце. *Сделай, чтобы все было хорошо*, молит он луну и входит в заднюю дверь.

По покрытой линолеумом пропахшей эфиром приемной он подходит к столу.

— Энгстром, — говорит он сидящей за пишущей машинкой монахине. — Здесь должна быть моя жена.

Пухлая, простецкая, как у прачки, физиономия окаймлена полотняными фестончиками, словно испеченный в круглой форме торт. Она справляется в картотеке и с улыбкой отвечает: «Да».

Толстые подушечки щек подпирают маленькие очки в тонкой металлической оправе.

— Вы можете подождать здесь, — показывает она розовой шариковой ручкой. Вторая ее рука лежит возле пишущей машинки, на шнурке черных четок величиной с бусины деревянного яванского ожерелья, которое он когда-то подарил Дженис на рождество. Он стоит и смотрит на монахиню, ожидая вопроса: *она тут уже много часов, где вы пропадали?* Он не может себе представить, что она воспримет его появление как нечто само собою разумеющееся. Под его взглядом ее вялая белая рука, никогда не видевшая солнца, смахивает четки со стола на колени.

В комнате уже сидят двое мужчин. Это главная приемная — люди входят и выходят. Кролик садится в кресло, обитое искусственной кожей, с хромированными подлокотниками, и от прикосновения металла и тревожной тишины ему начинает казаться, будто он в полицейском участке, а те двое — полицейские, которые его арестовали. У них такой вид, словно они демонстративно его не замечают. Он нервно хватает со стола журнал. Это католический журнал формата «Ридерс дайджест». Он пытается читать рассказ о том, как один английский юрист, возмущенный юридически незаконным актом Генриха VIII, конфисковавшего монастырскую собственность, перешел в римско-католическую веру и в конце концов стал монахом. Двое мужчин шепчутся, наверно, это отец и сын. Младший все время сжимает руки и кивает в ответ на шепот старшего.

Входит Эккл; он моргает, из белого воротничка торчит костлявая шея. Здороваясь с сидящей за столом монахиней, он называет ее по имени — сестра Бернард. Кролик встает, ноги у него как ватные. Эккл подходит к нему. Знакомая морщина между бровей в больничном свете кажется жесткой. На лбу выгравированы лиловые линии. Он подстригся; когда он поворачивает голову,

чисто выбритые плоскости над ушами блестят, как синеватые перья на шее голубя.

— Она знает, что я здесь? — Кролик никак не ожидал, что тоже будет говорить шепотом. Он с отвращением слышит свой глухой от страха голос.

— Я попрошу ей передать, если она еще в сознании, — отвечает Экклз так громко, что шепчущиеся мужчины поднимают головы. Он походит к сестре Бернард. Монахиня рада поболтать, и оба смеются: Экклз хорошо знакомым Кролику удивленным хохотком, а сестра Бернард чистыми, тонкими, как флейта, девичьими трелями — их несколько приглушают накрахмаленные оборки вокруг лица. Когда Экклз отходит от стола, она поднимает трубку телефона, стоящего возле ее закутанного тканью локтя.

Экклз возвращается, смотрит ему в лицо, вздыхает и предлагает сигарету с таким видом, словно это облатка, которую дают кающемуся грешнику, и Кролик ее принимает. После многих месяцев воздержания у него от первой затяжки расслабляются мускулы, и он вынужден сесть. Экклз садится рядом на жесткий стул и не делает никаких попыток завязать разговор. Кролик не знает, о чем, кроме гольфа, с ним можно говорить, и, неловко переложив дымящуюся сигарету в левую руку, берет со стола еще один журнал, предварительно убедившись, что он не религиозный: «Сэтердей ивнинг пост». Он открывается на странице, где автор, судя по фотографии, итальянец, рассказывает о том, как он с женой, четырьмя детьми и с *тещей* провел три недели в кемпинге в Канадских Скалистых Горах, всего за сто двадцать долларов, не считая первого взноса за приобретенный в кредит маленький самолет. Мысли Кролика никак не могут идти вровень со словами, они все время соскальзывают со страницы, несутся вихрем, ветвятся, расцвечиваются небольшими смутными картинками, изображающими кричащую Дженис, головку младенца в луже крови, резкий голубой свет, который стоит перед ее глазами, *если она в сознании*, если она в сознании, как сказал Экклз, руки хирурга в красных резиновых перчатках, его марлевую маску и черные детские ноздри Дженис — они расширяются, вдыхая запах антисептика, который он слышит здесь со всех сторон, запах, бегущий по выбеленным стенам, запах того, что отмывают, отмывают — крови, рвотных масс, — отмывают до тех пор, пока каждая поверхность не приобретет запах внутренности ведра, которое никогда не отмоется, потому что мы снова и снова будем наполнять его своим дерьмом. Ему кажется, что сердце его обернуто теплой сырой тряпкой. Он совершенно уверен, что из-за его греха Дженис или ребенок непременно умрут. Его грех — конгломерат бегства, жестокости, непристойности и тщеславия, черный сгусток, воплощенный в родовых извержениях. Хотя его внутренности сжимаются, чтобы выбросить этот сгусток, отменить, вернуть обратно, зачеркнуть содеянное, он не поворачивается к сидящему рядом священнику, а вместо этого снова и снова перечитывает одну и ту же фразу о восхитительной жареной форели.

На самой дальней ветке дерева его страха торчит Экклз,

черная птица, он шелестит страницами журналов и строит сам себе хмурые рожи. Кролику он кажется нереальным; нереальным кажется ему все, что находится за пределами его ощущений. Он чувствует покалывание в ладонях, что-то давит ему то на ноги, то на затылок. Под мышками чешется, как, бывало, в детстве, когда он, опаздывая в школу, мчался по Джексон-роуд.

— Где ее родители? — спрашивает он Экклза.

— Не знаю, — с удивлением отзывается Экклз. — Я спрошу у сестры. — Он порывается встать.

— Нет, нет, ради бога, сидите спокойно.

Гарри раздражает поведение Экклза — можно подумать, что он тут хозяин. Гарри хочет оставаться незаметным, а Экклз шумит. Он так энергично переворачивает страницы журналов, что они трещат, словно кто-то ломает ящики с апельсинами. И как жонглер разбрасывает вокруг окурки.

В приемную входит женщина в белом халате — не монахиня — и спрашивает сестру Бернард:

— Вы не видели тут случайно банку с мебельной политурой? Не могу нигде ее найти. Зеленая банка, наверху еще такая штука вроде кнопки, ее нажимают, и она брызгает.

— Нет, милочка.

Она ищет банку, уходит, через минуту возвращается и объявляет:

— Ну, знаете, это прямо загадка мироздания.

Под далекий перестук кастрюль, колясок и дверей день переходит в ночь, а ночь в следующий день. Сестру Бернард сменяет другая монахиня, очень старая, в синем платье. Словно карабкаясь по ступенькам святости, она остановилась в небесах. Шептавшиеся мужчины подходят к столу, что-то спрашивают и уходят несолоно хлебавши. Кролик с Экклзом остаются вдвоем. Кролик напрягает слух, чтобы из глубины глухого большого лабиринта услышать крик своего младенца. Ему все время кажется, будто он его слышит — скрип башмака, лай собаки на улице, хихиканье сиделки, — любого из этих звуков достаточно, чтобы его обмануть. Он сомневается, что плод мучений Дженис сможет производить хоть сколько-нибудь человеческие звуки. В нем растет уверенность, что это будет чудовище, чудовище, которое он сам сотворил. Вся его жизнь кажется ему цепью бессмысленных гротескных поз, магическим, лишенным веры танцем. *Бога нет; Дженис может умереть* — обе эти мысли приходят одновременно, одною медленной волной. Ему кажется, будто он погрузился под воду, увяз в сетях прозрачной слизи, что его хватают призраки тех извержений, которые он выбрасывал в нежные тела женщин. Его пальцы, лежащие на коленях, без конца перебирают клейкие нити.

Мэри Энн. Усталый и напряженный, но полный ленивой мощи после игры, он находил ее на ступенях парадного входа школы, и сквозь белый ноябрьский туман они шли по гниющим листьям к автомобилю его отца и уезжали куда-нибудь, чтобы включить отопитель и остановиться. Ее тело — ветвистое дерево, полное

теплых гнезд, но всегда это ощущение робости. Словно она не уверена в себе, а он гораздо больше ее, он — победитель. Он являлся с ней победителем, и этого чувства ему потом всегда недоставало. Точно так же и она была лучше всех, потому что с ней он заходил дальше, чем с другими. Порою слепящий свет в гимнастическом зале сгущался в его горящих от пота глазах в смутное предвкушение осторожных прикосновений, которые ожидали их под мягкой серой крышей автомобиля, и, стоило им очутиться там, яркие отблески только что окончившейся игры вспыхивали на ее гладкой коже, расчерченной тенями дождевых струй на ветровом стекле. Поэтому обе эти победы в его мыслях слились воедино. Она вышла замуж, когда он был в армии; постскриптум в письме матери столкнул его с берега. С того дня он поплыл по воле волн.

Но теперь он ощущал радость; от сидения в кресле с истертыми хромированными подлокотниками все его тело сводит судорога, его тошнит от сигарет, но он чувствует радость, вспоминая свою девушку, и кровь его сердца изливается в большую тонкую вазу радости, которую голос Экклза толкает и разбивает.

— Я прочел статью Джеки Енсена от начала до конца, но так и не понял, что он хотел сказать, — говорит Экклз.

— Что?

— Статью Джеки Енсена о том, почему он намерен бросить бейсбол. Насколько я мог понять, проблемы у бейсболиста те же, что и у священнослужителя.

— Не пора ли вам домой? Который час?

— Около двух. Я бы хотел остаться, если вы не против.

— Не бойтесь, я не убегу.

Экклз смеется и продолжает сидеть. Первое впечатление, которое он произвел на Гарри, было упорство, и теперь все, что он узнал о нем за время их дружбы, стерлось, и он снова вернулся к тому же.

— Когда бедняжка рожала Нельсона, это тянулось двенадцать часов, — говорит ему Кролик.

— Вторые роды обычно бывают легче, — говорит Экклз, глядя на часы. — Еще и шести не прошло.

События подгоняют друг друга. Из комнаты для привилегированных посетителей выходит миссис Спрингер; она чопорно кивает Экклзу и, краем глаза заметив Гарри, спотыкается на своих больных ногах в стоптанных полосатых туфлях. Экклз встает и вместе с нею выходит из дверей. Через некоторое время они оба возвращаются вместе с мистером Спрингером, одетым в свежевыглаженную рубашку с крошечным узелком галстука. Он так часто подстригал свои песочные усики, что верхняя губа как-то съежилась.

— Хелло, Гарри, — говорит он.

Это признание существования Гарри со стороны ее мужа, несмотря на беседу, которую, несомненно, провел с ними Экклз, заставляет старуху повернуться к Гарри и сказать:

— Если вы, молодой человек, сидите тут, как стервятник, в надежде, что она умрет, можете с таким же успехом отправляться

туда, откуда явились, потому что она прекрасно обходилась и дальше обойдется без вас.

Спрингер с Экклзом поспешно выводят ее из приемной, а старая монахиня, глядя на них, как-то странно улыбается из-за своего стола. Может, она глухая? Выпад миссис Спрингер, хоть она и всячески старалась его оскорбить, был первым высказыванием, которое хоть в какой-то степени соответствовало чудовищному событию, совершающемуся где-то за стеной больничного запаха мыла. До ее слов ему казалось, будто он остался один на мертвой планете, вращающейся вокруг газообразного солнца родовых мук Дженис; ее крик, пусть это был даже крик ненависти, прорвал его одиночество. Жуткая мысль о смерти Дженис, облеченная в слова, сразу утратила половину своей тяжести. От Дженис исходило странное дыхание смерти — миссис Спрингер тоже его ощутила, и то, что он разделил его с ней, кажется ему самой драгоценной связью, какая есть у него с кем-либо в целом мире.

Мистер Спрингер возвращается, проходит через приемную к выходу, одарив своего зятя болезненно-сложной улыбкой, которая состоит из желания извиниться за жену (мы ведь с вами мужчины), желания держаться подальше (тем не менее вы вели себя непростительно, не трогайте меня) и машинального рефлекса вежливости, свойственного торговцу автомобилями. *Ах ты ничтожество,* думает Гарри, швыряя эту мысль в сторону закрывшейся двери, *ах ты холуй.* Куда все они идут? Откуда приходят? Почему никто не может отдохнуть? Экклз возвращается, дает ему еще одну сигарету и снова уходит. От сигареты у него начинается дрожь в желудке. В горле ощущение, какое бывает, когда проспишь всю ночь с открытым ртом. Его собственное зловонное дыхание время от времени ударяет ему в нос. Доктор — грудь колесом и невообразимо крошечные мягкие ручки, сложенные перед карманом халата, — неуверенно входит в приемную.

— Мистер Энгстром? — обращается он к Гарри. — Я доктор Кроу.

Гарри никогда его не видел; их первого ребенка принимал другой акушер, но те роды были тяжелыми, и отец определил ее к этому врачу. Дженис ходила к нему раз в месяц и без конца рассказывала, какой он деликатный, какие у него мягкие руки и как он тонко понимает чувства беременной женщины.

— Поздравляю. У вас прелестная маленькая дочь.

Он так поспешно протягивает Гарри руку, что тот даже не успевает как следует встать, и потому поглощает эту новость в полусогнутом состоянии. Надраенная розовая физиономия доктора — стерильная маска развязана и свисает с уха, открывая бледные мясистые губы, — расплывается, когда Кролик пытается придать цвет и форму неожиданному слову «дочь».

— Да? Все в порядке?

— Семь фунтов десять унций. Ваша жена все время была в сознании и после родов на минутку взяла на руки младенца.

— Что вы говорите? Взяла на руки? Как она... ей было очень тяжело?

— Н-е-т. Все прошло нормально. Вначале у нее были спазмы, но потом все шло нормально.

— Это замечательно. Большое спасибо. О, господи, большое вам спасибо.

Кроу стоит рядом с ним, улыбаясь неуверенной улыбкой. Поднявшись из бездны мирозданья, он запинается на открытом воздухе. Как странно — последние несколько часов он был к Дженис ближе, чем когда-либо бывал сам Гарри, он копался в самых ее корнях, но не вынес оттуда ни тайны, ни проклятья, ни благословения. Гарри в ужасе ждет, что глаза доктора сейчас начнут метать молнии, но во взоре Кроу нет никакого гнева. Нет даже упрека. Очевидно, Гарри для него лишь еще один в бесконечной процессии более или менее исполненных чувства долга мужей, чье бездумно брошенное семя он всю жизнь пытается пожать.

— Можно мне с ней повидаться? — спрашивает Гарри.

— С кем?

С кем? То обстоятельство, что отныне слово «она» приобрело второе значение, пугает Гарри. Мир усложняется.

— С моей... с моей женой.

— О, конечно, разумеется. — Мягкий и вежливый Кроу как будто даже удивлен, что Гарри спрашивает у него разрешения. Он, безусловно, все знает, но, очевидно, забыл о пропасти вины, которая разверзлась между Гарри и человечеством. — Я подумал, что вы говорите о девочке. Я предпочел бы, чтобы вы подождали до завтра, когда будут приемные часы, сейчас нет сиделки, которая могла бы вам ее показать. Но ваша жена в сознании, я вам уже говорил. Мы дали ей доху экванила. Это всего лишь транквилизатор. Мепробомат. Скажите, — он тихонько подвигается к Гарри, весь в розовой коже и чистой ткани, — вы ничего не имеете против, если сначала к ней на минутку зайдет ее мать? Она всю ночь морочила нам голову.

Он просит *его*, его — беглеца, прелюбодея, чудовище. Он, наверно, слепой. Но, может, когда человек становится отцом, все готовы его простить, ибо это, в сущности, единственное, ради чего мы живем на земле.

— Конечно. Пусть идет.

— До вас или после?

Гарри колеблется, но вспоминает, как миссис Спрингер посетила его на его пустой планете.

— Можно и до меня.

— Благодарю вас. Прекрасно. После этого она сможет уехать домой. Мы ее сразу же выставим. Все займет не больше десяти минут. Вашу жену сейчас готовят сиделки.

— Отлично. — Гарри садится, чтобы показать, какой он послушный, но тут же снова встает. — Спасибо. Большое вам спасибо. Не понимаю, как вы, врачи, все это делаете.

— Она вела себя молодцом, — пожимает плечами Кроу.

— Когда она рожала первого, я от страха чуть не спятил. Это длилось целую вечность.

— Где она рожала?

— В другой больнице. У гомеопатов.

— Угу. — И доктор, который спускался в преисподнюю и не принес оттуда грома, мечет искру презрения при мысли о больнице-конкуренте, энергично качает надраенной головой и, продолжая ею качать, удаляется.

Экклз входит в комнату, ухмыляясь, как школьник, но Кролик не может сосредоточить внимание на его глупой физиономии. Он предлагает устроить благодарственный молебен, и Кролик тупо кивает. Ему кажется, что каждый стук его сердца расплющивается о широкую белую стену. Когда он поднимает глаза, ему чудится, будто все предметы до того полны жизни, что вот-вот оторвутся от земли. Его счастье — лестница-стремянка, с верхней ступеньки которой он старается прыгнуть еще выше — потому что так надо.

Фраза Кроу насчет того, что сиделки «готовят» Дженис, звучала странно, словно речь шла о Королеве Мая [1]. Когда его ведут к ней в палату, он ожидает увидеть у нее в волосах ленты, а на спинках кровати венки из бумажных цветов. Но перед ним всего лишь прежняя Дженис на высокой металлической кровати между двумя гладкими простынями. Она поворачивает к нему лицо и говорит:

— Смотрите-ка, кто пришел.

— Привет, — говорит он и подходит ближе, чтоб ее поцеловать, намереваясь сделать это очень нежно. Он наклоняется к ней, как к стеклянному цветку. Из ее рта несется сладкий запах эфира. К его удивлению, она выпрастывает руки из-под простыни, берет его за голову и прижимает лицом к своему мягкому, полному эфиру рту.

— Осторожно, — говорит Кролик.

— У меня нет ног, — сообщает она. — Так смешно.

Волосы ее собраны в тугой больничный узел, на лице никакой косметики. Маленькая голова темнеет на подушке.

— Нет ног? — Он смотрит вниз и видит, что она лежит под простыней, плоско вытянувшись неподвижной буквой V.

— Под конец мне дали спинномозговую анестезию, или как она там у них называется, и я ничего не чувствовала. Я просто лежала и слушала, как они говорили: «нажмите», а потом вдруг вижу, что эта малюсенькая сморщенная девочка — лицо у нее круглое, как луна, — злобно на меня смотрит. Я сказала маме, что она похожа на тебя, но она и слушать не хочет.

— Она на меня накричала.

— Я не хотела, чтоб ее пускали. Я не хотела ее видеть. Я хотела видеть *тебя*.

— Меня? Почему, детка? После того, как я был такой свиньей.

— Ничего ты не был. Мне сказали, что ты тут, и я все время думала, что это твой ребенок, и мне казалось, что я рожаю *тебя*.

---

[1] Самая красивая девушка, избранная королевой майского праздника (народный праздник в первое воскресенье мая); коронуется венком из цветов.

Я так наглоталась эфира, мне кажется, я куда-то лечу, а ног у меня нет. Мне все время хочется говорить. — Она кладет руки на живот, закрывает глаза и улыбается. — Я совсем пьяная. Смотри, какая я плоская.

— Теперь ты можешь надеть тот купальник, — с улыбкой говорит он и, вступив в течение ее пропитанной эфиром болтовни, начинает чувствовать себя так, словно у него тоже нет ног и он, легкий, как пузырь, незадолго до рассвета плывет на спине по огромному морю чистоты среди накрахмаленных простыней и стерильных поверхностей. Страх и сожаление растворились, а благодарность так раздулась, что у нее уже нет острых углов. — Доктор сказал, что ты молодец.

— Что за чушь. Ничего подобного. Я вела себя ужасно. Вопила, орала, чтоб он не давал воли рукам. Но хуже всего, когда эта страшная старая монахиня начала брить меня сухой бритвой.

— Бедняжка Дженис.

— Нет, это было здорово. Я хотела сосчитать, сколько у нее пальцев на ногах, но у меня так кружилась голова, что я не могла, и потому стала считать, сколько у нее глаз. Оказалось, два. Мы хотели девочку? Скажи, что хотели.

— Да, я хотел. — Он вдруг понял, что это правда.

— Теперь у меня будет союзница против вас с Нельсоном.

— Как поживает Нельсон?

— У-у, он целыми днями только и делал, что твердил: папа сегодня придет? До того мне надоедал, то я готова была выпороть его ремнем, бедняжку. Не напоминай мне про это, это слишком тяжело.

— Ах, черт, — говорит он, и слезы, о существовании которых он не подозревал, обжигают ему переносицу. — Я сам не верю, что это был я. Не знаю, почему я ушел.

Она глубже зарывается в подушку, и широкая улыбка раздвигает ей щеки.

— У меня родился ребенок.

— Это здóрово.

— Ты такой красивый. Высокий. — Она говорит с закрытыми глазами, и когда она их открывает, они до краев наполнены какой-то мыслью; он никогда не видел, чтобы они так сверкали. Она шепчет: — Гарри, моя соседка, что лежала на той кровати, сегодня уехала домой, и ты потом потихоньку проберись сюда, влезь в окно, и мы будем всю ночь лежать и рассказывать друг другу разные истории. Ладно? Как будто ты вернулся из армии или еще откуда-нибудь. У тебя было много женщин?

— По-моему, тебе сейчас надо лечь и уснуть.

— Ну и ладно, зато теперь ты будешь меня больше любить, — она хихикает и пытается пошевелиться. — Нет, я ничего не хотела сказать дурного, ты хороший любовник, ты дал мне ребеночка.

— Ты что-то уж слишком шустрая, тебе сейчас нельзя и думать о таких вещах.

— Это ты так считаешь. Я бы пригласила тебя со мной полежать, но кровать такая узкая. У-у-у-у!

— Что?

— Мне ужасно хочется лимонада.

— Какая ты смешная.

— Это ты смешной. А девчонка так *злобно* на меня смотрела.

Монахиня заполняет своими крыльями дверной проем.

— Мистер Энгстром. Пора.

— Иди поцелуй меня, — говорит Дженис. Она касается его лица, и, наклонившись, он снова вдыхает запах эфира; рот у нее как теплое облачко, он вдруг раскрывается, и она кусает его нижнюю губу. — Не уходи.

— Я ненадолго. Я завтра опять приду.

— Люблю тебя.

— Слушай. Я тебя люблю.

Экклз ждет его в приемной.

— Ну, как она?

— Прекрасно.

— Вы вернетесь туда... м-м-м... туда, где вы были?

— Нет, — в ужасе отвечает Гарри. — Ни в коем случае. Я не могу.

— Может, хотите поехать ко мне?

— Послушайте, с вам уже и так довольно. Я могу пойти к родителям.

— Сейчас слишком поздно их будить.

— Нет, я не могу доставлять вам столько хлопот. — Он уже решил принять приглашение. Все кости у него как ватные.

— Никаких хлопот, я ведь не предлагаю вам навсегда у нас поселиться, — говорит Экклз. Долгая ночь начинает действовать ему на нервы. — У нас масса места.

— О'кей. О'кей. Хорошо. Спасибо.

Они возвращаются в Маунт Джадж по знакомому шоссе. В этот час оно пусто, нет даже грузовиков. Хотя стоит глухая ночь, небо не черного, а какого-то странного серого цвета. Гарри молча смотрит в ветровое стекло; у него застыло тело, застыла душа. Извилистое шоссе кажется большой, широкой, прямой дорогой, которая перед ним открылась. Он ничего не хочет — только идти по ней вперед.

Пасторат спит. Экклз ведет его наверх, в комнату, где стоит кровать с кисточками на покрывале. Он тихонько прокрадывается в ванную, потом, не снимая нижнего белья, свертывается клубочком под шуршащими чистыми простынями, стараясь занимать как можно меньше места. Лежа на краю кровати, он уходит в сон, как черепаха в панцирь. В эту ночь сон — не темное призрачное царство, которое должен завоевать его бодрствующий дух, а пещера внутри него самого, куда он заползает, слушая, как дождь, словно медведь, когтями скребется в окно.

Солнечный свет, старый шут, до краев наполняет комнату. Два розовых кресла стоят по обеим сторонам завешанного тюлем окна, льющийся из него свет словно маслом намазал лохматый от

конвертов письменный стол. Над столом портрет дамы в розовом, которая идет прямо на зрителя. В дверь стучится женский голос.

— Мистер Энгстром. Мистер Энгстром.

— Да,да, — хрипло отзывается он.

— Уже двадцать минут первого. Джек велел вам передать, что приемные часы в больнице от часу до трех. — Он узнает хрусткий, щебечущий голосок жены Экклза. Она закругляет фразу так, словно вот-вот добавит: *какого черта вам надо в моем доме?*

— Да? О'кей. Я сейчас.

Он натягивает брюки цвета какао, которые были на нем вчера, берет с собой в ванную с неприятным ощущением, что все грязное, туфли, носки и рубашку и, откладывая минуту, когда придется надеть их на себя, дает им еще немножко проветриться. Все еще заспанный, хоть и набрызгал воды куда только мог, он выносит их из ванной и спускается вниз босиком и в майке.

Маленькая жена Экклза ждет его в своей большой кухне. На этот раз она в шортах цвета хаки, из босоножек выглядывают накрашенные ногти.

— Как вы спали? — спрашивает она из-за дверцы холодильника.

— Мертвым сном. Даже снов не видел.

— Вот что значит чистая совесть, — говорит она и с элегантным звоном ставит на стол стакан апельсинового сока. Ему показалось, что, увидев его в одной майке, она быстро отвернулась.

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Я перехвачу чего-нибудь в Бруэре.

— Я не собираюсь жарить вам яичницу и так далее. Вы любите пшеничные хлопья?

— Обожаю.

— Прекрасно.

Апельсиновый сок сжигает часть ваты у него во рту. Он рассматривает ее ноги — когда она собирает на стол посуду, белые сухожилия под коленками подпрыгивают.

— Как дела у Фрейда? — спрашивает Кролик. Он знает, что это может плохо кончиться, — если он напомнит ей тот вечер, он напомнит и то, как шлепнул ее по заду, но в присутствии миссис Экклз у него появляется забавное чувство, будто он тут хозяин и потому непогрешим.

Она поворачивается к нему, облизывая языком боковые зубы, от чего рот у нее кривится, и окидывает его холодным задумчивым взглядом. Он улыбается — такое выражение бывает у разбитной девчонки-старшеклассницы, которая хочет показать, будто знает больше, чем говорит.

— Как всегда. С молоком или со сливками?

— С молоком. Сливки слишком густые. Где все?

— Джек в церкви, наверно, играет в пинг-понг с кем-нибудь из своих малолетних преступников. Джойс и Бонни спят, почему — одному богу известно. Они все утро рвались в комнату для гостей посмотреть на непослушного дядю. Я с трудом их удержала.

— Кто им доложил, что я непослушный дядя?

— Джек. За завтраком он сказал: «Вчера я привез к нам непослушного дядю, который скоро станет послушным». Дети дали прозвища всем его подопечным: вы — Непослушный Дядя, алкоголик мистер Карсон — Глупый Дядя, миссис Макмиллиан — Тетя, Которая Звонит По Ночам. Потом есть еще Тетя Зануда, Дядя Слуховая Трубка, Тетя Боковая Дверь и Дядя Веселый Боб. Веселый Боб — самый невеселый человек на свете, но однажды он принес детям целлулоидную погремушку, и они по целым дням сю тарахтели. С тех пор он у нас Веселый Боб.

Кролик смеется, а Люси, подав ему хлопья — слишком много молока, у Рут он привык сам наливать себе молоко, он любит только чуть-чуть смочить хлопья, чтоб молока и хлопьев было пополам, — продолжает весело болтать.

— Однажды из-за этого произошла ужасная неприятность. Джек говорил по телефону с одним из членов приходского совета, и ему пришло в голову, что надо подбодрить того беднягу, дать ему какое-нибудь занятие в церкви, и он возьми да и скажи: «Почему бы нам не сделать Веселого Боба председателем какого-нибудь комитета?» Член совета спрашивает: «Какого Боба?», и тут до Джека доходит, что́ он сказал, но вместо того чтобы замять это дело, как поступил бы всякий другой, он рассазывает ему всю историю, как дети прозвали его Веселым Бобом, и конечно, этот надутый старикашка не находит в ней ничего смешного. Понимаете, они, оказывается, друзья с Веселым Бобом и часто вместе обедают в Бруэре. Уж таков наш Джек — вечно наболтает чего-нибудь лишнего. Да, а теперь этот член приходского совета наверняка всем рассказывает, как пастор издевается над несчастным Веселым Бобом.

Он снова смеется. Появляется кофе в тонкой мелкой чашке с золотой монограммой, и Люси со своей чашкой садится за стол напротив него.

— Значит, он сказал, что я скоро стану послушным.

— Да. Он вне себя от счастья. Когда он уходил из дому, он прямо-таки пел. Он считает, что это первое полезное дело, которое он совершил с приезда в Маунт Джадж.

— Не знаю, что он такого сделал, — зевая, говорит Кролик.

— Я тоже, но послушать его, так он вынес все на своих плечах.

Намек, будто его принудили к чему-то, гладит Кролика против шерсти. Он криво улыбается.

— Не может быть! Он так говорит?

— Беспрерывно. Он вас очень любит. Не знаю уж за что.

— Меня все любят.

— Я без конца об этом слышу. Бедняжку миссис Смит вы просто покорили. Она считает, что вы чудо.

— А вы разве с этим не согласны?

— Возможно, я до этого еще не доросла. Возможно, если бы мне было семьдесят три... — Она поднимает чашку к губам, наклоняет, и от близости дымящегося коричневого кофе веснушки

на ее узком носике выделяются резче. Она непослушная девочка. Да, да, ясно как день — непослушная девочка. Она ставит чашку на стол, смотрит на него круглыми зелеными глазами, и ему кажется, что треугольник между ее бровями тоже смотрит и насмехается. — Расскажите, каково это — начать новую жизнь. Джек все время надеется, что я исправлюсь, и мне хочется знать, что меня ожидает. Вы «заново родились на свет»?

— Ничего подобного, я чувствую себя почти как раньше.

— Ведете вы себя, во всяком случае, не так, как раньше.

— Н-да, — бормочет он, ерзая на стуле.

Отчего ему не по себе? Она пытается заставить его почувствовать себя глупым маменькиным сынком только потому, что он хочет вернуться к жене. Он и вправду ведет себя не так, как раньше, и с ней он тоже чувствует себя не так, как раньше, он потерял беспечность, которая в тот день позволила ему бездумно шлепнуть ее по заду.

— Вчера ночью, когда мы ехали сюда, у меня появилось такое чувство, будто передо мной лежит прямая дорога, а раньше мне казалось, что я застрял в кустах и мне все равно, куда идти.

Маленькое личико над кофейной чашкой, которую она держит обеими руками, словно миску с супом, выражает восторг; он ждет, что она засмеется, но она молча улыбается. Он думает: *она меня хочет.*

Потом он вспоминает про Дженис, про ее парализованные ноги, про ее болтовню насчет пальцев ног, любви и лимонада, и, возможно, эта мысль накладывает какую-то печать на его лицо, потому что Люси Экклз с досадой отворачивается и говорит:

— Пожалуй, вам пора двинуться по этой прекрасной прямой дороге. Уже без двадцати час.

— Сколько отсюда ходьбы до автобусной остановки?

— Немного. Я бы довезла вас до больницы, если бы не дети. — Она прислушивается. — Легки на помине: одна уже идет.

Когда он натягивает носки, старшая девочка в одних штанишках заглядывает в кухню.

— Джойс. — Люси останавливается на полдороге к раковине с пустыми чашками в руках. — Немедленно ложись обратно в постель.

— Хелло, Джойс, — говорит Кролик. — Ты пришла посмотреть на непослушного дядю?

Джойс смотрит на него во все глаза и трется спиной о стену. Из штанишек глубокомысленно торчит длинный золотистый животик.

— Ты слышала, что я тебе сказала, Джойс?

— А почему он без рубашки? — отчетливо произносит девочка.

— Не знаю, — отвечает мать. — Он, наверно, думает, что у него красивая грудь.

— Я в майке, — говорит Кролик. Можно подумать, что ни одна из них этого не видит.

— Это его бю-ю-юст? — спрашивает Джойс.

— Нет, деточка, бюст бывает только у дам. Мы это уже проходили.

— Что ж, если это действует всем на нервы, — говорит Кролик и надевает рубашку. Она измята, воротник серый; он надел ее, когда шел в клуб «Кастаньеты». У него нет пиджака; уходя от Рут, он очень торопился. — Ну, ладо, — добавляет он, засовывая рубашку в брюки. — Большое спасибо.

— Не за что, — говорит Люси. — А теперь будьте паинькой.

Мать и дочь ведут его по коридору. Белые ноги Люси сливаются с голой грудью девочки. Маленькая Джойс не сводит с него глаз. Он никак не может понять, что ее озадачивает. Дети и собаки всегда что-то чуют. Он пытается определить, какая доля насмешки таилась в словах «А теперь будьте паинькой» и что́ они вообще означали. Хоть бы она и вправду его подвезла, он хочет, он очень хочет сесть с ней в машину. Даже не для того, чтобы что-то с ней делать, а просто так, выяснить, что к чему. Ему неохота уходить, и от этого воздух между ними туго натягивается.

Они стоят у двери, он и жена Экклза с ее гладкой детской кожей; снизу на них смотрит Джойс, у нее широкие губы и крутые брови, как у отца, а еще ниже блестят накрашенные ногти Люси — два ряда маленьких красных ракушек на ковре. Он извлекает из воздушных струн смутный звук отречения и берется за твердую дверную ручку. Дурацкая мысль, что бюст бывает только у дам, прямо-таки его преследует. От ногтей Люси он поднимает глаза на внимательное лицо Джойс, а от него к бюсту матери — к двум острым шишечкам в застегнутой блузке, из-под тонкой ткани которой просвечивает белая тень бюстгальтера. Когда его глаза встречаются с глазами Люси, в молчание врывается нечто поразительное. Женщина подмигивает. С быстротой молнии; возможно, ему это только показалось. Он поворачивает ручку двери и отступает по солнечной дорожке. В груди раздается щелчок, словно там лопнула какая-то струна.

В больнице ему говорят, что Дженис на минутку взяла ребенка, и не будет ли он так добр подождать? Он сидит в кресле с хромированными подлокотниками и листает сзади наперед «День женщины», когда в приемную входит высокая дама с зачесанными назад седыми волосами и серебристой, покрытой тонкими морщинками кожей; она кажется ему такой знакомой, что он не может отвести от нее глаз. Она это замечает, и ей приходится с ним заговорить, хотя чувствуется, что она предпочла бы его не заметить. Кто это? Что-то знакомое в ее облике выплывает из далекого прошлого. Она неохотно смотрит ему в лицо и говорит:

— Вы — бывший ученик Марти. Я — Гарриет Тотеро. Вы однажды у нас обедали, я сейчас вспомню, как вас зовут.

Да, конечно, но он помнит ее не потому, что там обедал, а потому, что встречал ее на улице. Большинству старшеклассников в Маунт Джадже было известно, что Тотеро бегает за женщинами, и их невинному взору жена его представлялась ходячей жертвой в

венце темного пламени, живой тенью греха. Ее выделяла не столько жалость, сколько какое-то нездоровое любопытство, — сам Тотеро был таким пустомелей и шутом, что последствия его поступков сходили с него как с гуся вода. Зато его высокая серебристая суровая жена аккумулировала все его прегрешения, и от нее исходил электрический разряд, который поражал их юные умы и заставлял в смущении и страхе отводить от нее глаза. Гарри встает, с удивлением осознавая, что мир, в котором она живет, стал теперь и его миром.

— Меня зовут Гарри Энгстром, — говорит он.

— Да, да, припоминаю. Он так гордился вами. Он часто о вас говорил. Даже недавно.

Недавно. Что он ей сказал? Знает ли она о его делах? Осуждает ли его? Длинное лицо школьной учительницы, как всегда, хранит свои тайны.

— Я слышал, что он болен.

— Да, он болен, Гарри. Тяжело болен. У него было два удара, один уже после того, как он попал в больницу.

— Он здесь?

— Да. Хотите его навестить? Он будет очень рад. Всего на минутку. У него бывает очень мало народу; и думаю, что в этом трагедия школьного учителя. Ты помнишь многих, но лишь немногие помнят тебя.

— Конечно, я с удовольствием его повидаю.

— Тогда пойдемте со мной. — Они идут по коридорам, и она говорит: — Боюсь, вам покажется, что он очень изменился.

Смысл этих слов не совсем до него доходит. Сконцентрировав внимание на ее коже, он пытается разглядеть, *действительно* ли ее кожа напоминает множество сшитых вместе шкурок ящериц. Однако ему виден только затылок и руки.

Тотеро в палате один. Белые занавески, словно в ожидании, висят вокруг изголовья кровати. Зеленые растения на подоконниках исправно выделяют кислород. Через открытые фрамуги в комнату несутся летние ароматы. Внизу скрипят по гравию чьи-то шаги.

— Милый, я привела к тебе гостя. Он каким-то чудом оказался в приемной.

— Здравствуйте, мистер Тотеро. Моя жена родила.

С этими словами он, движимый каким-то безотчетным порывом, подходит к Тотеро; вид съежившегося на кровати старика, его перекошенный рот, беспомощно свисающий язык — все это его ошеломило. Лицо Тотеро, заросшее седой щетиной, на белой подушке кажется желтым, тонкие руки торчат из рукавов полосатой, как дешевая конфета, пижамы по обе стороны плоского туловища. Кролик протягивает ему руку.

— Он не может поднять руки, Гарри. Он совершенно беспомощен. Но вы с ним поговорите. Он видит и слышит.

Ее мягкий терпеливый голос звучит зловеще, как песня без слов в пустой комнате.

Поскольку Гарри уже протянул руку, он пожимает тыльную

сторону ладони Тотеро. Несмотря на сухость, рука под тонкой шершавой шерстью теплая, и, к ужасу Гарри, она упрямо поворачивается, подставляя ему ладонь. Гарри отнимает пальцы и садится на стул возле кровати. Его бывший тренер еле заметно поворачивает голову к гостю. Щеки у него настолько ввалились, что глаза бессильно вылезают из орбит. *Говорить*, надо говорить.

— Она родила девочку. Я хочу поблагодарить вас, — громко произносит Кролик, — поблагодарить за то, что вы помогли мне снова вернуться к Дженис. Вы были ко мне очень добры.

Тотеро высовывает язык и поворачивает лицо, чтобы взглянуть на жену. Мускул у него под челюстью дергается, губы собираются в складки, а подбородок несколько раз морщится: когда Тотеро пытается что-то сказать, в нем как бы бьется пульс. Изо рта вылетает несколько растянутых гласных звуков, Гарри оборачивается к миссис Тотеро, надеясь, что она сможет их расшифровать, но к его удивлению она смотрит в другую сторону. Она смотрит в окно на пустой зеленый двор. Лицо ее напоминает фотографию.

Значит ли это, что ей на все наплевать? Если так, то не надо ли сказать Тотеро про Маргарет? Однако про Маргарет не скажешь ничего такого, что бы порадовало Тотеро.

— Я теперь исправился, мистер Тотеро, и надеюсь, что вы скоро выздоровеете и встанете с постели.

Голова Тотеро быстро и раздраженно поворачивается обратно, глаза слегка косят, и в эту минуту у него такой осмысленный вид, что Гарри кажется, будто он сейчас что-то скажет, будто эта пауза всего лишь его старый педагогический прием — хранить молчание, пока слушатель полностью не сосредоточится. Но пауза растет, раздувается, словно, привыкнув за шестьдесят лет отделять друг от друга фразы она в конце концов обрела свою собственную жизнь, разрослась, как раковая опухоль, и проглотила все слова. Однако в первые секунды молчания от Тотеро исходит какая-то сила, душа его интенсивно испускает невидимые, лишенные запаха лучи. Потом искра в глазах меркнет, коричневые веки поднимаются, обнажая розовую желеобразную массу, губы раскрываются, и изо рта вылезает кончик языка.

— Я, пожалуй, схожу к жене, — выкрикивает Гарри. — Она вчера родила. Девочку.

Его внезапно одолевает клаустрофобия, словно он сидит в черепе Тотеро; вставая, он боится удариться головой, хотя до белого потолка палаты несколько ярдов.

— Большое спасибо, Гарри. Я знаю, он был очень рад вас видеть, — говорит миссис Тотеро. Тем не менее по ее тону он чувствует, что провалился на экзамене. Его отпустили, и он пружинистым шагом уходит по коридору. От того, что он здоров, что начал новую добродетельную жизнь, полнится благоуханием воздух, даже антисептический воздух больничных коридоров. Однако визит к Дженис его разочаровывает. Возможно, его все еще душит вид Тотеро, который лежит все равно что мертвый, возможно, Дженис, на которую уже не действует эфир, душит мысль о том, как он с ней поступил. Она жалуется, что у нее ужасно болят швы, а

когда он снова пытается выразить свое раскаяние, ей явно становится скучно. Кролика угнетает, что он не смог никому угодить. Дженис спрашивает, почему он не принес цветов. Он не успел, он рассказывает, где ночевал, и она, конечно, просит описать ей миссис Экклз.

— Ростом примерно с тебя. Вся в веснушках, — осторожно отвечает он.

— У нее чудесный муж. Он всех так любит.

— Да, парень ничего. Только действует мне на нервы.

— Тебе все действуют на нервы.

— Неправда. Марти Тотеро никогда не действовал мне на нервы. Только что видел несчастного старика, лежит пластом дальше по коридору. Ни слова не говорит и едва головой ворочает.

— Он тебе на нервы не действует, а я действую, ты это хотел сказать?

— Ничего подобного я не говорил.

— Ну, конечно. Ой, эти проклятые швы, все равно что колючая проволока. Я так действовала тебе на нервы, что ты сбежал от меня на целых два месяца. Даже больше, чем на два.

— О, господи, Дженис. Ты только и знала, что смотреть телевизор и пить. Я не хочу сказать, что я прав, но у меня было такое чувство, будто меня живого уложили в гроб. В тот первый вечер, когда я сел в машину у вашего дома, даже тогда я вполне мог бы заехать за Нельсоном и вернуться домой. Но стоило мне отпустить тормоз...

Ее лицо снова выражает скуку. Она мотает головой, словно отгоняя мух.

— Дерьмо, — говорит он.

Эта последняя капля переполняет чашу.

— Я вижу, твой язык не улучшился от того, что ты жил со своей проституткой.

— Она вовсе не проститутка. Просто спала с кем придется. Таких, как она, хоть пруд пруди. То есть я хочу сказать, что если называть всех незамужних женщин проститутками...

— Где ты теперь будешь жить? Пока я в больнице?

— Я думал, мы с Нельсоном вернемся в нашу квартиру.

— Не уверена, что это возможно. Мы уже два месяца за нее не платили.

— Как? Ты не платила?

— О, господи, Гарри. Ты слишком много хочешь. Может, ты воображаешь, что папа и дальше будет платить за нашу квартиру? У меня денег нет.

— Хозяин уже приходил? А куда девалась наша мебель? Он выбросил ее на улицу?

— Не знаю.

— Не знаешь? А что ты тогда знаешь? Что ты делала все это время? Спала, что ли?

— Я носила твоего ребенка.

— Черт побери, неужели ты больше ни о чем не думала? Беда в том, детка, что тебе вообще на все наплевать. Наплевать, и все.

— Тебя только послушать.

Он пытается вслушаться в свои слова, вспоминает, что чувствовал вчера ночью, и через некоторое время пытается начать все сначала.

— Послушай, я люблю тебя, — говорит он.

— А я люблю тебя. У тебя есть монетка в двадцать пять центов?

— Наверно, есть. Сейчас посмотрю. Зачем тебе?

— Если сунуть монетку в двадцать пять центов вот сюда, — она показывает на маленький телевизор на высокой подставке, чтобы с постели больные видели экран, — он будет работать целый час. В два передают одну дурацкую программу, дома мы с мамой каждый день ее смотрели.

И вот он полчаса сидит возле ее постели и смотрит, как коротко подстриженный ведущий пристает к нескольким пожилым женщинам из Акрона, штат Огайо, и из Окленда, штат Калифорния. Суть заключается в том, что все эти женщины рассказывают про свои трагедии, а потом получают деньги соответственно заработанным аплодисментам, но к той минуте, когда ведущий кончает рекламировать новые товары и приставать к женщинам по поводу их внуков и девичьих причесок, оказывается, что на трагедии уже почти не осталось времени. Кролик ждет, что ведущий, с его еврейской манерой произносить слова очень отчетливо независимо от темпа, сейчас начнет рекламировать Чудо-Терку, однако похоже на то, что этот товар еще не проник в высшие сферы бизнеса. Программа вполне ничего: искусственные блондинки — двойняшки с вихляющими задами — подталкивают женщин к микрофонам и кабинками, откуда аплодисменты не будут заглушать звук. Это даже как-то способствует примирению — они с Дженис держатся за руки. Когда он сидит, кровать оказывается почти на уровне его плеч, и ему нравится быть в таком необычном положении рядом с женщиной. Словно он несет ее на плечах, не чувствуя веса. Он поднимает изголовье кровати, приносит стакан воды, и эти мелкие услуги удовлетворяют какую-то его внутреннюю потребность. Программа еще не кончилась, когда входит сиделка и говорит:

— Мистер Энгстром, если вы хотите посмотреть своего ребенка, их сейчас показывают через окно.

Он идет за ней по коридору; под накрахмаленным белым халатом колышутся ее квадратные бедра. По одному лишь толстому затылку он представляет себе ее всю — подходящий кусок мяса. Жирные ляжки. Ему нравятся женщины с жирными ляжками. Кроме того, ему хочется узнать, что скажет женщина из Спрингфилда, штат Иллинойс, сын которой попал в ужасную автомобильную катастрофу и потерял руку. Поэтому он совершенно не подготовлен, когда сиделка детского отделения, где маленькие свертки с головками, похожими на апельсины, лежат рядами в корзинках из универсама — некоторые совсем наклонно, — подносит к смотровому окну его дочь, и у него появляется ощущение, будто в груди, как в печной трубе, открыли вьюшку. Внезапный

сильный сквозняк замораживает дыхание. Люди всегда говорят, что новорожденные уродливы, возможно, это и вызывает его изумление. Сиделка держит девочку так, что ее красный профиль резко вырисовывается на застегнутом белом халате. Складки вокруг ноздрей, выполненные в таком крошечном масштабе, кажутся невероятно четкими, крохотный сплошной шов закрытого века тянется по диагонали довольно далеко, словно глаз, когда он откроется, будет огромным и все увидит и узнает. В спокойствии крепко сжатого века и в наклоне вздернутой верхней губы он читает великолепное презрение. Она знает себе цену. Чего он никак не ожидал, так это отчетливого ощущения ее женственности, ощущения чего-то нежного и в то же время устойчивого в изгибе удлиненного розового черепа, покрытого черными прилизанными прядями. У Нельсона вся голова была в шишках, в жутко синих жилках и совершенно лысая, не считая затылка. Кролик смотрит сквозь стекло с такой робостью, словно от одного его взгляда сломается хрупкий механизм этой внезапно возникшей жизни.

Улыбка сиделки, искаженная стеклом, трепещет между его глазами и носом младенца, убеждая его в том, что он отец. Накрашенные губы вопросительно шевелятся, он кричит: «О'кей! Да!» — и делает ей знаки, подняв к ушам руки с растопыренными пальцами. «Она замечательная», — добавляет он, напрягая голос, чтобы сиделка услышала сквозь стекло, но она уже укладывает его дочь обратно в универсамовскую корзинку. Кролик поворачивается не в ту сторону, смотрит в измученную бессонницей физиономию очередного папаши и откровенно хохочет. Он возвращается к Дженис. Ветер звенит в ушах, а перед глазами алым пламенем полыхает профиль новорожденной. В пропахшем мылом коридоре его осеняет идея — девочку, надо назвать Джун. Сейчас июнь, она родилась в июне [1]. Среди его знакомых никогда не было никакой Джун. Дженис это должно понравиться — ведь и ее имя начинается с Дж. Но Дженис тоже придумывала имена и хочет назвать девочку в честь бабушки. Кролику никогда не приходило в голову, что у миссис Спрингер есть имя. Ее зовут Ребекка. То, что он так гордится ребенком, смягчает Дженис, а он, в свою очередь, очень доволен проявлением ее дочерних чувств — его нередко беспокоило, что Дженис не любит мать. Принимается компромиссное решение — Ребекка Джун Энгстром.

Прямую дорогу еще и укатали. Оказывается, мистер Спрингер все время продолжал платить за квартиру, хозяин дома его близкий друг, и он все уладил, не причиняя беспокойства дочери. У него всегда было предчувствие, что Гарри вернется, но он на всякий случай не хотел никому об этом говорить. Гарри и Нельсон водворяются в квартиру и принимаются за хозяйство. У Кролика всегда были хозяйственные наклонности, ему нравится, как пылесос втягивает пыль, как она проходит по шлангу в бумажный

[1] Джун (June) — июнь *(англ.)*.

мешок, а когда мешок наполняется плотным серым пухом, он откидывает крышку «электролюкса», словно джентльмен, который, здороваясь, приподнимает шляпу. Нельзя сказать, что он совсем не годится для того, чтобы рекламировать Чудо-Терку; он от природы наделен вкусом к мелочам цивилизации — ко всяким ломтерезкам, мельницам и держалкам. Вероятно, старший ребенок всегда должен быть девочкой — Мим, явившаяся в семью Энгстромов после Кролика, никогда не стояла так близко, как он, к ярко начищенному сердцу кухни, а всегда довольствовалась вторыми ролями в работе по хозяйству и ворчала, когда ей приходилось выполнять свою долю, которая постепенно становилась большей, потому что в конце концов Гарри был мальчиком. Наверняка то же самое будет с Нельсоном и Ребеккой.

Нельсон — большая подмога. Ему уже скоро три года, он способен выполнять поручения в пределах комнаты, знает, что игрушки надо складывать в корзину, и радуется свету, чистоте и порядку. Июньский ветерок колышет занавески на давно не открывавшихся окнах. Солнце испещряет сетчатую ткань сотнями искрящихся черточек и уголков. За окнами уходит вниз Уилберстрит. На плоских толевых крышах соседних домов, покрытых тонкими морщинками от непогоды, поблескивают таинственные узоры из камешков, конфетных оберток и лужицы из осколков стекла — весь этот мусор, наверно, свалился с облаков или был занесен птицами на эту поднебесную улицу, на которой растут телевизионные антенны и трубы с капюшонами, большие, как пожарный гидрант. На нижней стороне улицы три таких крыши с наклоном наподобие дренажных террас — три широкие грязные ступени, ведущие к краю обрыва, ниже которого начинаются дома побогаче — оштукатуренные кирпичные крепости с зубцами веранд, мансард и громоотводов; их сторожат хвойные деревья и кустарники, их защищают договоры с банками и юридическими фирмами. Странно, что над ними построили ряд дешевых многоквартирных домов — их подвел рост города. В городе, стоящем на склоне горы, высота слишком обычная вещь, чтобы ее ценили. Надо всем господствует первобытный горный кряж, темная лесная глухомань, отделенная от приличной части города полосой немощеных переулков, заброшенных ферм, кладбищем и несколькими незаконченными новостройками. Уилбер-стрит замощена на квартал дальше дома Кролика, а потом превращается в грейдерную дорогу между двумя короткими рядами разноцветных ранчо, выстроенных в 1953 году на подсыпанной красной земле, где лишь местами зеленеет редкая травка, так что после хорошего дождя по улице текут рыжие потоки сточных вод. Дальше холм становится еще круче и начинаются леса.

Из окна открывается вид на противоположную сторону города; за ней лежит широкая возделанная долина и поле для гольфа; «Моя долина, мой дом родной», — думает Гарри. Покрытые грязными пятнами зеленые обои; коврики с вечно загибающимися углами, дверца стенного шкафа, хлопающая по телевизору, от которых он за эти месяцы отвык, — все это с неожиданной силой

возникает в памяти, сплетаясь с каким-то уголком сознания; каждый угол, каждая трещина, каждая неровность краски соответствует зарубке в мозгу. Он еще более тщательно убирает квартиру.

Под диваном и под стульями, за дверьми, под кухонными шкафчиками он находит обломки старых игрушек, которые приводят Нельсона в неописуемый восторг. Ребенок отлично помнит свои вещи.

— Это баба дала, — лепечет он, держа в руках ломаную целлулоидную утку.

— Это она тебе подарила?

— Угу. Подарила.

— Какая она хорошая.

— Угу.

— Знаешь что?

— Что?

— Баба — мамина мама.

— Угу. А где мама?

— В больнице.

— В больнице? В пятницу придет домой?

— Правильно. Она придет домой в пятницу. Правда, она обрадуется, как мы хорошо все убрали?

— Угу. Папа тоже был в больнице?

— Нет. Папа не был в больнице. Папа уезжал.

Папа уезжал... Услышав знакомое слово «уезжал», мальчик широко раскрывает глаза и рот, голос становится громче от сознания всей важности этого понятия — очень, очень далеко. Чтобы измерить эту даль, он так широко расставляет руки, что пальцы у него отгибаются назад. Дальше его воображение не простирается.

— А теперь папа больше не уедет?

— Нет, нет.

Он везет Нельсона в машине к миссис Смит, сказать, что вынужден оставить работу у нее в саду. Старик Спрингер предложил ему должность в одном из своих филиалов. Рододендроны вдоль хрустящей под колесами подъездной аллеи кажутся пыльными и бесплодными, на них еще торчит несколько коричневых букетиков. Миссис Смит сама открывает дверь.

— Да, да, — мурлычет она, и ее коричневое лицо сияет.

— Миссис Смит, это мой сын Нельсон.

— Да, да, здравствуй, Нельсон. У тебя папина голова. — Она гладит его по головке высохшей, как табачный лист, рукой. — Давай-ка подумаем. Куда я засунула вазу с конфетами? Можно дать ему конфетку?

— Одну, я думаю, можно, но не стоит их разыскивать.

— Захочу и разыщу. С вами, молодой человек, вся беда в том, что вы никак не хотите поверить, что я хоть на что-нибудь способна.

Миссис Смит ковыляет прочь. Одной рукой она одергивает платье, а другой тычет в воздух, словно сметая паутину.

Пока ее нет, они с Нельсоном стоят и смотрят на высокий потолок тестиной, на огромные окна с тонкими, белыми, как мел,

переплетами, сквозь стекла которых — часть из них отливает голубовато-лиловым — виднеются сосны и кипарисы, окаймляющие дальний край усадьбы. На блестящих стенах висят картины. Одна, в темных тонах, изображает женщину в развевающемся шелковом шарфе, — судя по тому, как она размахивает руками, она яростно спорит с большим лебедем, который назойливо к ней лезет. На другой стене висит портрет молодой женщины в черном платье, которая беспокойно ерзает на мягком стуле. У нее красивое, хотя и несколько угловатое лицо, лоб кажется треугольным из-за прически. Округлые белые руки сложены на коленях. Кролик отступает на несколько шагов, чтобы посмотреть на портрет прямо. У нее короткая пухлая верхняя губа, которая так красит молодых девушек. Губа чуть-чуть приподнята, под ней виднеется темное пятнышко. Во всем ее облике чувствуется нетерпение. Кажется, будто она сейчас сойдет с полотна и, нахмурив треугольный лоб, шагнет ему навстречу. Миссис Смит, возвратившись с алым стеклянным шаром на тонкой ножке наподобие винного бокала, замечает его взгляд и говорит:

— Я никак не могла понять, почему он изобразил меня такой раздражительной. Он мне ни капельки не нравился, и ему это было известно. Скользкий маленький итальянец. Впрочем, он понимал женщин. Вот. — Она подходит к Нельсону с конфетами. — Попробуй. Они старые, но хорошие, как многие старые вещи в этом мире.

Она снимает с вазы крышку, красную стеклянную полусферу с шишечкой, и размахивает ею перед Нельсоном. Мальчик поднимает глаза, Кролик утвердительно кивает головой, и он берет конфетку в разноцветной фольге.

— Она тебе не понравится, там внутри вишня, — говорит ему Кролик.

— Щ-ш-ш-ш. Пусть мальчик берет что хочет.

Зачарованный оберткой, несмышленыш берет конфету.

— Миссис Смит, — начинает Кролик. — Я не знаю, говорил ли вам преподобный Экклз, но мое положение несколько изменилось, и я вынужден перейти на другую работу. Я больше не смогу вам помогать. Мне очень жаль. Простите, пожалуйста.

— Да, да, — говорит она, не спуская глаз с Нельсона, который возится с фольгой.

— Мне было здесь очень хорошо, — продолжает Кролик. — Здесь все равно, что на небе, как говорила та женщина.

— О, эта дурища Альма Фостер. Помада размазана чуть не до самого носа. Я никогда ее не забуду, бедняжку. Ни капли мозга в голове. Дай сюда, деточка, дай миссис Смит свою конфетку.

Она ставит стеклянный шар на круглый мраморный столик, где стоит всего лишь одна восточная ваза с букетом пионов, берет у Нельсона конфету и яростным движением пальцев срывает с нее обертку. Ребенок смотрит на нее, разинув рот. Она рывком опускает руку и сует ему в губы шоколадный шарик. Потом удовлетворенно оборачивается, бросает фольгу на стол и говорит:

— Ну что ж, Гарри. По крайней мере, мы с вами увидели, как цветут рододендроны.

— Да, верно.

— И мой Гарри тоже порадовался.

Нельсон надкусывает конфету и, почуяв вкус ненавистного вишневого сиропа, в отчаянии открывает рот, изо рта выползает коричневая струйка, а глаза в ужасе оглядывают безупречно чистую дворцовую залу. Кролик подставляет сложенную чашечкой ладонь, мальчик подходит и молча выплевывает месиво из шоколада, теплого вязкого сиропа и раздавленной вишни.

Миссис Смит ничего не замечает. Горящим взглядом прозрачных, как хрусталь, глаз она смотрит на Кролика и говорит:

— Я считаю своим религиозным долгом поддерживать в порядке сад Хорейса.

— Я уверен, что вы найдете кого-нибудь другого. Начались каникулы, это прекрасная работа для старшеклассника.

— Нет, я о них и думать не хочу. В будущем году меня здесь уже не будет, и я не увижу, как снова зацветут его рододендроны. Вы продлили мне жизнь, Гарри, правда, продлили. Всю зиму я боролась со смертью, а в апреле выглянула из окна, увидела, как высокий молодой человек сжигает прошлогодние стебли, и поняла, что жизнь меня еще не покинула. Все наше достояние, Гарри, это жизнь. Это странный дар, и я не знаю, как мы должны с ним поступать, но я знаю, что это единственный дар, который мы получаем, и что это хороший дар. — Ее хрустальные глаза затуманиваются пленкой жидкости, более густой, чем слезы, и она хватает его за руки повыше локтей крепкими коричневыми ногтями. — Прекрасный сильный молодой человек, — бормочет она, потом ее взор снова проясняется, и она добавляет: — У вас гордый сын, берегитесь.

Она, наверно, хочет сказать, что он должен гордиться своим сыном и беречь его. Его глубоко трогает ее объятие, ему хочется ей ответить, и он даже пробормотал «нет», когда она предсказывала свою близкую смерть. Но в его правой ладони лежит растаявшая конфета, и, бессильно застыв на месте, он слышит, как она с дрожью в голосе говорит:

— До свиданья. Всего вам доброго. Всего вам доброго.

Всю неделю после этого благословения они с Нельсоном счастливы. Они гуляют по городу. Однажды они смотрят, как на школьной площадке играют в софтбол мужчины с темными морщинистыми лицами заводских рабочих, одетые в яркую форму из войлока и фланели. Одна команда носит название пожарного депо в Бруэре, а другая — Спортивной Ассоциации «Солнечный Свет». Очевидно, это та самая форма, которая висела на чердаке, когда он ночевал у Тотеро. Зрителей, сидящих на складных скамейках, не больше, чем игроков. Везде — за скамейками, за защитной стеной из проволочной сетки и металлических трубок — бегают, шумят и спорят мальчишки в спортивных туфлях. Пока Кролик с Нельсоном смотрят несколько раундов, солнце садится за деревья. Косые лучи обволакивают щеки древним, как мир, тонким, как

бумага, теплом. Кучка невнимательных зрителей, сочная перебранка, клубы пыли на желтом поле, девушки в шортах, проходящие мимо с шоколадным мороженым на палочках. Загорелые девичьи ноги, толстые лодыжки и гладкие бедра. Они так много знают — по крайней мере, их кожа. Их ровесники мальчишки — костлявые жерди в бумажных штанах и кедах — яростно спорят, побили Уильямса или нет. Мэнтл в десять тысяч раз лучше. Уильямс в десять миллионов раз лучше. Кролик с Нельсоном делят пополам порцию мороженого с лимонадом, купленную у человека в фартуке с эмблемой Клуба Болельщиков, который поставил в тень свой ларек. Дым сухого льда из стаканчика с мороженым, пшик — от пробки, вынутой из бутылки. Искусственная сладость сочится Кролику в сердце. Нельсон, пытаясь поднести бутылку к губам, забрызгивает лимонадом рубашку.

В другой раз они идут на площадку для игр. Нельсон боится качелей. Кролик велит ему держаться покрепче и легонько подталкивает спереди, чтобы мальчик его видел. Тот смеется, просит: «пусти, пусти», наконец, хнычет: «Пусти, пусти, па-па». От возни в песочнице у Кролика начинает болеть голова. Резиновые шлепки руфбола и стук шашек из соседнего павильона бередят ему память; легкий ветерок, окаймленный кружевом детского бормотанья, доносит забытый запах узкой пластмассовой ленты, из которой плетут браслеты и шнурки для свистков, запах клея и пота на рукоятках спортивных снарядов. Он ясно видит истину — то, что ушло из его жизни, ушло безвозвратно, ищи сколько хочешь — все равно не найдешь. Беги куда хочешь — все равно не догонишь. Оно было здесь, под этим городом, в этих голосах и запахах, которые навеки остались позади. Полнота жизни исчерпывается, когда мы платим дань Природе, когда мы даем ей детей. После этого мы ей больше не нужны, и мы — сначала изнутри, потом снаружи — превращаемся в мусор. В стебли от цветов.

Они приходят в гости к бабе Спрингер. мальчик счастлив, он любит бабушку, поэтому и Кролик чувствует к ней симпатию. Она пытается затеять с ним ссору, но он не отвечает, он со всем соглашается, он был подонком, идиотом, он вел себя ужасно, ему повезло, что он не угодил в тюрьму. В сущности, в ее наскоках нет злобы. Во-первых, здесь Нельсон, а во-вторых, она рада, что он вернулся, и боится его спугнуть. В-третьих, родители жены не могут так больно обидеть человека, как его собственные. Как бы они тебя ни поносили, они всегда остаются где-то вовне, в них есть что-то уютное и даже забавное. Они со старухой сидят на затененной веранде и пьют холодный чай со льдом; она положила забинтованные ноги на табуретку, а слабые стоны, которые она издает, силясь сдвинуть с места свою тушу, вызывают у него улыбку. У него такое чувство, будто он в гостях у знакомой глупой девчонки. Нельсон и Билли Фоснахт спокойно играют в комнатах. Слишком спокойно. Миссис Спрингер хочет посмотреть, что они делают, но не хочет шевелить ногами, в отчаянии она начинает жаловаться, какой невоспитанный мальчишка Билли Фоснахт, и с ребенка переходит на его мать. Миссис Спрингер тер-

петь ее не может, ни на грош ей не верит, и дело тут вовсе не в темных очках, это просто смешное жеманство, дело в том, что она вся какая-то въедливая, пристала к Дженис, и все потому, что вокруг нее ходят грязные сплетни.

— Она являлась сюда так часто, что я возилась с Нельсоном больше, чем Дженис, — эти две дурехи чуть не каждый день бегали в кино, словно школьницы, никакой ответственности, можно подумать, что у них нет детей.

Кролик еще со школы знает, что Пегги Фоснахт, тогда она была Пегги Гринг, носит темные очки, потому что у нее жуткое, унизительное косоглазие. И Экклз говорил ему, что ее общество было огромным утешением для Дженис в тяжелый период, который теперь позади. Но он не высказывает ни одного из этих возражений, а умиротворенно слушает, довольный тем, что они с миссис Спрингер заодно против всего света. Кубики льда в чае тают, делая его вдвое слабее, болтовня тещи журчит в ушах, как тихий ручеек. Она его убаюкивает, веки опускаются, лицо расплывается в улыбке; по ночам он плохо спит — он не привык спать один — и теперь дремлет, убаюканный зеленым привольем ясного дня, ленивый и ублаготворенный, наконец-то вступивший на правильный путь.

В доме его собственных родителей все по-другому. Они с Нельсоном однажды приходят туда. Мать его чем-то недовольна; как только он переступает порог, ее недовольство ударяет ему в нос, словно запах старости на всем вокруг. После спрингеровского дома их домик кажется обшарпанным и маленьким. Что ее мучит? Не сомневаясь, что она, как всегда, на его стороне, он скороговоркой рассказывает ей, что Спрингеры вначале вели себя ужасно, но миссис Спригнер, в сущности, очень добрая и как будто все ему простила; что мистер Спригнер платил за их квартиру, а теперь обещал ему работу — продавать машины в одном из его филиалов. У него четыре филиала в Бруэре и окрестностях; Кролик понятия не имел, что он такой крупный делец. Он, конечно, порядочное ничтожество, но ничтожество удачливое; во всяком случае, он, Гарри Энгстром, еще дешево отделался. Орлиный нос матери и запотевшие очки сердито поблескивают. Ее неодобрение колет его всякий раз, как она оборачивается к нему от раковины. Сначала он думает, это от того, что он долго к ней не приходил, но если так, он ведь явился, могла бы и успокоиться. Может, она возмущена, что он спал с Рут и совершил прелюбодеяние; с годами она становится религиозной и, наверно, считает, что ему не больше двенадцати лет. Однако она вдруг, ни с того ни с сего, огорошивает его вопросом:

— А что будет с той несчастной девушкой, с которой ты жил в Бруэре?

— С ней? О, она не пропадет. Она ни на что не рассчитывала.

Но произнося эти слова, он ощущает вкус собственной слюны. То, что мать его может хотя бы только упомянуть о Рут, смещает все его понятия о жизни.

Она поджимает губы и, надменно покачав головой, произносит:

— Я тебе ничего не говорю, Гарри. Я ни слова тебе не говорю.

На самом-то деле она много чего говорит, только он ее не понимает. Кое-что проясняется из ее обращения с Нельсоном. Она почти не замечает мальчика, не пытается дать ему игрушки или приласкать, а только говорит: «Здравствуй, Нельсон», коротко кивает головой, а очки при этом сверкают белыми кругами. После сердечности миссис Спрингер ее холодность кажется жестокой и грубой. Нельсон это чувствует и, притихнув, испуганно льнет к ногам отца. Кролик не понимает, какая муха укусила его мать, но ясно одно — незачем вымещать свое настроение на двухлетнем малыше. Они никогда не слыхал, чтобы бабушки так себя вели. Правда, присутствие несчастного ребенка мешает им вести разговор, как бывало раньше, когда мать рассказывала ему разные смешные истории про соседей, а потом они говорили о нем — каким он был в детстве, как дотемна кидал баскетбольный мяч и как всегда присматривал за Мим. То, что Нельсон наполовину Спригнер, видимо, все это убивает. На секунду он перестает любить свою мать — ну не сумасшествие ли так пренебрежительно обращаться с ребенком, который едва научился говорить?! Ему хочется спросить ее: *что случилось? Ты ведешь себя так, словно я перешел на сторону врага. Уж не сошла ли ты с ума? Ты ведь знаешь, что они правы, так почему ты меня не похвалишь?*

Но он ничего этого не говорит, он так же упрям, как она. Он вообще почти ничего не говорит, убедившись, что его сообщение о благородстве Спрингеров не имеет никакого успеха. Он просто торчит на кухне, и они с Нельсоном катают по полу лимон. Всякий раз как лимон, вихляя, катится к ногам миссис Энгстром, подбирать его приходится Кролику — Нельсон ни за что не хочет. Кролику стыдно — за себя или за нее, он не знает. Когда возвращается домой отец, дело отнюдь не меняется к лучшему. Старик не сердится, но смотрит на Гарри так, словно он пустое место. Его устало сгорбленная спина и грязные ногти раздражают сына; можно подумать, что он нарочно старается превратить их всех в стариков. Почему он не вставит себе зубы, которые будут как следует держаться? Жует губами, как старая баба. Но отец хотя бы обращает внимание на Нельсона, который радостно катит ему лимон. Он толкает его обратно.

— Будешь играть в мячик, как папа?

— Он не сможет, Эрл, — перебивает мать, и Кролик счастлив услышать ее голос — наконец-то лед сломан, — но она говорит: — У него маленькие спрингеровские ручки.

Эти жесткие как сталь слова высекают сноп искр из сердца Кролика.

— Перестань, ради бога, — говорит он и тут же сожалеет, что сказал это, потому что попался в ловушку. Не все ли равно, большие у Нельсона руки или маленькие. Теперь он понимает, что ему не все равно, он не хочет, чтобы у мальчика руки были такие, как у Дженис, а если они такие — уж раз мама заметила,

наверняка так оно и есть, — он любит малыша чуть-чуть поменьше. Он любит малыша чуть-чуть поменьше, но ненавидит свою мать за то, что она его к этому вынудила. Кажется, будто она хочет опрокинуть весь мир — даже если он рухнет ей на голову. Его всегда восхищала эта ее черта — она не возражает, пусть он ее ненавидит, лишь бы до него дошли ее внушения. Но он отвергает ее внушения, они пронзают ему сердце, и он их отвергает. Он не хочет их слушать. Он вообще не хочет больше ее слушать. Он только хочет поскорее уйти, пока в нем еще остается хоть капля любви к матери.

— Где Мим? — спрашивает он отца, подходя к дверям.

— Мы теперь редко видим Мим, — говорит ему старик. Он опускает мутные глаза и трогает рукой карман рубашки, в котором держит две шариковые ручки и грязный пакетик с бумагами и карточками. Последние несколько лет отец начал со старческой суетливостью складывать в пакетик разные вещи — карточки, списки, квитанции, календарики, обертывать их резинками и рассовывать по карманам. Кролик покидает отчий дом с такой тяжестью на сердце, будто оно сдвинулось с места.

Все идет хорошо до тех пор, пока Нельсон не спит. Но как только малыш засыпает, как только его лицо вытягивается, дыхание с шумом вырывается из вялых губ, оставляя на простыне пятна слюны, хохолок волос веером рассыпается по подушке, гладкая кожа на пухлых щеках бессильно обмякает и покрывается густым румянцем, в душе Гарри разверзается мертвая пустота, и его охватывает страх. Сон ребенка настолько глубок, что ему страшно, как бы он не прорвал тонкую оболочку жизни и не провалился во тьму забвения. Порой он вынимает мальчика из кроватки, чтобы унять тревогу прикосновением теплого, податливого сонного тела.

Он шумно бродит по квартире, зажигает все лампы, включает телевизор, пьет имбирное пиво, листает старые номера «Лайфа», судорожно хватаясь за все, чем можно заткнуть пустоту. Прежде чем лечь спать, он ставит Нельсона перед унитазом, открывает кран и гладит упругую голую попку, пока тонкая струйка не начинает рывками выплескиваться в фаянсовую чашу. Потом обертывает Нельсона пеленкой, кладет обратно в кроватку и собирается с силами, чтобы перепрыгнуть глубокую пропасть, отделяющую его от той минуты, когда в пушистых косых лучах утреннего солнца восставший от сна малыш в промокшей насквозь пеленке подойдет к большой кровати и начнет с любопытством гладить отца по щеке. Порой ребенок залезает на кровать, и от прикосновения холодной липкой ткани Кролику кажется, будто он вновь возвратился на мокрый, но надежный берег. Время между этими двумя моментами Кролику совершенно ни к чему, но страстное желание, чтобы оно поскорее прошло, не дает ему уснуть. Он лежит в кровати по диагонали, чтобы не свисали ноги, и старается подавить ощущение качки. Словно судно без руля и без ветрил, он снова и снова бьется о те же скалы — безобразное поведение матери, отец, который смотрит на него как на дезертира, молчание Рут в ту ночь, когда он видел ее в последний раз, угне-

тающая немота матери. Что с ней? Он переворачивается на живот, и ему кажется, будто он смотрит в свинцовое море, туда, где в бездонной глубине темнеют косматые утесы. Симпатичная Рут в плавательном бассейне. Жалкий подонок Гаррисон пыжится, силясь изобразить выпускника аристократического колледжа, бабник и сукин сын. Слабая грязная ручонка Маргарет бьет по зубам Тотеро, Тореро, лежащий в кровати с высунутым языком и трепыхающимися веками над желеобразными глазами. Нет. Он не хочет об этом думать. Он перекатывается на спину в жаркой сухой постели, и его вновь охватывает ощущение жестокой качки. Думай о чем-нибудь приятном. Баскетбол и сидр в той маленькой школе в дальнем конце округа, Средняя Школа Иволга, но это было слишком давно, он помнит только сидр и как толпа сидела на трибунах. Рут в бассейне, невесомая и круглая от воды, она с закрытыми глазами плывет на спине, выходит, берет полотенце; он смотрит ей на ноги, потом рядом с ним лежит ее лицо, огромное, желтое, неподвижное — мертвое. Нет. Он должен стереть из памяти Рут и Тотеро — оба напоминают ему о смерти. На одной стороне они, а с ними — вакуум смерти, на другой — угроза возвращения Дженис, — потому-то его и качает. Хотя он лежит один, ему кажется, что он в толпе; все эти люди будоражат его не столько своими лицами или словами, сколько немым неотступным присутствием, они теснятся вокруг в темноте, как подводные скалы, а снизу доносится тонкое, слабое жужжанье — это жена Экклза ему подмигивает. Подмигивает. Что бы это значило? Всего лишь невинная шутка в суматохе у дверей, когда девчушка пришла сверху в одних штанишках, а может, она заметила, что он смотрит на ее ногти, и чуть-чуть моргнула глазом, пожелав ему *счастливого* пути, а может, это щелка света в темном коридоре говорит ему: *входи!* Смешная, хитрая, веснушчатая бабенка, и это непрерывное тонкое жужжанье с тех самых пор, как она захотела, чтобы он вошел. Тень ее бюстгалтера остроконечные шишки в комнате залитой светом стягиваст шорты бедра с гладкой детской кожей жирный зад Фрейд в белой гостиной увешанной акварелями каналов; иди сюда примитивный отец она сидит на диване какая у тебя красивая грудь и тут и тут и там. Он переворачивается на бок, и сухая простыня как прикосновение ее жадных рук; высокий, он встает с ворсистого бархата, надувшаяся вена прорывается сквозь рифы и твердой опытной рукой он делает то, что нужно было сделать, чтобы прекратить это тонкое жужжанье, снять напряжение и уснуть. Сладкая женская пена. Наконец он до нее добрался. Стоя на голове, пересекает бейсбольное поле и выходит с другой стороны. Как глупо. Очень жаль. Он прижимается щекой к прохладному месту на подушке. Покончив с Люси, он чувствует, что качка ослабела. Ее белые линии, словно концы размотанной веревки, уплывают прочь. Он должен спать; мысль о приближении далекого берега упрямой глыбой загораживает путь. Думай о чем-нибудь приятном. За всю его сознательную жизнь было всего лишь одно место, куда он может ступить, не боясь, что земля превратится в лица, которые он топчет ногами, — площадка

за ресторанчиком в Западной Вирджинии, где он выпил чашку кофе в ту ночь, когда ездил на юг. Он вспоминает горы вокруг — словно кольцо вырезанных из картона фигур на белесом от луны ночном небе. Он вспоминает ресторанчик — золотые окна, как у трамваев, ходивших в его детские годы из Маунт Джаджа в Бруэр, и воздух, холодный, но живой от дыхания ранней весны. Он слышит стук шагов по асфальту у себя за спиной и видит тех двоих — взявшись за руки, они бегут мимо него к своей машине. Одна из тех рыжих девчонок, что сидели в ресторанчике, волосы свисают, как морская трава. Наверное, именно здесь он повернул не в ту сторону, когда надо было ехать за ними, — они хотели, чтоб он ехал за ними, вот и надо было ехать, и в полубреду ему представляется, будто он и вправду поехал за ними и сейчас еще едет. Как музыкальная нота — пока нажимаешь на клавишу, кажется, что она движется, хотя на самом деле она остается все на том же месте. И на этой ноте его уносит в сон.

Он просыпается задолго до рассвета все с тем же ощущением качки, ему страшно в пустой постели, он боится, что Нельсон умер. Он пытается снова проскользнуть в тот сон, который ему привиделся, но ночной кошмар разрастается, и в конце концов он встает и идет послушать дыхание Нельсона, потом возвращается в постель. Первые проблески зари выгравировали резкие черные линии на простынях. На сетку этих линий он ложится, стараясь урвать еще часок сна, прежде чем мальчик придет к нему, озябший и голодный.

В пятницу Дженис возвращается домой. В первые дни присутствие новорожденной наполняет квартиру, как ладан из маленькой чаши наполняет часовню. Ребекка Джун лежит в корзине, сплетенной из выкрашенного в белую краску тростника, на подставке с колесиками. Когда Кролик подходит убедиться, что она и вправду здесь, девочка кажется ему тускловатой, словно она еще не набрала сил, необходимых для образования четкого силуэта. Ее щека уже не того яркого красного цвета, что он видел в больнице, она испещрена серыми, желтыми и синими крапинками, словно мрамор. Когда Дженис кормит Ребекку, гармоничное сочетание округлой желтой груди с круглым желтоватым личиком новорожденной образует симметрию, которая неодолимо притягивает к себе и его и Нельсона. Когда Ребекка сосет, Нельсон беспокоится, рвется к ним, тычет пальцем в шов между губами ребенка и соском матери, а когда его бранят и отталкивают, бродит вокруг кровати, произнося нараспев услышанное по телевизору обращение: «Могучая Мышь скоро придет», Кролику тоже нравится лежать с ними рядом и смотреть, как Дженис возится со своими набухшими грудями, — они такие полные, что белая кожа туго натянута и блестит. Словно дула орудий, она нацеливает толстые соски в слепой потрескавшийся рот, который открывается и захватывает их быстро, как птичий ключ. «Ой», — восклицает Дженис, и железы в губах ребенка начинают пузыриться в такт с молочными железами. Гармония установлена, и на ее лице появляется улыбка облегчения. Она прижимает пеленку ко второй гру-

ди, вытирая лишнее молоко, которое оттуда сочится. В эти первые дни, после того, как она отдохнула и набралась сил в больнице, молока у нее больше, чем нужно ребенку. Между кормлениями оно течет, на всех ночных рубашках образуются два затвердевших пятна. Когда она остается голой, не считая гигиенического эластичного пояса, при виде ее пухлого мягкого живота и буйных грудей, которые под тяжестью молока торчат из стройного тела, как лоснящиеся, покрытые зелеными прожилками плоды с шероховатыми лиловыми кончиками, у него все внутри переворачивается. Отяжелевшая сверху и забинтованная снизу, Дженис нетвердо держится на ногах и двигается осторожно, словно боясь от малейшего толчка перелиться через край. Хотя она без всякого стыда использует груди как инструменты для кормления ребенка, она все еще стесняется его взгляда и, если он слишком открыто на нее смотрит, спешит прикрыться. Но он чувствует разницу между теперешним временем и первыми днями любви. Теперь она не обращает на себя внимания, и то и дело голая выходит из ванной, качая ребенка, небрежно спускает лямки рубашки и вообще ведет себя так, словно она — машина, податливая белая машина для совокупления, вынашивания и кормления. Он тоже переливается через край, густая сладкая любовь переполняет ему грудь, и он хочет хотя бы чуть-чуть к ней прикоснуться; он знает, что вся она — кровоточащая рана, но только чуть-чуть прикоснуться, чтобы избавиться от своего молока, отдать его ей. Хотя, одурманенная эфиром, она говорила, что хочет его любви, в постели она от него отворачивается и спит так тяжело, как будто нарочно старается его обидеть. Но он слишком ей благодарен, слишком ею гордится, чтобы ослушаться. Всю эту неделю он по-своему ей поклоняется.

Экклз является с визитом и приглашает их в церковь. Они так ему обязаны, что обещают: кто-нибудь из них непременно придет. Скорее всего Гарри. Дженис не может, в это воскресенье будет всего девять дней, как она вышла из больницы, а с понедельника Гарри уже пошел на новую работу, и она чувствует себя усталой, слабой и измученной. Гарри с удовольствием идет в церковь. Не только из симпатии к Экклзу, а, главное, потому, что счастлив, ему повезло, на него снизошла благодать, он прощен и хочет выразить свою благодарность. Он инстинктивно верит в существование невидимого мира, и никто даже не подозревает, как часто его поступки являют собою сделки с этим миром. Он надевает новый серый костюм и без четверти одиннадцать, за день до летнего солнцестояния, выходит в ясное воскресное утро. Он всегда с удовольствием смотрел на людей, которые чинно шествовали в церковь напротив дома Рут, и вот теперь он с ними. Впереди — первый за всю неделю час, который он проведет без Спрингеров, будь то Дженис дома или ее отец на службе. Работа была бы совсем не трудной, если бы не бесконечное вранье. К середине дня он уже как выжатый лимон. Смотришь на эти развалюхи — 80 тысяч миль на спидометре, поршни так износились, что масло течет рекой, видишь, как их моют, скручивают обратно спидо-

метр, и слышишь свой собственный голос: это же просто даром. Он будет просить прощения.

Он ненавидит всех, кто идет по улице в грязной повседневной одежде, выставляя напоказ свою веру в то, что мир висит над пропастью, что смерть — конец всему и что запутанная нить его, Кролика, чувств ведет в никуда. И соответственно любит тех, кто нарядился для церкви, — отглаженные выходные костюмы солидных мужчин придают респектабельность и вес его тайному ощущению невидимого, цветы на шляпах их жен как бы превращают невидимое в видимое, а их дочери — сами цветы, тело каждой — цветок с лепестками из тюля и оборок, — цветы веры, так что даже самые невзрачные в глазах Кролика сияют красотой, красотою веры. В избытке благодарности он готов целовать им ноги — они избавляют его от страха. Когда он входит в церковь, он слишком переполнен счастьем, чтобы просить прощения. Он преклоняет колени на красной скамеечке — она хоть и мягкая, но не настолько, чтобы под тяжестью тела у него не заболели колени, — от радости у него шумит в ушах, кровь приливает к голове, и бессвязные слова: *господи, Ребекка, благодарю тебя* — пузырятся в вихре телячьего восторга. Люди, познавшие бога, шуршат и шевелятся вокруг, поддерживая его во тьме. Кролик снова садится, и глаза его останавливаются на фигуре в предыдущем ряду. Женщина в широкополой соломенной шляпе. Ростом ниже среднего, с узкими веснушчатыми плечами, наверное, молодая, хотя со спины женщины всегда кажутся моложе. Широкая шляпа грациозно отзывается на малейшее движение головы, превращая светлый завиток на затылке в тайну, открытую лишь ему одному. Шея и плечи переливаются смутным прозрачным сиянием от мерцающих в лучах света нежных тонких волосков. Он улыбается, вспомнив слова Тотеро, что все женщины сверху донизу покрыты волосами. Уж не умер ли Тотеро, думает он и молит бога, чтобы его тренер остался в живых. Ему не терпится, чтобы женщина обернулась и он смог увидеть ее профиль из-под края шляпы — большой плетеной солнечной шестерни, украшенной букетиком бумажных фиалок. Она смотрит вниз на что-то рядом с собой, у него перехватывает дыхание, тончайший полумесяц щеки вспыхивает и снова гаснет. Возле ее плеча появляется кусочек розовой ленты. Перед ним любопытное, восторженное личико Джойс Экклз. Пальцы его торопливо листают псалтырь, и когда раздаются звуки органа, на расстоянии протянутой руки встает жена Экклза.

Экклз, тяжело волоча ноги, идет по проходу вслед за потоком церковных служек и певчих. За оградой алтаря он кажется рассеянным и брюзгливым, далеким, бестелесным и неподвижным, словно японская кукла в ризе. Аффектированный, гнусаво-благочестивый голос, которым он декламирует молитвы, неприятно режет Кролику слух; ему вообще неприятна вся епископальная служба с ее напряженными падениями и взлетами, с заученными механическими мольбами и беглыми короткими песнопеньями. Ему неудобно стоять на коленях, у него ноет поясница; чтобы не упасть с коленок назад, он упирается локтями в спинку скамьи

предыдущего ряда. Ему недостает знакомой лютеранской литургии, которая врезана в его душу, словно истертая непогодой надпись. В этом богослужении он нелепо топчется в темноте, натыкаясь на то, что кажется ему произвольным искажением порядка службы. Он считает, что здесь придают слишком много значения сбору пожертвований. Он почти не следит за проповедью.

В ней говорится о сорока днях в пустыне и о беседе Христа с Дьяволом. Имеет ли эта история какое-либо отношение к нам, здесь, теперь? В двадцатом веке, в Соединенных Штатах Америки? Да. В некотором смысле *все* христиане должны вести беседы с Дьяволом, должны изучить его повадки, должны услышать его голос. У этой легенды очень древняя традиция, она передавалась из уст в уста еще у ранних христиан. Более глубокое ее значение, ее сокровенный смысл, по мнению Экклза, таков: страдания, утраты, бесплодие, лишения, нужда — все это неотъемлемое условие воспитания, причащения Христу. Стоя на кафедре, Экклз пытается подавить пискливые ноты, прорывающиеся в его голосе. Брови его дергаются, словно рыбы на крючке. Это неприятное, вымученное зрелище, он весь корчится. Машину он водит с гораздо более непринужденным благочестием. В своем облачении он выглядит как зловещий жрец какой-то нудной мистерии. Гарри претит темная, запутанная, нутряная сторона христианства, его свойство претерпевать, входить *вовнутрь* смерти и страдания, чтобы искупить и превратить их в нечто прямо противоположное — зонтик, вывернутый наизнанку. Он лишен сознательной воли идти прямой линией парадокса. Глаза его поворачиваются к свету, как бы тот ни бил ему в сетчатку.

Ярко освещенная щека Люси Экклз то появляется, то исчезает за своим соломенным щитом. Девочка — ее всю, кроме ленты, скрывает спинка скамьи — что-то ей шепчет, наверное, что он сидит сзади. Но женщина упорно не поворачивается. Это бессмысленное пренебрежение возбуждает Кролика. Он видит ее, самое большее, в профиль — мягкая складка двойного подбородка выделяется резче, когда она хмурится, глядя вниз на девочку. На ней платье в узких голубых полосках, которые сходятся на швах множеством острых уголков. Элегантная ткань и фасон платья совсем не подходят для церкви, однако с нею мирятся; есть что-то эротическое в том, как тихо она сидит в храме и как безропотно подчиняется его суровому, заскорузлому порядку. Кролик льстит себе надеждой, что истинное ее внимание излучается назад, на него. На фоне мрачного пестрого узора склоненных голов, цветных стекол, пожелтевших мемориальных таблиц на стенах и затейливой резьбы — деревянных шишечек и бусин на спинках скамей — ее волосы, кожа и шляпа переливаются, как разноцветные отсветы пламени.

Поэтому, когда проповедь переходит в псалом, и блестящий затылок Люси Экклз склоняется, чтобы принять благословенье, когда первая минута молчания проходит, и она встает и, наконец, поворачивается к нему, его постигает горькое разочарование при виде этой коллекции ярких точек — глаз, ноздрей, веснушек

и тугих ямочек, придающих насмешливое выражение уголкам ее рта. Его даже несколько шокирует, что лицо ее вообще имеет какое-то выражение, — он не подозревал, что блистательная картина, которой он целый час любовался, может так быстро сузиться до размеров одной незначительной личности.

— Привет, привет, — говорит он.

— Хелло. Вот уж кого я никак не ожидала здесь увидеть.

— Почему?

— Не знаю. Просто вы не похожи на человека, который укладывается в общепринятые рамки.

Он следит за ее глазами — может, она опять ему подмигнет. Он давно перестал верить, что тогда, много недель назад, она и вправду ему подмигнула. Она отвечает на его взгляд, и он в конце концов опускает глаза.

— Привет, Джойс. Как дела? — говорит он.

Девочка прячется за спину матери, которая лавирует по проходу, источая направо и налево сияющие улыбки овечкам. Остается только удивляться ее умению приспосабливаться к окружающей обстановке.

У дверей с Гарри здоровается Экклз — теплое пожатие его широкой руки усиливается как раз тогда, когда ему следовало бы ослабнуть.

— Счастлив видеть вас здесь, — говорит он, не сходя с места. Кролик чувствует, как позади сбивается в кучу и напирает вся цепочка.

— Мне очень понравилось. Классная проповедь, — говорит он.

Экклз устаился на него с лихорадочной улыбкой и румянцем на щеках, словно за что-то извиняясь. Он смеется; на секунду перед глазами Кролика мелькает его нёбо, а потом Кролик слышит, как он говорит Люси: «Примерно через час».

— Жаркое уже в духовке. Ты как хочешь — чтоб оно было холодное или пожарить подольше?

— Пожарить подольше, — отвечает он. С серьезным видом взяв за руку маленькую Джойс, он говорит ей: — Здравствуйте, мисс Наследница престола. Вы сегодня великолепно выглядите.

Кролик от неожиданности вздрагивает и видит, что толстая дама, стоящая за ним, вздрагивает тоже. К нему приближается Люси Экклз, сопровождаемая Джойс. Соломенная шляпа доходит ему до плеча.

— Вы на машине?

— Нет. А вы?

— Тоже нет. Хотите нас проводить?

— С удовольствием.

Приглашение настолько дерзко, что скорее всего ровно ничего не значит; тем не менее в его груди начинает вибрировать настроенная на ее волну струна. Солнечный свет мерцает в листве; утратив молочную белизну своих утренних лучей, он тяжелым сухим зноем давит на мостовую и тротуар. На асфальте поблескивают осколки слюды; окна и капоты проносящихся мимо машин кладут на воздух яркие белые мазки. Люси Экклз снимает шляпу

и встряхивает волосами. Толпа прихожан позади редеет. Густая тень лоснящейся свежей листвы посаженных между тротуаром и мостовой кленов ритмично сменяется освещенными солнцем участками, и тогда ее лицо и его рубашка кажутся белыми-белыми; гул моторов, скрип трехколесного велосипеда, стук чашки о блюдце в доме — все эти звуки катятся на него словно по блестящему стальному бруску. Он дрожит в потоках света, который как бы исходит от нее.

— Как ваша жена и ребенок?

— Замечательно. Просто замечательно.

— Прекрасно. А ваша новая работа вам нравится?

— Не очень.

— О, это, наверно, дурной признак?

— Не знаю. По-моему, никто не ожидает, чтоб человеку нравилась его работа. Если она ему нравится, это уже не работа.

— А Джеку его работа нравится.

— Значит, это не работа.

— Он так и говорит. Говорит, что это не работа, в том смысле, как я ее понимаю. Но я уверена, что вам его идеи знакомы не хуже, чем мне.

Он чувствует, что она его поддразнивает, но он и без того весь трепещет от возбуждения.

— По-моему, у нас с ним много общего.

— Пожалуй, да. — От странной поспешности, с какой она это произносит, у него начинает быстрее биться сердце. — Но я, естественно, больше замечаю различия. — Ее голос сухо ввинчивается в конец фразы, нижняя губа кривится.

Что это значит? У него такое ощущение, будто он наткнулся на стекло. Он не знает — это разговор ни о чем или шифр, за которым таится более глубокий смысл. Он не знает, сознательная она кокетка или бессознательная. Он всякий раз надеется, что при новой встрече будет говорить с нею твердо, скажет, что влюблен в нее или еще что-нибудь в том же роде, и выложит всю правду, но в ее присутствии он немеет, его дыхание туманит стекло, он не находит что сказать и говорит глупости. Он знает только одно — за всем этим, вопреки их мыслям и положению, он обладает правом господства над ней, словно наследственным правом на какой-то далекий участок земли, и что всеми своими фибрами, каждым своим волоском, жилкой и нервом она готова ему покориться. Однако этой готовности противостоит разум.

— В чем, например? — спрашивает он.

— Ну, например, в том, что вы не боитесь женщин.

— А кто их боится?

— Джек.

— Вы так думаете?

— Уверена. Со старухами и подростками — с теми, кто видит его в пасторском воротнике, — он еще ладит. Но к остальным он относится очень подозрительно, он их не любит. Он даже считает, что им незачем ходить в церковь. Они приносят туда запах детей и постели. Не то чтобы это было личное свойство Джека, это

свойство всей христианской религии — она очень невротична.

Почему-то это ее пристрастие к психологии кажется Кролику таким глупым, что он освобождается от сознания собственной глупости. Сойдя с высокого тротуара, он берет ее под руку. В Маунт Джадже, построенном на склоне горы, очень много высоких поребриков, которые маленьким женщинам трудно с изяществом преодолевать. Ее голая рука остается холодной в его пальцах.

— Не вздумайте рассказывать об этом прихожанам.

— Вот видите! Вы говорите в точности, как Джек.

— Это хорошо или плохо? — Вот так. Теперь он взял ее на пушку. Ей уже не вывернуться, она должна ответить: либо хорошо, либо плохо, и это будет развилка дороги.

Но она молчит. Он чувствует, каких усилий ей это стоит — она привыкла давать ответы. Они поднимаются на противоположный тротуар, и он неловко выпускает ее руку. Но, несмотря на неловкость, он все равно чувствует, что она по нем, что они подходят друг другу.

— Мама.

— Что?

— Что значит ротична?

— Ротична? А, невротична. Это когда у кого-нибудь не совсем в порядке с головой.

— Если голова болит?

— Да, что-то в этом роде. И так же серьезно. Но не беспокойся, детка. Это бывает почти со всеми. Кроме нашего друга мистера Энгстрома.

Девочка поднимает глаза и с застенчивой, но дерзкой улыбкой глядит на Кролика из-за материнского бедра.

— Он непослушный, — говорит она.

— Не очень, — отзывается мать.

В конце кирпичной стены пастора стоит брошенный голубой трехколесный велосипед. Джойс подбегает к нему, садится и уезжает в своем воскресном пальтишке цвета морской волны и с розовой лентой в волосах; металл скрипит, вплетая в воздух крученые нити каких-то утробных звуков. С минуту они оба смотрят на ребенка. Потом Люси спрашивает:

— Вы не хотите зайти?

В ожидании ответа она созерцает его плечо, а ему сверху кажется, что глаза ее спрятаны под белыми веками. Губы у нее раскрыты, язык, судя по движению челюсти, касается нёба. Полуденное солнце резко очерчивает лицо и потрескавшуюся губную помаду. Он видит, как влажная подкладка нижней губы прикасается к зубам. Запоздалый ветерок проповеди с ее привкусом болезненной нравоучительности, словно пыльный ветер пустыни, овевает все его тело, и перед глазами ни с того ни с сего возникают просвеченные зеленоватыми прожилками нежные груди Дженис. Эта дрянная козявка хочет оторвать его от них.

— Нет, спасибо. Не могу.

— Да бросьте вы. Вы были в церкви, и вам полагается награда. Выпейте кофе.

— Знасте что, — говорит он мягко, но со значением. — Вы симпатяга, но у меня теперь жена. — Он поднимает руки, словно пытаясь что-то объяснить, и Люси поспешно делает шаг назад.

— Прошу прощения.

Он видит только пятнистую часть ее зеленых радужек, похожих на клочки папиросной бумаги вокруг черных зрачков, а потом ее круглый тугой зад, вихляя, удаляется по дорожке.

— Но все равно большое спасибо, — пустым, упавшим голосом кричит он ей вслед. Он страшится ненависти. Она с таким грохотом хлопает дверью, что молоточек-рыбка сам собою стучит на пустом крыльце.

Не замечая солнца, он идет домой. Отчего она разозлилась, — оттого, что он отверг ее предложение, или оттого, что показал ей: он понял, что́ она ему предлагает? А может, ей вдруг стало ясно, какова она на самом деле? Когда его мать попадает в неловкое положение, она точно так же спускает пары. Как бы то ни было, шагая под деревьями в воскресном костюме, он чувствует себя элегантным, высоким и сильным. Пренебрег он женою Экклза или просто неправильно ее понял, она все равно его расшевелила, и он входит в свою квартиру, исполненный холодного расчета и похоти.

Его желание спать с Дженис подобно маленькому ангелочку, которому приделали свинцовые грузила. Новорожденная безостановочно пищит. Весь день она лежит в своей колыбельке, издавая невыносимо напряженный звук *хнннннх ах ах ппх*, словно скребется слабой рукою в какую-то дверцу у себя внутри. Чего она хочет? Почему не спит? Он пришел из церкви с драгоценным даром для Дженис, и все время что-то мешает ему преподнести ей этот дар. Шум наполняет квартиру страхом. У него болит живот; когда он берет девочку на руки, чтобы она отрыгнула, у него самого начинается отрыжка — давление в желудке образует туго надутый пузырь; такой же пузырь в желудке ребенка упорно не желает лопнуть. Крошечное мягкое мраморное тельце, невесомое, как бумага, туго натягивается у него на груди, потом снова вяло повисает; горячая головка вертится, словно хочет сорваться с плеч.

— Бекки, Бекки, Бекки, — говорит он. — Спи, спи, спи.

Нельсон от шума начинает капризничать и хныкать. Словно находясь ближе всех к темным воротам, из которых только что вышел младенец, он острее всех воспринимает угрозу, о которой ребенок силится их предупредить. Какая-то смутная тень, неразличимая для их более совершенных органов чувств, наступает на Ребекку, как только она остается одна. Кролик кладет ее в корзину и на цыпочках уходит в гостиную; они сидят затаив дыхание. Потом мембрана тишины со страшным скрипом разбивается, и прерывистый стон *ннних а нннннних!* раздается снова.

— О, господи, — говорит Кролик. — Вот дрянь. Вот дрянь.

Часов в пять Дженис начинает плакать. Слезы брызжут из глаз и текут по темному изможденному лицу.

— Я вся высохла. Мне нечем ее накормить.

Она уже несколько раз подносила ребенка к груди.

— Плюнь, — говорит Кролик. — Перетерпит. Выпей. Там на кухне осталось немного виски.

— Что ты мне все твердишь — выпей да выпей? Я стараюсь не пить. Мне казалось, тебе не нравится, когда я пью. Весь день ты куришь одну сигарету за другой и уговариваешь меня выпить.

— Я думал, тебе станет легче. Ты все время на взводе.

— Не больше, чем ты. Что с тобой? Что у тебя на уме?

— Куда девалось твое молоко? Почему ты не можешь как следует накормить ребенка?

— За последние четыре часа я ее уже три раза кормила. Здесь больше ничего нет. — Откровенным жалким жестом она сквозь платье давит себе груди.

— Выпей чего-нибудь.

— Послушай, что тебе сказали в церкви? Ступай домой и напои свою жену допьяна? Если тебе хочется выпить, пей сам.

— Мне вовсе этого не надо.

— Но тебе чего-то надо. Это ты действуешь на Бекки. Утром, пока тебя не было, с ней все было хорошо.

— Плюнь. Не думай об этом. Не думай про эту пакость, и все.

— Бэби плачет!

Дженис обнимает Нельсона.

— Я слышу, детка. Ей жарко. Она сейчас перестанет.

— Бэби жарко?

С минуту они слушают, но крик не умолкает; отчаянное, бессильное предостережение прерывается мучительными промежутками тишины, а потом раздается опять. Предупреждение неведомо о чем, они безостановочно мечутся среди обрывков воскресной газеты, разбросанных по квартире, стены которой запотели, словно стены тюрьмы. За окном уже много часов подряд блистает царственно-ясное небо, и Кролика приводит в еще большее смятение мысль, что в такую погоду родители всегда брали его с Мим на долгую приятную прогулку, а теперь они зря теряют чудесный воскресный день. Но они никак не соберутся выйти из дому. Он мог бы пойти погулять с Нельсоном, но мальчик, охваченный непонятным страхом, цепляется за мать, а Кролик, все еще надеясь обладать Дженис, не отходит от нее ни на шаг, как скупец от сокровища. Его похоть склеивает их друг с другом.

Она это чувствует, и это угнетает ее еще больше.

— Почему бы тебе не прогуляться? Ты действуешь на нервы ребенку. Ты действуешь на нервы мне.

— Неужели тебе не хочется выпить?

— Нет. Нет. Мне только хочется, чтобы ты сидел спокойно, перестал курить и качать ребенка. И отстал от меня. Мне и так жарко. По-моему, мне лучше лечь обратно в больницу.

— У тебя что-нибудь болит?

— Все бы ничего, если б только она не плакала. Я ее уже три раза кормила. А теперь надо кормить ужином вас. У-у-у. Ненави-

жу воскресенья. Что ты делал в церкви? Чего ты все время крутишься?

— Я вовсе не кручусь. Я пытаюсь тебе помочь.

— Вижу. Вот это-то как раз и ненормально. У тебя как-то странно пахнет кожа.

— Чем она пахнет?

— Ах, не знаю. Отстань от меня.

— Я тебя люблю.

— Прекрати. Нельзя. Меня нельзя сейчас любить.

— Полежи немножко на диване, а я сварю суп.

— Нет, нет, нет. Выкупай Нельсона. Я попробую еще раз покормить ребенка. Бедняжка, там опять ничего нет.

Ужинают они поздно. Еще совсем светло — это один из самых длинных дней в году. Они глотают суп под аккомпанемент непрекращающихся воплей Ребекки. Но когда над сложенными в раковине тарелками, под истертой отсыревшей мебелью и в похожем на гроб углублении плетеной кроватки начинают сгущаться тени, девочка внезапно умолкает, и в квартире вдруг воцаряется торжественный, но полный сознания вины мир. Они бросили ее на произвол судьбы. Среди них случайно очутилась чужеземка, не умеющая говорить по-английски, но исполненная великой и тяжкой тревоги, а они бросили ее на произвол судьбы. В конце концов наступила ночь и унесла ее, как жалкую пылинку.

— Это не животик, у таких маленьких он не болит, — говорит Дженис. — Может, она голодная, а у меня кончилось молоко.

— Как же так, у тебя груди словно футбольные мячи.

Она искоса смотрит на него, чувствуя, к чему он клонит.

— Не вздумай дурачиться.

Однако ему кажется, что он заметил улыбку.

Нельсон охотно ложится спать — так бывает, когда он нездоров. Он хнычет. Сестренка довела его до полного изнеможения. Темная головка мальчика тяжело уткнулась в подушку. Он жадно тянется ртом к бутылке, и Кролик ждет, тщетно пытаясь найти слова, чтоб выразить, передать те мимолетные мысли, одновременно и зловещие и добрые, что задевают нас неуловимо и бегло, словно легкий мазок кисти. Смутное чувство горечи охватывает Кролика. Это горечь сожаленья, неподвластного времени и пространству, боль о том, что он живет в мире, где темноголовые мальчики, засыпая на узких кроватках, с благодарностью тянутся губами к бутылкам из резины и стекла. Он кладет ладонь на шишковатый лоб Нельсона. Мальчик силится ее сбросить, сердито машет сонной головой, Гарри убирает руку и уходит в другую комнату.

Он убеждает Дженис выпить. Сам наливает ей виски пополам с водой — он не очень-то разбирается в спиртном. Что за мерзость, говорит она, но пьет.

В постели ему кажется, что теперь она ведет себя иначе. Ее тело как бы само идет к нему в руки, податливо заполняет ладонь. От подола ночной рубашки до самой шеи оно все еще для него. Они лежат на боку лицом друг к другу. Он массирует ей спину,

сначала легонько, потом сильнее, прижимает грудью к себе, целует твердое темное лицо, издающее запах спиртного. Она не поворачивает головы, но в ее неподвижном профиле он не читает отказа. Подавляя волну обиды, он вновь заставляет себя приспособиться к ее медлительности. Ее кожа, как и язык, хранит свою тайну. Чувствует ли она что-нибудь? После Рут она кажется непонятной, угрюмой, безучастной ко всему глыбой. Сможет ли он разжечь в ней искру? Он осмеливается расстегнуть две пуговки на ее ночной рубашке и радуется мысли, что пробудил в ней полноту чувств. Он хороший любовник. Он поудобней устраивается в теплой постели. Он действует мягко и осторожно и поэтому совершенно выходит из себя, когда ее голос — тонкий, пронзительный, скрипучий голос глупой девчонки — произносит прямо ему в ухо:

— Гарри. Неужели ты не видишь, что я хочу спать?

— Что же ты мне сразу не сказала?

— Я не знала. Я не знала.

— Чего ты не знала?

— Я не знала, что ты делаешь. Я думала, ты просто хочешь сделать мне приятно.

— Значит, тебе неприятно?

— Конечно, неприятно, если я ничего не могу.

— Кое-что ты можешь.

— Нет, не могу. Даже если б я не устала и не обалдела от воплей Ребекки, мне нельзя. Шесть недель нельзя. Ты ведь сам знаешь.

— Знать-то я знаю, но я думал... — Он страшно смущен.

— Что ты думал?

— Я думал, что ты все равно будешь меня любить.

— Конечно, я тебя люблю, — говорит она, помолчав. — Ты что, не можешь уснуть?

— Не могу. Не могу. Я слишком люблю тебя.

Еще минуту назад все было хорошо, но от всех этих разговоров ему стало противно. У них и так ничего не получалось, а от ее вялости и упрямства стало совсем из рук вон; она просто все убивает, вызывая в нем чувство жалости, стыда и сознания собственной глупости. От всего, что было так приятно, осталась лишь несносная тяжесть и его смешная неспособность как можно скорее все это прекратить. Она отталкивает его от себя.

— Ты меня просто используешь, — говорит она. — Это отвратительно.

— Ну, пожалуйста, детка.

— Это все так гнусно.

Как она смела это сказать? Он взбешен. Однако ему приходит в голову, что за те три месяца, что его не было, она усвоила совершенно нереальное представление о любви. Она стала преувеличивать ее значение, вообразила, будто это какая-то редкость, драгоценность, а он всего только хочет поскорее с этим покончить, чтобы уснуть, а потом пойти дальше по прямой дороге — ради нее. Все только ради нее.

— Повернись на другой бок, — говорит он ей.

— Я тебя люблю, — с облегчением произносит она, думая, что он оставил ее в покое. Коснувшись на прощанье его лица, она поворачивается к нему спиной.

Ему кажется, что все идет хорошо, как вдруг она поворачивает голову через плечо и говорит:

— Это твоя шлюха тебя научила?

Он ударяет ее кулаком по плечу, выскакивает из постели, и пижамные брюки падают на пол. Из-под жалюзи веет прохладный ночной ветерок. Она ложится на спину посреди постели и поясняет:

— Я не та шлюха, Гарри.

— Заткнись, с тех пор как ты вернулась домой, я первый раз тебя о чем-то попросил.

— Ты был просто замечательный.

— Спасибо.

— Куда ты идешь?

Он одевается.

— На воздух. Я весь день торчал в этой проклятой дыре.

— Ты выходил утром.

Он надевает брюки.

— Почему ты не можешь подумать о том, каково мне? Я только что родила.

— Я могу. Могу, но не хочу, мне наплевать, все дело в том, каково мне. А я хочу выйти на воздух.

— Не уходи, Гарри. Не уходи.

— Оставайся тут со своей драгоценной задницей. Поцелуй ее за меня.

— О, господи! — кричит Дженис, ныряет под одеяло и зарывается лицом в подушку.

Даже сейчас можно было бы остаться. Его желание любить ее прошло, и уходить теперь незачем. Он, наконец, перестал ее любить, и потому вполне можно было бы лечь рядом с нею и уснуть. Но она сама напросилась — лежит как бревно и скулит, а внизу, в поселке, на полном газу ревет мотор, там воздух, деревья, пустые улицы под фонарями, и, вспомнив все это, он выходит из дома.

Как ни странно, вскоре после его ухода она засыпает: в последнее время она привыкла спать одна и теперь чувствует физическое облегчение от того, что его нет в постели и никто не пинает ее горячими ногами и не скручивает простыни в канаты. Часа в четыре утра Бекки будит ее криком, и она встает. Ночная рубашка легонько шлепает ее по ногам. Кожа стала неестественно чувствительной. Она меняет пеленки и ложится на кровать покормить девочку. Когда Бекки сосет, кажется, будто в теле образуется пустота. Гарри не вернулся.

Ребенок все время теряет сосок — Дженис никак не может сосредоточить на нем внимание, она все время прислушивается, не скребется ли в дверях ключ Гарри.

Мамины соседи с ума сойдут от смеха, если она опять его упустит; она бы и думать не стала про маминых соседей, если б

все время, пока она жила у родителей, мать не напоминала ей об их злорадстве и, как всегда при матери, у нее появлялось чувство, будто она глупая, некрасивая и обманула все надежды, а она так надеялась, что с замужеством все это кончится. Она станет замужней женщиной, и у нее будет свой собственный дом. И еще ей хотелось назвать девочку в честь матери, чтобы та от нее отвязалась, но вместо этого бедняжка слепо тычется ртом ей в грудь, напоминая про мать, и Дженис кажется, будто она лежит на верхушке столба и весь город видит, что она одна. Ей становится холодно. Ребенок никак не может удержать сосок, никому она не нужна.

Она встает и начинает ходить по комнате, положив Бекки на плечо, гладит ей спинку, стараясь выпустить воздух, а бедняжка такая вялая и слабая, то и дело сползает вниз и норовит зарыться своими бескостными ножками ей в грудь, чтоб удержаться, а ночная рубашка от ветра развевается и прилипает к ногам.

Если б ключ стал царапаться в замке и он вошел бы в дверь, пусть делает с ней что хочет, ей наплевать, замужество есть замужество. Но сегодня это было уж до того несправедливо, у нее все болит, а он все это время спал со своей проституткой, а теперь говорит «повернись на другой бок» так нетерпеливо, будто просто хочет скорей от нее отвязаться, и кто она такая, чтоб ему не позволить, ведь позволила же она ему сбежать, разве у нее есть право на гордость? На уважение к себе. Вот почему ей непременно надо было доказать, что оно у нее есть, — он не думал, что она посмеет, раз позволила ему сбежать, вот смешно, он поступил дурно, а она не должна иметь никакой гордости, а быть для него только помойным ведром. Когда он приставал к ней, видно было, что он здорово напрактиковался, и это напомнило ей все те недели, когда он болтался неизвестно где и делал что хотел, а она была совсем беспомощная, мама и Пегги ее жалели, а все остальные смеялись, и она больше не могла это выдержать.

А потом он идет в церковь и возвращается весь набухший. Какое он имел право идти в церковь? О чем он говорил с богом за спинами всех этих баб, которые подмигивают друг другу? Что ее и вправду бесит, так это пусть бы думали про любовь, когда занимаются любовью, вместо того чтобы думать про что угодно. По их пальцам чувствуешь, думают они про тебя или нет, и сегодня Гарри сначала про нее думал, но потом он стал такой противный, и она разозлилась, потому что он думал только о себе и ничуть не думал, как она устала и как у нее все болит. Это было так грубо.

Просто грубо, и все. Говорит, что она глупая, а ведь он сам глупый — не понимает, как ей плохо, и что, когда он убежал, она стала совсем другой, и как он должен к ней подлизываться, если хочет, чтоб она опять его любила. С самого раннего детства ее приводило в ужас, что никто не знает про твои чувства, и непонятно — никто не может про них знать или никому просто нет дела. Ей не нравится ее кожа и никогда не нравилась она слишком темная как у итальянки, хотя у нее никогда не было прыщей как у других девочек и в те дни, когда они оба работали у Кролла она

продавала соленые орешки и когда Гарри лежал с ней на кровати Мэри Хеннекер ему так нравились серебристые обои и он закрывал глаза и кожа у ней словно растворялась и она думала что вот теперь все кончилось и она уже не одна, а с кем-то. Но потом они поженились (раньше она ужасно боялась забеременеть, но Гарри уже целый год говорил про женитьбу и засмеялся, когда она ему сообщила, и сказал «здорово», она ужасно испугалась, а он сказал «здорово», и поднял ее на руки, как ребенка, он мог быть таким чудесным, когда она совсем не ожидала, в нем было столько хорошего, она никому не могла объяснить, она так испугалась, когда забеременела, а он заставил ее этим гордиться); они поженились, а она все еще оставалась маленькой, неуклюжей, темнокожей Дженис Спрингер, а ее муж был самоуверенный болван, который ни на что на свете не годится, так сказал папа и чувство одиночества немножко растворялось, если чуть-чуть выпить. Не то что это растворяло комок, просто края у него закруглялись и переливались словно радуга.

Она ходит по комнатам и гладит ребенка, пока у нее не начинают болеть руки и ноги и, наконец, малютка Ребекка засыпает, обняв ногами грудь, полную молока. Может, дать ей еще, но лучше не надо, раз она спит, пускай спит. Она отнимает бедную невесомую малютку от своего потного плеча и кладет в прохладную тень на кроватке. Уже светает, на восточном склоне горы утро рано приходит в город. Дженис ложится в постель, но свет, который становится все ярче на белых простынях, не дает ей уснуть. Сначала это даже приятно — наступающее утро такое чистое, что у нее появляется то же чувство, как и на второй месяц отсутствия Гарри. Под окном цвела мамина японская вишня, пробивалась травка, и от земли пахло влагой, теплом и золой. Она все обдумала и смирилась с мыслью, что ее замужеству пришел конец. Она родит своего ребеночка и разведется и больше никогда не выйдет замуж. Она будет вроде монахини, как в том чудном фильме с Одри Хепберн, который она недавно смотрела. А если он вернется, то будет тоже очень просто — она ему все простит и бросит пить, раз его это так бесит, хотя она и не знает почему, и они станут жить вместе очень славно и чисто, и просто, потому что он выбросит все из головы и будет очень ее любить за то, что она выбросит все из гловы и будет очень ее любить за то, что она его простила, а она теперь будет знать, как быть хорошей женой. Она каждую неделю ходила в церковь и разговаривала с Пегги и молилась и теперь поняла, что выйти замуж это не значит обрести убежище, а значит все делить с мужем, и они с Гарри начнут все делить друг с другом. А потом произошло чудо, и эти последние две недели все именно так и было.

А потом Гарри вдруг взял и испортил все грязью этой шлюхи, да еще хотел, чтобы ей все это нравилось, и от несправедливости она начинает плакать навзрыд, хотя и тихонько, словно испугавшись чего-то, что лежит рядом с ней на пустой кровати. Потом ее охватывает чувство панического страха и удушья. Она встает, бродит по комнате; одна грудь вспухла, в соске колет; она идет

босиком на кухню и нюхает пустой бокал от виски, который Гарри заставил ее выпить.. Запах густой, резкий, терпкий и глубокий, и она, думает, может, один глоток излечит ее от бессонницы. Заставит спать, а потом она проснется от скрежета ключа в замке и увидит, как его большое тело застенчиво ломится в дом, и скажет ему: *ложись в постель, Гарри, все в порядке, делай со мной, что хочешь, я хочу делить с тобой все, правда, хочу.*

Она наливает всего на дюйм виски и совсем немножко воды, чтобы не очень долго пить, и не кладет ледяных кубиков, чтобы не шуметь и не разбудить детей. Она несет стакан к окну и стоит, глядя через три толевых крыши на спящий внизу город. Кое-где уже зажигаются бледные окна кухонь и спален. Машина с тусклыми дисками фар, которые не отбрасывают лучей в редеющую мглу, медленно едет по Уилбер-стрит к центру поселка. Шоссе, наполовину скрытое силуэтами домов, словно река в поросших деревьями берегах, в этот ранний час уже шуршит от множества шин. Она чувствует, что рабочий день приближается, чувствует, что дома́ с двускатными крышами внизу скоро проснутся, словно за́мки, откроют ворота и выпустят наружу своих мужчин, и сожалеет, что ее муж не может приспособиться к ритму, в котором вот-вот начнется новый такт. Почему именно он? Что в нем такого особенного? В ней поднимается волна обиды на Гарри, и, чтобы ее подавить, она осушает стакан и в свете утренней зари отворачивается от окна. Все вещи в комнате окрашены в различные оттенки коричневого цвета. Она чувствует себя какой-то кривобокой, тяжесть невысосанной груди тянет ее книзу.

Она идет в кухню и смешивает еще виски с водой, на этот раз крепче, чем раньше, — пора уже доставить себе хоть капельку удовольствия. С тех пор как она вернулась из больницы, у нее совсем не было времени подумать о себе. Мысль об удовольствии придает легкость и быстроту движениям, она босиком бежит по шершавому ковру к окну, словно там специально для нее сейчас начнется спектакль. Поднявшись в своем белом халате надо всем, что только можно увидеть, она так крепко сжимает пальцами тугую грудь, что молоко течет, образуя теплые пятна на белой ткани.

Влага скользит по телу и стынет в холодном воздухе. От долгого стояния начинают ныть вены на ногах. Она отходит от окна, садится в грязное коричневое кресло, и ее начинает мутить при виде угла, под которым пятнистая стена встречается с желтоватым, как тесто, потолком. Ее качает вверх и вниз, у нее переворачиваются все внутренности. Рисунок на обоях шевелится, словно живой, коричневые пятна цветов плывут во мгле, догоняют и жадно заглатывают друг друга. Какая мерзость. Она отворачивается и внимательно смотрит на зеленый экран мертвого телевизора. Перед ночной рубашки подсыхает, жесткая корка царапает грудь. В книжке про детей сказано: держите соски в чистоте. Намыливайте осторожно — в царапины проникают микробы. Она ставит стакан на круглую ручку кресла, встает, стягивает через голову рубашку и снова садится. Мшистая поверхность мягко пружинит под тяжестью голого тела. Она кладет измятую рубашку на коле-

ни, ловко пододвигает пальцами ног табуретку, укладывает на нее ноги и любуется ими. Она всегда считала, что у нее красивые ноги. Их утончающиеся книзу смутные силуэты белеют на фоне темного ковра. Тусклый свет скрывает синие вены, оставшиеся после того, как она носила Бекки. Неужели у нее будет такие ужасные ноги, как у мамы? Она пытается представить себе лодыжки толщиной с колено, и они будто и вправду начинают пухнуть. Она нагибается, ощупывает узкие твердые кости лодыжек и плечом сбивает с ручки кресла стакан с виски. Она вскакивает, вздрогнув от прикосновения холодного воздуха к голому телу, и вся покрывается гусиной кожей. Вот смеху-то. Если б только Гарри мог сейчас на нее посмотреть. К счастью, в стакане почти ничего не осталось. Она решительно направляется в кухню, совершенно голая, как шлюха, но ощущение, будто кто-то за нею следит, — оно появилось, когда она стояла у окна и отжимала молоко, — стало слишком сильным; она ныряет в спальню, закутывается в голубой купальный халат и смешивает виски с водой. От усталости саднит веки, но у нее нет ни малейшего желания ложиться в постель. Кровать внушает ужас, потому что в ней нет Гарри. Его отсутствие — дыра, которая все больше расширяется, и она вливает туда немного виски, но этого мало, и когда она в третий раз подходит к окну, уже настолько рассвело, что видно, как все кругом уныло. Кто-то разбил бутылку об одну из толевых крыш. Канавы на Уилбер-стрит полны грязи, стекающей с новостроек. Пока она смотрит в окно, уличные фонари — длинные бледные цепочки — гаснут один за другим. Она представляет себе человека на электростанции, который выключает рубильник, — он маленький, седой, горбатый и очень сонный. Она подходит к телевизору, и полоса света, внезапно вспыхнувшая на зеленом прямоугольнике, зажигает радость в ее груди; однако еще слишком рано, это просто бессмысленно мерцающее пятно, а звук — всего лишь статичный равномерный шум. Она сидит и смотрит на пустое сиянье, и от ощущения, будто кто-то стоит у нее за спиной, несколько раз резко оборачивается. Она проделывает это очень быстро, но всегда остается пространство, которого она не видит, и этот человек мог нырнуть туда, если он здесь. Это все телевизор — он позвал его в комнату, — но выключив его, она тотчас начинает плакать. Она сидит, закрыв лицо руками, слезы просачиваются между пальцами, и по всей квартире разносятся ее всхлипывания. Она их не подавляет, потому что хочет кого-нибудь разбудить, она больше не может оставаться одна. В белесом свете мебель и стены проступают все более четко, они вновь обретают цвет, а сливающиеся коричневые пятна уходят в себя.

Она идет взглянуть на ребенка; бедняжка лежит и сопит в простыню, маленькие ручки дергаются возле ушей; она наклоняется, гладит горячий прозрачный лобик, вынимает девочку из кроватки, она мокрая, и садится в кресло перед окном кормить. Бледная ровная голубизна неба выглядит так, словно ее нарисовали на стеклах. С этого кресла не видно ничего, кроме неба, словно они сидят на высоте ста миль в корзине воздушного шара.

В другой части дома хлопает дверь, и у нее екает сердце, но это просто кто-то из жильцов, наверно, мистер Каппелло, который никогда доброго слова никому не скажет, идет на работу, под его тяжелыми шагами неохотно грохочет лестница. Этот шум будит Нельсона, и некоторое время дел у нее по горло. Приготовляя завтрак, она разбивает стакан с апельсиновым соком, он попросту выскальзывает у нее из рук в раковину. Когда она наклоняется к Нельсону, чтобы дать ему рисовые хлопья, он смотрит на нее, наморщив нос, он нюхом чует ее печаль и от этого знакомого запаха сразу робеет.

— Папа уехал?

Он такой добрый мальчик, говорит это, чтобы ей было легче, и ей остается только ответить: «Да».

— Нет, — говорит она. — Папа сегодня рано ушел на работу, ты еще спал. Он придет к ужину, как всегда.

Мальчик хмурится, а потом с надеждой повторяет:

— Как всегда?

От тревоги он высоко поднимает голову, так что шея кажется стебельком, слишком тонким, чтобы удержать круглый череп с завитками примятых подушкой волос.

— Папа придет, — повторяет она. Взвалив на себя бремя лжи, она для поддержки нуждается в виски. Внутри у нее мрак, который необходимо окрасить в яркий цвет, а иначе она рухнет. Она складывает тарелки в раковину, но все валится у нее из рук, и она даже не делает попытки вымыть посуду. Ей приходит в голову, что надо снять халат и надеть платье, но по дороге в ванную она забывает, зачем туда шла, и принимается стелить постель. Однако чье-то присутствие на смятой постели настолько ее пугает, что она пятится и уходит в другую комнату к детям. Как будто, сказав им, что Гарри вернется в обычное время, она впустила в квартиру призрак. Но этот другой человек совсем не похож на Гарри, он скорее похож на грабителя, который назло ей носится из комнаты в комнату.

Еще раз вынув девочку из кроватки и пощупав мокрые пеленки, Дженис хочет ее перепеленать, но она умница, она понимает, что пьяна и может уколоть ребенка булавками. Она очень гордится тем, что до этого додумалась, и велит самой себе держаться подальше от бутылки, чтобы через час перепеленать ребенка. Она кладет славную Бекки обратно в кроватку, и на удивление та даже ни разу не пискнула. Они с Нельсоном сидят и смотрят конец программы с Дейвом Гэрроуэем, а потом программу о том, как Элизабет пригласила в гости друга своего мужа, — он холостяк, постоянно ходит в туристские походы и, как оказывается, стряпает гораздо лучше, чем Элизабет. Эта программа почему-то действует ей на нервы, и она — просто потому, что привыкла пить за телевизором, — идет в кухню и смешивает остатки виски с большим количеством ледяных кубиков, чтобы заткнуть огромную дыру, которая вот-вот снова разверзнется у нее внутри. Всего один глоток — и, словно от вспышки синего света, все сразу проясняется. Ей надо всего лишь перекинуться мостом через эту малень-

кую пропасть, и вечером Гарри придет с работы, и никто ничего не узнает, никто не будет смеяться над мамой. Она чувствует себя радугой, которая изогнулась над Гарри, чтобы его защитить, и под ее сводом Гарри кажется бесконечно маленьким, словно какая-то детская игрушка. Хорошо бы поиграть с Нельсоном — ему вредно все утро смотреть телевизор. Она выключает телевизор, находит книжку с картинками для раскрашиванья и цветные мелки, и они оба садятся на ковер и раскрашивают противоположные страницы.

Дженис то и дело обнимает Нельсона, рассказывает ему смешные истории и с удовольствием раскрашивает картинки. В школе рисование было единственным предметом, которого она не боялась, и потому всегда получала за него хорошие отметки. Она улыбается от восторга, что так красиво раскрасила страницу, на которой нарисован двор фермы; цветные палочки в ее пальцах наносят такие аккуратные параллельные штрихи, а маленькое тело сына так крепко к ней прижимается. Купальный халат веером падает на пол, и собственное тело кажется ей большим и прекрасным. Она отодвигается, чтобы на страницы не падала тень, и видит, что покрасила половину курицы в зеленый цвет, вылезла за контуры, и вообще ее страница выглядит уродливо; она начинает плакать, это так *несправедливо*, словно кто-то стоит у нее за спиной и говорит ей, что она раскрашивает плохо, хотя сам ничего в этом деле не смыслит. Нельсон поднимает глаза, его подвижное лицо растягивается, и он кричит: «Не плачь! Мамочка, не плачь!»

Она ждет, что он уткнется ей в колени, но он вскакивает и, спотыкаясь, как хромой, бежит в спальню, бросается на пол и бьет по полу ногами.

Она поднимается с ковра и, спокойно улыбаясь, идет в кухню, где, как ей кажется, она оставила стакан с виски. Самое важное — до конца дня успеть закончить мост через пропасть, чтобы защитить Гарри, и глупо не выпить еще глоток, от которого она станет достаточно длинной. Она выходит из кухни и говорит Нельсону:

— Мама перестала плакать, деточка. Она пошутила. Мама не плачет. Маме очень хорошо. Она тебя очень любит.

Мальчик смотрит на нее, по лицу у него размазана грязь. Словно нож в спину, звонит телефон. Все еще сохраняя спокойствие, она поднимает трубку.

— Алло.

— Это ты, доченька? Говорит папа.

— О, папа! — радостно восклицает Дженис.

Пауза.

— Детка, Гарри не заболел? Уже двенадцатый час, а его до сих пор нет.

— Нет, он здоров. Мы все здровы.

Еще одна пауза. Ее любовь к отцу течет к нему по молчаливому проводу. Хорошо бы этот разговор длился вечно.

— Так где же он? Он дома? Я хочу с ним поговорить.

— Папа, его нет. Он ушел рано утром.

— Куда он ушел? В филиале его тоже нет.

Она не меньше миллиона раз слышала, как он говорит слово «филиал», — никто на свете не произносит его так веско, таким густым и важным голосом, словно в нем сосредоточен весь мир. Все, что у нее было в детстве хорошего — платья, игрушки, дом, — все пришло с «филиала».

Она в восторге — разговоры о продаже машин единственное, что ей понятно.

— Он ушел очень рано, чтоб показать «комби» одному клиенту, которому надо было ехать на работу или еще куда-то. Постой, папочка, дай подумать. Он говорил, что этот человек должен рано утром ехать в Аллентаун. Он должен ехать в Аллентаун, и Гарри должен показать ему «комби». Все в порядке, папочка. Работа Гарри очень нравится.

Третья пауза самая долгая.

— Доченька, ты уверена, что его нет дома?

— Папочка, это же просто смешно! Конечно, нет. Разве ты не видишь? — Она тычет трубкой в воздух пустой комнаты, словно у трубки есть глаза. Это всего лишь шутка, но, как ни странно, уже от одного того, что она подняла руку, ее начинает тошнить. Снова поднеся трубку к уху, она слышит далекий вибрирующий голос отца:

— ...доченька. Все в порядке. Ты ни о чем не волнуйся. Дети с тобой?

У нее кружится голова, и она вешает трубку. Это была ошибка, но, в общем, она не растерялась и теперь имеет полное право выпить. Коричневая жидкость льется на дымящиеся ледяные кубики и продолжает литься, хотя она велит ей перестать; она сердито поднимает бутылку, и в раковину падают кляксы. Захватив стакан, она идет в ванную и возвращается с пустыми руками и вкусом зубной пасты во рту. Она вспоминает, что посмотрела в зеркало, пригладила волосы, а потом стала чистить зубы. Зубной щеткой Гарри.

Внезапно она замечает, что готовит обед. Точь-в-точь реклама в журнале: на сковороде с длинной голубой ручкой шипят ломтики бекона. Шарики жира величиной с пули игрушечного ружья взлетают в воздух, словно брызги фонтана в парке, и она удивляется, как быстро они описывают дуги. Они обжигают руку, которая держит сковородку, и она уменьшает фиолетовое пламя газа. Она наливает стакан молока для Нельсона, срывает несколько листиков с головки латука, кладет их на желтую пластмассовую тарелку и сама съедает горсточку. Сначала она не ставит прибор для себя, но потом передумывает, потому что дрожь в желудке, наверное, от голода, и тогда она берет еще одну тарелку, останавливается, держа ее обеими руками перед собой и гадая, почему папа был так уверен, что Гарри дома. Она знает, что в квартире *есть* еще кто-то, но это не Гарри, этому человеку совершенно нечего здесь делать, и она решает его не замечать и продолжает накрывать на стол, чувствуя, что все тело немеет. Она крепко держит каждый предмет, пока он благополучно не водворится на место.

Нельсон жалуется, что бекон жирный, и снова спрашивает, уехал ли папа, и его нытье насчет бекона, который она так ловко и удачно поджарила, приводит ее в такую ярость, что, когда он в двадцатый раз отказывается съесть хотя бы листочек салата, она перегибается через стол и шлепает его по дерзкой физиономии. Глупый ребенок не может даже заплакать, он просто сидит, смотрит во все глаза и сопит, пока, наконец, не разражается ревом. Но, к счастью, она на высоте положения, она совершенно спокойна, она видит необоснованность всех его притязаний и не позволяет себя запугать. Единым порывом, словно огромная волна, она берет Нельсона за руку, заставляет его попикать, укладывает в постель и дает ему бутылку. Все еще дрожа от рыданий, он сует в рот бутылку, и по стеклянному блеску его внимательных глаз она понимает, что он сейчас уснет. Она стоит возле кроватки, удивляясь собственной силе и решимости.

Телефон звонит снова, более сердито, чем в первый раз, и она бежит к нему, бежит, чтобы не мешать Нельсону уснуть, чувствуя, что ее силы иссякают и отвратительный затхлый вкус подступает к горлу.

— Алло.

— Дженис. — Голос матери, ровный и резкий. — Я только что вернулась из Бруэра — ездила за покупками. Отец, оказывается, все утро меня ищет. Он считает, что Гарри опять ушел. Это верно?

— Он поехал в Аллентаун, — закрыв глаза, отвечает Дженис.

— Что ему там делать?

— Он продает машину.

— Не говори глупостей, Дженис. С тобой все в порядке?

— В каком смысле?

— Ты пила?

— Что пила?

— Не волнуйся. Я сейчас приеду.

— Мама, не надо. Все отлично. Я только что уложила Нельсона.

— Я сейчас возьму что-нибудь из холодильника, поем и немедленно приеду. А ты ложись.

— Мама, *пожалуйста*, не приезжай.

— Не спорь со мной, Дженис. Когда он ушел?

— Оставайся дома, мама. Вечером он придет. — Прислушавшись, она добавляет: — И перестань плакать.

— Да, ты говоришь перестань, а сама только и делаешь, что навлекаешь на всех нас позор. В первый раз я думала, что во всем виноват он, но теперь я в этом совсем не уверена. Слышишь? Совсем не уверена.

От этих речей Дженис начинает так сильно тошнить, что она удивляется, почему трубка не падает из рук.

— Не приезжай, мама, — умоляет она. — Пожалуйста, не приезжай.

— Вот только перекушу и через двадцать минут буду у тебя. Ложись в постель.

Дженис кладет трубку и с ужасом оглядывается. В квартире

полный хаос. На полу книжки с картинками, стаканы, постель не постлана, везде грязная посуда. Она подбегает к тому месту, где они с Нельсоном рисовали, и размышляет, что будет, если нагнуться. Она опускается на колени, и тут девочка начинает плакать. В ужасе от мысли, что может проснуться Нельсон и что нужно скрыть отсутствие Гарри, она подбегает к кроватке и, словно в каком-то кошмаре, видит, что все измазано оранжевой кашицей.

— Черт бы тебя побрал, черт бы тебя побрал, — стонет она, вынимает маленькое грязное тельце и смотрит, куда бы его отнести. Наконец, кладет ребенка в кресло и, кусая губы, расстегивает пеленку.

— Ах, ты, свинушка ты этакая, — бормочет она, чувствуя, что звук ее голоса не подпускает того, другого человека, который на нее надвигается.

Она несет мокрую грязную пеленку в ванную, бросает в ванну, опускается на колени и пытается заткнуть отверстие пробкой. Потом открывает до предела оба крана, зная по опыту, что вода получится как раз нужной температуры. Вода хлещет из кранов. Она замечает стакан разведенного виски, который забыла на бачке унитаза, делает большой глоток и гадает, куда бы девать стакан. Ребекка все время кричит, словно понимает, что она грязная. Дженис берет стакан с собой и, снимая с девочки распашонку и кофточку, задевает его коленом, и виски выплескивается на ковер. Она кладет мокрые вещи на телевизор, опускается на колени и пытается засунуть цветные мелки в коробку. От всей этой возни у нее разболелась голова. Она уносит мелки в кухню, выбрасывает недоеденный бекон и латук в бумажный мешок под раковиной, но отверстие мешка не совсем открыто, листья падают в темное пространство за мешком, она лезет под раковину, стукается головой и пытается найти и достать их пальцами, но это ей не удается. От того, что она все время елозит на коленях, они начинают ныть. В конце концов, махнув на все рукой она, к своему удивлению, обнаруживает, что сидит на кухонной табуретке, уставившись на мягкие яркие кончики цветных мелков, которые торчат из коробки. *Спрячь виски.* Секунду тело ее не двигается с места, но когда она, наконец, приходит в движение, она видит, что ее руки с полосками грязи на ногтях ставят бутылку виски в нижнее отделение шкафчика, где лежат старые рубашки Гарри, которые она использует на тряпки. Он ни за что не наденет починенную рубашку, а впрочем, она все равно не умеет их чинить. Она закрывает дверку, дверка хлопает, но не закрывается, а с линолеума под раковиной бутылочная пробка, словно маленький цилиндр, смотрит на нее во все глаза. Она кладет ее в мусорный мешок. Теперь кухня прибрана. В гостиной на мохнатом кресле лежит голая Ребекка, животик у нее вздулся от крика, она сучит кривыми красными ножками. При каждом вопле лицо ее багровеет. Дженис закрывает глаза и думает, как ужасно со стороны мамы приезжать и портить ей весь день, лишь бы убедиться, что Гарри снова ее бросил. Ни минуты потерпеть не может — только бы поскорее узнать, и этот противный ребенок тоже ни минуты потер-

петь не может, а тут еще мокрые вещи на телевизоре. Она несет их в ванную, бросает в ванну на пеленку и закрывает краны. Волнистая серая линия воды доходит почти до самого края ванны. По поверхности пробегает рябь, а под нею застыла в ожидании глубокая бесцветная масса. Хорошо бы принять ванну. Преисполненная решимости, она возвращается в гостиную. Пытаясь вытащить из кресла маленькое, гибкое, как резина, существо, она так шатается, что падает на колени, хватает Ребекку на руки и, прижав к груди, тащит в ванную. Она с гордостью думает, что доведет это дело до конца — к приезду мамы ребенок, по крайней мере, будет чистый. Осторожно опустившись на колени возле большой спокойной ванны, она вдруг замечает, что у нее насквозь промокли рукава. Вода двумя большими руками обнимает ее предплечья, и у нее на глазах розовый младенец словно серый камень опускается вниз.

С протестующим всхлипом она тянется за ребенком, но вода отталкивает руки, увлекает за собой халат, а скользкий комок увертывается от нее во внезапно утратившей прозрачность массе. Наконец, ей удается его поймать, под большим пальцем она слышит биение сердца, затем снова его теряет; на поверхности воды мечутся бледные продолговатые блики, но тот, что имеет твердую основу, ей никак не ухватить. Все это длится один только миг, но этот миг измеряется иным, более плотным временем. Потом она хватает Бекки обеими руками и, значит, все в порядке.

Она поднимает маленькое живое существо в воздух и прижимает к насквозь промокшей груди. Вода течет с них обеих на каменные плитки пола. Дженис с облегчением бросает быстрый взгляд на лицо ребенка, но оно производит фантастическое впечатление — какой-то бесформенный сгусток. В мозгу вспыхивает смутное воспоминание о том, как делают искусственное дыхание, холодные мокрые руки Дженис в безумном ритме отчаянно поднимаются и опускаются; под ее плотно сжатыми веками возникают длинные багровые молитвы, бессловесные, монотонные; кажется, будто она обнимает колени еще одного, третьего, огромного существа, чье имя отец, отец, барабанит ей по голове. Хотя ее обезумевшее сердце заливает вселенную безбрежным красным морем, под ее руками не вспыхивает ни единой искры; бурный поток молитв остается без ответа, темнота не отзывается ни малейшим трепетом. Ощущение, что рядом стоит кто-то третий, бесконечно нарастает, и, услыша отчаянный стук в дверь, она понимает, понимает, что с ней случилось самое худшее, что когда-либо случалось с женщиной в этом мире.

Джек, бледный, как смерть, возвращается от телефона.

— Дженис Энгстром нечаянно утопила младенца.

— Как она *могла?*

— Не знаю. Боюсь, что в пьяном виде. Она сейчас без сознания.

— А *он* где был?

— Никто не знает. Просят меня его найти. Это миссис Спрингер звонила.

Он садится в большое кресло с ореховыми ручками, некогда принадлежавшее его отцу, и Люси с горечью замечает, что ее муж постарел. Волосы у него редеют, кожа сухая, вид изможденный.

— Почему ты должен всю жизнь гоняться за этим подонком? — восклицает она.

— Он не подонок.Я его люблю.

— Ты его любишь. Меня тошнит. Просто тошнит, Джек. Почему бы тебе не полюбить меня или детей?

— Я вас и так люблю.

— Ничего подобного. Давай смотреть правде в глаза, Джек. Ты нас не любишь. Ты не способен любить тех, кто может ответить на любовь. Ты этого боишься. Ведь правда, боишься?

Звонок телефона застал их за чаем в библиотеке. Джек поднимает свою пустую чашку с пола и смотрит на дно.

— Не выдумывай, Люси. Мне и без того тошно.

— Тебе тошно, и мне тоже тошно. Мне тошно с тех самых пор, как ты связался с этим скотом. Он даже не принадлежит к твоей церкви.

— Каждый христианин принадлежит к моей церкви.

— Христианин! Если он христианин, то слава богу, что я не христианка. Христианин. Убивает своего ребенка, а ты называешь его христианином.

— Он не убивал ребенка. Его там не было, это несчастный случай.

— Какая разница, все равно что убил. Удирает из дому, а его идиотка жена напивается из-за этого до потери сознания. Незачем тебе было их мирить. Она приспособилась, и ничего подобного никогда бы с ней не случилось.

Эккл моргает; шок отодвинул его на большое, удобное для анализа расстояние от всего окружающего. На него производит сильное впечатление ее версия случившегося. Он немного удивлен ее злобным тоном. «Подонок» — совершенно не ее слово.

— Значит, по-твоему, это я убил ребенка, — заявляет он.

— Конечно, нет. Ничего подобного я не говорила.

— Наверно, ты права. — Он поднимается с кресла, идет в холл к телефону и достает из бумажника карточку с номером, который записан карандашом под еле заметным именем Рут Ленард. Один раз этот номер сработал, но теперь электрическая мышь напрасно грызет далекую металлическую мембрану. Прослушав двенадцать гудков, он вешает трубку, снова набирает номер и вторично вешает трубку после семи гудков. Когда он возвращается в библиотеку, Люси уже наготове.

— Прости меня, Джек. Я вовсе не имела в виду тебя за это винить. Конечно, ты тут ни при чем. Не болтай глупостей.

— Ладно, Люси. Истина нам не повредит. — Слова эти — лишь тень его мысли, что истина никогда не противоречит истинной вере.

— О, господи, опять эта поза мученика. Теперь мне ясно, ты вообразил, что виноват, и что бы я ни говорила, ты все равно не откажешься от своего мнения. Не стоит попусту тратить слова.

Он молчит, чтобы помочь ей не тратить попусту слова, но не проходит и минуты, как она говорит уже более мягко:

— Джек.

— Что?

— Почему ты так старался их помирить?

— Он берет с блюдечка ломтик лимона и, прищурив глаза, смотрит сквозь него на комнату.

— Брак — это святыня, — провозглашает он.

Он ждет, что она засмеется, но она вполне серьезно спрашивает:

— Даже неудачный?

— Да.

— Но это же просто смешно. Это противоречит здравому смыслу.

— Я не верю в здравый смысл, — отвечает он. — Если тебе от этого легче, то я вообще ни во что не верю.

— Ничуть мне от этого не легче. Ты просто психопат. Но мне очень жаль, что это случилось. Очень жаль. — Она берет чашки и уходит на кухню, оставив его в одиночестве. Вечерние тени паутиной обвивают шкафы с книгами, бóльшая часть которых принадлежит не ему, а его предшественнику по пасторату, благородному и всеми почитаемому холостяку Джозефу Лейгхорну. Джек сидит, тупо чего-то ожидая, но ждать приходится недолго. Звонит телефон. Он спешит опередить Люси; из окна, на подоконнике которого стоит аппарат, видно, как соседка снимает с веревки белье.

— Алло?

— Алло. Джек? Это Гарри Энгстром. Надеюсь, я вам не помешал?

— Нет.

— Может, у вас собрался кружок кройки и шитья или еще какие-нибудь старушенции?

— Нет.

— Я пытался позвонить домой, но там никто не отвечает, и я немножко беспокоюсь. Я вчера там не ночевал, и мне что-то не по себе. Я хочу вернуться, но сперва надо узнать, не вызвала ли Дженис полицию. Вам ничего не известно?

— Гарри, откуда вы звоните?

— Да из какой-то аптеки в Бруэре.

Соседка сняла последнюю простыню, и взор Джека застывает на пустой белой веревке. Одна из задач, какие ставит перед ним общество, это, очевидно, приносить трагические вести. Во рту у него пересыхает, и он собирается с духом, чтоб выполнить привычный долг. *Взявшись за гуж...* Он широко открывает глаза, стараясь отогнать призрак, который маячит у него за ухом.

— Чтоб не терять времени, я, пожалуй, скажу вам по телефону, — начинает он. — Гарри. У вас произошло ужасное несчастье.

Когда долго крутишь веревку, она теряет форму, перекручивается, и на ней образуются завитки и петли. Выслушав Экклза, Гарри чувствует, что у него внутри образовалась такая петля. Он не понимает, что говорит Экклзу, в его сознании застревают лишь

разноцветные коробки, которые видны из окна телефонной будки. В аптеке на стене висит плакат, на нем красными буквами выведено одно-единственное слово ПАРАДИХЛОРОБЕНЗОЛ. Пытаясь понять Экклза, он беспрерывно перечитывает это слово, гадая, как оно делится на части и можно ли его вообще произнести. В ту самую минуту, когда до него, наконец, дошло, в ту самую минуту, когда вся его жизнь рушится, какая-то толстуха идет к прилавку уплатить за два рулона туалетной бумаги. Он выходит из аптеки на солнечный свет, судорожно глотая слюну, чтоб помешать петле подняться к горлу и задушить его. Стоит знойный день, первый день лета, жара со сверкающей мостовой поднимается в лица пешеходов, отгоняя их от витрин и раскаленных каменных фасадов. В белом свете на лицах ясно видно типично американское выражение — глаза прищурены, обвисшие в ухмылке губы вот-вот выкрикнут что-то угрожающее и жестокое. Под сияющими крышами застрявших в дорожной пробке автомобилей парятся водители. Над городом висит молочная дымка — усталому небу не под силу ее сбросить. Гарри и несколько женщин, красных и потных от хождения по магазинам, ждут на углу автобус № 16-А. Когда автобус со скрежетом останавливается, он уже переполнен. Кролик стоит сзади, держась за стальной поручень, изо всех сил стараясь не согнуться от вызывающей тошноту петли. Изогнутые щиты рекламируют сигареты с фильтром, крем для загара и Международную Благотворительную Федерацию.

Прошлой ночью он приехал на таком автобусе в Бруэр, пошел к Рут, но в окнах не было света, и никто не открыл ему дверь, хотя за матовым стеклом с надписью «Ф.-Кс. Пеллигрини» теплился слабый огонек. Он сидел на ступеньках и смотрел на кулинарию, пока там не погас свет, а потом на ярко освещенное окно церкви. Когда свет погас и там, ему стало не по себе, его охватило чувство безнадежности, и он решил вернуться домой. Он дошел до Уизер-стрит, посмотрел вниз на все огни и на гигантский подсолнечник, но автобусов не было, и он побрел дальше, но вдруг испугался, что его могут пырнуть ножом и ограбить, и тогда он отыскал какую-то подозрительную гостиницу и взял номер. Где-то рядом всю ночь дребезжала неоновая трубка с поврежденным контактом и смеялась какая-то женщина, он спал плохо и проснулся очень рано, вполне мог успеть вернуться в Маунт Джадж, надеть костюм и пойти на работу. Но что-то его удерживало. Весь день его что-то удерживало. Он пытается понять что, ибо именно это убило его дочь. Частично это было желание снова увидеть Рут, но когда он утром снова пришел к ее дому, стало совершенно ясно, что ее там нет, наверно, поехала в Атлантик-Сити с каким-нибудь идиотом, однако он все равно шатался по Бруэру, заходил в универмаги, где со стен пиликала музыка, съел сосиску с булочкой в магазине дешевых товаров, потолкался у кинотеатра, но внутрь не вошел, и без конца искал глазами Рут. Ему все казалось, что ее плечи, которые он целовал, вот-вот протиснутся сквозь толпу, а рыжеватые волосы, которые он, бывало, просил ее распустить, блеснут из-за киоска с поздравительными открытками. Но ведь в

Бруэре более ста тысяч жителей, и все шансы против него, да к тому же времени уйма, и он найдет ее в другой раз. Нет, оставаться в городе, — хотя внутри все туже затягивалась петля, твердя: дома что-то неладно, — торчать на сквозняке, которым несло из дверей кинотеатров, толкаться у прилавков с надушенным бельем, дешевыми побрякушками и солеными орешками (бедняга Джен), а потом пойти в парк и бродить по дорожкам, где он когда-то гулял с Рут, и смотреть из-за каштана, как пятеро грязных мальчишек играют в чижики теннисным мячом и палкой от метлы и, наконец, вернуться на Уизер-стрит в аптеку, откуда он звонил по телефону, — делать все это заставляла его надежда где-то найти выход. Ведь он разозлился на Дженис не за то, что на этот раз она была права, а он не прав и к тому же всл себя глупо, а за то, что у него появилось чувство безысходности, чувство, будто он окружен, зажат со всех сторон. Он пошел в церковь, принес оттуда этот славный огонек, но в темных сырых стенах квартиры для него не было места, он вспыхнул и угас. И Гарри понял, что ему уже никогда не разжечь этот огонек. Весь этот день его удерживало чувство, что где-то ему уготовано нечто лучшее, чем слушать крики младенца и обманывать людей, продавая подержанные автомобили, и вот это-то чувство он и пытается убить, прямо тут, в автобусе; он цепляется за хромированный поручень, наклоняется над двумя женщинами в белых кружевных блузах с кучей пакетов на коленях, закрывает глаза и пытается его убить. Петля у него в желудке снова начинает вызывать тошноту, и он ожесточенно хватается за ледяной поручень, а автобус тем временем огибает гору. Весь в поту, он выходит из автобуса за несколько кварталов от своей остановки. Здесь, в Маунт Джадже, тени уже начали сгущаться, солнце, которое печет Бруэр, катится по гребню горы, пот застывает, и у него перехватывает дыхание. Он бежит, чтобы дать работу телу, чтобы вытрясти из головы все мысли. Мимо химчистки, на боковой стене которой труба со свистом выплевывает пар. Сквозь запахи масла и резины, поднимающиеся с асфальтового пруда вокруг бензоколонки Эссо. Мимо газона перед ратушей Маунт Джаджа и застекленного списка жертв второй мировой войны на заржавевших и потрескавшихся пластинках.

Когда он добирается до дома Спрингеров, мадам выходит на звонок и захлопывает у него перед носом дверь. Однако по оливковому «бьюику», стоящему на улице, он догадывается, что там Эккл, и вскоре Джек подходит к двери и впускает его в дом.

— Вашей жене дали успокаивающее, и она спит, — тихо говорит он Гарри в полутемной передней.

— А девочка...

— Она в похоронной конторе.

Кролик хочет крикнуть, что непристойно отдавать в похоронную контору такую крошку, что ее надо было похоронить во всей ее невинности и простоте, словно птичку, в маленькой ямке, вырытой в траве. Но он кивает. Он чувствует, что отныне никогда не станет ни с кем спорить.

Эккл уходит наверх, а Гарри сидит на стуле и смотрит, как

лькющийся из окна свет играет на столике с папоротниками, африканскими фиалками и кактусами. Там, где луч касается листьев, они отливают яркой желтоватой зеленью; листья в тени напротив кажутся черно-зелеными дырами на этом золотом фоне. Кто-то неверным шагом спускается по лестнице. Он не поворачивает головы, он боится посмотреть кому-нибудь в лицо. Что-то пушистое касается его руки, и он встречается взглядом с Нельсоном. Лицо ребенка вытянулось от любопытства.

— Мама спит, — говорит он низким голосом, подражая трагическим интонациям, которые он все время здесь слышит.

Кролик сажает его к себе на колени. Он стал тяжелее и длиннее. Тело мальчика служит прикрытием, он прижимает его голову к своей шее.

— Бэби больна? — спрашивает Нельсон.

— Бэби больна.

— Большая, большая вода в ванне, — говорит Нельсон и показывает руками, сколько было воды. — Много, много воды.

Он, наверно, все видел. Он хочет слезть с колен, но Гарри в ужасе крепко его держит; дом полон горя, которое словно угрожает мальчику. Тело Нельсона извивается с такой силой, что грозит опрокинуть это горе, и тогда на них рухнет весь дом. Прижимая к себе ребенка, он защищает самого себя.

Экклз спускается вниз и останавливается, молча за ними наблюдая.

— Почему бы вам не погулять с ним? У него был кошмарный день.

Все трое выходят из дома. Экклз спокойно и долго жмет руку Гарри и говорит:

— Оставайтесь здесь. Вы тут нужны, даже если вам этого не говорят.

Потом Экклз уезжает на своем бьюике, а они с Нельсоном сидят на траве возле подъездной дорожки и бросают камешки на мостовую. Мальчик возбужденно смеется и болтает, но на дворе голос звучит не так громко. Гарри чувствует себя в некоторой безопасности от того, что последовал совету Экклза. По мостовой возвращаются с работы мужчины; одного из них Нельсон чуть не ударил по ногам камешком, и этот человек поднимает на них глаза. Незнакомое лицо смотрит на Гарри словно из глубины иного мира, мира безгрешных людей. Они выбирают новую мишень — газонную сеялку, прислоненную к стене гаража. Гарри попадает в нее четыре раза подряд. Еще светло, но от солнечных лучей остались лишь лоскутки на вершинах деревьев. Трава сыреет, и Кролик решает потихоньку отвести Нельсона в дом и уйти.

К дверям подходит мистер Спрингер.

— Гарри.

Они идут к нему.

— Ребекка вместо ужина приготовила бутерброды. Заходите.

Они отправляются в кухню, и Нельсон ест. Гарри отказывается от всего, кроме стакана воды. Миссис Спрингер в кухне нет, и Гарри рад ее отсутствию.

— Гарри, — мистер Спрингер встает, двумя пальцами приглаживая усы, как будто собирается доложить о состоянии их финансовых дел. — Мы с Ребеккой беседовали с преподобным Экклзом. Я не стану говорить, что ни в чем вас не виню, потому что я вас, конечно же, виню. Но винить надо не только вас одного. Мы с матерью Дженис так никогда и не сумели внушить ей уверенность в себе, никогда, если можно так выразиться, не сумели дать ей почувствовать, что мы ей рады, — его хитрые розовые глазки теперь уже не хитрые, а мутные и воспаленные, — хотя мы пытались, мне хочется верить, что мы пытались. Как бы то ни было, — эти слова вылетают резко и грубо, он делает паузу, чтобы голос снова стал спокойным, — как бы то ни было, жизнь должна продолжаться... Вам понятно, что я хочу сказать?

— Да, сэр.

— Жизнь должна продолжаться. Мы должны идти дальше с тем, что у нас осталось. Ребекка слишком расстроена, ей трудно встретиться с вами сейчас, но она со мной согласна. Мы поговорили и решили, что это единственный выход. Я хочу сказать, хоть и вижу, что вы удивлены, Гарри, я хочу сказать, что мы считаем вас членом нашей семьи, Гарри, несмотря... — он неопределенным жестом указывает на лестницу, — несмотря на этот... — рука его тяжело опускается вниз, и он добавляет: — несчастный случай.

Гарри прикрывает глаза ладонью. Глаза горят и болят от света.

— Спасибо. — Он прямо-таки стонет от благодарности, хотя всегда презирал этого человека. В полном соответствии с этикетом, который продолжает действовать даже под бременем глубочайшего горя, он пытается составить ответную речь.

— Обещаю вам честно выполнить свои обязательства в этой сделке, — начинает он и тут же умолкает, подавленный отвратительным звуком собственного голоса. Что заставило его произнести слово «сделка»?

— Не сомневаюсь, — говорит Спрингер. — Преподобный Экклз нас в этом уверил.

— Хочу сладкое, — отчетливо произнес Нельсон.

— Нелли, почему бы тебе не взять с собой в постельку пирожное? — Спрингер говорит с привычной, хотя и несколько наигранной жизнерадостностью, и это напоминает Кролику, что ребенок прожил здесь не один месяц. — Не пора ли тебе спать? Хочешь, баба отведет тебя наверх?

— Папа,— говорит Нельсон, слезает со стула и подходит к отцу.

Оба взрослых смущены.

— Ладно, — говорит Кролик. — Покажи мне свою комнату.

Спрингер достает из буфета два шоколадных пирожных, и Нельсон неожиданно подбегает его обнять. Спрингер наклоняется, морщинистое лицо старого франта рядом со щекой ребенка кажется пустым, глаза тупо уставились на башмаки Кролика, а когда его руки сжимаются в объятии, из рукавов вылезают большие черные квадратные запонки с тонкой золотой каемкой по краям и буквой С посередине.

Когда Нельсон ведет отца к лестнице и они проходят мимо комнаты, где сидит миссис Спрингер, Кролик бросает мимолетный взгляд на опухшее, мокрое от слез лицо и отводит глаза. Он шепотом велит Нельсону поцеловать бабушку и пожелать ей спокойной ночи. Когда мальчик возвращается, они поднимаются наверх и по прямому коридору, оклеенному обоями с изображениями старомодных автомобилей, проходят в маленькую комнату с белыми занавесками, слегка окрашенными зеленью листвы за окном. По обе стороны окна симметрично висят картинки — на одной котята, на другой щенки. Здесь, наверно, в детстве жила Дженис. От комнаты веет какой-то застоявшейся невинностью и томительным ожиданием, словно она годами пустовала. На сломанной детской качалке сидит одноглазый старый мишка, его мех протерся до сукна. Интересно, это игрушка Дженис? Кто вырвал ему глаз? Нельсона в этой комнате охватывает какая-то странная апатия. Гарри раздевает сонного ребенка, натягивает на загорелое тело пижаму, кладет в постель и укрывает одеялом.

— Ты хороший мальчик.

— Да.

— А теперь я пойду. Ты не бойся.

— Папа уезжает?

— Только чтобы ты уснул. Я вернусь.

— Ладно.

— О'кей.

— Папа?

— Что?

— Маленькая Бекки умерла?

— Да.

— Ей было страшно?

— Нет, нет. Ничуть не страшно.

— Ей теперь хорошо.

— Да, ей очень хорошо.

— Ну ладно.

— Ты про это не думай.

— Ладно.

— Свернись калачиком.

— Да.

— Думай про то, как ты бросал камешки.

— Когда я вырасту, я буду бросать камешки очень, очень далеко.

— Обязательно. Ты и сейчас далеко бросаешь.

— Я знаю.

— Ладно. Спи.

Внизу Спрингер моет посуду.

— Вы ведь не хотите, чтобы я сегодня остался здесь? — спрашивает Кролик тестя.

— Сегодня нет. Мне очень жаль, Гарри, но мне кажется, сегодня лучше не надо.

— Да, конечно. Я пойду к себе. Прийти завтра утром?

— Да, пожалуйста. Мы накормим вас завтраком.

— Нет, спасибо, не надо. Я хочу сказать, что приду повидать Дженис, когда она проснется.

— Да, разумеется.

— Вы думаете, она будет спать всю ночь?

— Думаю, что да.

— М-м-да, мне очень жаль, но я сегодня не был в филиале.

— Ничего, это не имеет значения...

— Вы не хотите, чтобы я работал завтра?

— Конечно, нет.

— Эта должность останется за мной?

— Разумеется. — Спрингер говорит с опаской, глаза его нервно бегают; он чувствует, что жена все слышит.

— Вы ужасно добры ко мне.

Спрингер не отвечает; Гарри выходит через открытую веранду, чтобы не видеть снова лица миссис Спрингер, огибает дом и шагает сквозь сырую летнюю мглу под звон посуды, которую моют после ужина. Идет вверх по Уилбер-стрит, входит в подъезд своего дома и поднимается по лестнице, пропитанной застоявшимся запахом вареной капусты. Открыв дверь ключом, он входит в квартиру и торопливо зажигает все лампы. Он идет в ванную комнату. Ванна все еще полна воды. Она частично ушла, так что край на дюйм ниже серой полосы на эмали, но ванна все еще больше чем наполовину полна. Тяжелая спокойная масса, без запаха, без вкуса, без цвета наводит на него ужас, словно в ванной незримо стоит молчаливый чужой человек. Неподвижная поверхность как бы затянута мертвой кожей. На ней даже что-то вроде пыли. Он засучивает рукав, сует руку в воду и вытаскивает пробку; вода колышется, канализационная труба урчит. Он смотрит, как край воды медленно и ровно скользит по стенке ванны, а потом остатки ее с диким ревом засасываются вниз. Подумать только — как легко это было, и все же господь при всем своем могуществе не сделал ровно ничего. Всего только поднять маленькую резиновую затычку.

В постели он обнаруживает, что от бесконечного хождения по Бруэру у него невыносимо болят ноги; он вертится, боль на секунду отпускает, потом снова пробирается назад. Он пытается облегчить ее молитвой, но все напрасно. Никакой связи нет. Он открывает глаза, смотрит на потолок и видит, что темнота испещрена изменчивым переплетением жилок, наподобие той желто-синей сетки, что испещряла кожу его малютки. Он вспоминает ее четкий красный профиль в окне больницы, холодеет от ужаса, как безумный соскакивает с кровати и мчится зажигать свет. Электрическое сияние кажется бледным, в паху такая боль, что он чуть не плачет. Он боится даже просунуть руку в ванную комнату — ему кажется, только он зажжет там свет, как увидит на дне опустевшей ванны лежащий вверх лицом сморщенный посиневший трупик. Страх давит ему на почки и в конце концов заставляет решиться; дно ванны поднимается ему навстречу, белое и пустое.

Он уверен, что больше никогда в жизни не уснет, однако, пробужденный косыми лучами солнца и хлопаньем дверей внизу,

чувствует, что тело его предало душу. Он торопливо одевается, охваченный еще бо́льшим ужасом, чем в какую бы то ни было минуту вчерашнего дня. Происшедшее стало более реальным. Невидимые подушки сдавливают горло, замедляют движения рук и ног, петля в груди разрослась и покрылась жесткой коркой. *Прости, прости меня*, молча твердит от неизвестно кому.

Явившись к Спрингерам, он чувствует, что атмосфера в доме изменилась; все переставлено так, чтобы создать щелку, куда он сможет втиснуться, если сделается маленьким и незаметным. Миссис Спрингер подает ему апельсиновый сок и кофе и даже с опаской к нему обращается:

— Хотите сливок?

— Нет, нет, я буду пить черный.

— У нас есть сливки, если хотите.

— Нет, спасибо. Кофе прекрасный.

Дженис проснулась. Он идет наверх и ложится на кровать рядом с нею; она льнет к нему и всхлипывает, уткнувшись в ложбинку между его шеей, подбородком и простыней. Лицо у нее осунулось, тело кажется маленьким, как у ребенка, горячим и твердым.

— Я не могу смотреть ни на кого, кроме тебе. Я не могу смотреть на остальных, — говорит она ему.

— Ты не виновата, — отвечает Гарри. — Виноват я.

— У меня опять появилось молоко, — шепчет Дженис, — и как только начинает колоть в груди, мне кажется, что она в соседней комнате.

Они цепляются друг за друга в общей тьме; он чувствует, как разделяющие их стены растворяются в потоке черноты, но толстый комок дурных предчувствий остается у него в груди — он принадлежит только ему.

Он остается в доме целый день. Посетители приходят и на цыпочках бродят по дому. Из их поведения можно заключить, что Дженис лежит наверху в тяжелом состоянии. Они, эти женщины, пьют на кухне кофе с миссис Спрингер, и ее тонкий, по-девичьи звучный голосок все вздыхает и вздыхает, произнося неясные звуки наподобие какой-то песни. Приходит Пегги Фоснахт — она без очков, широко раскрытые косые глаза диким взором смотрят на мир — и поднимается наверх. Ее сын Билли играет с Нельсоном во дворе, и никто не двигается с места, чтобы прекратить их крики, и крики постепенно утихают, а после небольшой паузы вновь возрождаются в виде смеха. Даже к Гарри приходит гость. Звонит звонок, миссис Спрингер идет открывать и, войдя в сумрачную комнату, где Гарри листает журналы, удивленно и обиженно сообщает:

— К вам какой-то мужчина.

Она уходит, он встает, делает несколько шагов вперед, чтобы поздороваться с входящим в комнату человеком. Это Тотеро, он опирается на трость, одна половина его лица парализована, но он ходит, он говорит, он жив. А малютка умерла.

— Привет! Ну, как здоровье?

— Гарри.

Свободной рукой он хватает Гарри за руку и долгим взглядом

смотрит ему в лицо. Рот у него скривился на сторону, кожа над глазом стянута под углом книзу, так что его почти не видно. Пальцы, вцепившиеся в Гарри, дрожат.

— Присядем, — говорит Кролик и усаживает его в кресло.

Укладывая руки на подлокотники, Тотеро смахивает на пол вышитую салфеточку. Кролик приносит стул и садится рядом, чтобы не повышать голос.

— Стоило ли вам беспокоиться? — спрашивает он, потому что Тотеро молчит.

— Меня привезла жена. На машине. Она на улице, Гарри. Мы узнали о вашем несчастье. Ты помнишь, что я тебя предостерегал? — Глаза его уже набухли от слез.

— Когда?

— Когда? — Парализованная сторона лица, быть может, умышленно, повернута в тень, так что улыбка кажется совершенно живой, уверенной и мудрой. — В тот самый вечер. Я велел тебе вернуться. Я просил тебя.

— Да, наверное. Я просто позабыл.

— Нет, ты не забыл. Нет, ты не забыл, Гарри, — на слоге «Гар» его дыхание со свистом вырывается из горла. — Я хочу тебе кое-что сказать. Будешь меня слушать?

— Конечно.

— Добро и зло, — произносит он и умолкает. Его большая голова поворачивается, и Кролик видит его больной глаз и четко прочерченные вертикальные линии у рта. — Добро и зло не падают с неба. Мы. Мы их создаем. Против несчастья. Неизменно, Гарри, неизменно, — убедившись в своей способности произносить длинные слова, он продолжает: — Нарушение законов добра и зла влечет за собою несчастье. Не обязательно наше несчастье, зачастую вначале не наше. Теперь ты видишь пример тому в своей собственной жизни. — Кролик не заметил, когда на щеках Тотеро появились следы слез, однако вот они тут, словно по лицу проползла улитка. — Ты мне веришь?

— Конечно. Конечно. Я знаю, что во всем виноват только я. С тех пор как это случилось, мне кажется, что я... что я просто насекомое.

Улыбка Тотеро становится безмятежнее, из горла вырывается слабое скрипучее мурлыканье.

— Я предостерегал тебя, — говорит он, на этот раз быстрее, — я предостерегал тебя, Гарри, но молодость глуха. Молодость беспечна.

— Что же мне делать? — выпаливает Гарри.

Тотеро как будто ничего не слышит.

— Разве ты не помнишь, как я просил тебя вернуться?

— Не знаю, наверно, так оно и было.

— Хорошо. Ах. Ты все еще прекрасный человек, Гарри. У тебя здоровое тело. Когда я умру, вспомни, как твой старый тренер учил тебя избегать страданий. Вспомни.

Последнее слово Тотеро произносит застенчиво, с легким кивком; под напором этой неуместной живости он поднимается с

кресла и, лишь мгновенно схватившись за трость, ухитряется не рухнуть на пол. Гарри испуганно вскакивает, и оба на секунду оказываются очень близко друг от друга. От большой головы старика разит тошнотворным запахом — не столько лекарств, сколько гниющих овощей.

— Вам, молодежи, — произносит он тоном школьного учителя — сердито, но в то же время лукаво, — вам, молодежи, свойственно забывать. Вот и тебе тоже. Правда?

По какой-то непонятной причине сму страшно хочется услышать подтверждение.

— Разумеется, — говорит Кролик, моля бога, чтобы он, наконец, ушел.

Гарри помогает ему сесть в автомобиль, кремовый с синим «додж» образца 57 года, который ждет возле оранжевого пожарного гидранта. Миссис Тотеро весьма холодно выражает соболезнование по поводу смерти его новорожденной дочери. Вид у нее измученный и благородный. Седые волосы свисают с покрытого тонкими морщинками серебряного виска. Она хочет уехать от Гарри, уехать со своей добычей. Рядом с нею на переднем сиденье ухмыляющийся гном Тотеро бессмысленно поглаживает набалдашник трости. Кролик возвращается в дом; он подавлен и чувствует себя так, словно искупался в грязи. Откровения Тотеро бросили его в дрожь. Он хочет верить, что источник всего сущего — небо.

К концу дня приезжает Экклз закончить приготовления к похоронам: они состоятся завтра, в среду. Когда он уходит, Кролик останавливает его в передней, и они перебрасываются несколькими словами.

— Каково ваше мнение? — спрашивает Кролик.

— О чем?

— Что я теперь должен делать?

Экклз нервно поднимает глаза. Он очень устал; Гарри никогда не видел его таким усталым. Лицо его бледно, как у невыспавшегося ребенка.

— Делайте то, что вы делаете, — говорит он. — Будьте хорошим мужем. Хорошим отцом. Любите то, что у вас осталось.

— И этого достаточно?

— Чтобы заслужить прощение? Да, несомненно, — если прожить так всю жизнь.

— Я хочу сказать... — Гарри никогда не думал, что сму придется так униженно просить о чем-то Экклза. — Вы помните, о чем мы с вами говорили? О том, что́ находится за всем?

— Гарри, вы же знаете, я не верю в это, во всяком случае, в том смысле, как вы себе это представляете.

— Ну, ладно. — Он видит, что Экклзу тоже хочется уйти, что на него, на Гарри, неприятно, мучительно смотреть.

Экклз, очевидно, понял, что Гарри это почувствовал, и потому он быстро пускает в ход все сострадание, на какое только способен, и пытается его утешить.

— Гарри, не мне вас прощать. Вы ничего дурного не сделали. Я виноват не менее, чем вы. Мы должны добиваться прощения,

мы должны *заслужить* право увидеть то, что находится за всем. Гарри, я *знаю*, что людей можно привести к познанию Христа. Я видел это своими глазами. И вот еще в чем я уверен. Я уверен, что брак — святыня и что ваша трагедия, сколь она ни ужасна, наконец, связала вас с Дженис священными узами.

Весь остаток дня Кролик цепляется за эту уверенность, хотя она как будто не имеет ничего общего с красками и звуками большого, полного скорби дома, с мазками и штрихами вечернего солнца в маленьких зарослях на стеклянном столике и с молчаливым ужином, который они с Дженис делят в ее спальне.

Он проводит эту ночь в доме Спрингеров вместе с Дженис. До чего же крепко она спит. Тонкий храп, вырывающийся из ее черного рта, делает лунный свет еще ярче и не дает ему уснуть. Он опирается на локоть и изучает ее лицо; в лунном свете оно кажется страшным — маленькое, все в темных пятнах, словно врезанных в мягкую, лишенную человеческой четкости массу. Как она смеет спать? Утром, при солнечном свете, чувствуя, что она ворочается и встает с кровати, он еще глубже зарывается в подушку, прячет голову под одеяло, упорно не желая просыпаться. Сегодня похороны, на работу идти не надо, и можно поспать подольше.

Ему снится на редкость яркий сон. Он один на большом спортивном поле или на пустыре, усыпанном мелкой галькой. В небе два идеально круглых диска одинаковой величины, один непроницаемо белый, второй слегка прозрачный, медленно движутся друг к другу, причем прозрачный находится над непрозрачным. В тот момент, когда они соприкасаются, Кролика пронизывает страх, и голос, как из громкоговорителя на беговой дорожке, возвещает: *Первоцвет глотает бузину.* Верхний диск, неотступно скользит вниз, до тех пор, пока совершенно не закрывает нижний, хотя тот и сильнее, и перед глазами Кролика остается всего лишь один чистый и бледный круг. Ему ясно: «первоцвет» — это луна, «бузина» — солнце, а то, что он видел, — объяснение смерти — прекрасная смерть затмевает прекрасную жизнь. С сильным душевным подъемом он осознает, что должен покинуть это поле и основать новую веру. Над ним назойливо склоняются диски, эхом отдается голос, и он открывает глаза. У кровати стоит Дженис в коричневой юбке и розовой блузке без рукавов. Под подбородком у нее жирная серая складка, которой он прежде никогда не замечал. Странно, что он лежит на спине, он почти всегда спит на животе. Он понимает, что это был сон, что ему нечего сказать миру, и к горлу снова подступает комок. Он встает и целует ей руку, бессильно повисшую шероховатую руку.

Она готовит ему завтрак в своем обычном стиле — утонувшие в молоке кукурузные хлопья и переваренный кофе. Захватив Нельсона, они идут к себе одеться для похорон. Кролик негодует, что Дженис способна ходить, она больше нравилась ему, когда была без сознания. Если они могут ходить по улице, значит, горе у них какое-то второсортное. Он никак не может примириться с тем, что их упитанные тела передвигаются в пространстве, а ду-

ши окутаны безразличием ко всему, кроме ничтожных, мелких потребностей. Они идут со своим маленьким сыном по улицам, где некогда сами ходили детьми. Канава вдоль Поттер-авеню, по которой некогда стекали илистые отходы с фабрики искусственного льда, давно пересохла. Дома, в которых уже не живут те люди, чьи лица он так хорошо знал, напоминают дома в городе, который видишь из поезда, — пустые кирпичные фасады загадывают тебе загадку: почему вообще кто-то здесь живет? Почему его поместили сюда, почему для него этот поселок, этот унылый пригород третьеразрядного города — центр и мера вселенной, со всеми ее бескрайними прериями, горными хребтами, пустынями, лесами, городами и морями? Наивная детская тайна — тайна «любого места», прелюдия к конечному вопросу: «Почему я это я?» — разжигает в сердце ужас. Тело пронизывает холод, и Кролик чувствует, что отделился от земли, словно, наконец, случилось то, чего он всегда боялся — он идет по воздуху. Улица — неровная полоса, вдоль которой мостовая наступает на газон, рубчатые просмоленные стволы телефонных столбов — уже не говорит ему ничего. Он — никто, словно он на мгновенье вышел из своего тела и мозга посмотреть, как работает мотор, и шагнул в пустоту, ибо «он» был всего лишь отражением, вибрацией внутри мотора, и теперь ему нет пути назад. Ему кажется, что он стоит за окнами домов, мимо которых они проходят, и смотрит, как чинно шествует это трехглавое семейство, ничем не выдавая того, что их мир содрогнулся, — ничем, кроме тихих слез женщины. Слезы Дженис пришли незаметно, как роса, словно их вызвал вид по-утреннему свежих улиц.

Когда они входят в квартиру, Дженис с громким стоном падает ему на грудь. Быть может, она не ожидала, что комнаты залиты солнцем. Контрфорсы из пылинок, трепещущих в молочно-белом свете, косо поднимаются от середины пола к верхнему краю окон, придавая всему оттенок невинности. Его стенной шкаф рядом с входной дверью, и потому им не нужно сразу углубляться в квартиру. Он открывает дверцу шкафа как можно шире, стараясь не задеть телевизор, просовывает туда руку, расстегивает молнию на целлофановом мешке и вынимает синий костюм; это зимний шерстяной костюм, но другого темного костюма у него нет. Нельсон радостно бегает по квартире, делает в ванной пи-пи, находит в своей комнате старого резинового енота, которого хочет взять с собой. Его возня выгоняет из комнат угрозу, и они отваживаются зайти в свою спальню, где висят вещи Дженис. По дороге она показывает на кресло.

— В понедельник утром я тут сидела и смотрела на восход солнца.

Голос ее звучит безжизненно, он не знает, чего она ждет от него в ответ, и не отвечает ничего. Он затаил дыхание.

В спальне выдается приятная минута. Дженис снимает юбку и блузку, чтобы примерить старый черный костюм, и когда она в одной комбинации переступает босиком по ковру, она напоминает ему девушку, какой он знал ее когда-то, — девушку с тонкими ло-

дыжками и запястьями и маленькой застенчивой головой. Черный костюм, купленный, когда она еще училась в школе, тесен — живот у нее все еще слишком велик после родов. А может, она уже начала полнеть, как ее мать. Она стоит, пытаясь застегнуть на талии юбку, груди, вспухшие от молока, выпирают из бюстгальтера. Да она и вправду располнела, и это ему нравится. Он думает: *мое, моя женщина*, но она выпрямляется, и ее заплаканное, обезумевшее от ярости лицо мгновенно гасит радость обладания. Она становится обузой, которая больно давит на комок в груди. Это мегера, которую он обречен до конца дней своих заботливо вести по жизни, прочь от того понедельника.

— Не лезет! — кричит она, стаскивает юбку и, словно огромную летучую мышь, швыряет ее в противоположный угол комнаты.

— У тебя больше ничего нет?

— Что мне *делать?*

— Успокойся. Уйдем отсюда, вернемся к твоим. Эта квартира действует тебе на нервы.

— Но ведь нам придется тут *жить!*

— Да, но не сегодня. Пойдем.

— Мы не *можем* здесь жить!

— Конечно, не можем.

— А где ж мы будем жить?

— Потом подумаем. Пойдем.

Она неловко натягивает юбку, надевает блузку, поворачивается к нему спиной и робко просит:

— Застегни мне пуговицы.

Застегивая розовую блузку вдоль ее недвижного позвоночника, он начинает плакать. Горячие слезы обжигают ему глаза, и он видит маленькие детские пуговки сквозь гроздья круглых водянистых пятен, похожих на лепестки цветущих яблонь. Слезы медлят у него на ресницах, текут по щекам, эта влага восхитительна. Он хотел бы плакать часами — даже этот короткий поток приносит облегчение. Но мужские слезы скупы, и его слезы высыхают еще прежде, чем они выходят из квартиры. Закрывая дверь, он чувствует, что уже потратил всю свою бесслезную жизнь на открывание и закрывание этой двери.

Нельсон берет с собой резинового енота, и каждый раз, как он заставляет его пищать, у Кролика начинает болеть живот. Город теперь обесцвечен солнцем, приближающимся к зениту.

Время тянется так медленно, что кажется, будто все происходящее повторяется снова и снова. Дженис с матерью, переходя из комнаты в комнату, тихо обмениваются короткими репликами. Потом обе уходят наверх, и через полчаса Дженис появляется внизу в подколотом со всех сторон черном платье миссис Спрингер, в котором она очень похожа на мать.

— Гарри, как по-твоему, мне идет?

— Какого черта ты несешь? Ты что, на выставку мод собралась, что ли? — кричит он, но тут же извиняющимся тоном добавляет: — Ты прекрасно выглядишь.

Но дело уже сделано. Дженис издает испуганный вопль,

мчится наверх, и миссис Спрингер берет назад ту небольшую дозу терпимости, которой она его наделила. Дом снова наполняется невысказанным убеждением, что он — убийца. Он с благодарностью принимает эту мысль: да, он убийца, и ненависть подходит ему больше, чем прощение. Погруженный в ненависть, он может сидеть сложа руки, может оставаться как бы в параличе; жестокая ненависть служить ему чем-то вроде укрытия.

Час дня. В комнату входит миссис Спрингер.

— Хотите бутерброд? — спрашивает она.

— Спасибо, мне ничего не хочется.

— Вы бы все-таки чего-нибудь поели.

Ее настойчивость кажется ему настолько странной, что он идет на кухню. Нельсон в одиночестве сидит за столом и ест суп, сырую морковь и бутерброд с колбасой. Вид у него такой, словно он не знает — улыбнуться отцу или нет. Миссис Спрингер все время стоит к нему спиной.

— Он спал днем? — спрашивает Гарри.

— Можете отвести его наверх, — отвечает она.

Наверху, в комнате, где живет одноглазый мишка, Гарри читает Нельсону сказку про маленький паровозик «Чу-чу», который боялся туннелей. К тому времени, когда «Чу-чу» перестал их бояться, Нельсон засыпает. Гарри возвращается вниз. Дженис отдыхает у себя в комнате; миссис Спрингер переделывает ей платье, и стук швейной машины вплетается в пение птиц и в смутные глухие шумы предвечернего часа.

Хлопает парадная дверь, и в гостиную входит мистер Спрингер. Все шторы опущены, и он вздрагивает, увидев сидящего на стуле Гарри.

— Гарри, хелло.

— Хелло.

— Я был в суде, Гарри, беседовал с Элом Хорстом, коронером. Он обещал мне, что обвинение в убийстве предъявлено не будет. Все с этим согласны. Несчастный случай. Он уже почти со всеми переговорил и хочет как-нибудь повидаться с вами. Неофициально.

— Ладно.

Спрингер медлит, ожидая хоть какого-нибудь знака одобрения.

— Почему бы им просто не посадить меня под замок? — осведомляется Гарри.

— Это весьма негативная позиция, Гарри. Вопрос в том, как нам теперь возместить потери.

— Да, вы правы. Простите.

Мысль, что он выскользнул из сетей закона, вызывает у него отвращение. Никто тебе не поможет, никто не снимет тебя с крючка.

Спрингер уходит наверх, к женщинам. Оттуда доносится глухой топот. Дорогая посуда в стеклянном серванте за спиной у Гарри дребезжит. Судя по маленьким часам с серебряным циферблатом на полке фальшивого камина, еще нет двух.

Наверное, живот у него болит от того, что последние два дня он почти ничего не ел, и он идет на кухню и съедает две галеты. Каждый кусок скребет ободранные внутренности. Боль усиливает-

ся. Блестящая эмалированная утварь, стальные дверцы шкафов словно несут отрицательные заряды, которые его отталкивают и сжимают. Он возвращается в сумрачную гостиную и видит в окно, как две девочки лет по четырнадцати в тесных шортах фланируют по освещенному солнцем тротуару. Их тела уже созрели, но лица еще совсем неиспорченные. Забавные эти девочки-подростки, на лицах у них всегда жадное нетерпение. Слишком много конфет — вся кожа в прыщах. Они плетутся черепашьим шагом — подобно тому как тянется время перед похоронами. Словно чем медленнее они будут идти, тем вернее претерпят какое-то чудесное превращение за углом. Дочери, они чьи-то дочери. Вот и Джун тоже... Он отгоняет мысль о ней. Проходящие мимо девчонки, с их нахально выпяченными задами и затаившимся в ожидании своего часа сексом, кажутся безвкусными и нереальными, а он, наблюдающий за ними из окна, всего лишь пятно на стекле. Почему земля просто-напросто не сотрет такую грязную ничтожную букашку? Он смотрит на свои руки, и они представляются ему фантастически уродливыми.

Он идет наверх и тщательно моет лицо, руки и шею. Он не смеет дотронуться до шикарных спрингеровских полотенец. Выходя с мокрыми руками из ванной, он встречает Спрингера в тихом коридоре и говорит ему:

— У меня нет чистой рубашки.

— Обождите, — шепотом отвечает Спрингер и приносит ему рубашку и черные запонки.

Гарри одевается в комнате, где спит Нельсон. Солнечный свет ползет из-под опущенных занавесок, которые колышутся чуть ли не в такт с тяжелым дыханием ребенка. Хотя Гарри изо всех сил старается растянуть процесс одевания и по нескольку минут возится с каждой запонкой, все это занимает гораздо меньше времени, чем он надеялся. В шерстяном костюме жарко, он как будто не совсем впору, но что-то мешает ему снять пиджак и доставить кому-то удовольствие — кому, он и сам не знает. Безупречно одетый, в тесной рубашке, он на цыпочках спускается в гостиную и сидит там, рассматривая тропические растения на стеклянном столике. Поворачивая голову так, что листья попеременно закрывают друг друга, он ждет, что его сейчас вырвет. Внутренности — плотно сжатый комок ужаса, тугой пузырь, который никак не проткнуть. На часах всего 2.35.

Больше всего он страшится встречи с родителями. С тех пор как случилось несчастье, он так и не мог собраться с духом позвонить или сходить к ним. В понедельник вечером миссис Спрингер позвонила его маме и пригласила ее на похороны. После этого молчание его семьи стало внушать ему страх. Одно дело выслушивать упреки от чужих людей и совсем другое — от собственных родителей. После его возвращения из армии отец только и делал, что пилил его за отказ работать в типографии, и в конце концов допилился до того, что в сердце Гарри не осталось для него места. Вся мягкость и доброта, которую старик когда-либо ему выказывал, превратились в ничто. С матерью — совсем иначе,

она все еще жива и все еще привязана к пуповине его жизни. Если она придет и даст ему нагоняй, он, скорее, умрет, чем стерпит. А что еще может он ожидать? Что бы там ни говорила миссис Спрингер, с него как с гуся вода, потому что ей от него никуда не уйти, и ему даже кажется, что она хочет его полюбить, но с матерью совсем другое дело — она не может его любить или не любить, они даже не два отдельных человека, он начался у нее в животе, и если она дала ему жизнь, она может взять ее обратно, и если она от него отвернется, это для него конец. Из всех людей на свете меньше всех он хочет видеть ее. Сидя в одиночестве, он приходит к выводу, что кто-нибудь из них — либо он, либо мать — должен умереть. Вывод довольно нелепый, но он возвращается к нему снова и снова, пока шум — это у него над головой одеваются Спрингеры — немного отвлекает его от мыслей о себе.

Может, надо пойти наверх? Ему не хочется застать кого-нибудь из них неодетым, и в конце концов они один за другим спускаются вниз — мистер Спрингер в щегольской немнущейся темно-серой рубашке, Нельсон в костюмчике с лямками, как у девчонки, мадам в черной фетровой шляпе с вуалью и гроздью искусственных фиолетовых ягод на жестком стебельке и Дженис — вся какая-то потерянная и бесформенная в заколотом и затянутом мамашином платье.

— Ты прекрасно выглядишь, — снова говорит он ей.

— Где большая черная машина? — громко спрашивает Нельсон.

В ожидании есть что-то недостойное, и когда Спрингеры с Кроликом толкутся по гостиной, глядя, как убывают минуты на часах с серебряным циферблатом, они становятся похожими на разряженных детей, которым не терпится, чтоб поскорее начался праздник. Завидев остановившийся перед домом «кадиллак» владельца похоронной конторы, все бросаются к окну, но когда гробовщик, пройдя по дорожке, звонит в дверь, они уже разбежались по углам, словно посреди комнаты разорвалась бомба с отравляющим веществом.

Здание, которое занимает похоронная контора, прежде было жилым домом, но теперь оно обставлено так, как ни один жилой дом никогда не обставляли. Пушистые бледно-зеленые ковры заглушают шаги. Разрезанные пополам серебряные трубочки на стенах затеняют слабый свет, и все вокруг — стены, портьеры и все прочее — выкрашено в неестественные тона, с какими ни один нормальный человек не мог бы жить — оранжево-розовый, морской волны и фиалковый, — порошками таких цветов убивают микробов в унитазах на бензоколонках. Их ведут в маленькую боковую розовую комнатку. Оттуда виден главный зал, где на расставленных в несколько рядов стульях сидят шесть человек, из них пять — женщины. Единственная, кого он знает, это Пегги Гринг. Рядом с ней вертится ее сынишка — он седьмой. Сначала предполагалось, что будут присутствовать только обе семьи, но потом Спрингеры пригласили нескольких близких друзей. Его ро-

дителей еще нет. Невидимые бескостные руки пробегают взад-вперед по клавишам электрического органа.Противоестественная окраска интерьера достигает апогея в тепличных цветах, которыми украшен маленький белый гроб. Гроб с выкрашенными золотой краской ручками стоит на возвышении, покрытом темно-лиловым покрывалом, и Гарри кажется, что покрывало вот-вот спадет и, словно по мановению волшебной палочки, под ним возникнет живой младенец. Дженис заглядывает в зал, всхлипывает, и служитель похоронной конторы, молодой блондин с неестественно красной физиономией, вытаскивает из бокового кармана флакончик с нашатырным спиртом. Мать Дженис прикладывает флакон ей к носу, лицо ее искажается гримасой отвращения, она поднимает брови, и из-под тонкой оболочки век выступают глазные яблоки. Гарри берет ее за руку и поворачивает так, чтобы она не видела, что происходит в зале.

В боковой комнате есть окно, из него видна улица, по которой носятся дети и автомобили.

— Надеюсь, священник про нас не забыл, — говорит краснолицый молодой человек и, к своему смущению, фыркает. Ему тут явно нравится. Лицо у него как будто слегка нарумянено.

— Это часто бывает? — спрашивает мистер Спрингер. Он стоит позади жены, и его лицо с любопытством наклоняется вперед, открывая черную птичью щель рта под светлыми усами. Миссис Спрингер сидит на стуле и прижимает ладони к вуали. Фиолетовые ягоды подрагивают на проволочном стебельке.

— Раза два в год, — раздается ответ.

У тротуара останавливается знакомый старый «плимут»; из него выходит мать Кролика. Она окидывает сердитым взглядом входную дверь. У него замирает сердце, и с языка срываются слова:

— Приехали мои родители.

Все принимают положение «смирно». Миссис Спрингер встает, Гарри занимает место между ней и Дженис. В одном строю со Спрингерами он, по крайней мере, покажет матери, что исправился, смирился со своей участью и что с ним тоже примирились. Служитель конторы выходит навстречу Энгстромам. Гарри видит, что они стоят на ярко освещенном тротуаре и спорят, в какую дверь входить. Мим немного в стороне. В скромном костюме и без косметики она напоминает ему прежнюю младшую сестренку. Глядя на родителей, он никак не может понять, почему он их боится.

Первой появляется в дверях мать; она окидывает взором весь строй и, раскрыв объятия, подходит к Кролику.

— Хасси, что они с тобой сделали? — громко вопрошает она и обнимает сына, словно желая унести его обратно в небеса, с которых они оба упали.

Сцена заканчивается так же стремительно, как началась. Движимый мальчишеским рефлексом застенчивости, Кролик отталкивает мать и выпрямляется. Словно не понимая значения собственных слов, мать оборачивается и обнимает Дженис. Отец что-то бормочет и пожимает руку Спрингеру. Мим подходит, гладит Гарри по плечу, потом опускается на корточки и что-то шепчет Нель-

сону — эти двое самые младшие. Гарри ощущает человеческую связь всех этих людей. Его жена и его мать льнут друг к другу. Мать открыла объятия чисто механически, но оживила их своею скорбью. Лицо ее искажено болью; Дженис, взъерошенная и задыхающаяся, все же отзывается на ее чувство, слабые руки в черных рукавах пытаются охватить горестно прильнувшее к ней мощное тело. Миссис Энгстром удостаивает ее несколькими словами. Остальные озадачены, и только Гарри со своей холодной высоты видит: мать его движима инстинктом, который заставляет нас обнимать тех, кого мы раним; к тому же она почувствовала, что они обе принадлежат к одному и тому же издревле обездоленному племени рабов, а потом поняла, что, вернув себе сына, тоже будет покинута.

Он физически ощущает, как в душе его матери развертываются все эти стадии горя, по мере того как ее руки все крепче сжимают в объятиях Дженис. Наконец, она отпускает невестку и обращается с печальной учтивою речью к Спрингерам. Ее первый выкрик они пропустили мимо ушей, как приступ безумия, ведь они никакого зла Гарри не причинили, а уж если кто кому и причинил зло, так это он им. Его освобождение прошло для них незамеченным. Стоя рядом с Гарри, они вновь от него отдаляются. Слова, с которыми его мать обратилась к Дженис: «Дочь моя», — бесследно уходят в небытие. Мим встает с корточек, отец берет на руки Нельсона. Все их движения легонько оттесняют его в сторону.

Между тем его сердце завершает один оборот и начинает другой, более широкий оборот в более разреженной среде, которая все меньше и меньше связана с внешним миром.

Экклз, вошедший через какой-то другой вход, издали манит их к себе. Все семеро, захватив с собой Нельсона, гуськом проходят в уставленный цветами зал и усаживаются в первом ряду. Черный Экклз читает заупокойную молитву перед белым гробом. Кролика раздражает, что Экклз стоит между ним и его дочерью. Он вдруг осознает: никто не упомянул, что ребенок так и остался некрещеным. «Я есмь воскресение и жизнь, сказал Господь, верующий в меня если и умрет, оживет, а всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек».

Эти угловатые слова переступают по голове Гарри, словно неуклюжие черные дрозды; он чувствует, какие возможности таят они в себе. Экклз этого не чувствует, лицо его серьезно и невыразительно. Голос звучит фальшиво. Все эти люди фальшивы, все, кроме его умершей дочери и белого ящика с золотой отделкой.

«Как пастырь, он будет пасти стадо свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди своей».

Пастырь, агнцы, руки; глаза Гарри наполняются слезами. Кажется, будто вначале слезы заливают его, словно море, и только под конец соленая вода попадает в глаза. Его дочь умерла, Джун ушла от него; сердце захлебывается в скорби, погружается все глубже и глубже в бездонную пучину утраты. Он больше никогда не услышит ее плача, не увидит ее мраморной кожи, никогда не ощутит на руках ее легкого тельца, не увидит, как в ответ на звук

его голоса повернутся синие глаза. Никогда. Это слово никогда не смолкнет, в его толще никогда не будет просвета.

Они едут на кладбище. Он, его отец, отец Дженис и служитель похоронной конторы несут белый ящик на катафалк. Ящик тяжелый, но это тяжесть одного только дерева. Они рассаживаются по машинам и по улицам едут в гору. При виде процессии поселок замолкает; женщина, которая вышла на крыльцо с корзиной белья, ждет, мальчик, бросавший мяч, останавливается на бегу и смотрит, как они проезжают. Они минуют два гранитных столба, увенчанных кованой железной аркой. Кладбище в четыре часа дня прекрасно. Ухоженная зелень в полудреме спускается по склонам параллельно солнечным лучам. Надгробные камни отбрасывают длинные грифельные тени. Процессия на второй скорости ползет по усыпанной хрусткой голубой галькой аллее, направляясь к скромному зеленому балдахину, от которого пахнет землей и папоротниками. Машины останавливаются. Все выходят. Вдали черным полумесяцем изгибается лес — кладбище лежит на высоком холме между ним и поселком. Под ногами дымят трубы. На самом краю, между изъеденными зубцами надгробий, колесит человек на механической газонокосилке. Ласточки большой стаей падают на каменный домик — усыпальницу — и снова взмывают вверх. Белый гроб искусно скатывают на роликах из глубокого нутра катафалка на алые стропы, которые удерживают его над маленькой, почти квадратной, но очень глубокой могилой. Тихое поскрипывание и напряженные вздохи царапают стекло тишины. Тишина. Кашель. Цветы привезли следом за ними, вот они здесь, грудой уложены под тентом. Позади Гарри аккуратный холмик, покрытый кубиками дерна, в ожидании, когда его водворят на место, дышит запахом земли. Гробовщики с довольным видом складывают розовые руки перед своими ширинками. Тишина.

«Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться».

Голос Экклза под открытым небом звучит слабо. Далекий стрекот механической косилки благочестиво умолкает. Кролик трепещет от волнения и силы, он уверен, что его дочка вознеслась на небо. Эта уверенность заполняет декламацию Экклза, как живое тело кожу. «О, Господи, ты, чей любимый сын взял маленьких детей в руки свои и благословил их, осени нас милосердием, мы молим тебя, прими душу этого дитяти, окружи ее своей неослабною заботой и любовью и приведи нас всех в царство небесное через сына твоего Иисуса Христа Господа нашего. Аминь».

— Аминь, — шепотом повторяет миссис Спрингер.

Да. Вот так оно и есть. Он чувствует, что все они, чьи головы окружают его, неподвижные, как надгробья, что все они слились воедино с травой, с тепличными цветами, все — служители похоронной конторы, невидимый кладбищенский сторож, который остановил свою косилку, — все собрались здесь воедино, чтобы придать его некрещенному младенцу силы совершить скачок в небо.

Поворачивается электрический выключатель, стропы начинают опускать гроб в могилу, потом снова останавливаются. Экклз чертит на крышке крест из песка. Песчинки одна за другой скатываются с резной крышки в яму. Чья-то розовая рука бросает

измятые лепестки. «Осени благословением своим всех скорбящих, прими на плечи свои все их бремя...»

Стропы снова начинают скрипеть. Стоящая рядом с Кроликом Дженис шатается. Он берет ее под руку и даже через материю ощущает жар. Легкий ветерок надувает и колышет балдахин. К ноздрям поднимается запах цветов. «...И святой дух благослови тебя и храни тебя, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Экклз закрывает молитвенник. Отец Гарри и отец Дженис, стоящие рядом, поднимают глаза и моргают. Гробовщики начинают возиться со своим снаряжением, вытаскивают из могилы стропы. Все присутствующие выходят на солнце. *Прими на плечи свои все их бремя...* Небо приветствует его. Он ощущает какой-то странный прилив сил. Словно он долго ползал по темной пещере и, наконец, на самом краю громоздящихся утесов увидел светлое пятнышко. Он оборачивается, и лицо Дженис, отупевшее от горя, застит ему свет.

— Не смотри на меня, — говорит он. — Это не я ее убил.

Слова слетают с его уст очень четко, под стать той простоте, которую он теперь чувствует во всем. Головы, тихонько беседовавшие друг с другом, разом поворачиваются на столь неожиданный, жестокий голос.

Они неправильно его поняли. Он хочет всего лишь внести ясность. Он объясняет головам:

— Вы все ведете себя так, словно это я сделал. Меня там и близко не было. Это все *она*.

Он оборачивается к ней, и ее лицо, обмякшее, как от пощечины, кажется ему безнадежно далеким.

— Ладно, все в порядке, — говорит он ей. — Ведь ты же не нарочно.

Он пытается взять ее за руку, но она вырывает руку, словно из капкана, и смотрит на родителей, которые тотчас бросаются к ней.

У него горит лицо. Он страшно смущен. Его сердце было полно прощенья, но теперь в нем одна только ненависть. Он ненавидит ее лицо. Она слепа. Она могла разделить с ним истину, обыкновенную простую истину, но отвернулась. Он видит, что даже на лице его родной матери изобразился ужас, она побледнела от потрясения и стеной стоит против него. Сначала она спросила, что они с ним сделали, а теперь сама делает то же самое. Удушающее чувство несправедливости ослепляет его. Он поворачивается и бежит.

В гору, торжествуя. Он лавирует между надгробными камнями. Среди могил сверкают желтые, как масло, одуванчики. Сзади слышен голос Экклза:

— Гарри! Гарри!

Он чувствует, что Экклз за ним гонится, но не оборачивается.

Он срезает углы между камнями и по газонам мчится к лесу. До темного полумесяца деревьев дальше, чем казалось возле могилы. Тело тяжелеет: склон круто уходит вверх. Однако мягкая кладбищенская земля подбадривает его, отлогие бугры пружинят; это напоминает бег по окруженной густой толпой зрителей спортплощадке. Он бросается в протянутые руки леса и движется к центру полумесяца. Но лес не такое надежное укрытие, как он

думал. Если обернуться назад, то сквозь листву внизу видно кладбище, где возле маленькой зеленой палатки сгрудились человеческие существа, которые он там оставил. Экклз уже на полдороге между ними и Кроликом. Он остановился. Его черная грудь вздымается. Широко расставленные глаза неотрывно вглядываются в лес. Остальные — толстые стебли в черном — суетятся, маневрируют, строят планы, взаимно испытывают силы, поддерживают друг друга. Их бледные лица вспыхивают немыми сигналами в сторону леса, с отвращением или отчаянием отворачиваются, потом опять, словно зачарованные, подают сигналы прямо в заходящее солнце. Один только взгляд Экклза остается неподвижным. Наверно, он собирается с духом, чтобы вновь пуститься в погоню.

Кролик нагибается и бежит зигзагами. Продираясь сквозь кусты и молодые деревья на опушке леса, он исцарапал лицо и руки. Дальше лес становится реже. Сосны заглушают всю остальную растительность. Их коричневые иглы окутывают неровную почву скользким покровом, солнечный свет узкими щелками падает на этот мертвый настил. Здесь сумрачно, но жарко, как на чердаке; невидимое вечернее солнце припекает зеленую черепицу над головой. Мертвые нижние ветви торчат на уровне глаз. Лицо и руки горят от царапин. Он оборачивается посмотреть, остался ли кто-нибудь позади. Никто его не преследует. Вдали, на самом конце соснового туннеля, в котором он стоит, сверкает что-то зеленое — возможно, это зелень кладбища, но она кажется такой же далекой, как лоскутья неба над вершинами деревьев. Оборачиваясь, он теряет ориентацию. Однако вначале стволы стоят ровными рядами, которые ведут его за собой, и он все время поднимается в гору. Если пройти еще дальше вверх, то в конце концов попадешь на прогулочную дорожку, проложенную по гребню горы. Вернуться к остальным можно только спустившись вниз.

Деревья уже не маршируют рядами, а тесно прижимаются друг к другу. Они здесь более старые, тьма под ними плотнее, а склон круче. Из-под игольчатого одеяла торчат заросшие лишайником камни; рухнувшие стволы растопырили над тропинкой причудливые когтистые лапы. Там, где в крыше вечнозеленых растений образовалась дыра, буйно разрослись пахучие ягодники и желтые травы. Эти прогалины — некоторые из них достаточно велики, чтобы поймать со склона горы косые лучи заходящего солнца, — еще больше сгущают окружающую тьму, и когда он на них останавливается, то из-за внезапно наступившей тишины до его сознания доходит шепот, наполняющий коричневые туннели вокруг. Деревья настолько высоки, что не видно ни малейших признаков цивилизации, даже никаких расчищенных участков. Окруженный морем света, он начинает ощущать страх. Он слишком бросается в глаза, медведи и другие безымянные чудища, которые шепчутся в чащобе, ясно его видят. Чем висеть беззащитным в этих световых колодцах, лучше броситься навстречу опасности через камни, гниющие стволы и скользкие иглы. Насекомые летят за ним во тьму, запах его пота — неодолимая приманка. У него теснит в груди, болят ноги, — поднимаясь в гору, он то и дело проваливается в ямы и натыкается на плоские кам-

ни, скрытые под иглами. Он снимает тесный синий пиджак и, свернув его в комок, сует под мышку. Он беспрестанно борется с желанием оглянуться, но сзади нет ничего, кроме глухой мертвой тишины леса, и лишь его страх населяет извилистое пространство между стволами живой увертливой угрозой — едва он успевает повернуться, как она всякий раз ухитряется скрыться из поля его зрения. Не надо вертеть головой. Он сам себя пугает. В детстве он частенько поднимался по этим лесистым склонам. Но, может быть, в детстве его защищало что-то, чего теперь нет; никак не верится, чтобы тогда леса были такие же темные. Они тоже выросли. Тьма совершенно противоестественная; тонкие, как паутина, сучья, словно пальцы, беспрерывно шарят по лицу; тьма средь бела дня, назло небу, — словно немая обезьянка, она перепрыгивает с верхушки на верхушку прямо у него над головой.

От того, что он все время нагибается, болит поясница. В ту ли сторону он идет? В детстве он никогда не входил в лес со стороны кладбища. Наверно, глупо лезть вверх по круче вдоль самого гребня горы, когда всего в нескольких ярдах слева проходит дорога. Он забирает влево, пытаясь двигаться по прямой; шепот леса нарастает, и в сердце теплится надежда — так и есть, дорога близко. Он торопливо продирается сквозь заросли, ожидая на каждом шагу увидеть дорогу, яркие белые столбики и блеск стремглав проносящегося металла. Вдруг склон обрывается у него под ногами. Как вкопанный, он в ужасе останавливается на краю крутого обрыва; ближайший склон покрыт мохнатыми телами мертвых деревьев, вцепившихся в стволы, которым удалось устоять на крутизне и которые отбрасывают в ущелье тень, глубокую, как готовые вот-вот угаснуть сумерки. В этом мраке маячит какой-то прямоугольник, и Кролика осеняет догадка, что на дне лощины находятся погреб и осевшие, сложенные из песчаника стены заброшенного дома. Он с досадой видит, что заблудился, и снова идет вниз; вдобавок ко всему в ушах раздается ужасающий грохот, словно это полуразвалившееся свидетельство вторжения человека в мир слепой жизни бьет в колокола, чей звон доносится до самого края вселенной. Мысль о том, что эта земля была когда-то обитаемой, что ее топтали, расчищали и возделывали люди, наполняет воздух черными призраками, которые карабкаются к нему по заросшему папоротниками склону, как дети, вылезающие из могил. Наверное, тут жили дети, толстые девочки в ситцевых платьях ходили по воду к роднику, играя, делали зарубки на деревьях, а потом старились на досках, настланных на погреб, и умирали, бросая из окна последний взгляд на тот самый обрыв, где стоит Гарри. Ему кажется, что здесь он заметнее и беззащитнее, чем на маленьких солнечных лужайках; у него появляется смутное чувство, будто он освещен огромной искрой, посредством которой слепое нагромождение мертвой материи познает самое себя, искрой, высеченной столкновением двух противостоящих друг другу миров, схватившихся по велению какого-то страшного божества. У него переворачивается все внутри; уши внезапно открываются, чтобы услышать голос. Он снова лезет в гору, с шумом ломая ветви в сгущающейся тьме, стараясь заглушить голос неиз-

вестного существа, которое, перелетая с дерева на дерево в густой тени, пытается что-то ему крикнуть. В обманчивом свете коварная круча, извиваясь и корчась, ускользает от него, как живая.

Становится так светло, что справа он различает засыпанную иглами кучу старых консервных банок и бутылок. Он в безопасности, он вышел на дорогу. Перебравшись через ограждение, он выпрямляется во весь свой рост. В уголках глаз вспыхивают и гаснут золотые искорки. Под башмаками скрипит асфальт, и кажется, будто изумительно гулкая пустота усталости знаменует начало новой жизни. Холодный воздух хлещет лопатки — где-то в зарослях рубашка старика Спрингера лопнула сверху донизу. Он вышел из леса примерно полумилей ниже отеля «Бельведер». Когда он шагает по дороге, небрежно закинув за плечо синий пиджак, словно крючком зацепив его за вешалку пальцем, ему кажется, что Дженис, Экклз, мать и все его грехи остались где-то за тысячу миль. Он решает позвонить Экклзу — как бы послать кому-то открытку. Экклз его любил, он ему верил и заслуживает, по меньшей мере, телефонного звонка. Кролик репетирует свою речь. *Все о'кей*, — скажет он ему. — *Я двинулся в путь. То есть я хочу сказать, что путей много, вы не беспокойтесь. Спасибо за все.* Главное, чтобы Экклз не огорчался.

На вершине горы все еще ясный день. По морю небес, словно стая рыбешек, плывут мелкие кучевые облака. Вокруг отеля всего несколько машин — видавшие виды «понтиаки» образца 52 года и «мерседесы» 51-го,—такие фирма «Спрингер Моторс» продает прыщавым юнцам, которые приходят с презервативом в кармане и сотней долларов в банке. В кафетерии несколько таких типов играют в китайский бильярд под названием ПОПРЫГУНЬЯ БЕТСИ. Они смотрят на него с понимающим видом, а один даже кричит:

— Это она тебе рубашку разорвала?

Однако странно, что они ничего о нем не знают, кроме того, что у него растерзанный вид. Ты поступаешь так, поступаешь иначе, и никто ни о чем понятия не имеет. Часы показывают без двадцати шесть. Он подходит к автомату, висящему на коричневой стене, и отыскивает в телефонной книге номер Экклза.

— Алло? — сухо отвечает жена Экклза.

Кролик закрывает глаза, и в красноте под веками пляшут ее веснушки.

— Привет. Не могу ли я поговорить с преподобным Экклзом?

— Кто спрашивает? — Голос звучит надменно — она прекрасно знает кто.

— Это Гарри Энгстром. Джек дома?

На том конце провода вешают трубку. Вот сука! Бедняга Экклз наверняка сидит там, сердце кровью обливается, ждет что я позвоню, а она идет к нему и говорит не туда попали. Жалкое ничтожество, женат на такой суке. Он тоже вешает трубку, слышит, как, звякая, проваливается десятицентовик, и чувствует, что благодаря этой неудаче все стало значительно проще. Он пересекает стоянку автомашин.

Позади, в кафетерии, остался весь яд, которым она наверняка

набивает уши несчастному усталому парню. Он представляет себе, как она рассказывает Экклзу про его шлепок, явственно слышит смех Экклза и сам улыбается. Он всегда будет вспоминать Экклза смеющимся, в нем было что-то, что держало человека на расстоянии, наверно, это его манера говорить в нос, но когда он смеялся, он становился свойским парнем. Если подобраться к нему сзади, обойдя унылый липкий фасад. Особенное уныние вызывала его неуверенность — вместо того чтобы сказать прямо, что он думает, он только шевелил бровями и произносил все слова на разные голоса. В конечном итоге неплохо от него избавиться.

С автостоянки открывается вид на Бруэр — он расстилается внизу, как пыльный рыжий ковер. Кое-где уже зажглись огни. Большой неоновый подсолнечник в центре города кажется маленькой маргариткой. Теперь тучки внизу порозовели, но наверху, под самым небосводом, все еще висят бледные и чистые хвосты перистых облаков.

Он спускается с горы по бревенчатым ступеням, проходит через парк, где еще играют в теннис, идет вниз по Уизер-стрит, надевает пиджак и поднимается на Саммер-стрит. Сердце бьется в тревожном ожидании, но теперь оно, по крайней мере, на месте, посередине груди. Кривая петля, образовавшаяся у него внутри из-за Бекки, исчезла; он водворил свою дочь на небо, он чувствует, что она уже там. Если бы Дженис тоже это чувствовала, он бы, может, и остался. Или нет? Наружная дверь открыта, и старушка, повязанная платком на польский манер, бормоча что-то себе под нос, выходит из квартиры Ф.-Кс. Пеллигрини. Он нажимает кнопку звонка Рут.

Зуммер отвечает, он быстро распахивает внутреннюю дверь и взбегает вверх по ступенькам. Рут выходит на площадку, смотрит вниз и говорит:

— Уходи.

— Гм? Откуда ты узнала, что это я?

— Возвращайся к своей жене.

— Не могу. Я только что от нее ушел.

Она смеется; он взобрался на предпоследнюю ступеньку, и теперь их лица на одном уровне.

— Ты только и делаешь, что от нее уходишь.

— Нет, на этот раз все по-другому. Все ни к черту не годится.

— Ты сам ни к черту не годишься. Со мной у тебя тоже ни черта не вышло.

— Почему? — Он уже на последней ступеньке и стоит в каком-нибудь ярде от нее, взволнованный и беспомощный. Он думал, что, когда се увидит, инстинкт подскажет ему, как надо поступать, но хотя прошло всего несколько недель, все почему-то стало иначе. Она изменилась, движения стали более сдержанными, талия располнела, синие глаза уже не кажутся пустыми.

Она смотрит на него с презрением, которое для него совершенно ново.

— *Почему?* — повторяет она немыслимо жестким тоном.

— Хочешь, я угадаю. — говорит он. — Ты беременна.

Удивление на миг смягчает жестокость.

— Вот здóрово, — говорит он и, воспользовавшись минутной слабостью, пытается втолкнуть ее в комнату. Толчок пробуждает воспоминание о том, каким было ее тело у него в руках.

— Здóрово, — повторяет он, закрывая дверь. Он хочет ее обнять, но она отталкивает его и отступает за кресло. Дело серьезное — она поцарапала ему шею.

— Уходи, — говорит она. — *Уходи.*

— Разве я тебе не нужен?

— *Нужен?* Ты? — кричит она.

От напряженно-истерических ноток лицо его болезненно искажается; он чувствует, что она так часто представляла себе эту встречу, что твердо решила сказать все, а это будет слишком много. Он садится в кресло. У него болят ноги.

— Ты был мне нужен в ту ночь, когда ушел, — говорит она. — Помнишь, как ты был мне нужен?

— Она была в больнице, — отвечает он. — Я должен был идти.

— О, господи, какой ты умный. О, господи, какой ты святой. Ты должен был идти. Но ведь ты должен был и остаться. Знаешь, я была настолько глупа, что ждала хотя бы звонка.

— Я и хотел позвонить, но я пытался начать все сначала. Я не знал, что ты беременна.

— Не знал? Как это так не знал? Ребенок — и то бы догадался. Меня все время тошнило.

— Когда я был с тобой?

— О, господи, конечно. Почему бы тебе когда-нибудь не выглянуть из своей драгоценной шкуры?

— Но почему же ты мне не сказала?

— А зачем? Какой от этого толк? От тебя все равно никакой помощи ждать не приходится. Ты пустое место. Знаешь, почему я не сказала? Смешно, но я боялась, что, если ты узнаешь, ты меня бросишь. Ты никогда не позволял мне принять меры, но я решила, что раз это случилось, ты меня бросишь. Но ты все равно меня бросил. Почему ты не уходишь? Пожалуйста, уходи. Я и в первый раз просила тебя уйти. В тот чертов первый раз. Просила. Чего тебе тут надо?

— Я хочу тут быть. Так будет правильно. Слушай, я очень рад, что ты беременна.

— Слишком поздно радоваться.

— Почему? Почему слишком поздно? — Он испугался, вспомнив, что в прошлый раз ее не было дома. Теперь она здесь, а тогда ее не было. Он знает, что женщины уходят из дома, чтобы это сделать. В Филадельфии есть такое место.

— Как ты можешь тут сидеть? — спрашивает она. — Не понимаю, как ты можешь тут сидеть, — ты только что убил своего ребенка, а теперь ты тут сидишь.

— Кто тебе сказал?

— Твой преподобный приятель. Еще один святой. Звонил полчаса назад.

— О, господи. Он все еще пытается.

— Я сказала, что тебя тут нет. Я сказала, что тебя тут никогда не будет.

— Я не убивал несчастного младенца. Это Дженис. Я как-то вечером на нее разозлился и пошел к тебе, а она напилась и утопила несчастную девочку в ванне. Не заставляй меня об этом говорить. А ты-то где была?

Онемев от изумления, она смотрит на него и тихо говорит:

— Послушай, ты и вправду сеешь смерть.

— Ты ничего не сделала?

— Молчи. Сиди тихо. Мне теперь все ясно. Ты и есть не кто иной, как сама Смерть. Ты не просто пустое место, ты хуже, чем пустое место. Ты даже не крыса, от тебя не воняет, потому что и вонять-то нечему.

— Успокойся, я ничего не сделал. Когда это случилось, я шел к тебе.

— Вот именно, ты ничего не делаешь. Ты просто бродишь повсюду с поцелуем смерти на устах. Убирайся. Честное слово, Кролик, от одного твоего вида меня уже тошнит. — Самая искренность этих слов отнимает у нее все силы, и она хватается за спинку стула — одного из тех стульев, сидя на которых они ели, — и перегибается через нее, широко раскрыв глаза и рот.

Кролик, который всегда гордился тем, что аккуратно одет, и всегда думал, что на него приятно смотреть, краснеет от этой искренности. Он рассчитывал, что он опять почувствует себя здесь господином, что опять возьмет над нею верх, но просчитался. Он смотрит на большие белые полумесяцы у себя на ногтях. Внезапное ощущение действительности парализует ему руки и ноги; его ребенок действительно умер, его песенка действительно спета, эту женщину действительно от него тошнит. Осознав это, он хочет получить все сполна, хочет, чтоб его окончательно приперли к стенке и без обиняков спрашивает:

— Ты сделала аборт?

Ее передергивает, и она хрипло отвечает:

— А ты как думал?

Он закрывает глаза и, чувствуя, как шероховатая обивка подлокотников царапает ему кончики пальцев, молит: *О боже, милый боже, нет, не бери этого, ты уже забрал одного, так пусть хоть этот останется в живых.* Грязный нож поворачивается в запутанной тьме у него внутри. Открыв глаза, он по ее развязной позе видит, что она задалась целью его помучить.

— Не сделала? — с надеждой в голосе спрашивает он.

Смутная тень пробегает по ее лицу.

— Нет, — говорит она. — *Нет.* Надо сделать, но я все время откладываю. Я не хочу.

Он вскакивает, охватывает ее обеими руками, не сжимая в объятиях, а словно заключая в магическое кольцо, и хотя от его прикосновения она вздрагивает и отворачивает голову на мускулистой белой шее, к нему возвращается чувство, что он снова взял над нею верх.

— Прекрасно, — говорит он. — Это так прекрасно.

— Это было слишком мерзко, — говорит она. — Маргарет все устроила, но я...я все время думала...

— Да, — говорит он. — Да. Ты молодец. Я так рад, — произ-

носит он и трется лицом о ее щеку. Нос у него мокрый. — Пусть он будет, пусть будет, — упрашивает он.

Секунду она стоит неподвижно, словно всматриваясь в собственные мысли, потом вырывается от него. Лицо ее вспыхивает, и она наклоняется вперед, как перепуганное животное.

— Не смей меня трогать, — кричит она, будто его прикосновение и в самом деле прикосновение смерти.

— Я люблю тебя, — говорит он.

— Это пустые слова. Что значит — пусть он будет? Ты на мне женишься?

— Я бы с удовольствием.

— С удовольствием! Ты бы что угодно сделал с удовольствием. А как насчет твоей жены? Как насчет сына?

— Не знаю.

— Ты с ней разведешься? Нет. Ты бы с удовольствием остался ее мужем. Ты бы с удовольствием стал мужем всех на свете. Почему ты не можешь раз и навсегда решить, чего ты хочешь?

— Разве не могу? Не знаю.

— На какие шиши ты будешь меня кормить? Сколько жен ты можешь прокормить? Все твои работы — это пустой номер. Ты ни на что не пригоден. Может, ты когда-то и умел играть в баскетбол, но теперь ты не умеешь ровно ничего. Какого черта ты в конце концов воображаешь?

— Пожалуйста, роди этого ребенка. Ты должна его родить.

— Почему? Тебе-то что за дело?

— Не знаю. Я не знаю ответов на все эти вопросы. Я знаю только то, что чувствую. Я чувствую, что ты правильная. Иногда Дженис тоже. А иногда я чувствую, что все неправильно.

— Кого это интересует? Вот в чем суть. Кого интересуют твои чувства?

— Не знаю, — повторяет он.

Она стонет — судя по ее лицу, она вот-вот плюнет, — отворачивается и смотрит на стену. Стена вся в буграх от того, что ее слишком часто красили по облупившейся старой краске.

— Я хочу есть. Давай я схожу в кулинарию и принесу какой-нибудь еды. А потом подумаем.

— Я только и делаю, что думаю, — говорит она и поворачивается, на этот раз более уверенно. — Знаешь, где я была, когда ты в тот день приходил? Я была у родителей. У меня есть родители. Они довольно бедные, но уж какие есть. Они живут в Уэст Бруэре. Они знают. То есть знают кое-что. Они знают, что я беременна. *Беременна* — это прекрасное слово. Это может случиться со всеми; чтобы забеременеть, много думать не надо. Я бы хотела выйти за тебя замуж. Хотела бы. Я не отказываюсь ни от каких своих слов, но если бы мы поженились, все было бы в порядке. А дальше разбирайся сам. Разведись со своей женой, которую ты так жалеешь раз в месяц, разведись с ней или забудь про меня. Если ты ни в чем не можешь разобраться, я для тебя умерла. Я для тебя умерла, и этот твой ребенок тоже умрет. Ну, а теперь, если хочешь, можешь идти.

Эта длинная тирада лишает ее равновесия и доводит до слез,

но она делает вид, будто не плачет. Она вцепилась в спинку стула, крылья носа у нее блестят, она смотрит на Кролика и хочет что-то сказать. Она изо всех сил старается взять себя в руки, и это вызывает у него неприязнь; он не любит людей, которые направляют ход событий. Он любит, чтобы все шло само собой.

Он нервничает, чувствуя, что она следит, не вызвала ли ее речь хоть каких-нибудь признаков решимости. На самом деле он едва ее слушал — все это слишком сложно и, по сравнению со зрелищем бутерброда, нереально. Он встает — надеясь, что по-солдатски, — и говорит:

— Это справедливо. Я в этом разберусь. Что тебе купить?

Бутерброд и стакан молока, а потом раздеть ее, вынуть из этого жаркого измятого хлопчатобумажного платья и спокойно рассмотреть располневшую талию, обтянутую прохладной бледной кожей. Ему нравятся женщины во время первой беременности — их тело освещено утренней зарей. Как бы еще разок в нее зарыться — нервы тотчас бы успокоились.

— Мне ничего не надо, — говорит она.

— Но тебе надо есть.

— Я уже поела.

Он пытается ее поцеловать, но она говорит «нет»; вид у нее ничуть не соблазнительный — толстая, красная, влажные разноцветные волосы растрепаны.

— Я сейчас вернусь, — говорит он.

Спускаясь по лестнице, он чувствует, что с каждым шагом его обступают все новые и новые заботы. Дженис, деньги, звонок Экклза, выражение лица матери обрушиваются на него крутою колючей волной; сознание вины и ответственности, как две густые тени, сливаются в его груди. Одни только технические детали — разговоры, звонки по телефону, адвокаты, финансовые вопросы — кажутся такими запутанными, что он физически ощущает их присутствие возле своего рта, самое дыхание требует неимоверных усилий, и любое действие, даже простое прикосновение к ручке двери, ощущается как опасное продолжение длинного механического ряда, весьма ненадежно связанного с его сердцем. Твердая ручка двери отвечает на его прикосновение и легко поворачивается.

На открытом воздухе его страхи сгущаются. Нервная дрожь, словно шарики эфира, пробегает сверху вниз по ногам. Ощущение окружающего пространства опустошает грудь. Стоя на ступеньке, он пытается классифицировать свои заботы, проанализировать оставшийся в доме механизм, установить, что заставляет его производить такой шум. Две мысли немного его утешают, пропуская слабый свет в тугой узел немыслимых альтернатив. У Рут есть родители, и она хочет оставить ребенка. Возможно, что эти две мысли всего лишь одна, восходящий по вертикали порядок родства, нечто вроде тонкой трубки, установленной перпендикулярно во времени, трубки, в которой слегка разбавляется раствор нашего одиночества. И у Рут и у Дженис есть родители; посредством этой мысли он растворяет их обеих. Остается Нельсон — нечто твердое, что должно всегда оставаться при нем. На этой ма-

ленькой точке опоры он пытается уравновесить все остальное, противопоставляя друг другу противоположности — Дженис и Рут, Экклза и свою мать, правильный путь и хороший путь, путь в кулинарию, где штабеля фруктов ярко освещены лампочкой без абажура, и другой путь, по Саммер-стрит, туда, где кончается город. Он пытается представить себе его конец — безлюдное бейсбольное поле, темная фабрика, потом ручей, грунтовая дорога; что дальше, он и сам не знает. Он представляет себе большой, усыпанный шлаком пустырь, и у него становится пусто на душе.

Охваченный страхом, настоящим страхом, он вспоминает свое недавнее утешение — дыру, сквозь которую пробивалось яркое сиянье изнутри, и он поднимает глаза к церковному окну. Окно не освещено — то ли церковь очень бедна, то ли потому, что летом темнеет поздно, то ли просто по недосмотру, — оно всего лишь темный круг на каменном фасаде.

Однако на улице горят фонари; укутанные листвой, конусы света сливаются друг с другом и отступают к невидимому концу Саммер-стрит. Рядом, слева от него, прямо под одним из фонарей, грубый асфальт кажется подернутым рябью снегом. Он решает обойти вокруг дома, проветрить голову и собраться с мыслями. Забавно — то, что движет тобой, так просто, а пространство, по которому надо двигаться, так тесно. Ноги, наливаясь силой от этого различия, ровным шагом движутся вперед. Доброта лежит внутри; снаружи нет ничего, а то, что он пытался уравновесить, невесомо. Он вдруг ощущает, что у него внутри что-то совершенно реальное — чистое полое пространство посреди густой сетки. «Я не знаю», — твердил он в ответ на все вопросы Рут; он и впрямь не знает, что делать, куда идти, что будет дальше, и ему кажется, будто мысль, что он ничего не знает, превращает его в нечто столь бесконечно малое, столь мизерное, что его невозможно поймать. Сознание этой мизерности переполняет его. Словно соперничающая команда узнала, какой он замечательный игрок, и выставила против него двух человек, и куда бы он ни повернулся, он везде натыкается на одного из них, и ему остается только делать передачу. Вот он и сделал передачу, мяч перешел к другим, и в руках у него ничего нет, а те двое остались в дураках, потому что, в сущности, там никого и не было.

Кролик подходит к тротуару, но вместо того чтоб повернуть направо и обойти дом, делает шаг вниз и с таким чувством, словно этот переулок — широкая река, переходит на другую сторону. Он хочет дойти до следующего снежного пятна. Этот трехэтажный кирпичный дом точь-в-точь такой же, как тот, из которого он вышел, но что-то в нем его радует; ступеньки и подоконники дергаются и перемещаются в уголках его глаз как живые. Эта иллюзия сбивает его с толку. Еще прежде, чем в ушах загудел ветер, руки сами собой взлетают вверх, каблуки вначале тяжело грохочут по мостовой, потом, без всяких усилий с его стороны, в нем нарастает какой-то сладкий ужас, шаг становится все легче, быстрей и спокойней, и он бежит. Бежит. Бежит.

СОДЕРЖАНИЕ

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ. *Перевод Т. Кудрявцевой* 3

I. Теплое вино 4
II. Ожидание 12
III. Как реагировала Руфь 57
IV. Как реагировал Ричард 147
V. Вайоминг 207

КРОЛИК, БЕГИ. *Перевод М. Беккер* 219

Апдайк Джон

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ. КРОЛИК, БЕГИ.

Редактор *А. Сидоров*
Художник *М. Селезнев*
Оформление серии *С. Курбатова*
Технический редактор *Н. Теплякова*
Корректор *М. Сухарева*

Сдано в набор 07.12.92. Подписано в печать 19.01.93. Формат 84x108 1/32.
Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68.
Тираж 100 000 экз. Заказ 708.

Рыбинский Дом печати Министерства печати и информации РФ.
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

ISBN 5-7141-0006-9

КАПРИЗ

ЖЕНСКИЕ
ЛЮБОВНЫЕ
РОМАНЫ